

И. А. САЛОВ



Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи».

(В. И. Ленин о литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



И. Саловъ

ИЗ НАСЛЕДИЯ

И. А. САЛОВ

Грачевский крокодил

Повести и рассказы

МОСКВА
«Современник» • 1984

Р1
С16

Составление и комментарии *В. В. Танакова,*
вступительная статья *В. В. Танакова* и *Т. Н. Ковалевой*

Рецензенты: *С. П. Залыгин,*
доктор филологических наук, профессор *Ю. В. Лебедев*

Салов И. А.

С16 Грачевский крокодил: Повести и рассказы/ Сост., коммент. В. В. Танакова, вступ. ст. В. В. Танакова и Т. Н. Ковалевой.— М.: Современник, 1984.— 542 с. портр.— («Из наследия»).

В пер.: 2 р. 80 к.

Илья Александрович Салов — талантливый писатель-реалист второй половины XIX века, сотрудник «Отечественных записок» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Современники ценили его как знатока деревни и провинциального быта, обличителя буржуазного хищничества, защитника крестьянской бедноты, как великолепного живописца и певца русской природы.

Сегодняшний читатель с удовольствием отметит в художнике и тонкий дар наблюдательности, высокую языковую культуру, мягкий юмор, колоритность портретных и речевых характеристик, пафос гуманизма и народности, патриотизм духовное здоровье

В книгу вошли лучшие произведения И А Салова разных периодов его творческой деятельности.

С $\frac{4702010100—121}{М106(03)—84}$ 8—84

ББК 84Р7
Р1

«Ходатай мужицких интересов»

> Правда, и только она одна поражает человека — и достижения этой-то правды должен добиваться каждый художник.
>
> *И. А. Салов*

«Один из самых талантливых беллетристов нашего времени»[1] — так характеризовал И. А. Салова видный демократический критик и историк литературы А. М. Скабичевский. Крупнейший русский ученый, литературовед и критик А. Н. Пыпин ставил И. А. Салова в один ряд с Г. И. Успенским, Ф. М. Решетниковым и даже Л. Н. Толстым, отмечая, что «некоторые из его деревенских героев могут считаться в ряду лучших народных типов, какие есть в нашей литературе...»[2]. Талант И. А. Салова отмечали И. С. Тургенев и Д. В. Григорович. Критики видели в нем последователя И. С. Тургенева, сравнивали с Ф. М. Достоевским, а А. П. Чехов в шутливой «литературной табели о рангах» (1886) ставил Салова вслед за любимым своим В. Г. Короленко, за Г. П. Данилевским и Н. Г. Гариным-Михайловским. М. Е. Салтыков-Щедрин постоянно приглашал И. А. Салова публиковаться в «Отечественных записках», а когда журнал был закрыт, настоятельно рекомендовал редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу привлечь писателя к сотрудничеству: «По крайней мере, я в своей практике всегда приглашал и по временам напоминал»[3].

Для читателей и критиков прошлого века творчество Салова было прочно связано с острыми и болезненными проблемами пореформенной России, порожденными капитализацией страны, когда «патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску», когда «старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой»[4].

И. А. Салов вошел в сознание современников как знаток деревни и провинциального быта, обличитель буржуазного хищничества, защитник

---

[1] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг. Спб., 1897, с. 326.

[2] Пыпин А. Н. И. А. Салов. Суета мирская: Очерки и рассказы.— Вестник Европы, 1894, № 8, с. 882.

[3] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1977, т. 20, с. 119.

[4] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т 17, с. 210.

крестьянской бедноты — «ходатай мужицких интересов», по удачному выражению одного из тогдашних критиков,— как великолепный живописец и певец русской природы.

Сегодняшний читатель по достоинству оценит в художнике тонкий дар наблюдательности, высокую языковую культуру, колоритность портретов и речевых характеристик, пафос гуманизма и народности, патриотизм, духовное здоровье и цельность.

Однако, несмотря на несомненную талантливость, несмотря на остроту и злободневность затрагивавшихся в его произведениях вопросов, И. А. Салов не стал достаточно крупной фигурой в русской литературе второй половины XIX века, и имя его, в отличие от упомянутых писателей и многих других его современников (Н. С. Лескова, А. Ф. Писемского, П. И. Мельникова-Печерского, В. М. Гаршина, Н. Г. Помяловского, В. А. Слепцова и других), практически неизвестно современному читателю.

В литературной судьбе Салова прежде всего сказался, видимо, сам характер его дарования: внешняя беспристрастность повествования, ослабленность аналитического элемента, отсутствие открыто пропагандистского, публицистического начала снижали значимость творчества писателя в эпоху острых идейных битв 60-х — начала 80-х годов, в эпоху страстных социальных и нравственных исканий передовой русской интеллигенции, подъема крестьянских волнений, самоотверженной практической деятельности революционно настроенной молодежи по подготовке близких, как казалось многим, коренных общественных перемен.

Глубоко знавший народную жизнь, сильные и слабые стороны русского крестьянства, Салов не разделил иллюзии, ошибки и разочарования революционных народников. Но его художественные произведения, вскрывавшие больные язвы пореформенной российской действительности: обнищание крестьянства, резкое социальное расслоение в деревне и бурное развитие «сельской буржуазии» — кулачества и купцов-мироедов, разложение крестьянской общины, распад нравов, выявляя демократические, близкие к народным идеалы, авторы не несли, однако, в себе четкой положительной программы и звучали несколько приглушенно по сравнению с резкими выступлениями Салтыкова-Щедрина, со страстными, пусть и не всегда художественно равноценными, произведениями писателей-народников. Салов остался по преимуществу художником в годы, когда крупнейшие писатели России — Толстой и Достоевский обратились к публицистике, чтобы словом своим прямо, непосредственно воздействовать на общество.

В характере литературной деятельности Салова, безусловно, сказались также особенности его личной биографии, знакомство с которой важно и потому, что вся она, прямо или косвенно, отразилась в творчестве писателя.

I

Илья Александрович Салов родился 6 (18) апреля 1834 года в Пензе, в родовитой, но небогатой дворянской семье. «Имение в смысле доходности не отличалось,— вспоминал он,— так как состояло из песчаного грунта, дававшего плохие урожаи»[1].

Когда мальчику было шесть лет, умер его отец, и они с маленьким братом остались с матерью, молодой, очень мягкой и доброй женщиной. Детство будущего писателя прошло в родовом поместье Никольском, живописные окрестности которого развили в мальчике тонкое чувство прекрасного, глубокую любовь к природе и великолепное знание ее, воспитали в нем сохранившуюся на всю жизнь тягу ко всему здоровому, естественному, жизнеспособному, во многом определив характер его будущего творчества.

После смерти отца опекуном маленького Илюши стал А. А. Тучков, будущий тесть поэта-революционера Н. П. Огарева, с которым Салов ребенком и подростком часто встречался в доме своего опекуна. Нередко заезжали Саловы и к самим Огаревым, своим соседям по имению. Позднее писатель отмечал, что хотя по возрасту он еще «не мог достаточно оценить Огарева как поэта, но все-таки почему-то чувствовал к нему симпатию, несмотря на то, что отзывы о нем были крайне для него неблагоприятные...».

Мальчик рос на воле, рядом с крестьянскими детьми, в обстановке гуманных, патриархальных отношений в семье и поместье, не стесненный усиленным воспитанием и опекой. «Нас не держали в хлопках (т. е. в вате.— *Авт.*),— писал позднее он,— и выросли мы не тепличными растениями, а... такими же неизнеженными, какими растут крестьянские дети. Помню, что зимой нас одевали в заячьи шубки, крытые зеленым атласом, на ноги надевали валенки, а на голову ваточные шапки... В таких-то неприхотливых костюмах мы в трескучие морозы лазали по снежным сугробам, катались с ледяных гор и даже не чувствовали холода», разделяя «житье-бытье дворовых мальчишек, с которыми у нас существовала великая дружба».

Через много лет, уже старым, писатель точно, до мельчайших деталей воссоздал в воспоминаниях обстановку своего детства. Детские впечатления глубоко запали в его душу и отразились во всем его творчестве. Проникновенные и великолепные пейзажи, увлекательные картины охоты и рыбной ловли, покоряющие глубоким знанием природы, реалистические

---

[1] Здесь и далее воспоминания И. А. Салова цитируются по следующим публикациям: Салов И. А. Умчавшиеся годы. (Из моих воспоминаний.) — Русская мысль, 1897, № 7—10; Салов И. А. Из воспоминаний.— Исторический вестник, 1906, № 10—11.

типы крестьян и дворовых, колоритные образы представителей духовенства и помещиков — истоки всего этого лежали в детских впечатлениях и наблюдениях будущего писателя. Салов признавался: «Описывая какую-нибудь местность, я непременно мысленно переносился в село Никольское вспоминал тамошние ландшафты, которые и переносил на бумагу».

Мирная жизнь в патриархальной семье, «во глубине России», в окружении прекрасной природы, в непосредственной близости к народу способствовала формированию у Салова основ мировоззрения и идеалов простого, трудового, доброго, здорового жизнеустройства, которые он сохранил навсегда и воплотил в своем творчестве, остро воспринимая всякое проявление социального зла, безошибочно улавливая любое отклонение от нравственной и эстетической нормы.

Безмятежное детство с играми, шалостями, учением грамоте у сельского священника, ужением рыбы и ловлей певчих птиц с добродушным учителем-немцем продолжалась до десяти лет, пока мать не объявила: «Ну, голубчик, будет тебе щеглов-то ловить. Поедем-ка в Пензу, я тебя определю в гимназию».

Пензенская гимназия, куда поступил Салов, была весьма демократическим учебным заведением, в отличие от Дворянского института, где учились дети дворян и который выглядел «как бы дворцом» по сравнению с «деревянным одноэтажным домиком гимназии. ...Мы с завистью смотрели и на здание института, и на воспитанников его»,— вспоминал Салов. То, что представлялось обидным мальчику, на самом деле было удачей: воспитанные в детстве демократические начала закреплялись, а интерес к поэзии, к литературе развивался на уроках молодого учителя словесности, знакомившего учеников, помимо программы, с лучшими произведениями русских писателей, старых и современных, с творчеством М. Н. Загоскина, Н. В. Гоголя, еще только начинавшего печататься И. С. Тургенева. «Он первый,— писал Салов,— внушил нам любовь к русской литературе и научил отличать хорошее от дурного». Мальчик читал запоем.

В эти же годы сердце будущего писателя и драматурга покорил театр. Илья проводил там целые дни во время каникул, и однажды, в классе втором или третьем, даже «дебютировал» в роли... русалки, «плавая» по нарисованной «реке».

Однако беззаботное отрочество было недолгим. Саловых постигла участь, уготованная в те годы многим дворянам средней руки: развал прогнившего крепостнического уклада России ускорялся развитием буржуазных отношений, «дворянские гнезда» оскудевали. Беднела и семья Саловых; после женитьбы брата, переехавшего с частью усадьбы в «дальнее поле», дом, где они жили, «сделался каким-то кургузым, а двор принял вид каких-то жалких развалин. ...Имение... на треть уменьшилось, а беспокойство матери увеличилось». В дом часто наведывался «квартальный, привешанный

к шпаге», с угрозами аукциона. Вскоре пришлось продать лес, и вот «явился какой-то толстобрюхий купец в засаленной поддевке, которого мать и пригласила в кабинет... когда разговор их был покончен и мать вышла из кабинета в сопровождении купца, то глаза ее были заплаканы, а лицо последнего, красное как сафьян, сияло довольною улыбкой». Так произошла первая встреча Салова с одним из прототипов его многочисленных будущих персонажей.

Жизнь постепенно открывалась уже не празднично-безмятежной, а горькой своей стороной.

Воспоминание писателя о том, каким потрясением была для него вырубка любимого леса, удивительно напоминает эпизод из некрасовской «Саши» где пробуждение самосознания героини тоже как бы подталкивается, стимулируется картиной разрушенной природной гармонии — вырубленного леса. «Опушка этого леса,— вспоминал Салов,— так недавно еще зеленевшая стройными, красивыми деревьями липы,— уже не существовала. Поверженные на землю деревья с пожелтевшими листьями и полузасохшими ветвями лежали, словно трупы на поле боя. Стаи грачей и галок шумно носились в воздухе, оглашая его неистовыми криками... сердце мое замерло...»

Горькие жизненные впечатления послужили толчком к пробуждению самосознания подростка, а любовь к литературе, помноженная на тонкую наблюдательность, стала импульсом к самостоятельному творчеству. В четырнадцать лет Салов пишет первые свои произведения — повесть «Дядюшка и племянник» (не сохранившуюся) и рассказ «Забытая усадьба»

Рассказ этот весьма примечателен во всех отношениях: и мировоззренческом, и художественном. Особенности таланта и пафос творчества будущего писателя вполне сказались в нем. Позднее во многих произведениях писатель будет разрабатывать темы и мотивы, которые впервые прозвучали в «Забытой усадьбе». с одной стороны, умиротворяющая красота природы, разрушение «дворянских гнезд», грустная романтика уходящих в прошлое «темных аллей», а с другой — развращающее влияние крепостничества.

Строго говоря, «Забытая усадьба» — это не рассказ, а развернутая, талантливая, психологически тонкая зарисовка. В центре повествования - образ старого дворецкого Зотыча, коротающего свой век в заброшенной усадьбе, прежние хозяева которой умерли, а новые проводят время то «в чужих краях», то «в Питере». Реалистически, детально выписывая образ (Салов потом рассказывал, что прототипом Зотыча был их старый буфетчик) автор не впадает в натурализм, а создает характерный *тип.* Низость лакейства соединяется в Зотыче с искренней любовью и привязанностью к барину, рабское усердие и повиновение прихотям хозяина —

с честностью и своеобразной гордостью своим умением и добросовестностью.

Автор показывает, как рабство смешивает нравственные представления в человеке. Зотыч гордится тем, что прошел все ступени лакейской «карьеры»: «...гостям сапоги чистил... потом был казачком, парикмахером; одно время в оркестре на флейте играл, на театре первых драматических любовников исполнял, долгое время был лакеем столовым, потом камердинером при старом барине, и только после этого был пожалован в дворецкие»; с важностью вспоминает, как поставлял подкутившему барину «жоли персон» в «павильон любви». Рассказы Зотыча о «добром старом времени», единственным достойным хранителем которого он себя чувствует, рождает возмущение, но в то же время смерть его от сознания своей полной ненужности подлинно трагична. А рассказ в целом воспринимается как повествование об исковерканной крепостным правом человеческой душе.

В первом рассказе Салова проявились многие сильные стороны его дарования: наблюдательность, реализм, прекрасное знание материала, тонкое чувство природы, умение показать явление объективно, выразить гуманистическую идею не просто декларацией, а средствами художественной пластики. Более того, этот рассказ, пожалуй, даже меньше страдает описательностью, чем некоторые более поздние произведения Салова; здесь не только изображается явление, но и художественно раскрываются его истоки.

Но, надо сказать, и тема этого рассказа была не настолько новой и неразработанной, как тематика произведений Салова 70—80-х годов. В рассказе ощущается некоторое воздействие «натуральной школы» и влияние «Записок охотника» Тургенева, хотя поэтика любимого писателя усвоена юным автором органично и произведение его вполне самостоятельно и оригинально.

Через восемь лет рассказ этот, после незначительной авторской доработки, был опубликован в «Русском вестнике».

Первое произведение Салова убедительно свидетельствовало о несомненном, рано проснувшемся литературном даровании будущего писателя. Только разбросанностью его жизнелюбивой натуры и еще отдаленностью от центров идейной и художественной жизни (это не раз скажется в творческой судьбе писателя) можно объяснить, что после первых удачнейших опытов он не стал писать постоянно, а обратился вновь к литературной деятельности лишь через шесть лет, и то на поприще драматического переводчика.

В августе 1850 года Саловых «постигло страшное горе, послужившее началом... полнейшего разорения»: пожар уничтожил село Никольское и все гумна с хлебом. «Черный, как сажа, дым застилал всю окрест-

ность,— вспоминал писатель.— ...Никаких пожарных инструментов, конечно, не было. ...Сердце мое облилось кровью: все крестьянские гумна, плотно заставленные одоньями хлеба, словно слились с горевшим селом».

Эта страшная картина пожара навеяла, вероятно, горькие рассуждения в повести «Николай Суетной»: «Прежде бы, ваше степенство, колотили, чтобы у всякого струмент нужный был, да и себя-то самого за то, что нет у вас ни трубы, ни багров... а теперь уж колотить поздно!»

Со сгоревшим хлебом исчезла последняя возможность заплатить проценты в опекунский совет, где было заложено имение Саловых, и «наше родное село Никольское,— рассказывал писатель,— в ту же зиму (по другим сведениям, через два года.— *Авт.*) было продано с аукционного торга, и мы остались, как говорится, «крыты небом и обнесены светом».

Не было средств даже на то, чтобы выехать в Пензу, снимать жилье и платить за учебу. Юноше пришлось бросить гимназию, и семья, после безуспешных попыток матери найти денег в долг у состоятельных родственников, переехала в Москву, сняв «крошечную квартирку... из трех маленьких комнат, считая в том числе и переднюю».

Кончилось деревенское детство и юность, с учебой в гимназии, театром, танцами, увлечением охотой и рыбной ловлей,— начиналась суровая взрослая жизнь. «Грустно, грустно,— писал восемнадцатилетний Салов в своем путевом дневнике 31 января 1852 года,— расставаться с тою деревнею... в которой мы так долго прожили, так много испытали и радости, и горя. С каким, бывало, восторгом приезжал я в деревню, будучи еще в гимназии, с каким восторгом я бегал по роскошным лугам, любовался полями, ходил с ружьем вдоль обширного пруда и рек... Как теперь помню... придет приказчик, кашлянет в передней, войдет в залу... поцелует меня и брата и начнет рассказывать про свое хозяйство. Все радуются нашему приезду. Придет, бывало, кормилица, принесет яиц или каких-нибудь ягод и начнет обнимать меня, своего питомца-гимназиста! А теперь? Боже мой! ...Все так грустно!.. Прощай, Никольское...»

В Москве Салов определился на службу с мизерным пятирублевым жалованьем в канцелярию генерал-губернатора. Но чиновничья карьера не прельщала будущего писателя. На его счастье, среди молодых сослуживцев оказались завзятые, как и он, театралы, и к тому же литераторы-дилетанты, переводившие на русский язык модные французские мелодрамы и водевили.

Салов попробовал свои силы в драматургии: написал драматическое представление в стихах «Битва под Ахалцихом» (о сражении русской армии с турецкими войсками у крепости Ахалцих. Тема пьесы была навеяна начавшейся в 1853 году Восточной войной) и драму в четырех действиях «Каритан». Обе пьесы, довольно слабые, были

напечатаны в 1854 году и вызвали столь низкую оценку в «Современнике», что, по словам биографа Салова, известного в конце XIX — начале XX века критика и журналиста П. В. Быкова, автор «затем стал всячески открещиваться от этих неудачных детищ своих»[1]. Зато переведенные совместно с сослуживцем В. И Родиславским (уже имевшим и некоторый опыт, и связи) французские мелодрамы «Нищая» и «Слепой» были поставлены в Москве, на Императорской сцене, и не только имели успех, но и принесли переводчикам неплохое денежное вознаграждение.

Как ни малоудовлетворительна была эта драматургическая деятельность, в ней все же частично осуществилась тяга к литературному творчеству, которую теперь уже ясно осознавал в себе Салов. Переводческая работа ввела его в круг драматических писателей, в том числе А. Н. Островского, встречи с которым, хотя и краткие, помогли молодому писателю утвердиться в мнении о несоответствии тогдашнего театрального репертуара, заполненного переводными пьесами, потребностям русского общества. И. А. Салов восхищался игрой М. С. Щепкина, С. В. Шумского, И. В. Самарина, П. М. Садовского — могучих талантов из народа. Позднее, рассказывая о постановке своей пьесы «Лесной богатырь», он как особое достоинство подчеркивал умение режиссера реалистически, правдиво показывать народ на сцене — так, чтобы «народ... действительно вышел народом, а не манекенами в зипунах и лаптях».

«Однако заниматься переводами французских мелодрам мне скоро надоело...»,— вспоминал писатель. Трудно сказать, насколько сознавал он тогда подлинную причину своей неудовлетворенности, но вызвана она была, конечно, прежде всего совершенным несоответствием переводческой деятельности его таланту реалиста и бытописателя, уже тогда хорошо знавшего многие стороны российской действительности.

А такие писатели очень нужны были в тот момент русскому обществу. Завершались 50-е годы. Народ пережил трагическое поражение в Крымской войне, обнаружившее «гнилость и бессилие крепостной России»[2], острую необходимость немедленных и коренных социальных перемен.

Ожиданием этих перемен были затронуты все слои общества. Росло самосознание народа, усиливались крестьянские волнения. Демократическая передовая интеллигенция жила «накануне», в надежде на близкую народную революцию и готова была возглавить ее.

Либералы боролись с откровенными крепостниками, требуя отмены крепостного права (но с сохранением помещичьего землевладения) и введения буржуазных свобод (свободы общественного мнения, печати,

[1] Быков П. В. И. А. Салов: Биографический очерк.— В кн.: Салов И. А. Полн. собр. соч. Спб., 1909, т. 1, с. 9.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

публичности действий правительства, создания представительных учреждений, гласности судопроизводства и др.). В столицах и провинции бурно обсуждались пути и перспективы дальнейшего развития России. Острую полемику по этим вопросам вели западники и славянофилы: первые видели для нее образец в буржуазной демократии капиталистических стран Европы, а вторые считали залогом самобытного, небуржуазного развития страны крестьянскую общину — основу и прообраз, по их мнению, будущей России.

Крестьянский вопрос был вопросом эпохи, и знание народа было первым условием для писателя. Жизненный и творческий опыт Салова, а еще больше сам характер, направленность его дарования соответствовали этому требованию. Но в обстановке острой идейной борьбы он чувствовал себя одиноким. Его либерально-демократическое умонастроение еще не сформировалось в четкие убеждения, которые позволили бы ему примкнуть к какому-либо лагерю или группе (позднее писатель вспоминал, что, например, в «Москвитянин» ему не удалось попасть, так как «журнал был чисто славянофильский»). Чувство одиночества усиливалось и отсутствием в то время в Москве начинающих писателей-сверстников. «...Потому... я и не мог завязать в литературной среде дружеских связей...— писал Салов,— иной раз и хотелось бы по душе поговорить с кем-нибудь, посоветоваться, помечтать даже, а кругом меня все были старики, которые на меня смотрели как на мальчишку».

И в самом деле, кроме А. А. Потехина, который был на пять лет старше И. А. Салова, все остальные жившие тогда в Москве писатели и критики (И. В. и П. В. Киреевские, Н. М. Языков, В. И. Даль, К. К. Павлова, С. Т., И. С. и К. С. Аксаковы, А. А. Григорьев, А. Ф. Писемский, П. И. Мельников-Печерский и другие) были уже и идейно, и творчески сформировавшимися литераторами. Самый молодой из них, А. Н. Островский, еще в 1849 году стал известен комедией «Свои люди — сочтемся», а в 1856 году написал «Доходное место» и жил в предощущении «Грозы». Да и А. А. Потехин уже с 1852 года печатался в «Современнике», «Москвитянине» и входил в круг А. Н. Островского.

Помог Салову случай, впрочем, вполне закономерный.

В 1856 году в Москве появился новый журнал либерального направления «Русский вестник». Возглавил его М. Н. Катков, публицист, бывший участник кружка Станкевича (наряду с Белинским, Бакуниным, Боткиным и другими), пока еще либерал, англоман. До 60-х годов, когда он переродился в консерватора и реакционера, оставалось еще несколько лет.

Первоначальные позиции нового журнала привлекли туда лучших писателей: М. Е. Салтыков-Щедрин своими «Губернскими очерками» (1856—1857) положил начало обличительной литературе, И. С. Тургенев

опубликовал в «Русском вестнике» «Накануне», «Отцов и детей» (позднее — «Дым»), Л. Н. Толстой в 50-е годы отдал туда «Семейное счастье», «Казаков», «Поликушку»; участвовали в журнале А. Н. Островский, А. К. Толстой, Д. В. Григорович, И. И. Лажечников, А. Н. Плещеев, А. А. Фет, Н. Ф. Щербина, А. Н. Майков, Я. П. Полонский и другие.

Конечно, начинающий писатель мог только мечтать о том, чтобы его имя появилось на страницах этого журнала. Много раз отправлялся Салов в переулок, где располагался «Русский вестник», с твердым намерением передать в редакцию свои рассказы. «Но стоило только подойти к дому...— вспоминал он,— как вся моя храбрость пропадала... Несколько раз я даже всходил на крыльцо, брался за звонок, но рука моя не поднималась, и я снова уходил ни с чем». Наконец на робкого писателя наткнулся секретарь редакции.

Через два месяца, в январе 1858 года, в журнале появился рассказ Салова «Пушиловский регент», а в мартовском номере — уже знакомая нам «Забытая усадьба».

В воспоминаниях писатель указывал, что «Пушиловский регент» был создан еще до переезда в Москву. Однако это настолько зрелое и характерное для него произведение, что трудно поверить, будто автором был семнадцати- восемнадцатилетний юноша. В рассказе заметно основательное знание жизни различных социальных кругов, зрелость чувств и мыслей. Этому, несомненно, способствовало участие Салова в X народной переписи с осени 1856-го по весну 1857 года, когда ему довелось детально ознакомиться с материальной стороной народной жизни, с настроениями крестьян, подолгу общаться с волостным чиновничеством и сельским духовенством.

Передать содержание «Пушиловского регента» трудно, как вообще трудно пересказывать истинно поэтическое произведение. Здесь есть значительный элемент социальной критики, который на аналогичном материале будет потом развит в «Мертвом теле» (полная зависимость беднейшего духовенства от церковных иерархов и их чиновников, продажность «духовных отцов», социальное неравенство), но главное здесь — тонкий психологизм, прекрасно разработанные и реалистически выписанные характеры, проникновенные пейзажи России.

На фоне раздольной, благоуханной, полной жизни природы развертывается перед читателем драма любви бесправного разночинца, недавнего семинариста, которого унижают даже дворовые, к богатой, избалованной и капризной племяннице помещика, по прихоти обратившей на него внимание.

Эпизоды нищего бурсацкого быта сменяются рассказом о светлой любви героя и простой девушки Тани. Образ этой героини уже во многом воплощает черты близкого к народному женского идеала Салова: нравствен-

ную чистоту, красоту молодости, силы и здоровья, заботливость, хозяйственность, доброту. Таня весь день в хлопотах: «И хлебы поставит, и корову подоит, и избу подметет, и братишек своих умоет, и стадо проводит — словом, дьячок, бывало, не успеет прийти от заутрени, как уже домик у него и чист, и опрятен, и цветы на окнах политы и вымыты... А посмотрели бы вы на нее в рабочую пору, когда хлеб созреет...»

Но в мирную жизнь героя врывается новое чувство — страстное увлечение племянницей помещика, у которого он служит регентом, то есть руководителем церковного хора. Стихия романтической любви, свободы, музыки, утонченной красоты захватывает его.

Заканчивается история трагически: благосклонность избалованной девицы оказывается лишь капризом, покинутая и невольно, в припадке отчаяния, грубо оскорбленная героем Таня умирает, сам герой оклеветан и изгнан из усадьбы[1]. Салов подчеркивает социальный аспект любовной драмы. Ему удалось очень органично связать эти два мотива, не впадая в сентиментальность и не сводя все к общественному неравенству героев.

Первые публикации молодого писателя, доброжелательно встреченные, вдохновили его на продолжение литературных трудов, и вскоре рассказы Салова печатаются в «Современнике» («Лесник», 1858), «Отечественных записках» («Мертвое тело», 1859), в газетах «Московский вестник» («Барин») и «Современность» («Трактир»).

В этих произведениях проявились те качества художника, которые и тогда, и позднее позволяли критикам (впрочем, справедливо только отчасти) относить его к «школе беллетристов сороковых годов»: прекрасное знание жизненного материала и вкус к обрисовке деталей, тонкая наблюдательность при некотором внешнем объективизме, мастерство пейзажа, напоминавшее читателям и критикам тургеневские «Записки охотника».

Но на этом сходство и кончалось, потому что Салов (как и Тургенев) прежде всего не просто наблюдатель, а художник; душа человека, его судьба, динамика сюжета и движущие его силы интересуют писателя больше, чем собственно детали быта и характерные типажи.

В новых рассказах Салова усиливается демократическое идейное звучание и социальная заостренность коллизий и характеристик. Первый же эпизод рассказа «Мертвое тело» (встреча мужичка со становым) вводит нас в мир уже привычного неблагополучия, где человеческое унижение, страдание и даже гибель воспринимаются не как трагедия, а как естественное положение вещей. Трогательная история любви бывшего бурсака Калистова и дочери бедного священника Лизы, закончившаяся трагической смертью героя и душевной драмой героини, зримо показала читателю

---

[1] Характерно, что в редакции «Русского вестника» финал рассказа более благополучен. При подготовке двухтомного издания своих сочинений (1884) писатель усилил драматизм и социальное звучание произведения.

хрупкость счастья бедного человека в мире социальной несправедливости. Достаточно легкого недовольства влиятельного чиновника — «благомыслящего человека», которого автор рисует с нескрываемым сарказмом,— чтобы разрушились все надежды героев и непоправимо сломались их судьбы.

Трагический сюжет заключен Саловым, как это будет характерно для многих его рассказов, в рамку мастерских пейзажных зарисовок. Критики по-разному оценивали этот прием художника. А. М. Скабичевский считал его недостатком писательской манеры Салова: «Там где-нибудь за горою человека душат, и он бьется в предсмертных судорогах, а автор ведет читателя на рыбную ловлю и показывает, как кротко луна смотрится в тихое, зеркальное озеро, как купаются в нем плакучие вербы, застывшие в безмолвном сне, как радостно сверкает разведенный костер... Салов в этом отношении в своем роде жестокий талант»[1].

Иначе трактовал эту особенность писателя критик К. П. Медведский: Салов «много места уделяет описаниям природы, которую... знает превосходно. ...Вы все время чувствуете себя на вольном воздухе, на просторе». Это помогает «глубже понимать смысл наблюдаемых явлений...». «Свободная река, свободный лес, ясное небо, неоглядные поля — все это стоит на страже человеческого духа и помогает в известную минуту»[2].

Думается, что критик «Исторического вестника» ближе к истине, чем Скабичевский.

В произведениях Салова нередко отмечали недостаток философичности, отсутствие четких выводов. «Вы видите ряд снимков с конкретной действительности, несомненно верных и живых; они возмущают вас до последней крайности, но тщетно ждете вы, чтобы автор осветил их философским анализом чтобы вы могли видеть как причины раскрывающихся перед вами явлений, так и исход из них,— какой бы ни было, но непременно исход»[3],— писал тот же Скабичевский.

Саловские пейзажи как раз и несут в себе не только эстетический, но и философский смысл, не декларативно, а художественно рисуя «исход», противопоставляя «возмутительной неурядице людских отношений» естественное, здоровое, гармоничное жизнеустройство. Пейзаж позволяет Салову уйти от узкого социологизма, расширить рамки конкретного сюжета и соотнести события с широкой картиной жизни, придав им таким образом общечеловеческое звучание.

Произведения Салова, конечно, не указывают путей разрешения социальных проблем, но они четко обозначают сами проблемы, выявляя

---

[1] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг., с. 326.

[2] Медведский К. П. Современные литературные деятели.— Исторический вестник, 1893, т. 54, с. 170, 172.

[3] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг., с. 326.

социальные болезни, рождают сознание необходимости их разрешения.

В «Мертвом теле» сделаны наброски отдельных типов, которые позднее Салов будет детально разрабатывать: это новоиспеченный купец Свистунов, обокравший хозяина в бытность свою приказчиком и таким образом разбогатевший; распоясавшийся хам и взяточник становой; юродствующий циник письмоводитель. Яркими мазками нарисован светлый, праздничный, но таящий в себе трагическую глубину характер Лизы.

Салову было свойственно целостное восприятие мира, и уже в первых его рассказах жизнь предстает во всех своих аспектах — социальном, нравственном, эстетическом. Даже небольшие, порой непритязательные, зарисовки («Барин», «Лесник», «Трактир»), отражающие характерные явления предреформенного быта, непременно затрагивают и нравственную сторону этих явлений. Салов с горечью констатирует факты экономического упадка, разложения нравов, рождение новых, все более жестких форм эксплуатации, рисует картины дворянского оскудения, дает портреты представителей новых «хозяев жизни» — кулаков и купцов-мироедов.

Так, в рассказе «Барин» в тихую, затерянную в непроходимом лесу деревушку, где, благодаря ее отдаленности и богатому лесу, крестьянам живется вольно и безбедно, должен приехать давным-давно не навещавший ее барин. Мужики с радостью готовятся встретить дорогого гостя, ремонтируют дорогу, оборудуют и украшают дом, где он должен остановиться. Но появление помещика, который, вопреки наивным ожиданиям крестьян, безразличен и к ним, и к родным местам, приносит в деревню только горе. Барин продает купцу на сруб лес, служивший крестьянам источником жизни, и весь свой хлеб. «Как же нам без лесу-то жить... ваше сиятельство!..» — в отчаянии восклицают мужики.

Салов указал здесь на характерное для предреформенного периода явление, когда многие помещики, в предвидении скорого освобождения крестьян (первые реальные проекты которого, как известно, были разработаны еще в 1857 году) и не рассчитывая сохранить за собой все принадлежавшие им земли, старались извлечь из уплывающей собственности наибольшую выгоду: продавали земли, леса и хлеб, освобождали крестьян за выкуп (а иногда и без такового), чтобы предупредить наделение их землей и т. д. Это было одной из причин тяжелого положения, в котором оказался народ после и без того грабительской крестьянской реформы. Начиналось обезземеливание и обнищание крестьян, распадалась крестьянская община, разваливалось помещичье хозяйство — главная основа экономики дореформенной России, и над всем этим воцарялись новые хозяева — кулак и купец — алчные, как всякие временщики.

Вот эти-то болезненные процессы капитализации деревни и сопровождающие их драмы — общественные и личные — станут основным предметом художественного исследования Салова в 70—90-е годы.

II

Между первым периодом активной творческой деятельности писателя, завершившимся в 1863 году публикацией романа «Бутузка» в журнале братьев Достоевских «Время», и новым обращением Салова к литературе прошло почти пятнадцать лет, заполненных важными переменами в его судьбе, накоплением обширных знаний о жизни всех общественных слоев России, где по меткому выражению Л. Толстого, «все переворотилось и еще только укладывалось».

В начале 60-х годов (точная дата не установлена) Саловы получают наследство после смерти богатого родственника. Подарок судьбы явился совсем неожиданно: материальное положение семьи хотя несколько и улучшилось, но оставалось весьма трудным; во всяком случае, когда Илье Александровичу надо было ехать в Петербург на похороны дяди и для раздела наследства, в доме нашлось только три рубля.

Став неожиданно совладельцем имения в четыре тысячи десятин, Салов оставил службу и с женой — племянницей бывшего опекуна А. А. Тучкова — уехал за границу, где провел с небольшим перерывом два года, объехав многие культурные центры Европы: Берлин, Париж, Рим, Неаполь, Ниццу.

Вернувшись в Россию (очевидно, в 1863—1864 гг.), Салов застает не только сложную общественную обстановку, связанную с проведением ущербной крестьянской реформы, но и раскол и полемику, порой очень острую, в рядах передовой русской демократии, перенесшей ряд тяжелых потерь: в ноябре 1861 года умер Добролюбов, через полгода был надолго приостановлен «Современник», еще через месяц арестованы Чернышевский и Писарев. Новая редакция «Современника», возобновленного в январе 1863 года и по-прежнему возглавлявшегося Некрасовым, уже не отличалась единством. Возникли разногласия между М. Е. Салтыковым-Щедриным, с одной стороны, и М. А. Антоновичем с Г. З. Елисеевым — с другой, в результате чего сатирик ушел из журнала. Шла резкая дискуссия «Современника» с «Русским словом» (где вновь публиковались статьи Писарева), вызванная разногласиями по вопросу о тактике общественной борьбы в новых условиях.

Такая обстановка — и общественная, и литературная — не благоприятствовала продолжению творческой деятельности Салова. Здесь сказывались отсутствие четких политических взглядов и особенности самого таланта писателя; ему, как, скажем, и Гончарову, ближе были явления относительно сложившиеся, поддающиеся пластическому художественному воспроизведению.

Думается, что именно этими причинами, а не внезапным охлаждением

к литературному творчеству вызван был длительный отход Салова от писательской деятельности.

Поселившись в селе Ивановка Балашовского уезда Саратовской губернии, он вскоре был избран мировым судьей[1] и прослужил в этой должности девять лет. Служба, непосредственно столкнувшая его с самыми разными социальными слоями России, с самыми насущными общественными (в их частном преломлении) проблемами и конфликтами, дала писателю огромный материал для будущих произведений. Она позволила ему «близко наблюдать... типы кулаков, купцов, мещан, крестьян... Стоило мне, бывало, посмотреть на человека, поговорить с ним некоторое время, и я уже как будто читал у него в душе»,— вспоминал Салов.

«Переворотившаяся» жизнь постепенно «укладывалась», приобретая хотя и вопиюще неудовлетворительные, но достаточно четкие формы, и в 1877 году, после пятнадцатилетнего перерыва, Салов возвращается в литературу. Очевидно, способствовали этому и личные обстоятельства: переезд писателя из деревни в Саратов и служба в течение трех лет в Саратовском Мариинском институте, где он, «очутившись среди детей и подрастающего юного поколения... воспрянул духом». Накопленные в деревне наблюдения здесь, на некотором отдалении от объекта, легче складывались в художественные образы.

Общественные язвы, симптомы которых были уловлены писателем еще в ранних рассказах, стали повсеместной реальностью. Страна встала на путь капиталистического развития. «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка»[2]. Капиталистическая экспансия в деревне сопровождалась мучительными процессами социального расслоения крестьянства; обделенная землей беднота разорялась и вливалась в растущую и еще слабо организованную массу пролетариата; с утратой «власти земли» распадались и веками складывавшиеся нравственные устои и традиции; сельская община разрывалась от противоречий; помещики, привыкшие к даровому крестьянскому труду, не могли организовать хозяйство на основе труда наемного, продавали земли и леса.

Развитие капиталистических отношений в России вывело на авансцену в деревне кулачество и купцов-мироедов.

Этот тип не был для Салова новым; писатель, как мы помним,

[1] Институт мировых судей, представлявший в целом шаг к демократизации и упрощению суда, был учрежден в России судебной реформой 1864 г. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями, а в городах — городскими управами сроком на три года. Они рассматривали несложные гражданские и мелкие уголовные дела.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 597—598.

изобразил его, правда бегло, еще в рассказе «Барин». В рассказе «Мельница купца Чесалкина», опубликованном «Отечественными записками» М. Е. Салтыкова-Щедрина в августе 1877 года, новый «столп общества» — кулак становится главным предметом художественного исследования.

Прекрасно изучивший российскую провинцию, знавший ее, что называется, из первых рук, Салов совершенно самостоятельно обратился к освещению важнейших и самых драматических сторон народной жизни 1870—1880-х годов.

Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что «в выборе темы «чумазого» Саловым «сказалось влияние щедринской сатиры»[1]. Писатель сам подчеркивал, что, описывая кулаков, никому не подражал; он и не нуждался в этом, так как «срисовывал то, что происходило перед глазами чуть ли не ежедневно. Все мои кулаки,— писал Салов,— как-то: Обертышевы, Облапошевы — были списаны с натуры. В некоторых из типов я изменял только фамилии, но все мои читатели, проживающие в одной со мной местности, тотчас же узнавали моих героев и потом уже называли их не по собственным их фамилиям, а по именам, мною вымышленным».

Вместе с тем, конечно, художественная публицистика М. Е. Салтыкова-Щедрина, первым заклеймившего в образах Дерунова («Благонамеренные речи», 1872—1876), Колупаева и Разуваева («Убежище Монрепо», 1878—1879) хищническую сущность буржуазного предпринимательства в деревне помогала писателям в анализе жизни пореформенного крестьянства, разоблачении бурной деятельности кулаков и мироедов. Писатели-демократы образовали мощный противовес буржуазной литературе, пытавшейся прославить ум, энергию и предприимчивость новых «хозяев жизни».

В «Мельнице купца Чесалкина» Салов точными штрихами запечатлел этот тип, с его показной простотой, ханжеством, алчностью и глубокой безнравственностью. Чесалкин не брезгует ничем: он спекулирует скотом и мукой, скупает землю, нагло обманывает крестьян, приобретая капитал, а следовательно, и уважение властей, духовенства и своих конкурентов.

Салов сумел показать в своем персонаже типические черты, не схематизируя его, выписав сочно и детально. В рассказе проявилось мастерство Салова-портретиста, умение его выразительно передать речь действующих лиц. Эти достоинства свойственны и другим произведениям писателя, и они находятся в несомненной связи с его опытом драматурга. Боль-

[1] Покусаев Е. И. А. Салов.— В кн.: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956, с. 7. Е. И. Покусаеву принадлежит заслуга первого ознакомления современного читателя с творчеством И. А. Салова.

ное место занимают в рассказе любовно выписанные картины природы, несколько, правда, растянутые.

Рассказ понравился Салтыкову-Щедрину, имел успех и у читателей; о нем, вспоминал Салов, «в свое время довольно много говорилось в газетах; отзывы были все лестные, что немало поощрило меня к дальнейшим занятиям литературным трудом».

Вскоре в «Отечественных записках» появляются еще два рассказа Салова: «Грызуны» (1878, № 6) и «Аспид» (1879, № 2). Творчество писателя заинтересовало М. Е. Салтыкова-Щедрина, и редактор «Отечественных записок» предложил ему стать постоянным сотрудником журнала. «Милостивый государь Илья Александрович,— писал он Салову в декабре 1878 года.— Рассказ Ваш «Аспид» будет помещен в одной из ближайших книг «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исок⟩» 1879 г. на предложенных Вами условиях. Редакция надеется, что Вы и впредь не оставите ее своим сотрудничеством»[1].

Из опубликованных в 70-е годы в «Отечественных записках» произведений Салова «Аспид»[2] особенно выделяется — как по идейной значимости, так и по художественным достоинствам.

Салов неподражаемо умеет воссоздать живое течение жизни, не обходя острых проблем и конфликтов, естественно подводя к ним читателя и не вычленяя их из цельного жизненного потока. Рассказ, как и большинство произведений писателя, открывается мастерским пейзажем — точным, динамичным, живым. И затем, постепенно, по мере встреч рассказчика — охотника и рыболова — с другими персонажами, читатель входит в мир мучительных социальных и нравственных проблем, в мир, где представления о справедливости и общественном благе, совести и добре с горечью определяются автором как «утопия».

Один из героев рассказа, Савелий Касьяныч Смагин, простой, честный и добрый человек, с болью наблюдает разорение и нравственное разложение народа. Среди причин и проявлений народного бедствия его особенно тревожит пьянство — страшное социальное зло, захватившее Россию в 70—80-е годы прошлого столетия и порожденное лихорадочной активизацией частного капитала. Это явление глубоко волновало крупнейших писателей, в том числе Достоевского и Толстого, и отражалось в их творчестве.

Герой Салова проводит целое исследование, убеждающее, что кабатчики (кулаки, мироеды и помещики, захваченные борьбой за выживание и не

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1976, т. 19 (1), с. 93.

[2] См. в сб.: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956.

брезгующие самыми безнравственными методами) и заводчики сознательно спаивают крестьян ради получения больших доходов и заключения выгодных сделок.

И хотя персонаж Салова не идет дальше предложения законодательных мер, автор, а с ним и читатель видят за нарисованной героем картиной социальные корни зла.

К осознанию их и подводит писатель, показывая в «Аспиде» новую, уже зрелую модификацию купца Чесалкина — Архипа Фомича Глотова. Он сохранил все типологические черты своего предшественника, но теперь это уже не суетливый, недавно начавший богатеть спекулянт, а крупный воротила, подлинный «столп общества» во всем своем могуществе. «Архип Фомич был сила, которую ничто не могло сокрушить...»

Разбогател он все теми же нечистоплотными приемами: скупкой и спекуляцией, бессовестным обманом и жестокостью. Если в «Мельнице купца Чесалкина» центральный персонаж еще вызывал в отдельные моменты искру сочувственного интереса (например, в сцене покупки пшеницы, когда Чесалкин — само воплощение живой энергии: «Машет руками, вспрыгивает на воздух, кричит, божится, крестится, ругается, хлопает мужика по ладони...» и т. д.), то относительно Глотова писатель уже не оставляет места для иллюзий.

Точность постановки социальных и нравственных проблем, динамичность и драматизм сюжета, мастерство словесного портрета и диалогов, живые картины природы, органичность и естественность рассказа определили его идейную и художественную ценность.

После «Аспида» все значительные произведения Салова (кроме «Грачевского крокодила», о нем речь чуть ниже) печатались в «Отечественных записках» вплоть до закрытия журнала. Период сотрудничества в передовом журнале русской демократии был самым плодотворным в творческой деятельности Салова. Это отмечал и сам писатель: «...больше всего нравятся мне небольшие рассказы, печатавшиеся при Салтыкове в «Отечественных записках»[1]. Творческой активности писателя немало содействовал Салтыков-Щедрин, который, по признанию Салова, не давал ему «залениваться». Действительно, практически все письма к нему редактора «Отечественных записок» содержат приглашение печатать в журнале новые вещи: «...весьма обязали бы присылкою» (от 11 февраля 1880 г.), «...будьте так добры уведомить меня, когда Вы приблизительно можете сделать Ваш вклад в наш журнал...» (от 15 мая 1880 г.), «Ежели у Вас есть что-нибудь готовое для «Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исок⟩», то весьма обязали бы, приславши...» (от 29 ноября 1880 г.), «если у Вас есть еще

[1] Цит. по кн.: Салов И. А. Повести и рассказы, с. 8.

повесть, то пришлите» (от 6 апреля 1881 г.), «...позволяю себе напомнить о Вашем любезном обещании» (от 1 марта 1882 г.) и т. п.

За довольно короткий период, с 1877 по 1883 год, Салов опубликовал в «Отечественных записках» четырнадцать рассказов и повестей, среди которых такие значительные вещи, как «Арендатор», «Несобравшиеся дрожжи», «Крапивники», «Паук», «Соловьятники», «Ольшанский молодой барин», «Николай Суетной». Все они были посвящены современности и всесторонне раскрывали перед читателем драматическую картину жизни пореформенного крестьянства. «Г-н Салов хорошо знает жизнь деревни, вернее, одну сторону этой жизни, но сторону в высшей степени существенную и современную,— писал критик журнала «Дело».— Он рассказывает нам о хищнической деятельности Разуваевых и Колупаевых...»[1]

Однако этим, конечно, не ограничивался писательский диапазон Салова. Тематика его рассказов была значительно шире обозначенной в отзыве «Дела». Как и прежде, Салов рисовал жизнь во всех ее проявлениях — светлых и темных, злободневных и вечных,— но постоянно имея в виду главные, определяющие ее факторы, каковыми и были тогда в деревне развитие буржуазии, обнищание крестьянства, распад крестьянского «мира», упадок помещичьего хозяйства и т. д.

Если попытаться воссоздать по произведениям писателя его идейные позиции, то точнее всего, видимо, было бы назвать его крестьянским демократом. Он не разделял упований славянофилов и народников на крестьянскую общину, хотя был горячо убежден в ее принципиальной ценности и целесообразности. Он слишком близко видел и хорошо знал народ, чтобы поддержать, на том этапе становления самосознания крестьянства, идею крестьянской революции. Он, разумеется, не мог примкнуть к апологетам буржуазии, несущей неисчислимые бедствия народу на пути своего развития. Прекрасно понимая глубину назревших социальных проблем, не принимал он и либерально-народническую теорию «малых дел».

Взгляды Салова носили общедемократический характер, однако не были достаточно разработаны, «чтобы стать идейным основанием для цельного, широкого и последовательного мировоззрения»[2]. Но многие ли в то сложное время стояли на политически безупречно верных позициях! Трудно требовать от писателя из глубокой провинции выверенных и зрелых идейных взглядов, когда крупнейшие умы России не видели четкой перспективы развития страны и движущих сил этого развития. Для своего времени идейные взгляды Салова были безусловно прогрессивными, хотя иногда и не вполне последовательными.

---

[1] Дело, 1884, № 2, Современное обозрение, с. 47.

[2] Покусаев Е. И. А. Салов, с. 7.

В частности, это проявилось в творческой истории одной из лучших его повестей — «Грачевский крокодил», первый вариант которой, в карикатурном виде изображавший «нигилиста» 70-х годов и названный демократической критикой «пасквилем»[1], был отвергнут М. Е. Салтыковым-Щедриным и возвращен автору. Редактор «Отечественных записок» в резкой форме выразил «свое неудовольствие по поводу этой повести»,- вспоминал Салов,— и не без язвительности высказывал предположение, что автор, «вероятно, ошибся, адресуя эту повесть в «Отечественные записки», тогда как ее следовало адресовать в «Русский вестник» (носивший к тому времени откровенно реакционный характер).

Обиженный отказом, Салов действительно отправил повесть в этот журнал, где она вскоре была напечатана. Идейные разногласия подобного же характера возникли между Саловым и Салтыковым и по поводу повести «Несобравшиеся дрожжи». Однако Салтыков-Щедрин понимал, что идейно-художественные просчеты в этих произведениях не были проявлением сознательной позиции писателя. Уже через несколько дней после публикации «Грачевского крокодила» в «Русском вестнике» он пишет Салову, прося прислать «чего-нибудь нового и тем покончить... недоразумение» и подчеркивая, что «редакция весьма ценит его участие в журнале».

Идейные ошибки в этих произведениях Салова носили действительно не принципиальный характер, а были вызваны прежде всего особенностями творческого метода писателя, его склонностью к фотографизму. Тип «нигилиста», представителя передовой молодежи 70-х годов, и без того неоднозначный, да к тому же оклеветанный рептильной прессой, был новым и мало знакомым для Салова, и случайные черты он легко принял за характерные, изобразив «нигилиста» в своем Асклипиодоте Психологове первой редакции повести пьяницей, развратником, вором и бездельником. Салов чисто фотографически воспроизвел здесь личность одного из виденных им молодых людей: «Нигилист этот был мною списан с натуры, так как жил в одном со мной селе».

Вот так случайно замеченные черты, может быть не самые характерные даже и для данной личности, писатель попытался сложить в образ и в результате, конечно, потерпел творческую неудачу. Он и сам признавался: «Чтобы изобразить какой-нибудь *тип*, мне необходимо было видеть его, говорить с ним, словом, изучить до тонкости все его малейшие детали» (выделено нами.— *Авт.*).

О несвойственности Салову антинигилистических настроений убедительно говорит и тот факт, что вторая представительница молодого поколения, Мелитина Петровна, революционерка-народница, пропагандистка, уже в первом варианте была нарисована с глубокой симпатией и перешла в новую редакцию без изменений. Это молодая девушка, с первого же знаком-

[1] Дело, 1884, № 2, с. 46.

ства привлекающая к себе людей Ее сразу полюбила патриархальная старушка помещица Анфиса Ивановна, у которой героиня останавливается под видом племянницы, «полюбили Мелитину Петровну не только вся дворня но даже и окрестные крестьяне. Она умела со всеми поладить».

Подлинное имя героини остается читателю неизвестным. Она приезжает в деревню с целью изучения жизни народа и революционной пропаганды: без устали ходит по деревням, беседуя с крестьянами, разъясняя им причины их тяжелой жизни, помогая больным; ведет большую и таинственную переписку; пытается распространять политические брошюры и воззвания, изучает труд и жизнь рабочих на ближайших заводах. Это человек политически зрелый, видимо, знакомый с основными идеями марксизма. «Мелитина Петровна объяснила, что на заводах и фабриках народ гораздо развитее, что хлебопашество развивает в человеке мечтательность и идиллию, тогда как машины, перерабатывая пеньку, шерсть бумагу, шелк и т. п., вместе с тем незаметно перерабатывают и человеческий мозг... как-то случилось ей быть в Шуе, и... она пришла в восторг от народа».

Девушка-революционерка выступает за всеобщее, обязательное образование, за освобождение женщин, резко критикует такие компромиссные формы облегчения жизни народа, как барский филантропизм и земство.

Ее богатый революционный опыт подтверждается не только прекрасным умением вести работу в любых условиях (что Салов показал очень живо и убедительно), но и сведениями жандармерии, согласно которым она «обвиняется во многих преступлениях». Когда возникает реальная угроза разоблачения и ареста, героиня опережает жандармов и исчезает, оставив лишь пепел от сожженных бумаг и записку Анфисе Ивановне с извинениями за обман: «Я... решилась... приехать к Вам для достижения известных мне целей. Но расчеты мои оказались неверными, и я принуждена была перенести свою деятельность на почву более благодарную».

Очевидно, по цензурным соображениям или, может быть, следуя логике характера (Мелитина Петровна бедна, собственности она не ценит и «святости» ее, безусловно, не признает) Салов вводит в повесть эпизод присвоения героиней чужих вещей, но, в отличие от авторов антинигилистических романов, не только не осуждает ее, объясняя, что деньги необходимы были для бегства («на издержки по проезду»), но и показывает это как совершенно незначительный факт: прочитав письмо Мелитины Петровны с разъяснением причины пропажи и с сообщением, что в ее имении крокодилы не водятся, Анфиса Ивановна говорит: «Слава тебе, господи!.. Крокодилов у нас нет», — и сожалеет об отъезде «племянницы»: «...умница была, веселая, разбитная...»

Салов сумел смело, живо, полнокровно и с несомненной симпатией нарисовать образ представительницы передовой молодежи 1870-х годов.

Гораздо меньше удались ему в первой редакции остальные персонажи, художественное несовершенство которых (в частности, отца Ивана) признавал и сам писатель. Готовя повесть для отдельного издания 1884 года, он в корне переработал образ Асклипиодота, совершенно заново написал попа Ивана, значительно изменил характеристики властей предержащих.

Критика первого варианта повести М. Е. Салтыковым-Щедриным, дальнейшее общение (в основном, к сожалению, заочное) с лучшими представителями передовых демократических кругов, сотрудниками «Отечественных записок», помогли Салову разобраться в причинах идейной и художественной несостоятельности ранней редакции и создать новое произведение, по справедливости признанное одним из лучших (по мнению некоторых — лучшим) в наследии писателя.

Передовая демократическая критика того времени отмечала сразу после выхода отдельным изданием «Грачевского крокодила» и ряда других произведений Салова: «Характеристическая черта симпатичного дарования г. Салова состоит в полнейшей искренности и правдивости. Все повести и рассказы его... свидетельствуют, во-первых, о знакомстве автора с предметом, во-вторых, о его добросовестном желании осветить перед читателем явления в их настоящем свете...». «Беллетристический талант г. Салова не подлежит никакому сомнению»[1].

В «Грачевском крокодиле» во всю силу свою развернулся дар Салова — социолога, бытописателя, мастера увлекательного сюжета, пейзажиста, знатока русской речи, портретиста; здесь мы встретим самые разные виды и уровни смеха — от добродушного юмора до острой сатиры.

Главный герой повести Салова жизнь в разнообразных своих проявлениях. В размеренный, патриархальный, внешне благополучный, почти не затронутый общественными потрясениями мир старушки помещицы Анфисы Ивановны Столбиковой вторгаются новые веяния и тревоги. Салов показывает, насколько иллюзорна устойчивость этого по-своему привлекательного, нарисованного местами буквально с гоголевским мастерством мира.

Потрясает жизнь и благоустроенный быт попа Ивана: рушится его построенное неусыпными трудами материальное благополучие, надламывается здоровье, навсегда исчезает душевное равновесие и покой.

У стариков раскрываются глаза на страшное общественное неустройство, социальное неблагополучие. Салов находит для характеристики современной ему жизни точный обобщающий образ «спершейся воды». «Видал ли ты когда-нибудь,— говорит отцу Асклипиодот,— как зимой к проруби мелкая рыба сплывается... Сплывается она и жадно глотает воздух. Мужики говорят: «Вода сперлась, душно рыбе!» Этот глубокий образ напоминает нам о мире «бедных людей» Достоевского, задыхающихся в «домах без форточек», на «пятачке пространства». С героями его

[1] Дело, 1884, № 2, с. 46.

романов перекликается и образ подлинной Мелитины Петровны, которую отыскивают в Петербурге уже после исчезновения девушки-революционерки.

Но самым удачным образом в повести оказался отец Иван, нарисованный Саловым сочно, метко, динамично. Поп Иван ничем не напоминает правоверного служителя культа. Салов подчеркивает, что «это был мужик (именно мужик)», умный, деятельный, трудолюбивый и предприимчивый. Картины жизни героя нарисованы писателем поистине с замечательным мастерством (особенно выделяются главы 24, 27, 28, 34). Этот характер близок к крестьянскому идеалу Салова, и не случайно именно ему отданы самые, пожалуй, вдохновенные страницы повести — сцена езды на тройке, вызывающая в памяти Гоголя: «...кровь закипела в нем, он выхватил вожжи... стал стоймя в тележке, ахнул, гикнул, и не прошло пяти минут, как вылетел из-за тарантаса и, поравнявшись с ним, полетел рядом. Он стоял, немного запрокинувшись назад, выставив вперед правую ногу, вытянув обе руки... волосы и борода развевались по ветру, фалды полукафтанья тоже, а лошади летели все шибче и шибче, закусив удила, разметав гривы, приложив уши...»

Но и эту русскую удаль и силу сокрушает жизнь. В конце повести больной, обедневший, надломленный несчастьями преследуемого полицией сына отец Иван бросает хозяйство, теряет службу и пытается помогать Асклипиодоту в организации обучения крестьянских ребятишек. Новая, глубокая мудрость и человечность приходит к герою. Писатель раскрывает неисчерпаемые возможности этого характера.

Резко сатирически изображены Саловым представители власти (особенно бесноватый становой) и аристократии; с глубоким сочувствием, но и с критикой пассивности, косности, пьянства нарисованы крестьяне; затрагивает писатель и жизнь городской бедноты (подлинная Мелитина Петровна) и молодежи (Асклипиодот и гувернантка князя); разнообразными типажами представлено мещанство; встречается читатель повести и с представителями духовенства, чиновниками, предпринимателями, банкирами и т. д. «Грачевский крокодил» стал широкой картиной жизни русской провинции 70—80-х годов XIX века.

К образам передовой молодежи Салов неоднократно обращался и в других произведениях («Несобравшиеся дрожжи», «Паук», «Ольшанский молодой барин»), вплоть до закрытия «Отечественных записок» и наступления жесточайшей реакции, но создать такой полнокровный, смелый и яркий характер, как революционерка в «Грачевском крокодиле», ему больше не удалось.

Большинство произведений Салова начала 1880-х годов посвящено деревне, но теперь писатель уже не только констатирует ее разорение и упадок, а, наряду с разнообразными мастерскими типажами «аспидов» и «пауков», все чаще рисует наиболее интересных и ярких пред-

ставителей народа. В этом, видимо, сказалась активизация крестьянского движения начала 1880-х годов, когда в результате русско-турецкой войны 1877—1878 годов и неурожаев 1879 и 1880 годов еще более обострились бедствия крестьян и назревала революционная ситуация.

Рассказы и повести Салова этого периода примыкают к народнической литературе, с той, однако, разницей, что в них отсутствует элемент прямой пропаганды. Это было связано не только с умеренной идейной позицией автора, но прежде всего с особенностями его художественной манеры и с тем, что для Салова не было новизны в явлениях, которые народники изучали, заглядывая, по словам Н. Н. Златовратского, «к мужику в горшок, в чашку, в рюмку, в карман... считая скотину... отбирая данные у кабатчиков... топчась по полям и лугам, меряя полосы шагами»[1] и т. д. Он глубоко знал все это и воплощал уже не в публицистике, а в художественных образах.

Большое место в произведениях Салова 80-х годов занимает исключительно актуальная тогда проблема сельской общины, раскрываемая им, в отличие от многих писателей-народников, с исторически верных позиций. Утверждая ценность крестьянского самоуправления, художник в то же время с глубокой горечью, но беспощадно правдиво показывает, как трещат и разрушаются устои деревенского «мира» под напором капитализации села и развития буржуазного хищничества. Община, во главе которой оказываются бесчестные и алчные или просто нравственно разложившиеся люди, косной силой встает против смелых идей Ивана Огородникова, холодно и безучаст но смотрит, как погибают бедняки-крестьяне, ничем не отвечая на мольбы о помощи. «Не пустите по миру, не дайте умереть с голоду»,— в отчая нии взывает Николай Суетной, падая в ноги «обчеству». Но оно молчит, «да так молча, один по одному» и расходится.

Герои произведений Салова 1880-х годов — Николай Суетной, Иван Огородников, Лукьян из «Шуклинского Пирогова», старик Дроныч из «Леса» и другие — умные, работящие, талантливые, предприимчивые люди. Они воплощают в себе лучшие черты народного характера.

Но в условиях мучительных социальных противоречий пореформенной России погибают даже эти сильные личности: мастер на все руки и «превеликий хлопотун» Николай Суетной повесился, сокрушенный несчастьями; могучий Иван Огородников, бунтарь, правдоискатель и изобретатель, погиб в непосильной борьбе с кулаками, власть которых он пытается подорвать, и с окружающей его темнотой и косностью; «патриарх» старик Дроныч, едва не погибнув от руки собственного сына, покинул деревню, где распадается и крестьянский «мир», и его частица — семья, поселился отшельником в лесу и т. д.

[1] Отечественные записки, 1879, № 10, с. 451.

Все упомянутые герои имеют много общего, так как воплощают крестьянский идеал Салова, но в то же время каждый наделен сугубо индивидуальным характером, обликом, судьбой. Персонажи писателя — всегда живые люди, а не схемы или рупоры идей автора.

Рисуя трагические судьбы даже самых сильных людей из народа, Салов показывал, что бедствия крестьянства вызваны объективными социальными условиями, а не частными, субъективными обстоятельствами. Горестное повествование о безысходной судьбе народа после «освобождения» — повесть «Николай Суетной», опубликованная в «Отечественных записках» в 1881 году, стала честным ответом художника на хвалебную шумиху, которой отмечалось двадцатилетие крестьянской реформы в реакционной и либеральной прессе.

Писатель открыто говорил о жгучих проблемах общественной жизни в период, когда, по словам Г. Успенского, нельзя было «написать «отрывка» из деревенского дневника и затронуть в нем хоть каплю из бесчисленных и настоятельных деревенских нужд, чтобы какой-нибудь литературный сыщик не указал на тебя как на человека, которого следовало бы истребить»[1].

В конце 70-х и в 80-е годы писатель возвращается и к театральной деятельности: талант драматурга никогда не угасал в Салове, и реалистические, колоритные, насыщенные диалогами рассказы и повести его буквально просились на сцену. Он переделывает в пьесы ряд своих произведений: «Аспид» (пьеса «Благодетель»), «Гусь лапчатый», «Ольшанский молодой барин» (пьеса «Степь-матушка»), «Мамзель», «Практика жизни» и др.— и пишет оригинальные пьесы («Степной богатырь», «Дармоедка», «Золотая рыбка», «Ошибка», «Солдатка Проська» и др.), активно выступает на страницах прессы с театральными рецензиями и статьями.

Пьесы Салова с успехом шли на сценах саратовского и московских театров, привлекая зрителей правдивостью, национальным колоритом, мастерским языком и особенно актуальностью проблематики, выгодно отличавшими их от мелодрам и «осколочных» водевилей тогдашних псевдокоролей драматургии Шпажинского и В. Крылова. Сам автор нередко выступал и в качестве режиссера-постановщика своих пьес.

К театральной деятельности Салов подходил как писатель-гражданин, как последовательный приверженец реалистического направления в искусстве. «Правда, и только она одна поражает человека — и достижения этой-то правды должен добиваться каждый художник»[2],— писал он. Театр, с его прямым, непосредственным воздействием на зрителя, открывал

[1] Успенский Г. Полн. собр. соч. Л., 1949, т. 8, с. 430.
[2] Саратовский справочный листок, 1879, 7 сент.

перед Саловым возможности, которых он не видел или не мог осуществить в собственно писательской деятельности. В воспоминаниях он признавался, что своими рассказами и повестями о кулаках-живоглотах «думал... обратить внимание тех, которым надлежало бы принять меры для обуздания их аппетитов, но, увы, их-то именно внимания обратить мне и не удалось».

Писатель, вслед за В. Г. Белинским и Н. В. Гоголем, считал: «Сцена есть та же школа — та же кафедра, с которой должна возвещаться истина»[1]. Он надеялся, что хотя словом сатиры со сцены и не сразу «пробьешь медный лоб и каменное сердце, но зато им возможно наложить такое клеймо, которое не скоро смывается»[2]. Конечно, в надеждах этих была немалая доля просветительских и либеральных иллюзий, но была в них и глубокая, в традициях русской культуры, гражданская вера в мощную воспитательную и созидательную силу искусства, силу слова.

Писатель отмечал бедность театрального репертуара, низкий уровень популярных у обывателя пьес и рекомендовал ставить на сцене лучшие произведения русской и зарубежной классики — драмы и комедии Островского, Фонвизина, Гоголя, Грибоедова, Мольера.

В своих театральных рецензиях Салов порой прямо связывал искусство со злобой дня, указывал на социальные язвы окружающей действительности. Так, по поводу драмы «Злая яма» он писал: «...не встречаются ли таковые... по соседству с нами? Конечно — сколько угодно... на одну из таких злых ям, которых, вероятно, немало, могу указать и я. Вот ее адрес: Мало-Царицынская улица, подвал в доме Будариной. В подвале этом проживает семейство О. Ф. Ч., совершенно в беспомощном состоянии. Семейство это состоит из старухи матери и пяти человек детей, в том числе двух дочерей... Вникните посерьезнее в участь этих двух несчастных девушек, подумайте, что ждет их, и удастся ли когда-нибудь выкарабкаться из этой злой ямы и не попасть в другую, еще злейшую. Ведь это очень потрясающая драма»[3].

Приведенный отрывок взят из поздней, 1898 года, театральной рецензии Салова, но и здесь, наряду с либеральными надеждами на возможность исправления положения «сверху», слышится откровенный социальный протест. В театральных рецензиях голос писателя обретал публицистическое звучание.

III

Талант И. А. Салова был в расцвете. Его рассказы и повести публиковались в «Отечественных записках» рядом с произведениями

---

[1] Саратовский справочный листок, 1879, 14 сент.
[2] Там же.
[3] Саратовский листок, 1898, 31 янв.

М. Е. Салтыкова-Щедрина, порой как бы предваряя конкретными и живыми образами широкие обобщения великого сатирика[1], ему прочили большое «литературное будущее»[2], ждали от него дальнейшего идейного и художественного роста: «...талант г. Салова... вполне достаточен, чтобы дать нам нечто большее и высшее, нежели простые фотографии, и автору не хватает этого только теоретического развития, которое, при доброй воле, приобрести нетрудно»[3].

Для возлагаемых на писателя надежд были основания: росло не только художественное мастерство Салова, но и идейное звучание его произведений. Писатель пробует свои силы в публицистике: печатает в «Саратовском листке» цикл очерков «Деревенская «колгота» (письма из деревни)», где с глубоким знанием дела, хотя и не без либеральных упований на введение более совершенных и разумных законов, рисует бедственное положение пореформенной деревни, нищенскую жизнь крестьянства.

В сознании современников имя Салова вставало рядом с именами любимейших писателей.

«...Мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Решетникова Федора,
Успенских двух, Левитова,

. . . .

Засодимского, Салова,
А главное — Некрасова,
Всего без исключения
С базара понесет»[4],—

писал, перефразируя Некрасова, поэт-демократ Н. А. Панов[5]. В 1884 году вышло первое двухтомное собрание сочинений Салова, имевшее большой успех у читателей и получившее положительные отзывы передовой критики.

---

[1] Например, рассказ Салова «Аспид» (Отечественные записки, 1879, № 2) непосредственно предшествует в номере журнала главе «Тревоги и радости в Монрепо» из «Убежища Монрепо» Салтыкова-Щедрина, где говорится о приходе в русскую жизнь Колупаевых и Разуваевых.

[2] Дело, 1884, № 2, с. 46.

[3] Там же, с. 48.

[4] Цит. по: Некрасовский сборник. М.— Л., 1956, т. 2, с. 496—497.

[5] См. о нем: Яцимирский А. И. Памяти поэта из народа.— Исторический вестник, 1906, № 10, с. 290—297. Также: Евгеньев-Максимов В. Е. Невышедшая книга о Н. А. Некрасове.— Некрасовский сборник, т. 2, с. 487—500.

Но творческий взлет писателя был прерван. После убийства народовольцами 1 марта 1881 года Александра II началась новая волна репрессий. Последовали аресты, ссылки и казни. В январе — апреле 1884 года был арестован ряд сотрудников «Отечественных записок» (Н. К. Михайловский, С. Н. Кривенко, М. А. Протопопов, А. И. Эртель и другие), и 20 апреля царское правительство запретило издание «Отечественных записок» — органа передовой русской демократии.

Салов, по его собственным словам, оказался «бесприютным». «Я привык писать в «Отечественные записки», как будто сроднился с ними, привык изредка переписываться с редакцией»,— вспоминал он. Писатель лишился не только «пристанища», но и идейной поддержки, лишился доброжелательного, строгого редактора. Для него, жителя глубокой провинции, все это было особенно сильным ударом.

Писатель скитается по разным редакциям: публикует свои произведения в журналах «Новь», «Северный вестник», «Нива», «Север», «Артист», «Всемирная иллюстрация», в газетах «Неделя», «Саратовский справочный листок», а с 1886 года — в либеральном журнале «Русская мысль». Отсутствие идейного руководства и постоянного «пристанища», а также ухудшение политической обстановки в стране, наступление эпохи «безвременья» отразились, конечно, на творчестве Салова. Ослабевает критическая направленность его произведений, их социальная заостренность, хотя они по-прежнему проникнуты любовью к простому народу и сочувствием ему. Убедительное свидетельство демократизма позднего творчества Салова — роман «Практика жизни», рассказы «Старый доезжачий», «Босоножка», «Медоломы», «Голодовка», «Филемон и Бавкида», «Тернистый путь» и др.

Сюжет рассказа «Филемон и Бавкида» слегка напоминает «Тупейного художника» Лескова, хотя и уступает ему в социальной заостренности, в драматизме. История саловских героев печальна, но завершается в конце концов благополучно, да и сама тональность повествования у Салова лишена трагической напряженности лесковского рассказа. Драматические события здесь отнесены в прошлое, а к моменту встречи героев — любящих друг друга крепостных — с автором-рассказчиком они получают наконец свободу и поселяются в собственном доме.

Однако внимательный, не поверхностный читатель сразу уловит глубокую демократическую направленность произведения. Простые крепостные, дворовые люди оказываются подлинными наследниками всего лучшего, утонченного и романтического в прошлом. Они несут в себе целомудрие, способность к возвышенному, глубокому чувству, к верной, нестареющей любви. Под внешней примиренностью с судьбой кроется неугасающее стремление к свободе. Это люди глубоко независимые, самостоятельно, вопреки господской воле строящие свою судьбу.

Резким, хотя и не подчеркнутым контрастом героям выглядит безобразная помещичья супружеская пара, с ее деспотизмом и распущенностью.

Нелегкую жизнь крестьянской семьи рисует Салов и в одном из последних своих рассказов — «Тернистый путь», хотя здесь либеральные позиции писателя проявляются, пожалуй, еще отчетливее. Однако рассказ этот интересен как свидетельство верности художника принципам критического реализма в эпоху распространившихся идейных и эстетических шатаний в литературе. Как и в прежних произведениях Салова, в рассказе привлекает его демократическая и патриотическая направленность, психологизм, художественная убедительность образов.

После закрытия «Отечественных записок» Салов продолжал писать прозу, выступая и как драматург, в 1897 году опубликовал в журнале «Русская мысль» свои воспоминания «Умчавшиеся годы». Однако период творческого расцвета для него миновал. Все меньше оставалось надежд на улучшение общественной ситуации «сверху», слабела просветительская вера в действенную силу художественного слова. Неблагоприятно складывались и личные обстоятельства: от чахотки умерла жена, одолевали болезни и самого писателя; несмотря на службу и литературные заработки, над ним постоянно висела угроза полного разорения. «Приедешь, бывало, в редакцию, покажешь ей публикацию о продаже имения, и она, бывало выручит»,— вспоминал Салов.

В результате тяжелой болезни с 1895 года он уже не мог сам записывать свои произведения, и ему приходилось их диктовать. Больной, парализованный, писатель не оставил работы, не утратил мужества, любви к жизни, веры в народ. Именно в эти годы были написаны им рассказы «Филемон и Бавкида» (1897), «Тернистый путь» (1900).

В декабре 1902 года Салова не стало. Русская литература лишилась талантливого писателя-реалиста, демократа и патриота, защитника народных интересов, тонкого художника. Талант Салова реализовался не полностью, при других, более благоприятных обстоятельствах его вклад в отечественную культуру мог быть более весомым, но и того, что он сумел сделать, достаточно для благодарной памяти о нем. «Мы, русские,— писал в свое время Д. Н. Мамин-Сибиряк,— можем справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов и т. д. Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется»[1].

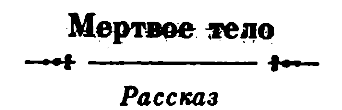
Вслед за другими русскими писателями время это наступило и для И. А. Салова.

Т. Н. Ковалева, В. В. Танаков

---

[1] Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1955, т. 8, с. 634.

Мертвое тело



Рассказ

Зла беда,— не буря:
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.
От ее напасти
Не уйти на лыжах:
В чистом поле найдет,
В темном лесе сыщет...[1]

Кольцов

Медленно ступала подо мною лошадь по пыльной дороге, ведущей в сельцо Комаровку, через которое мне необходимо было проехать, чтобы попасть к себе домой. Повесив, вместе с поводами, на переднюю луку седла картуз, я сидел и едва дышал от жара. Ноги, выдернутые из стремян, болтались туда и сюда, руки тоже, а глаза утомленно блуждали по полю, вспаханному под рожь и по поверхности которого от сильного жара дрожали и бежали так называемые «полудéнки». И ни малейшего ветерка, ни малейшей жизни в природе! Все как будто замерло и закалилось от пыли и жгучих лучей солнца. Даже птицы и те куда-то попрятались, и на всем поле виднелся только один громадный коршун, да и тот сидел, опустив крылья и разинув клюв. Где-то далеко слышался не то какой-то вопль, не то какое-то пение... Я обернулся, посмотрел в ту сторону и увидал толпу народа... блестели позолоченные образа, виднелись красные хоругви, поп в парчовой ризе, а дьячки пели: «Даждь дождь земле жаждущей!» — толпа стояла на коленях, молилась, а жаркое, словно медное, и безоблачное небо парило лучами солнца...

Шагах в десяти передо мною тащился мужичок, ничком лежа в пустой тележонке, и лениво похлопывал вожжами свою клячу... Вдруг сзади послышался колокольчик... Я обернулся и увидал догонявшую меня тройку. Тройка мчалась

быстро, и целое облако пыли следовало за нею. Однако тарантас как будто знакомый, да и толстый мужчина в форменном картузе с черным бархатным околышем, фертом сидящий на груде подушек, тоже как будто всматривается в меня... Я даже вижу, что он приложил руку ко лбу в виде козырька и словно силится узнать меня... Мужичок поспешно своротил прямо в канаву и сбросил шапку.

— Кто это? — спросил я.

— Становой[2].

И в самом деле, это был Петр Николаевич Рычев, наш становой пристав.

— Куда? — крикнул он, поравнявшись.

— Домой. А вы?

— В Комаровку, на мертвое тело.

И затем, быстро повернувшись, прибавил:

— Знаете что! Садитесь-ка со мною да поедемте следствие производить...

— Я-то при чем тут!

— Ну, посмóтрите...

— Нет, жарко...

— А вот жар-то тем временем и схлынет! И поедете вы домой по холодку, любёхонько, тихохонько, за милую душу!.. А у меня кстати балычок есть осетровый да белорыбица провесная[3], у одного купца сейчас прямо из кастрюли вытащил, и мы с вами такую сочиним ботвиньку[4] с огурчиками, да с лучком, да с укропцем, да льду туда побольше... Пальчики оближете!..

И все это становой проговорил так смачно, так аппетитно, что я невольно начал соблазняться. Он заметил это и, быстро освободив место рядом с собой, крикнул:

— Ну, садитесь же!

— А куда же я лошадь-то дену?

— А рассыльный зачем! сядет и поедет.

И, ткнув в спину сидевшего на козлах рассыльного концом черешневого чубука, становой приказал ему сесть на мою лошадь.

Через четверть часа мы были уже в Комаровке и каким-то особенным «полицейским вихрем» подлетели к большой избе с пестрораскрашенными наличниками и ставнями и деревянным калачом, подвешенным над средним окном. На завалине сидело несколько стариков с седыми бородами, а непо-

далеку торчал сотский — хилый, беззубый солдатишка «времен очаковских и покоренья Крыма».

— Стой! — крикнул становой.

И тройка стала (словно ей ноги подсекли!), накатив на стариков густую тучу черной пыли. Сотский подскочил к тарантасу и, протянув обе руки к становому, готовился принять его на свои рамена[5], но становой оттолкнул руки и, ловко соскочив на землю, подошел к старикам.

— Шапки долой! — крикнул он, сверкнув глазами.

Головы мигом обнажились.

— Что за народ?

— Понятые, вашескородие.

— Хороши понятые, коли порядков не знают. Вот я вам покажу, подлецам, как перед начальством в шапках стоять!..

Ворота отворились, и мы вошли на двор. У крыльца встретил нас как лунь седой старик, с умным выражением лица и седыми бровями, нависшими над глазами. Длинная борода его, начинавшая от старости желтеть, спускалась до самого пояса. Старик имел вид испуганный, стоял, как-то перекосившись, и исподлобья посматривал на станового не то враждебными, не то пытливыми глазами. Рядом со стариком, на ступеньке крыльца, сидела жена его — тощая, дряхлая старушонка — и хныкала, прикрыв глаза грязным самотканым фартуком.

— Ну, чего хнычешь-то, ведьма! — крикнул на нее становой.

— Как же не хныкать-то, батюшка Петр Николаич,— вступился старик,— вишь ведь горе-то стряслось какое...

— Ужасное горе,— перебил его становой,— ужасное!.. Прохожий какой-то подох!.. Кабы свой... ну так!..

— Все-таки неладно...

И, немного помявшись и снова пытливо глянув на станового, старик спросил:

— Потрошить-то будете, что ли, батюшка?

— Еще бы!..

— Нельзя ли как без потрошения... сено у меня там сложено...

— Мы сена не попортим, мы в избе потрошить будем, а после посотрут бабы.

— Батюшка, отец родной! — взвыл старик.

Но становой уже не слушал его.

— А лекарь здесь? — спросил он сотского.

— Здесь, в избе, вашескородие.
— Пьян?
— Чуть-чуть, вашескородие...
— А писарь?
— Он к попу побёг за чем-то.
— Беги и тащи его сюда... да живо у меня!

Сотский бросился и, выбежав за ворота, принялся кричать какого-то мужика, шедшего по улице.

— Стяпан, Стяпан! — кричал сотский, махая подожком[6].— Беги к попу да посылай писаря становского, чтоб шел скорей, становой, мол, приехал!

Но так как Степан ничего не слышал, то сотский и пустился за ним в погоню, продолжая кричать:

— Стя-апан! Стя-апан!

Немного погодя старик рассказывал нам, как было дело.

— Третеводни стряслось это,— говорил он,— уж мы поужинавши были. Я, знашь, пошел обра́зить[7] лошаденку, а снохи принялись убирать чашки да ложки... Только вот обра́зил я лошаденку, вхожу в избу, хозяйка на печи лежит, а я полез на полати, да и говорю снохам-то: вы, мол, снохи, уберетесь, так залейте огонь-ат. А мы в тот вечер огонь вздували для того, что запоздали как-то. Вот, хорошо. Залили снохи огонь и пошли себе в горницу; значит, летом они в горнице спят, для того, что в избе оченно больно душно... Внучонок, коему вы еще втепоры, как были у нас проездом из Сучкина, сахарцу дали, лег на лавке под окном... Только этак уж гораздо времени прошло, уж и кочета первые пропели, слышу: тук, тук, тук кто-то в окно; я, знаешь, все лежу, не слезаю,— думал, птица клюет какая. Только слышу опять: тук, тук, тук! Внучек проснулся. «Де-едушка, де-едушка, стучит кто-то».— «Взглянь, говорю, в окошко, кто там». Он это посмотрел. «Козырек, говорит, какой-то, дедушка в сертучишке, должно быть, дворовский». Я слез. «Что, мол, те надоть, любезный?» — «Пусти, говорит, переночевать». Я это велел внучку пустить, а сам полез на полати. Вот взошел в избу, как следует, на иконы помолился, испил кваску и закурил трубочку. Я спросил, откелева, мол, бог несет? «Издалека»,— говорит. Ну, издалека так издалека. «Ложись, говорю, на лавке-то».— «Нет, говорит, здесь жарко, я пойду на дворе где-нибудь лягу. Проводи, говорит, нет ли какого сарая с сеном или с соломой». Я его повел. Только идем мы двором, смотрю, он покачивается.

— Хмелен был? — проговорил Петр Николаевич.

— Хмелен, батюшка, на порядках-таки хмелен. Да нешто я знал, что этакий грех случится; кабы знал, так вестимо не впустил бы,— провались совсем он, окаянный, чем эстолько хлопот из-за всякой сволочи принимать, издыхай себе в поле! да, вишь ты, лукавый попутал; вестимо, кабы знал, так ни за какие бы деньги не пустил, а то мало ли хмельных-то бывает. На всякий час, видно, не убережешься. Вот я его и впустил в сенной сарай. Вот, мол, ложись тут, только, мол, трубку с кисетом давай, а то как раз село, говорю, спалишь, спаси господи! Он это ничего, сейчас же отдал мне трубку и кисет. Я пошел в избу, полез на полати да и заснул. Поутру просыпаемся, позавтракали. Зазвонил пономарь к обедне, только внучек-ат и говорит: «Что, дедушка, вечерошний-то дворовский больно долго спит».— «Не замай, говорю, пущай его». Вот это хорошо. Обедни отошли; старший сын поехал на барщину пар парить[8], а малый-ат зачал собираться в лес по дрова. «Пойтить, говорит, лошаденку запрячь»,— и пошел. А хомуты-то у нас висят в том сарае, где спал дворовский-то. Только это сидим мы в избе... Вдруг вбегает сын, а сам весь ажно полотно и весь трясется.

«Бачка, говорит, а бачка: ты впущал, что ли, вечор в сарай-ат кого?» — «Я, говорю, впущал, мол, прохожего». — «Да ведь он, говорит, мертвый». Мы все так и ахнули... бросились в сарай. Смотрим, а уж он готов.

— А не ужинал он у вас, а? — спросил становой и грозно взглянул на старика.

— Ни, ни, батюшка... ничего и в рот не брал.

— А квасок-то?

— Кваску точно ковшичек выпил.

— А квасок-то этот цел?

— Цел, батюшка... тут в сенях в бочонке стоит...

— Тот самый?

— Тот самый, батюшка, тот самый, побожиться не грех.

— Смотри! не лгать у меня!

— Зачем, батюшка, нешто это возможно!

Мы вошли в сени.

— Вот и бочонок! — молвил старик, указывая в темный угол сеней на что-то круглое и покрытое рогожей.

— Я его опечатаю,— проговорил становой,— смотри, чтобы не подменили.

— Зачем, батюшка... Что вы! как это возможно!..

— А квасок-то хороший у тебя?

— Хороший, батюшка, ядреный.

— А лед есть?

— Есть, батюшка; нам без ледника никак невозможно, потому двор постоялый, нельзя безо льду. И молочко там, и убоинка, и огурчики, и солонина.

Мы вошли в избу. Там за столом, в переднем углу, сидел доктор. Перед ним стоял графин с водкой, тарелка с малосольными огурцами и блюдо с холодным поросенком под хреном.

— Уже? — спросил становой.

— Уже! — ответил врач.

— Сколько?

Врач растопырил восемь пальцев.

— Следует уж и остальные разогнуть! — заметил становой.

— Следует! — крикнул врач и захохотал на всю избу.

— А у меня, батюшка, кое-что солененькое есть,— говорил становой,— белорыбица провесная да балычок осетровый...

В это время вбежал в избу письмоводитель, суетливый, торопливый мужчина, лет тридцати, с юркими, плутовскими глазками, с узенькими бакенбардами и вострыми височками, загнутыми под самые брови. Вбежав в комнату, он окинул всю компанию и, разом обращаясь ко всем, спросил:

— А знаете ли, господа, кому принадлежит мертвое тело?

— Уж не тебе ли? — спросил становой.

— Вы все шутите, Петр Николаевич, вечно все шутите!.. Нет, в самом деле, знаете ли вы, кто этот прохожий, к трупу которого мы собрались?

— «Не стая воронов слеталась!» — проревел доктор, но письмоводитель перебил его:

— Прохожий этот — студент семинарии Петр Гаврилов, сын Калистов. Я как взглянул на него, так тут же и узнал. Вместе учились и в училище и в семинарии, вместе в бурсе были, и даже земляки, ибо села, в которых мы родились, всего в семи верстах одно от другого. Как же! Товарищ, приятель!..

— И рад встретиться небось! — перебил его становой.

— Ах, Петр Николаевич, ах, Петр Николаевич! вы все шутите. Нет, мне так не до шуток... Мы вот теперь пойдемте,

осмотрим его, опишем, в чем он одет, как лежит, а потом я вам его историю расскажу, хотите?

— Хотим.

— Ну, вот и отлично, а теперь пойдемте...

— Сейчас, постой! — перебил его становой и, обратясь к старухе, все еще хныкавшей, спросил:

— Щавель имеется у тебя?

— Щавель-то! — кажись, есть.

— А огурцы свежие?

— Как теперь огурцам не быть, самая пора!

— И лук, конечно?

— И луку сколько хочешь!

— Так вот, ты возьми щавелю, свари его хорошенько...

Но тут доктор перебил его и, быстро вскочив из-за стола, крикнул:

— Ну, что вы разговариваете с этой старой дурой! Ничего она вам не сделает! Сейчас я вам такую представлю кухарку, что вы только ахнете!

И, проговорив это, доктор бросился за перегородку, а через секунду, не больше, тащил уже оттуда за руку красивую молодую бабенку, с лукавыми глазами и веселым лицом, а именно одну из снох старухи.

— Пустите, отстаньте! — кричала бабенка, отмахиваясь от доктора.— Да будет вам, Виктор Иваныч...

Но Виктор Иванович, подведя бабенку к становому, проговорил торжественно:

— Рекомендую, Груня, сиречь Аграфена Васильевна. Вот ей и приказывайте!

Становой стал приказывать, а письмоводитель, закрыв лицо руками, словно застыдился и шептал мне:

— Черт его знает, не может, чтобы не разыскать! — И уже совершенно прислонившись к моему уху, прибавил: — Ведь с вечера еще забрался сюда! Вот ведь шельма какая!

Немного погодя мы были в сарае, в котором лежал покойник. Старик снял с мертвеца рогожу. Покойник лежал на сене навзничь, с немного согнутыми ногами; правая рука его была закинута под голову, левая лежала на груди. Он был в нанковом сюртуке, в таких же панталонах, продранных на коленке, и пестром шелковом жилете с стеклянными пуговицами. Лицо его было в синих пятнах, тусклые глаза полуоткрыты, рот перекошен. Черный, сухой язык закушен зуба-

ми, волосы смяты и в вихрах, глаза и ноздри облеплены мухами.

— Вот-с, рекомендую! — кричал между тем суетливый письмоводитель, указывая рукой на мертвое тело.— Прошу любить да жаловать... Теперь приятель мой немного попортился, костюм его не совсем в порядке, он даже, как видно, забыл побриться и недостаточно хорошо расчесал свои волосы, но я прошу извинить, ибо, по всей вероятности, молодой человек этот не думал иметь удовольствие встретиться с вами. Но я ручаюсь вам, что если бы он подозревал только эту встречу, то, конечно, принял бы все зависящие меры или вовсе не встречаться с вами, или же предстать истинным джентльменом!

И, проговорив это, письмоводитель подскочил к трупу, подбоченился, ткнул его ногой под ребра и прибавил:

— Эх ты, Петя, Петя! А помнишь, братец, как мы с тобой когда-то, под ректорскими окнами, латинскую песенку певали: Nostrarum scholarum rector dignissime*.

— Я должен вам сказать, господа,— продолжал он, круто повернувшись к нам,— что он был опытнее, чем теперь, и, распевая, не только не прикусывал язык, как сделал это сейчас, а, напротив, раскрывал рот не хуже любого протодьякона. Надо думать, что он или утратил эту опытность, или же, ложась отдохнуть на это душистое сено и увидав эти поблекшие цветы, скошенные безжалостной рукой мужика, был в самом нехорошем расположении духа. Впрочем, такой крепкий сон, которым заснул мой приятель, может одурачить самого первостатейного умника и, наоборот, сделает умным самого первостатейного дурака!

— Ну замолол, замолол! — кричал становой.— А ты к делу-то приступай... Бери карандаш, бумагу и валяй начерно протокол осмотра.

— А потрошить будем? — спросил письмоводитель.

— Известно, будем...

— Батюшка, отец родной, нельзя ли! — взывал опять старик.

— Нельзя, он квас пил...

— Батюшка! да ведь квас-то и вы будете кушать.

— А может, в том, который он пил, отрава была ..

— Один, батюшка, один квас-то.

* Наш достойнейший руководитель школяров *(лат.)*.

Но становой уже не слушал старика.

— Эй вы! понятые! — крикнул он.— Тащи его в избу. Ну, чего ж испугались! Аль не видали никогда мертвых-то... Берите за ноги да и волоките...

Но в это самое время письмоводитель, успевший пошептаться о чем-то с стариком и с доктором, подбежал к становому.

— Петр Николаич! — крикнул он.— Да нужно ли потрошить-то?

— А как же?

— Да ведь снаружи никаких признаков насильственной смерти нет, зачем же мы будем пачкать руки. Видно по всему, что мой приятель попал на какую-нибудь веселую пирушку, не соразмерил своих сил с крепостью выпитого им вина. Ошибся человек, по всей вероятности! Он даже теперь раскаивается в своем поступке, а там, где раскаяние, не должно быть и кары.

И затем, отведя станового в сторону, он принялся ему что-то шептать.

— Ну, а как вы насчет этого, Виктор Иваныч? — спросил становой, обращаясь к доктору.

— Конечно, не сто́ит рук пачкать! — проговорил он.

— А квасок-то пил!

— Если бы он пил один квасок и не пил бы водки, то думаю, что он был бы здоровее нас с вами...

— Батюшка, отец родной! — выл старик, валяясь в ногах у станового.

— Эй вы! понятые! — кричал между тем становой, обращаясь к толпе крестьян.— Вы что скажете: потрошить аль не потрошить?

— Как твоя милость,— зашумели старики,— так и мы!

— Потрошить?

— Ну, что ж, потрошить так потрошить! — отозвались они.

— А я думаю, не нужно?

— Известно, не нужно... зачем потрошить!

— Вы никаких подозрений не имеете?..

— Насчет чего?

— Что вот человек сам умер?

— Известно, сам! — загалдели понятые.— Человек завсегда сам умирает... Хоша бы и побили его, а он все-таки сам умрет; известно, никто другой умирать за него не будет.

— Верно! — сказал становой.— Значит, так и запишем, что человек умер сам.

— Сам, сам! — подтвердили понятые.

А письмоводитель тем временем опять подбежал к трупу и опять, тронув его ногой под ребра, говорил:

— Ну, Петя, ты это помни! По милости моей, только по моей милости, твои кишки остаются при тебе, и ты, явясь на тот свет, не будешь чувствовать в своем животе той пустоты, которую...— Но тут письмоводитель оглянулся и, увидав меня, шепнул: — Которую чувствует теперь в своем кармане содержатель этого постоялого двора. Да, Петя,— прибавил он громко,— ты это помни... а покуда прощай. У тебя есть свое дело, а у меня свое. Тебе необходимо оглядеться, устроиться на новой квартире, ознакомиться с новым положением, а мне необходимо, в свою очередь, по поводу твоего исчезновения перемарать несколько листов чистой бумаги, придать им вид протоколов, осмотров, опросов, отношений, сообщений; все это подшить, перенумеровать, назвать эту связку перепачканной бумаги делом и затем почтительнейше об оном рапортовать куда следует. Прощай, братец...

И, став на одно колено, он поклонился трупу.

— Вот болтун-то! — крикнул становой.

— Нельзя, Петр Николаевич, никак нельзя не болтать, ибо если бы язык не болтал, то ему незачем было бы и место во рту занимать!

Немного погодя мы все были в избе.

— Ну, что, щавель готов? — крикнул становой.

— Готов! — отозвалась из-за перегородки Груня тем звучным грудным голосом, который так часто встречается у наших молодых баб.

— Протерла?

— Протерла.

— Давай сюда!..

— Тут мы еще для твоей милости лапшу из курятины варили,— прокричала Груня, опять-таки из-за перегородки,— потом поросеночка жарили, потом баранину жарили, потом студень изготовили.

— Все это после, а теперь давай сюда щавелю, луку, огурцов, квасу, соли, льду! — командовал становой и затем, обратясь к сотскому, прибавил: — А ты, кавалер, тащи сюда кулечек из моего тарантаса, там под козлами лежит в передке...

Кулек с белорыбицей и балыком был принесен тотчас же, но Груня выходить из-за перегородки почему-то не хотела, а послала вместо себя другую сноху, которая и принесла все требуемое.

Доктор возмутился таким поведением Груни и бросился за перегородку. Послышался писк, визг, сдержанный хохот, но Груня все-таки не показалась. И доктору пришлось возвратиться одному.

Когда все было принесено и когда стол, за который мы все уселись, оказался заставленным огурцами, луком, рыбой, хлебом, чашками, ложками и жбаном, наполненным пенившимся квасом, Петр Николаич вымыл руки, скинул с себя вицмундир, засучил рукава и, обратясь к письмоводителю, проговорил:

— Ну, сейчас я приступлю к приготовлению ботвиньи, начну крошить огурцы, лук, рыбу, а чтобы нам не было скучно, садись и рассказывай историю приятеля.

И, проговорив это, Петр Николаич вооружился ножом, пододвинул к себе чашку с огурцами и блюдо с рыбой, а письмоводитель Фивийский подсел к столу и, взглянув на графин с водкой, проговорил, поглядывая на всех:

— Предварительно не вонзить ли по единой?

— Можно! — крикнул доктор.

— Да уж вы катайте прямо рюмки по три,— перебил их становой,— а то после только рассказ прерывать будете...

— Так вы без перерыва желаете?

— Конечно.

— Ну, это дело десятое... тогда, разумеется, одной мало. Выпили, закусили огурчиками, и Фивийский начал.

* * *

Родился Калистов в селе Скрябине; село это было небольшое, дворов из пятидесяти, однако довольно живописное, с большой рекой и деревянною ветхою церковью. Отец его был дьяконом. Семья их состояла из пяти человек, а именно: дьякона, дьяконицы и трех сыновей. Калистов был старший. Как видите, семья была немалая, доход же, конечно, ничтожный, потому что приход был самый бедный и состоял из села Скрябина и четырех мелких деревушек, так что всех-то было душ пятьсот, не более, а от такого прихода не скоро разживешься. Однако, когда Калистову минуло двенадцать лет, дьякон повез его в город и отдал в училище.

В городе дьякон пробыл недолго, всего какой-нибудь день или два. В продолжение этого времени он сводил сына к смотрителю училища и, поклонившись ему гусаком и гусыней, попросил, чтобы мальчишку не баловал и почаще наказывал, на том основании, что сопляков баловать нельзя. После того дьякон нанял для сына каморку у одной просвирни, поговорил о чем-то с ней, дал сыну синенькую[9], которую заказал на пустяки не тратить, перекрестил его и отправился домой. Петя побежал было провожать отца, но тот его воротил, проговорив, что незачем, и, сделав еще раз сыну внушение не шалить и хорошенько учиться, хлестнул лошаденку и уехал.

И вот остался Калистов один-одинешенек в незнакомом городе, с незнакомыми людьми. Нет уже при нем ни матери, ни отца, ни братишек.

Одновременно с Калистовым поступил в училище и я, и так как родина моя была по соседству с родиной Калистова, то мы с ним, как земляки, были в самой тесной дружбе и жили на одной квартире. Нечего говорить, что жизнь наша была незавидная. Квартира состояла из одной маленькой каморки, в которой могли только поместиться две наши койки да небольшой стол; стула же поставить было негде. Бревенчатые стены были вымазаны глиной. Единственное окно упиралось прямо в хлев. В довершение же всех этих удобств, зимой у нас до того дуло из полу, что мы не могли иначе сидеть, как поджав под себя ноги; наверху же было нестерпимо жарко. Костюм наш состоял из четырех рубашек, двух штанов и двух нанковых халатов; сапог у нас не было, а были лапти, в которых мы и ходили в классы. На второй год нашей училищной жизни у Калистова скончалась мать, а через полгода умер и отец. Калистов остался круглым сиротой. Горько плакал он, услыхав о смерти своих родителей, но как ни плачь, а все-таки мертвые не скоро еще воскреснут. Калистова взяли на казенный счет, и мы встречались с ним только в классах. Куда девались остальные братья Калистова — не знаю.

Смерть родителей заставила Калистова еще более заниматься науками. Как ни был он молод, однако думал, что если он будет учиться плохо, то нехорошо заживется ему, сироте, на свете. Бедный, он был еще в то время этих убеждений! Я забыл вам сказать, что когда Калистов поступил в училище, то у него фамилии не было, почему смотритель и назвал его Кесарийским.

В то время (чтобы ему пусто было,— вставил письмоводитель, усердно плюнув) мы все в своих отношениях к начальству должны были олицетворять отношения охотничьих собак к своему псарю. Кормили нас чем-то похожим на собачье кушанье, дрессировали, как собак, розог не жалели и даже клички давали нам по тем же резонам, по которым даются клички собакам. Коли собака рыжая — зови ее Пылаем; коли ученик с мягким сердцем — зови его Мягкосердовым; коли собака лает басом — зови Громилой; коли ученик веснушчатый — пусть будет Пестровидов, и т. д. Но все эти клички, конечно, смысла все-таки не имели, ибо впоследствии какой-нибудь Мягкосердов делался самым злейшим доносчиком и сутягой; какой-нибудь Любознательский не хотел ничего и никого знать, и разве один только Пестровидов, благодаря веснушкам, оставался тем, чем был в детстве... Точно то же случилось и с Калистовым. Ему дали фамилию Кесарийский, но приехал какой-то ревизор и так напустился на нашего бедного смотрителя за эту кличку, что тот не знал, куда деваться от сраму. «Ты глуп,— говорил ревизор смотрителю тут же в классе и в присутствии всех нас,— так глуп, что тебя из училища следовало бы прогнать и определить куда-нибудь на псарню, ибо всякий псарь умнее называет свою собаку, чем ты своего ученика. Ну, скажи,— горячился ревизор,— чем похож этот паршивец на кесаря. Он столько же похож на кесаря, как ты на меня!» — «Мальчик-то очень прекрасный!» — оправдывался смотритель, но ревизор, не терпевший возражений, зашумел еще пуще. «Ты чем больше говоришь,— закричал он,— тем более разоблачаешь свое невежество! Будь нем, как рыба, и тогда, может быть, дураки подумают, что ты умный человек!» И затем, указав пальцем на Кесарийского, приказал везде эту фамилию вычеркнуть и, вместо Кесарийского, прозвал его Калистовым, произведя эту фамилию от греческого слова kalos, прекрасный.

Смотритель, впрочем, был у нас человек добрый. Он имел жену, нескольких детей, которые учились вместе с нами, и потому относился к нам не очень жестоко. В свою очередь, и мы старались угождать ему и всегда писали родителям, чтоб они, отправляясь за нами, не забывали захватить какой-нибудь подарок смотрителю. Подарки эти были в образе гуся, или индейки, или же пирогов; которые же побогаче, привозили крупу и деньги. Смотритель все это принимал и за все благодарил. Училище наше было самое бедное. Классы то-

пились зимой скудно, и холод был страшнейший. Потому, если вам случалось когда-либо слышать рассказы о том, как учителя в наших училищах заставляли учеников во время классов драться на кулачки и сами дрались с ними, то вы верьте этим рассказам, они справедливы, и мы сами дрались, бывало, для того, чтоб сколько-нибудь согреться. Особенно же мы любили смотрителя за то, что он не отказывал нам в рекреациях[10]. Давались они нам обыкновенно в мае месяце, и уж как смотритель ни вертись, а двенадцать рекреаций нам подай, бывало! Так положено было по правилам училища. Об рекреациях этих уговаривались, бывало, еще с вечера, а как только наступало утро, то мы отправляли двоих-троих учеников к смотрителю с просьбою дозволить нам просить рекреацию. Учеников для этой цели мы выбирали всегда лучших и которых любил смотритель. Калистов бывал всегда между ними. Случалось, конечно, что смотритель отказывал; в таком случае наши уполномоченные обращались к его жене, Прасковье Васильевне, на том основании, что она была женщина чувствительная, держала всегда сторону учеников и уж во что бы то ни стало выпросит, бывало, у мужа дозволение явиться к нему ученикам и просить рекреацию. Уполномоченных этих дожидались мы, конечно, с нетерпением, и как только, бывало, они объявят нам, что смотритель изъявил свое согласие и что ждет нас, так мы, ни минуты не медля, отправлялись под окно смотрительской квартиры и, подходя к оному, запевали целым нестройным хором известную латинскую песню, начинавшуюся так, кажется:

Nostrarum scholarum rector dignissime,
Rogamus recreationem...*

По окончании этой песни смотритель перекрестит, бывало, нас родительским крестом и объявит нам, что мы можем отправляться в такую-то рощу порезвиться, куда и он тоже приедет вслед за нами.

Несмотря однако на эти рекреации, в науках мы не отставали. Учили нас, разумеется, плохо, но все-таки знания коекакие приобретались. Более всего пичкали нас латынью, и уж как, бывало, надоедала нам эта латынь проклятая! арифметика же, география и живые языки были у нас на самом последнем плане.

---

* Наш достойнейший руководитель школяров, просим об отдыхе (*лат.*).

Так шло время, конечно, быстро, скоротечно... Мы кончили курс в училище и перешли в семинарию. Я каждые каникулы ездил в деревню, а Калистов — нет. Только когда перешли мы из философского отделения в богословское, Калистов уступил моим просьбам, решился оставить город и провести лето у меня. Приехав ко мне, он пожелал воспользоваться случаем и сходить в Скрябино, поклониться праху родителей. Я предложил было ему отцовскую лошадь, но Калистов, всегда отличавшийся крайнею деликатностью, отказался и пошел пешком. Горько было ему смотреть на родное село, в котором было у него когда-то столько дорогого и отрадного и в котором теперь он не имел ничего, кроме тяжелого воспоминания.

В Скрябино пришел Калистов под вечер. Он перешел мостик, под которым когда-то лавливал гольцов, поднялся в гору и, пройдя ряд гумен и коноплянников, очутился в Скрябине. Направо и налево тянулась улица,— она нисколько не изменилась, и только некоторые избенки как будто перекосились и ушли в землю. Калистов помнил каждую избенку, знал, кому она принадлежит, как зовут хозяина и хозяйку, и даже как будто видел их перед собою. Дойдя до церкви, Калистов вздрогнул. Он увидал перед собой родной домик. В одну минуту узнал его Калистов, он все такой же: у колодца все та же изгрызенная бадья, садик все так же зеленел вишнями и яблоками, и все так же выглядывали из-за плетня высокие подсолнечники и кусты хмеля. Калистов тихонько подкрался к окну и взглянул на него. Дьяконская семья ужинала; лучина ярко освещала комнату; в комнате было тоже все по-прежнему: те же образа суздальской живописи, те же портреты митрополитов Филарета и Никанора, тот же Кутузов скакал на коне и тот же вид Саровской пустыни.

Калистов отошел от окна дьяконского дома, сел на кучу наваленных неподалеку бревен и невольно задумался. Так просидел он с полчаса, как вдруг кто-то крикнул:

— Эй ты, семинарист! поди-ка сюда!

Калистов поднял голову и увидал у колодца девушку в ситцевом платье и с платочком на голове.

— А ты почему знаешь, что я семинарист?

— Нешто я слепая! Поди, у меня глаза есть... а у семинаристов один облик-то.

Калистов подошел к девушке.

— Чего же тебе надо от меня? — спросил он.

— А вот чего! Ведро я в колодец упустила, ты мне и достань его.

— Как же я достану?

— Очень просто. Перевяжу я тебя веревкой, спущу в колодец, и ты тогда достанешь.

— Да ты удержишь ли?

— Небось, удержу.

— Ну, смотри...

Девушка обмотала Калистова веревкой, завязала ее крепко-накрепко и, упершись одной ногой в сруб, принялась осторожно опускать Калистова в колодец.

— Стой, довольно! — раздался голос.

— Достал?

— Достал, тащи!

И немного погодя Калистов подавал уже девушке ведро.

— Однако ты храбрый! Чуть не на дно морское опускался.

— Для тебя только! — проговорил Калистов, посматривая на красивую девушку.

— Спасибо.

И, почерпнув воды, она пошла своей дорогой.

Калистову тоже надо было идти, и он направился к дому одного знакомого мужичка, у которого порешил было переночевать, с тем, чтобы завтра утром после обедни отслужить на могиле родителей панихидку, а потом возвратиться ко мне. Приходилось обогнуть церковь. Между тем набежали тучи, заволокли небо, и ночь становилась все темней и темней. Он уже успел миновать ограду, как вдруг что-то белое показалось в нескольких шагах от Калистова. Это был какой-то старичок в белой рубахе. Старичок, при виде Калистова, быстро остановился.

— Кто это? — вскрикнул он испуганно и поспешил отскочить в сторону.

— Я.

— Кто ты?

Калистов тотчас же узнал знакомый голос. Это был пономарь села Скрябина.

— Здравствуй, Никитич! — почти вскрикнул от радости Калистов, подходя к пономарю, все еще продолжавшему пятиться.

— Да кто ты?

— Не узнаёшь?

— Не узнаю.

Калистов поспешил объявить свою фамилию, но так как фамилия эта была дана ему в училище, то в Скрябине про нее никто и не знал даже.

— Я такого не знаю.

— Ну, коли не знаешь Калистова, так Петруньку вспомни, может, тогда перестанешь бояться!

— Какой-такой Петрунька?

— Покойника дьякона, Гаврилы Степановича, сын.

Пономарь ахнул даже.

— Петрунька, Петрунька! — кричал он, обнимая Калистова.— Петрунька, милый, а я и не узнал тебя, да как и узнать-то! Вишь ведь какой жеребец стал, да и голос-то переменился. Тебе который год-то?

— Да уж двадцать с хвостиком.

— Ах, Петрунька, Петрунька! Да что это ты домой давно не приходил? Уж мы тут и забыли про тебя.

— Дома-то нет, приходить-то некуда,— говорил Калистов.

Пономарь вздохнул.

— Царство небесное! — проговорил он.— Хоша мы с покойником и ссорились кое-когда из-за блинов, а все-таки дружно жили. Добряк был и он и дьяконица. Хорошие люди... Так какая же у тебя фамилия-то?

— Калистов.

— Мудрена — нечего сказать!

— Я привык.

— Да ты где теперь, в семинарии, что ли?

— В семинарии.

— В котором классе?

— В богословский перешел.

— Бог-ослов, значит? — сострил пономарь.

— Он самый.

— Два годика остается, а там и в попы небось?

— Куда ж еще...

— Однако что ж мы на площади-то стоим! — вскрикнул пономарь.— На дворе-то ночь, люди говорят. Вишь темноть какая, пора ужинать, да и на боковую. Пойдем ко мне, Петрунька... ведь тебе негде ночевать-то...

— К Поликарпу Захарычу хотел я было...— проговорил Калистов нерешительно.

— Эко хватился! — перебил его пономарь.

— А что? али умер?

— Давным-давно. Внучку замуж отдал, да и опился на свадьбе-то! Пойдем-ка, пойдем-ка ко мне. Изба у меня просторная, хлеб-соль есть, может, и водочка найдется даже... Я, брат, понемножечку потягиваю!.. А ты надолго к нам?

— На один день только. Хочу завтра по родителям панихидку отслужить, а потом к товарищу к одному пойду, к Фивийскому, у него и проживу все лето.

Домик пономаря был в нескольких шагах, и потому идти пришлось недолго.

— Вставай! — кричал пономарь, входя в избу.— Вставай все! Да ужинать собирайте, гостя дорогого привел.

Но эти «все» состояли из дочери пономаря Лизы да работницы Меланьи, ибо пономарь был вдов и, кроме дочери, детей не имел.

Когда Калистов увидал Лизу, он чуть не вскрикнул от радости. Это была та самая девушка, которой он доставал ведро из колодца.

— Неужели это Лиза? — говорил Калистов, смотря на девушку, которую помнил ребенком.

— Она самая.

— Господи! да когда же это она успела так вырасти!

— Они, брат, насчет этого не зевают... Как грибы растут.

— Да и ты,— проговорила Лиза, но, вдруг спохватившись, прибавила,— и вы-то уж большие стали... Я не узнала вас.

— А ты разве виделась с ним? — спросил пономарь.

— Да как же! — вскрикнул Калистов.— Я сейчас только ведро доставал, в колодец спускался.

— Ну?

И оба они принялись рассказывать пономарю только что случившуюся историю с ведром.

Немного погодя они все сидели за ужином, и разговорам и воспоминаниям, а пуще всего шуткам конца не было. Поели щей, поели баранины, огурцов свежих с квасом, выпил пономарь водочки и до того разболтался, что даже про сон забыл, и только когда сторож прозвонил в колокол двенадцать часов, они разошлись по своим местам.

Я, конечно, не стал бы рассказывать вам с такими подробностями о пребывании Калистова в селе Скрябине, если бы в пребывании этом не заключалось ничего важного. Сверх того,

пребывание это было самым любимым воспоминанием Калистова, он рассказывал мне про него десятки раз, и потому нет ничего мудреного, что в памяти у меня сохранились до сих пор все подробности. Итак, Калистов ночевал у пономаря. На другой день он отслужил на могиле родителей панихиду и хотел было идти ко мне, но, по просьбе пономаря, остался погостить у него дня на два, на три. Однако эти три дня продолжались гораздо дольше. Я ждал-ждал Калистова и, вместо того, чтобы дождаться его к себе, пошел сам в Скрябино, с целью узнать, куда девался и что творилось с моим коллегой.

— Ты что же это! — говорю, увидав его посиживавшим на крылечке пономарского дома.

— А что?

— Пошел на день, а вместо того три недели живет здесь.

— Неужели, говорит, три?

— А ты как бы думал!

— Ну, брат, мне так хорошо здесь, что я не заметил, как время прошло. Спасибо, говорит, что вспомнил меня, что навестить пришел...

— Когда же ко мне-то? — спрашиваю.— Ведь ты обещал все лето погостить у меня!

— Ну, брат, не могу... обстоятельства, говорит, изменились.

И, взяв меня под руку и отведя от крылечка, он проговорил:

— Вот видишь ли, друг сердечный, хочется мне пономарю здешнему пособить... Человек он одинокий, старый...

— Что же, в работники, что ли, к нему записался?

— Не в работники, говорит, а в помощники скорее.

А тут как раз выбежала на крыльцо Лиза и принялась звать Калистова обедать.

— Слушайте, Лиза! — крикнул ей Калистов.— Ко мне товарищ пришел, друг мой и приятель, могу я его к вам в дом пригласить?

— Нельзя никак! — отозвалась она весело.— А нельзя по той причине, что, может, приятель ваш любит сладко покушать, а нынче день постный, кроме щей да гороху, да каши с конопляным маслом, нет ничего!

И она весело захохотала.

А Калистов тем временем говорил мне:

— Не слушай ее! Озорница известная!.. Идем, идем!..

Целых два дня я прожил у Калистова и тоже, в свою очередь, не заметил, как пролетело время. Уходя, я сказал, однако, Калистову:

— Смотри, брат...

— Что, говорит, такое?

— Смотри, не застрянь здесь!..

— Ну, вот еще что выдумал! Ты это, говорит, насчет Лизы, что ли, намекаешь?

— А что ж, говорю, разве в такую трудно влюбиться?

— Только не мне!

— Это почему?

— А потому, что я ее таким вот клопом знал. Точно, не спорю, я, говорит, люблю ее, но как сестру родную.— И потом, посмотрев на меня, спросил: — А тебе нравится она?

— Ничего, говорю, девушка, во всей форме...

И действительно, Лиза была такая девушка, каких мне не приходилось встречать до тех пор! Говорю я это не потому, что она в известной степени представляет собою героиню моего рассказа, а потому, что не походила ничуть на наших поповен. В то время, к которому относится этот рассказ, а время это давно прошедшее, все наши поповны были какие-то мямли,— ни рыба ни мясо. Одни из них барышень из себя разыгрывали, а другие — судомоек чумазых. Редкая из «барышень» знала грамоте, но щеголять французскими словами, немилосердно их коверкая, любили до увлечения. Другие же — «судомойки» — только ныли и ожидали женихов. Первые болтали, рядились да романсы распевали, а вторые не умели говорить и только занимались пачкотней. Вот поэтому-то Лиза и выдавалась своею самобытностью. Она не подражала ни первым, ни последним. Она даже одевалась по-своему: просто, и именно так, как ей нравилось. Над кринолинами, бывшими тогда еще в моде, она смеялась; шляпки, украшенные цветами и зеленью, называла копнами, а зонтиков даже никогда и в руки не брала. Это была девушка бойкая, веселая, говорливая и с постоянно смеявшимся взглядом. К работе была неоценима, работа кипела в ее руках, она поспевала повсюду и помимо дома. Ее можно было видеть и в церкви, и на базаре, и на гулянье, когда таковое устраивалось, и в гостях, и у знакомых.

Глядя на Лизу, воодушевлялся и Калистов, и, когда подошла пора покоса, он сам напросился в косцы.

И действительно, на другой же день вместе с пономарем и Лизой отправился в луга.

Сначала работа у Калистова не спорилась. Коса то и дело либо скользила по траве, либо утыкалась концом в землю, но прошло некоторое время, и Калистов так приловчился к этому, совершенно новому для него делу, что любо было смотреть на него. Он втянулся, рука расходилась, и полукруги скошенной травы, сочной и мокрой, укладывались стройными рядами. Часов в девять утра они позавтракали, а после завтрака снова принялись за работу, и работа эта подействовала на Калистова до того благотворно, что с каждым пройденным рядом он чувствовал себя бодрее и бодрее. Какой-то прилив сил нахлынул на него, и ему было хорошо и весело. «Никогда я не обедал с таким аппетитом,— вспоминал, бывало, Калистов,— как тогда!»

С этого дня Калистов ни на шаг не отставал от семьи пономаря.

— Вы, пожалуйста, Лиза, разбудите меня завтра,— говорил он каждый вечер, уходя спать,— мне ужасно как хочется поработать с вами. Завтра мы что будем делать?

— Бахчу мотыжить.

— И прекрасно! Так разбудите же, пожалуйста.

И Лиза, подоив и проводив коров в стадо, каждое утро подходила к чулану, в котором спал Калистов, стучала кулаком в дверь и кричала:

— Ну вставайте же! пора! Солнышка-то вилами не достанешь!

— Сейчас, Лиза, сейчас! — отзывался Калистов, поспешно одевался и шел на работу.

Так проводили они время изо дня в день, и Калистов не успел опомниться, как почувствовал, что дружба, питаемая им к Лизе, начала как-то изменяться и принимать какой-то совершенно новый оттенок. Сначала он не доверял этому новому чувству, смеялся сам над собой, но когда он стал замечать, что каждый раз при встрече с Лизой сердце его как-то замирало и как-то особенно тревожно билось, что без Лизы ему становилось невыносимо скучно, а с нею и весело и легко,— он понял, что это уже не дружба, а что-то другое, может быть, то самое чувство, которое люди привыкли называть любовью... Он стал засматриваться на Лизу и, засматриваясь, находил уже в ней не ту красоту, которую видел прежде, какую-то иную,— манящую, жгучую. Прежде, бы-

вало, глянет он на Лизу и улыбнется только, а теперь при взгляде на нее ему хотелось бы обнять и расцеловать ее. Раз Лиза вместе с отцом поехала в город на ярмарку, оставив Калистова присмотреть за домом. Проездили они дня три, и бедный мой Калистов не знал, куда деваться от тоски. Ему сделалось так тяжело без Лизы, так пусто, что он готов был бежать в город, лишь бы поскорее свидеться с нею. Другой раз случилось нечто еще более тяжелое. Был храмовой праздник в Скрябине. Наехали к пономарю гости соседние, причетники с женами и дочерьми, а в числе их и один купеческий приказчик по фамилии Свистунов, кудрявый и бойкий парень, лет двадцати, в синей щегольской поддевке и голубой шелковой рубахе навыпуск. Кровь с молоком — одно слово! Свистунов этот крепко увивался за Лизой, и потому нет ничего удивительного, что почти весь день не отходил от нее. Болтал, шутил с ней, угощал пряниками, орехами, а бедный Калистов смотрел на все это и терпел поистине адские муки! Когда же вечером приказчик заиграл на гитаре, а Лиза, подсев к нему, запела какую-то песню, то Калистов не выдержал и поспешил вон из комнаты, ибо чувствовал такой прилив бешенства, что боялся, как бы бешенство это не взяло верх над рассудком. Он вышел на крыльцо, а когда, немного погодя, на то же крыльцо выбежала и Лиза, он поймал ее за руку и проговорил едва слышно:

— Пожалуйста, Лиза! Вы так не мучьте меня!

Лиза вспыхнула даже.

— А вы что же, боитесь, что ли, чего? — спросила она.

— Тяжело мне...

— Не бойтесь! — проговорила она и, вырвавшись, быстро убежала в комнату.

Это «не бойтесь!» — возбудило в нем тысячу недоразумений. «Что же значило это! — думал он.— Что хотела она сказать этим?» Но как он ни размышлял, а все-таки уяснить себе не мог. То казалось ему, что это имеет вид признания, а то, наоборот — отказа или, что всего хуже, насмешки. Слово это не давало ему покоя, и, когда на следующее утро Лиза, по обыкновению, пришла будить его, он поспешил выбежать к ней в сени и, взяв ее за руку, спросил:

— Лиза! скажите же, что это значит?

— Чего еще? — спросила она.

— А то слово, что вы мне вчера на крыльце сказали!

— Мало ли что говорю я! Слов-то за день столько высыпешь, что и мешков не хватит собирать их.

— Нет! Вы только сказали: «Не бойтесь!» Что же значит это?

Но Лиза опять-таки ничего не разъяснила и, снова вырвавшись из рук, выбежала вон из сеней. Только вечером, в сумерках, когда оба они, и Калистов и Лиза, случайно встретились в палисаднике и когда Калистов снова потребовал объяснения, Лиза вместо ответа упала ему на грудь и, крепко обняв его, тихо заплакала...

— Сомнение исчезло...

И оба они словно испугались чего-то, но чего именно — не умели определить, ибо в первый раз переживали это чувство. И Калистову словно слышались слова господа: «Проклята земля за тебя. Терние и волчцы она произрастит тебе, и будешь питаться полевою травою!» Они даже ни слова не сказали друг другу, и только одни поцелуи да объятья подсказывали им, что страх, переживаемый ими, есть страх от нахлынувшего счастья. Так они и разошлись, не сказав ни слова,— Лиза в свою комнату, а Калистов в свой чулан. Даже на другой день утром они не могли еще очнуться и не то избегали, не то боялись встречи, а когда встречались, опять испуг овладевал ими.

Однако на другое утро, когда оба они были в поле и когда пономарь зачем-то отошел от них, Лиза обратилась к Калистову.

— Послушай,— проговорила она,— чего же мы испугались!

— Я не знаю, Лиза...

— Ничего дурного мы с тобой не сделали, значит, ни бояться, ни стыдиться нам нечего. Полюбили мы друг друга, и все тут! Я этого не стыжусь, а как ты... не знаю.

— Я счастлив, Лиза.

— И я тоже.

И вдруг им сделалось опять и весело, и легко, и хорошо!..

Однако каникулы пришли к концу, и надо было отправляться в город. Тяжело было расставаться моим влюбленным. Целый вечер пробыли они вместе, и чего-чего только ни переговорили они в этот вечер. Так как Калистов сделал Лизе предложение, а та с радостью согласилась на это, то, понятно, и было о чем говорить. Они порешили до поры до времени ничего не открывать старику, ибо боялись, что ста-

рик не выдержит и разболтает всем столь дорогую для них тайну. Затем было порешено свадьбу сыграть тогда, когда Калистов кончит курс в семинарии, а чтобы не томить себя столь продолжительной разлукой, Калистов должен был проводить в Скрябине и рождественские каникулы, и пасху, и затем — каникулы летние.

На другой день рано утром, распростившись с пономарем, который не знал, как и благодарить Калистова за оказанную услугу, Калистов отправился в город. Лиза проводила его до околицы.

— Ну,— говорила она,— прощай... Смотри, не забудь...

— Ты-то не забудь меня, а я-то не забуду... Ну, прощай...

— Прощай! — повторила Лиза.

И, крепко обняв Калистова, она прильнула к нему губами.

Всякому более или менее известна бурсацкая жизнь, с ее щами, кашей, грязью и смрадом, но тем не менее она все-таки составляет одно из самых если не светлых, то веселых воспоминаний наших. Народу было много, все молодежь, и время летело незаметно. Конечно, и в то время много переживалось горя, но молодость, силы и здоровье прощали многое и со многим мирились...

Итак, с Калистовым мы были вместе. Койки наши были рядом, в классе сидели мы на одной скамейке. Калистов учился отлично. Я похуже, но все-таки не отставал от него. Поведения Калистов был примерного и не только не пил вина, но даже и трубки не курил. Слово, данное Лизе, Калистов сдержал: он не пропустил ни одних каникул, не побывав в Скрябине.

Нечего говорить, что каникулы эти еще более сближали и Калистова и Лизу, и наконец они дошли до того, что жить в разлуке им становилось нестерпимо тяжело. Однако поступить иначе было невозможно. Калистову было необходимо кончить курс, так как иначе он не мог бы получить священнического места. Каникул Калистов ждал с таким нетерпением, что считал не только остававшиеся до них дни, но даже и часы, а с приближением этого вожделенного времени становился все нетерпеливее. Сверх того, чуть не каждую неделю они обменивались длинными письмами. Калистов описывал Лизе свое житье в бурсе, а Лиза свое в Скрябине. И каждый раз, читая незатейливые письма Лизы, Калистов мысленно переносился к ней и мысленно жил с нею. С полгода они

ничего не говорили пономарю о своем решении; наконец Лиза не вытерпела и объявила ему все. «Прости меня,— писала она Калистову,— я все открыла отцу. Не сердись. Но, право, мне так было тяжело возиться с своим счастием (оно оказалось сильнее меня), так хотелось счастием этим погордиться, похвалиться, порадоваться с кем-нибудь судьбой своей, что я не вытерпела и все рассказала отцу. Я начала с приказчика, возбудившего в тебе ревность, и кончила палисадником, свидетелем наших радостных слез. Нечего говорить, что отец сначала не поверил моему счастию, но затем, убедившись, что все это правда (а убедился он, верно, по глазам моим), он предался такой же радости, какой предаюсь я и утром, и ночью, и днем. Нет, этого мало! какой предаюсь не только каждую минуту, но даже каждую секунду, каждое мгновение!» Письмо это Калистов перечитывал несколько раз, и не только он, даже я затвердил его наизусть.

— Однако, брат, ты, я вижу, парень-то ловкач! — кричал пономарь, когда Калистов, весь промокший от распутицы, пришел к нему на пасху.

— А что? — спросил он весело.

— С девками не робеешь!.. Ловко обработал!

— Нравится?

— Ничего!

И, только тут заметив, что Калистов был весь мокрый, он вскрикнул:

— Где это тебя так угораздило?..

— А вот здесь, совсем под вашим селом...

— На Осиновке?

— Да, на Осиновке, чтобы ей пусто было... Сначала шел по льду, ничего, хорошо... правда, похрустывало, а все-таки идти было можно, а потом как ухну вдруг... да по самый по пояс.

Но пришла Лиза, и весь холод был забыт.

И никогда еще ни пономарь, ни Лиза, ни Калистов не встречали так радостно пасху, как встретили и провели ее в тот памятный год.

— Однако вот что,— говорил пономарь Калистову,— ты смотри, чтобы твоя любовь не мешала твоему ученью. Я тебе по совести скажу, я человек бедный, а ты беднее меня. Учись, смотри, да чтобы тебе попом быть, а без того — нет тебе моего благословения...

Не бойтесь! — крикнул Калистов, но вдруг, вспомнив то же самое слово, сказанное Лизой, расхохотался.

— Чего хохочешь-то...

Бывшая при этом Лиза тоже вспомнила это «не бойтесь» и присоединилась к хохоту Калистова, а благодушный пономарь глядел на них и, качая головой, говорил:

— Совсем взбесились.

Следующее затем лето Калистов опять провел в доме своей невесты, и так как сватовство это не было уже тайной, то они ни перед кем и не скрывали своей взаимной любви.

Наконец мы кончили курс и, словно птичка, вылетевшая из клетки, взмахнули слабыми еще крыльями.

До этой минуты о жизни мы не имели, конечно, никакого понятия; мы видели только ее цветки. Жизнь наша начинается именно с той минуты, когда перед нами, растворив бурсацкие двери, начальство проговорит: «Ну, господа, вы кончили; мрак невежества перед вами рассеян; мы обогатили ум ваш познаниями, мы представили вам широкую дорогу. Вот вам ваши документы, ваши аттестаты, делайте с ними, что знаете, ступайте, куда хотите, но здесь вам оставаться нельзя, и нам до вас нет никакого дела».

Вот эта-то минута и есть начало нашей жизни! Только перешагнем за порог, как дверь бурсы захлопывается, и ходу туда тебе уж нет, а ступай куда знаешь. Нет ни щей, ни каши, ни теплого угла,— ничего! На первых-то порах,— я буду говорить о сиротах, подобных Калистову,— мы этой минуты хорошенько не понимали, мы были одушевлены еще надеждой, волей, упованием на будущее. «Я пойду в священники»,— говорит один; «Я пойду на гражданскую службу»,— говорит другой; «Я пойду в учителя»,— говорит третий. Но прежде, чем заняться этим, все говорят: «Я пойду, поживу в деревне». Там-то у такого-то есть приятель; у такого-то есть дядя; у другого — тетка. И вот все расходятся на некоторое время по деревням, подышать чистым воздухом, отдохнуть от бурсацкой жизни, посмотреть на луга, на леса, на светлые озера и реки. Но, проживя неделю, другую,— один видит, что его приятель сам еле-еле перебивается, другой — что дядя его, дьячок, добывает себе кусок хлеба не шутя, а кровавым пóтом, что он с утренней зари и до поздней ночи, согнувшись в три погибели над сохой, вспахивает свой загон, ради хлеба; что, ради хлеба, он до мозолей стирает свои руки, скашивая траву; что, ради хлеба, он всех своих

ребятишек гонит в поле на жнитво[11] или сенокос; третий видит, что тетка, у которой он думал отдохнуть, вдова и живет христа-ради у священника. И всем становится вдруг совестно, что они объедают бедных. «Нет,— говорят они,— им самим есть нечего! пойдем и мы хлеб добывать!» И вот все идут опять в город. Но они все еще не унывают, они все еще надеются на будущее. У них есть аттестат, следовательно — дорога широкая. И вот они пришли в город; в кармане у другого даже гроша нет, на плечах один нанковый сюртучишко, квартиры нанимают жалкие. Один, глядишь, из-за куска хлеба, пристроился к какому-нибудь чиновнику и учит грамоте чуть ли не всю семью; другой — живет перепискою бумаг; третий — книги переплетает; четвертого — берет какой-нибудь причетник и, в надежде на будущие блага, кормит и поит бесприютного. Так все кое-как и разместятся. Видя, разумеется, такую бедность, никому и дела нет до нас, разве уж какой-нибудь случай выйдет. Хорошо еще, что между нами дружба есть, хорошо еще, что мы хотя скудно, но помогаем друг другу.

Первое, что́ сделал Калистов по окончании курса, это — тотчас же отправился к Лизе. Счастливый и торжествующий пришел он на свою родину, под милый кров. Лиза встретила его первая.

— Ну, мой друг, Лиза,— проговорил он, обнимая ее,— я кончил все. Теперь нам ждать недолго.

В тот же вечер, когда вся семья сидела за ужином, пономарь дал окончательное слово Калистову выдать за него свою дочь; но прежде, чем обвенчаться, Калистов должен был идти в город и хлопотать о месте.

Все были счастливы. Счастлив был старик пономарь, счастливы были и Калистов с Лизой.

Неделя промчалась незаметно, и вот Калистов снова отправился в город. Денег было у него немного, всего каких-нибудь три-четыре рубля, а рассчитывать на скорое получение места — нельзя. Надо было добиться денег. Калистов пошел по своим товарищам, но и те сами были не богаче его. К счастью, попалась одна просвирня, которая, видя перед собою бедняка, ожидающего, впрочем, священнического места и хорошо кончившего курс, взяла его на хлебы, а деньги согласилась подождать.

Однако Калистов все-таки не забывал, что хотя просвирня и изъявила согласие на подождание денег, но все-таки хло-

потать об них не мешало, ибо просвирня сама-то едва переколачивалась со дня на день.

Но и тут судьба поблагоприятствовала Калистову! Приехал в город помещик, определять своего сына в гимназию. Барчонок, как видно, подготовлен был плоховато, и помещик решился найти для него учителя, но чтоб учитель этот был недорогой. Дешевле семинариста, разумеется, никто не возьмет, и вот Калистов попал к этому помещику и за незначительную плату принялся ходить на *кондицию*[12] и заниматься с барчонком.

Однажды как-то прихожу я к нему. Как теперь помню, дело было в обеденную пору. Смотрю, Калистов сияет счастьем.

— Что это, говорю, с тобой?

— А что? — говорит.

— Да что-то ты очень весел.

— Да так, веселится.

— Разве есть,— говорю,— что-нибудь хорошее?

— Есть,— говорит.

Оказывается, что Калистов только что воротился от секретаря консистории[13], который принял его как нельзя лучше и обещал свое высокое покровительство.

Секретарем у нас в ту пору был некто Финоген Андреевич Гелиотропов. Это был мужчина лет сорока, высокий, полный, с свежим, всегда чисто-начисто выбритым лицом, розовыми щеками и еще более розовыми губами, всегда приятно улыбавшимися. Финоген Андреевич считался в городе красавцем, подозревался в нескольких интрижках с несколькими молодыми вдовушками, но тем не менее пользовался уважением и завоевал себе название «благомыслящего человека». «Благомыслящий человек» этот, сознавая свою красоту, одевался всегда не только изысканно, но щеголевато. Короткие волосы, всегда блестевшие, зачесывал на виски, а на лбу устраивал «тупей», который каждый день завивал; галстук носил высокий из черного атласа, манишки снежной белизны и бархатные черные жилеты, на которых особенно рельефно обрисовывалась массивная, червонного золота, цепочка с брильянтовой задвижкой. Походку имел «благомыслящий человек» важную, медленную, но, встречаясь с дамой, как-то особенно сладко улыбался и, скользнув левой ногой вперед, приподнимал слегка правую, замирал на секунду и затем подлетал, живописно изогнув правую руку по направлению к сердцу.

Это означало: «сердечно рад». Жизнь «благомыслящий человек» вел аккуратную. В известный час вставал, ложился спать, в известный час приходил в консисторию и уходил оттуда, в известный час пил чай, завтракал, обедал, выкуривал «свою сигару», выпивал «свой стакан холодной воды» и в известный час гулял в городском саду, ради моциона. В саду этом он был особенно изящен. Как теперь вижу его фигуру, в легком пальто, в цилиндре, надетом немного набекрень с шелковым дождевым зонтиком в руках и с фуляровым платком[14], выглядывавшим из заднего кармана его пальто. Обойдет, бывало, раза три по утрамбованным дорожкам весь сад кругом, посмотрит на клумбы цветов, сорвет стебелек резеды и, понюхивая его, сядет на скамью. Вечера он проводил в клубе, за картами. «Благомыслящий человек» жил в роскошной квартире, имел жену для мебели, дочь, выданную, впрочем, замуж, и пару красивых лошадей. Консисторию он держал в руках, и так как архиерей[15] у нас в то время был закоренелый монах, худой, питавшийся просвирами да картофелем, служивший длинные-предлинные обедни и заутрени, то нечего говорить, что настоящим архиереем, в смысле администратора, был не кто другой, как «благомыслящий человек». Он назначал попов и дьяконов, давал им места, ставил и сменял благочинных, награждал набедренниками, скуфьями, камилавками, отдавал под суд и миловал, и на епархию смотрел, как на свою оброчную статью или как на стадо баранов, которых можно было и стричь, и брить, и даже шкуру сдирать. Тяжелое было то время, и духовенство наше долго не забудет его. В руки этого-то «благомыслящего человека» и разных орденов кавалера попал наш Калистов.

Этот-то «благомыслящий человек» встретил Калистова, обещав ему свое высокое покровительство, просил его быть спокойным, присовокупив, что он слышал о нем так много хорошего от самого ректора семинарии, что поставляет себе обязанностью оказать ему протекцию.

Я поздравил Калистова с успешным началом и объявил ему, что если уж сам секретарь взялся за это дело, то сомневаться в успехе нечего. Между тем внутренно я только удивлялся и даже не верил Калистову, да и можно ли было верить, когда всем было известно, что секретарь без денег ничего не делал и что прямо объявлял даже об этом просителям. Итак, Калистов зажил отлично. Обнадеженный секретарем и явно

покровительствуемый фортуной, он весело и энергически принялся за дело и только об одном и мечтал, чтоб скорее жениться на Лизе и быть священником. Нечего и говорить, что усердная и подробная переписка продолжала производиться ими. Комната, в которой жил Калистов, была невелика, но зато вид из нее был превосходный. Домик точно висел над рекой, так был обрывист берег. С одной стороны виднелся город со всеми своими церквами и белыми домиками, как будто утонувшими в зелени садов и палисадников, а с другой — необозримые луга, по которым бежала река голубой лентой. И как было красиво смотреть на эту реку ночью, когда рыбаки, окончив свой лов, зажгут, бывало, по берегу костры и примутся варить рыбу. Как были красивы их черные фигуры на огненном фоне и как был величествен этот розовый дым, усыпанный искрами, расплывавшийся по черному фону ночи.

Хозяйство свое, как ни было оно незначительно, Калистов передал просвирне, и, надо сказать правду, отдал в хорошие руки. Бывало, невольно удивляешься, глядя на старуху! Откуда брались у нее силы! И когда только успевала она все делать. Она и стряпала, и мыла белье, и убирала комнату, и самовар подавала, ну, словом,— все сама. Ухаживала она за Калистовым, как мать родная. Бывало, сто́ит только мигнуть, как уж она все понимала и исполняла. Табак потребуется,— бежит за табаком, огонь спонадобится,— подает коробку со спичками.

Надо вам сказать, что у просвирни была дочка, по разным обстоятельствам засидевшаяся в девках. Дочку эту звали Анночкой. Ей было уже лет под тридцать, и до крайности была она некрасива: рябая, рыжая и кокетка страшная. Бывало, все утро в том только и проходило, что сидела она за зеркалом и всячески убиралась; помочь же в чем-нибудь матери не хотела. Только, бывало, и делала, что сидела у окна да считала прохожих. Характера была злого и с матерью обращалась хуже, чем с кухаркой. Несколько раз старалась мать как-нибудь пристроить дочку, но от Анночки бегали все, как от огня; да и кому нужна такая.

У этой-то просвирни и поселился Калистов.

Раз как-то пришел я к Калистову поздно вечером. В сенях было темно. Вдруг слышу в чулане, в котором спала Анночка, какой-то шепот. Я остановился; слышу — просвирнин голос.

Шептанье это сильно подстрекнуло мое любопытство; я притаил дыханье и тихонько приложился ухом к щелке. Слышу, говорит просвирня:

— Нет, говорит, Анночка: воля твоя, а ты одними нарядами ничего не возьмешь.

— Много вы понимаете! — дерзко отвечала Анночка.— Уж знали бы свои пироги да лепешки, а то туда же, суетесь со своим суждением.

— Эх, Анночка,— зашептала опять просвирня,— материнский глаз лучше видит. Для тебя же я говорю все это; сама знаешь, в нашем быту одного щегольства мало, нужно знать хозяйство. Ведь тебе не по гостям ездить, а домом управлять. Священнику не щеголиха, а хозяйка нужна, которая умела бы сохранять его добро.

Я еще плотнее прислонился к щелке, но больше ничего не слыхал, потому что залаяла собака, и просвирня вышла из чулана.

Я вошел к Калистову; он уже собирался спать. Не знаю, почему-то разговор этот показался мне подозрительным; однако Калистову я не сказал об нем ни слова.

Немного погодя я опять как-то зашел к Калистову; смотрю, у него сидит просвирня, сидит и говорит:

— Да, Петр Гаврилыч, уж так бы была я вами благодарна, кабы вы мою Анночку грамоте выучили.

— Что же, это все ничего, можно,— говорит.

— Добрый вы человек, Петр Гаврилыч,— говорит просвирня,— недаром я вас словно родного сына полюбила. Так, значит, можно к вам Анночку присылать?

— Присылайте, ничего.

— Очень, говорит, вам благодарна. А я для вас, Петр Гаврилыч, всей душой. Конечно, я, говорит, женщина бедная, беззащитная, а ценить добро все-таки умею.

Я, разумеется, сижу да слушаю. Наконец кончилось тем, что Калистов согласился учить Анночку.

Вскоре просвирня ушла, и мы остались одни.

— А знаешь ли, что я тебе скажу,— проговорил я, обращаясь к Калистову,— я бы тебе посоветовал съезжать с квартиры.

— Это, говорит, почему?

— Да так и так, говорю, что-то тут дело-то подозрительно.

Да и рассказал ему подслушанный разговор.

А Калистов только расхохотался. «Вот, говорит, вздор какой выдумал».

Таким образом начались уроки. Анночка аккуратно каждый день приходила в комнату Калистова и просиживала у него часа по два, по три; а как только, бывало, станет уходить, так и начнет звать Калистова к себе, то на чай, то на пирог. Ну, разумеется, Калистов не отказывался, да оно и понятно, если хотите: человек совершенно один, занятия были только по утрам, а вечер не одному же сидеть. Кроме того, заманивало Калистова к просвирне и то, что был он там всегда первым гостем. Бывало, только покажется в комнату. как просвирня с дочкой не знали куда и посадить его, пойдет угощенье: чай, закуски разные... Что, бывало, Калистов скажет, то и свято. Трубки ли захочет покурить, сейчас ему набивают; ноги, бывало, протянет на стул, а просвирня стоит перед ним да просит разных советов: «Я, дескать, женщина беззащитная, глупая, а умников слушать надо!» Ну, Калистов и барствует; самолюбие удовлетворено, почет во всем, и все это втянуло его в общество просвирни. Как только воротится, бывало, с кондиции, так и к ней; у ней обедал, ужинал, чай пил, а немного погодя стал даже входить и в хозяйственные распоряжения, сделался в доме чем-то вроде хозяина, так что даже и нахлебники, жившие у просвирни, и те во всем ему подчинялись.

Так прошло с месяц.

Сижу я раз дома, читаю книгу; вдруг приходит Калистов.

— Ну, говорит, приятель, поздравь меня.

— Что такое?

— Скоро, говорит, место получу.

— Неужели?

— Да, говорит, скоро.

— Где же это?

— В селе Ивановском. Новая церковь выстроена, и только ждут владыку, чтоб освятить ее, а владыка-то болен.

— Почему же ты знаешь, что именно тебя посвятят туда? — спросил я.

— Как, говорит, почему: сейчас у секретаря был.

— Так это он сказал тебе?

— Он, и он же за мной на квартиру нарочного присылал. Не велел никуда отлучаться теперь. «Ждите, говорит, со дня на день!»

Я только посмотрел на Калистова, а сам внутренно подумал: неужели в самом деле секретарь посылал за ним. Удивительно показалось мне это, и удивительно потому, что никогда таких примеров не бывало. Однако я промолчал и спросил только о том, хорош ли приход?

Приход оказался отличным,— душ в тысячу, но что всего лучше, так это то, что старушка помещица была дружна с преосвященным, стало быть, у Калистова будет и протекция.

Калистов просидел у меня недолго, а вечером пошел я к нему. Входя в калитку, я встретил просвирню.

— Не к Петру ли Гаврилычу? — спросила она меня.

— Да, к нему,— говорю.

— Их, говорит, нет дома, куда-то вышли. Впрочем, они скоро вернутся, вы подождите их. Да не угодно ли ко мне покуда, у меня и самоварчик кстати кипит, чайку бы накушались.

Я зашел, Анночка сидела у окна.

— Нет, каков наш-ат! — проговорила просвирня, когда я уселся.

— А что?

— Как что? Сам секретарь сегодня присылал за ним. Приказал ждать места и никуда не отлучаться...

— Неужели это правда?

— Сама видела.

— А ведь я, признаться, думал, что он врет это.

— Какое же врет! Сама видела. Мы, знаете ли, сидим с Анночкой, а человек вдруг и входит. «Здесь, говорит, живет студент Калистов?» Да таким басом спросил, что я даже вздрогнула. «Здесь, говорю, батюшка».— «Так скажите, говорит, ему, чтоб сейчас к секретарю шел, очень, дескать, нужно». И потом, вдруг понизив голос, просвирня спросила меня:

— Да что, батюшка, у Петра-то Гаврилыча невеста-то есть, что ли?

«Э! Так вот зачем ты позвала меня чай-то пить,— подумал я,— ну да добро же, я тебя поморочу».

— Нет, говорю, нет еще.

— О чем же они думают? — продолжала просвирня.

— Не знаю.

— Ведь священники-то холостые только в немецких землях бывают, а у нас женатые. Пора бы позаботиться.

— Видно, говорю, не облюбовал еще.

— Так-с,— проговорила просвирня и взглянула на Анночку.

В это самое время под окном послышалось веселое пение. Просвирня узнала знакомый его голос и в одну минуту бросилась встречать Калистова. Анночка тоже вскочила с места и со свечкой в руках побежала на крыльцо.

Между тем весть о том, что секретарь присылал за Калистовым, немедленно распространилась по всем нашим. Все приходили в изумление и не знали, чему приписать такое внимание и благоволение. Некоторые начали завидовать и сердиться на Калистова, называя его хитрым, низкопоклонным; но как они ни сердились, а все-таки к Калистову ходили и даже заискивали его протекции. Калистова это забавляло, и мы, бывало, немало смеялись над всем этим. Владыка между тем все еще не поправлялся и, по отзыву доктора, выехать мог не скоро. Помещица же старушка непременно желала, чтоб выстроенный ею храм был освящен епископом. Стало быть, надо было ждать.

В таком-то положении были дела Калистова, когда получил я из деревни письмо, в котором меня извещали, что матушка, простудившись во время мочки коноплей, не на шутку захворала. Я простился с Калистовым, нанял лошадей и поскакал домой. Приехал я через сутки и нашел, что матушка действительно больна; но так как у нас в селе есть у помещика больница и немец лекарь, то, значит, больная была не без помощи и можно было надеяться на выздоровление. Кроме того, в болезни матушки принимала участие и сама помещица: она каждый день ходила ее навещать и приносила чай, варенье; словом, все ухаживали за матушкой. Приезд же мой помог лучше всяких ухаживаний. Не дальше как на третий день матушке было гораздо лучше, но ехать в город я все еще не решался. Кроме того, удерживало меня также и то, что надо было молотить хлеб, а так как у батюшки работника не было, то я и решился помочь ему в молотьбе.

Однажды как-то батюшка куда-то уехал, и я был один на гумне; вдруг, смотрю — идет Лиза.

— Бог помощь, говорит, Иван Степанович.

— Ах, это вы, Елизавета Николаевна,— говорю я,— как поживаете?

— Ничего, слава богу. Это вам и не стыдно, говорит, Иван Степанович?

— Что такое?

— Да к нам не побывать!

— Да все недосуг,— говорю.

— Как же, говорит, поверю я вам. Нет, уж вы просто поспесивились. Да что это вы одни, говорит, молотите, дайтека я помогу вам.

Я было попросил ее не беспокоиться, да она и слушать не хотела, взяла цеп и принялась молотить, и у нас так пошла работа, что просто прелесть, в два цепа; да ведь как валяли-то, только пыль столбом летела.

— А я,— говорит Лиза, не переставая молотить,— нарочно к вам пришла. Услыхала, что вы из города приехали, и пошла. Что, как там?

Я смекнул, в чем дело.

— Это, говорю, насчет Петрухи?

— Да, говорит, насчет его. Что, как он здоров?

— Слава богу, кланяться приказал.

— Спасибо... А письма нет?

— Давно ли он вам писал-то!

— Недавно-то недавно, но я полагала, что с вами еще напишет. А что место?

Я рассказал ей все подробно и рассказ свой покончил тем, что, по всей вероятности, весьма скоро она будет уже «матушкой» в селе Ивановке.

После этого посещения я виделся с Лизой почти каждый день; то она ко мне завернет, то я к ней. Ни в чем не завидовал я Калистову: ни его успехам в семинарии, ни протекции, которую оказывал ему секретарь консистории, ни месту, которое он получает прежде других, но в отношении Лизы — грешный человек — зубы точил на него. Так я в нее втюрился, как не может втюриться самый отчаянный мальчишка. Не поверите ли, я даже с ужасом помышлял о той минуте, когда Калистов, получив место, явится в Скрябино и поведет к венцу Лизу. Теперь, конечно, я понимаю, что все это было глупо, гадко, ну, а тогда дело было иное.

Раз как-то прихожу к ней: смотрю, у крыльца пономарского домика стоит щегольская тележка, запряженная тройкою лошадей. Сбруя на лошадях с медными бляхами, с кистями, с переметами, в гривах вплетены разноцветные ленты, бубенчики так и громыхают при малейшем движении лошадей.

— Кто это? — спрашиваю я у кучера.

— Свистунов, Николай Николаич.

Я даже ушам не поверил! Однако все-таки вошел в комнату и действительно увидал Свистунова, того самого приказчика, к которому приревновал Калистов Лизу. Он был одет франтом, в поддевке, в бархатных шароварах, лаковых сапогах, в шелковой рубахе, в воротнике которой блестела какая-то особенно бросавшаяся в глаза запонка, ну, просто молодец молодцом. И сам-то по себе он был красавец... высокий, статный, стройный, с черными кудрявыми волосами, с большущими синими глазами... Когда я вошел в комнату, Лиза провожала Свистунова...

— Ну, счастливо оставаться! — говорил Свистунов.— Коли такое дело, то, видно, нам прохлаждаться здесь нечего... Прощайте, Лизавета Васильевна...

— Прощайте, Николай Николаич...

— А может, надумаете еще...— проговорил Свистунов,— коли надумаете, дайте весточку, мигом прилетим, соколом упадем!

— Нет, уж не ждите...

— Напрасно-с, ей-ей напрасно-с!.. Итак, прощайте-с...

И, крепко пожав Лизе руку, он вышел, вскочил в тележку и полетел именно быстрее сокола.

— Поздравьте! — говорила между тем Лиза, обращаясь ко мне.

— С чем? — спрашиваю.

— С женихом.

Я даже ужаснулся.

— Что это значит?

— Свататься приезжал.

— Кто?

— Свистунов.

— Как? — спрашиваю.

— Известно, как сватаются-то! — просил моей руки. «Охота, говорит, вам за кутейника[16] выходить, попадьей весь век прокоптить! То ли дело купеческой женой сделаться. Я, говорит, теперь в купцы приписался, гильдию плачу[17], у помещика Заборина пятьсот десятин лесу купил, мельницу у него же в аренду снял на двенадцать лет. Крупчатка[18] важная, шесть тысяч доходу дает. А уж какой, говорит, домик при мельнице... загляденье просто!.. Светленький, чистенький, о пяти комнатах... Под самыми окнами река шумит, а кругом зеленый лес стонет... Заживете, говорит, словно в сказках царевны прекрасные... кони у вас будут

вихря быстрей, кушать будете сладко, наряжать буду в парчи да в бархат, почивать на лебяжьем пуху, ни в чем отказа не будет! А отцу, говорит, вашему хоть сейчас за вас триста монет оставлю! Свадьбу, говорит, сыграем знатную, хмельную, шумную, с музыкой, песнями... чтобы недели три в чаду ходить».

— Что за чепуха! — говорю.

— Нет, не чепуха! — крикнула Лиза, а сама подбоченилась да таково-то насмешливо глянула на меня, да так-то захохотала, что у меня мурашки по телу пробежали.

— Чем же все это кончилось? — спрашиваю.

— Известно чем... поклонилась я ему низехонько от лица до сырой земли и сказала: «Спасибо тебе, добрый молодец, свет Николай Николаевич, за твою любовь, за ласку да за доброе слово. Родилась я на свет не царевной, а простой поповной... Не к лицу мне парча да бархат, жизнь купецкая... не мне на твоих конях кататься, не мне в твоих теремах жить и спать на пуху лебяжьем... У меня есть суженый иной, а у тебя будет иная. Спасибо, добрый молодец, свет Николай Николаевич»».

И, проговорив это, Лиза захохотала.

Вдруг, в эту самую минуту, дверь распахнулась, и в комнату вбежал Калистов.

Мы даже вскрикнули оба при виде его, а он, увидав Лизу, так и повис у нее на шее.

— Нет,— говорит он,— вытерпеть не мог, чтобы не повидаться с тобой.

И нимало не медля рассказал, что владыка оправился, что он скоро выедет и что секретарь, уведомив его об этом, просил его, Калистова, зайти к нему в следующую пятницу для окончательных объяснений и для написания прошения.

И затем, вынув поспешно из кармана какое-то письмо и подавая его мне, прибавил:

— На, читай... да только читай громко, чтобы все слышали.

Это было письмо от «благомыслящего человека». Письмо это я помню от слова до слова. Вот что писал он: «Его преосвященство, милостию божьею, оправился совершенно и чувствует себя настолько сильным, что в непродолжительном будущем предпринимает поездку по епархии и, между прочим, в село Ивановку для освящения вновь сооруженного там храма. Посему предлагаю вам в будущую же пятницу,

в семь часов вечера, пожаловать ко мне для окончательных объяснений и для написания прошения о назначении вас священником на упомянутое место. Освящение будет совершено 1 октября, а посему вам необходимо поторопиться, чтобы иметь время сочетаться браком и быть посвященным в дьякона. Посвящение в иерея будет совершено владыкой в день освящения того храма, служение в котором вам назначено мною».

— Что́, каково! — воскликнул Калистов, когда я докончил письмо.

— Так, стало быть, недели через две ты будешь мой! — проговорила Лиза.

— Твой, твой.

— А первого октября мы будем уже в Ивановке.

— Да, в Ивановке.

И, переменив тон, он прибавил:

— Я рассчитал, что к пятнице я успею еще вернуться в город, и потому, как только получил письмо, нанял на последнюю трешницу подводу и марш сюда, к тебе, моя дорогая, моя суженая, жизнь моя.

Вернулся пономарь, ездивший куда-то, прочли еще раз письмо секретаря, поставили самовар, и счастливая семья принялась ликовать, празднуя получение радостной вести. Один только я не разделял этой радости и, глядя на счастливое и довольное лицо Лизы, внутренно завидовал Калистову и вел себя чрезвычайно подло. Мне было досадно это счастье, мне казалось противным оно, и потому ничего нет удивительного, что я поспешил распроститься со всеми и пошел домой. Калистов проводил меня до крыльца.

— Что же, вместе в город-то поедем? — спросил он меня.

— Конечно, вместе.

— Только помни, что в пятницу я должен быть у секретаря, следовательно, выехать необходимо в среду.

— Так и выедем! — проговорил я.

И мы еще раз простились.

Однако домой я в этот день не попал и вместо дома угодил, куда бы вы думали? — на мельницу к Свистунову. Случилось, впрочем, это нежданно-негаданно. Встретился я с Свистуновым в лавочке, в которую вошел купить себе табаку. Разговорился с ним, и так как он был сильно подкутивши, то кончилось тем, что он силой посадил меня на свою тройку и помчал к себе на мельницу... Как домчались мы до этой мель-

ницы, я не помню, ибо, не будучи привычен к быстрой езде, я как-то замер и потерял сознание. Я помню только, что мы мчались, как вихрь; помню, что, выезжая из села, мы встретили Калистова и Лизу; помню, что Калистов махал рукой, кричал что-то, но что именно, разобрать не мог, ибо слова его заглушались громом бубенцов, стуком колес, а пуще всего неистовым гиком Свистунова. Что-то дикое даже было в этой скачке... словно нас преследовали, словно мы совершили что-то такое, требующее кары, и нам необходимо было ускакать, укрыться где-нибудь, чтобы избежать преследований...

Я опомнился только тогда, когда домчались мы до мельницы и когда тройка, покрытая пеной, храпя и дрожа, стала у крыльца мельничного дома.

— Пожалуйте! — крикнул Свистунов.— Милости просим-с.

Выбежала на крыльцо какая-то девушка, красивая, статная, в русском костюме, в шелковом платочке на голове, бросилась было встречать Свистунова, но, увидав меня, запнулась.

— Рекомендую! — кричал между тем Свистунов, схватив девушку за руку и подводя ее ко мне.— Рекомендую, Паша! возлюбленная моя! больше от скуки держу... но девка все-таки ничего, с огоньком.

И потом, обратясь к девушке и хлопнув ее по плечу, прибавил:

— Ну, Пашка, марш!.. Ставь угощенье... Что есть в печи, на стол мечи... Чтобы пирушка была на славу, а главное, чтобы не было скучно... Грусть-кручина одолела меня, так хочу ее размыкать, разметать по воздуху. Соня здесь?

— Здесь.

— А Варя здесь?

— И Варя здесь.

— Ладно! тащи же их всех... да смотри, чтобы песни нам пели, чтобы плясали перед нами... Слышишь?

— Что больно расходился? — вскрикнула девушка.

— Не спрашивай, убью!

— Ах, страсти какие!.. Не пожалеешь денег, так и весело будет.

— Денег? — крикнул Свистунов.

— Известно.

— Так на́ же тебе, бери, подлая,— проговорил он, бросив кошелек чуть не в лицо девушке,— да смотри у меня...

— Небось!.. спасибо скажешь... разутешим.— И, подняв кошелек, девушка бросилась в дом.

Предоставляю вам судить самим, каково провел я на мельнице тот вечер и ту ночь. Теперь мне совестно вспомнить низкое и подлое поведение мое, но тогда — тогда дело было иное. Мне все нравилось тогда, все было по душе. Мучимый ревностью, я смотрел на дикого Свистунова с каким-то благоговением. «Вот она, широкая-то русская натура,— думал я,— вот он, тот богатырь-то сказочный, полный жизни, энергии, самоотвержения и доблести, которым восхищается русский народ!» И, глядя на него, я припомнил фигуру Калистова.

И тогда Калистов рисовался мне чем-то ничтожным, дряблым, безжизненным и, не скрою, чем-то даже гадким и подлым. А кругом меня — песни, крики, громыханье бубна, звуки торбана[19], топанье ног... Вино, льющееся рекою, объяснения страстные, жгучие поцелуи... Оргия в полном разгаре... а из растворенных окон врывался гул леса, и я пил, я пел, я плясал и затем отдыхал в объятиях Вари...

Только в двенадцать часов проснулся я на другой день.

— Вот так *отчубучили!* — кричал Свистунов над моей постелью.— Вставай, пойдем опохмелиться...

Целых три дня прожил я у Свистунова, и с каждым днем он становился мне все милее и милее, а от его мельницы и рощи я просто в восторг пришел. И действительно, было чем восторгаться. Домик на самом обрыве реки, светлый, чистенький; рядом крупчатка, стонущая снастями под напором воды, а кругом лес, березовый, весь пронизанный зелеными лучами солнца... Тихо, молчаливо, далеко от всего живого, и делай там, что хочешь, никто не услышит и не увидит...

— Хорош приятель! нечего сказать,— говорил мне Калистов, когда в среду я завернул к нему, с тем чтобы вместе ехать в город.

— Хорош, правда! — говорила Лиза.

— Что такое? — спрашиваю.

— И все так-то делают! — перебил меня Калистов.— С врагом моим связался.

— С каким это?

— Да с Свистуновым-то... Человек делал предложение моей невесте, а он — мой приятель-то — с ним дружбу свел...

— Хорош! хорош! — упрекала Лиза.

— И нашел связаться с кем! — говорил пономарь.— С вором...

— Какой же он вор?

— Известно, вор, коли своего хозяина обокрал... Откуда же у него деньги-то!.. Честным-то трудом в три года так не разбогатеешь...

— Да чего! — подхватила Лиза, обращаясь к отцу.— Чуть не задавили нас... Мы гулять ходили, а они мчатся... Петя кричит ему: «Постой! постой!», а он хоть бы поклонился...

Но я не слушал их... Я все еще был там, в благоухавшем лесу, в светлом домике молодца Свистунова, среди диких плясок и песен,— и тишина пономарской лачуги словно давила меня.

В город приехали мы в пятницу утром, а вечером я зашел к Калистову; он был уже совсем одет и собирался к секретарю...

Но вот что случилось с Калистовым в тот день, который был поистине последним счастливым днем его жизни. Насколько до того времени все ему благоприятствовало, настолько с того дня все стало грозить ему неминуемой бедой. Стоит только раз попасть под немилость судьбы, как одна беда не замедлит смениться другой. С того дня Калистов навеки простился с счастьем. Он потерял веру, потерял надежду, и губительный поток этот увлек его далеко. Главное, беда состояла в том, что удары судьбы попали прямо в сердце Калистова и поразили самые дорогие, самые святейшие его богатства, без которых Калистов не мог существовать, потому что эти богатства и составляли все его существование.

Но возвращаюсь к рассказу.

Распростившись со мною, отправился Калистов к секретарю. Человек встретил его чуть ли не на крыльце.

— Ну, Петр Гаврилыч,— проговорил он,— уж я бежать за вами хотел; барин вас ждет не дождется, пожалуйте в кабинет.

Калистов поспешил войти. «Благомыслящий человек» сидел в вольтеровских креслах и курил «свою сигару». Лицо его было бело и чисто, волосы приглажены, брильянтовые перстни в полном блеске. Станислав так и покоился на белой, как снег, сорочке. Увидав Калистова, «благомыслящий человек» приятно улыбнулся и, протянув руку, проговорил мягким голосом:

— Ну, Петр Гаврилыч, вот и наше дело кончено. Покорнейше прошу садиться и выслушать меня: преосвященный выздоровел... Нам остается только написать прошение, которое вы должны сегодня же подать преосвященному; мешкать нечего.

— Я боюсь, как бы не отказал он мне, Финоген Андреевич,— проговорил Калистов.— Быть может, преосвященный имеет в виду кого-нибудь другого на это место.

— Пожалуйста, не беспокойтесь и надейтесь на меня,— перебил его «благомыслящий человек».— Я поеду к преосвященному вслед же за вами, и мы уладим все сегодня же; я вам ручаюсь.

— Я не знаю, как и благодарить вас, Финоген Андреевич, за все ваши благодеяния,— проговорил Калистов, приподнимаясь со стула.

— Благодарите самого себя, а не меня. Вы так хорошо учились, всегда были столь хорошего поведения, что наше дело искать таких студентов: давайте нам побольше таких священников.

Калистов снова привстал с места и с торжествующим лицом снова поблагодарил своего высокого покровителя. В это самое время дверь отворилась, и в кабинет вошла девушка лет двадцати, в ситцевом сарафане и с подносом в руках. «Благомыслящий человек» взял стакан и кивнул на Калистова; девушка вышла и через минуту снова воротилась, неся на подносе еще стакан чаю.

— Не прикажете ли? — проговорил «благомыслящий человек».

— Итак,— начал он, когда девушка вышла,— давайте писать прошение. Только я вам должен сказать, что место это я дам тому только, кто захочет мне сделать следующее маленькое одолжение.

Калистов вдруг отчего-то вздрогнул, да и было отчего, потому что минута эта была началом его бедствий. «Благомыслящий человек» заметил это и приятно улыбнулся.

— Вы испугались? не бойтесь, не бойтесь. Одолжение, о котором я упомянул, самое ничтожное. Вот видите ли, в чем дело: — я буду говорить с вами, как с родным сыном. У меня есть одна девушка, которую мне хотелось бы пристроить. Она очень недурна, очень молода, а главное, имеет порядочное приданое,— шестьсот рублей. Для первого обзаведения это весьма недурно. Вы человек бедный, и для вас

это будет большою помощью. Как вы хотите, надобно же начать чем-нибудь. Словом, девушка эта та самая, которая сейчас подавала нам чай.

Калистов так и обомлел.

— Она дочь кормилицы моей старшей дочери,— продолжал между тем с прежним спокойствием «благомыслящий человек». Девушка она кроткая, смирная, грамотная и будет прекрасною женою. Я вам открою больше... это незаконная дочь моя. Вот, если угодно, давайте писать прошение, и я в один удар сделаю два добрых дела.

— Финоген Андреич! — почти вскрикнул Калистов.— У меня есть невеста...

Как вышел Калистов из кабинета «благомыслящего человека» и как дошел он до своей квартиры, я не берусь рассказывать вам; скажу только то, что, войдя в комнату, он упал на постель и горько-горько зарыдал. Калистов знал, что делать было нечего, что против секретаря ничего не сделаешь. Вмиг исчезли все мечты, картины счастливой будущности,— и Калистова с той минуты нельзя было узнать. Куда девалась веселость, куда девалась энергия?

Дня через два после описанного я зашел к Калистову. Дело было уже вечерком, погода была ненастная. Я вошел в комнату, но она была пуста; я пошел к просвирне.

— Где Калистов? — спросил я ее.

— А! Иван Степаныч! — почти вскрикнула она.— А уж я к вам идти хотела.

— Что такое?

— Да как что? Ведь Петр Гаврилыч пропал.

— Как пропал?

— Да так. Вот уж целых двое суток нет его. Я не знаю, что мне и делать, весь город обегала искавши.

— Быть не может?

— И что́ всего хуже, видели его чуть живым,— пьяным.

— Вздор! — вскрикнул я.

— Пьяным, верно-с.

— Кто же видел его?

— Да мой нахлебник, Мироносецкий. Не знаю, что и делать, и Анночка-то еще так долго не идет.

— А она-то где?

— Да послала ее Петра Гаврилыча искать. И ведь погода-то, на грех, какая, и дождь, и ветер, и темнеть, хоть глаз выколи; как раз, пожалуй, в реку свалится хмельный-то.

Что я буду делать без него, грешная, старая, беззащитная!

В это самое время вошла Анночка, вся мокрая.

— Ну что? — спросили мы ее почти в один голос.

— Нет,— проговорила она, опускаясь на стул,— не нашла. Только, говорит, и могла узнать, что Петр Гаврилыч утром были в трактире Сизополь с богословами, которых вчера в стихарь посвящали.

— Да как он попал-то к ним?

— Встретился, вишь. Они ходили поздравлять друг друга с благодатью, да и подкутили, а подкутивши, пошли целою компаниею в Сизополь, машину слушать да остальные деньги докучивать. Петр Гаврилыч встретился им, они его и затащили.

Я расспросил, кто были эти богословы, и, не медля ни минуты, бросился по их квартирам; но поиски мои остались тщетными — богословов никого не застал я дома; бегал к архиерейским певчим, так как я знал, что у них постоянно идет гульба, но и у певчих не нашел я Калистова. Оставалось еще обежать трактиры; несмотря на дождь, сильный ветер, я решился обойти их, но Калистова нигде не нашел. Идти было некуда, надо было отложить поиски до следующего дня.

Вдруг чья-то рука ударила меня по плечу; я обернулся и увидел перед собою одного своего товарища, Кустодиева.

— Здравствуй, брат,— проговорил он.

Я поздоровался.

— Поздравь, говорит, меня.

— С чем? — говорю.

— Место получил.

— Какое?

— Конечно, священническое.

— Куда это? — спрашиваю.

— В Ивановское.

— Так это ты счастливчик,— говорю.

— Да, говорит, я.

— Ну, говорю, поздравляю тебя с этим счастьем.

— Спасибо, брат, спасибо.

— Счастье, говорю, воробей,— поймать трудно.

— Нет, я, говорит, поймал.

— А Калистова не видал?

— Нет, говорит, видал. Мы с ним вместе пили...

— Где же он?

— А вот тут, в переулке, пьяный, валяется. Я все время вел его под руку, но наконец утомился и бросил... Хочешь, я доведу тебя до него.

— Веди.

Мы пошли, и немного погодя я увидал валявшегося Калистова, без чувств, пьяным, оборванным и выпачканным в грязи. Я стал будить его, но он не просыпался; я крикнул извозчика, взвалил Калистова на дрожки и повез домой.

Калистов запил, и запил без просыпа.

Но этим еще не кончается несчастная история Калистова. Ему суждено было встретить еще один удар неумолимой судьбы, которого, впрочем, не вынес Калистов и под которым пал окончательно, уже обессиленный и изнуренный.

Прошло несколько дней; Калистов не переставал пить. Между тем помещик, у которого он учил сына, встретив как-то Калистова пьяным, отказал ему и взял другого. Какие были у Калистова деньги, он пропил, а погода тем временем становилась все холоднее и холоднее; сюртук же поизодрался, нижнее платье тоже, а теплого пальто или шинели вовсе не было. Недоставало одного, чтоб просвирня выгнала его из квартиры, но она этого не сделала, а, напротив, еще пуще стала приголубливать Калистова. Анночка тоже около него ухаживала, и наконец дело дошло до того, что сшили ему сюртук, шинель, сапоги с калошами, жилет и нижнее платье, все, как следует, обули и одели парня с ног до головы.

«После, когда-нибудь, отдадите»,— говорила просвирня.

Увидав все это, я окончательно струсил. В одну минуту пришли мне на память все мои подозрения, подслушанный разговор в чулане и всевозможные ухищрения просвирни — втянуть Калистова в свое общество. Но было уже поздно, я не видался больше с Калистовым. Просвирня поступила как тонкий политик. Она в одну минуту поняла, что настоящее бедственное положение Калистова есть самая удобная минута дать ему генеральное сражение. Она смекнула, что мешкать нечего, что, чем решительнее и быстрее будет удар, тем вернее будет ее победа. И она начала с того, что отдалила от Калистова всех его товарищей, то есть все свои неприятельские армии, и поссорила с ним меня, заклятого врага своего, опутав между тем окончательно бедного Калистова. Во что бы то ни стало решилась она женить его на Анночке. Она не боялась, что выдает дочь за пьяницу, потому что была, как

видно, твердо убеждена, что пьянство это есть временное, что оно пройдет и что рано или поздно она будет иметь в Калистове крепкую опору, под которой она смело может сложить с себя хлопоты и заботы и спокойно донести свои измученные кости до гробовой крышки.

Итак, она отдалила от Калистова всех его товарищей и еще больше принялась угождать ему. Водка, единственная потребность в то время Калистова, играла первую роль, она не сходила со стола, и Калистов стал почти безвыходно проводить время у просвирни. История эта тянулась с неделю, как вдруг вот что́ случилось с Калистовым.

Однажды пришел он к просвирне. Подали водки; он рюмку за рюмкой, да и натянулся. В голове закружилось, и что было дальше, он не помнил. Заснул он. Только вот проснулся-то не на стуле, а на кровати, рядом с просвирниной дочкой, которая, как быть, лежала возле него в одной сорочке. Калистов вскочил, перепугался, да уж поздно, потому что в дверях стояла просвирня со свидетелями.

— Вот,— говорит она,— смотрите, добрые люди, как обесчестил мою дочь, будьте свидетелями...

Дело было поставлено так, что Калистов должен был в тот же день повенчаться с просвирниной дочкой.

Узнал я про это на другой день и в ту же минуту поскакал в Скрябино, но уже не с теми подлыми чувствами, с которыми я был там несколько дней тому назад, а с чувством тоски, отчаяния и скорби. Я был убит, уничтожен, я терзался за Калистова... Я захворал просто... Я болел и телом и душою, я словно похоронил его и теперь, едучи в Скрябино, словно возвращался с погоста, с только что засыпанной могилы друга. Приехал я в Скрябино утром, Лиза выбежала ко мне навстречу. Она словно предчувствовала горе.

— Ну? — вскрикнула она.— Ну? — повторила она.

Я не знал, что ответить ей.

— Он-то где же?

— Его нет.

— Когда же?..

Вышел пономарь.

— Один? — спросил он.

— Один.

— А Петр Гаврилыч?

— Да говорите же вы наконец! — вскрикнула Лиза.— Что он, захворал, что ли? Пятница давно прошла, я все пись-

ма ждала от него, и до сих пор нет ничего... Захворал, что ли, он?..

Уж я, признаться, даже и не помню, как передал я Лизе о всем случившемся с Калистовым; помню только, что Лиза, услыхав про женитьбу жениха своего, как-то вытянулась, побледнела, сдвинула брови и словно окаменела. Глупый пономарь разразился бранью, хотел было ехать к архиерею; грозил Калистова разорвать на части, собрался было искать защиты перед судом, но Лиза остановила его и решительно объявила ему, что если он не перестанет кричать и шуметь, то она сейчас же уйдет из дома. Я глаз не сводил с Лизы и, глядя на нее, ужасался. Словно истукан, она стояла посреди комнаты, словно рассудка лишилась... и хоть бы одна слезинка выкатилась у нее из глаз... Только вечерком, когда я собирался было уехать домой, она остановила меня.

— Нет, вы не уходите! — проговорила она, да таким голосом, что у меня даже мурашки по телу забегали.

— Что с вами? — спросил я, взглянув ей в глаза. И только тогда заметил, что глаза эти не то остолбенели, не то растерянно смотрели вокруг.— Что с вами?

— Ничего.

— Нет, вы больны, Лиза, вам нехорошо...

— Останьтесь ночевать...

— Не послать ли за фельдшером?

— Нет.

И, проговорив это, она ушла молча в свою комнату.

На другой день рано утром Лиза разбудила меня, я открыл глаза и не хотел верить им. Передо мною стояла Лиза, веселая, смеющаяся, разодетая, расфранченная и прекрасная, как никогда.

— Ну,— проговорила она,— теперь я совсем здорова. Ну что,— хороша я в этом наряде, а? говорите же скорее, хороша?.. Да говорите же... Ну, чего вы молчите-то...

И опять ужас объял меня.

— Что с вами, Лиза?

— Нет, ничего.

— Нет, у вас что-то не то...

— А ведь я к вам с просьбой! — вскрикнула она, не слушая меня.

— Что такое?

— Исполните?

— Если возможно, то конечно...

— Нет, говорите прямо...

— Я прямо и говорю.

— Исполните?

— Ну... исполню.

— Так одевайтесь же и проводите меня к Свистунову.

— Что вы, Лиза, господь с вами! — чуть не кричал я.

Но Лиза ничего и слушать не хотела. Она закрыла глаза, заткнула уши и требовала, чтобы я шел с нею... Что было делать? Я сначала отказался, но, когда Лиза, услыхав мой отказ, объявила, что она пойдет одна, мне вдруг стало жаль ее. Я решился идти с нею, думая дорогой образумить ее... Я думал, что все это одна только вспышка, каприз, оскорбленное самолюбие, припадок ревности, мести, злобы. Но вышло на деле, что хотя поступок Лизы и был действительно капризом мести и злобы, но припадок этот она довела до конца. Мы не шли, а буквально бежали по дороге, ведущей на мельницу, и чем дальше мы шли, тем сильнее укреплялась в ней решимость на задуманное ею... Лицо ее горело, глаза искрились, тонкие ноздри дрожали, грудь поднималась высоко, растрепавшиеся волосы выбивались из-под платочка и прямо падали на плечи. «Лиза, Лиза, что вы делаете, опомнитесь!» — говорил я ей, но она даже и вниманья не обращала на мои слова. Она словно не слыхала их и продолжала бежать... Наконец мы достигли цели. Она быстро впорхнула в дом и в первой комнате встретилась с Свистуновым.

— Ну, добрый молодец, свет Николай Николаич! — вскрикнула она.— Вот и я в теремах твоих... Слову своему я не изменщица... Женой твоей не буду, а любовницей, коли хочешь, пожалуй. Только знай, что не любовь к тебе привела меня сюда, не парча золотая, не бархат шелковый, не камни самоцветные, нет, не то, не то!.. Но тебе до всего этого дела нет... Я по глазам вижу, чего тебе надо... Ну... показывай же, где у тебя пух-то лебяжий... Клади меня на него, я отдохнуть хочу!..

Целую неделю прожила Лиза на мельнице, но замуж за Свистунова все-таки не вышла. Через неделю она снова вернулась в Скрябино, сшила себе черное монашеское платье и повела жизнь «чернички». Она не пропускала ни одной обедни, ни одной заутрени, ни одной вечерни, читала над покойниками псалтырь, ухаживала за больными, а с наступлением весны отправлялась на богомолье. Она была в Воронеже, в Киеве, в Москве, побывала во всех монастырях и

пустынях, и жизнь такую ведет до сих пор... Я несколько раз был у Лизы, но это уже была не та Лиза, которую я знал прежде. Из веселой и резвой она сделалась серьезной, угрюмой и даже ханжой, в полном смысле этого слова. Она жила не в доме отца, а на огороде, в бане, переделав ее на какую-то келью. Стены этой кельи были увешаны иконами; в переднем углу стоял налой, и, стоя перед этим налоем, она читала церковные книги. Калистова я потерял из виду, и только в прошлом году удалось случайно встретить его на ярмарке, в Лопуховке. Случилось это так: прохожу мимо кабака... Смотрю, народ столпился, и весь этот народ все что-то на кабак смотрит. Что такое? — думаю себе. Смотрю, и что же? Стоит в дверях кабака Калистов и играет на гитаре, а лицо такое испитое и сюртучишко рваный. Я остановился, смотрю, что-то будет. Боже мой! И играл же он только в то время!! Уж я на что дубоват на этот счет, да и то прослезился... Играл тихо-тихо, и точно как он не играл, а плакал... Глаза его, полные слез, так и горели, бледные губы дрожали, он смотрел на чистое и открытое небо, а между тем пальцы его так и бегали по струнам. Вдруг он сделал аккорд и запел что-то.

Кончил он петь, и что же? Взял фуражку и пошел по мужикам собирать деньги, ходит да и приговаривает: «На бедность, на бедность, братцы, не дайте умереть с голода!» Ну, разумеется, кто грош, кто копейку... Подходит и ко мне, протянул картуз, да как взглянул мне в лицо-то... Э! да что и говорить про это!..

После, вечером, пришел он ко мне на квартиру и рассказал, что он вышел из духовного звания, что жил в нескольких трактирах в качестве музыканта, но что жить на одном месте ему тяжело... Вот вам и все. Где жена,— не знаю; впрочем, слышал, что живет в Воронеже, просвирня же давно померла.

* * *

— Ну и царство ей небесное! — крикнул становой и потом вдруг прибавил.— Господа, пожалуйте! ботвинья готова. Пока краснобай этот рассказывал нам историю своего приятеля, я имел достаточно времени, чтобы в точности выполнить все, что только предписывается поварами для изготовления самой отличнейшей ботвиньи. Я перетолок лук с солью, я натер на терке несколько огурцов, накрошил укропу, подбавил к щавелю несколько горчицы и сахару, нарезал лом-

тями балык и осетрину и даже натер для любителей хрену и все это развел квасом. Теперь прошу вооружиться ложками и приниматься за ботвинью. Думаю, что стряпня моя вам понравится...

Все взялись было за ложки, как вдруг подошел старик хозяин.

— Батюшка, Петр Николаич! — проговорил он, падая в ноги.— У меня все готово... покойник в гробу лежит... прикажи к попу сведение написать, ведь поп-то без бумаги хоронить не будет.

— Ах, ведь я и забыл! — вскрикнул письмоводитель.— Сейчас, дедушка, сейчас напишу.

И, проговорив это, письмоводитель принялся строчить бумагу попу.

Немного погодя, распростившись со всеми, я отправился домой. Когда я садился на лошадь, старик хозяин вывозил со двора гроб Калистова. Старик сидел на гробу и, понукая лошадь, ругался:

— Чтоб тебя черти разорвали! Чтоб тебе ни дна ни покрышки, поганцу этакому!.. Шутка ли! становому пять, лекарю пять, письмоводителю трешницу, кур, поросят; вина сколько полопали... да вот теперь попу еще... тоже ведь *калухан-то*[20] охулки[21] на руку не положит...

А под навесом сын старика полосовал кнутом жену свою Груню... полосовал сплеча по чем попало и, скрежеща зубами, не говорил, а шипел как-то:

— Я те дам, сволочь, поскуда подлая!.. Вишь, лекаршей захотела быть... Я те проучу!..

— Зря обижается-то! — ворчала старуха, хладнокровно почесываясь и глядя на сына.— Хуже было бы, кабы в избе-то потрошить начали... от одной вонищи не ушли бы, кажись...

А Груня только ежилась при каждом свисте ременного кнута, опасаясь криком привлечь на себя внимание людей.

Часов в десять вечера я был уже в деревне и ехал вдоль огромного пруда, на берегу которого стоял мой деревянный домик. Что за чудная ночь! Я остановил лошадь. Избы здесь и там раскинулись вдоль пруда, там все уже спали; неподалеку белая церковь. Все тихо... Слышу только, как вдалеке бор стучит ветвями... но лошадь моя не стойт. Я слезаю, держу ее за повода и прислушиваюсь... Сквозь шлюзы сочится вода... Там зыкнет вдруг кузнечик... Там прошепчет камыш... Что ж

это такое? Откуда взялся этот чудный, волшебный мир?.. Однако пора домой! Иду и слышу, там далеко, за коноплянииком кричит кто-то: «Буре-онушка, буре-онушка!» И немного спустя это же самое повторяет кто-то версты за две от деревни, у опушки темного бора, потом и еще, в противоположной стороне... Я останавливаюсь... но кругом все тихо, так тихо, как будто все вымерло, как будто все притаилось и прислушивалось к моему дыханию.

И еще грязнее показался мне в ту минуту содержатель постоялого двора, и еще печальнее представлялась мне история Калистова.



Паук

Рассказ

> Паук может удивительно много есть; у паука восемь глаз, для внимательного наблюдения за добычей, и восемь длинных ног, с помощью которых он обхватывает ее. Если к нему в паутину попадет большое насекомое, с которым ему не сладить и которое может порвать его сети, он сам обрывает ближайшие нити. Если же насекомое слабсе, он несколько выжидает, пока оно, стараясь выпутаться из клейких нитей, совершенно ослабнет и измучается, и тогда только приступает к поглощению своей жертвы.
>
> *(Рассказы для детей по Вагнеру[1])*

1

Прошлым летом несколько недель сряду прогостил у меня в деревне один мой хороший приятель. Это был молодой человек, только что кончивший университет и не успевший еще избрать себе никакого лагеря. Проведя свое детство в деревне и навещая деревню каждые каникулы в течение всей своей томительно-продолжительной жизни, этот молодой человек так полюбил деревню, что в ней одной видел конечную цель всех своих верований, надежд и упований. Ему было не более двадцати пяти лет. Это был человек довольно высокого роста, довольно стройный, с маленькой пушистой бородкой и длинными волосами, закинутыми назад и почти лежавшими на плечах. Честное, доброе лицо его было постоянно оживлено какою-то особенно симпатичною улыбкою; глядя на это открытое лицо, а главное — на эту улыбку, както невольно становилось на душе легко и отрадно. Все доброе, все честное соединилось в этом образе. Он и не верил в зло, а если и встречался с ним, то объяснял существование его одним лишь недоразумением, одной ошибкой и явлением случайным, но не присущим натуре человека. Это был юноша увлекавшийся, впечатлительный и, под минутой впечатле-

ния, быстро, с налету решавший дело. Еще будучи студентом, он все свое свободное время посвящал изучению народного быта и экономических явлений его. Он много читал, много писал по этому поводу. Статьи его охотно печатались в наших журналах, и имя моего приятеля в известном кружке читателей пользовалось симпатиями. Он изучал общинное владение, податную систему, хуторское хозяйство и проч.

Как только приятель явился ко мне и объявил цель своего приезда, я тотчас же, конечно, постарался быть ему полезным. Несколько дней сряду мы буквально дома не жили. Целые дни проводили мы, расхаживая по окрестным селам и деревням, по хуторам и соседям, стараясь всеми путями проследить быт окрестного населения. Мы перебывали во всех волостных правлениях, ходили по праздникам на сходки, заглядывали в кабаки и трактиры, и всякому мало-мальски грамотному человеку приятель всучивал какие-то разграфленные листы с изложенными вопросами и просил по вопросам этим написать на том же листе подробные ответы. Когда именно приятель мой спал и вообще отдыхал — мне неизвестно, потому что днем он постоянно рыскал, а ночью приводил в порядок все собранное днем. Дня два или три я следовал за ним повсюду, но, когда однажды в каком-то трактирчике чуть не отколотили нас мужики, я предпочел отклониться от исследований и на приятеля махнул рукой. С тех пор приятель мой жил сам по себе, а я сам по себе. Он продолжал шататься по деревням, собирал нужные сведения, перетаскал у меня почти всю бумагу и все перья, извел целый флакон чернил, а я всецело предался невиннейшему занятию — охоте. С приятелем я не встречался по нескольку дней, а уток за это время переколотил столько, что не знал, куда с ними деваться. Вот именно про одну из этих-то охот я и хочу рассказать вам.

Дело началось с того, что однажды влетает ко мне в кабинет приходский дьякон и, увидав меня лежащим на диване, проговорил басом:

— Вы чего тут с боку-то на бок переворачиваетесь! Вставайте-ка поскорее да на Тарханские болота поедемте.

— А что там случилось? — спросил я.

— Вставайте, вставайте!

— Да что случилось-то?

— А то, что уток стрелять надо! Столько уток, что отродясь не видывал!

— Правда ли? Верить-то вам ведь надо с некоторой осторожностью...

Дьякон посмотрел на меня и словно удивился.

— Что смотреть-то! — проговорил я.— Мало вы меня обманывали! Давно ли во Львовку возили! Тоже говорили, что дупелей чуть не миллионы, а на деле вышло, что ни одного не видали.

— То Львовка, а то Тарханские болота! — вскрикнул он и даже зачем-то прищелкнул языком.

— Какая же разница?

— А та разница, государь мой, что львовские болота на открытом месте, а тарханские в лесу. Да что вам, лень, что ли, с диваном-то расстаться?

— Нисколько.

— А коли не лень, так собирайтесь, а я пойду велю лошадей заложить.

И, не дождавшись ответа, дьякон с шумом вышел из комнаты.

Через полчаса, не более, мы сидели уже в тележке и ехали по направлению к Тарханским болотам.

Был третий час пополудни; солнце пекло немилосердно, пыль поднималась целыми облаками, и так как ветра не было ни малейшего, то пыль эта следовала за нами, окутывала нас со всех сторон и мешала свободно дышать. Несмотря однако на это, дьякон был в восторге. Он выкуривал одну папироску за другою и болтал без умолку.

— Часов в пять мы будем на болотах,— говорил он.— К тому времени жар схлынет; мы возьмем вечернюю зорю, а ночевать отправимся к Степану Иванычу Брюханову, на мельницу. Туда и лошадей отправим.

— Хорошо, если Брюханова на мельнице не будет, а если он будет там, то мы, пожалуй, стесним его.

— Брюханова нет, он в Москве.

— Так ли?

— Верно. Он к барону поехал лес покупать.

— Вот как! — проговорил я.— Даже знаете, зачем именно поехал?

— Еще бы мне да не знать!

— А вы с ним знакомы?

— Вот это отлично! — почти вскрикнул дьякон.— Детей его грамоте учил, а вы спрашиваете, знаю ли я Брюханова. Я даже на похоронах у него был. Когда покойница померла,

так за мной нарочно присылали. Ведь дьякона басистее меня во всем околотке нет... То-то и оно!

И потом, немного помолчав, он прибавил:

— Хочу бежать отсюда.

— Далеко ли?

— В губернию махнуть хочу. Здесь, я вижу, никакого дьявола не выслужишь. Теперь дьяконов-то вовсе мало осталось, и мне в городе сто́ит только одну свадьбу повенчать, так купцы с руками оторвут! Купцы ведь любят горластых.

— Будто это не вывелось?

— Что? — переспросил дьякон.

— Любовь к горластым дьяконам?

Но вместо ответа дьякон как-то удивленно глянул на меня и только покачал головой: «Чудак, дескать, ты большой руки!»

Едва однако успели мы отъехать две-три версты, как позади нас послышался стук экипажа. Мы оглянулись и увидали догонявший нас тарантас. Тройка рослых серых лошадей крупной рысью катила тарантас по гладкой дороге, поднимая целое облако пыли. Дьякон долго всматривался и наконец проговорил:

— А ведь лошади-то брюхановские!

— Его и есть,— подхватил кучер.

— А вы говорили, что он в Москве.

— Стало быть, вернулся.

Действительно, ехавший в тарантасе был не кто иной, как сам Степан Иваныч Брюханов.

— Стой! Стой! — закричал он кучеру, поравнявшись с нами.

Лошади были немедленно остановлены, и как только поднятая экипажами пыль миновала, мы вступили в разговор.

— Здравствуйте! — заговорил Степан Иваныч.— Далеко ли пробираетесь?

— На охоту. А вы?

— Да вот сюда, к баронскому управляющему.

— В Белгазу? — спросил дьякон.

— Да, в Белгазу.

— А мне сказали, что вы в Москве.

— Я из Москвы и еду. Только сейчас из вагона.

— По делу ездили?

— Мы без дела не ездим.

И вслед за тем, сделав самую приятнейшую улыбку и как-

то особенно лукаво прищурив и без того уже узенькие глазки свои, он проговорил, потирая руки:

— Поздравьте-с.

— С чем? — спросил я.

— Лесок у барона купил; изволите знать тот, который к моей меже подходит? За тем самым и в Москву ездил-с.

— Дорого купили? — спросил дьякон.

Лицо Степана Иваныча мгновенно приняло озабоченный вид.

— Ох, уж и не говорите! — вздохнул он.— Погорячился... выждать бы следовало, а у меня, словно у ребенка, терпенья не хватило.

— На сруб? — спросил я.

— На сруб.

— Почем за десятину?

— По сту рублей-с.

И Степан Иваныч даже закрыл глаза, между тем как дьякон разразился громким хохотом.

— Ты чего же хохочешь-то, кутья проклятая! — обиделся Степан Иваныч.— Ну, чего ржешь-то, словно жеребец какой!..

— Да как же не ржать-то! — кричал дьякон.— Сто рублей дорого! Тут вот, около нас, Полозов тоже свой лес продал — супротив баронского-то хворост, да и то по триста рубликов сгладил... вот что-с!.. А во сколько лет вырубить?

— В двадцать,— ответил Степан Иваныч.

— С порослью?

— Известно, с порослью.

— Чрез двадцать-то лет у вас новый лес вырастет, опять руби!

И дьякон снова разразился хохотом. Но на этот раз Степан Иваныч не обиделся, а напротив, даже сам присоединил свой тоненький старческий хохот к громкому хохоту дьякона, заслыша который захохотал даже и кучер Степана Иваныча. Но хозяин остановил последнего.

— Но-но! — проговорил он.— Ты знай свое дело, навоз из конюшни вычищать, а куда не спрашивают — не суйся!

И немного погодя он, как будто обдумав что-то, прибавил, обращаясь к нам:

— Оно, положим, сказать по правде, лесок точно не дорого достался, да ведь главная причина — деньги-то все сразу, вперед отданы. Ведь денег-то пятьдесят тысяч, батюшка! Шутка сказать, какая махина! Да три управляющему! — при-

бавил он уже шепотом и только меня одного посвятил в эту тайну.— Он хоша и приятель мне,— продолжал он тем же шепотом,— ну, а все-таки статью свою гонит. Так вот вы и сообразите! — заговорил он уже громким голосом, чтобы все слышали,— сколько возни-то предстоит! А что будет впереди, через двадцать-то лет, того еще мы не знаем, поэтому будущее для нас все одно что железными вилами по воде писано. Будущее от нас от всех сокрыто. Может, я графом каким-нибудь буду, а может быть, наместо того, меня из собственного моего гнезда по шее выгонят... Все это надо соображать и отнюдь осторожности не упускать из виду. Ого! Осторожность эта, говорят, мирами ворочает! Деньги-то я кучей отдал, а собирать их грошами придется. Ты, дьякон, сообрази-ка, сколько этих грошей-то в пятидесяти тысячах заключается! Когда соберешь! Хорошо, коли мы живы будем да коли старые люди не помрут! Ведь мужик-то отощал, спился и опаршивел... в чем только душа мотается! Ведь он совсем паршивый стал, не токмо что деньжонок, даже скотинишки не имеет! Придется в долг продавать, а когда долг-от соберешь! Опять возьмите вы и приказчиков... Ведь у меня сколько их — прорва целая, а надежных-то только и есть один Самойла Иваныч. Ведь теперича к такому делу, как лесная операция, по крайности надо пять-шесть человек приставить, а где их, честных-то, найдешь? У тебя, дьякон, нет ли кого на примете? А! головой небось замотал! То-то оно и есть! Ведь я их всех до тонкости знаю... измошенничались, изъехидничались! Что ему? Нешто он хозяйское добро бережет? Как же, дожидайся, держи карман шире! Что ему хозяин? Тьфу! Он хозяином-то готов свиное корыто вымыть и вытереть. За грош продаст и выкупит! Вот они, какие нынче приказчики-то! Ни греха, ни Суда страшного — ничего не боится! Да что ему Страшный,— он в него и верить-то перестал! Не токмо хозяина — отца родного за деньги слопает. Так-то, друг, а ты вот на всю окрестность хохочешь! — добавил он, укоризненно обращаясь к дьякону.

— Что верно, то верно! — проговорил тот.— Совсем бога бросили.

— Ан то-то вот и есть! А послушал бы ты, как я из-за самого из-за этого леса в Москве мытарствовал, так и вовсе бы хохотать-то перестал! Ох уж и комиссия только с этими самыми аристократами дела делать! Хоть бы барон, к примеру: деньжонок нет, уж по всему видно, что нет, а гордости

больше, чем у какого-нибудь миллионера-купца. Не скоро даже аудиенции добьешься! Этих швейцаров да лакеев вот не тотчас сочтешь даже... Сколько им одним денег переплатил. Не поверите, даже обед им, хамам-то этим, в трактире Тестова делал... Дворника — и того приглашал! Что будете делать — не допускают, да и шабаш! А уж барону этому надоел даже! Каждый день по два раза являлся: один раз утром, а другой раз вечером. Однажды до тех пор разозлил, что в шею меня из кабинета вытолкал! Да ведь как наклал-то! На другой день сижу в театре в первом ряду, а сам чувствую, что головой поворотить не могу. «Вон, говорит, мошенник, такой-сякой, чтобы духу твоего здесь не было! Эй, лакеи, гоните, говорит, его в шею!» А я наутро опять пришел, стою себе смирнехонько в передней, возле двери кабинетской, да нарочно все пятьдесят тысяч в руках на виду и держу. Часов в двенадцать выходит барон, да как увидал деньги-то, так даже рассмеялся. Ведь он добрый; вспыльчив, а сердце-то скоро проходит. Посмотрел на меня, плюнул и заговорил: «Ты, говорит, опять, собачий сын, пришел?» — «Опять, говорю, ваше баронское сиятельство. Деньги домой везти не хочется, что им там в степи делать! Деньги, говорю, вещь столичная; примите, явите божескую милость!» Ну, сердце-то у него и прошло! Теперь вот к управляющему еду бумагу предъявить да лес принять.

— А мы было у вас на мельнице переночевать рассчитывали! — проговорил я.

— Так что же-с, очень рад! Там у меня для приезду флигелечек есть, в моих кельях и расположитесь. Там вам спокойно будет; Самойла Иванов примет вас как следует; моим именем прикажите.

— А вы на мельницу не завернете?

— Нет-с, я от управляющего прямо домой на усадьбу. Признаться, и по домашним соскучился; хотя и нет у меня жены, хоть и некого приласкать, а все-таки стосковался. Ведь я без малого три недели в Москве-то отдежурил...

И потом, вдруг переменив тон, проговорил суетливо:

— Однако что же это мы? Стоим в степи, разговоры разговариваем, а ничего не выпьем. Давайте-ка по чарочке московской выпьем да московским калачиком с ветчинкой закусим. Хоть пыль-то в горле ополоснем!

И, вытащив саквояж, он вынул из него фляжку, кусок ветчины и калач.

— Пожалуйте-с! — проговорил он, подавая мне налитый серебряный стаканчик.

— Нет, благодарю, я не хочу.

— Почему?

— Я только что пообедал, а после обеда водки не пью.

— Для пищеварения-с.

— Не могу.

— Может, с икоркой желаете? У меня и икорка есть.

— Нет, и с икоркой не хочу.

— Ну, как угодно-с. А то бы выкушали...

— Нет, не просите...

— Как угодно-с. Ну, а ты, отче! — обратился он к дьякону.— Ты как насчет этого самого дела?

Дьякон даже захохотал от удовольствия и, соскочив с тележки, в один прыжок очутился возле тарантаса.

— Я насчет этого — ничего! — проговорил он.

И, раскланявшись друг другу, они выпили и закусили.

— Ах, да, и забыл! — вдруг вскрикнул Степан Иваныч и принялся рыться в огромном саквояже.— Коли вы после обеда водку не уважаете, так у нас и другое винцо найдется, от которого вы уж никоим образом не откажетесь.

И, вытащив из саквояжа бутылку, он вышел из тарантаса и подошел к тележке.

— Коньяк финь-шампань, от Депре, самый высший сорт, никак, пять рублей содрал! — проговорил он и, улыбнувшись самой сладкой улыбкой, посмотрел на меня вопросительно.

Я тоже вышел из тележки.

— Могу просить-с? — проговорил Брюханов.

— Коньяку, пожалуй, выпью.

Степан Иваныч ополоснул стаканчик, вытер его салфеткой, налил коньяку и, подавая мне стаканчик, проговорил:

— А вот и лимончик с сахарком.

После меня выпил Степан Иваныч и, снова закупорив бутылку и даже похлопав по пробке ладонью, отправился с нею к тарантасу.

— А мне-то! — крикнул дьякон.

— Мы с тобой лучше водочки выпьем! — проговорил Степан Иваныч, продолжая похлопывать по пробке.— Мы ведь с тобой не господа...

— Ну, ладно! — согласился дьякон.

И они опять вежливо раскланялись и выпили.

— А теперь до свиданья! — проговорил наконец Степан

Иваныч, протягивая мне руку. Но, заметив проезжавшего мимо верхом на кляче какого-то мужичонку, в грязной холщовой рубахе, босиком и в мохнатой овчинной шапке, вдруг опустил протянутую мне руку и крикнул:

— Эй ты, Сафонка! Любезный друг! Аль не узнал?

Сафонка быстро остановил лошадь, соскочил на землю и с каким-то испуганным видом подошел к Степану Иванычу, держа в поводу лошадь.

— Аль не узнал, что даже и шапки не ломаешь? — продолжал Степан Иваныч.

Мужичонка поспешно снял шапку.

— Как не узнать, батюшка Степан Иваныч, ваше высокое степенство! — проговорил он, запинаясь и переваливаясь с ноги на ногу.— Как не узнать! Да, признаться, поопасился маленько.

— Чего? Шапку-то снять? — гневно крикнул Степан Иваныч и даже зубами заскрипел.— А вот на пахоту-то небось не поопасился не выехать, хоша и взял все денежки вперед! На сходке-то, когда я о кабаке хлопотал, тоже не поопасился глотку-то драть, чтобы мне кабака не сдавали! Чего морду-то перекосил!

— Виноват, Степан Иваныч, ваше высокое степенство. В те поры больно хмелен был, не помню, хошь убей, не помню...

— Убей!.. Чего тебя бить-то! — с презрением проговорил Степан Иваныч.— Я не барин... Драться не учился!.. А припомнить — припомню... Ты это знай!..

— Твоя воля, ваше степенство...

— Известно, моя! — перебил его Брюханов.— Что хочу с тобой, то и сделаю. Хочу канат совью, а хочу распластаю да посолю, чтобы не протух!

И потом, немного помолчав, добавил:

— На пахоту почему не выехал? Кажись, Самойла Иванов за тобой раз десять гонял.

— Управка не взяла, батюшка Степан Иваныч, ваше высокое степенство. Лошадка одна подохла, парня лихоманка трепала, без памяти лежал... Свой загон и то насилу всковырял...

— Свой-то всковырял небось!..

— Как же быть-то? Свой-то не всковыряешь, так подохнешь...

— А деньги-то вперед умеешь брать!

— Я не деньгами брал, батюшка, ваше высокое степенство...

— А не все едино, чем бы не взял?

— Заработаем, батюшка Степан Иваныч!

— Знаем мы, как вы зарабатываете!

— Ей-ей, заработаем!

— Ладно. Только ты меня помянешь, по-о-о-о-мянешь.

Мужичонка бухнулся было в ноги, но Степан Иваныч даже и внимания на него не обратил. Простившись с нами, он уложил свой саквояж, сел в тарантас и, крикнув кучеру: «Пошел!» — покатил по дороге, обдав нас густым облаком пыли. Мы тоже тронулись, а за нами затрусил и мужичонка на своей кляче, болтая и руками и ногами.

— Разорил, совсем разорил! — ныл мужик, следуя за нами.— По миру как есть пустил... А все водка да баранина виновата.

— Как баранина? — спросил дьякон, закуривая папиросу.

— Свадьбу справлял я, дочь замуж выдавал, и пришла нужда взять у него водки да баранины на двадцать семь рублев. Целых три года работал на него, а на место того долгу теперь насчитывают на мне уж не двадцать семь, а индо тридцать шесть рублей...

— Вот те на! — вскрикнул дьякон.— Как же так?

— Да выходит так. Взявши баранины и водки, я проработал на Степана Иваныча все лето, а на второй-то год не пошел. За это за самое, что я не пошел, всю мою работу в счет не положили и опричь того оштрафовали. Другие два года работал я оба лета, и за мной оставалось всего семь рублей. Семь рублей эти я должен был молотьбой заработать; взялся, значит, семьдесят копен ржи обмолотить, да, на грех, пошло ненастье, обмолотить-то мне и не привелось; вот на меня и накинули штрафу по шестидесяти копеек за копну, и вышло за мной долгу сорок два да семь — сорок девять рублей... Спасибо, тринадцать рублей простили, так и выходит, что за мной теперь тридцать шесть только...

— А ты бы к мировому! — проговорил дьякон.

Но кучер перебил его:

— Что это, отец дьякон,— проговорил он, внимательно осматривая окрестность.— Нам, по приметам, теперича кабыть направо повернуть надо, вот по самой по этой

дорожке,— прибавил он, указывая кнутом на дорогу, круто повернувшую направо.

— А вы куда едете? — спросил вдруг мужик громким голосом, словно проснулся.

— На болота на Тарханские.

— Коли на болота, так, вестимо, направо!.. Это за утками, значит?.. Час добрый...

Мы повернули направо, а мужичонка поплелся шагом по только что оставленной нами дороге. Духота все еще стояла невыносимая, но ветер стал уже не попутным, а боковым, и мы избавились от преследовавшей нас пыли...

II

Степан Иваныч Брюханов, которого только что мы встретили, был одним из важных людей описываемой местности. Это был человек лет шестидесяти пяти, благообразный, седой как лунь, худой как скелет, но с свежим румяным лицом и самыми вкрадчивыми, кошачьими манерами. Сапогов с каблуками он не носил и потому подходил всегда как-то неслышно. Подойдет и начнет крепко жать вашу руку обеими костлявыми, холодными своими руками и, пожимая, улыбается от счастья встретиться с вами. Его седой хохол, всегда торчавший кверху, напоминал знаменитый хохол фельдмаршала Суворова и придавал лицу Степана Иваныча весьма характерную особенность. Одевался Степан Иваныч щегольски, хотя и носил долгополые сюртуки, и, несмотря на свои почтенные лета, любил покутить и покуролесить с женщинами. Важным лицом Брюханов сделался потому, что имел в настоящее время тысяч восемь десятин земли, роскошную барскую усадьбу, купленную им вместе с землей у прогоревшего барина, и сверх того потому, что держал в аренде громадную крупчатую мельницу. Мельницу эту арендовал он так давно, что все называли ее не по фамилии настоящего ее владельца, а прямо «брюхановской». Всего этого, однако, конечно, было бы еще недостаточно для того, чтобы сделаться важным лицом, если бы Степан Иваныч не обладал капиталами, а главное — ловкостью, которая умеет капиталы эти не просаривать, а значительно приумножать. Вследствие таковой ловкости к приумножению росло, конечно, и влияние Степана Иваныча. Он был земским гласным[2] как губернским, так и

уездным; был членом училищного совета, хотя и не умел писать, был директором тюремного комитета, был членом духовно-просветительного союза и даже почетным мировым судьей, хотя и смешивал синод с сенатом, а дворянскую опеку с опекунским советом. На земских собраниях Степан Иваныч говорил мало, но слушал со вниманием и свои соображения высказывал кому следует. Большею частью его даже и незаметно было, а глядишь — все, что требовалось ему провести, он провел, хотя и не говорил никаких громких речей. Всех окрестных мужиков Степан Иваныч держал на крепких вожжах и вожжами этими управлял с редким уменьем. Не было ни одного мужика, который не состоял бы ему должным. Хотя и плакались мужики на Степана Иваныча, хотя заочно и ругали его ругательски, но при встрече преклонялись перед ним и, как бы чувствуя над собою несокрушимую его силу, хватались за шапки и величали вашим высоким степенством. Его степенство, как и подобает, конечно, такому человеку, был украшен несколькими медалями, был приятельски знаком с властями как гражданскими, так и военными и духовными, имел у себя их фотографические портреты, подаренные самими оригиналами, с надписями: «на память, в знак моего уважения», или «дорогому Степану Иванычу», и, приезжая в город, бывал у них запросто, обедал, выпивал и отплачивал тем же гостеприимством, когда власти приезжали в уезд. Вследствие этого Степан Иваныч определял становых, квартальных, попов, дьяконов, учителей и других должностных лиц, а равно и увольнял таковых от занимаемых должностей. Патриот Степан Иваныч был тоже примерный. Как только требовалось пожертвование или патриотическое торжество, стоило только лицу власть имеющему шепнуть об этом Степану Иванычу, как он являлся на выручку. Стоило только шепнуть, что хорошо было бы сотворить то-то и то-то, что не мешало бы достойно проводить отъезжающего любимого начальника, что следовало бы поторжественнее встретить такой-то имеющий возвратиться полк, как Степан Иваныч немедленно откликался на призывный глас, собирал вокруг себя свою братию патриотов, шушукался с ними, подмигивал, делал намеки, хлопал счетами, божился, клялся, сообщал опасения и надежды, могущие последовать от отказа, и затем, обделав дело, являлся к кому следует и, озаренный приятной улыбкой, докладывал, что он и все

купеческое сословие готовы принести лепту на алтарь отечества. Поэтому-то Степан Иваныч, как только речь касалась патриотизма, немедленно поднимал голову и с гордостью называл себя патриотом.

Таковой безграничный патриотизм нисколько не мешал, однако, его высокому степенству прилагать все свое влияние к открытию сколь можно большего количества заведений с продажею питий распивочно и навынос. Не было села, не было сколько-нибудь сносной деревушки, в которых не развевалось бы кабацкое знамя Степана Иваныча. Знамя это было не ахти какое, оно состояло иногда просто из какого-нибудь лоскута коленкора,— но зато оно было всем знакомо, царило над местным населением и заставляло преклоняться перед собою. Сколько под знаменем этим было выпито, сколько под сень его было перетаскано разного добра мужичьего — сосчитать нелегко, но во всяком случае добра этого было несравненно более того, которое было пожертвовано на встречу полка в совокупности с проводами любимого начальника.

Все эти кабаки, фотографические портреты, громадные посевы, а равно мельницы и гурты рогатого и мелкого скота собирали в карманы Степана Иваныча все деньги околотка, и, легко приплывая, они в незначительных сравнительно размерах выпускались вон. Зато не было такой большой дороги, не было такого глухого поселка, по которому не двигались бы обозы с добром Степана Иваныча. Там ползет обоз с пшеницей, там с мешками муки, там обозы с бочками спирта и водки, там по чугунке гремят вагоны, нагруженные мешками, и на вагонах этих мелом написано: «Брюханов, Ревель, Москва». Там на лихих тройках скачут кабацкие ревизоры, там по полям, словно черкесы с нагайками, летают приказчики и объездчики. А здесь, по раздольным девственным степям, позванивая колокольчиками, нагуливается «товар», т. е. гурты. Рослые быки с громадными рогами и отвислыми зобами, медленно и сонно переступая с ноги на ногу, щиплют траву; вокруг них гуртоправы с длинными кнутами в руках, с загорелыми и чумазыми лицами, а неподалеку, в сторонке, возле огороженного «тырла», стоит с поднятыми кверху оглоблями кибитка, раскинув шатер, а в шатре спит богатырским сном распотевший приказчик. И все это принадлежит Степану Иванычу, ему одному.

Несмотря, однако, на столь солидное положение, несмотря на седину, убелявшую его голову, он не прочь был при случае тряхнуть стариной и вспомнить давно миновавшую молодость. Стоило только попасть ему в город, как, подобрав компанию (компанию он подбирал большею частью из благородных и людей военных предпочитал штатским), объезжал все имеющиеся увеселительные заведения, все монплезиры, эрмитажи, тропические сады, и во всех заведениях этих с появлением Степана Иваныча вино лилось рекой, и сам Степан Иваныч, так сказать, исчезал в объятиях арфисток, певиц и цыганок. Пели «чоботы», пели «пропадай моя телега, все четыре колеса», и Степан Иваныч был вполне счастлив. Находил на Степана Иваныча иногда такой же «стих» и в деревне, но там это делалось иначе. Он покидал тогда свою усадьбу и уезжал на крупчатку. Там, на этой крупчатке, в небольшом скромном флигелечке, под стон мельничных снастей, под шум падающей воды, в кругу своих деревенских приятелей, Степан Иваныч предавался оргии. К седовласому сластолюбцу являлись намеченные им красавицы, и мельничный домик оглашался песнями, оглашался звуками скрипки и кларнета, на которых играли двое из его «молодцов», и раздавался топот пляски. Вокруг Степана Иваныча собирались в то время местные адвокаты, становые и судебные пристава, учителя, фельдшера, и все это пило и безобразничало на счет Степана Иваныча, потешало его, потакало ему и вместе с тем упивалось поцелуями и объятиями сельских красавиц.

Брюхановская мельница была одною из лучших на реке Иволге. Она состояла из двух громадных крупчатых амбаров, одного раструсного с просяной дранкой и одного сукновального. Особенно щеголеватой постройкой отличались крупчатые амбары, т. е. те, на которых выделывалась разных сортов крупчатая мука. Они были срублены из красивого соснового леса, крыты железом и украшены самыми затейливыми резными коньками, карнизами и наличниками. Неподалеку от этих амбаров, у подножия правого гористого берега, среди разбросанных здесь и там громадных ветел помещались избы рабочих, хлебные магазины, кузницы, слесарни и небольшой домик на случай приезда Степана Иваныча. Домик этот, хотя и был покрыт соломой, но все-таки наружностью не походил на остальные домики мельницы. Большими просторными сенями разделялся он на две

половины. В одной половине помещался старший приказчик, Самойла Иваныч, с семейством, а в другой, состоявшей из двух-трех комнат, останавливался Степан Иваныч. Окна домика этого украшались створчатыми расписными ставнями, а посреди выступало крылечко в роде балкончика, с навесом, колонками и резною решеткой.

Живописнее мельницы этой трудно было что-либо встретить, особливо летом, когда мельница не работает и когда река, перепруженная широкой, прочной плотиной, полна водой. В это глухое время, когда вода накопляется на зиму, ее к концу лета набирается столько, что при малейшем дуновении ветерка она выплескивается вон из берегов. Мельница эта была кругом в лесу, в особенности же был красив правый нагорный берег. Горы словно громоздились друг на друге, перерезывались глубокими каменистыми оврагами, краснели кое-где глинистыми обвалами и словно грозили с минуты на минуту рухнуть и похоронить под собою и эту мельницу, и эти домики, лепившиеся у их подножий.

Кажется, я говорил уже, что мельницей этой управлял старший приказчик Брюханова, Самойла Иваныч Урвачев. Урвачев был малый лет сорока, чуть ли не с детства служивший у Брюханова. Это был мужчина среднего роста, плотный, коренастый, с кудрявой головой, с лицом лоснящимся и красным и бегающими волчьими глазами. Глаза эти бегали так быстро, что, перескакивая с одного предмета на другой и не останавливаясь ни на одном особенно, делались положительно неуловимыми. Насколько быстры были глаза его, настолько же быстры и его движения. Он ни минуты не постоит спокойно: то поправлял он свою кудрявую голову, то застегивал поддевку, то щупал платок, намотанный на шею, то шарил в карманах, то прикрывал рот рукой и начинал кашлять, то садился, то вскакивал и затем, как будто вспомнив что-то, куда-то убегал. Мужики называли его волком, бил он их немилосердно нагайкой по чем попало, но, когда за побои эти привлекался к суду, притворялся перед судьею смиренником, опускал глаза, говорил о нападках, о том, что «творец небесный видит все», и так как бил всегда мужиков без свидетелей, то и оставался правым. Самойла Иваныч был женат и имел человек пять детей. Когда-то жена его была красавицей, и так как Самойла Иваныч был предан всей душой Брюханову, то он жертвовал для него даже и

женой своей. В настоящее время, однако, ничего этого уже нет. От тяжкой жизни несчастная женщина безвременно постарела, подурнела, щеки ее ввалились, нос как-то заострился, и, брошенная как негодная вещь, она доканчивала жизнь за перегородкой, лежа на постели, стоная и кашляя. В народе ходили толки, что Самойла Иваныч нажил большие деньги, заведуя делами Брюханова; что деньги эти от людей таил, что они зарыты где-то в лесу с тяжелыми заклинаниями; что Самойла Иваныч ждет только смерти Брюханова, чтобы тотчас же после того записаться в купцы и сделаться, в свою очередь, именитым лицом в уезде. Но пока все это было еще покрыто «мраком неизвестности», и Самойла Иваныч продолжал быть лишь приказчиком и не выходил из «черного тела». Несмотря, однако, на все толки, нельзя было не согласиться, что Самойла Иваныч был самым преданнейшим слугою Брюханова. Он хотя и жил на мельнице, но это нисколько не мешало ему зорко следить и за остальными коммерческими операциями своего хозяина, и за посевом, и за кабаками. Он был правою рукою Степана Иваныча, и ничего без его совета последний не предпринимал и не завершал.

Неподалеку от этой-то мельницы находились те Тарханские болота, на которые пробирались мы с дьяконом в описываемый день. Добрались мы до них часов в пять пополудни и, отправив лошадей на мельницу, начали охоту.

Болота эти считаются в нашей местности самыми богатыми притонами всевозможной дичи. Название свое получили они от села Тарханы, возле которого расположены, или, правильнее сказать, разбросаны по вырубленному дубовому лесу, покрывающему берега реки Иволги. Поросшие камышами и окруженные мелколесьем, болота эти представляют самое удобное место для вывода дичи. Здесь имеются утки, бекасы, дупеля, кулики, куропатки. Когда-то выводились даже гуси и лебеди, и только в последнее время, когда лес был вырублен, птица эта покинула Тарханские болота, променяв их на места более глухие и отдаленные. Охота начинается здесь с самого начала весны и продолжается до поздней осени, вплоть до того самого времени, когда птица, почуяв приближение зимы, покидает нашу холодную родину и длинными вереницами, с шумом и криком, потянет в страны более теплые и приветливые.

Первыми вестниками наступающей охоты являются, конечно, вальдшнепы. Еще снег не успеет сойти путем, как они осыпают лес. Словно по команде являются они, продержатся десять — пятнадцать дней и потом вдруг опять исчезают вплоть до осеннего перелета. Нынешней весной было так много вальдшнепов, что такого пролета я даже не помню. В два ружья убили мы до полутораста штук, и это в каких-нибудь два-три дня. Затем начинается охота по бекасам, дупелям, уткам и куропаткам. Уток на Тарханских болотах до того много, что, кажется, со всего света собрались они сюда, на эти болота, не найдя себе нигде ничего лучшего. Колотят этих уток сотнями, и, несмотря на все это, они не уменьшаются, а, напротив, с каждым днем как будто прибывают все более и более.

Точно такое же изобилие уток встретили мы с дьяконом и теперь. Охоту начали мы часов в пять вечера, а часам к семи ягдташи[3] наши были до того переполнены дичью, что таскать их на своих плечах становилось весьма не легко. Впору было половину повыкидать, лишь бы только облегчить тяжесть ноши, и, будь я один, я, по всей вероятности, и сделал бы это, но дьякон был у меня как бельмо на глазу. Он с таким усердием таскал свой ягдташ, с таким наслаждением похлопывал по нем рукой и с такой любовью посматривал на мой, что мысль об облегчении ноши становилась невозможною. А между тем жар, несмотря на то, что день клонился уже к вечеру, был нестерпимый. Солнце так и палило, и ко всему этому ни малейшего ветра. Словно все кругом замерло и изжарилось. Я насилу передвигал ноги, пот ручьями катился с лица моего, во рту пересохло, и только мысль поскорее добраться до мельницы, напиться чаю и завалиться спать поддерживала мои силы.

Так переходили мы от одного болота к другому, как вдруг неподалеку за кустами раздался выстрел, и в ту же секунду мимо нас заковылял на трех ногах заяц.

— Держите его, подлеца, держите! — послышался за кустами чей-то голос.

Я схватил ружье, выстрелил, и заяц покатился кубарем, убитый наповал.

— С полем! с полем! — кричал тот же голос, и из-за кустов вышел довольно плотный мужчина лет пятидесяти, в парусиновом пальто и таких же панталонах, заправленных за рыжие голенища смазных сапог. На нем была потертая

пуховая шляпа вроде гриба, через плечо перевешивался пустой ягдташ, а в руках двуствольное ружье весьма сомнительного качества.

— Ба! Иван Федорыч! — прокричал он, увидав дьякона.— Кум любезный! Вот не ожидал-то! Какими судьбами?

И он протянул дьякону руку.

— Известно, какими! — отвечал дьякон.— Самому стрелять нельзя, так хожу смотреть, как другие стреляют.

Кум оглядел меня, как-то помигал глазами, зачем-то прикашлянул и, понизив голос, спросил, кивнув головой по направлению ко мне:

— С ними охотишься?

— Да, с ними.

— Они кто такие будут?

Дьякон назвал меня.

— Познакомиться можно?

— Почему же нельзя?

— Так познакомь...

Мы познакомились и, пожав друг другу руки (при чем кум пробормотал: «Весьма приятно»), уселись на траву.

III

Оказалось, что это был купец Василий Игнатьич Орешкин. На купца, по крайней мере, наружностью, он нисколько не походил, а скорее смахивал на управляющего средней руки из обрусевших немецких колонистов. Круглое, как арбуз, лицо его было тщательно выбрито; подстриженные усы какой-то особенно прямой линией желтели под широким носом; голубые узенькие глазки поминутно мигали и бегали в разные стороны. Он беспрестанно то фыркал носом, то отплевывался и поминутно прикашливал и чмокал губами. Галстука на нем не было; даже ворот сорочки был расстегнут, и потому жирный двухэтажный подбородок был весь на виду. С левой стороны из-под шляпы висела длинная прядь жиденьких волос, как видно, нарочно прибереженная для прикрытия лысины. Так оно и вышло, ибо как только Орешкин снял шляпу, так в ту же минуту достал из кармана гребешочек и, подобрав прядь, уложил ее поперек лысины; он из пряди этой вывел даже какой-то височек.

— Очень приятно-с,— говорил он.— Очень приятно-с...

— Приятно-то приятно,— подхватил дьякон,— только уж никак не тебе, потому что ты, кум любезный, как видно, охотился не так удачно, как мы...

— А что?

— А то, что наши ягдташи битком набиты, а в твоем нет ни болячки! Что, видно, глазами слаб стал?

— Есть тот грех. Зрение, точно, притупляется... Но ведь я, собственно говоря, и не охотился. Я ходил в Тарханы к аптекарю, относил ему «Тайны Мадридского двора»[4], а на возвратном пути завернул в лес. Лесом-то мне ведь ближе до хутора.

И вслед за тем, обратясь ко мне, он спросил:

— Вы изволили читать этот роман?

— «Тайны Мадридского двора»?

— Точно так-с.

— Читал.

— Что за увлекательное произведение, не правда ли? Этот вампир, например,— какая низкая и подлая душа! Как великолепно описана эта придворная охота, когда королева падает в обморок и когда генерал Прим подает ей первое медицинское пособие! Страсти-то какие! Когда читаешь, так чувствуешь даже, как кровь приливает к голове и как сердце начинает бить тревогу. Того же самого автора я читал «Евгению». Хорошо написано, но до «Изабеллы» далеко. Слабее, много слабее... есть сценки, а все не то! Читал я и «Дон-Карлоса», а вот теперь аптекарь сказывал, что еще новый роман того же автора вышел, «Тайны сераля», кажется... Должно полагать, этот еще интереснее будет...

— А вы, однако, охотник до романов!

— Большой-с, большой охотник. Я их столько перечитал, что теперь в голове у меня точно каша. Обыденная жизнь меня не интересует; мне даже скучно глядеть на эти мелочи. Черт знает что такое! И чем больше я читаю, тем более жажду страшного... Обыкновенным романом теперь уж меня не проймешь. Нет-с, не проймешь! Вот еще господин Дюма мне очень нравится; сына я не одобряю, а отца читаю с увлечением. «Монте-Кристо», например, «Три мушкетера», «Маркиза д'Эскоман», «Виконт де-Бражелон»... А дю-Террайль-то![5] Эк, дьявол, пишет! Ведь наградил же бог таким талантом! «Черная волчица», «Месть Амори», «Заклятая гостиница»...

Дьякон вдруг захохотал.

— Ты это что хохочешь-то? — спросил Орешкин.

— Степана Иваныча Брюханова вспомнил! — ответил дьякон, продолжая хохотать.— Уж очень хорошо представляет он, как ходишь ты по комнате с романом в руке, как в это время подходит к тебе приказчик за распоряжением и как ты начинаешь кричать на него: «Вон, подлец! Вон, не мешай!»

И дьякон захохотал еще пуще.

— Слушай, кум! — почти вскрикнул Орешкин, потрясая в воздухе кулаком.— Ты можешь потешаться надо мной, сколько тебе угодно, но поминать Брюханова, этого «вампира» в своем роде, не дерзай. Кровь стынет в жилах моих при одном воспоминании о нем! Я нищ и убог. А по чьей милости, как не по милости этого «вампира»? Но,— прибавил он, ударяя себя кулаком в грудь,— когда-нибудь восторжествую и я!

И, переменив тон, он быстро замигал, поплевал, почмокал губами и проговорил:

— Я с ним судиться хочу.

— С Брюхановым?

— Да.

— Напрасно.

— Почему?

— А потому, что есть пословица: «С сильным не борись»...

— А с «богатым не судись»? — перебил его Орешкин.— Знаю я, да не то, братец, нынче время. Я уже объяснил свое дело адвокату и не дальше как вчера получил от него письмецо.

И, вынув из кармана панталон письмо, он хлопнул по нем рукой и, обратясь ко мне, спросил:

— Дозвольте прочесть?

— Сделайте одолжение.

Орешкин откашлялся и, отнеся подальше от глаз письмо, прочел: «Милостивый государь, Василий Игнатьич! Записку вашу я рассмотрел и думаю, что если повести дело уголовным порядком (гражданским сохрани бог), то, с божьей помощью и опираясь на законы, отчаиваться в выигрыше дела не только преждевременно, но даже неосновательно. Напротив, скорее можно выиграть, нежели проиграть. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы приехали в город для окончательных со мною переговоров. Чем скорее, тем лучше. Вести дело на свой счет я согласен. Ваш покорный слуга, присяжный поверенный такой-то».

Прочтя это письмо, Орешкин вопросительно посмотрел сначала на дьякона, а потом на меня.

— В чем же ваше дело? — спросил я.

— Вы разве не изволили слышать?

— Не слыхал.

— Вот это отлично! Весь околоток знает, а вы нет.

— Я живу здесь временно...

— Да чего тут знать-то! — перебил дьякон.— Брюханов обобрал моего кума — вот и все! Покамест кум занимался чтением «Монте-Кристов» да «Мушкетеров», Брюханов отобрал у него мельницу и участок земли.

— Но дело-то в том, каким именно образом все это совершилось! — почти вскрикнул Орешкин.— Вот что! Вам известна мельница, что возле самого села Тарханы?

— Да, я знаю ее.

— А участок земли, прежде принадлежавший господину Кондыреву?

— Знаю и участок.

— Так вот-с. И мельница и участок когда-то были моими. Мельницей владел я в доле с братом, а участком один.

— А у вас и брат есть?

— Был-с, но помер. Вот с этим-то братом владел я мельницей; когда же брат помер, я домашним образом разделился с наследниками брата, то есть с его малолетними детьми. Так как Брюханов нам сродни, а именно когда-то был женат на нашей родной сестре, старушка родительница наша пожелала, чтобы опекуном к малолетним был назначен он, Брюханов. «Он-де сам крупчатник, стало, дело это знает до тонкости! А так как сиротам он не чужой, а родной дядя, то и будет радеть о них!»

— Ха-ха-ха! — захохотал дьякон.

— Ну, что ты хохочешь-то! — обиделся Орешкин.

И, немного помигав и пожевав губами, он продолжал:

— Как только Брюханов сделался опекуном, так в ту же минуту прислал к нам на мельницу своего приказчика Самойлу Иваныча, такого-то бестию, что не приведи господи! Он теперь у него всеми делами заправляет. Прислав Самойлу Иваныча, Брюханов объявил мне, чтобы я в мельничное хозяйство не вмешивался, слушался бы во всем одного его и что все дела, как мои, так и сиротские, он устроит в лучшем виде. Я поклонился ему в ножки, взял с собою старушку родительницу и переселился на хутор, доход же с мельницы,

который приходился на мою долю, должен был поступать в уплату по закладной...

— Стало быть, мельница ваша была заложена? — спросил я.

— Точно так-с, была заложена на восемь лет купцу Хряпову. Но долг этот нисколько нас не тревожил; Хряпов нам тоже сродни приходился, свой человек был, мягкий и склонный к подвигам добродетели. Сверх того, верующий в господа и робкий относительно гнева божьего...

— Христианин настоящий, значит! — перебил его дьякон и закурил папиросу.

— Так точно-с,— подхватил Орешкин.— В романах только встречаются такие личности, а в жизни весьма редко. Позволь-ка закурить!

И, закурив папиросу, Орешкин пыхнул мне в лицо дымом, снял шляпу, поправил снова свалившуюся прядь волос и, помигав глазами, продолжал:

— Итак, долг этот нас не тревожил, ибо уплата его, согласно закладной, должна была совершиться следующим образом. Мы обязаны были перемалывать Хряпову ежегодно по восьми тысяч четвертей пшеницы, и деньги, которые следовали нам за помол, должны были поступать в уплату по закладной. Если же почему-либо долг этот означенным способом в течении восьми лет не погасится, то продолжать помол впредь до уплаты долга. Хряповскую пшеницу мы работали на малом амбаре, а так как у нас был еще большой амбар, на котором перемалывалось до двенадцати тысяч четвертей, да еще третий амбар — раструсный, следовательно, мы могли располагать своими делами совершенно свободно. Но смерть брата, последовавшая на третий год после совершения закладной, совершенно повернула дело...

— Вверх брюхом? — заметил дьякон.

— Именно что вверх брюхом.

И Орешкин сделал руками жест, объяснявший, как именно дело перевернулось. Проделав штуку эту, он снова начал:

— Надо вам сказать, что Брюханов давно уже точил зубы на нашу мельницу; он даже предлагал когда-то нам за нее семьдесят пять тысяч, но так как продавать мельницу нам не было надобности, то он и порешил теперь воспользоваться случаем и на этот раз приобрести ее уже не за семьдесят пять тысяч, а за сорок, то есть за ту именно сумму, за которую она была заложена Хряпову. С этой целью, приняв опеку, он тут

же заварил с Хряповым такие неприятности и дрязги, что вынудил его подать закладную ко взысканию. Согласитесь сами, кому же охота за свои деньги чуть не каждый день вести войну с опекуном. Понятное дело, всякое терпение лопнет. Этого только Брюханов и добивался, и как только проведал, что закладная подана ко взысканию, так он в ту же минуту марш в город к Хряпову. Надо вам сказать, что Хряпов постоянно жил в городе, мельничных дел не понимал и в деревне отродясь не жил. «Вы закладную-то, слышь, ко взысканию подали?» — спрашивает его Брюханов. «Да, говорит, подал».— «Вы чего именно желаете? — спрашивает опять Брюханов.— Мельницу ли за собой оставить, или же только свои деньги выручить?» — «Известно, мне деньги нужны,— говорит Хряпов.— На кой мне мельница! я с мельницей и справиться-то не сумею!» — «И очень хорошо придумали,— говорит Брюханов.— А потому позвольте предложить следующую комбинацию: мне, как опекуну, мельницу купить нельзя, но вы оставьте ее за собой, а затем я вручу вам деньги, а мельницу вы продадите мне от себя уж». Ударили по рукам и расстались. На торги Брюханов прислал своего сына. Тот для виду накинул сотню-другую и — шабаш; мельница и осталась, конечно, за Хряповым. Брюханов рад-радешенек! Кладет в карман деньги и марш к Хряпову. Но тут произошло нечто такое, чего Брюханов даже и не ожидал.

— Вор у вора дубинку украл! — вскрикнул дьякон, да так громко, что Орешкин даже вздрогнул.

— Эка у тебя глотка-то какая! — проговорил он.— Перепугал даже.

Дьякон захохотал во все горло. Он рад был похвастаться голосом.

— Что же случилось-то? — спросил я, заинтересованный рассказом.

— А то, что Хряпов, смекнув, в чем дело, мельницу оставил за собой. Неудача эта разозлила Брюханова. Он всячески принялся ругать Хряпова: называл его разбойником, ограбившим сирот малолетних, и поклялся отомстить за них. Долго не показывался нам Брюханов: мы все, конечно, ходим, как убитые, вдова плачет, жена плачет, старушка родительница тоже... Только однажды, смотрим, едет к нам Брюханов. Приехал, прикинулся таким добрым, ласковым и говорит мне: «Ну, брат, мельницы мы лишились. Я было хотел ее перекупить у Хряпова, чтобы после опять вам передать, но раз-

бойник надул. Я виноват тем, что поверил честному слову его, и за это за самое должен вину свою исправить. Надо, братец, сирот пожалеть, ведь они с голоду помрут. Все это время я ночи не спал, об вас думал. Ты вот что сделай. Ты им дядя родной; человек ты добрый... Ты уступи им из своего участка двести десятин, а за это я так устрою твои собственные дела, что у тебя никаких долгов не будет!» — «Как же это так?» — спрашиваю его. «Очень, говорит, просто. Ты, говорит, надавай мне побольше векселей безденежных, я тихохонько представлю их ко взысканию, получу исполнительные листы, а ты тем временем в поземельный банк процентов-то не плати и доведи имение свое до аукционной продажи. Когда торги будут назначены, я отправлюсь в Питер и имение твое куплю. Если что-нибудь переплачу, то я повладею твоим участком, выберу свои деньги, а потом по купчей крепости двести десятин передам сиротам, а остальную тысячу десятин твоей жене. Вот кредиторы твои и останутся ни при чем, а у твоей жены-то да у сирот-то будут чистенькие участочки без долгов, без хлопот, и заживете вы припеваючи да меня всю жизнь добром поминаючи! Подумай, говорит, ведь у тебя десять человек детей! Коли ты этого не сделаешь, то ведь кредиторы не нынче, так завтра оберут тебя, и тебе с малыми детьми жрать нечего будет! Ведь мельницы-то у тебя нет теперь, денег-то ждать неоткуда!..» Выслушал я эти его речи, раскинул умишком и сообразил, что действительно комбинация, заслуживающая уважения. Только опасался я, как бы этот самый благодетель не понагрел меня: стелет-то он мягко, только спать-то не жестко ли будет! Усомнился, значит. Брюханов сметил это. Пошел к старухе родительнице, пошел к моей жене, к братниной вдове, развел перед ними всю эту антимонию да и напустил их всех на меня. Бабы в голос завыли: «Да что же это ты делаешь! Да что же ты по миру нас, что ли, с малыми сиротами пустить хочешь! Сердца, что ли, в тебе нет! Али ты извел его на свои дурацкие романы! Положись во всем на благодетеля. Что он, худа, что ли, желает нам! Чай, не чужой человек! В твоей земле, что ли, нуждается он! Подикась невидаль какая! У него и своей-то царство целое, а денег-то куры не клевали, а ты сомневаешься, дуралей лысый!» Брюханов тут же по комнате ходит, закинул руки за спину и на меня с презрением смотрит. «Свинья, дескать, больше ничего!» Я сдался. «Ну, ладно, говорю, векселя я тебе выдам на какую угодно сумму, только с тем, чтобы и ты

мне хошь расписочку какую-нибудь дал, для памяти!» Но Брюханов даже и кончить не дал. «А! так ты вот как! — закричал он и словно рак красный стал.— Ты вот как! Ну, так черт с тобой, плевать я на тебя хотел. Не веришь — и не надоть!» Взял шапку, сел в тарантас и был таков. Целую неделю бабы не давали мне покою; мало того, детей всех настрочили. Только, бывало, встанешь, романчик какой-нибудь возьмешь, уединишься куда-нибудь, а они все гурьбой окружат и завопят: «Поезжай, повинись перед благодетелем, повинись, не дай нам с голоду помереть!» Да так-то весь божий день! Ночи, бывало, ждешь не дождешься, отдохнуть думаешь, а ночью жена пилить начнет. Задумаешь, грешным делом, поласкаться к ней, а она тебя ногой лягнет: «Нечего, говорит, приставать, коли не любишь!» Что тут будешь делать! Пришлось идти с повинной... и пошел! Прихожу на мельницу, а он так в домике гуляет во всю руку. Бабы, девки вокруг него. Все это пьяно, кричит, в ладоши хлопает. Бабы пляшут, девки у него на коленях сидят. Самойла Иваныч на гармонике валяет. Увидал меня Брюханов и закричал во все горло: «А! это ты, лысая собака! Что, аль с повинной?» — «С повинной»,— говорю. «Нет, говорит, врешь, подлец, теперь уж я не хочу. Тогда ты не хотел, а теперь — я!» Что ж вы думаете, дня три я прогулял с ним, спился до того, что разум потерял, про закон забыл, с девкой связался... Чуть не подох от пьянства! Холодной водой уж отливали! И только когда все разъехались, он позвал меня к себе в комнату, приказал три раза в ноги поклониться, отправил Самойлу Иваныча в город за вексельной бумагой и, когда бумага была привезена, взял с меня векселей на сто тысяч. Тут и Самойла Иваныч был...

— А расписку взяли? — невольно спросил я.

Но Орешкин только рукой махнул.

— Какая там расписка! Сказано, что с повинной пришел!

И, немного помолчав, он снова заговорил:

— Брюханов представил векселя ко взысканию, получил исполнительные листы, а тем временем мое имение за неплатеж процентов было назначено к аукционной продаже. Все это творили мы тихонько, смирнехонько, чтобы, значит, кредиторы как-нибудь не пронюхали; а когда срок торгов приспел, Брюханов полетел в Питер. Имение мое купил он с переводом долга, деньгами же доплатил тридцать восемь тысяч. Деньги эти были отосланы в окружной суд и выданы

Брюханову в уплату по исполнительным листам. Брюханова ввели во владение, да до сих пор имением этим он и владеет. Когда померла наша родительница, я начал приставать к нему настойчиво и стал требовать исполнения обещанного, но Брюханов все водил меня — нынче да завтра, а потом вдруг объявил однажды, что ежели я не дам ему десяти тысяч отсталого, то имения он мне не возвратит. Я бросился к родным, родные обещали дать, но Брюханов, прослышав про это, загнул уже сорок тысяч. «Не хочу!» — заревел я. «А коли не хочешь, говорит, так иди просить на меня; только вряд ли найдется такой суд на земле, который поверил бы тебе на слово!»

Орешкин замолчал, снял шляпу, перекинул через лысину свалившуюся прядь волос, посмотрел на меня прищуренными глазками, помигал, посмаковал губами и вдруг спросил:

— Как на ваш вкус?

Но, не дождавшись ответа, снова заговорил:

— Я даже по этому поводу стихи сочинил.

— Какие?

— Коротенькие, но забористые. Слушайте:

Есть и у нас башибузуки,
И зачастую на Руси
Творят они такие штуки,
Что просто боже упаси!..

— Ловко?

— Еще бы!

Орешкин улыбнулся самой довольной улыбкой.

— Я даже,— начал он немного погодя,— целую повесть написал об этом, носил ее в местную газету...

— И что же?

— Разве наши газетчики понимают что-нибудь!

И, переменив тон, добавил:

— Нашли, будто бы не литературно написано. Вздор, написано хорошо, бойко, отчетливо. Ну, да ничего, пускай их, а я все-таки рукопись передал одному человеку.

— Кому это? — спросил я.

— Я, право, не спросил, кто он такой... Он ко мне на хутор заходил, расспрашивал меня про хозяйство.

— Не с длинными ли волосами он? — спросил я, догадываясь, что дело идет о моем приятеле.

— С длинными, с длинными, такой ласковый, разговор

чивый. Он у меня рукопись взял и хотел прочесть. Надо полагать, что писатель какой-нибудь заезжий...

Но тут речь Орешкина была вдруг прервана каким-то неистовым храпом. Я оглянулся по направлению этого храпа и увидал дьякона. Закинув обе руки под голову и вытянувшись во весь рост, с раскинутыми врозь ногами, лежал он на спине и спал самым богатырским сном. Он и похож был на богатыря со своими львиными волосами и могучей грудью. Полуоткрытый рот его был облеплен мухами, закрытые глаза тоже, между тем как ноздри, то сжимаясь, то раздуваясь, издавали храп, походивший на трубные звуки. Орешкин укоризненно посмотрел на дьякона и, покачав головой, проговорил:

— А еще кум!..

Но вслед же за тем он вдруг засуетился, схватил зайца, подвязал его к ягдташу и, вскочив на ноги, торопливо проговорил:

— Однако я с вами заболтался; солнышко село, а к утру мне надо быть на железной дороге. Очень рад, что имел случай познакомиться. Когда-нибудь ко мне прошу покорно. Я живу в бедности, в нищете, но и в хижине нищего можно встретить радушие. До свиданья!

И, пожав мне руку, он скрылся за кустами; но вскоре снова вернулся.

— Вы на мельницу? — спросил он.

— Да, на мельницу. Хотим там переночевать...

— Если увидите Брюханова, скажите ему от меня... Или нет, не говорите ему ничего. Я сам поговорю с ним... сам! И посмотрим, что-то он мне ответит.

И, кивнув мне головой, он повернулся и быстрыми шагами пошел по лесной тропинке.

IV

Я разбудил дьякона, и мы отправились на мельницу. Дневной жар сменился вечернею прохладой. Воздух наполнился запахом леса, и легко дышалось этим благодатным воздухом. Дорога шла по местности, изрытой разливами весенней воды. Кое-где через образовавшиеся овраги были перекинуты мостики, а кое-где мостиков не было, и через топкое дно оврагов приходилось перебираться по набросан-

ным тонким жердям. Молодая густая поросль, перевитая повиликой и роскошными лозами хмеля, густой стеной возвышалась по обеим сторонам дороги, причудливо извивавшейся и разбегавшейся в разные стороны. Но разветвления эти были не что иное, как только объезды трудных мест, и в конце концов, миновав трудные места, объезды опять выходили на главную дорогу. Сумерки сгущались. На темно-синем небе одна за другою загорались звездочки, а в густой траве искрились светящиеся жучки. Словно брильянты горели они в траве этой, испуская лучи фосфорического света. Все было тихо и, окутанное сумерками, словно предавалось отдыху. Только где-то страстный перепел настойчиво отдергивал свою короткую песнь и, замолкнув, ожидал ответа самки. Но самка не откликалась, и раздосадованный самец снова принимался за свой крик. Сластолюбцы эти, как сумасшедшие, выбегали иногда на дорогу, останавливались, оглядывались во все стороны и, не находя того, чего жаждали найти, снова убегали в чащу кустарника.

Немного погодя мы подходили уже к мельнице. Там во всех домиках горели уже огоньки и, отражаясь в гладком зеркале реки, представляли волшебную картину. На заднем плане громоздились горы. Ясным контуром рисовались эти горы на прозрачном фоне неба, тогда как внизу, у подошвы гор этих все было окутано мраком, и только красный блеск огней, словно шкалики иллюминации[6], обрисовывая квадраты окон, указывал, что во мраке скрываются жилые дома. Мы перешли плотину, миновали мельничные амбары и повернули по направлению к известному нам домику. Но каково же было наше изумление, когда у крылечка домика мы увидали отложенный тарантас[7], тот самый, в котором встретили Степана Иваныча Брюханова. Тут же рядом стояла и моя тележка.

— Ведь это, кажется, тарантас-то Брюханова? — спросил я.

— Его,— ответил дьякон.— Как же он попал сюда?

— Неужели он здесь?

Действительно, Степан Иваныч был здесь, потому что, как только подошли мы к домику, так немедленно увидали седую голову его, высунувшуюся в растворенное окно.

— Кто это? — крикнул он, силясь рассмотреть нас.

— Мы,— отвечал дьякон.

— Да кто вы?

— Аль вы не узнали! — прокричал дьякон, и на этот раз так громко, что Степан Иваныч тотчас же узнал нас.

— А! — закричал он.— Охотнички, гости дорогие. Милости прошу!

— А вы здесь? — спросил я.

— Здесь.

— Вы, кажется, прямо домой хотели проехать?

— Хотеть-то хотел, а потом раздумал. Чего мне домой торопиться! Что меня, жена молодая ждет, что ли? Целовать-то мне некого. Успею и дома натосковаться. А тут еще Оскар Петрович пристал. Надо, говорит, покупочку спрыснуть. Я и завернул сюда.

— Конечно, спрыснуть необходимо! — раздался из комнаты чей-то звучный баритон.

— Это кто там говорит? — спросил дьякон, понизив голос.

— Оскар Петрович, управляющий баронский,— ответил Степан Иваныч и, обратясь ко мне, прибавил шепотом: — За деньгами приехал, три тысячи я обещал ему. Из немцев он, но человек хорррроший. Однако что же это мы в окно-то разговариваем. Пожалуйте в горницу, милости прошу. Эй ты, дьякон! ты чего там на крылечке уселся... прошу покорнейше!

— А старику-то в голову попало уж! — шепнул мне дьякон.

— Что вы!

— Верно.

Мы вошли в комнату и, увидав Степана Иваныча, его разгоревшиеся глаза, его пылавшие румянцем щеки, его растрепанные седые волосы и торчавший кверху суворовский хохол, я убедился, что действительно старику уже «попало» и что мы как раз угодили на гулянку. Желая как-нибудь отделаться от этого удовольствия, я принялся объяснять, что намерение свое ночевать на мельнице я переменил, что пришел только за лошадьми, что мне необходимо быть дома; но все мои доводы оказались напрасными. Степан Иваныч прямо объявил, что домой он меня не отпустит, что кучер мой давным-давно пьян и спит как убитый, и затем, подведя меня к сидевшему на диване Оскару Петровичу, проговорил:

— Рекомендую, Оскар Петрович Блюм.

— Очень приятно познакомиться! — проговорил тот, вставая и подавая мне руку.— Кажется, тоже соседи...

— Да, живем по соседству.

— Очень приятно! — повторил он и снова пожал мне

руку, но на этот раз так крепко, что у меня даже кости захрустели.

— А вот это,— проговорил Брюханов, подводя к Оскару Петровичу дьякона,— наш дьякон, краса нашей церкви.

— Знакомы уж! — перебил его дьякон, махнув рукой.

— Да, мы знакомы! — проговорил Оскар Петрович и засмеялся.

— Как так?

— Стриг я их раза два! — вскрикнул дьякон и тоже захохотал.

— Ах, да ведь я и забыл, что дьякон у нас парикмахерством занимается!

И затем, переменив тон, Степан Иваныч прибавил:

— Ну, господа, вы тут побеседуйте, а я пойду распорядиться по хозяйству...

И, проговорив это, он поспешно выбежал из комнаты.

Оскар Петрович Блюм был мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, коренастый, с красным дышащим здоровьем лицом и узенькими черными глазками. Несмотря на эту коренастость, сложен он был пропорционально, имел высокую грудь и хорошую талию. Держал он себя каким-то козырем, точно собирался налететь и толкнуть вас грудью. Голову держал высоко, на носу носил золотое пенсне и через него смотрел с каким-то особенным гонором. На нем была изящно сидевшая визитка, темные панталоны и жилет одной материи с визиткой. Снежной белизны белье, небрежно повязанный галстук и маленькие золотые запонки, блестевшие на груди сорочки, как-то особенно приятно бросались в глаза. Он носил небольшую бородку, небольшие усики, из-под которых виднелись прелестные белые зубы. Словом, Оскар Петрович, по крайней мере на мельнице Брюханова, казался человеком «не от мира сего».

До сих пор я не был с ним знаком, но слышал весьма многое. Он управлял имением тысяч в двадцать десятин земли, при котором имелся винокуренный завод, конный завод и громадное овцеводство. Приехал он в имение совершенно молодым человеком, только что соскочившим со школьной скамьи. Приехав, сделал соседям визиты и тем, которых не застал дома, оставил глянцевитые визитные карточки, на которых значилось: «Оскар Петрович Блюм, ученый агроном». Затем он больше ни к кому с визитом не ездил и, поселившись в небольшом флигельке, принялся за управление

имением. Посевы он делал громадные; сотни плугов взрезали никогда еще не паханную ковыльную землю, и по земле этой, по этим девственным пластам разбрасывалось просо. С утра до ночи находился Оскар Петрович в поле при работах. Запрягут ему, бывало, какие-то старенькие беговые дрожки, сунут в руки узелок с провизией, и Оскар Петрович, вскочив на дрожки, ехал в поле. Рассказывают, что в то время Оскар Петрович был не таким, каким он глядит в настоящую минуту. Тогда это был молодой человек, худой, поджарый, с матово-бледным лицом, живой, энергичный и до крайности деятельный. Он поспевал всюду, все видел, все разумел и строго взыскивал за малейшее упущение. Проходить несколько верст пешком, пробыть целый день в седле ему ничего не стоило: у него и ноги не уставали, и поясница не болела.

Нечего говорить, что при таких громадных посевах, какие производил Блюм, в имение барона стекались тысячи рабочих людей, и люди эти пахали, сеяли, косили, жали и молотили. Какой именно доход давал управляющий своему доверителю, никому не было известно, но, по словам Блюма, доход был громадный. Чуть не горы золота посылал он ему. Сам барон никогда в имение не заглядывал, и потому управляющий был полным властелином. Кроме экономической запашки, Оскар Петрович в громадном же количестве сдавал землю нуждавшимся в ней крестьянам (вся окрестность была на малом наделе[8]), но землю эту сдавал не за деньги, а под работы. Землю сдавал дорого, а труд ценил дешево. На все на это он совершал контракты, свидетельствовал их в волостных правлениях, обеспечивал неустойками[9] и строго следил за точным выполнением таковых. На этот предмет при конторе имелся даже особый адвокат из местных «брехунов», на обязанности которого лежало неисправных привлекать к суду и обделывать по закону. «Брехуна» этого мужики видеть не могли равнодушно; несколько раз колотили его, но «брехун», получавший от конторы, на всем готовом, пятьсот рублей в год и, сверх того, будучи атлетического телосложения, на побои особого внимания не обращал, а ограничивался лишь привлечением к суду виновных в «оскорблении действием». Когда же виновных постигала заслуженная кара, он мирился с ними за ничтожное денежное вознаграждение и прекращал преследование.

При таком положении дела окрестное население стало видимо беднеть. У кого прежде было тридцать — сорок овец,

тот оставался теперь при трех-четырех. У кого было пять-шесть лошадей, у того оставалась одна. Кто прежде засевал по нескольку десятин пшеницы, тот или вовсе бросал сеять таковую, или же засевал ею незначительное количество, ограничиваясь посевом ржи и овса. У которого прежде была «изба с тесовой крышкой», у того, как говорит известная песня, «остался только нос с шишкой». Аристократ-барон, живший постоянно в Москве, конечно, обо всем этом ничего не ведал. Ему высылались доходы, ему высылались собственного завода кровные рысаки, и, катаясь на рысаках этих по матушке Белокаменной, он был вполне счастлив и щедро награждал труженика управляющего.

Однако как-то раз приехал барон в имение, но пробыл недолго, всего два-три дня, не более. Годовые рабочие, переодетые в мужиков, встретили барона с хлебом и солью; приходский поп отслужил обедню и принес барону вынутую за его здоровье просвиру, при чем кстати выпросил дровец на зиму. Но настоящие мужики, несколько раз собиравшиеся было «погуторить с бароном о своей большой нужде», были каждый раз прогоняемы предусмотрительным управляющим.

Отдав визит попу, у которого барон, желая блеснуть благоговением, поцеловал даже руку, осмотрев имение, винокуренный и конный заводы и сделав лучшим жеребцам проездку, осмотрев овчарни и убедившись, что в имении все обстоит благополучно, что народу живется хорошо, что народ его благословляет,— барон уехал. А когда на границе владений он вдруг нежданно-негаданно был встречен толпою переодетых мужиками конюхов, овчарей, столяров и кузнецов и когда мужики эти остановили карету, выпрягли лошадей и на своих плечах вывезли экипаж в гору, то барон даже прослезился. Он обнял и расцеловал провожавшего его Оскара Петровича, а «добрым русским мужичкам» сказал русское «спасибо» и выкинул сотенный билет на водку. Тем дело и кончилось.

Ободренный поощрительным посещением владельца, Оскар Петрович принялся за дело еще с бо́льшим усердием. У мировых стали появляться жалобы на «смертные бои», наносимые Оскаром Петровичем разным мужикам и бабам, приобщались к жалобам этим выдранные волосы, «почтительнейше» объяснялось, что Оскар Петрович, отобрав у просителей выданные им конторой ярлычки «и не учинив по оным надлежащего, как совесть повелевает, законного

расчета», ярлычки те собственноручно порвал, а просителей «с азартом вытолкал вон в шею». Полетели повестки, и мировые судьи кряхтели, разбирая эти «неприятные дела». На суд являлся «брехун», предъявлял доверенность, живописно складывал руки, еще живописнее отставлял ногу и, выслушав обвинение, с недоумением пожимал плечами и требовал доказательств. Мужики кричали, указывали на приобщенные к прошению волосы и зубы, разевали рты, указывая на пустые десны, предъявляя плеши на головах и бородах — и только возбуждали всеобщий смех. Судьи требовали свидетельских подтверждений; а когда обвинители говорили на это: «Каких же мы можем выставить свидетелев, коли дело это было с глазу на глаз», то судьи прекращали прения и решали: «За непредставлением надлежащих доказательств, считать Оскара Блюма по суду оправданным».

Несмотря, однако, на все эти неприятности (он очень сердился за это на мужиков), тоненький Оскар Петрович начал заметно толстеть. Он наел себе брюшко, сухие руки сделались пухлыми, щеки раздулись, шея словно укоротилась, а матово-бледный цвет лица превратился в багровый. Ходить пешком он перестал совершенно, в поля ездил редко, а когда выезжал, то уже не на беговых дрожках[10], а в фаэтоне[11] на лежачих рессорах, причем от пыли накидывал на себя шелковое «пардесю»[12], голову накрывал соломенной шляпой с большими полями, а на нос накидывал золотое «пенсне». Старый, перекосившийся и словно вросший в землю флигель с тесовою кровлей, покрытый мхами и лишаями, сделался ему ненавистным, нагонял на него тоску и порождал меланхолию. Он выстроил себе новый, поместительный, с крытым балконом; омеблировал этот дом, по стенам развесил гравюры, кабинет убрал коврами, а перед балконом развел роскошный цветник, благоухавший всевозможными ароматами. Постройка этого флигеля породила в нем страсть архитектора. Он принялся за постройки. Принялся заново перестраивать барский дом, конный завод, овчарни, скотные дворы, молотильные сараи, хлебные магазины, флигеля рабочих, и в имение барона потянулись тысячи подвод с брусьями, тесом, известкой, алебастром. Нахлынули мастеровые: плотники, каменщики, кровельщики, столяры, и работа закипела. Весело было смотреть на эту суету. Молчаливая, полуразрушившаяся, умиравшая усадьба словно ожила. Она огласилась стуком топоров, тюканьем кирок, лязгом стальных

пил, визжанием рубанков, криком рабочих, шумом построек. Ведение отчетов по всем этим постройкам Оскар Петрович принял на себя. Он купил несколько тяжелых, изящно переплетенных конторских книг, с медными угольниками и замшевыми корешками, и красивым почерком вносил в них поступление материала и расход денег, причем каждую статью очищал платежными квитанциями и расписками. Работа была нелегкая, и, принимаясь за нее преимущественно по вечерам, он засиживался над нею нередко до глубокой ночи. Несмотря однако на трудность этих занятий, которые даже и не входили в круг его обязательных работ, он не роптал и не требовал себе ни прибавки жалованья, ни командирования архитектора.

В настоящее время Оскар Петрович сделался уже семьянином. Он женился, взял за женой порядочное приданое и, купив себе участок земли, на земле этой, одновременно с возводимыми в имении барона постройками, начал устраивать и собственное гнездо. Как-то раз, проезжая мимо этой вновь возведенной усадьбы, я невольно засмотрелся на нее. Кокетливо помещалась она возле небольшой березовой рощицы и невольно привлекала на себя внимание щеголеватостью построек. Усадьба имела характер дачи; но тем не менее все было выстроено прочно, хозяйственно, и повсюду была видна рука опытного строителя. Красивый домик с небольшою башенкой и с разными выступами и углублениями, украшенный несколькими балкончиками, вычурными резными карнизами и коньками, тонул в опушке рощицы, так что вокруг него здесь и там разбрасывались старые кудрявые березы, накидывая на усадьбу мягкую зеленую тень. Возле балконов пестрели клумбы цветов с высокими сочными георгинами, ночною красавицей и душистыми левкоями и петунией. Клумбы эти были красиво обложены дикими камнями; такими же камнями украшен был и бассейн небольшого фонтана. Здесь и там, под тенью берез, стояли чугунные диванчики и столики. Как-то особенно уютно выглядела эта усадьба, благоухавшая запахом цветов. Поодаль от усадьбы помещались службы, небольшой конный завод и низенькие каменные овчарни. Проезжая по владениям Оскара Петровича, я видел и овец его. Овцы эти разделялись на несколько гуртов. Тут были и шленские овцы, и рамбулье, и негрети с короткими ногами, с глубокими складками на отвислых зобах и шее, с мордами, заросшими шерстью.

Впереди гуртов этих важно выступал козел и, позванивая висевшим на шее колокольчиком, водил за собою гурт по роскошным пастбищам. Дороги все были окопаны канавами; поля убраны и возделаны словно огороды и, разбитые столбиками на клетки, точно шахматная доска, ясно показывали, что немало труда и забот было положено на обработку этих полей. Зато и хлеб на полях Оскара Петровича резко отделялся от соседних хлебов. Рядом, у соседей, рожь была чуть не по колено, а здесь она была так густа и высока, что промчавшийся мимо меня наездник Оскара Петровича, наезжавший кровного вороного рысака, как только обогнал меня, так тут же и скрылся за стеной высокой ржи, и лишь верхушка дуги, летевшая над этим зеленым волнующимся морем, давала знать о быстроте коня.

V

Оскар Петрович оказался прелюбезным собеседником, большим говоруном и остроумным рассказчиком. Пока Степан Иваныч отсутствовал, побежав «похлопотать по хозяйству», мы с Оскаром Петровичем успели и ознакомиться и наговориться. Говоря о себе, он постоянно говорил «мы», и «мы» это произносил с таким ударением, что невольно выставлял его как-то наружу. Это «мы» так и выскакивало из его плавной, певучей речи. Оскар Петрович рассказал мне, как он приехал сюда в эту местность, как, будучи еще новичком, не знакомым практически ни с делом ни с людьми, он несколько раз оказывался жертвою обманов; рассказал, как однажды надул его сам Степан Иваныч при приемке пшеницы, долго хохотал, рассказав этот случай, и кончил следующей тирадой:

— Но теперь нас не проведешь. Мы узнали людей, и нас люди узнали... Мы теперь разобрали всех этих Степанов Иванычей, всех этих Самойл Иванычей, всех этих местных воротил и умеем себя держать с ними. Мы теперь зазнаваться им не позволяем, а зазнался... в шею — и конец делу...

И Оскар Петрович залился самым веселым смехом.

— Неужто и Степана Иваныча в шею,— спросил дьякон, тоже хохотавший.

— Мы его однажды в шею вытолкали.

— И что же?

— Съел, ничего!

Оскар Петрович снова захохотал. Но немного погодя, вздохнув, он прибавил:

— Но, сказать по правде, нам все это надоело. Работать на людей нет охоты. Мы устали, и нам пора отдохнуть.

— Вы хотите отказаться от места? — спросил я.

— Думаем! — словно оборвал Оскар Петрович.

— Почему же это?

— Потому что мы серьезно устали. Сверх этого, так как у жены моей есть небольшой клочок земли, то несравненно приличнее заняться своим малым, нежели большим чужим. Будет, поработали над чужим, пора и о себе подумать. Не так ли, отец дьякон?

— Sic*! — крикнул тот, и оба захохотали.

— О чем это смеетесь? — вдруг спросил вошедший в комнату Степан Иваныч.

— Да вот, рассказывал между прочим, как вы меня пшеницей надули! — вдруг ляпнул Оскар Петрович и опять захохотал.

— Помню, помню! — заговорил весело Степан Иваныч.— Как не помнить! Только вот что, любезный друг,— добавил он, грозя пальцем,— кто старое помянет, тому знаешь что?

— Глаз выколоть! Знаем, штука не новая!

— То-то вот и есть! — подхватил Степан Иваныч и потом вдруг, как будто озаренный какою-то счастливою мыслью, заговорил: — Это что еще! Нешто такие штуки проделывают! Ты вот поговори-ка с моим Самойлом Иванычем, так он тебе порасскажет, как дела-то обделывать надо. Никогда не забуду. Раз принимал он у мужичка пшеничку. Доставить пшеничку на мельницу мужик не захотел, побоялся, вишь, что надуют его здесь: «Принимай, мол, у меня в амбаре, из сусека!» Ладно, в амбаре так в амбаре. Пшеница была куплена на пуды, чтобы, значит, обмера не было. Самойла Иваныч отправился, пристроил весы в амбаре, мужик выверил, и пошла приемка. Принимает, и мужик дивится, что пшеница больно легка у него; хлеб как будто хороший, тяжелый, а его в кадушку-то сыплют, сыплют... Глазам не верит мужик! Надо бы быть пудов полтораста, а вышло всего сто двадцать. Так за сто двадцать и расчет получил. Долго не говорил мне Самойла Иванов про эту штуку, да уж после покаялся...

* Так *(лат.)*.

— Что ж он сделал? — спросил дьякон.

— Очень просто! Мигнул молодцу, тот залез под амбар да снизу из-под пола сквозь щелку кадушку-то с пшеничкой палочкой и подпирал. Штука-то пустая, а вышло ловко!

И потом, вдруг переменив тон, он заговорил:

— Ну, гости дорогие, прошу не взыскать, коли угощение будет не настоящее. Здесь я как на биваках, настоящего хозяйства нет. С голоду не уморю, да и досыта не накормлю... уж извините! Здесь у меня и хаты, видите, какие,— кошку за хвост повернуть негде. Вот если бы ко мне пожаловали в мою усадьбу, там было бы дело иное. Там у меня и мебель бархатная, и зеркала...

— По-моему, у вас и здесь очень хорошо! — проговорил я.

— Он без бархату не может! — заметил Оскар Петрович.— Он ведь тоже аристократом считается!

— За свои деньги всякий себе аристократ! — перебил его Степан Иваныч.— Впрочем, к чему мне здесь бархатная мебель? Приезжаю я сюда на день, много на два, собственно по хозяйству...

Оскар Петрович даже захохотал.

— Чего хохочешь-то! — перебил его Степан Иваныч, оскалив зубы.

— Знаем мы это хозяйство!

— Чего ты знаешь-то! ничего не знаешь!

— Доводилось как-то и мне тут хозяйничать с вами.

— Что ж такое! Эка важность! Случилось как-то раз покуролесить! Не век же, в самом деле, работать. Надо когда-нибудь и суставчики порасправить, а здесь-то оно удобно, в лесу никто не увидит!

— Только все знают,— перебил его Оскар Петрович.

— А шут с ними! Что я, на краденые деньги гуляю, что ли! Уж у меня натура такая! Работать я не ленив, хоть камни посылай ворочать, а уж коли подошла линия, так не мешай никто. Всего подавай, что хочешь бери, а чтобы было!..

И, пригнувшись к уху Оскара Петровича, он что-то прошептал ему.

Оскар Петрович захохотал.

— Мы видели! — проговорил он.

Степан Иваныч опять пошептал.

— Знаем, недурна! — заметил Оскар Петрович.

— Гм! Недурна! — вскрикнул Степан Иваныч.— Красавица, а ты говоришь — недурна. Сегодня здесь будет!

И лицо Степана Иваныча переносилось от недоброй, нехорошей улыбки, точно у сатира на картине Брюллова «Диана и Эндимион».

В это время в комнату вошел Самойла Иваныч с подносом в руках, на котором стояли стаканы с чаем и бутылка рому.

— А, Самойла Иваныч! — крикнул Брюханов, увидав своего любимого приказчика.— Ну-ка, ну-ка, расскажи-ка, как ты у мужичка-то пшеничку принимал.

Самойла Иваныч даже глаза потупил.

— Будет вам, ваше степенство! — проговорил он скромно.— Мало ли что люди на́смех болтают!

Степан Иваныч захохотал.

— Ах ты, смиренник, смиренник! — воскликнул он.— На лицо-то посмотреть, как будто и в самом деле девушка красная! Ну, да ладно, ладно! Бог с тобой, будь по-твоему! Господа, пожалуйте-с! — прибавил он, указывая рукой на стаканы.— Прошу покорнейше с ромком.

И, налив нам рому, причем, конечно, не забыл и себе, он вдруг обратился к Самойле Иванычу:

— А что, «энтот», сухой-то ром будет, что ли?

Самойла Иваныч только головой мотнул.

— Послал? — спросил Брюханов.

— Послал-с.

— Агафья пошла?

— Она-с.

— Смотри, чтобы было.

— Будьте благонадежны-с.

— Дьякон! — крикнул вдруг Степан Иваныч.— Ты почему же рому-то себе не нальешь? Валяй! теперь все валяй! Теперь я добрый, слова не скажу!

— Ну ладно! — пробасил дьякон, скромно сидевший до сих пор в углу комнаты, и, отпив половину стакана, дополнил его ромом.

— Вот за это люблю! Ай да дьякон! Валяй знай!.. Рому у меня много!

Дьякон обрадовался и, подсев к столу, принялся за чай, а Степан Иваныч обратился к Самойле Иванычу:

— Ты что же стоишь? Ступай, мы тогда крикнем...

— Я хотел вам доложить, ваше степенство,— проговорил Самойла Иваныч, замигав глазами,— завтра от нас в город едут, так не дозволите ли аршинчика три разноцветного коленкорцу купить-с?..

— Зачем это?

— В селе Инясеве кабачок снял-с, так знамьеце кабацкое хочу устроить-с...

— А! — радостно вскрикнул Степан Иваныч.— Снял-таки?

— Точно так-с. И кабак и лавочку, что на площади стоит. Теперича не худо бы базарец развести-с.

— Где?

— Да все там же, в Инясеве-с. Ведь лавочку-то я с площадкой снял на двенадцать лет... Уж извините, что без вашего дозволения. С инясевскими мужичонками ничего не поделаешь... совсем, проклятые, от рук отбились! Бабы даже — и те знать нас не хотят-с. Ни за какую даже работу не берутся; работают себе на железной дороге, да и на́-поди! Намедни лен прополоть хотел, все село из двора во двор прошел, хоть бы одна шельма пошла. Говорить даже не хотят, так морды на сторону и воротят. Надо же их сократить маленечко-с. Я и хочу базарец развести да гостиный дворик небольшой построить-с! Торгово-промышленный элемент — первое дело-с! Как только все это заведем-с, так уж мужик в наших руках будет-с. В те поры и трактирчик с арфянками беспременно пойдет в ход-с, и тогда уж мое почтенье-с...

— Верно! — проговорил глубокомысленно Степан Иваныч.

— Так дозвольте коленкорцу-то купить-с?

— Валяй!

— Я хочу, ваше степенство, трехцветное знаменьеце сделать-с; белое, красное и зеленое, да на длинный шестик-с и привязать-с. Мешать-то оно не будет никому-с, а смотреть — веселее-с!

— Верно.

— Так я прикажу-с?

— Приказывай.

Разговор, по-видимому, кончился, но Самойла Иваныч все еще не уходил и, переминаясь с ноги на ногу, собирался как будто еще о чем-то доложить. Брюханов заметил это и спросил:

— Что, аль еще есть что-нибудь?

— Особенного-то покудова ничего нет-с, а все-таки подозрительно-с...

— Что такое?

Самойла Иваныч посмотрел на всех нас как-то особенно таинственно и, понизив голос, проговорил:

— Доподлинно верного-с я ничего доложить не могу-с, а только смутьянщик у нас объявился...

— Как, где? — воскликнул Степан Иваныч.

— Да, почитай, из деревни в деревню ходит-с. Барин не барин, и на простого человека тоже не похож. Одет хорошо, по-немецкому-с, в шляпе, с тросточкой, и все с мужиками разговаривает. Намедни, когда я в Инясеве насчет этого самого кабака сходку собирал-с, так и он туда явился. Узнал, в чем дело, и говорит-с: «Напрасно, ребята, кабак у себя допускаете; кабак — это мужицкая погибель, мужицкие слезы!» Да, спасибо, мужики-то в кураже были, не послушали. В деревне Григорьевке тоже с мужиками нехорошо говорил; расспрашивал, сколько у них земли, сколько овец, коров, лошадей; занимаются ли промыслом каким и советовал составлять артели. Точно так же был и в селе Ростошах и тоже с мужиками о мужицких нуждах говорил...

— И ты говоришь, что ничего особенного нет! — вскрикнул Степан Иваныч.— Ты чего же дожидаешься-то?

— Я ничего-с...

— Ты чего же не поймал его? Поймал бы да к становому и представил. И давно ходит?

— Давненько-с. Недели две будет, если не больше...

— Недели две! — подхватил Степан Иваныч.— Шутка сказать! Да он в две-то недели всех нас слопает и костей не оставит. Эх, Самойла Иваныч, Самойла Иваныч! шустрый ты малый, а на этот раз сплоховал! За шиворот бы его да к становому.

— Это точно, виноват-с, маленечко не спохватился...

— Ну, да ладно! Становой сейчас сюда приедет, я ему шепну. Я ведь тоже член духовно-просветительного союза...

Но не успел Степан Иваныч досказать начатой фразы, как дьякон, давно посматривавший на меня, не вытерпел и разразился таким хохотом, что заставил всех вздрогнуть. Степан Иваныч даже на ноги вскочил.

— Это что такое! — вскрикнул он.— Уж не надо мной ли ты смеешься!..

— Нет, нет! — бормотал дьякон, все еще продолжая хохотать.— Нет, не над вами. А хотите, я вам открою, где этот самый смутьянщик проживает?

— Где?

— Вот у них! — крикнул дьякон и, указав на меня пальцем, снова разразился хохотом.

Все обернулись ко мне.

— Правда? — спросили в один голос Брюханов и Оскар Петрович.

— Правда! — отвечал я.— По рассказу Самойлы Иваныча я догадываюсь, что человек в шляпе и с тросточкой, встреченный им в Инясеве, действительно, мой приятель.

— Позвольте, позвольте! — перебил меня Оскар Петрович.— Так это и я слышал про этого господина. Действительно, теперь я припоминаю, мне о нем говорили. Действительно, он ходит по деревням, по трактирам, по хуторам и собирает какие-то сведения. Я даже сам видел его, только издали.

— Но кто же он такой? — спросил Степан Иваныч.

— Я тоже хотел вас об этом спросить,— подхватил Оскар Петрович.

Я назвал его фамилию.

— Ах, позвольте! — перебил меня Оскар Петрович.— Не его ли имя встречается иногда в журналах?

— Да, он пишет.

— Читал, читал! — перебил меня Оскар Петрович.— Пишет недурно, стиль хороший, читается легко. Но, воля ваша, видно по всему, что быт народный знает поверхностно. Однако дело не в том, а вот в чем. Вы знаете, что ваш приятель очень заинтересовал нашего станового, господина Абрикосова?

— Чем же? — спросил я.

— Своими беседами с крестьянами...

Степан Иваныч сомнительно покачал головой, вздохнул и потом вдруг, оборотясь к Самойле Иванычу, все еще почтительно стоявшему посреди комнаты с подносом в руках, спросил:

— А что, на мельнице-то у нас барин-то этот не был?

— Не бывали-с.

— То-то, то-то! Ты тогда доложи.

— Первым долгом-с.

— А покамест давай-ка нам чайку.

Собрав стаканы, Самойла Иваныч мелкой, но быстрой походкой вышел из комнаты.

— Брильянт! — проговорил Степан Иваныч и, озаренный какою-то особенно восторженной улыбкой, кивнул головой по направлению к двери, за которою скрылся Самойла Иваныч.

Часам к одиннадцати вечера все было уже готово. Подъехал становой, г. Абрикосов, судебный пристав, земский фельдшер, учитель сельской школы, и вся эта компания, выпив с чаем бутылки две рому, а затем несколько графинов водки и несколько бутылок разного вина и наливок, помещавшихся на столе, уставленном закусками от Генералова, а равно и домашнего приготовления, была в самом наилучшем расположении духа. Расходившийся Степан Иваныч, с растрепанными седыми волосами и с суворовским хохлом, совершенно уже поднявшимся кверху, радовался, глядя на дорогих гостей, обнимал их, целовал, величал закадычными друзьями и обильно накатывал водкой и винами. Оскар Петрович, багровый как рак, хохотал, глядя на Степана Иваныча, но от компании не отставал, пил все, кроме водки, и, выпивая, говорил: «Мы можем пить все, только не водку. Мы пьем много, но так как при этом мы всегда много едим, мы и не бываем пьяны!» Дьякон, глаза которого собирались выскочить вон, басил на всю комнату, что он едет в город и что сто́ит ему повенчать там хоть одну свадьбу, так купцы тотчас же оторвут его с руками. Становой г. Абрикосов гремел шашкой, брякал шпорами и шмурыгал[13] шнурок, на котором висел револьвер. Он себя вел сдержанно, посматривал на меня искоса и о приятеле моем ничего не расспрашивал, хотя Степан Иваныч, представляя меня г. Абрикосову, и добавил, что я тот самый, у которого гостит приезжий барин. Г. Абрикосов поминутно выходил зачем-то в сени, поминутно зачем-то спрашивал Самойлу Иваныча, не приезжал ли урядник, и когда Самойла Иваныч отвечал ему: «Не видать чтой-то, ваше высокоблагородие»,— с недоумением пожимал плечами и еще судорожнее принимался шмурыгать шнурок револьвера. Фельдшер и учитель сельской школы сидели на полу, тянулись на палке и кончили дракой, которая, впрочем, тут же была прекращена. По комнате расстилалось и колыхалось целое облако дыма от выкуренных папирос и сигар Крафта, невзирая на то, что все окна были растворены. «Брильянт» сбился с ног. Он то и дело бегал из одной половины флигеля в другую, не поспевал откупоривать бутылки и заменять исчезавшие закуски новыми. Откупоривать бутылки он всегда уходил в угол, завинчивал штопор и, ущемив бутылку коленками, вытаскивал с натугой пробку и, отерев ладонью горлышко, ставил бутылку на стол. Приглашена была и музыка, как нам уже известно, состоявшая из скрипки и кларнета. Музыка была поставлена

у входной двери, и как только раздались звуки, так общество оживилось еще более. Степан Иваныч дрябленьким старческим голосочком затянул хоровую песню, которую подхватила компания, и хор загремел.

Я воспользовался этим случаем и незаметно вышел из комнаты, но едва переступил порог, как увидал в сенях целую толпу баб и девок. Все они были разряжены в праздничные пестрые сарафаны и, скучившись в угол, хихикали, ахали и охали.

— Ну, идите же! — командовал «брильянт».— Чего жметесь-то, словно бараны какие? Агафья, чего смотришь? Тащи их!

— Идите, красавицы, идите! — раздался звонкий голос Агафьи.

— Ой, боязно! Родимые мои... Куда это мы зашли-то! — раздалось в толпе красавиц.

— Боязно! — передразнил их «брильянт».— Словно впервой!

— Идите, идите,— кричала Агафья, отворяя дверь.— Идите смелее!..

Толпа скучилась возле двери, приостановилась, заколыхалась и наконец ввалилась в комнату, и только одна, по-видимому, девушка, с роскошной косой, матовым лицом и большущими черными глазами, осталась было в сенях, но подлетевший «брильянт» схватил ее в охапку и втолкнул в комнату.

— Иди! — проговорил он.

— А-а-а-а-а! — раздался вслед за тем радостный крик из комнаты и далеко-далеко разнесся по уснувшей окрестности.

Желая разыскать кучера, я прошел на половину Самойлы Ивановича. Там все было тихо. Стеариновая свеча, горевшая на столе, тускло освещала комнату. На диванах и на полу спали дети «брильянта», и тихое сопение их смешивалось с однообразным чиканьем стенных часов. За перегородкой слышалось оханье. Я заглянул туда и увидал лежавшую на кровати жену «брильянта». Словно мертвая лежала она, закутавшись одеялом и оставя снаружи только одно желтое, худое лицо с острым, выдававшимся носом. Небольшая лампочка, стоявшая на столике, освещала это лицо.

— Здравствуйте, Елена Ивановна! — проговорил я тихо.

Она уставила на меня свои ввалившиеся большие глаза.

— Не узнаёте?

— Как не узнать, узнала! — проговорила она едва слышно.

— Что, хвораете?

— Нет, я ничего...

— Почему же стонете?

— Мочи нет, разломило всеё...

— Давно?

— Давно уж... третий месяц... Так вот и валяюсь здесь.

— С постели-то встаете?..

— Встаю когда, да плохо... голова кружится.

— Что же вы за доктором не пошлете? Кроме того, и сейчас здесь фельдшер... хоть бы его позвали.

Елена Ивановна замотала головой.

— Был он здесь.

— Что же?

— Ну его! Пьяный он, насилу языком ворочает. Я ему говорю: «Мочи мне нет, душа с телом расстается!» А он смотрит на меня пьяными глазами да смеется. «Какие вы, говорит, красавицы были, а теперь какие дурныя!»

За перегородку вбежал «брильянт».

— Нашли с кем заниматься! — сострил он, увидав меня, и тут же, обратясь к жене, спросил: — Ленинька! Где ключи от красного комода?

— Я не знаю...

«Брильянт» даже рассердился.

— Не знаю да не знаю! Только от тебя и слышишь! Эх, головушка горькая! Хоть бы померла, что ли, скорее!

— На столе посмотри... там нет ли! — простонала Елена Ивановна.

«Брильянт» вбежал, нашел на столе ключи и, гремя ими, хлопнул сенной дверью.

— На грех-то еще хозяина принесло!..— проговорила больная.

— А что? — спросил я.

— Как что?.. Ведь это теперь дня на три пойдет, покоя не дадут!.. Слышите, музыка какая, пение какое... Слышь, и Парашу Колобову привели... Жаль мне ее, крестница она мне, скромная такая.

— Зачем же ее пустили сюда?

— Кому за ней смотреть-то! У нее только и есть одна мать-старуха, да и та слепая...

— А вы-то что же?

— Что я могу сделать? Пьяною, вишь, напоили ее, обманули.

В это время за перегородкой кто-то хлопнул дверью, послышалось бряцанье шпор и топот чьих-то сапогов.

— Разыскал? — спросил чей-то голос, в котором я узнал тотчас же голос станового Абрикосова.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие. У священника в селе Покровке ночевать оставался.

— Лошади поданы?

— У крыльца-с.

— Шинель!

Послышалось суетливое топанье сапогов и кряхтение г. Абрикосова.

— Калоши!

Топот снова повторился, затем что-то два раза стукнуло, заскрипела дверь, а немного погодя зазвенел колокольчик, застучали колеса, и все стихло.

— Становой-то уехал, должно быть! — простонала Елена Ивановна и закашлялась.

VI

Я едва разыскал своего кучера. Где-то под навесом лежал этот бедняга, на голой земле, с растрепанными волосами и окровавленным лицом. Степан Иваныч не солгал, объявив, что кучер мой пьян. Действительно, он напился до такой степени, что не выказывал никаких признаков жизни, и, как ни старался я разбудить его, все старания мои оказались тщетными. Я принялся разыскивать лошадей, с целью хотя бы без кучера добраться домой, но и лошадей мне разыскать не удалось. Все, буквально все, к кому я ни обращался, были до того пьяны, что никакого путного ответа дать мне не могли.

Пришлось или оставаться ночевать, или идти пешком. Я выбрал последнее.

Что за чудная ночь была в то время! Темно-голубое небо было совершенно чисто; только два-три облачка, легкие и воздушные, как кружево, плыли по нем, плыли и, становясь все прозрачнее и прозрачнее, словно таяли и затем исчезали. Несколько фосфорически дрожащих звездочек и круглый диск луны освещали окрестность, серебрили ее и вместе с тем наполняли каким-то странным смешением света и тени. Вода

в реке стояла неподвижно, словно громадное зеркало лежало перед вами и отражало в себе серебристый сноп луны, окрестные темные горы и массу домиков с красными огоньками, горевшими в окнах. Все было тихо, все словно замерло, притаилось, боясь нарушить эту живую тишину ночи. Только где-то далеко в соседнем селе тявкала собака. Я прошел плотину и углубился в лес. Там ночь казалась еще волшебнее; там немая тишина сменилась каким-то чуть слышным таинственным шепотом, словно кто-то шептал, спрятавшись за кустами... Это дрожали листья осинок и, дрожа, производили шепот. Здесь в лесу было больше и тени и света. Вдруг где-то впереди скрипнуло колесо. Я приостановился и начал прислушиваться. Все было тихо. «Почудилось!»,— подумал я и пошел дальше. Я шел по той же самой дороге, по которой мы с дьяконом пришли на мельницу. По мере того, как я углублялся в лес, деревья становились все гуще и гуще, дорога то суживалась, то разбегалась в объезды. На одном из таких-то объездов мне опять послышался скрип колеса, но на этот раз скрип раздался уже несравненно ближе. Можно было даже догадаться, что скрипела телега, силившаяся выбраться из колеи; даже слышно было чье-то понуканье и тупой удар кнута. Я пошел дальше и немного погодя действительно увидал вдалеке две телеги. Телеги эти ползли не по той дороге, по которой я шел, а по другой, объездной. Только мелкий кустарник разделял эти два пути. Я остановился; пахнуло дегтем, телеги поравнялись со мной и, поскрипев, вскоре миновали. Но мне показалось, что в одной из них, а именно в передней, сидел как будто бы Орешкин с какими-то двумя-тремя неизвестными фигурами, а в другой, задней, целая куча каких-то ребят. Орешкина заподозрил я по шляпе, но кто были остальные — я рассмотреть не мог. Завернув за кусты, телеги скрылись из вида. Но как только скрылись они и по мере того, как скрип их удалялся все дальше, все любопытство мое возбуждалось сильнее и сильнее. Точно ли проехавший был Орешкин, и кто был с ним? Орешкин собирался в город, дорога в город шла мимо мельницы, но кто же был с ним? Я остановился. И опять кругом немая тишина, заставляющая вздрагивать и озираться. Даже скрип телеги перестал доноситься, даже шепот деревьев словно замолк, и слышал я — именно слышал, а не чувствовал — биение собственного сердца. Уж не задумал ли чего этот Орешкин, этот начитавшийся романов человек? Уж не детей ли своих он

забрал с собой? И картины одна другой нелепее стали рисоваться в моем возбужденном воображении. Меня тянуло вернуться, но оргия, происходившая в домике, эта грязь, этот цинизм разгулявшихся людей, этот кларнет и скрипка, этот «брильянт» со штопором и бутылками — удерживали меня. Я пошел дальше. Но чем дальше шел я, чем дальше отходил от мельницы, тем сильнее начинало овладевать мною любопытство. Мне даже представилось, что мой кучер успел проспаться, что он в состоянии будет заложить лошадей и что на лошадях я, конечно, скорее буду дома, нежели идя пешком. И я вернулся.

Минут через двадцать я опять был на мельнице и подходил к домику. Там было все тихо; не слышно было ни музыки, ни пения, ни пляски. Словно что-то особенное происходило там, по крайней мере не то, что происходило прежде. У крылечка стояли две телеги, именно те самые, которые встретились мне в лесу. Сердце мое забилось еще сильнее, и я поспешил к мальчугану, стоявшему возле одной из телег.

— Слушай! — обратился я к нему.— Это твои лошади?

— Мои.

— Кого ты привез?

— Орешкина.

— А еще кто был с ним?

— Не знай! Мотри, дети его. Сам-то он на чугунку поедет, а ребят-то отсюда домой отправит.

— Где же они?

— Да туды в дом пошли.

Я подошел к растворенному окну и увидал следующую картину: все гости сидели смирно, где кто попал. Дьякон храпел, положив голову на стол с закусками. В углу столпились девки и прятали свои лица фартуками и рукавами. Рядом с ними стояли кларнет и скрипка. Возле двери «брильянт», покорно закинувший назад руки. Степан Иваныч сидел, важно развалясь, на диване, а перед ним, среди комнаты, окруженный толпою детей различного возраста, стоял Орешкин. Он был страшно взволнован; свалившаяся с лысины прядь волос как-то особенно безобразно лежала на плече; глаза его были полны слез. Прижав к себе левой рукой двух-трех мальчуганов, а правую подняв кверху, он говорил дрожавшим голосом:

— Да, люди добрые! Я нарочно зашел сюда, нарочно взял детей своих. Я еду в город, чтобы там найти защиту суда

и законов. Но, прежде чем отдать себя в руки правосудия, я обращаюсь к тебе, Степан Иваныч, как к родственнику и старому другу. Когда-то ведь вместе хлеб-соль водили! Ты не чужой детям этим! Посмотри, вон ведь их сколько, да дома еще жена с грудным ребенком... Всё они без куска хлеба! Друг! Будь милосерд! Тебя украшают почести, а они прикрыты рубищем! Ты богат, не отнимай же у детей последнего куска хлеба! Ты силен, дай же окрепнуть и птенцам!

И вдруг, опустившись на колени вместе с толпою детей, он заговорил, оглашая комнату рыданиями:

— Смотри, на коленях мы перед тобою... Протяни же нам свою руку и дай нам отдохнуть на груди твоей!

Степан Иваныч вскочил с места. Он был бледен как полотно; глаза его горели, суворовский хохол запрокинулся назад: так лошадь, собираясь укусить, прикладывает уши Он сжал кулаки и, трясясь всем телом, крикнул каким-то злым, разбитым голосом:

— Самойла Иванов! — И вдруг, протянув руку по направлению к Орешкину, все еще стоявшему на коленях, прибавил, задыхаясь от гнева: — Выведи вон этого комедианта!

Орешкин быстро вскочил на ноги.

— Прочь, не прикасайся!..— закричал он.— Я и сам уйду! Да разразятся же над тобою...

В комнате послышался какой-то не то шум, не то стон, раздалось топанье ног, полетели на пол бутылки, раздались проклятия и вопль детей, и все это, слившись в одно нестройное целое, превратилось наконец в какой-то возмутительный хаос.

Немного погодя Орешкин был уже на крыльце; рядом с ним шел Самойла Иваныч, а сзади толпились дети.

— Грех вам, Василий Игнатьич, ей-богу, грех-с! — говорил «брильянт».— Уж меня-то бы не тревожили. Помилуйте, никаких я этих делов ваших не знаю, а вы, заместо того, меня в свидетели-с... За вексельной бумагой точно я ездил-с, а какие это были векселя, денежные или нет-с, мне это неизвестно-с.

— И на суде так будешь говорить? — раздался голос Орешкина.

— Как же иначе-то-с?

— А присяга?

— Потому-то я и должен говорить правду-с... Ведь присягу-то принять — не мутовку облизать. За нее перед господом

богом отвечать придется, а я еще не хочу свою душу погубить-с.

Немного погодя мне удалось-таки разбудить своего кучера. Кое-как заложил он лошадей, и я, никем не замеченный, отправился домой. Домой приехал я часу в седьмом утра и, к великому моему огорчению, узнал, что приятеля моего дома нет. Вспомнив разговор станового Абрикосова с урядником, я послал нарочного к покровскому священнику. Оказалось, что приятель мой у священника этого ночевал, а утром, по приглашению станового Абрикосова, должен был ехать в город для личных объяснений с исправником. Наконец на пятый день, часов в одиннадцать утра, подъехала к крыльцу тележка, в которой сидели мой приятель и дьякон с ягдташами в руках. Я даже на крыльцо выскочил.

— Где это ты пропадал? — крикнул я.

Но приятель, вместо ответа, разразился самым добродушнейшим и веселым смехом. Я насилу дождался, когда он перестал хохотать.

— Где ты был? — повторил я вопрос.

— В городе, вот где! — ответил он, поднимаясь на крыльцо. И потом, обратясь к ямщику и подавая ему два двугривенных, проговорил: — Эй ты, любезный. На-ка на чай или на водку, как там вздумаешь, так и распорядишься... бери! А я к тебе дьякона привез, на дороге поймал! Страдает, бедняга!

— Ты мне расскажи, зачем ты в город-то ездил?

— К исправнику...

— Так это правда?

— Конечно, правда. Я с ним познакомился, отличный малый, гостеприимный, хлебосол. Сначала он меня за какого-то зловредного человека принял, ну, а потом, когда узнал, кто я такой, чем занимаюсь, где живу и проч., стал рассыпаться в извинениях и тотчас же отпустил.

— Что же ты в городе-то до сих пор делал?

— Как что? Во-первых, я со всеми познакомился, во-вторых — всем сделал визиты, а в-третьих — сряду три вечера участвовал в пикниках... Пил, ел, плясал и даже играл в карты.

— Ну, а вы как? — спросил я, обратясь к дьякону.

Он только рукой махнул. Я взглянул на него и изумился. Лицо его распухло, белки глаз были налиты кровью; он весь трясся, между тем как пот крупными ручьями катился по лицу его.

— Что с вами? — невольно вырвалось у меня, глядя на несчастного дьякона.

— Страдает, не видишь разве? — проговорил приятель и захохотал.

— Неужели до сих пор все пили? — спросил я дьякона.

— Нет, где же! Вчера еще кончили! Оно, пожалуй бы, и не кончили, да случай один помешал...

— Какой-такой случай?

Дьякон как будто замялся, но немного погодя проговорил:

— Преставилась одна...

— Кто?

— Приказчикова жена, Елена Ивановна.

— Как, умерла?

— Засохла!

И потом, вдруг захохотав, дьякон прибавил:

— А Степан Иваныч смерть боится покойников. Как только услыхал, что в доме покойник, так в ту же минуту шапку в охапку, да пьяный, не дождавшись лошадей, побежал домой. Мы это все на крыльце стоим, помираем со смеху, а он-то подобрал фалды да что есть мочи по плотине дует; подбежал к мостику, да как вдруг споткнется, да прямо носом-то о бревна, так всю рожу в кровь и разбил. Мы думали, что он не встанет, а он, заместо того, как вскочит да еще шибче припустил!

И дьякон захохотал.

— А ведь я к вам вот зачем пришел-то! — проговорил он немного погодя.— Вы уток-то тогда взяли, что ли?

— Каких уток? — спросил я.

— Да которых вы на Тарханских-то болотах убили?

— Какие там утки! Я и ягдташ-то забыл!..

— Ягдташи-то я привез, вот они!.. Только уток-то в них не было.

И, немного подумав, он проговорил:

— А ведь это беспременно Самойла Иваныч упер!

И дьякон даже плюнул.

Минут через десять мы были в саду и под тенью роскошного вяза принялись за завтрак...

Соловьятники

Рассказ

I

Как-то весной, в первых числах мая, зашел ко мне приятель-соловьятник, Флегонт Гаврилыч Павильонов.

— Я к вам-с! — проговорил он, расшаркиваясь и подавая мне руку.— Вы как-то желали на соловьиную ловлю посмотреть, так вот, не угодно ли? Соловьиный пролет начался, дело в самом разгаре.

— С удовольствием. Вы как будете ловить?

— Сетками-с. Ловят еще западками на яйца, да я той охоты не люблю... не сто́ит-с.

— А куда мы поедем?

— Чтобы далеко не забиваться, поедемте на Зеленый остров.

— Отлично.

— Так часиков в шесть, вечерком, вы пожалуйте на «Пешку»* в Красненький трактир, а я там буду поджидать.

— Идет.

— Смотрите, не забудьте только захватить с собою коврик и подушечку, потому на открытом воздухе ночевать придется; даже одеяльце советую взять. Днем-то жарко, а зорьки-то все-таки свеженькие бывают...

— Хорошо, захвачу.

— Захватите-с. А пока до свиданья: надо еще Павлу Осиповичу соловья занести. Просил бог знает как.

И, пожав мне руку, соловьятник сделал грациозный поворот, заглянул мимоходом в зеркало и, поправив височки, вышел из комнаты.

Однако прежде всего позвольте познакомить вас с этим соловьятником.

---

* «Пешкой» в Саратове называют пеший базар. *(Прим. И. А. Салова.)*

Флегонт Гаврилыч Павильонов был старик лет шестидесяти, худой, среднего роста, немного сутуловатый и поэтому всячески старавшийся держать себя как можно прямее. Когда-то Флегонт Гаврилыч состоял на службе в каком-то земском суде, затем служил писцом в дворянском депутатском собрании, получил чин коллежского регистратора, но по «слабости зрения» вышел в отставку и предался исключительно соловьиному промыслу. Насколько промысел этот был выгоден, я не знаю, но думаю, что больших капиталов Флегонт Гаврилыч не имел, ибо всю жизнь колотился, как рыба об лед, часто недоедал и недопивал и еще чаще прибегал к займам, которые, по «знакомству», редко оплачивал. Туалет Флегонта Гаврилыча состоял из какого-то длинного пальто с черным плисовым воротником и таковыми же отворотами, весьма похожего на халат, из однобортной жилетки с шалью и бронзовыми пуговками, из полосатых коротеньких панталон, вытянутых на коленках, и сапогов, покрытых заплатами, которые Флегонт Гаврилыч всегда тщательно старался как можно лучше начистить ваксой. Галстуков Флегонт Гаврилыч не носил, по крайней мере, мне никогда не приводилось видеть его в галстуке, зато белые воротнички ненакрахмаленной ночной сорочки, завязанной у горла тесемкой, он так живописно раскладывал по плисовому воротнику пальто, что в галстуках, право, не было никакой надобности. Несмотря, однако, на этот видимый недостаток в костюме, Флегонт Гаврилыч все-таки был кокет. Он никогда не проходил мимо зеркала, чтобы украдкой не заглянуть в него, и как бы мимолетен ни был этот взгляд, Флегонт Гаврилыч сразу замечал все погрешности своего костюма и немедленно же исправлял их: то у панталон пуговичку застегнет, причем слегка нагнется и непременно замаскирует это движение кашлем или каким-нибудь особенным движением головы и рук; то поправит височки и хохол; то закрутит усы. Височками Флегонт Гаврилыч занимался особенно тщательно и весьма оригинально зачесывал их. Несмотря на то что волос на голове его было довольно много, но все-таки для височков он брал волосы с затылка и, накрыв ими волосы, растущие спереди, загибал какими-то валиками вроде двух сосисок. Вследствие таковой манеры зачесываться, серые волосы Флегонта Гаврилыча (седыми назвать их нельзя, а именно серыми) были всегда густо намазаны фиксатуаром, издававшим сильный запах цедры. Ходил Флегонт Гаврилыч быстро, с припрыж-

кой, и выделывал ногами какие-то глисады, словно танцевал соло в пятой фигуре кадрили; он и руки держал так же закругленно, как держат их обыкновенно танцоры. Столь же быстры были и движения лица Флегонта Гаврилыча, а в особенности движения его маленьких серых глаз. Глаза эти ни на минуту не оставались в покое и, перебегая с одного предмета на другой, делались положительно неуловимыми. Что именно способствовало развитию этой неуловимости — служба ли (чиновники того времени обладали замечательно быстрыми взглядами), постоянное ли выслеживание соловьиного бега и полета — я не знаю, но думаю, что последнее играло немаловажную роль в этой необыкновенной беготне глаз. Флегонт Гаврилыч настолько был предан своему делу, что, кроме соловьев, ни о чем не говорил. Он знал всех любителей соловьиного пения, не только живущих в Саратове, но даже и в губернии, знал их по имени и по отчеству, знал всех соловьев в городе и в губернии, качества и недостатки в их пении, возраст соловья, кем именно и когда был пойман, за сколько, когда и где продан и проч. и проч.; словом, в мире соловьятников Флегонт Гаврилыч был настолько необходимым человеком, что обойтись без него не было возможности. Его приглашали даже лечить соловьев, и хотя, в сущности, он редко помогал больному и, напротив, гораздо чаще только ускорял смерть пациента, тем не менее, как настоящий доктор, делал вид, что жизнь соловья в его руках и что только он один может спасти его от смерти. Он вспрыскивал больного водой, водкой (водку он предпочитал более, ибо в то же самое время возбуждал тем же медикаментом и собственные силы), дул соловью под хвост, совал в рот живых тараканов, и, когда, несмотря на это, соловей околевал, он опускал его в карман своего коричневого пальто, поправлял височки и объявлял, что против «предела» никакой врач ничего сделать не может.

Такое постоянное вращение в мире соловьином превратило и самого Флегонта Гаврилыча в какого-то соловья. Как только наступала весна и соловьи прилетали к нам с «теплых вод», так и Флегонт Гаврилыч принимал совершенно соловьиный образ жизни. Он забывал все: дом, семью, жену, детей, покидал, так сказать, свои «теплые воды» и переселялся в лес. Ночь для него превращалась в день; утренние и вечерние зори были самыми торжественными моментами его жизни. Он даже днем спал весьма мало, ибо в это время занимался обделываньем своих соловьиных делишек, то есть продажею

пойманных по зорям соловьев. Продажу эту Флегонт Гаврилыч облекал всегда какою-то особенною таинственностью: входил в дом с заднего крыльца, секретно вызывал хозяина, отворачивал полу пальто и, подмигнув на холстинный мешок с соловьиными клетками, объявлял шепотом: «Ночничок-с! Только для вас и берег!» Торг совершался; Флегонта Гаврилыча угощали водочкой, чайком, и хотя «ночничок» оказывался весьма часто самым обыкновенным соловьем, а иногда даже не самцом, а самкой, тем не менее, однако, никто на Флегонта Гаврилыча за это не претендовал по той простой причине, что все это было так мелко и так незначительно и вместе с тем так необходимо для поддержания существования целого семейства, что совестно было и претендовать. Соловьев Флегонт Гаврилыч ловил большею частью сам, для чего держал даже двоих рабочих, но, сверх того, он и покупал соловьев, если находил это выгодным. Он торговал клетками, которые делал сам в зимнее время, муравьиными яйцами, дудочками, свистками, западками, сетками и от всего этого получал небольшие барыши, на которые и содержал свою семью. Флегонт Гаврилыч был женат на второй жене и имел четырех детей, то есть был в семействе сам-шесть, но когда спрашивали его о численности его семейства, то он всегда отвечал: «сам-семь», ибо и квартиру тоже причислял к членам семьи, как требующую содержания. Вторую жену свою Флегонт Гаврилыч любил, но о первой вспоминал и до сих пор с особенным восторгом. «Ах, что это была за дама! — говорил он.— Что это была за понятливая дама! Бывало, разбудит утром, поцелует и скажет: «Ну, супруг, пожалуйте чай кушать, все готово!» И действительно: клетки, бывало, все вычищены, корм насыпан, вода налита! А вторая — баба, положим, добрая, хлопотунья, но уж понятия не спрашивай. Соловью овса насыпет, овсянке — яиц муравьиных... того и гляди, всех птиц переморит!..»

Вот этот-то Флегонт Гаврилыч и пригласил меня на соловьиную ловлю.

II

Часов в шесть вечера я с «ковриком, подушечкой и одеяльцем» прибыл на место свиданья. Красненький трактирчик был битком набит народом и представлял собою нечто весьма оригинальное. Это был клуб птицеловов и охотников до

птичьего пения. Никогда ничего подобного не встречал я в жизни. Тут были и чиновники, и купцы, и немцы, и русские, и армяне, и весь этот люд, сидя за чаем или за кружкой пива, только и толковал о птицах. Грязный до невозможности, пропитанный запахом водки, табачного дыма, пива и солдатских сапогов, трактирчик был весь увешан клетками, и в клетках этих метались птички всевозможных пород, оглашая залу всевозможными трелями. Тут заливались и жаворонки, и щеглы, и чижи, и канарейки; тут «мамакали» перепела, свистали снегири и скворцы, и все это смешивалось с криком посетителей (просто говорить было нельзя, а надо было непременно кричать, так как обыкновенный говор заглушался птицами), с беготней половых и стуком чашек и тарелок. То же самое происходило и перед трактиром — в небольшом переулке, выходящем на Валовую улицу. Переулок этот пестрел двигавшимися толпами народа, теснившимися перед дощатым забором, буквально увешанным клетками. Словом, это был птичий рынок со всеми его атрибутами и характерными особенностями. Тут суетились дети, почтенные старцы, попы, дьячки с заплетенными косичками, солидные купцы с окладистыми бородами и молодые франты в цилиндрах и шляпах. Здесь продавались и клетки, и птичий корм; здесь обделывались все птичьи «гешефты»[1], здесь была птичья биржа со своими специальными членами, старшинами и маклерами.

Когда я вошел в трактир, я был просто ошеломлен этим хаосом; я не знал, что делать, но голос Флегонта Гаврилыча вывел меня из недоумения.

— Пожалуйте-с... Я здесь! — кричал он, привстав с места.— Пожалуйте-с, мое почтение-с!

Я поспешил на зов.

— Ну, что же, едем? — спросил я.

— Непременно-с, сию же минуту-с. Пожалуйте, присядьте... Кружечку пивца не прикажете ли? А я покамест кликну своих молодцов и прикажу им собираться.

Проговорив это, Флегонт Гаврилыч засуетился, поправил височки, подбежал к растворенному окну, высунулся по пояс и крикнул на весь переулок:

— Эй ты, Ванятка! Убирай клетки, зови Василия: сейчас на охоту поедем! Мотри, не забудь чего, как намедни! Ни одного свистка не взяли... Да спроси жену, нет ли каленых яиц, да пирога не осталось ли? Коли осталось, так захвати...

Ну, живо! Одна нога здесь, другая там! — сострил Флегонт Гаврилыч.

И потом, подавая мне стул, прибавил:

— Сейчас они придут-с... Пива не прикажете ли-с?

— Пожалуй, кружечку выпью.

— Отлично-с.

И, обратясь к буфету, Флегонт Гаврилыч крикнул:

— Эй! Макарыч! Вот барину пивца бутылочку подай... Или, может, парочку желаете?..

Сообразив, что Флегонт Гаврилыч хлопочет собственно о себе и что угощать пивом приходится мне, я согласился на «парочку».

— Превосходно-с! — подхватил Флегонт Гаврилыч.— И я с вами кстати выпью. Вы какое больше уважаете: Калинкинское или Баварию?

— Баварию.

— И я того же мнения-с,— снова подхватил Флегонт Гаврилыч и мгновенно распорядился насчет пива.

За столом, кроме нас с Флегонтом Гаврилычем, сидел еще какой-то мрачного вида господин, опрятно одетый, в черном сюртуке, высоких белых воротничках, подпиравших уши, и с лимонного цвета волосами, жиденьким хохлом возвышавшимися на лбу. Господин этот левой рукой поглаживал пустую кружку, а правой перекидывал карандаш, ловко подхватывая его на лету. Мы сидели с ним визави[2], посреди же нас, как раз против зеркала, висевшего в простенке, помещался Флегонт Гаврилыч. Зеркало это было причиною того, что Флегонт Гаврилыч ни минуты не просидел спокойно... Он то и дело поправлялся, приглаживался, обчищался, и только принесенные половым бутылки пива отвлекли его от этого занятия.

— Как на ваш вкус? — спросил он, разлив по кружкам пиво и сделав довольно основательный глоток.

— Пиво хорошее...

— Дельное пиво-с! — подхватил Флегонт Гаврилыч.— Нового привоза, из склада Дюбуа.

— Горóнит чуточку! — глубокомысленно заметил господин с лимонным хохлом.

— Есть немножко-с! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Есть-с, горчит точно-с, точно-с...

— А вчерашний соловей-то ваш, милочка, околел! — проговорил мрачный господин.

— Ой! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч, привскочив с места, словно его кто иголкой кольнул.

И в ту же минуту на подвижном лице его изобразились и ужас, и отчаяние, и вместе с тем надежда сбыть другого соловья.

— Околел...

— Давно ли?

— Вчера вечером. Должно быть, самки хватил...

Флегонт Гаврилыч даже отшатнулся как-то.

— Пал Осипыч,— проговорил он, приложив руку к сердцу.— Как вам не грешно-с? Да теперь и самки-то еще не прилетели-с!.. Ни одной, как есть, не слыхал еще-с. Помилуйте! Разве я посмел бы сделать это-с? Нет-с, а просто его в платке несли, туго связали — он и сопрел-с... Что вы станете с этими мерзавцами делать! Сколько раз говорил им: в платке не носить соловьев... Чего лучше в бичайке... не в пример спокойнее! Так вот нет-с, лень бичайку-то таскать... Эхма! Жаль, жаль, соловей-то уж больно хороший был... «ночничок!..» Сам выслушивал!

И потом, вдруг переменив тон, спросил:

— Может, прикажете другого подарить-с?

— А есть?

— Есть-с.

— Хороший?

— Горластый соловей.

— Утренничек или ночничок?

— Ночник. Всю ночь на весь Зеленый остров так и орал... даже спать не дал, проклятый.

— А дорог?

— Помилуйте, лишнего не возьму-с.

— Нет, однако?

— Сочтемся, чего тут... сочтемся, будьте спокойны-с... Мне с вас лишнего не надо-с.

— Хорош ли только?

Флегонт Гаврилыч даже обиделся.

— Пал Осипыч! — проговорил он, заглянув в зеркало и потом мгновенно перенеся взор на Павла Осипыча.— Неужто я могу что-нибудь такое говорить перед вами... низость какую-нибудь-с! Мне, собственно, соловья-то жалко, потому попадет к какому-нибудь курицыну сыну, который и толку-то в них не понимает, а соловей-то богатый...

— Ну, ладно, милочка, приносите; буду ждать.

— Слушаю-с, принесу-с.

И, снова посмотрев в зеркало и поправив ворот сорочки, спросил:

— А как тот-то, другой-ат, поет?

— Петь-то поет, только трещит очень...

— Ах, Пал Осипыч, без треску невозможно-с! Без треску-то тысячи две рублей заплатить надо-с; да у нас здесь и нет таких... За таким-то надо в Курск аль в Бердичев ехать... да и там, слышь, немного их. А что, яичками-то запаслись?

— Купил вчера немного.

— Вы бы вот сейчас купили-с, а то Поповы так и рвут-с. Намедни купили этих самых яиц муравьиных на восемьдесят копеек, а продали потом за четыре рубля... Вот ведь как деньги-то наживают-с, не то что мы... Право, запаситесь... Теперь бабы подгородние очень много их натащили, нипочем отдают... Вот бы еще овсяночку у меня купили-с... Она полезна будет и для кенара, и для соловья...

— Что ж? Ничего, можно...

— Прикажете принести?

— Приносите, милочка, ничего, я возьму...

— Слушаю-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч и, кивнув головой, поправил височки.

В эту самую минуту в залу трактирчика вошел мальчуган лет шестнадцати, смуглый, кудрявый, с плутовскими бегающими черными глазами, с улыбающимся веселым лицом. Он был в изодранной нанковой поддевке, в суконной фуражке, надетой на затылок, и с холстинным мешком, перевешенным через плечо. За поясом у мальчугана торчала сухая вобла, небольшая связка баранок и две бичайки (лубочные круглые клетки с холстинным колпачком, нечто вроде ридикюля). В руках у него был небольшой узелок и какая-то старая разодранная поддевка, вся в грязи и пятнах. Это был тот самый Ванятка, которому Флегонт Гаврилыч отдал приказание собраться на охоту и позвать Василия. Окинув залу быстрым взглядом и сразу разыскав Флегонта Гаврилыча, Ванятка крикнул:

— Готово, идемте!

Флегонт Гаврилыч вздрогнул, поспешно допил кружку и, обратясь к Ванятке, спросил:

— А Василий где?

— Он там на берегу ждет.

— Ладно. Все взял?

— Все.

— И свистки и дудочки?

— Все, и яиц, и пирога кусок.

И потом, подавая поддевку, Ванятка добавил:

— А вот это вам хозяйка прислала. Приказала пальто снять, а поддевку надеть. А то, говорит, последнее пальтишко издерет, по кустам-то лазимши...

Флегонт Гаврилыч даже вспыхнул.

— Ну, ну! — вскрикнул он.— Ты у меня не забывайся. Мне и в пальто хорошо будет. Я и сам знаю, меня учить поздно. Брось поддевку, отдай хозяину, пусть спрячет.

Ванятка ухмыльнулся, но все-таки поспешил исполнить приказание хозяина.

— Ну-с, пожалуйте-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч, сконфуженный приказанием жены.— Пожалуйте-с... Так соловушка принести-с? — спросил он, обращаясь к мрачному господину.

— Да, милочка, принесите.

— И овсяночку-с?

— И овсянку.

— Слушаю-с. А затем до свиданья!

И, поправив свой туалет, он, как-то подпрыгивая и словно танцуя, направился к двери, на все стороны раскланиваясь своим знакомым.

Я расплатился за пиво; Ванятка подхватил мой сверток с «ковриком, подушечкой и одеяльцем», и немного погодя мы были уже на берегу Волги, где и встретили ожидавшего нас Василия. Он успел уже нанять лодку, которую и причалил к исадам*. Я сел в середину, Флегонт Гаврилыч на корму с рулевым веслом, а Ванятка с Василием поместились спереди и, взяв две пары весел, отчалили от исад. Волга была в разливе, шла камская пена, и течение было так быстро, что мы с трудом подвигались против, направляя лодку к Зеленому острову.

III

Весной, когда Волга разливается, словно море, на далекое пространство затопляя луговую сторону; когда слобода По-

* Исадами называются садки с живой рыбой. *(Прим. И. А. Салова.)*

кровская со своими церквами, высокими раскидистыми ветлами кажется словно плавающим городком; когда заходящее солнце уходит не за материк, а тонет в море разлива, обагряя запад пурпуром, Зеленый остров представляет собою одну из самых великолепнейших картин. Молодые зеленые перелески, обширные луга, пестреющие цветами, запах ландышей и фиалок, несколько рыбачьих землянок, в которых можно достать и самовар, и рыбу, и молоко, сотни соловьев, оглашающих воздух трелями — все это, вместе взятое, манит на Зеленый остров, превращая его в волшебный уголок любви и поэзии.

На северной стороне острова, параллельно берегу, возвышается так называемая «Сухая грива» — песчаный вал, образовавшийся от прибоев воды. То возвышаясь, то понижаясь, грива эта тянется на далекое пространство и, покрытая деревцами осокори, дикорастущими вишнями, кустами черемухи, калины, шиповника, клена, представляет собою самый роскошный притон для соловьев и других пернатых певунов. Вечерними и утренними зорями перелески эти оглашаются тысячами голосов, покрываемых могучими и звучными трелями соловья. Можно подумать, что птицы всего мира собрались сюда и, собравшись, порешили воспеть красоту весны. Вы стоите на этой «гриве», на одном из самых возвышенных ее курганов, внимаете концерту пернатых, а между тем перед вами, кругом вас и повсюду раскидываются картины одна другой грандиознее, одна другой живописнее. Прямо — целое море воды, со стоном плещущей о нагорный берег. Это море освещено закатом солнца, и в огне его чернеют чуть заметными линиями лодочки, шлюпки, душегубки; белеют паруса; снуют пароходы и, оглашая воздух стоном колес, кажутся гигантами среди лодок и косулей[3]. Звучные песни, иногда даже целые хоры долетают до вас с этого огненного моря, и вы слушаете не наслушаетесь их. Но вот солнце утонуло, огонь потух, море подернулось легкой рябью; вы смотрите направо — и перед вами амфитеатром возвышаются гряды своеобразных гор, одна другой живописнее. Горы эти, пестреющие обвалами, садами, зеленью, перелесками, непрерывной цепью тянутся на юго-восток и кончаются так называемой Увекской горой, чуть синеющей на прозрачном горизонте. Гора эта, спускающаяся острым мысом, далеко врезавшимся в зеркало воды, невольно восхищает вас своею причудливостью и вместе с тем легкостью своего контура.

Что-то весьма похожее на эту гору видел я в Ницце, на берегу Средиземного моря, в стороне к каналу. Так же, как и здесь, горы расположены там амфитеатром и кончаются горой, похожею на Увекскую; только нет здесь того маяка, который возвышается там, на той горе, и горит яркой звездой во мраке ночи.

С наступлением ночи картина изменяется. В одном из углублений горы вы видите тысячи огней — это Саратов. Перед ним возвышаются целые леса мачт, и на мачтах этих дрожат сигнальные огоньки. Черные трубы пароходов грохочут, выбрасывая фонтаны искр. Зеленый остров словно окутан мраком, но он еще не заснул, ибо разложенные костры пылают здесь и там, и от костров этих долетают до вас и шумный говор и веселые песни приехавших на остров саратовцев. Толпы гуляющих рассыпаются по острову, и далеко за полночь слышатся еще и говор, и песни, и треск костров, и шепот влюбленных, и звук поцелуя...

Мы подчалили к острову часов в семь вечера. Передав на сохранение рыбаку свои вещи, мы с Флегонтом Гаврилычем пошли в глубь острова. Миновав землянку рыбака, перерезав наискось обширную поляну, покрытую молодою, сочною зеленью, и достигнув наконец «Сухой гривы», мы пошли по ее опушке, поминутно останавливаясь и прислушиваясь к пению соловьев. Так как мы с Флегонтом Гаврилычем были только вдвоем и так как все наши сетки, свистки и дудочки находились у Ванятки и Василия, оставшихся при лодке, то я положительно не мог понять, для чего именно выслушиваем мы всех этих соловьев, не имея возможности ловить их. Флегонт Гаврилыч шел «передом», а я следовал за ним. Забыв на этот раз про свои височки и не обращая даже ни малейшего внимания на то, что одна панталона была у него за голенищем сапога, а другая наружи, он весь как бы обратился в слух и сосредоточенность. Он едва переводил дыхание, словно замирал, сгибался, ступал неслышно, останавливался, что-то высматривал в кустах; когда приходилось кашлять, то поспешно накрывал рот полою пальто и сердито махал мне рукою, когда мне случалось чем-либо нарушать тишину. Мне было даже страшно как-то обратиться к нему с вопросом: что мы делаем? Так прошли мы версты две. Наконец Флегонт Гаврилыч остановился, снял с себя фуражку, отер пот со лба, поправил височки и, вынув из кармана окурок «цигарки», проговорил с улыбкой:

— Слава богу-с!

— Что? — спросил я.

— Ничего, слава богу... есть-таки!

И, чиркнув по штанам спичкой, закурил «цигарку».

— Послушайте,— проговорил я,— объясните мне, пожалуйста, для чего мы пришли сюда?

— Как для чего-с?

— Да так, я не понимаю. Как же будем мы ловить соловьев, когда сетки наши остались на берегу?

— Мы будем ловить их утром-с.

— А теперь что мы делали?

— Теперь мы выслушивали-с и выбирали-с, которые получше поют. А завтра придем и возьмем их-с. Нельзя же ловить, не послушавши соловья; этак такого хлама наловишь, что стыдно людям показаться. Однако давайте присядем, отдохнем...

Мы присели.

— Слышите вон того соловья, который сейчас в той черемухе поет? — проговорил он, указывая на большой куст черемухи, возвышавшийся среди кустов калины.

— Почему же вы знаете, что он именно в черемухе?.. Тут много и других кустов.

— Я слышу-с, я знаю-с... Ну-с, так вот этого соловья и ловить-то не сто́ит-с, потому трещит слишком и вдобавок старых песен. Любой дьячок приятнее его пропоет.

— Это что значит «старых песен»?

— Очень просто-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч, снимая фуражку и бросая ее на землю.— Есть соловьи старых песен, которые по-старому поют, и есть новых песен, которые поют по-новому...

— Неужели и соловьи тоже совершенствуются?..

— А как же-с! — поспешно перебил меня Флегонт Гаврилыч.— Соловьи новых песен и поют лучше, и ценятся дороже. Мало ли какие есть соловьи! Есть «ночники», которые поют по ночам, есть «утренники», которые поют по утренним зорям. Ночники тоже ценятся дороже утренников. Как можно-с! Есть соловьи пролетные, которые только пролетом попадают сюда: нынче осыплет, а завтра пропадет, а есть «местовалые», которые по нескольку лет кряду прилетают на одно место и детей выводят. Вот, к примеру, возле той землянки, к которой мы причалили, есть соловей в орешнике, уж он лет семь подряд сюда прилетает и сейчас

опять здесь... За это самое мы его и не тревожим даже. Пущай себе поет!

— Почему же вы знаете, что это тот же самый?

— По пению-с.

— Мне кажется, они все на один лад поют.

Флегонт Гаврилыч даже расхохотался над моим невежеством.

— Как это возможно, помилуйте-с, господь с вами! У всякого соловья есть в пении какое-нибудь особенное колено, своя ухватка. Иной соловей весь «в дудках»-с, а иной «на свистах стоит»! И дудки и свисты опять-таки разные. У одного, к примеру, есть «кукушкин перелет»,— это самое лучшее колено считается, у другого «юлиная стукотня», этак: тью-тью-тью, как птичка юла свистит; иной «пленькает», иной «дробит», а другой, наоборот, «раскатом» берет. Как пустит этак: трррррр... да вдруг: тью-тью и в «лешеву дудку» потом. Вот у соловьев-то новых песен все эти колена есть, и выходят они у них чисто, аккуратно, отчетливо-с...— И, вздохнув, он прибавил: — Только очень мало их было.

— Кого это?

— Да самых этих соловьев новых песен. За всю весну только троих господь и привел поймать!

— Может быть, еще поймаете.

— Нет уж, поздно-с. Теперь пошел соловей старых песен, значит, пролет кончился, шабаш!..

— Как это вы все замечаете!

Флегонт Гаврилыч даже улыбнулся от удовольствия.

— Пора научиться! — проговорил он.— Тоже годков пятьдесят — побольше занимаемся этим делом.

— Ах, в прошлом году пролет был хорош! — продолжал он с каким-то упоением.— Ах, как был хорош! Особливо один соловей уж больно хороший попался. Так выделывал «кукушкин перелет», что заслушаться надо... Соловей был во всей форме: плечистый, нос толстый, глаз навыкате и большущий, на высоких ногах. Прозимовал у меня, а весной один купец отбил. «Ну, говорит, снимай с меня все, только крест оставь, соловья отдай». Не поверите, даже слеза прошибла, когда самый этот купец приехал за ним! Словно осиротел я, словно детища родного лишился. Кабы не нужда, кажется, ни за что бы не расстался. А тут пасха подошла, деньги нужны были, у детишек обувь поистрепалась, жене надо было обновочку сшить... так и продал!

— И дорого взяли?

— Что там! Полусотку всего!

— Неужели пятьдесят рублей? — почти вскрикнул я.

— Гм! Так разве за такого соловья столько бы следовало?! Будь это в Москве аль в Питере... Ну-ка, подите-ка, попытайте-ка теперь у купца перекупить. Разве пьяным напоите, да и то меньше пятисот не отдаст. Ох и помучил же меня только этот самый соловей! Целых пять ночей подряд сидел под ним. И западками и сетью ловил. А держался он, надо вам доложить, на самом краю крутого-прекрутого оврага... Осыплешь, бывало, куст сетью, начнешь загонять — вершинит тебе, да и шабаш.

— Это что значит — «вершинит»?

— Это называется, когда соловей не по земле бежит, а по вершинкам перелетывает; сеть-то ведь внизу расставляется, по этому самому вершинника и трудно изловить. Уж чего я ни делал: и самкой-то свистал, и палочками-то старался его на землю согнать, и приваду-то сыпал — нет, не опускается, да и на́-поди. Заберется на самую макушку да там, подлец, и заливается. Лихорадка даже сделалась. Бывало, он там поет, а я внизу валяюсь, зуб на зуб не попаду, даже подрался из-за него с одним портным, который тоже было под него подбираться вздумал; да спасибо ястреб помог... Хоть и расшибся я, а все-таки изловил...

— Как же вы расшиблись-то?

— А вот как-с! Кобёл[4] черемухи рос на самой-то круче, кобёл отличный, раскидистый, и местечко сплошное такое, «убивистое» было, а рядом с черемухой осинка, да такая тонкая, высокая и прямая, как конопля... И заметил я что с самой этой осинки соловей слетает на верхушку черемухи и, не падая на землю, перелетает на другой берег кручи. Вот я взял и осыпал черемуху-то сеткой, залег у сетки, а Ванятку с Василием загонять послал. Пригнали живо, вижу, сел на самую макушку осинки и затопился... Я лежу, а самого лихорадка так и треплет, зубами щелкаю, весь ходенем хожу, а он-то, подлец, сидит да разливается! Что тут делать? Палочкой в него бросить — боюсь, спугнешь... уж сколько раз так-то спугивал. Лежу да терзаюсь, пла́чу даже... Вдруг откуда ни возьмись ястреб! Соловей встряхнул крылышками, да с осинки-то шмыг на кобёл , а с кобла на землю, прыг, прыг, да в сетке и запутался!.. Я так со всех ног и бросился, схватил его, да как вдруг с кручины-то сорвался, да вниз и

загремел... Всю рожу ободрал... Лечу это, а сам только руку кверху держу, чтобы как ни на есть соловья-то не убить,— о себе-то не думаю! И точно. Соловья сберег, а сам расшибся, как нельзя лучше! Целых три недели вздохнуть не мог, в постели лежал, повернуться нельзя было. Спасибо уж пиявками оттянули!

— Помню, помню! Как не помнить! — раздался вдруг чей-то голос позади нас.— Все за меня бог наказал!..

Мы обернулись и увидали молодого человека с испитым зеленоватым лицом, в коротеньком пиджаке и палевых панталонах, засученных за голенища сапог.

— И поделом! — продолжал он.— Не дерись вперед! Шуточное ли дело, как меня избил тогда!

— А! Владимир, здравствуй,— вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Что, аль тоже за соловьями?

— Нет, перепелятничать вздумал!

— Будет тебе врать-то!

— Чего мне врать!

— Уж беспременно выслушивать ходил.

— Ей-богу, нет... У меня и снасти-то перепелиные. На, смотри...— и он вытащил из мешочка сети и перепелиную дудку.— Да что! Перепелов-то нет. Мамакнул один, и шабаш. Подманивал-подманивал — так и не отозвался, словно в землю ушел. Что-то и дудка-то хрипит.

— Ну-ка, покажи!

Молодой человек подал дудку.

— И то хрипит! — заметил Флегонт Гаврилыч, ударив раз десять дудкой.— Засорилась — вот и все. У тебя иголки нет?

— Нет, кажись,— проговорил молодой человек, осмотрев лацкан пиджака.

— А еще портной! Иголки при себе не имеешь!

— Постой, может, в игольнике нет ли...

И молодой человек принялся шарить в карманах, причем выронил какую-то косточку, при виде которой Флегонт Гаврилыч вскрикнул:

— Стой! А это что?

— Что такое?

— Нешто с этим за перепелами ходят?

Портной расхохотался.

— Что же ты врешь-то? Чего глаза-то отводишь! — кричал Флегонт Гаврилыч, держа в руках косточку.— И где за

перепелами с соловьиными дудками ходят! Эх ты, сволочь!

— Да это я так только...

— Заговаривай, заговаривай зубы-то!

— Ей-богу же!

— Будет, будет грешить-то!.. Ну, чего лжешь-то!

— Да право же, лопни мои глаза...

— Зачем же дудочка соловьиная?

— Да так, в кармане завалялась. Чудак-голова! Да она и не свистит даже.

Флегонт Гаврилыч приложил дудочку к губам и, убедившись, что она не издавала никаких звуков, успокоился совершенно.

— И то правда! — проговорил он не без удовольствия.— Не свистит...

— То-то и дело. Говорю, за перепелами. Я бы нешто не сказал... Чего скрываться? Я уж учен тобой...

— Ну-ну. Кто старое помянет, тому глаз вон!

— Да я так, к слову. Только счастье твое, что я в те поры сам-друг был, а то бы я тебя изуродовал...— И, подав Флегонту Гаврилычу иголку, он добавил: — На-ка! Нашел...

— Далеко ходил? — спросил Флегонт Гаврилыч, прочищая перепелиную дудку.

— Да так, к ольхам прошел. Устал, смерть. Хочу домой в Саратов ехать.

— Соловушки-то есть?

— Есть, да плохи: трещат, подлецы!..

Флегонт Гаврилыч ударил в дудку и, передавая ее молодому человеку, проговорил:

— На, бери... теперь не хрипит.

Молодой человек поблагодарил Флегонта Гаврилыча, а немного погодя встал, распростился и, объявив, что сейчас едет домой в Саратов, скрылся за кустами.

— Это кто такой? — спросил я.

— А тот самый портняжка, которого я в прошлом году побил. Так, сволочь, шушера. Однако сидеть-то нечего, довольно отдохнули... пойдемте-ка дальше. Портняжка и говорит, положим, что ни одного путного соловья не слыхал, да ведь ему верить-то тоже с опаской надо. Как раз обманет, подлец.

— А это разве случается у вас?

— Обманы-то?

— Да.

— Еще бы! Мы друг другу ни за что правды не скажем.

Мы встали.

— Папиросочки не одолжите-с?

— С удовольствием.

Я подал Флегонту Гаврилычу портсигар, из которого он и вынул штук пять папирос и, положив их в свой собственный, который, по словам его, он забыл дома, предложил идти дальше.

Не было, кажется, ни одного куста, ни одного дерева, ни одного кобла, из которого не вылетали бы соловьиные трели. Словно весь лес обратился в звуки и звучал каждой веткой, каждым листком. Мне никогда не удавалось слышать такого изобилия соловьев. Я слушал и восхищался, тогда как Флегонт Гаврилыч, наоборот, шел и ругался: «Ишь трещит, подлец! Хоть бы один путный попался. Ну, чего трещишь-то! Чего трещишь!..»

Мы вышли на полянку, окруженную лесом, и вдруг увидали прогуливавшуюся парочку; молодого человека в шелковом летнем костюме и в соломенной шляпе и молодую же дамочку в малороссийском наряде, со множеством бус на шее и с изящно повязанным платочком на голове. Они шли, чуть не обнявшись. Молодой человек что-то нашептывал своей даме, а дама слушала его, опустя голову. Мы шли сзади и потому долго оставались незамеченными.

— Ишь как рассыпается, подлец! — шепнул Флегонт Гаврилыч, подмигнув глазом.— Поди, тоже про любовь объясняет...

Мне сделалось неловко, и, чтобы дать знать им о присутствии посторонних, я громко кашлянул. Дама вздрогнула, отскочила в сторону; молодой человек оглянулся и, увидав нас, быстро выхватил из-под мышки книгу и громко прочел:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья...

— Соловьятники тоже! — сострил Флегонт Гаврилыч, толкнув меня локтем.

Мы обогнали гулявших и вскоре скрылись от них за кустами черемухи. Но я шел и мысленно доканчивал начатое молодым человеком стихотворение:

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!..[5]

Вдруг Флегонт Гаврилыч подпрыгнул, вздрогнул, остановился, махнул мне рукой и, упав на землю, словно замер. Глядя на него, прилег и я. Перед нами возвышалась группа ольховых деревьев с серыми, грязными стволами, с кочкарником и высокой прошлогодней осокой, а из ольх разлетались во все стороны роскошные, могучие трели соловья. Здесь пел только один соловей; здесь, кроме него, не было ни единой птицы; но, прислушиваясь к соловью этому, я понял, чего именно добивается Флегонт Гаврилыч. Я не мог отличить ни «юлиной стукотни» ни «кукушкина перелета», но понимал, что соловей этот не похож на тех, которых слышал я прежде. Старик даже шапку снял и так без шапки пролежал все время.

— Слышали-с? — спросил он наконец, вставая и подойдя ко мне.

— Слышал.

— Вот этот — настоящий-с!

IV

Совершенно уже стемнело, когда возвратились мы к землянке рыбака. Первое, что бросилось мне в глаза,— это небольшой стол, вокруг которого сидела компания, состоявшая из трех лиц, а именно: лысого господина, довольно тучного, одетого в парусинное пальто, и знакомых нам молодого человека в соломенной шляпе и молодой женщины в малороссийском костюме. На столике, освещенном грязной керосиновой лампой, стоял самовар, и вся компания пила чай.

— Хорошо, чудесно, превосходно! — кричал лысый толстяк, размахивая руками.— Что за ночь! что за воздух! что за ароматы! Что может сравниться с этой ночью? В каком клубе будет так вкусен чай? Только здесь и можно дышать! Только здесь и чувствуешь, что живешь... А соловьи-то! Ну, жена! — прибавил он, обращаясь к интересной малороссиянке.— Спасибо, что подняла меня, что вытащила меня сюда... Сам я никогда бы не собрался! Спасибо и тебе, племянничек, что поехал с нами... Ну, что, нагулялись ли?

— Отлично! — проговорил молодой человек.

— А я все сидел и удил рыбу. Однако вы долгонько-таки гуляли.

— Мы заплутались! — заметила молодая дамочка.— Зашли бог знает как далеко. Ну, что, господа, будете еще пить чай?

— Нет, спасибо, я сытехонек.

— А вы, Валериан Иваныч?

— Merci, ma tante*, я больше не стану.

— Пей еще! — вскрикнул толстяк.

— Не хочу, дядюшка, благодарю. Больше двух стаканов я никогда не пью.

— Ну, как хочешь; после не пеняй!

И потом, вскочив со стула, он вдруг заговорил, размахивая руками:

— Ну-с, а теперь в лодку! В Покровское! Там поужинаем, переночуем, а завтра утром опять сюда! Я буду удить рыбу...

И потом, вдруг как будто вспомнив что-то, он поспешно проговорил, ударив себя по голове:

— Ах да! Ведь я и забыл сообщить вам, что осетры утащили у меня удочки...

— Как это? — вскрикнули почти одновременно и тетушка и племянник.

— После, после, расскажу доро́гой, а теперь в лодку!.. Эй вы, гондольеры, гребцы! Где вы?

— Здесь! — послышались с берега голоса гребцов.

— Ну, идемте же! Я опять буду рулем править, а вы по-прежнему можете сидеть сложа ручки и любоваться луной. Ах, что за ночь! Как легко и просторно!.. Эй, гребцы, гондольеры, давай лодку!

И затем на берегу реки послышалось сопение, потом стук сапогов в лодке, всплеск воды и напоследок голос толстяка:

— Ну, уселся, слава богу... Ну, племянничек, сажай тетушку!

Все уселись, и толстяк запел:

Вниз по матушке по Волге...

— По широкому раздо-о-лью! — подхватили молодые люди.

---

* Спасибо, тетя *(франц.)*.

И лодка, всплескивая веслами, полетела по разливу.

Между тем Флегонт Гаврилыч, Василий и Ванятка успели развести костер, приладить котелок и купить рыбы. Рыбу, конечно, они купили на мой счет. В ожидании ухи я закурил сигару, разостлал ковер и прилег неподалеку от костра. Ночь была действительно чудная; ни малейшего ветра; воздух дышал ароматами и звучал таинственными звуками, присущими лесу и воде. То слышался какой-то грохот, то шелест, то вдруг все замирало, застывало, умолкало. Плеснет где-нибудь весло, зазвучит песня; набежит волна, загремит серебром, зажурчит и снова замрет; а там опять грохот, опять шелест. Небо, усеянное звездами, сыпало лучи фосфорического блеска. Плыла луна и, освещая окрестность, серебрила струйки воды. Словно блестящей чешуей покрывала она эту воду; а соловьи все не умолкали и по-прежнему стонали и рокотали в соседних кустах! Чудная, волшебная ночь! В землянке светился огонек. Там старуха убирала самовар и чашки. Кудластая собачонка вертелась возле стола, подбирала упавший хлеб, ворчала и огрызалась на другую желтенькую собачонку, стоявшую поодаль. Подобрав всё, что только можно было подобрать, и ни единой крошкой не поделившись с желтенькой, кудластая наконец облизалась, фыркнула и, как ни в чем не бывало, принялась заигрывать с желтенькой. «Собачья дружба!» — подумал я. Вдоль берега острова и на противоположном берегу горели костры, доносился говор, слышались песни. Изредка взлетали ракеты, огненным змеем поднимались кверху, лопались и рассыпались разноцветным дождем. Вспыхивали бенгальские огни и разливали вокруг себя то зеленый, то багровый, то белый свет. Лодки приплывали и отплывали. Все это были маленькие пикнички, маленькие кружки людей, приехавших на остров пожить, повеселиться. «Елизавета Яковлевна! Елизавета Яковлевна! — кричал кто-то.— Где вы? Идите сюда, давайте щекотать друг друга!» И вслед за тем — визг, хохот и крики...

Но все это нисколько не занимало моих соловьятников. Напротив, Флегонт Гаврилыч даже слегка обругал Елизавету Яковлевну, осудил, что люди даже «под воскресенье (дело было в субботу) не брезгуют такими делами», и, сурово нахмурив брови, стоял себе на коленях перед котелком, снимал накипавшую пену и изредка пробовал свою стряпню. Смотря по надобности, он подсыпал в уху то перцу, то соли, то бросал лавровый лист. Василий и Ванятка торчали на

корточках и, ломая набранные сучья, подбрасывали их под котелок. Огонек то замирал, то вспыхивал и, вспыхнув, охватывал черный котелок огненными языками. Освещенные огнем лица их ярко рисовались на темном фоне. Попахивало дымком и ухой.

Разговор у них, как и следовало ожидать, шел о том соловье, которого мы только что слышали в ольхах.

— Неужто лучше прошлогоднего? — любопытствовал Василий.

— Куда! Далеко не родня!

— Лучше?

— Аккуратнее. Тот все-таки торопился маленько: колена не окончит как следует и сейчас, бывало, за другое... а этот нет. Мы прямо за него и примемся.

— А мой совет — прежде Сухую гриву взять.

— Ну! Я знаю тебя! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Уж ты завсегда по-своему. А я говорю, в Ольхи.

— Да куда торопиться-то? Нешто он от нас уйдет? Небось, рук наших не минует. А я вам вот еще что скажу: рано-то вы его и не возьмете даже! Это верно-с!

— Почему так?

— А потому, что соловей по зорям «вершинит» завсегда. Взойдет солнышко, он на половине дерева поет, а как обогреет, как пойдет муравей и козявка, так он сейчас на землю падает, кормиться начинает. Вот тут и бери его.

— А как опередит кто?

— Кому же опередить! Сами же говорили, что, окромя портняжки, никого не встретили, да и тот, говорите, в Саратов уехал.

— Так-то так. Ну, а все-таки «заломов»* много видел.

— Заломы — наплевать. Заломы — дело поконченное. Нет, по-моему, так: завтра встанем и — господи благослови!— прямо на Гриву. Захватим там «утренничков», которые нам понравятся, да так этим самым трактом и к Ольхам. В Ольхи придем мы, значит, часам к пяти... самое время и будет...

— Ну, смотри, подлец! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Коли по твоей милости да прозеваем соловья этого, я тебе в те поры вихры-то выдеру.

---

*Когда куст осыпается сеткой, то ветви, более выдающиеся, заламывают, чтобы не мешали,— это и называется «заломами». *(Прим. И. А. Салова.)*

Василий снисходительно улыбнулся, а Ванятка залился хохотом.

— Подстричь, значит, хотите! — проговорил он.— Это не мешает, а то больно уж длинны стали.

И, помолчав немного, Флегонт Гаврилыч заговорил:

— А у Павла Осипыча соловей-ат наш околел. Самки, говорит, хватил, верно!..

— Ну, да, самки! — подхватил Василий.— Попал пальцем в небо. От мух он околел, а не оттого, что самки хватил. Яиц у них не было, они и насыпь в клетку мух сухих, да еще вдобавок воды забыли поставить. А то самки!

— Ну?

— Верно говорю, ведь я был, видел...— И потом, весело засмеявшись, Василий добавил, покачав кудрявою головой: — И потешные только!

— А что?

— Да как же! Захворал соловей, пришла барыня и давай его в воде да в водке купать. Купает, а сама плачет да приговаривает: «Что с тобой, соловушек? Что с тобой, голубчик мой, что сидишь не весел, что крылышки повесил?». Я говорю: «Запор с ним, сударыня, тараканами бы его живыми покормить, прочистило бы, может!..» Послали за тараканами, всех соседей обегали — нет нигде... Вот барыня и давай из него мух выдавливать. «Я, говорит, раз так-то одного спасла!» Давила-давила да до смерти и задавила...

— Чудаки! — подхватил Ванятка.

И хохот всех трех соловьятников огласил окрестность.

Мы поужинали. Я постлал себе ковер в лодке и улегся, но Флегонт Гаврилыч не скоро еще заснул. Увернувшись в свое пальто (теперь, по всей вероятности, он пожалел, что не взял присланной ему ваточной поддевки) и подложив под голову мешок с сетками, он долго еще толковал про соловья в Ольхах, пересыпая свою речь «пленьканьем, пульканьем, гусачком, стукотней, перелетом» и другими коленами соловьиного пения. Он рассказал даже про встреченную нами парочку, а шустрый Ванятка, все время находившийся при лодке,— про лысого господина, так восторженно восхищавшегося красотою ночи.

— Чего же он тут делал-то? — спросил Флегонт Гаврилыч.

— Все удил! — ответил Ванятка, заливаясь смехом.— Ох и чудак же только!..

— А что?

— Сел это удить... удочки щегольские, дорогие... сел, а рядом бутылку поставил.

— Ну?

— Ей-богу. Сидит да пьет прямо из горлышка. Выпил всю бутылку, захмелел, видно, и заснул. Я вижу, что спит барин, подкрался, собрал удочки, да там вон, в те кусты и припрятал.

— Ну?

— Проспал он этак с час, должно быть, потом проснулся и давай глаза протирать. Меня крикнул. «Ты, говорит, не видал моих удочек?» — «Нет, говорю».— «Что, говорит, за оказия! Куда ж они девались?» — «Не знаю, мол, тут, кажись, никого не было. Разве осетры, говорю, не утащили ли?» Мой барин даже глаза вытаращил. «Нешто, говорит, это бывает?» — «Даже, говорю, очень часто случается!» Потом слышу, рассказывает барин рыбаку: «Вообрази, говорит, любезный, какой случай! Осетры у меня удочки утащили!»

— А удочки-то хороши, говоришь? — спросил Василий.

— Первый сорт! Удилища камышовые, лаком покрыты, поплавки пестренькие...

Но Флегонт Гаврилыч остановил их и, прислушиваясь к соловью, певшему за землянкой, к тому самому, который семь лет кряду прилетает сюда, проговорил:

— Однако и у старика кукушкин-то перелет ловко выходит!

— Еще бы! — заметил Василий.

— Ишь как высвистывает, вишь как!.. А вот и застукал... Слышь, как выбивает?

«Тю, тю, тю, тю, тю, чау, чау, чау, чау!» — раздавалось в воздухе.

— Чаво, чаво! — передразнил его Ванятка.— Изловить тебя — вот ты узнáешь тогда, чаво нам надоть!..

Но в ушах у меня начинало путаться, веки закрывались. Где-то взвилась ракета, откуда-то доносилось хоровое пение. Какая-то компания подъехала на лодке: дамы, мужчины. Один из мужчин, высокий, плечистый, в черной шляпе с громадными крыльями, стоял на носу лодки и, подняв руку, приветствовал остров монологом из «Капитана Гаттераса»[6]. Мне послышался хохот, женские голоса. Флегонт Гаврилыч опять что-то проворчал о «кануне праздника, дня воскресного». Кто-то крикнул: «Самовар, молока!» — пахнуло сигарой, зашумели дамские платья. Но что именно происходило

около нас — я не сознавал. Какая-то истома овладела мною, зрачки словно дрожали. Я укрылся «одеяльцем» и, укачиваемый лодкой, вскоре заснул.

V

— Сударь, а сударь! Вставайте, пора! — говорил Флегонт Гаврилыч, нагнувшись надо мной, слегка толкая меня в плечо.— Пора, вставайте.

Я открыл глаза и увидал над собою голову Флегонта Гаврилыча, рисовавшуюся на сером фоне утреннего неба. Заря чуть занималась.

— Вставайте, сударь, пожалуйста, вставайте,— время упустим.

Я зажег спичку, посмотрел на часы,— было четверть третьего.

Как ни трудно было расставаться с нагретым ложем, однако делать было нечего. Я вскочил с постели, поспешно свернул ее, подошел к берегу, умылся, намочил голову и только тогда почувствовал, что я проснулся. Василий, Ванятка и даже сам Флегонт Гаврилыч были уже в полном вооружении. У каждого из них висели за спиной мешочки с сетками, а за поясом заткнуто по одной бичайке. Флегонта Гаврилыча нельзя было узнать. Проникнутый важностью наступающей минуты, он сделался суетливым и раздражительным. Он сердился на Ванятку, что тот ни свет ни заря грызет сухую воблу; на Василия — за его сонные глаза, даже на меня, находя, что я недостаточно скоро встаю и умываюсь.

Наконец все было готово. Флегонт Гаврилыч снял фуражку, перекрестился на восход и проговорил:

—Ну благослови, господи, в час добрый!

Василий и Ванятка сделали то же, а глядя на них и я. Мне очень хорошо известно, что, раз попавши в компанию каких бы то ни было охотников, необходимо проделывать все то, что проделывают они сами: иначе всякая неудача будет приписана вашему присутствию — и ничему другому. Справившись еще раз, все ли взято, Флегонт Гаврилыч во главе зашагал по направлению к Сухой гриве. Пройдя землянку, я увидал целую компанию мужчин и дам, спавших на разостланных коврах.

— Ведь мы всю ночь не спали! — проговорил Флегонт Гаврилыч.

— Почему?

— Да вот по милости этих! — вскрикнул он, указывая на спящих.— Неужто вы ничего не слыхали?

— Ничего.

— А ведь что проделывали-то! И пьянствовали, и кричали, и песни пели, и через костер прыгали, а под конец начали фейерверки пускать, как есть возле нас. Я кричу им: «Помилуйте, господа, тут люди спят, благородный человек имеется, что вы делаете, ведь вы спалите нас!..» А они только хохочут! Это под праздник-то! Как вам понравится! А теперь вон валяются!

Когда мы достигли Сухой гривы, начинало уже светать. Флегонт Гаврилыч с Ваняткой и Василием пошли выслушивать соловьев, а мне посоветовали остаться здесь и ожидать их возвращения. Я опустился на траву и прилег. Утро было прелестное, теплое, так что я, одетый в легонький пиджак, не чувствовал ни малейшей свежести. Вокруг меня задорились сочные ландыши, белые, словно восковые, колокольчики которых наполняли воздух запахом горького миндаля. Пахло еще тополем от распускавшихся почек осокори. Я сорвал одну почку, растер ее пальцами... от нее так и пахло душистым тополем. Молодая, зеленая трава, успевшие отцвесть подснежники и фиалки, словно ковром, укрывали рыхлую лесную почву. Маленькие муравьи суетливо кишели вокруг, перелезали через листочки, копошились, хлопотали, взбирались на меня и, взобравшись, словно удивлялись и не могли сообразить, куда они попали и что именно лежит под их крохотными ножками. Словно распростертый сказочный богатырь, был я между ними и наводил на них ужас. Как раз надо мною черемуха раскидывала свои ветки. Она вся была покрыта только что распустившимися листочками, не успевшими еще достигнуть нормальной величины. Прошло минут десять, как вдруг что-то хрустнуло, зашумело, послышался веселый говор, раздались чьи-то шаги, шелест платья. Я приподнял голову и опять увидал знакомую нам парочку, так удачно прозванную «соловьятниками». Лысого толстяка с ними не было. Они прошли мимо, не заметив меня, и вскоре скрылись из виду. «Скоро же возвратились они из Покровского!» — подумал я. Соловьи так и заливались надо мной. Один пел как раз на той черемухе, под которой я лежал. Я гля-

дел на соловья и убеждался, что, действительно, на заре они поют по вершинам, а по мере приближения солнечного восхода спускаются ниже и ниже. Мой соловей начал петь с макушки черемухи, а теперь спустился настолько низко, что я, кажется, мог бы достать его рукой. Но я лежал неподвижно и, притаив дыхание, слушал и восхищался.

— А ведь соловушек-то добрый! — послышался в кустах чей-то шепот.

— Добрый.

— Вишь как заливается!

— Давайте-ка его маленько потревожим.

— Не поймаешь, пожалуй, рано еще.

— Вона! Трое таких лодырей, да не поймают!..

Шепот замолк, послышался треск... соловей перепорхнул, исчез и замолк.

— Кто там? — спросил я.

Но треск раздался еще ближе, и вместо ответа я увидал перед собою Флегонта Гаврилыча, Василия и Ванятку.

— Пятерых выслушали и облюбовали-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч и, сняв фуражку, поправил височки.— Ничего и этот, что над вами пел! Торопится маленько, а все-таки ничего-с...

— Неужели вы будете ловить его?

— А как же-с! Если такими соловьями брезгать, так кусакать нечего будет-с,— сострил Флегонт Гаврилыч и остротой этой возбудил общий хохот.

— Ну, заржали,— вскрикнул он.— Что, аль хотите совсем напугать соловья-то?

Василий с Ваняткой развязали мешочки, вынули две сети, связанные из тонких суровых ниток, «осыпали» ими ту самую черемуху, под которой я лежал и на ветках которой только что распевал свободный певец лесов. Мне стало как-то жутко, как-то жаль певца. С какою-то злобой смотрел я на эти сети, висевшие на черемухе, и молил судьбу о спасении соловья.

— Этот шиповник проклятый! — бормотал между тем Василий, развешивая сеть и пролезая через кусты шиповника.— Они, сволочь, хуже всего.

— Ну, ну, скорей, скорей! — торопил их Флегонт Гаврилыч.

Умолкнувший было соловей снова «защелкал, засвистал» [7] на возвышавшейся неподалеку березке, и чувствовалось мне, что песнь эта была последней его свободной песнью.

Сеть была развешана.

— Ну,— проговорил Флегонт Гаврилыч шепотом,— ты, Ванятка, стой здесь возле сети и посвистывай, а мы с тобой, Василий, загонять пойдем.

— Куда же мне-то деваться? — спросил я.

— А вы пожалуйте вот сюда, за этот куст спрячьтесь... Вам будет все видно-с... И сеть, и соловья, и как он побежит-с... Ну, идем, Вася!

Я стал на указанное место и — странное дело — был сам не свой. Сердце сжималось, дрожь пробегала по телу. Мне было нехорошо, жутко, тяжело... Раздался чуть слышный свист Ванятки. «Сю-сю, сю-сю, сю-сю!» — свистал он, подражая самке; раздался легкий треск под ногами загонщиков; соловей замолк, и тишина водворилась кругом, да такая тишина, как будто все замерло и притаилось. Я слышал, как стучало мое сердце, как дрожал надо мною прошлогодний сухой лист на ветке дуба. Я притаил дыхание... «Сю-сю! Сю-сю! — подсвистывал Ванятка.— Сю-сю, сю-сю!» Вдруг что-то порхнуло... я оглянулся и увидал знакомого мне соловья. Он сел на верхушку молодого клена.

— Вершинит! — раздался где-то чуть слышно шепот Василия.

— Спусти его, брось палочкой! — шепнул где-то Флегонт Гаврилыч.

Палочка взлетела, упала над соловьем, и соловей спустился вниз.

— Сю-сю! сю-сю! — продолжал Ванятка.

Заслышав этот свист, соловей мгновенно упал на землю и, словно мышонок, побежал по направлению к нему.

— Тут! — загремел Ванятка.

И вдруг — откуда взялись соловьятники. Все трое бросились они в черемуху, и целых шесть рук протянулось к трепетавшему в сетях соловью.

— Где бичайка, где? — кричал Флегонт Гаврилыч.

— Здесь, здесь.

— Надо заметить! Соловей важный... вишь, какой плечистый.

— Известно, заметить!

И, проговорив это, Флегонт Гаврилыч распустил соловью правое крылышко и задрал крайнее перо. Немного погодя несчастный соловей бился уже в бичайке, приподнимая собою ее холстинный колпачок.

Флегонт Гаврилыч был в восторге; в не менее восторженном состоянии находились и Ванятка с Василием. Снимая сеть, они громко острили и раз по пяти рассказали друг другу подробности этой ловли. Флегонт Гаврилыч выпросил у меня папиросу, зажег дрожавшими от волнения руками спичку и, закурив, крикнул:

— Ну, ну, скорей, скорей, ребята! Добрый час на худой не меняют! Нам еще много дела-то. Здесь, на Гриве, надо пятерых взять... да ентого, что в Ольхах заливается! Шутка, сколько дела-то. Не опоздать бы.

— Небось, не опоздаем! — отозвался Василий, свертывая сеть.

— А все-таки мешкать нечего. Уж больно мне того-то хочется заполучить... Соловей-то горласт... Ну, все готово?

— Готово.

— Ну, господи, благослови; идем.

И мы пошли дальше.

Часа два пробыли мы на Сухой гриве, и все пять соловьев, выслушанные и одобренные Флегонтом Гаврилычем, были пойманы точно таким же способом, как был пойман и первый. Только последний долго не давался — вершинил и всякий раз перелетывал выше сети. Флегонт Гаврилыч выходил из себя. Он осыпал соловья бранью; называл его подлецом, окаянным, лешим, и, как ни уговаривали его Василий с Ваняткой бросить этого соловья «к черту» и идти в Ольхи за «горластым», Флегонт Гаврилыч и слушать не хотел. «Не расстанусь! — кричал он.— Умру, подохну, а не расстанусь!» Сети переносились с одного кобла на другой, а соловей продолжал вершинить и не давался в руки. Флегонт Гаврилыч разгневался еще пуще. Он раз пять облаял Василия, не умевшего будто спустить соловья на землю; чуть не оттаскал за волосы Ванятку, свиставшего будто бы не соловьихой, а сорокой; садился сам с дудочкой, и все-таки дело не ладилось. Наконец, все вышли из терпения и,обругав коллективно соловья, решились бросить его или, как выразился Василий, «наплевать на подлеца» и идти в Ольхи. Стали снимать сеть, как вдруг случилось нечто совершенно неожиданное: откуда-то взялась самка, полетела по низам, за ней, как сумасшедший, бросился соловей, и не прошло минуты, как и самец и самка на наших глазах случайно попали в сеть. Восторг был общий.

— Это он с женой расставаться не хотел! — сострил Василий.

— Вишь, сластник какой!

Мы присели отдохнуть, а немного погодя отправились к Ольхам, к тому «горластому» соловью, пением которого восхищались вчера вечером. Перейдя небольшой овражек, поросший орешником, обогнув довольно большое озеро, на котором плавали стаи диких уток, и затем поравнявшись с куртиной нескольких черемух, мы вдруг услышали какой-то шепот. Флегонт Гаврилыч раздвинул кусты и в ту же минуту, словно чем-то уколотый, отскочил назад.

— Что вы? — спросил я.

Но он только махнул рукой и пошел дальше.

— Да что такое?

— На этот Зеленый остров хошь не езди!..

— Что, аль медведя увидал? — сострил опять Василий.

Ванятка захохотал, что было мочи.

Но Флегонт Гаврилыч продолжал себе шагать, и, только тогда, когда мы отошли от кустов черемухи на довольно значительное расстояние, он взял меня за руку, отвел в сторонку и шепнул на ухо:

— Опять соловьятники вчерашние!

VI

Мы подошли к Ольхам, и все четверо остановились, словно очарованные, заслышав соловья. Он пел совершенно один, словно никто не дерзал залететь в эти Ольхи помериться с ним искусством и музыкой. Кругом расстилались обширные луга, пестревшие тысячами цветов, и, возвышаясь среди этих лугов, ольхи представляли собой какой-то круглый оазис, с опушкой, поросшей тальником и вербой. Из этого-то оазиса, из этой-то живой зеленеющей клетки разносились во все стороны соловьиные звуки и на далекое пространство оглашали окрестность. Мы не дошли до опушки, как остановились. Флегонт Гаврилыч слушал, восторженно подняв голову; Василий, наоборот, задумчиво склонил ее на грудь. Ванятка сидел на корточках и весь превратился в слух. Далеко по лугам и лесам разносился могучий голос маленького певца, и не скоро бы, кажется, вышли мы из этого восторженного оцепенения, если бы корыстные инстинкты не пробудились в душе Флегонта Гаврилыча.

— Пятисот рублей не возьму! — вскрикнул он.— Не жрамши, не пимши пробуду, а меньше пятисот не отдам.

— Такого соловья и ловить-то грех,— проговорил задумчиво Ванятка.— Пущай себе поет здесь, а ты приходи да слушай!.. В клетке так петь не будет!.. Какая там жизнь, в клетке! А здесь смотри-ка: солнышко выходит, небо голубое... листочки, цветы, травка... Коли любишь соловьев — ну, вот и слушай... Здесь привольно! Пропел на одном деревце, лети на другое... А ты себе сиди и радуйся... Какое ж там пение в неволе. В неволе плакать хочется, а не петь...

И, внимая словам этого сидевшего на корточках Ванятки, этого смуглого, кудрявого мечтателя, с фуражкой на затылке и с глазами, полными какой-то грусти, все словно призадумались; даже я и то невольно предался мечтам и, мечтая, вспомнил почему-то легенду о констанцском соборе:

Он запел, и каждый вспомнил
Соловья такого ж точно,
Кто в Неаполе, кто в Праге,
Кто над Рейном в час урочный,
Кто таинственную маску,
Блеск луны и блеск залива,
Кто — трактиров швабских Гебу —
Разливательницу пива;
Словом — всем пришли на память
Золотые сердца годы,
Золотые грезы счастья,
Золотые дни свободы...[8]

Но Флегонт Гаврилыч опомнился и сразу разрушил наше поэтическое очарование.

— Паршивец ты, и больше ничего! — крикнул он Ванятке.— Что ж, по-твоему, другим отдавать его?

— И другим ловить не следует! — отозвался мальчуган.

— Так, значит, синиц одних ловить? Эх ты, сволочь, право, сволочь бесчувственная!

И он тут же отдал приказание вынимать сетки и приступать к ловле.

Но на этот раз дело кончилось большущим скандалом. Только что вошли мы в Ольхи, как вдруг загремел чей-то грубый голос:

— Куда, куда! Ноги переломаю... ворочай оглобли! Уж я под ним третьи сутки сижу!

Мы оглянулись и увидали вчерашнего «портняжку», а с ним и еще двоих мастеровых.

Флегонт Гаврилыч даже привскочил, словно какая-то невидимая пружина поддала ему под ноги и подбросила кверху. Василий и Ванятка замерли на месте.

— Прочь! — закричал Флегонт Гаврилыч.

— Сам ступай, пока зубы целы.

— Прочь, говорят!

— Вот чего не хочешь ли?

И, помусолив большой палец правой руки, портной показал кукиш.

Дело становилось серьезным. Я взглянул на Ванятку и удивился. Черные, как смоль, глаза его горели зловещим огнем, ноздри раздувались, фуражка сползла совершенно назад, кулаки судорожно сжимались. Казалось, он ждал только приказания, чтобы броситься на портняжку и загрызть его зубами. Василий был бледен, как полотно; добродушное открытое лицо его, опушенное маленькою бородкой, словно исказилось, зубы скрипели, губы совершенно посинели. Испитое, зеленое лицо портного, наоборот, как бы смеялось, и вся фигура его изображала самонадеянность и нахальство. Он словно потешался над ними, словно хвастал, что перехитрил старого соловьятника, одурачил его, обошел и ловко воспользовался его оплошностью. Он стоял фертом, подбоченясь; его пиджак был расстегнут, красная рубашка была навыпуск, картуз надет набекрень. Рядом с ним стояли и его мастеровые, небритые, суровые, в нанковых халатах, придававших им вид арестантов, бежавших из тюрьмы.

— Так ты так-то? — кричал Флегонт Гаврилыч.

— Этак-то!

— Так-то?

— Этак-то!

— Обманывать?.. Так нет же!

И, в один прыжок подскочив к портному, Флегонт Гаврилыч, как кошка, вцепился ему в горло. Этого было достаточно. Обе стороны побросали свои бичайки, сетки и, оглашая Ольху неистовою бранью, ринулись в борьбу. Я стоял и глазам не верил. Кулачные удары и оплеухи так и сыпались, далеко раздаваясь по лесу. Ванятка, как зверь, налетал на своего противника и, ловко увертываясь из-под его кулаков, успел уже раз десять дать ему в зубы. Василий колотил наотмашь, куда попало, словно косил, и с мужеством выдерживал наносимые ему удары. Флегонт Гаврилыч сцепился с портным, который сразу же сшиб с него фуражку и оторвал ворот от

знаменитого коричневого пальто. Тщательно причесанные височки его теперь трепались по воздуху и представляли собою крайне безобразный вид. Он кричал, грозил, но перевес, видимо, был на стороне портного. Не прошло и пяти минут, как портной одним размахом кулака сшиб старика с ног, сел на него верхом и, вцепившись одной рукой в волосы, принялся другой осыпать его ударами.

— Караул! караул! — кричал Флегонт Гаврилыч.— Василий! Ванятка! Сюда, ко мне, выручай!

Но так как и Ванятка и Василий были заняты своим делом, то старик и обратился ко мне:

— Сударь! Что же вы стоите? — кричал он.— Нешто так делают благородные люди?.. Своих бьют, а вы себе стоите сложа руки... Караул!.. Берите подлеца за вихры, стащите его с меня... Что же это вы в самом деле!

Хотя долг чести, конечно, обязывал меня немедленно же вступиться за своих, обязывал вцепиться в волосы портняжки, постараться вышибить ему несколько зубов и даже поломать несколько ребер, но чувство самосохранения, а главное, отсутствие храбрости заставили меня поступить совершенно иначе. Я оставил «своих» и постыдно бежал с поля сражения.

VII

Только вернувшись к землянке, я опомнился от овладевшего мною ужаса. Лысый господин был за столом и пил чай.

— Не видали моих? — спросил он меня.

— Кого это?

— Жену и племянника или, лучше сказать, даму в малороссийском костюме и молодого человека в соломенной шляпе?

— Не видал,— соврал я.

— Черт знает, куда запропали! Другой день все ландыши рвут!..— И потом, переменив тон, прибавил: — А мы всю ночь не спали. Ездили ночью в Покровское, поужинали там, хотели было переночевать, да уж больно грязно, гадко. Взяли да опять сюда и отправились. Вы ведь тоже вчера, кажется, приехали?

— Да, вчера.

— Я вас видел... Тоже за ландышами?

— Нет, я с соловьятниками.

— А! С соловьятниками! Отлично, отлично! Когда-то, в молодости, и я тоже соловьев ловил, а теперь не могу. Ожирение печени, катар желудка, одышка... сам не могу даже чулка на ногу надеть. Как только нагнусь, так и рвота. Теперь я все рыбу ужу... Оно, знаете ли, покойнее; сядешь на бережок, свесишь ноги... Отлично! Я было с удочками приехал сюда, да вчера вздремнул, а осетры подошли и утащили... Так я теперь и сижу, словно офицер без шпаги.

Я слушал лысого болтуна, а сам со страхом посматривал все в ту сторону, откуда должны были показаться брошенные мною товарищи. Наконец они показались. Все они шли рядом и молчали. У Флегонта Гаврилыча синели два «фонаря» под глазами и мотался по воздуху оторванный ворот пальто. У Василия была в крови вся нижняя часть лица; и только уцелел Ванятка, поплатившийся одним картузом. Василий и Ванятка повернули к лодке, а Флегонт Гаврилыч подошел ко мне.

— Пожалуйте-с,— проговорил он сухо и всячески стараясь прикрыть руками оторванный ворот.— Теперь можно и по домам-с.

Я встал.

— Что, моих — даму в малороссийском костюме и кавалера в соломенной шляпе не встречали? — спросил лысый господин, обращаясь к Флегонту Гаврилычу.

— Идут, недалечко-с.

— И отлично! Ну, что, как, удачно охотились?

— Слава богу-с!

— Каких больше соловьев, старых или новых песен?

— Есть и новенькие-с.

Кавалер и дама показались.

— А! Вот и мои возвращаются! — вскрикнул лысый господин.

Мы распростились, сели в лодку и поплыли в Саратов.

Мы ехали молча и не сказав ни слова друг другу; мне было положительно неловко. Только уж под Саратовом Василий, глядя на удочки, лежавшие на дне лодки и кое-как прикрытые моим «ковриком и одеяльцем», спросил Ванятку:

— А ты-таки упер?

— Еще бы! Приеду и продам. Они, поди, недешево сто́ят!..

Выйдя на берег, Флегонт Гаврилыч первым делом снял фуражку и, вынув из кармана панталон складной с зеркальцем гребешочек, стал расчесывать свои виски. Он отошел для этого к сторонке, но как старик ни таился, а пучок седых во-

лос, снятый им с гребенки и поспешно брошенный на землю, не ускользнул от моего взгляда. Мне стало жаль старика. А тут еще подошла к нему жена (та самая «непонятливая», которая даже птиц не умела различать) и, увидав мотавшийся ворот пальто, закричала во все горло:

— Это еще что?!

— Зацепил, оборвал... ничего, ничего! — бормотал пере конфузившийся Флегонт Гаврилыч и побледнел как полотно.

— По-твоему, все ничего, а по-моему, так «чего»! — кричала расходившаяся баба, чуть не с кулаками налетая на Флегонта Гаврилыча.— А где поддевка, которую я тебе велела надеть... Где поддевка?.. Говори!..

— Она там, в трактире. Неловко было надеть... с нами барин, благородный человек, ездил... Ну полно, перестань нехорошо!

Я поспешил к Флегонту Гаврилычу!

— Ну-с, благодарю вас! — проговорил я, протягивая ему руку.

— Не за что-с.— И потом вдруг, подведя меня к жене, прибавил: — Позвольте представить-с: вторая супруга моя, Капитолина Петровна.

Но Капитолина Петровна, не подарив меня даже взглядом, так накинулась на несчастного Флегонта Гаврилыча за его непослушание, что я поспешил оставить их, позвал извозчика и поехал домой.

На другой день я узнал, что соловей, певший в Ольхах, не достался никому. Утром его поймать не могли, потому что он был слишком напуган, а вечером Ванятка предупредил портняжку и, забравшись в Ольхи, убил соловья ружейным выстрелом.

Николай Суетной

История одного крестьянина

(Посвящается В. С. Копцевой)

Как молод был, ждал лучшего,
Да вечно так случалося,
Что лучшее кончалося
Ничем или бедой[1].

Некрасов

I

Николай Суетной был крестьянин села Дергачей. Познакомился я с ним при следующих обстоятельствах.

Был апрель месяц. Удил я рыбу на реке Дергачевке. Судя по тому, что из села Дергачей долетал до меня жиденький звон церковного колокола, призывавшего православных к обедне, я догадывался, что было не более семи часов утра. «Становище» мое находилось как раз под тенью раскидистой ветлы, только что успевшей одеться молодой свежей зеленью. Направо и налево возвышались кусты тальника, а как раз передо мной река круто поворачивала налево и, пройдя сажен пятьдесят, раздваивалась на два русла, образуя небольшой островок, тоже поросший тальником и ветлами. Утро было превосходное, ароматичное, как бы дышавшее запахом ландышей и фиалок. Ветра ни малейшего, вследствие чего река стояла неподвижно, точно зеркало, отражая в себе и светло-голубое небо с едва заметными облачками, и все окружавшее ее. Воздух наполнялся криком всевозможной дичи: кричали коростели, чибисы, утки. Чаще всего слышалось хрюканье диких селезней, тщетно призывавших к себе успевших уже поняться[2] и засесть на гнезда подруг своих. Селезни метались как угорелые, со свистом носились взад и вперед над озерами, болотами и тальниками и, подняв с гнезда какуюлибо неосторожную утку, друг перед другом старались сбить ее на землю или на воду. Утка орала, увертывалась, то спускалась до земли, то взвивалась под облака, но редко отделывалась от докучливых ловеласов.

Рыба клевала плохо. На маленькие удочки попадалась еще мелкая рыбка, на большие же ничего. Расставленные жерлики[3] тоже стояли неподвижно, словно околдованные.

Я собирался идти домой, как вдруг на островке послышался треск сухих сучьев, и из-за кустов тальника словно выпрыгнул какой-то тщедушный мужичок в коротеньком полушубчике, в картузе с разодранным козырьком, с засученными выше колен портками и с рыженькой козлиной бородкой. Суетливо подбежал он к самому краю берега и еще суетливее принялся рассматривать расставленные в нескольких местах жерлики. Жерлик, которых я прежде даже не замечал, оказалось штук десять. Мужичок был много счастливее меня. На двух жерликах сидело по соменку, фунтов по шести, а на одной — большущая щука. Сунув добычу в мешок и снова расставив жерлики, мужичок юркнул в кусты, пошумел в них, прошлепал по грязи босыми ногами, прикашлянул, прокричал кому-то: «Есть, Нифатка, есть!» — а немного погодя, вместе с каким-то мальчуганом, выплывал уже из-за острова, стоя на крохотном челноке, вертевшемся под ним, как скорлупа ореха, и направился в мою сторону. Солнце ударяло ему прямо в глаза, и потому он долго не замечал меня, но, как только заметил, поспешно снял картуз, бросил его на дно челнока, засуетился, чуть не опрокинулся в воду, круто повернул налево и поплыл к берегу.

— Ничего, ничего! — крикнул я,— плыви знай, ты мне не мешаешь!

Но мужичок подчалил уже к берегу, крикнул мальчугану: «Нифатка, вылезай!» — выпрыгнул и сам из челнока и, вытащив его до половины на берег, принялся выкидывать на землю какие-то мешочки.

Утомленный продолжительным одиночеством, я был рад этой встрече и подошел к рыбаку. Оказалось, что рыбы наловил он немало: у него был мешочек с окуньками, два соменка, о которых я говорил выше, щука, порядочный судачок и затем сом, пуда полтора весом.

Этот-то счастливец и был Николай Суетной, а сопровождавший его мальчуган — сын его Нифатка.

На охоте знакомишься и сближаешься с людьми всего скорее. Вот почему и на этот раз мы тотчас же сошлись с Суетным и вскоре беседовали с ним так дружелюбно, как будто и невесть с которых пор были знакомы. Сначала он, правда, как будто побаивался меня, как будто опасался даже за не-

прикосновенность своих мешков, прикрывал их сухой кугой[4], раза два-три пытливо окидывал меня с головы до ног, но вскоре все опасения его исчезли, и он начал даже иногда говорить мне «ты». Он перестал дичиться, отрекомендовал мне своего сына, причем потрепал его по плечу, а когда пришли мы с ним на мое «становище» и когда увидал он мои складные удилища, складной стул и жерлики с колокольчиками, то даже не замедлил поднять меня на смех.

— Вишь, пономарь какой! — говорил он.— Колоколами обвешался!

Немного погодя он вынул из кармана кисет с табаком, трубочку и, набив ее, принялся высекать огонь.

— Я этих спичек смерть как не люблю,— говорил он, ущемив зубами коротенький чубучок,— в избе точно способно, а на ветру хуже нет их! — И, пахнув на меня махоркой, спросил: — Вы как... из благородного сословия будете?

— А тебе это непременно знать хочется?

— Известно. Прежде, бывало, по немецкому платью, по кондырьку (Николай козырек называл «кондырьком») узнавали... коли картуз с кондырьком, ну, и благородный, значит, а теперь этих самых кондырьков до пропасти пошло... у меня вон и то есть... А вы откудова?

Я сказал.

— Так это, выходит, твой хутор-то на горе, возле леса?

— Мой.

— И мельница твоя?

— И мельница моя.

— Купили, что ли?

— Нет, от дяди, по наследству досталось.

— Вот я и узнал теперь, кто ты такой! — вскрикнул вдруг Николай.— Я и дядюшку-то твоего знавал, как не знать! — И, помотав головой, прибавил: — Ух, и сердитый только генерал был!

— Сердитый?

— И! не дай-то господи! Уж больно, бывало, молокан[5] крестить любил!

— Как это?

— Крепостные были еще в те поры... Разденет их, бывало, донага, загонит в реку, как есть табуном целым, понавешает на них крестов медных и марш в церковь! — «Ну, говорит, молись теперь за мое здоровье!»

— И молились?!

— А то нешто! ведь он тут же, поди, с арапником стоит! — И потом, вдруг повернувшись ко мне, спросил: — Ты зачем же сюда пришел-то? У тебя там тоже река рыбная... Места за первый сорт, лучше наших еще... Особливо во Львове... судак из Хопра заходит, сазан... Опять эти бирючки... на что лучше!

— Там надоело.

— Это точно! — подхватил Суетной,— я тоже смерть не люблю по одним местам ходить. Шататься-то охотник я тоже! Теперь мне слободно! Отсеялся — ходи сколько хочешь.

— А ты и посевами занимаешься?

— Да, то! Нашему брату тоже сложа руки сидеть не приходится. Я до всего охотник: и до посевов, и до пчел, и до рыбы. С ружьем тоже хожу, птицу, зверей бью. Я вот и Нифатку своего ко всему приучаю, чтобы, значит, все разуметь мог, на все руки чтобы! Вишь как раков-то потаскивает! — прибавил он, указывая на мальчугана, ползавшего тем временем вдоль берега и вытаскивавшего голыми руками раков из нор.

— Эй, Нифатка! — крикнул он.— Что, много натаскал?

— С решето будет! — отозвался Нифат.

— Крупные?

— Есть и крупные.

— Катай больше! Жигулевскому барину снесем тогда. Он купит.— И, кивнув головой на одну из жерлик, спросил: — Какая, донная, что ли?

— Донная.

— Ну, вот и не так! — чуть не вскрикнул Суетной.— В здешних местах донные не годятся, потому у нас дно коряжистое, зацепистое... Здесь надо так жерлику ставить, чтобы живец не глубже как на полтора аршина ходил. Ну-ка, посмотрю-ка я, как вы живцов-то насаживаете... Можно?

— Конечно, можно.

Он вытащил одну жерлику с живцом, успевшим уже заснуть, и покачал головой.

— Не так? — спросил я.

— Эх, голубушка горькая! — вздохнул он.— Нешто так можно!

— Как же, по-твоему?

— Надо, чтобы живец не мертвый, а веселый был. Кто же так насаживает! Задул крючок в спину и думает, что рыба жить будет. Ах, братец, нешто так можно! Нет, я вот как делаю: я живца-то привязываю к крючку.

— Как это?

— А вот как: крючок я прикладываю сбоку живца, острием наперед, беру иглу с ниткой, сначала привяжу крючок за ноздрю живцу, а потом легонько прокалываю кожицу возле спинного поплавка и опять там привяжу. Вот у меня-то живец и ходит весело. А так нешто можно? — И потом, обратясь к сыну, прокричал: — Эй, Нифатка, подь-ка сюда! Подь-ка скорей!

Нифатка подбежал.

— Смотри, как барин живцов насаживает!

Нифат даже руками всплеснул, и оба они принялись хохотать.

— Ну, а с ружьем-то ты часто ходишь? — спросил я Суетного, когда тот, вдоволь нахохотавшись и снова послав Нифатку ловить раков, закинул мою жерлику.

— Как свободное время выдастся, так и марш. Я люблю так стрелять, чтобы сразу штук пять-шесть положить. Времена-то ноне больно тяжелые подошли, тоже ведь пить-есть хочется... где-нибудь доставать надоть... Однех податей чертову прорву платишь. Сидим мы на малом наделе, землю нанимать приходится, покосы тоже, расходы под скотину опять-таки даром не дают. Земли дорогие стали... Под рожь-то пятнадцать рубликов подай за десятинку... зевать-то и некогда... Вот завтра с круговой уткой селезней колотить закачусь... Охота важная!

— Далеко пойдешь?

— На Микишкино болото. Царское место! Я уже себе и шалаш пристроил.

— Да ведь теперь нельзя стрелять-то, запрещено!

— Селезней-то? — удивился Суетной.

— Все одно, и селезней нельзя.

— Ого! Кто это тебе наврал?

— Закон не позволяет.

— На селезней законов нет. Селезень теперь не нужен, потому свое дело он покончил. Самки понялись, на гнездах сидят... Теперь селезень только помеха одна. Их, подлецов, колотить надо... вот что! Вечером опять сюда приду, осмотрю жерлики, перемёт поставлю, а ночевать в шалаш.

— А болото далеко отсюда?

— Микишкино-то?

— Да.

— Да вот тут же, за островком. Вот увидишь, сколько я этих самых селезней наколочу!

— Что же ты с ними делать будешь?

— Как что? Известно, продам. Я новую избу ставить собираюсь, так деньги мне нужны. Жигулевский барин все у меня купит с превеликим удовольствием. Я и рыбу сегодняшнюю ему же снесу...

— Да что же это такое! — невольно удивился я.— И раков ему продать собираешься, и рыбу, и селезней будущих...

— Все купит! ему только подавай! жрать любит до смерти! Вчера ко мне нарочно присылал, дичи, говорит, подавай! Да неужто ты его не знаешь?

— Не знаю.

— Жйгулевского-то барина?

— Ну, да, жигулевского барина.

— Не знаешь?

— Не знаю.

— Да его любой мальчишка знает. Эй, Нифатка, Нифатка! Слышь-ка! жигулевского-то барина не знают! Как это! Все в тарантасе ездит, с бляхами, с бубенцами, с колокольчиками. Куда ни поезжай, везде встретишь. Шум от него по всему околотку идет. Шумит, кричит...

— А мне с тобой можно? — спросил я.

— Чего?

— Посмотреть, как ты будешь перемёты ставить да селезней колотить.

— Да ведь ты говоришь: запрет наложен.

— Сердце не камень. Уж ты очень хорошо рассказываешь.

Николай даже расхохотался.

— Вишь какой! Охотник, значит, по всей форме.

— Можно, что ли?

— Известно, можно, приходи.

— Ну, вот спасибо. А круговая утка-то на мою долю будет?

— А ты нешто тоже стрелять будешь?

— Еще бы!

— Так это надо еще другой шалаш делать...

— Пожалуйста.

— Ладно. А уток у меня целая тройка, смоленские, настоящие круговые. Летось у одного барина утятами выпросил. Всю зиму с ними возился, а теперь они у меня недели

две уж в темноте в кошёлке сидят. Орут так жадно, что спать не дают. Поди ж ты! тварь, а все-таки понимает. Так и надсаживаются. Ох и важная только охота будет! Селезень-то теперь голодный, дурь-то эта в нем не прошла еще, куда хочешь полезет... Да вы охотились когда с уткой-то?

— Нет.

— Так вот посмотрите.

— Да ты что же это,— перебил я Николая: — то «вы» мне говоришь, то «ты»... говори мне «ты» завсегда.

— Погоди, не осмелился еще. Тоже ведь как кто любит... Попробуй-ка вон жигулевского барина тыкнуть, так он так тебя тыкнет, что ног не унесешь.— И потом вдруг спросил серьезно: — А собака-то есть у тебя?

— Есть.

— Ты не вздумай взять ее.

— Как же без собаки?

— Ни, ни, ни, не моги. Собака только помеха одна! выть зачнет. То ли собаку, то ли ружье держать, из шалаша выскочит, все болота распужает.

— Кто же дичь-то из озера доставать будет?

— Да нешто это озеро? — вскрикнул Суетной.

— Что же такое?

— Известно, болото; в самом глубоком месте колен не замочишь!

— Ну, ладно.

— Так вот ты и приходи вечерком в стадную пору. Мы с тобой перво-наперво жерлики все осмотрим, потом перемёт поставим, а опосля того в шалаши ночевать.

— А где найти тебя?

— Прямо в Дергачи ступай, любого мальчишку спроси: «Где, мол, тут Николай Суетной живет?» — всяк тебе укажет.

— И прекрасно. Так я теперь домой пойду, патронов наделаю, а вечерком, часов в пять, к тебе.

— Порошку да «фистончиков» на мою долю захвати.

— А у тебя разве нет?

— Есть, да свой-ат поберегаю.

— Хорошо, захвачу.

И я принялся собирать свои удочки и жерлики.

— Нифатка, иди! — крикнул Суетной сыну, все еще продолжавшему лазить по берегу и ловить раков.— Ну, что-о, как?

— Решета с три набрал.

— Ай да молодец! Ну, иди спускай челнок.

Но вдруг, обратясь ко мне и указывая рукой вдаль, на дорогу, он заговорил торопливо:

— Вон, смотри, смотри... вишь пыль-то по дороге крутит... Это самый жигулевский барин и есть. Слышишь, шум какой! Словно Илья-пророк по небу гремит.

— Точно вихорь налетел! — крикнул в свою очередь Нифат, заглядевшись на мчавшуюся по дороге тройку.

Но Николай опять позвал Нифатку и бросился к челноку. Немного погодя они выплыли на середину реки. Нифатка лежал на носу лодки, все еще не спуская глаз с летевшей тройки, а Суетной, опять-таки стоя огребаясь, направился по направлению к Микишкину болоту. За челноком побежала струйка, загорелась солнышком и, разбегаясь на две стороны, размахнулась блестящими крыльями.

Жигулевский барин спустился между тем в лощину, снова вылетел на гору, завернул за рощицу и скрылся из вида. Затих и шум.

II

Имеете ли вы, однако, понятие об охоте с круговой уткой? Сейчас я вам расскажу, в чем она состоит.

Охота эта начинается обыкновенно тогда, когда утки, сев на гнезда, начинают тщательно укрываться от преследования селезней. Круговая утка является тогда искомой приманкой. Подверженная долгому заточению в какой-нибудь душной и тесной кошёлке, но тем не менее находясь под влиянием опьяняющей весны, она, в свою очередь, тоже тяготится одиночеством. Этим-то моментом и пользуется охотник. Он берет утку, надевает ей на ногу кожаную «шпорку», к шпорке привязывает аршина в четыре поводок из тонкой бечевы, а другой конéц поводка прикрепляет к колечку, свободно вращающемуся в центре небольшого деревянного кружка. Кружок этот наглухо закрепляется сверху к заостренному колу, а кол вбивается в дно озера или болота, так чтобы кружок как раз совпадал с уровнем воды. Кружок этот устраивается для того, чтобы плавающая на воде утка, в случае утомления, имела место для отдыха, а свободно вращающееся колечко — на тот предмет, чтобы не заматывался поводок. Охотник помещается от утки саженях в десяти

и укрывается в шалаше. Селезни слетаются на призывной крик утки и, конечно, попадают под обстрел. Охота, нечего говорить, подлая, но есть много любителей, которые восхищаются ею. Уток этих одни называют «круговыми», потому что они плавают «на кругах», другие — «кряковыми», потому что они «крякают», третьи же — «криковыми», потому что они кричат. Так как в описываемой местности их называют «круговыми», то и я позволю себе так называть их. Лучшими круговыми утками считаются смоленские. На вид они действительно более других походят на диких крякв: такие же строгие, с тонкими красивыми шейками, сухими головками, такие же стройные, и имеют совершенно одинаковый с дикими голос. Но насколько необходимо это сходство — определить не могу, мне приходилось, по крайней мере, видеть, что селезни об эту пору неразборчивы и падают даже на чучел, если только охотник покрикивает в шалаше в утиную дудку.

Такая-то охота называется охотою с круговою уткой. В назначенный час я был уже у Николая, он был прав, объявив, что любой мальчишка укажет мне на его хату. Мне указал ее такой клоп, который даже путем говорить не умел. Мы не замедлили отправиться в путь и вскоре опять были на том месте, где встретились утром с Суетным. Мы осмотрели жерлики, и Николай опять взял двух сомят и трех довольно больших судачков. Собрав добычу и снова поставив жерлики, мы уселись в челнок, обогнули остров и там, где река сливалась опять в одно русло, принялись опускать перемёт... Перемёт Николай опускал мастерски: тихо, осторожно. Я сидел на корме челнока, а Николай вниз животом лежал на его носу и погружал в воду перемёт. При малейшем шуме, производимом мной, Николай быстро оглядывался, делал недовольное лицо и шепотом приказывал мне не шуметь.

— Место здесь глухое,— говорил он,— народ ходит редко, а потому рыба здесь строгая, чует даже, когда человек по берегу идет. Значит, надо осторожно.

И точно, Суетной действовал так осторожно, что не производил ни малейшего шума. Чтобы не стучать ногами о челнок, он даже разулся, а мне под ноги бросил охапку сухой прошлогодней куги. Челнок этот, выдолбленный из толстой ветлы, был до того легок, мал и качек, что я, сидя в нем, едва дышал от страха: так и казалось, что вот-вот мы кувыркнемся и полетим в воду.

Однако все обошлось благополучно, и, когда совсем стемнело, перемёт наш был уже опущен, и мы, вытащив на берег челнок, шли с Николаем по направлению к Микишкиным болотам. Ночь была до того темная, что если бы не Николай, то я, конечно, никогда не разыскал ни болота, ни устроенных на нем шалашей. Впоследствии оказалось, впрочем, что их и днем даже трудно было рассмотреть, ибо, сделанные из кое-какого хвороста, стволов прошлогоднего репейника и прикрытые камышом и кугой, они скорее походили на кучу сухого мусора, нанесенного водой, а уж никак не на шалаши.

Мы порешили провести ночь вместе, а с приближением утренней зари — разойтись. Так как шалаш, назначавшийся для меня, представлял собой более удобства, был просторнее и устлан довольно толстым слоем куги, то мы оба забрались в него, захватив с собой ружье и кошёлку с утками. Выкурив две-три папиросы, я завернулся с головой в драповую охотничью чуйку и, утомленный продолжительной ходьбой, а главное, убаюкиваемый сопением спавшего уже Николая, вскоре уснул.

Было еще совершенно темно, когда я почувствовал, что кто-то осторожно толкает меня в плечо.

— Вставайте,— сказал Суетной,— пора, заря скоро.

— Не рано ли?

— Самое время, пора. Пока уток приладим, пока разберемся, заря-то и займется.

Проговорив это, Суетной принялся стаскивать с себя сапоги.

— Никак, ты сапоги снимаешь? — спросил я.

— Сапоги?

— Вот это хорошо! Люди обуваются, когда встают, а ты, наоборот, разуваться начал.

— Да ведь тут, поди, болото, вода... Сапоги-то на денежки тоже покупаются.

Разувшись, Суетной засучил портки выше колен, взял кошёлку с утками и на четвереньках выполз из шалаша, иначе выйти было невозможно. Глядя на него, пополз и я. Как, однако, ни было еще темно, но Суетной даже и в темноте разобрал уток.

— Вот самую хорошую,— шептал он, ощупывая уток,— самую горячую. Столько в ней этой жадности, что ни минуты молча не просидит. На всю округу заорет.

— А себе-то? — спросил я.

— Ну! у меня и похуже сойдет. Не велик барин!

И, вынув из кошёлки утку, которая предназначалась мне, Николай пошел с ней к болоту, захватив и колышек. Послышался плеск воды, какой-то глухой стук, хлопанье крыльев, опять плеск, шум какой-то взлетевшей птицы, а немного погодя передо мною в темноте снова показалась черная фигура Суетного.

— Устроил, посадил! — прошептал он.

— Что же она молчит?

— А вот дай срок, оглядится.

Затем Суетной ощупью же отыскал свое ружье, кошёлку с другой уткой, колышек и, наказав мне сидеть в шалаше смирно, направился в противоположную сторону и в ту же минуту словно утонул во мраке.

Я забрался в шалаш и, в ожидании зари, закурил папиросу. Немного погодя звезды стали меркнуть, мрак ночи заменялся каким-то сероватым светом. Можно было различать уже кусты, воду, деревья. В воздухе стало так сыро и прохладно, что неприятная, судорожная дрожь охватывала все мое тело. Я завернулся в чуйку, прижался в угол шалаша, причем придавил мышонка, успевшего только пискнуть, и принялся терпеливо ждать рассвета.

С приближением зари болото стало пробуждаться. В сухих прошлогодних камышах, наполовину повалившихся, все чаще и чаще стало раздаваться хлопанье крыльев, можно было догадаться, что это отряхивалась птица, пропищали где-то кулички-песочники, крикнула цапля, да так пронзительно, как будто ее резать собирались, что-то начало плескаться в воде. Болото словно задымилось. Промчался заяц мимо самого шалаша и так громко протопал, словно лошадь проскакала. Послышалось хрюканье селезней, торопливый свист их крыльев. Где-то крякнула утка, крякнула другой раз и, получив ответный отзыв нескольких селезней, принялась страстно надрываться. Хрюканье селезней слышалось ближе, что-то шлепнулось в воду, скользнуло по ней, раздалась какая-то возня, драка, плеск воды, хлопанье крыльев, и потом все замолкло. Я взглянул в отверстие шалаша, но моя «жадная утка» сидела себе нахохлившись на кружочке и словно окаменела.

Но вот восток заалел, сначала чуть заметно, а затем ярче и ярче. Звезды исчезли, словно кто-то дунул на них и по-

тушил. Огонь разлился по горизонту, и на ярком фоне этом зачернели кудрявые кусты тальника. Я встал на колени и принялся смотреть на все это в дырочку шалаша. Словно стекло панорамы было предо мной, с той только разницей, что ни в одной панораме нельзя было бы увидать той могучей картины, которую я видел здесь. Я видел, как яркая полоска зари разливалась все шире и шире и как затем, по мере разливавшегося света, бледнела, таяла и исчезала ночь. Болото подернулось туманом, туман словно колебался, то расстилался пеленой, то клубился, то разрывался на части, как тонкий креп, и тогда взорам моим представлялось зеркало воды, местами поросшее кустами вербы и тальника. Чернели мохнатые кочки, словно тяжелые шапки гренадеров. То вдруг вылезала ветла с корнем, вывороченным бурей, и растопырившийся корень этот, как чудовищный паук с длинными ногами и щупальцами, точно силился вцепиться и засосать неподалеку сидевшую цаплю. Через минуту все это снова затягивалось и исчезало. Болото пробудилось окончательно. Воздух зазвенел сотнями голосов. Целая стая селезней вертела где-то злосчастную утку, то и дело со свистом и хрюканьем проносились они над самым шалашом и чуть не касались до него крыльями. Закозыряли в воздухе крикливые чибисы, замахали над водой чайки, закрякали коростели, замамакали перепела... Но, как ни шумлив был весь этот концерт пернатых, а лягушки все-таки заглушали его. Такого неистового кваканья я сроду не слыхал. Точно лягушки всего мира собрались сюда и восстали, защищая свои права на болото. Высунув из воды головы, раскорячив лапы, пыжась и раздуваясь, они словно гнали все живое население болота, словно лаяли, словно ругались самой площадной, безобразной бранью. То они ныряли, то вновь выскакивали наружу и, выскочив, еще безобразнее принимались ругаться. Какая-то серенькая птичка с длинным хвостиком села на прутик шалаша — как раз перед отверстием и чуть не на нос мне, помигала черными, как уголь, глазками, потрясла хвостиком, но снова пронесшаяся стая селезней спугнула птичку. Туман исчез, и болото очистилось. Передо мною открылось огромное пространство, затопленное водой и местами поросшее тальниками, ветлами и камышом, но шалаша Суетного я все-таки рассмотреть не мог.

Вдруг страшный, оглушительный выстрел!.. Я выскочил из шалаша и увидал неподалеку целое облако дыма.

— Слава тебе господи, жив остался! — раздался из этого облака голос Николая.

— Что с тобой? — спросил я, мгновенно подбежав к нему.

Но Николай мчался уже по болоту, и только брызги летели во все стороны.

— Что с тобой? — повторил я, когда он возвратился.

— Смотри-ка! — кричал он между тем.— Вот так ловко! Целых пять штук повалил... ажно земля задрожала...

И затем, свернув пораненным селезням головы, он забормотал скороговоркой:

— Ступай, ступай! прячься скорее... Теперича самая охота начинается! Ступай, ступай...

Только после узнал я, что Суетной имел обыкновение в один из стволов сыпать целую горсть пороху «на случай, когда много уток соберется». Полыснет, бывало, и брык! «Слава тебе господи, жив остался!»

Выстрел этот помог мне открыть местопребывание Суетного, его шалаш, и вместе с тем рассмотреть и плававшую неподалеку круговую утку. Я не мог глаз оторвать от этой утки, и только теперь догадался, что крик утки, о котором я говорил выше, производился именно уткой Николая. Она ни минуты не молчала и, плавая вокруг колышка, беспрерывно кричала самым раскатистым призывным криком. Селезни так и вились над нею, а при виде их она еще пуще надсаживалась, металась и хлопала крыльями... Послышался опять выстрел — на этот раз уже обыкновенный,— и Николай снова что было мочи бежал по воде, направляясь к подстреленному трепыхавшемуся селезню, схватил его и снова скрылся в шалаше.

Я посмотрел на свою утку: даже ружейный выстрел не пробудил ее от апатии, и по-прежнему она продолжала сидеть, скукожившись на излюбленном ею кружочке. Суетной продолжал между тем подстреливать и подбирать убитых селезней... Меня даже зло взяло! С досады я собрался было оставить шалаш, как вдруг Николай снова «громыхнул», снова перекрестился и бросился подбирать добычу. Только после этого громового выстрела утка моя словно проснулась, спустилась легонько с кружка и принялась кувыркаться, доставая со дна тину. Я ждал, что вот-вот она, накувыркавшись, крикнет, но не тут-то было! снова забралась она на кружок, запрятала голову под крыло и заснула, точно замерзла.

— Однако ты меня поддел ловко! — проговорил я, когда Суетной, весь увешанный селезнями и со щекой, избитой в кровь, подошел к шалашу.

— А что?

— Нечего сказать, удружил! утка-то твоя прославленная хоть бы разок рот разинула!

— Ну! — удивился Николай и руками развел.

— Вот тебе и ну!

— Ах дьявол! ах проклятая! ах анафема! А ведь какая утка-то! жадная, скорбная...

— Уж именно, что скорбная.

— Что ж это такое! что за оказия! Ах проклятая! Нет, моя ничего, орала ловко!

— Сколько же ты наколотил-то?

— Тринадцать, смотри,— проговорил он, пересчитывая развешанных на поясе селезней.— Тринадцать, верно... Эх, штуки-то хороши!

— Хороши-то хороши, только уж тебе не миновать беды.

— Как так?

— Разве можно горстями порох сыпать!

— Да ведь это, поди, мушкетон турецкий?

— Ну, выдумал еще.

— Верно тебе говорю. Ты погляди-ка стволины-то какие...

— Просто тульская двустволка,— проговорил я, рассматривая на стволах надпись и клеймо,— да еще вдобавок бечевой перевязана...

— Это я волка по лбу колотил и поломал ложу-то.— И потом, вдруг прикашлянув, спросил: — А что, с полдюжинки селезней-то не возьмешь?

— Да ведь ты жигулевскому барину хотел...

— И ему останется.

— А почем?

— Ну, чего там! Нешто с тебя возьму лишнего! Жигулевский-то по четвертаку платит, а с тебя что положишь.

— По двадцати довольно, что ли?

— Знамо, довольно.

Я взял шесть штук.

— А уточку не купишь? — спросил Суетной.

— Которую?

— Да любую!

Я купил утку, купил еще двух судаков, собрался было идти домой, как следующее обстоятельство задержало меня на некоторое время.

III

К нам подъехал на беговых дрожках какой-то толстый мужчина в новой суконной поддевке, зеленых замшевых перчатках, и, остановив рослую, толстую лошадь, увешанную массивными бляхами и тяжелой сбруей, проговорил, обращаясь к Николаю:

— Однако, сват любезный, денечек-то тебе счастливый выдался!

— А! — вскрикнул Николай, размахивая руками: — Абрам Петрович, сват дорогой!

— Вишь сколько добра господь послал, рублика на три, поди, будет!

— Слава богу, Абрам Петрович, слава богу.

— Слава богу — лучше всего.

— Как это вы, сватушка, попали сюда? — спросил Суетной, улыбаясь.

Но на вопрос этот сват ответил не скоро. Не торопясь, замотал он толстые вожжи за железный щит дрожек, степенно перекинул ногу, причем слегка запрокинулся назад, еще степеннее сошел с дрожек, выбил кнутиком пыль с полы поддевки, погладил поясницу и затем, сняв зеленую перчатку, подал руку Суетному.

— Ну, здорово, сват,— проговорил он.

— Здравствуйте, батюшка Абрам Петрович, все ли в добром здоровье?

— Переваливаемся кое-как.

— Домашние здоровы ли?

— Ничего, дышут...

— Ну, и слава тебе господи. Давненько не видались...

— Да все в разъездах... Сам знаешь, дело наше такое... Тебе хорошо, посевами занимаешься, так за хлебцем-то далеко ездить нечего: махнул косой — и сыт день, слазил в сусек — и вся недолга... Ну, а наше дело не такое... Сколько этих сусеков-то облазишь!

— Аль хлебец покупаете, сватушка любезный?

— Маленечко балуемся,— ответил Абрам Петрович и при этом словно вздрогнул.

— Много накупили?

— Тысчонки полторы наскреб... Да вот беда! подводчиков нет. Надо бы хлебу-то этому теперича на линии быть, а перевозить охотников нет. Совсем народ избаловался. Вот господь маленечко полями-то порадовал, народ на радостях-то и давай пьянствовать! Намедни приехал в Аркадак, так вокруг этого кабака индо стон стоит! А чему радуются? У господа бога всего много! Вот разгневают его батюшку, он и прихлыстнет: град напустит, засуху, мглу али что другое... Трудиться бы надо да господа бога молить, чтобы возрастил хлебец-то, да прибрать бы помог, а они пьянствовать начали! Васька Штапов... посмотрел я, с деревяшкой ходит, а туда же! Налопался как нельзя лучше, ввалился в телегу и давай лошадь погонять... Скачет, а деревяшка-то о наклестку стучит... Так и не нашел подвод... По рублю с четвертаком давал, и то, анафемы, не поехали... Что ты будешь делать! — И потом, отерев пестрым платком пот со лба, добавил: — А ведь я сейчас у тебя был.

— Ну,— вскрикнул Суетной.

— Право слово. В Дергачи заезжал, да и вспомнил про тебя: «Дай, думаю, свата навещу!», а заместо того свата-то и дома нет...

— С вечера, с вечера ушел,— забормотал Суетной.

— Ну, да ничего! — перебил его Абрам Петрович,— хозяйка твоя приняла меня ласково: чайком попоила, водочкой просила... Ну, да ты сам знаешь, зелья этого не употребляем... Ну, вот она мне и сказала, что ты с ихней милостью (при этом Абрам Петрович кивнул на меня) на Микишкиных болотах утиц стреляешь, я и приехал...— И затем, оборотясь ко мне, добавил: — Будьте знакомы-с. Тоже, кажется, соседями считаемся...

— Очень рад,— проговорил я,— я об вас много слышал...

И мы подали друг другу руки.

— Хорошо, коли слышали доброе, а то ведь народ-то ноне какой стал... Только и норовит человека с грязью смешать... А я, признаться, давно с вами познакомиться желал... С покойным дядюшкой вашим, с генералом, когда-то знакомы были... шерстку, хлебец тоже кое-когда у ихней милости покупывали... Приятно было бы и с вами.

— Весьма приятно.

— К нам когда милости прошу-с... Покойник генерал нашим хлебом-солью не брезговал...

— С удовольствием.

— Ведь он простой был, даром что лицо такое высокое! — подхватил Суетной.— Вот только маленечко драться любил...

— Эх, сват, сват,— перебил его степенно Абрам Петрович, причем даже вздохнул и закрыл глаза.— Не глупый ты парень, а пустяки городишь. Мы с тобой оба мужики; и я мужик, и ты мужик. Стало мужичьи-то порядки нам должны быть хорошо известны. Иную пору палка-то лучше всякого доброго слова. Хорошо вот ты человек трудолюбивый, не пьяница, не блудник, а много ли таких-то? Ведь сам знаешь, каков ныне мужик-ат стал. Царь-батюшка ему свободу дал, землицей наградил, а мужик-ат, чем бы господа благодарить да за царя молиться, в кабак последнюю рубаху тащит. Продаст на рубль, а два пропьет. Тут повсюду благодать земная: солнышко теплое, росы благодатные, земля-кормилица, травка зеленая, а он кочевряжит! Ни совести, ни стыда, ни страха божьего. Так почему же такого человека не бить! Нешто такого человека добрым словом устыдить возможно? Нет, сват, такого человека только одна палка устыдит, потому он, кроме ее, ничего не боится...

— Житье-то уж больно трудное, сват... горе...

— А ты забыл, что в Писании-то сказано: «В поте лица возделывай землю свою. Просите и дастся, толцыте и отверзится!» А ты как бы думал! Не постукаешь в дверь, так никто тебе и не отворит... А постучись...

И потом вдруг, обратясь ко мне и совершенно уже защурив на этот раз глаза, Абрам Петрович заговорил самым вкрадчивым и певучим голосом:

— Слышал я, ваше высокоблагородие, что у вас ржицы четвертей сотенку осталось?

— Осталось.

— И потом люди говорили мне, что будто вы ржицу эту продать желаете?

— И это правда.

— Так вот-с, для первого знакомства, если угодно, мы у вас ее купить можем-с.

— Сделайте одолжение. Приезжайте, посмотрите хлеб, и тогда поговорим.

— Оно, положим, что ржица ваша мне известна хорошо,

потому что еще летось на корню видел ее, видел, как убирали, молотили, смотрел и в амбарах, а заехать все-таки можно-с... Ничего, заеду-с.

— Заезжайте.

— Только вот когда вас дома-то застать?

— Назначьте время, и я вас буду ждать.

— Нет уж, это зачем же, нешто мы этого стоим-с. Господин, и вдруг будет ждать мужика. Нет-с, так не придется-с. Уж лучше вы извольте приказать.

— Хорошо,— проговорил я,— так поедем сейчас...

Абрам Петрович опустил голову, пошевелил пухлыми пальцами в бороде, подумал немного и потом, подняв снова голову, проговорил:

— Слушаю-с. А коли можно, так до завтраго повремените-с.

— Можно и завтра.

— Завтра утречком я к вам и заеду-с.

— Я буду вас ждать.

— Беспременно-с.

Мы замолчали. Абрам Петрович похлопал немного снятой перчаткой по левой ладони, посмотрел на болото, посмотрел на небо, посмотрел еще раз на Суетного, увешанного селезнями, и, вздохнув, проговорил:

— А затем счастливо оставаться.

— До свидания.

— До приятного-с.

И, обернувшись к Суетному, проговорил:

— Ну, сват, прощай.

— Прощайте, сватушка, прощайте... не забывайте...

— Зачем забывать! Кажется, мы не из таковских... Это вот нынешний народ, точно, родством пренебрегать начал, потому для него сиделец дороже отца родного, а мы-то с тобой не из молодых.

И затем, усевшись на дрожки и распутывая вожжи, он прибавил:

— А изба-то у тебя плоха, сват!

— Плоха, сватушка, больно плоха.

— Совсем набок покачнулась.

— Покачнулась совсем.

— Так жить нельзя, сват.

— И то нельзя, сватушка.

— Новенькую бы надоть...

— И то хочу, сват.

— Ой ли? Накопил, значит...

— Накопил малость, да не хватает.

— Плохо.

— Хочу к вам, сватушка дорогой.

Абрам Петрович даже засмеялся.

— Сказывала мне сегодня про это дело хозяйка твоя! — проговорил он.

— Ну! — удивился Суетной.

— Я тебе говорю.

— Что ж, как, сватушка?

И Суетной словно испугался своего вопроса.

— Ничего, приезжай, поговорим...

— Ой ли?

— Приезжай, ничего... Мы хоша крестов на себе и не носим, а все-таки страх божий еще не потеряли... Не знаю, что дальше будет... Ничего, приезжай, потолкуем...

— Ноне можно?

— Что ж, и ноне можно...

Суетной даже подпрыгнул от радости.

— Ну, вот, благодарим покорно, сватушка,— проговорил он и, вдруг засуетившись, принялся снимать с пояса одного селезня.— Ну, сватушка,— проговорил он, подавая ему птицу,— а это вот вам...

— На что, не надо...

— Нет уж, сват, примите, не побрезгуйте...

— У меня своих много.

— Да то русские, домашние, а то все-таки дикие...

— Нет, сват, нет, тебе нужнее...

— Нет уж, не обидьте...

И Суетной принялся совать свату селезня, тот даже засмеялся:

— Вишь ухаживает как, все задобрить старается! Ну что с тобой делать, давай уж, что ли, я вот в платочек завяжу...

— Завяжите, сватушка, завяжите...

И Абрам Петрович завязал селезня в платок.

— Ну спасибо, сват, за гостинец.

— Уж не взыщите...

— Ну-с, счастливо оставаться, ваше высокоблагородие.

— Прощайте.

— Прощай, сват... так заезжай.

— Заеду, сватушка, заеду... счастливый путь.

— Спасибо.

И, проговорив это, Абрам Петрович чмокнул губами, тронул слегка вожжою лошадь и степенным шагом, оглядывая окрестность, отъехал от нас.

— То-то, кабы рубликов двести дал! — мечтал между тем Суетной.— Своих триста рублей, сватовых двести... Такую бы хоромину возвел, что любо смотреть было бы!

Я взглянул на Суетного и невольно порадовался его радостью.

Немного погодя, захватив с собой селезней, пару судаков и попросив Суетного принести мне завтра купленную круговую утку, я отправился домой. С той поры мы с Николаем Суетным сделались друзьями, и дружба, не омрачавшаяся никакими ссорами, продолжалась весьма долго, вплоть до того конца, который в свое время будет известен и моему читателю.

IV

Однако, прежде чем познакомить вас с личностью главного моего героя, мне приходится сказать вам кое-что из жизни Абрама Петровича. Абрам Петрович был крестьянин села Жигулей и принадлежал когда-то тому самому жигулевскому барину, которого мы с вами видели уже издали летевшим в тарантасе и который, разъезжая на лихой своей тройке, по словам Суетного, словно Илья-пророк гремит. Редко можно встретить такую благообразную наружность, какою был одарен Абрам Петрович. Это был мужчина лет пятидесяти, довольно высокого роста, плотный, благовидный... точно апостол какой-то! Апостольский вид придавали ему его густые брови, умная складка на лбу, красивая борода, а в особенности открытый высокий лоб, сливавшийся с небольшою полукруглой лысиной, оголявшей спереди его выпуклый череп. Серьезное, или, правильнее сказать, мыслящее, лицо его отличалось свежестью и белизной кожи, а темные серые глаза каким-то особенным спокойствием. На старых портретах попадаются часто такие глаза, когда портретисты, не гонясь за деталями, умели придавать лицу выражение. Словно ничто не могло возмутить Абрама Петровича, и не могло возмутить потому только, что вследствие мышления он все предугадывал и предвидел. Говорил он тоже как-то по-

апостольски: тихо, поучительно, серьезно, нараспев. Во время разговора закрывал глаза, вздыхал, а когда приходилось делать вопросы, внимательно смотрел в глаза допрашиваемого. Можно было сейчас же по его глазам узнать, верит ли он человеку или же только снисходительно выслушивает. Голос у него был мягкий, вкрадчивый, поступь важная, движения медленные...

Во время крепостного права Абрам Петрович был, однако, самым последним мужичишкой, и звали его тогда не по имени и отчеству, а просто Абрашкой. Изба у Абрашки была срам взглянуть, лошаденка избитая, коровенка паршивая, а сам Абрашка ходил не в суконных поддевках и не в сапогах, как теперь, а в лохмотьях и в лаптях. Жигулевский барин порол его чуть не каждый день, желая исправить человека, но как барин ни старался, а Абрашка все-таки оставался неисправленным. Таким же последним человеком Абрашка был и на барщине. Уж староста лупит, лупит его, бывало, всю руку себе отмахает, а Абрашка все-таки не поспевает за людьми, все позади всех. «Ленища!» — крикнет староста, плюнет да отойдет. И действительно, Абрашка был «ленища», потому что и в собственном своем хозяйстве был последним на селе человеком. Чтобы выгнать Абрашку на барщину, десятнику недостаточно было постучать в окно бадиком, как делалось это с другими, а необходимо было войти в избу, стащить с печи или с полатей, дождаться, пока он обуется, оденется, и затем уже в шею гнать его вон из избы. Несколько раз Абрашка обращался к барину с просьбой освободить его от барщины, на оброк пустить... «Что, говорит, хотите положите с меня, только ослобоните. Я не пахарь, не посевщик, какой из меня толк? ни себе я не работник, ни вам, а оброк я буду платить исправно!» Но барин оброчных людей не любил, доказывал, что оброки развивают «вольницу», и всякий раз, когда Абрашка заикался об оброке, гнал его вон со двора.

Только один приходский поп не мог нахвалиться Абрашкой — этим последним человеком в селе. И действительно, религиознее, усерднее и богомольнее Абрашки не было в приходе крестьянина. Ни одного праздника, ни одного воскресного дня не пропускал Абрашка, чтобы не побывать в церкви. В рабочие дни не добудятся его, а как только праздник, так Абрашка вскакивал по первому удару колокола и в церковь являлся раньше попа даже, станет где-нибудь в уголку на колени и давай кресты отмахивать, а как только является

батюшка, так Абрашка шел на крылос и читал вместо дьячков. Дьячки не нарадовались, глядя на него. Службу Абрашка знал, как свои пять пальцев, знал все апостольские и евангельские начала, когда какой тропарь поется, устав церковный... «Глас пятый!» — скажет, бывало, и затянет «собезначалие слова», или: «Глас первый! Камень запечатану от иудей». Дьячки даже из церкви уходили, когда Абрашка на крылосе стоял, словно им до церкви и дела не было никакого! Защурит глаза, сложит на груди руки крестом, запрокинет назад голову и зальется на всю церковь, а дьячки за шапки и домой.

Чтобы избавиться от барщины, Абрашка даже бегал несколько раз, скрывался по монастырям, прислуживал там, рубил дрова, копал гряды, но побеги эти ему не удавались. Его ловили, водворяли по этапу на место жительства, а жигулевский барин с новой энергией принимался за исправительные меры. Пробовал было усовещать своего любимца и старик поп: делал ему внушения, проповедовал, что раб должен радеть о господине своем, что господин поставлен над рабом самим господом богом, что возлюбивый господина возлюблен будет и господином небесным, пробовал даже ругать и срамить его в храме божьем перед всеми православными, ставил его на колена, но и это не помогало. Абрашка слушал и по-прежнему оставался «ленищем».

Таким бездомником был Абрашка во время крепостного права, но как только это право рухнуло, как только текст, гласивший об обязанностях раба к господину, сделался абсурдом, а попам пришлось говорить проповеди в совершенно ином смысле, так и Абрашка стал словно изменяться. Общее ликование освобожденного народа превосходило даже шум, производимый жигулевским барином. Ликовали шумно, бестолково, как только могут ликовать люди, сорвавшиеся с цепи. Народ поднимал образа, читал манифесты, пьянствовал, служил молебны и бушевал словно море. Сумбур шел великий. Раб считал себя господином, а господин либеральничал и хитрил насчет малых наделов. Читалось «Положение», писались уставные грамоты, выбирались старшины, старосты, открывались волостные правления, собирались сходы... Жигулевский барин, попавший в посредники, загнал уже несколько троек, и, при виде всего этого, Абрашка словно вырос. Ни одной сходки не пропускал он. «Берите большой! — кричал он шумевшему, ликовавшему и пьянствовавшему

народу.— Что вы, в уме, что ли, что на малый засесть хотите. Берите большой! Что вы без земли-то делать будете! вшей давить! Я не пахарь, мне все одно, я пахать не буду, а вы пахари, на огородах да на выгонах-то плохая пашня!» Но пророку не было чести в отечестве... толпа осилила, и Абрам Петрович потерял веру в разум оборванного народа. Он перестал ходить на сходы и от общества отшатнулся.

Так прошло несколько месяцев. Либеральные господа лезли вон из кожи. Либеральный жигулевский барин тоже не дремал, и жигулевские рабы, забыв о господстве, пошли на малый. Глядя на них, пошли на малый село Дергачи, Сластуха, Свинуха и все соседние села и деревни. Абрашка куда-то скрылся, где-то пропадал, а затем, возвратившись, зажил особняком от общества. Словно ему дела никакого нет до мирской нужды, словно он был не от мира сего, а когда выбрали в старшины плюгавого, безграмотного ничтожного мужичонку да наняли в писаря барского пьяного конторщика, так он торжественно обругал даже этот мир баранами и дураками.

Выходкой этой он уже окончательно порвал все нити, связывавшие его с обществом.

Вскоре народ стал замечать, что к Абрашке стали наезжать какие-то незнакомые люди. Люди эти приезжали обыкновенно в сумерки, просиживали у Абрашки ночи, а на рассвете снова уезжали. Стали замечать, что после таковых таинственных посещений Абрашка подолгу не выходил из избы, а если и выходил, то ни с кем не говорил и все словно о чем-то думал и что-то соображал. Уйдет, бывало, в поле, в лес, да по целым дням и пропадает. Пробовали было допрашивать Абрашку о ночных гостях: откуда они, зачем приезжали, что делали? Но Абрашка от ответов таких уклонялся, скажет, бывало, «знакомые» — и делу конец. Прошло еще несколько времени, и народ начал замечать, что Абрашка стал реже ходить в церковь, узнали, что он купил где-то библию и за библией этой проводил дни и ночи. Дьячки стали жаловаться попу, что Абрашка совсем свое дело забыл, службу начал пропускать и что без Абрашки им теперь очень трудно стало. Старик поп тоже рассердился. «Ты что это, курицын сын,— кричал он.— Вот я на тебя отцу благочинному напишу, тогда и узнаешь ты кузькину мать! Иди на клирос, читай!» Абрашка молча шел на клирос и принимался за чтение. Однако увещания эти

все-таки действовали плохо, и Абрам все реже и реже стал ходить в церковь.

Так прошла зима, наступил великий пост. Народ повалил в церковь, говеть принялся, а Абрашка, вместо говенья, затеял избу ставить, да такую большую, какой не было даже у самого богатого жигулевского крестьянина — сосновую о двух срубах. Избу эту поставил он не на улицу окнами, а среди двора, словно для того, чтобы люди не видали, что делается и как живется в этой избе. Народ видел и только дивился: «Откуда это Абрашка денег достал, зачем такой скит ставит!» Поставив избу, Абрашка принялся за постройку двора. У всех жигулевских крестьян дворы были плетневые, а Абрашка завел двор дощатый и покрыл его не соломой, а тесом. Даже жигулевский барин изумился: «Что за притча! — кричал он, с шумом проезжая мимо постройки.— Абрашка! эй, где ты? Поди сюда, ну, это что, а? Из последних в первые, а?» Но Абрашка только улыбнулся и так-таки ничего не ответил шумевшему барину.

Наступила пасха, но Абрашка и на пасху в церковь не попал. Пошел поп по приходу с хоругвями, образами, в воздухе трезвон гремел, каждый домохозяин встречал иконы у ворот с хлебом и солью, прикладывался к иконам, христосовался с батюшкой, а Абрашки даже и дома не было, когда батюшка пришел к нему в новую избу. «Где же хозяин-то?» — спросил батюшка Абрашкину жену. «Уехал куда-то!» Батюшка посмотрел на бабу и давай ругать Абрашку на чем свет стоит, а баба, вместо того, чтобы поплакать, погоревать, стоит себе, улыбается и батюшку даже присесть не попросила.

По селу пошли тогда разнообразные толки. Одни говорили, что Абрашка в молокане перешел, другие, что он клад разыскал и на найденные деньги построил избу и двор, третьи сообщали таинственно об убийстве какого-то купца и говорили, что деньги у Абрашки нехорошие, четвертые же, наконец, прямо уверяли, что Абрашка душу черту продал и что таинственные посетители, по ночам приезжавшие к Абраму, не люди, а черти, принявшие только образ человеческий.

Но пока народ судил, рядил и путался в догадках, Абрашка продолжал себе приумножать свое благосостояние: то купит себе лошадку, то корову приведет, то овец откуда-то пригонит. Из лаптей Абрашка обулся в сапоги, дрянной зипунишко переменил на суконную поддевку. Отстроив избу и огородив ее со всех четырех сторон дощатым двором с наве-

сами и двумя крепкими воротами, Абрашка ни попа не позвал, ни образов не поднимал, ни молебна не отслужил, а так себе перешел в новую избу, и конец делу. В Абрашкином поведении усомнился старшина, усомнился сотник, и принялись подсматривать за Абрашкой, но ничего не подсмотрели. Правда, как-то ночью услыхали они, что в Абрашкиной избе как будто шло какое-то пение, хотели было в окна заглянуть, но так как новая Абрашкина изба стояла среди двора, а ворота оказались запертыми, то сотник со старшиной походили, походили вокруг да так ни с чем и ушли. Пошел сотник в село Дергачи, стал допрашивать Абрашкиного свата Николая Суетного, но Суетной хотя и не переставал навещать свата, но про таинственную сторону Абрашкиной жизни знал столько же, сколько и другие.

Так шло время, как вдруг, в один воскресный день, после обедни, народ увидал Абрама, идущего по направлению к дому священника. Абрам был разодет по-праздничному: в новой суконной поддевке, в новых сапогах и в новом картузе с блестящим козырьком. Шел он степенной поступью, раскланиваясь со всеми встречавшимися, и нес в руках какой-то узелок, в котором были завязаны не то дощечки, не то книги. «Ну,— заговорил народ, глядя на Абрама,— мотри, малый-то образумился, к попу пошел!» И действительно, подойдя к батюшкиному крылечку, Абрам снял картуз, пригладил ладонью волосы, смахнул с сапогов пыль платком и, не торопясь, вошел в дом. «Ба! Абрам! — крикнул батюшка,— насилу-то вспомнил! Здорово, здорово! Чайку не хочешь ли?» Но Абрам ни на образа не помолился, ни под благословение не подошел, а только молча подал батюшке узелок. В узелке оказались иконы. «Это что такое! — взвыл батюшка.— В уме ли ты, подлец этакий. Что ты затеял, греховодник, аль анафемы не боишься!» Но Абрашка только поклонился батюшке, молча вышел, оставив батюшке узелок с иконами, и той же степенной поступью отправился домой. Весть, что Абрашка перешел в молокане, в тот же день облетела все село. Поп поскакал к благочинному, а жигулевский барин к Абраму. Надев на себя знак посредника, он хотел было, по старой памяти, выпороть Абрашку, но Абрашка только улыбнулся, глядя на расходившегося посредника, запер у него под носом ворота — и был таков. Барин покричал, пошумел, погрозил «весь двор разнести», но не разнес и уехал с тем же, с чем приехал. Послали куда следует донесение, приезжал стано-

вой, исправник, миссионер какой-то в камилавке и с наперстным крестом, стали таскать Абрашку то в стан, то в город, но Абрам словно лбом в стену уперся и на все угрозы, усовещевания отвечал одной только улыбкой.

Прошло еще два года, и Абрашку трудно было узнать. Он завел себе городскую тележку, беговые дрожки, санки, завел толстых, ножистых лошадей и принялся приторговывать. Сначала торговал он кое-чем, а немного погодя стал у крестьян скупать шерстку, пшеничку, ленок и проч. Самовар по целым дням кипел у него на столе, и из тщедушного он сделался здоровым, толстым и благообразным. «Вишь какое брюхо-то отрастил,— говорили про него жигулевцы,— словно купец какой!» И народ, при виде этой толщины, при виде этой степенной благообразности, стал называть его не Абрашкой, а Абрамом Петровичем. Абрама Петровича узнали окрестные помещики, крестьяне, окрестные купцы. У первых он покупал хлеб, а последним продавал его. Абрам Петрович богател, жирел и жил себе совершенно особняком. Таинственные гости продолжали между тем посещать его, и вдруг прошел слух, что Абрам Петрович возведен молоканами в какие-то попы, совершает «по-ихнему» разные требы и тайком совращает православных с пути истинного. Стали замечать, что в селе Жигулях еще несколько человек перестало ходить в церковь, и преследования против Абрама Петровича возобновились с новой силой. Старый заскорузлый поп, ходивший с косичкой и в какой-то зеленой рясе, коротенькой, чуть не по колено, принялся сочинять проповеди, но ни одной путной сочинить не мог. Взялась за дело полиция, следователь, засадили Абрама Петровича в острог, предали суду за распространение лжеучения, но так как никаких улик не оказалось, то Абрам Петрович и выпущен был из острога. Молоканство между тем все распространялось, и не раз было замечено, что как только поведет кто знакомство с Абрамом Петровичем, так и в церковь перестанет ходить. Жигулевский барин скатал в город, наболтал архиерею, что всему виною старый, из ума выживший поп, начал просить о присылке молодого и ученого. Старого попа по шапке и заменили новым. Приехал молодой с воротничками, запонками и цепочкой. В первое же воскресенье явился он в церковь в рясе из манчестера[6], в голубом полукафтанье, в лаковых штиблетах, в панталонах навыпуск, отслужил щегольски обедню, а после обедни сказал такую ученую проповедь, что даже сам жигулев-

ский барин, прискакавший посмотреть на нового попа, ничего не понял. В тот же вечер назначена была в церкви беседа о лжеучении сектантов, но никто на беседу не пришел. Поп обозлился, завел исходящую книгу, возбудил «молоканский вопрос» и принялся писать доносы. Полиция опять поднялась на ноги. По улицам села Жигулей опять загремели колокольчики исправника и станового, производились внезапные обыски, принялись допрашивать Абрама Петровича, но толку все-таки не выходило никакого. Поп кипятился и целые дни проводил то за составлением доносов, то за сочинением громовых проповедей; благочинному он положительно надоел, ездил к нему в неделю раза по два, просил его содействия и наконец кончил тем, что написал донос и на него. Приехал наконец и сам владыка. Приехал он в карете шестериком, с блестящей панагией[7], с двумя звездами, отстоял обедню, заглянул мимоходом в церковные книги, в свечной комод, а после обедни к нему подлетел жигулевский барин и пригласил к себе на чай и на пироги. В доме помещика владыка переговорил с благочинным, с попом, высказал им свое неудовольствие по поводу возникших между ними раздоров, высказал им все это спокойно, плавно, вскидывая глаза к небу, перебирая пухлыми пальцами дорогие янтарные четки, и затем, благословив обоих, выразил желание побеседовать с Абрамом Петровичем. Жигулевский барин тотчас же откомандировал за ним сотника, но Абрам Петрович к архиерею не пошел, отозвавшись недосугом. Владыка поехал сам к нему в сопровождении навязавшегося жигулевского барина, но Абрам Петрович запер ворота на запор и, выслав сказать, что его нет дома, не впустил архиерея. Жигулевский барин принялся кричать, шуметь, опять было пригрозил «разнести усадьбу», но владыка уговорил его успокоиться и, распростившись с гостеприимным помещиком, поехал дальше по епархии.

Месяца через два притих и молодой поп. У него появилась парочка добреньких лошадок, у матушки бархатная ротонда[8] с куньим воротником, и поп повеселел. «Дух времени!» — говорил он и, оставив в покое молокан, принялся сочинять таксу для православных. При виде этой перемены молокане только ухмылялись, но упорно молчали. Так «молоканский вопрос» и канул в вечность.

V

Абрам Петрович как сказал, так и сделал. На другой день, часов в шесть утра, он был уже у меня. Приехал он на той же самой лошади, на тех же самых дрожках, на которых был вчера на Микишкиных болотах. Он опять подъехал шагом, громыхая бляхами, только на этот раз он был не один, а с Николаем Суетным, сидевшим сзади него с кошёлкой в руках.

— Привез, утку привез! — крикнул Суетной, увидав меня сидевшим на крылечке.— Вота она, всю дорогу орала... Спроси хошь свата!

Но сват не обратил даже внимания на слова Суетного. Увидав меня, он остановил лошадь, передал вожжи свату, приказал ему поставить коня в холодок, не торопясь слез с дрожек, расправил поясницу, степенно подошел ко мне и снял фуражку.

— Доброго здравия-с,— проговорил он.

— Здравствуйте.

— Благополучно ли изволили дойти вечор-с?

— Отлично.

— Устали небось. Сват сказывал, что дичи да рыбки купили у него... Поди, тяженько было?

— Своя ноша не тяжела.

— Это точно-с.

Я встал и пригласил Абрама Петровича в комнату.

— Благодарим покорно-с,— проговорил он.

Но войти в комнату не торопился. Он опять снял картуз, вынул из кармана ситцевый платок, отер пот с высокого, открытого лица и, глядя на безоблачное небо, проговорил:

— Благодать-то какая-с... теплота-то какая! Все живет, все дышит... Земля как парник какой! сейчас полями проезжал — душа не нарадуется... Ежеминутно господа бога благодарить надо... Сколько щедрот-то! И дождями землю орошает и солнышком согревает. Давно ли, кажись, яровые-то в землю брошены, а теперь посмотри-ка: раскустились так, что галку не увидишь в них. Великие богатства обещают поля, только теперича надо просить создателя небесного, чтобы милосердие свое довершил, чтобы по грехам нашим гневом своим справедливым не посетил нас.

И вдруг, переменив тон, спросил, защурив глаза:

— Ржицу-то теперича посмотреть прикажете али после-с?

— А вот погодите, чайку напьемся.

— Как угодно-с... По мне, пожалуй, я и не глядя куплю-с, потому хлеб известен-с.

— Нет, все-таки посмотреть нужно.

— Как угодно-с.

— Известно, посмотреть лучше, сват,— проговорил Суетной, тоже подойдя к крыльцу с кошёлкой в руках.— Ну, вот тебе и утка,— добавил он, обращаясь ко мне и подавая кошёлку.— На, бери, владей... Береги мотри...

— Еще бы не беречь золото такое! — иронически заметил Абрам Петрович.

— Золото, сват, золото.

— А коня-то поставил?

— Поставил, сватушка, поставил... не сумлевайся, под навесом стоит там на конном... разнуздал и сенца бросил.— И потом, вдруг обратясь ко мне и кивнув головой на Абрама Петровича, проговорил: — Ведь дал.

— Что такое? — спросил я.

— Нешто забыл! двести рублей-то, на избу-то...

Но Абрам Петрович даже головой покачал.

— Не я дал тебе, сват, а долг человеческий! Чего тут такого удивительного! Вот если бы я не дал тебе, имея возможность дать, ну тут подивиться было бы чему. Я бы, к примеру, тонуть стал, а ты бы взял да руку мне подал... неужто такому твоему поступку дивиться надо было бы. Это был твой долг. Коли мы друг другу помогать не будем, так нечего нам и людьми называться... тогда место нам не в избах, не в домах, а, с позволения сказать, в свиных хлевах... вот где...

— Спасибо, сватушка, спасибо! — тростил между тем Суетной.— Такое спасибо, что по гроб жизни не забуду. Только вот горе-то,— обратился он ко мне,— деньги-то дал, а расписки не берет... уговори хоть ты его...

— Как не берет? — спросил я.

— Так и не берет... Сват, успокойте вы меня, возьмите расписочку...

— Будет тебе городить-то...

— Сватушка! в смерти, в животе бог волен,— говорил Суетной, стоя перед Абрамом Петровичем без шапки и отвешивая ему низкие поклоны.— Яви божескую милость, возьми расписку. Бог знает, что будет впереди-то... Может, зазнаюсь я, совесть потеряю в больших-то хоромах.

— Будет, будет тебе... нечего и барину надоедать пустыми

этими разговорами. Я сказал тебе: отдашь — хорошо, а не отдашь — еще лучше, потому что тогда душе моей еще больше спасения будет... Вот тебе и все.

Николай Суетной только руками развел.

— Знакомая комнатка-с,— проговорил Абрам Петрович, вздохнув, когда мы вошли в залу.— Вот на этом самом кресле генерал покойник сидеть любил. Сидит, бывало, да так-то в окошечко посматривает.

Мы уселись за чайный стол.

— Вы как, внакладку или вприкуску пьете? — спросил я.

— Признаться, я пью с медком-с...

— Ну, меду у меня нет...

— Так позвольте вприкусочку-с.

Как ни был счастлив Суетной, как ни сияло радостью лицо его, как ни был он разговорчив и весел, а все-таки войти в залу и сесть с нами за чайный стол он отказался наотрез и остался в передней. Как-то боком уселся он на конник[9], положил одну ногу на другую, поставил на тот же конник чашку с чаем и суетливо, словно белка, откусывая сахар, еще суетливее подносил к губам обеими руками чайное блюдечко. Абрам Петрович, наоборот, держал себя с достоинством, солидно. Он сидел на кресле и, уставив блюдечко на все пять пальцев левой руки, втягивал в себя чай, закрыв глаза. Отказываться он начал от чая после первой же чашки, что не мешало ему, однако, выпить их штук до десяти.

— Я все про вашего покойного дядюшку, про генерала вспоминаю,— проговорил он, откусывая сахар.— Суровый был, но зато и разум большой имел... Как он этих самых разделов крестьянских не любил! Бывало, вспыхнет весь, затрясется, задрожит, когда к нему придут позволения на раздел просить. Затопает ногами, за волосы себя схватит и давай костерить на чем свет стоит... «Подлецы вы, кричит, олухи, дурачье!» И сейчас, бывало, за веником побежит. Принесет веник, принесет прутик какой-нибудь и опять к мужикам: «Смотрите, говорит, дурачье! Вот вам прутик, а вот вам веник, то есть несколько прутьев, связанных в пучок... Ну, говорите теперь, что сломить легче: прутик али веник. Так-то и семья. Одиночка — это прутик, а веник семья!» Обругает, бывало, да со двора долой...— И, переменив тон на презрительный, он добавил: — А теперь-то мудрое наше начальство готово и одиночек-то надвое перерезать... Что это такое, ваше высокоблагородие, порядка у нас нет никакого, ни в ком-то разума

нет. Кого хотите возьмите, и сейчас вы увидите, что в человеке нет разума. Посмотрите хошь на мужика. Ничего себе, мужик как мужик: и грязный, и неумытый, и сквернослов, и кабак помнит, и зубоскал, а вывернешь его наизнанку, так индо руками разведешь... Вот-как-то недавно я в немецкой колонке был... Меня даже досада взяла, как эти немцы аккуратно дело ведут. И нельзя ведь сказать, чтобы народ уж очень умный был, пожалуй, глупее много мужика нашего, а насчет аккуратности говорить нечего, молодцы. Живут — посмотреть любо. Домики чистенькие, перед каждым домиком садик, улицы выметены, вокруг кирки чистота, колодцы, мостики, больничка есть, аптечка, школка небольшая, труба пожарная... едят сладко, спят мягко! А рядом русское село... Смотреть тошно! И земли столько же, сколько у немцев, село казенное, и земля одинаковая, и река тоже протекает, а смотреть тошно. Избы грязные, крыши соломенные, в ограде церковной телята поповские, навозищу полны дворы, едят скверно, спят во вшах... да чего! Больше половины села у немцев в работниках живет... Я даже заплакал... скорее на лошадь, и дай бог ноги. Заходил я и в правление ихнее, порассмотрел все, порасспросил... У них и общественный капитал есть... А у нас? Вот у нас в волости три кабака, дают они дохода тысячу восемьсот рублей в год... Вот уже шесть лет кабаки платят нам деньги эти... ведь это десять тысяч восемьсот рублей, говорят! Ведь какой капитал-то... На случай беды какая бы подмога-то была! А у нас все-то эти денежки тем же путем да опять туда же, в кабак. Дураки мы, как есть дураки... Дали нам волю, а мы взяли да на малый надел пошли, земли испугались... А вы, поди, и сами знаете, каково жить-то на малом-то наделе. Да вот, возьмем хошь свата в пример. Вы, кажись, изволили быть у него?

— Был.

— Изволили видеть избенку-то?

— Видел, избенка незавидная.

— А ведь вот человек и не пьяница и не мот. Двадцать лет он в этой избенке-то прожил, двадцать лет трудился, покоя себе не знал, а накопил, вишь, всего триста рублей... ведь это по пятнадцати рублей в год выходит только. Каково же жить тому, кто, окромя хлебопашества, никакого себе занятия не имеет? А кто виноват, как не общество, как не наши глоты да мироеды. Повесить их за такое дело и то мало. Дали нам и самоуправление. «Нате, говорят, управляйтесь сами! Выби-

райте себе старшин, старост, судей, сборщиков... собирайте сходы, думайте, как бы лучше свои мирские нужды приладить!» А мы набрали такого народу, что всех-то их в омут затолкать и то не жалко. Общество — великое дело, оно и думать должно по-общественному. Тут должно быть все сообща, не об одном себе думать, а обо всех: помогать друг другу, исправлять друг друга, уму-разуму учить... А мы-то из-за какого-нибудь клочка сена, из-за какой-нибудь борозды лишней готовы друг на друга войной идти. Придешь на этот сход-то: послушаешь, посмотришь да плюнешь... Какие это рассуждения, когда только и норовят как бы с кого побольше водки выпить! Нет-с, при таких порядках с обществом и связываться нечего, а лучше всего от него, как от греха, подальше-с...

Проговорив это, Абрам Петрович опрокинул чашку на блюдечко, положил на дно чашки обгрызенный кусочек сахара, встал, отер руку о платок и, подав мне ее, проговорил:

— Покорнейше благодарим.

Показался в дверях передней и Суетной.

— Спасибо за чай и за сахар, спасибо, спасибо.

— Ну-с, а теперь пойдемте рожь смотреть...— проговорил я.

Немного погодя мы были уже в амбаре.

Хотя Абрам Петрович и говорил, что рожь моя была ему известна, что видел ее и на корню, и во время уборки, и даже в сусеках, тем не менее он принялся осматривать ее с таким усердием, как будто не имел об ней ни малейшего понятия. Он лазил по всем закромам, совал руку в хлеб по самое плечо, вытаскивал со дна зерна, нюхал, жевал их, вскидывал на руке, перевешивался всем туловищем через закрома, так что одни только ноги торчали, заставил проделывать все это и свата и наконец, весь обливаясь потом и едва переводя дух, объявил, что хлеб осматривать нечего. Затем, немного отдохнув, он принялся за торг... Торг производили мы тут же, возле амбара, на открытом воздухе, причем Суетной немало способствовал скорейшему окончанию его. Босоногий, без шапки (шапку он оставил в передней, а сапоги не надевал, потому что «от них, от жидов, только нога потеет»), он толошился возле нас, подбегал то ко мне, то к свату, и все уговаривал: меня — скостить с цены, а свата — накинуть.

Наконец дело сладилось... Мы ударили по рукам, причем Суетной крикнул: «В час добрый!», и Абрам Петрович купил

у меня рожь, выдал мне задаток (это называл он «озадачить человека»), обещал завтра же прислать за хлебом подводы и привезти остальные деньги. Вдруг шум! За амбаром послышался грохот, звон колокольчиков, бубенцов-глухарей, конский топот, и из-за угла амбара, окруженный облаком пыли, вынесся тарантас. В тарантасе, подбоченясь, сидел какой-то барин в летней парусинной паре и в фуражке с красным околышем. Барин метнул глазом и крикнул кучеру: «Стой! стой!»

Тройка остановилась.

— Николашка! поди сюда! дичи тащи...

— Да ведь я вечор вам доставил,— проговорил Суетной, подбегая к тарантасу.

— Эко, хватился... Гости были и съели все... Чтобы завтра же дичь была на кухне, а то после завтраго мое рождение...

— Хорошо, как попадется...

— Чтобы попалась... понимаешь!

— Слушаюсь.

— И сазан чтобы был, вот этакий большой...

И барин развел руками аршина на два.

— Да ты не вздумай щуку какую-нибудь притащить...

— Не ловятся они, сазаны-то...

— А ты поймай.

— Хорошо, как...

— Ну, вот тебе и хорошо... Чтобы было...— И потом, понизив голос, спросил: — Абрашка-то чего тут мудрит?

— Рожь купил...

— У кого?

— У барина здешнего.

— Это барин в шляпе-то?

— Барин.

— Как зовут?

Николай сказал.

— Давно приехал?

— Нет, недавно, вишь...

— Слушайте-ка, вы, сосед дорогой! — крикнул барин, обращаясь ко мне.— Вы не очень этому архиерею-то доверяйтесь! Шельма естественная!

Абрам Петрович только улыбнулся снисходительно.

— Такая-то бестия, каких свет не производил... Недаром молокане в архиереи его произвели... Почем продали?

Я сказал цену.

— Ну, вот и продешевили!

— А вы, сударь, почем продали Медведеву-то? — спросил Абрам Петрович.

— Да уж подороже...

— Так ли-с?

— Известно, так.

— Не дешевле ли копеечек на двадцать?

— Кто это тебе сказал! Кто это тебе сказал!

— Да уж мы-то знаем-с...

— Знаем! — передразнил его барин.— Молоканские обедни служить — это ты точно знаешь, а больше ничего! Тоже знаем-ста! Ох уж ты... ваше преосвященство...— И затем, снова обратясь ко мне, крикнул: — Слушайте-ка! Разве так люди порядочные-то делают?

— Что такое?

— Живете у меня под носом и не можете заехать...

— Я еще ни с кем не знакомился...

— Вот, после завтраго приезжайте... всему миру свидание будет!

— Может быть...

— Ну а ты, сыч галанский,— прибавил он, обратясь к Суетному,— чтобы дичь и сазан у меня завтра же... слышишь?

— Надо постараться.

— Смо-отри!

— Надо постараться!

— То-то!.. Пошел! — крикнул он.

Кучер свистнул, ахнул, тройка помчалась, и шум снова раскатился по окрестности.

— О ревуар! — долетело до меня, и тарантас скрылся.

— Жигулевский барин это, что ли? — спросил я Абрама Петровича.

— Узнал? — подхватил Суетной.

— Еще бы не узнать...

— Его сразу узнаешь... приметный...

— Шелуха как есть! — заметил Абрам Петрович презрительно и, протянув мне руку, прибавил: — Ну-с, а затем счастливо оставаться. Завтра пришлю подводы и остальные деньги доставлю-с.

— Хорошо.

Николай Суетной сбегал между тем за лошадью, подъехал на ней к амбару, сидя на дрожках боком, и крикнул:

— А вот и лошадка ваша, сватушка дорогой.

— А ты как, сват? — спросил его Абрам Петрович.— Со мной, что ли, поедешь али домой запрыгаешь?

— Я домой, сват, вишь ведь, слыхали... надо сазана поймать да дичи настрелять.

— Известно, надо... Чего ему в зубы-то смотреть... Гладь с него — благо жрать здоров.

Немного погодя Абрам Петрович сидел уже на дрожках. Он надел опять зеленые замшевые перчатки, разобрал вожжи и, еще раз простившись со мной, медленным шагом отправился по направлению к селу Жигулям, а Суетной побежал в дом за оставленной шапкой.

VI

Года через два после описанного на усадьбу Суетного любо было посмотреть. С помощью трехсот рублей, накопленных в течение двадцатилетних трудов, и двухсот рублей, ссуженных сватом, он так хорошо обстроился, что все дергачевские крестьяне с завистью посматривали на его усадьбу. Она состояла из избы о двух половинах, срубленной из прямых сосновых бревен, амбара, конюшни и погребицы. Все это соединялось между собой плотным плетнем с навесами и представляло собой квадратный двор с тесовыми воротами и таковою же калиткой. Изба была о трех окнах, с наличниками, расписными ставнями, с тесовым коньком и соломенной крышей, залитой раствором глины. Вследствие этого, крыши у Суетного всегда были в порядке, не растрепаны, а наоборот, словно напомаженные и тщательно приглаженные. Позади усадьбы, вплоть до реки Дергачевки, тянулся огород, обрытый канавой и обсаженный ветлами, а на берегу реки был разведен небольшой садик с несколькими деревцами яблок и вишен. Когда усадьба была отстроена, Суетной пригласил священника, отслужил молебен с водосвятием, попросил батюшку окропить св<ятой> водой все строение, скотину и все свое добро. Угостив как следует батюшку водочкой, пирогом и рыбой, Суетной позвал на другой день и соседей. Отпраздновали новоселье Суетного и мы с Абрамом Петровичем.

— Вишь, вишь, какая веселая изба-то! — восхищался

Суетной.— Умирать не надо... вишь, как солнышко-то играет!

И действительно, изба отличалась и светом, и чистотой. Лавки были широкие, сосновые, чисто выстроганные, стены тоже, большая русская печь тщательно выбелена. В избе не было ни соринки, весь мужичий хлам прибран. По стенам виднелись картинки, какие-то пучки сухих трав, висели рыболовные снасти, как-то: удочка, жерлики, перемёты и тут же знаменитый «турецкий мушкетон». На окнах мотались клетки с птичками, и птички эти до того громко распевали, что даже заглушали человечьи голоса.

Вся эта усадьба помещалась не в селе Дергачах, а на выгоне, отступя от села на несколько десятков сажен. Кругом усадьбы зеленела травка. А прямо перед окнами избы росла прелестная пушистая ракита. Новая усадьба Суетного смотрела так весело и так было вокруг нее чисто и просторно, что место это сделалось самым любимым гульбищем дергачевских обитателей. Сюда собирались по праздникам толпы разодетых баб, девок и парней и шумно водили хороводы. В улице и пыльно и душно, здесь же, на выгоне, и воздух был чистый, и пыли не было.

Немалых, однако, трудов стоила эта усадьба Суетному. Несмотря на близость железной дороги, он ни одного бревна не привез по чугунке (лес приходилось покупать в городе), рассчитав, что привезти лес на собственных своих лошадях было хотя и хлопотливее и шемкотнее, но зато выгоднее. Целую зиму он возился с этим лесом, словно муравей, и наконец, натаскав его достаточное количество, принялся за постройку. Рубить избу он нанял плотников, сам же принялся за плетни, навесы, вереи[10] и ворота. Работа кипела; глядя на Суетного, не дремали и нанятые плотники, и к празднику пасхи Николай перешел уже в новую избу.

Когда я познакомился с Николаем, ему было лет сорок. Семья его состояла всего из трех лиц: самого Суетного, жены его Афросиньи и сына Нифатки. Николай был небольшого роста, худой, но до крайности живой, энергичный и суетливый. Насколько сват его Абрам Петрович держал себя степенно и важно, настолько Суетной, наоборот, тормошился и в движениях своих так же, как и в разговоре, был резок и угловат. Абрам Петрович начнет говорить, так бровью не поведет, речь журчала ручейком, а у Суетного во время разговора все лицо ходенем ходило, небольшие серенькие глазки бегали,

губы подергивались и приводили в движение и редкие тараканьи усы, и жиденькую клинообразную бородку. Абрам Петрович ходил медленно, прямо, выпячивая живот, а Суетной, нагнувшись, быстро, словно бегал и на бегу прискакивал, махал руками и поминутно озирался по сторонам. Зато он, бывало, увидит непременно и мышонка, нырнувшего в норку, и ястреба, парившего под облаками, и перепела, притаившегося в траве. Говорил он так же, как дьячки часы читают, сыпал словами, сопровождал разговор поясняющими жестами, и язык его словно не поспевал за мыслью.

Охотник Суетной был страстный и неоценимый. Он знал, где и в какое время держатся бекасы, дупеля, гуси, куропатки, утки; знал, когда преимущественно берет лещ, окунь, головль; подслушивал, где именно «квохчут сомы», ставил на это место перемёт, и сомы попадали на крючки. «Вот здесь беспременно заяц будет!» — скажет, бывало, указывая на какой-нибудь кустик полыни, и действительно, заяц поднимался именно из этого куста. Собак ружейных Суетной не любил, уверял, что собака только «пужает дичь» и что сам он и разыщет и достанет дичь лучше всякой собаки. Идешь, бывало, с ним по лесу во время весеннего пролета вальдшнепов и вдруг видишь, Суетной махает руками. «Что такое?» — «Вишь, напакощено — тут и ищи!» И точно: сделаешь два-три шага, и из-под ног поднимался вальдшнеп.

Суетной предсказывал бурю, грозу, дождь, засуху, и предсказания его почти всегда сбывались. «Завтра дождь будет,— скажет, бывало,— лопух запрокинулся!» И потом тут же прибавлял: «Опосля дождя этого подгруздник пойдет, надо будет в лес сбегать!» — и смотришь: на другой день, действительно, пролил роскошный дождь, обильно смочил землю, а дня через три Суетной тащит уже громадный кузов, доверху наполненный белыми подгруздниками. «На-ка,— скажет, бывало,— посолить вели, они скусные, не хуже груздей настоящих»,— и, поставив кузов, поспешно уходил. «Куда же, постой!» — крикнешь ему, бывало, но Суетной махал руками и кричал: «Недосуг, бегу лен прополоть: трава совсем заглушила после дождя!»

Подобные люди, склонные к созерцанию явлений природы, большею частью подвержены мечтательности в ущерб обыденным хозяйственным занятиям, но Суетной и в хозяйстве своем был тем же неутомимым и тягучим. Занимаясь охотой, грибами, рыбной ловлей, он и в хозяйстве своем ни-

чего не упускал из вида. Хлебопашца усерднее Суетного не было, кажется, во всей округе. Он снимал землю у соседних землевладельцев и только в крайних случаях прибегал к найму работников. Он и сын его Нифатка делали все сами, собственными руками своими. Сами пахали, сеяли, сами косили, сами молотили и сами же свозили хлеб свой на базары. Эта страсть избегать чужой помощи и все делать самому доходила в Николае до смешного и упрочила за ним навеки кличку «Суетного», данную ему дергачевцами. Он не гнушался даже бабьими занятиями, и, когда жене его Афросинье случалось хворать, он лично исправлял все женские хлопоты. Сам стряпал, сам месил тесто, сам доил коров и даже сам мыл белье на реке. Возьмет, бывало, коромысло на плечи, навешает белья, залезет по колено в воду и давай полоскать. Бабы соберутся, хохот подымут, а Суетной в ус себе не дует, выполощет белье, схватит валек да так примется выколачивать, что даже брызги летят во все стороны. «Ах, Суетной! Ах, Суетной!» — говорили бабы, помирая со смеху.

В свободное от полевых занятий время Суетной занимался охотой, ходил в лес, собирал ягоды, грибы, сушил их и затем вез все это в город и продавал. Он собирал какие-то травы, лечил от водобоязни, ловил сетями перепелов, куропаток, а с наступлением зимы пускался в извозы и ставил капканы. Зайцев ловил он в громадном количестве и торговал как шкурками их, так и тушками. Волки попадались, конечно, реже, но все-таки не проходило ни одной зимы, чтобы он не поймал двух-трех волков.

Жена Суетного Афросинья была женщина хилая, болезненная, но даже и эта хилость не мешала ей хлопотать с утра и до ночи. Только тогда, когда становилось ей не под силу, она оставляла работу, забиралась на печку и с печки этой не слезала вплоть до выздоровления. Афросинья одевала всю семью свою. Она ткала холсты, сукна, шила рубахи, зипуны, и во всем доме не было ни одной покупной одежды.

Нечего говорить, что на Нифатке сосредоточивались все симпатии семьи Суетного. Сам Николай начал восторгаться им чуть ли не с первого дня его появления на свет, и, по мере того, как мальчик рос, росло и восхищение Суетного. Он выделывал ему удочки, ветряные мельницы, а как только начинала приближаться весна, как только начинала синеть река, поднимая и вспучивая ледяные свои покровы, так Суетной с Нифаткой со двора не уходили. «Смотри, смотри, Нифатка,—

крикнет, бывало, Суетной, указывая в воздушное пространство,— смотри-ка, сколько журавлей-то летит, слышишь, как кричат!» И Нифатка поднимал голову, смотрел на летевшую угольником стаю журавлей и прислушивался к их звонкому крику, сливавшемуся со стоном реки и грохотом ломавшихся льдин. И оба радовались наступлению весны. На посевы Суетной стал брать своего Нифатку чуть не с пятилетнего возраста. Рассеет, бывало, зерна по вспаханной земле, запряжет лошадь в борону, посадит Нифатку верхом и крикнет: «Ну, подлец, боронуй!» И Нифатка с серьезным видом, с растопыренными врозь босыми ножонками, принимался ездить взад и вперед по загону и забороновывать посеянное отцом.

Когда Нифатке минуло лет девять, он сделался уже не на шутку помощником отца. Забороновывать загон он отправлялся уже один, один убирал скотину, привозил с гумна солому. Он умел и лошадь запрячь, и прорубь прорубить, и лапти сплесть, и дров приготовить. Тоже, как и отец, он был постоянно занят и тоже, подобно отцу, в свободное время или бежал на реку рыбу удить, или в лес за грибами, или же брал сети и ловил птичек.

Но забавы эти скоро прекратились.

Как-то раз осенью Суетной, возвратясь из города, привез азбуку. «Ну, подлец Нифатка,— проговорил он,— будет тебе баклуши-то бить, ныне неграмотному человеку житье плохое. У нас точно нет училища, а вон в городе посмотрел я, что ни улица, то школа. Мальчишки и девчонки то и дело с книжонками попадаются, есть и такие, что заборы переросли, бороду, усы бреют, а все-таки с книжками идут. На-ко вот и тебе книжку, азбукой она прозывается... Нечего нам с тобой от людей-то отставать... Валяй-ка завтра к дьячку Меркулычу, читальщик он ловкий, и чтобы к светлому празднику ты у меня читать умел. Слышишь, что ли?» — «Слышу!» — проговорил мальчик, и на другой же день утром, убрав скотину, побежал к дьячку с азбукой под мышкой. Суетной ни разу не спросил у сына: хорошо ли идет учение? Ставил себе капканы, ловил волков, ездил в город. Только в городе, бывало, как только увидит какого-нибудь мальчугана с книжками, так сейчас добродушно улыбнется, остановит мальчика, погладит по голове и проговорит: «Учись, клоп, учись, и у меня вот такой же парнишка тоже учится!» И долго, бывало, смотрит вслед маленькому школьнику.

Но каково же было изумление Суетного, когда, придя на пасху к заутрене, он услыхал на клиросе знакомый голос, а заглянув в ту сторону, увидал своего Нифатку, читающего толстую церковную книгу. «Молодец, Нифатка!» — заорал Суетной на всю церковь, но, увидав, что народ обернулся и с удивлением смотрит на него, а священник так даже церковную занавесь отворотил немного, Суетной переконфузился, вышел поспешно на паперть и только там, окутанный со всех сторон мраком ночи, решился отереть радостную слезу, навернувшуюся на глаза.

На другой год Нифатка выучился писать. Правда, писал он безграмотно, криво, часто пропускал не только буквы, но даже целые слога, но тем не менее Нифатка сделался в селе Дергачах необходимым человеком. Его стали водить в волостную, и там, усевшись за стол, он засучивал рукава, а то так и вовсе снимал мешавшую ему одежду, и неумелой рукой, потея и выводя губами какие-то гримасы, расписывался за неграмотных. Без Нифатки не обходился ни один контракт, ни одно условие, и хотя он даже и не знал содержания подписываемого им документа, но тем не менее серьезно «отбирал руки», расписывался, и общество села Дергачей видело в нем твердую свою опору. «Грамотей, как следует,— говорили все,— теперича с ним как у христа за пазухой!»

Дальше, однако, грамотность Нифатки не пошла, так как и сам дьячок Меркулыч более этого ничего не смыслил, а школы в селе Дергачах, не отстававшем от других подобных ему сел и деревень, не было.

Глядя на столь добродушный характер Суетного, ничего нет удивительного, что и в отношениях своих к обществу, к миру, то есть, он сохранял ту же мягкость и покорность. Он уважал волостного старшину, уважал писаря, старосту, сборщика, судей не потому, что каждый из них занимался отправлением известных обязанностей, а потому, что они были избранниками «обчества». Насколько Абрам Петрович сторонился от общества, не признавал его авторитетности, даже презирал его за неспособность, настолько, наоборот, Суетной прислонялся к этому обществу, как к теплой печке, которая и отогреет и обсушит. На общество, как соединение нескольких единиц, Суетной смотрел как на семью или как мой дядя на тот веник, о котором рассказывал Абрам Петрович. «Как можно,— говорил Суетной,— один человек или «обчество!» Одного-то человека сейчас подшибить можно,

а обчество-то небось не скоро подшибешь. Все одно что в обозе ехать — аль одному. Один-то едешь, и недобрый человек тебя и обидеть может, и метель закрутит тебя, завертка лопнет, так и ту не скоро справишь, а в обозе, с людьми все нипочем. Как возможно, один человек аль обчество!» Суетной не пропускал ни одной сходки и хотя на сходках этих не принимал участия ни в прениях, ни в распитии водки, а все-таки шел, садился на завалину и слушал, что говорили старики. Соберутся, бывало, дергачевцы мирской покос делить. Чтобы сравнять каждого, делили этот покос по числу имеющейся скотины, полосками, соображаясь с качеством травы, и потому приходилось то здесь махнуть косой, то в другом, то в третьем месте. Работа страшная. Измерение производилось шагами и продолжалось по нескольку дней. Сколько, бывало, травы помнут, сколько времени потеряют, сколько «греха на душу возьмут», а Суетной все-таки верил в необходимость такой дележки, и только головой покачивал, когда, однажды случайно попав на эту дележку, Абрам Петрович принялся ругать на чем свет стоит все «обчество». «Ну чего время-то зря проводите,— говорил он,— чего траву-то мнете! Скосили бы луг всем обществом, сметали бы траву в копны, да копнами бы и делили!» «Упрямый человек,— говорил про него Суетной,— все-то у него не по-людски делают, а как можно по-другому, коли все «обчество» так порешило!»

Случился как-то пожар в Дергачевке. Принялись гореть избы одна за другою, прискакал старшина и давай колотить народ палкой... Прибил и Суетного за то, что прибежал с пустыми руками. Суетной только поклонился старшине, поблагодарил за «науку», а приехал Абрам Петрович и совсем по-другому заговорил: «Прежде бы, ваше степенство, колотили, чтобы у всякого струмент нужный был, да и себя-то самого за то, что нет у вас ни трубы, ни багров... а теперь уж колотить поздно!» Нечто вроде этого случилось и во время одного молебствия о дожде. Долго дождя не было, собрали сходку и порешили молебствовать. Подняли образа, позвали попа и давай таскать его по полям, да на бога роптать. Мимо проезжал Абрам Петрович, услыхал этот ропот. «На себя, говорит, ропщите... на ваши поля хоть целое лето дождик лей, и все-таки толку не будет!» — «Это как так?» — загалдело несколько голосов. «Известно как! Коли земля кое-как всковырена, не вовремя засеяна, да вся-то пырьем заросла, так тут бог-ат ни при чем!» Мужики обиделись, передали эти

слова старшине и потребовали Абрама Петровича к ответу Но на сходку Абрам Петрович не пошел, он только вынул рублевку и, передав ее посланному за ним старосте, сказал: «По сходкам шататься мне недосуг, у меня дела много, а вот вместо себя посылаю вот эту грамотку, кушайте на доброе здоровье!» Вино было выпито и оскорбление забыто. Долго Суетной удивлялся этой выходке. «Ишь ведь,— говорил он,— обчество образа поднимает, а он вон куда загнул!»

Будучи всей душой предан «обчеству», Суетной избегал только быть избранным на какую бы то ни было общественную должность. Раз выбрали его в сельские старосты, так Николай дня три поил стариков водкой, целую «пятишницу» потратил и уж кое-то как выпоил себе «ослобождение». Другой раз выбрали его в судьи, но Суетной и от судейства избавился. На этот раз выкупом был общественный мост через реку Дергачевку, протекавшую как раз посреди села. Он обязался исправить этот мост на свой счет. Целую неделю и он и Нифатка провозились с этим мостом, сколько одного хворосту да назьму перевозили они на «подчатку», топор сломал, долото в воду упустил, а дергачевцы только зубы скалили: «Что,— говорили они,— попался! Погоди еще, мы тебя в старшины выберем!» Посмеялся над ним и Абрам Петрович. «Вишь, анжинер, мост-то какой поставил,— говорил он, проезжая на своих дрожках,— хоть сейчас губернатора подавай, так и тот спасибо скажет».— «Как же быть, сватушка, дело обчественное!» — говорил Суетной. «А коли обчественное, так пускай все общество и работает, а не один человек».— «Нельзя, сват, не уравняешь никак. Вон та половина села по мосту скотину гоняет, а эта нет. Один по мосту то и дело ездит, а другой раз в год!» — «То-то я говорю,— заметил сват,— что вы изо всякого дерьма, с позволения сказать, друг на друга готовы войной идти. А долго ль всему-то обществу мост починить... Полдня всего!»

Не участвовал, бывало, Суетной и в съемке земли с обществом. Дергачевцы снимали землю по нескольку сот десятин, целым селом, за общей круговой порукой, выбирали для этого уполномоченных, которые и заключали от себя условия с владельцем земли. Имя Суетного хотя и значилось всегда в числе других домохозяев, но земли этой он никогда не брал. «Нет, братцы,— говорил он,— уж вы возьмите мою землю себе, платите за нее, а меня ослобоните, потому я в другом

месте взял». Общество на это охотно соглашалось, и Суетной производил свои посевы особняком.

— Почему же ты так делаешь? — спросил я как-то Суетного.— Сам же ты говоришь всегда, что сторониться от общества не приходится.

— Ну, в этом деле никак нельзя, братец.

— Отчего?

— А вот отчего... дележка неспособная.

— Чем?

— Вот чем. Сам знаешь, земля неровная, эта десятина хорошая, эта пырьистая, эта с «соланчиком», эта с камушками, тут лощинка, там дорога, в другом месте сурчинка, в третьем — западина — весной вода долго стоит... уравнять-то ее трудно. Вот обчество и делит ее полосками, чтобы никому не обидно было... иной раз такая полоска выдастся узенькая, что с бороной по ней не проедешь... Нешто так возможно! И с сохой-то ты мечешься по разным местам, и с бороной-то... То тут попашешь, то в другом месте... на одни переезды сколько времени уйдет... Да и греха-то не оберешься...

— Какого же греха?

— Как какого? Крик, шум, драка... Перепутают эти полоски, ну и пойдет кровопролитие... А когда я особняком-то сниму, так и польце-то у меня все в кучечке, в одном месте, соху мне не перетаскивать, и идет она у меня, моя голубушка, своим порядком, прямехонько, словно кнутом ударили. И крестцы у меня не разворочены, и снопы целы...

— А там-то неужто воруют...

— Да ведь обчество, сам знаешь, всякого народу много...

VII

Как, однако, ни хлопотал Суетной, как ни надрывал свои силы над работой, а все-таки лишнего гроша никогда у него не водилось. Правда, изба у него была красивая, светлая, двор плотно и прочно огороженный; правда, на конюшне у него стояли две плотненьких круторебрых лошадки; имел он корову с подтелком, десяток овец, и все-таки кончилось тем, что он едва концы с концами сводил!

— Что ты станешь делать! — говорил он, бывало, разводя руками.— Ничего не поделаешь... Кабы сыновьев побольше

было, а то один Нифатка, да и тому восемнадцать лет всего еще... Вот постой-ка, женю его, тогда совсем статья иная пойдет...

— Какая же иная-то?

— Работница лишняя... Уж я небось плохую не выберу... Вот, постой-ка, теперь уж не долго ждать... На будущий год осень и женим... Будь-ка у меня два, три сына, я какой бы посев-то махнул... В носу бы зачесалось... Робят бы в поле послал, а сам бы иным делом занялся... Пчельник бы развел, а то ветрянку бы построил... Эти ветрянки нашему брату мужлану большущее подспорье... Сиди себе да помол собирай... Глядишь и прокормил бы семью чужим хлебушком...

— За чем же дело стало... Вот женишь сына — и валяй...

— Управка не берет... «пенензев» этих проклятых нет... А то, бывало, прибежит и давай охать:

— Ах, ах...

— Что охаешь? — спросишь его.

— Лошадку больно хорошую на ярманке видел! И не дорога была... Всего за пятьдесят монет пошла... Уж такая-то лошадка, что надо бы лучше, да некуда: грудистая, толстоногая, круторебрая...

— На что тебе лошадь? ведь у тебя и так две.

— Как это ты так рассуждаешь, милый человек... Будь-ка у меня три-то лошади, у меня и работы спорее пошли бы, да и в извоз-ат на троем бы ездил...

— Так что же не купил?

— Купилы нет... Пенензев нет. (Деньги Суетной называл пенензами.) Ну уж и лошадка! Всю ярманку с нее глаз не сводил... А когда купили-то ее да с ярманки повели, так меня индо слеза прошибла... Поп какой-то подхватил...

Несмотря, однако, на таковое отсутствие «пенензев», гостеприимнее Суетного трудно было бы встретить человека. Бывало, не знает, как принять, чем угостить... И рыбы, и дичи подаст, и медом накормит, и грибов, и ягод наставит...

— Зачем это ты делаешь? — спросишь его, бывало.

— А как же по-другому-то?

— Жалуешься все, что денег нет, а сам ради гостей не жалеешь ничего...

— Да ведь все свое... Рыба своя, дичь тоже, мед тоже не купленный... целых три колодки на огороде торчит...

— Можно было бы продать все это...

— Ну, братец, всех денег не наберешь... Уж на этом-то не разбогатеешь...

Суетного навещали и старшина, и писарь волостной, и земский фельдшер, которого Николай называл почему-то аптекарем, но чаще всего навещал его приходский поп. Как, бывало, захочется попу этому поесть послаще, так он и к Суетному, да не один еще, а с матушкой, во время же каникул и сына захватит. А сын был семинарист здоровенный, пучеглазый, из философского класса, рот чуть не до ушей, нос с перехватом, как просфора. «А я к тебе матушку, да детище свое кровное привел!» — проговорит, бывало, толстобрюхенький батюшка, и все втроем сейчас же за стол залезут. Батюшка хоть приличие соблюдал, в карман не клал ничего, а матушка да детище, так те, мало того, что наедятся до отвала, еще полные карманы накладут всякой всячины. «Николаюшко! — проговорит, бывало, матушка.— Ты запасливый такой, нет ли у тебя рыбки залишней, хошь бы судачка солененького мне бы подарил... Я бы вот детище свое угостила. В городе-то там когда бог приведет, народ все жадный, за все денежки подай!» И если у Суетного случалось лишняя рыба или дичь, он спешил удовлетворить просьбу матушки. Наевшись и заручившись провизией, семейство батюшки, легохонько икая и отмахиваясь платочками, возвращалось себе домой. Дергачевские мужики по следу узнавали, когда батюшкина семья у Суетного в гостях бывала. «Ну, три следа,— говорили они, рассматривая следы, отпечатавшиеся на мягкой уличной пыли,— батюшка с матушкой и детищем к Суетному ходили!» «Ах, зубоскалы, ах, зубоскалы!» — проговорил батюшка, узнав как-то про эту выходку дергачевцев.

Как-то раз, зайдя к Суетному, я застал его в большом огорчении.

— Что случилось? — спросил я.

— Да вот корову со двора сводить хотят.

— Кто?

— Обчество старосту присылало... Десять рублей штрафу требуют... «Коли завтра, говорят, штраф не уплатишь, корову сведу!»

— За что же штраф-то...

— То-то вот и дело-то, что ни за что... Вишь ты, какая история вышла. Обчество, значит, землю снимало у купца, «кондрак» написали, и в нем было поставлено, что коли обчество в срок «ренту» не заплатит, то штраф. Дело до суда до-

ходило, полномоченные наши в город ездили, да ничего толку не вышло, штраф все-таки взыскать присудили. Теперича на мою долю и приходится десять рублей.

— Да ведь ты в съеме земли с обществом не участвуешь?

— Вот то-то, братец ты мой, и есть, что в «кондраке»-то[11] и я записан, еще мой Нифатка и расписывался-то, землю-то не беру, а в «кондраке»-то значусь, круговая то есть порука. Как это дело-то вышло, так меня и притянули.

— За что же?

— А вот за этот за самый штраф, что деньги не вовремя заплачены.

— Да ведь тебе платить не следовало?

— Не следовало.

— Чем же ты виноват, что общество просрочило с арендной платой?

— А «кондрак»-то?

— Так ты докажи, что земли не брал.

— Кому же это доказывать-то?

— Ну, мировому прошение подай, объясни, что неправильно требуют, что землею ты не пользовался, что вся земля была в распоряжении общества, что в контракте ты не участвовал...

— Это судиться, значит? — перебил меня Суетной.

— Конечно.

— С обчеством-то?

— Ну, да.

— Нет уж, это опосля когда-нибудь... Нет, брат, с обчеством-то не скоро сладишь...

— Так плати...

— Слова бы не сказал, да пенензев нет. Хочу вот к жигулевскому барину сбегать... Пятишница-то есть у меня, а другой-то пятишницы не хватает.

— Неужели у тебя десяти рублей в доме нет?

Суетной даже фыркнул как-то.

— Чудак ты, посмотрю я на тебя! — проговорил он.

— Воля твоя, я не понимаю. Делаешь ты посевы, промыслами разными занимаешься, а денег все-таки у тебя нет. Ты сколько платишь податей?

— Шестнадцать рублей! с души по восьми рублей.

— Всего-навсего?

— Нет, за «штрафовку» еще пятнадцать.

— За какую это штрафовку?

— За усадьбу по три копейки с рубля штрафовка.

— Отлично. Итак, податей ты платишь шестнадцать рублей, страховых пятнадцать рублей, следовательно, в год приходится платить тебе тридцать один рубль только.

— Верно.

— Как же деньгам-то у тебя не быть?

— А земли-то душевой знаешь сколько? — спросил Суетной.

— Сколько?

— Известно сколько на малый-то надел приходится! Полторы десятины на душу... У меня две души, стало, владею я тремя десятинами... Вот ты с трех-то десятин и плати тридцать один рубль... А чего с нее возьмешь-то, тут и выгон, и усадьба, и гумно...

— А твои посевы на стороне-то?

— Да ведь на стороне-то землю тоже даром не дают...

— Конечно.

— Вот ты и посчитай.

— Давай посчитаем...

Суетной вмиг вскочил с места, бросился к образнице, выдвинул какой-то ящик, постучал, погремел там, достал счеты и подал их мне.

— Бери,— проговорил он,— считай.

Я вооружился счетами.

— Ну, вот теперь клади,— проговорил он.— Под рожь я снимаю шесть десятин по двенадцать рублей. Выходит семьдесят два рубля. Так?

— Так.

— Клади семьдесят два.

— Ну, положил.

— Каждая десятина дает мне пять четвертей. С шести десятин сколько это выйдет?

— Тридцать четвертей.

— Верно... Шесть четвертей покинь на семена.

— Остается двадцать четыре.

— Это много ль составит пудов,— спросил Суетной,— коли в четверти девять пудов считать?

— Двести шестнадцать пудов.

— Ладно. Нас трое едоков, на каждого едока в месяц по одному пуду тридцати фунтов. Сколько же это на всех в год придется?

Я стал считать и вышло, что три едока съедят в год шестьдесят три пуда.

— Шестьдесят три? — спросил Суетной.

— Да.

— А много ли всего-то было?

— Кроме семян, двести шестнадцать.

— Скащивай шестьдесят три.

Я скостил.

— Сколько осталось?

— Сто пятьдесят три пуда.

— Клади теперь... Пуд ржи по средним ценам стоит пятьдесят копеек. Сколько выйдет денег?

— Семьдесят шесть рублей с полтиной.

— Так,— подхватил Суетной.— Значит, со ржи я получу семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек... Теперь давай считать овес. Овса сею я восемь десятин, плачу за землю по десяти рублей — восемьдесят рублей. Овса возьму я с десятины... ну клади хоть десять четвертей, уже это много... Значит, восемьдесят четвертей, на семена надоть накинуть шестнадцать четвертей, четверти четыре на лошадок. Остается, значит, шестьдесят четвертей... Так, что ли?

— Так.

— Ну, почем овес? — спросил Суетной.

— Клади по три рубля.

— Дорого, ну, да пусть будет по-твоему. Сколько денег?

— Шестьдесят четвертей по три рубля составит сто восемьдесят рублей.

— Ладно. Теперь считай: рожь дала нам с тобой семьдесят шесть с полтиной, ну клади для ровного счета семьдесят семь рублей, овес сто восемьдесят рублей. Сколько это?

— Двести пятьдесят семь.

— Теперь клади расход. За шесть десятин семьдесят два рубля, за восемь под овес восемьдесят рублей. Это сто пятьдесят два, мотри?

— Сто пятьдесят два.

— Не мало денег-то! Скости-ка, сколько?

— Сто пять рублей.

Суетной даже в затылке почесал.

— Теперь считай помол... Съедим мы без малого восемь четвертей... Уж я не считаю, что и лошадкам, и коровкам помесить надо... стало, за помол надо отдать мельнику восемь мер... Ну, что стоит, по-твоему, восемь мер ржи?

— Если считать в мере пять фунтов, то восемь мер стоят четыре рубля пятьдесят копеек.

— Скости четыре с полтиной.

— Остается сто рублей пятьдесят копеек.

— Теперь надо травки купить.

— Да ведь у вас свои луга есть...

— С своих лугов мне боле воза не достанется... потому что мы с весны и выбиваем больно лошадьми. Надо, значит, два сотенника у кого-нибудь в людях снять... Ты почем хорошую-то продаешь?

— Рублей двадцать.

— Скости сорок рублей. Много ль остается?

— Шестьдесят рублей с полтиной.

— Теперь надо расходов снять под скотинку да пастуху заплатить. За расходы платим мы с крупной скотины по два рубля, а с мелкой по тридцать коп., так, значит, у нас по нашей накладке выходит. Крупной скотины у меня четыре головы, а мелкой десять. Выходит, за расходы надо мне отдать одиннадцать рублей. Скости!

— Остается сорок девять с полтиной.

— Теперь пастуху считай, они, жиды, ноне страсть как дороги стали! За крупную надо отдать его по семьдесят копеек, да за мелкую по двадцать... Всего приходится ему четыре рубля восемьдесят копеек. Скащивай.

— Я скостил.

— Сколько?

— Сорок четыре рубля тридцать копеек,— проговорил я.— Но ведь ты забыл про надел...

— А подати-то! — подхватил Суетной.— А тридцать один рубль податей-то! Нет, душевую-то землю и считать нечего, потому с нее и податей-то не выцарапаешь... Вот что, друг любезный... Ну, так как же, много у нас денег-то?

— Сорок четыре рубля тридцать копеек.— И потом, вдруг мотнув головой и как-то прищелкнув языком, он прибавил.— Так-то-с...

— А промыслы-то твои?

— Да ведь и нуждов-то еще много, друг любезный! Ты полагаешь, что на сорок четыре рубля управишься... Нет, шалишь. Надо, братец, просца посеять, чтобы каша была, льну малую толику, а то без рубах останемся... Надо для всего этого опять землю снимать, да дорогую, не выпашку... Надо на храм божий... ведь тоже иной раз свечечку поставишь,

в кошелек подашь... Попу, а попы-то вон нонче такции на все придумали, окромя того, что каждый год из двора в двор все души переписывать ходят, и за это ведь опять подай... Надо синельнику отдать за синьку пряжи, овчиннику за выделку овчин — из сырых-то овчин тоже ведь тулупа не сошьешь, кузнецу за кое-какие работишки. Надо сапожишки, валенки, рукавицы, картузишко, шапку, дегтю, колес, веревок, сбруи, кадушечки, горшочки, лопат, кос... А ведь ноне, сам знаешь, все дорого стало... А сколько этих штрафов-то переплатишь... Чуть телок на чужую землю забежал, как целковый — рупь... А как его убережешь, проклятого, коли на душевой-то земле кошку за хвост не повернешь... Тоже ведь мудрено! А сохрани господи, несчастье какое случится, сам захвораешь, лошадь украдут али просто падет... Чего делать-то! Вон ты сейчас заговорил про промыслы мои... Нет, ведь ныне и за это заплати. Прежде, бывало, на Микишкиных-то болотах я даром уток-то палил, а теперь десять рубликов аренды подай.

— А чьи эти болота?

— Барина жигулевского.

— И он с тебя берет?

— А то смотреть будет! То же самое и за рыбную ловлю денежки подай. Прежде, бывало, по Хопру-то я из конца в конец ходил, словно Стенька Разин какой, а теперь тпру! И деньги заплатишь, а все-таки ловить рыбу как твоей душе угодно нельзя. Летось как-то я Хопер-то сетью перегородил из берега в берег, нанял человек пять рабочих и давай ботами ботать... а тут вдруг становой, забрал снасти, составил акт да к мировому...

— И что же?

— Ну, и ботнули. Снасти отобрали, да пять рублей штрафу присудили... Не по закону, вишь, ловил... Так-то, друг любезный, бросай-ка лучше счеты-то, коли в одном кармане вошь на аркане, а в другом — блоха на цепи... А тут еще свату должным состою. Помнишь, чай, двести рублей на избу-то занимал...

— Не заплатил еще?

— Заплатил, да не все.

— А много осталось?

— Да рублей с сотенку, мотри, будет. Спасибо еще, не тревожит. Когда принесу, возьмет, а не принесу — так и не спрашивает. Тут меня еще один купец поддел недавно.

— Как так?

— Двойные деньги за землю взыскал. Расписку-то я потерял, он с меня и стеребил другие. Я было отдавать не хотел, да приехал пристав судебный, цап прямо лошадь под уздцы, ну я и перепужался, отдал.

— Много?

— Десять рублей, да прогоны еще, да за повестку за какую-то.

И потом вдруг Суетной захохотал.

— Чего же ты хохочешь-то? — спросил я.

— Да уж больно смешно, как этот самый пристав лошади в ноги кланялся...

— Как так?

— Цепь у него, знаешь ли, на шее-то висела... а лошадь у меня чужих людей передом бьет, он как цапнул ее под уздцы-то, та и махни ногой, да прямо за цепь и попала... махает, знаешь, ногой-то, а он-то ей кланяется, он-то ей... Народу тут много было... так все со смеху и покатились...

И, упав грудью на стол, Суетной принялся хохотать... Но немного погодя, что-то вспомнив, он вдруг выскочил из-за стола, снял со стенки «мушкетон», подпоясался каким-то ремешком, заткнул за пояс холстяной мешочек с дробью и с порохом и, взяв фуражку, проговорил:

— Надо к жигулевскому барину за деньгами бежать... хочешь вместе? Мимо болот ведь идти... может, убьем чего...

Я согласился.

Выйдя на двор, мы увидали Нифата, возвращавшегося с сохой. Он отворял ворота и вводил во двор лошадь.

— Что, передвоил? — спросил его Суетной.

— Передвоил.

— Ладно. А теперь ступай на огород... Там старуха картошку окапывает, помоги ей, а я к барину жигулевскому сбегаю.

— Сейчас он мне встретился,— проговорил Нифат.

— Куда ехал?

— Домой, мотри... в ту сторону катил...

— Ну, и ладно... может, застану...

И мы пошли.

VIII

Абрам Петрович навещал свата довольно часто. Почти каждую неделю дергачевцы могли видеть его проезжавшим

по улице на дрожках, в зеленых перчатках и громыхавшей бляхами сбруе. Хотя и знало все село, что Суетной состоит в долгу у Абрама Петровича, однако, тем не менее, столь частые поездки «молоканского попа» порождали в народе различные толки и предположения. Говорили, что Абрам Петрович ездит «неспроста» и что деньги тут ни при чем, только для одного отвода. Стали посматривать за Суетным, но ничего подозрительного замечено не было. Божница его по-прежнему была полна иконами, да вдобавок такими еще, каких отроду не было у самого дергачевского батюшки: с фольгой и под стеклышками; возле божницы были налеплены разные картинки духовного содержания, чего, как известно, у молокан не водится; посты Суетной тоже соблюдал во всей исправности и даже не ел скоромного по средам и пятницам, как делали то другие дергачевцы и кое-когда сам батюшка, в церковь ходил исправно, причащался ежегодно и даже, как нам известно, водил знакомство с самим отцом духовным.

Посещения эти, однако, даже и меня вводили в подозрение.

— Что-то сват к тебе слишком часто ездить начал! — заметил я как-то Суетному.

— А что? — спросил он и словно смутился.

— Да так...

— Должен я ему, вот он и ездит.

— Частенько же он тебе о долге напоминает.

— Ну, нет, братец ты мой, никогда он мне про долг не говорит. Кабы у меня совести не было, так я бы мог и еще с сотняшку прихватить у него...

— А совратить в молоканство он тебя не пытался?

— Было дело! — проговорил вдруг Суетной и даже с места вскочил.— Да не на того напал. «А хочешь, говорю, к исправнику!» Так он сразу и язык прикусил. «Ну, говорит, господь с тобой. Я, говорит, так только, пошутил!» — «То-то, говорю, шути, да меру помни!» А потом напустил на него старуху, так та чуть ему глаза не выцарапала.

— То-то он тебе и денег-то без расписки дал...

— Должно что запутать хотел... Ведь они, молоканe-то, хитрые...

— А про порядки про свои рассказывает?

— Это точно, иной раз к слову и расскажет...

— Ну что же, нравятся тебе их порядки?

— Порядки у них ничего, хорошие.

— Чем же именно они хороши-то?

— Да вот, водки не пьют...

— Так ведь это и православные могут сделать...

— Как же они могут, коли такого заведения нет! Нельзя никак...

— Вероятно, и у них есть тоже пьяницы.

— Известно, в семье не без урода, только уж тогда молокане от такого человека отступаются, считают его негодяем, знакомства с ним не ведут и ничем не помогают.

— А хорошему человеку помогают?

— Страсть...

— Смотри, не соблазнись!

— Ну, нет, уж это дудки... Отцы, деды христианство соблюдали, так оно не приходится.

— Ведь соблазнился же Абрам Петрович, а уж на что богомольный человек был, ни одного праздника не пропускал, чтобы в церковь не сходить, заместо дьячков был...

— Батюшка наш говорил мне, что все это и вышло оттого, что он зачитался больно... Надо, вишь, и в книгах-то меру знать, тоже, вишь, и там нельзя перекладывать-то... Вон он читал, читал, на него затмение и нашло... разум-то и помутился...

Несколько раз и сам я заставал Абрама Петровича у Суетного, но никогда никаких религиозных разговоров слышать мне не доводилось. Он только критически относился всегда к людям, к укоренившимся порядкам и как будто силился достичь чего-то другого. Насколько Николай все свои убеждения основывал на «отцах и дедах», настолько Абрам Петрович поступал в силу мысли и доводов. Суетной не сознавал этой творческой силы мысли, Абрам же Петрович, наоборот, хотя и не выходил из теоретического созерцания, но все-таки словно чувствовал потребность теорию эту применить к жизни.

Как-то раз пришел я к Суетному. Больная жена его лежала на печке, сам же Суетной сидел с Абрамом Петровичем за столом и пили чай. Увидав меня, Николай выскочил мне навстречу.

— Жена совсем помирает,— говорил он.— За попом уж Нифатку послал.

— Что такое случилось?

— Горит вся словно в огне... без памяти...

— А ты бы к фельдшеру...

— Был уж.

— Ну, что же?

— Лекарства, говорит, нет никакого, значит, говорит, и ходить мне нечего. Напой, говорит, малинкой али мятой... Вот я ее и пою, а легче все-таки нет ничего...

Увидав меня, Абрам Петрович тоже встал из-за стола.

— И вы здесь! — проговорил я.

— Да-с, приехал свата навестить... Да кабы знал, что старуха помирает у него, не приехал бы ни за что.

— Вот это хорошо,— проговорил я.— Наоборот, больных-то и навещают.

— Это точно-с... Только когда помочь нечем, так уж лучше и не навещать.

Оказалось, что у Афросиньи была горячка.

— Да-с,— проговорил Абрам Петрович,— фершал теперича был бы очень полезен.

И потом, немного погодя вздохнув и защурив глаза, прибавил:

— Удивительное дело-с! Человек помирает, а помочь нечем... лекарства нет...

— А прежде-то, сват? И прежде ведь то же было... Отцы, деды сколько прожили, а тоже никаких «аптекарей» не было... Об лекарствах-то и знать не знали!

— Так, значит, и жить все по-старому!

— Тоже больше бога-то не будешь, в смерти и в животе он один волен... Коли смертный час подойдет, так тут хошь «разаптекарь», и тот не поможет.

— Зачем же ты за ним послал-то?

— Да все думается...

— А ты бы уж и не думал, коли по-старому жить хочешь... Нет, сват любезный... живем-то мы по-старому, только деньги-то берут с нас по-новому. Прежде «аптекарей» точно не было, так ведь мы за то и не платили им...

— Это справедливо...

— То-то и есть-то! Нет, сударь,— проговорил он, обращаясь ко мне,— поистине тяжелые мы времена переживаем, а все главная причина потому, что порядку нет никакого... По-настоящему все бы должно было лучше идти, а на самом-то деле ничего этого нет... Мужик извелся до такой степени, от него одна шелуха осталась... Извелся тоже и барин... Так и мечутся все, словно рук не к чему приложить... Все побросали... хошь трава в поле не расти. Забыли, как семье жить надо, как отец себя должен соблюдать, как мать, как муж с женой жить должен, как детей держать, а дети, глядя на

отцов, тоже не знают, что им делать... Так и пошло все... Да чего-с! Забыли, как землю пахать надо, как хлеб убирать, как свое добро соблюдать... Денег мы платим прорву, а распорядиться этими деньгами никто не умеет. Человек захворал — лекарства нет, село загорелось — тушить нечем, учиться захотел — учителя нет, ехать собрался — бери с собой оси да оглобли, потому дорог нет, украли у тебя безделицу какую — рукой махни, работник сбежал — поклонись ему вслед, на слово поверил — дураком обзовут, расписку взял — не по форме написана... Только один кабак и процветает... Пьют, как никогда не пивали. И с какой радости, и на какие деньги пьют — придумать не могу... Кажется, у другого штанов нет, а пьян... Весь в крови, в грязи валяется и забыл про то, что люди увидать его могут.

Приехал батюшка, причастил больную и засел за стол.

— Ах, ах! — проговорил он, поставив дароносицу и поглядывая подозрительно на вошедшего в избу Абрама Петровича.— Ах, ах, Абрамушка, Абрамушка... как это возможно... что ты наделал... ах, ах...

Но Абрам Петрович только улыбнулся.

— А ты кушай, кушай, батюшка,— проговорил он,— вишь, хозяин-то водочки принес, выкушать просит тебя...

Батюшка оглянулся и, увидав возле себя Суетного, державшего на тарелке графинчик с водкой и рюмку, налил рюмку, перекрестился, перекрестил рюмку и, прошептав «Во имя отца и сына и святого духа», выпил ее залпом.

Когда батюшка, надлежащим образом закусив и выпив, стал собираться домой, он вызвал Абрама Петровича в сени.

— Ты вот что,— проговорил он настолько громко, что я мог слышать его разговор.— Ты того... смотри...

— Чего того? — как-то насмешливо, но все-таки степенно проговорил Абрам Петрович.

— Ты-то уж, господь с тобой... отрезанный ломоть... и прихода не моего... а все-таки того... Ты вот... часто больно к свату наезжать стал...

— Да ведь и ты, батюшка, не забываешь его. Нет-нет и зайдешь, да еще с матушкой и с детищем...

— Да я-то что! Я закушу и домой...

— Ну и я то же самое... благо человек-ат угощать любит...

— Ах, ах... все ты не то говоришь...

— Ну, а больше мне и сказать тебе нечего...

И, проговорив это, Абрам Петрович отвернулся от батюшки и вошел в избу.

Как тяжело ни хворала Афросинья, однако дело кончилось благополучно. И недели через три она слезла уже с печки.

Между тем Нифату минуло уже девятнадцать лет, и Суетной принялся разыскивать сыну невесту. Поры этой он насилу дождался. Богатой невесты Суетной не искал, но искал девушку работящую, здоровую и хорошего поведения.

Объездил он все соседние села, деревни, все хутора и наконец в какой-то глухой деревушке, в которой не было еще ни кабака, ни лавочки, ни базара, Суетной откопал искомый клад. Он возвратился домой счастливый и довольный, и вот как он описал сыну красоту невесты: «Девка здоровенная, что в плечах, что в поясе — все одна, ровная. Груди навылет, едреная, румяная... Сало из-под кожи так и польется... ни вередов, ни чирьев, ничего этого нет... глаз веселый, вскинет и все видит. Сама невысокая, но коренастая, ноги прочные, маненичко с кривизной внутрь; станет, так не спихнешь, пошла это она лошадь закладывать за снопами ехать.. Как упрется коленкой в оглоблю, так сразу супонь и натянула. Опосля того брикнулась в телегу, заиграла песню на всю округу и марш в поле! Ловкая девка и всех этих глупостей не знает... Ни, ни... как мать родила, так и осталась!»

Девушка понравилась Нифату, Нифат девушке, и в ту же осень по уборке хлеба состоялась и свадьба. Урожай в тот год был более чем удовлетворительный, и Суетной свадьбу сына справил на славу. Он наварил браги, купил ведер десять водки, зарезал несколько баранов, кур, подготовил рыбы, настрелял уток и гусей... Из церкви вплоть до дома молодых вели в венцах, и батюшка все время в ризе и с крестом в руках сопровождал их. Пир продолжался с неделю... И в избе, и вокруг избы народ толпился с утра до ночи... Пляски и песни не прекращались... Было проделано все, что только проделывается на свадьбах... И хмелем осыпали, и горшки били, и молодых заставляли целоваться... Суетной был на верху блаженства, желанная мечта его наконец исполнилась... Семья его прибавилась. Молодая, здоровая сноха внесла в эту семью такое счастье, какого Николай даже не ожидал. Все более или менее почетные люди тоже перебывали на свадьбе. Был батюшка с матушкой, старшина, волостной писарь, «аптекарь», Абрам Петрович, письмоводитель мирового... Даже сам

жигулевский барин и тот не побрезговал. На первый же день свадьбы он с шумом подлетел к избе Суетного, вошел в избу и спросил себе стакан водки, стал в торжественную позу, произнес спич и выпил за здоровье молодых. Он даже своих лошадей давал на свадьбу «под невесту», украсил их лентами, бантами, заплел гривки, дугу обмотал платками, шляпу кучера утыкал павлиньими перьями, и тройка эта так мчала невесту, что та, укрытая с головой «шелевым платком», чуть не умерла со страху.

С первых же дней своего вступления с семью Суетного молодая Прасковья (так звали жену Нифата) не замедлила показать свое проворство. Отпраздновав свадьбу и оглядевшись, она тотчас же умелыми руками взялась за женское дело, и дело это приняло иной вид. Видно было, что делом этим принялась заправлять не хилая, болезненная и надорванная женщина, а женщина с молодыми силами и железным здоровьем. Утомленная свадебными хлопотами, а пуще наплывом чрезмерного счастья, Афросинья не замедлила залечь на печку, но на этот раз дергачевским обитателям не пришлось позубоскалить над Суетным, ибо белье на реке полоскал уже не он, а его сноха, да такая, у которой валек в руке гремел на всю деревню, у которой руки были мускулистые и которая, подоткнув подол и нагнувшись, показала такие красные и здоровенные икры, такие твердые ноги и такой могучий торс, что всякое зубоскальничанье становилось неуместным. Мужики, бывало, спят еще, а у Прасковьи в печи целый пожар идет, а сама она, засучив по локоть рукава, или тесто месила, или завтрак стряпала. Пригонят стадо, так Прасковье стоило только выйти на улицу и закричать: «Вечь, вечь, вечь!» — как все Николаевы овцы гурьбой вылетали на зов хозяйки и в ту же минуту марш в растворенные ворота. Как принялась Прасковья молотить хлеб, так только пыль столбом пошла, шлепнет цепом, так даже земля загудит, словно бабкой ударила. Молотит, а сама или песни играет, или прибаутки говорит, да такие веселые и смешные, что все со смеху животики надрывали. «Да ну те к лешему!» — заметит Суетной, а Паранька крикнет в ответ: «Ничего, батюшка, ничего, молоти знай, так-то ходчее пойдет!» Раз как-то на базаре краснорядец подлетел к Прасковье с недобрым предложением, Прасковья в ответ как размахнется, как хватит его по роже, так тот и с ног долой. «На-ка, вот, закуси!» — проговорила она и пошла своей дорогой. Насколько Прасковья была ловка, работяща

и проворна, настолько же была она почтительна и к свекру и к свекрови. Первого называла она батюшкой, а вторую — матушкой, и действительно, привязалась к ним, как к родным отцу и матери. Нифата она полюбила сразу, сшила ему три ситцевых рубахи, купила пестрый платок на шею, связала перчатки из шерсти, выкрашенной фуксином, и сшила сама занавеску к постели. «Хоша и муж с женой,— говорила она,— а все же нехорошо!» — и начнет, бывало, ласкаться: «Хороший, говорит, ты у меня Нифатка, добрый, ласковый!»

И все это было в Прасковье так просто, правдиво и бесхитростно.

Даже Абрам Петрович, относившийся ко всему критически, и тот не налюбуется, бывало, на Прасковью.

— Ну, сват,— говорил он,— эта ничего... вывезет...

— Вывезет, сватушка, вывезет! — подхватывал Суетной и улыбался.

— Баба настоящая, как есть русская...

— Настоящая, сват, настоящая... Вечор сама огород вспахала...

— Ну?

— Вот те христос... с места не сойти...

— Так это, выходит, весной-то... в три сохи...

— В три сохи! А намедни, на помочи, во какой стакан водки долбанула...

— И ничего?

— Хошь бы в одном глазе! — И потом, подмигнув, добавил: — Эта дурака-мужа как раз к прялке привяжет!

И оба захохотали, причем живот Абрама Петровича пришел в обычное колыхание...

IX

Вдруг в народ стали прорываться слухи о предстоящей будто бы войне[12]. Жители деревень плохие политики, о существовании братьев славян никто даже не подозревал. То, что ясно как божий день человеку интеллигентному, следящему за перевоспитанием общественного и политического строя, перевоспитывающему, согласно этого строя, себя, свои нравы и привычки, то, в большинстве случаев, степному мужику является не только темным и загадочным, но даже совершенно непонятным. Только после уже, когда пролитая кровь за-

ставит заговорить собственную кровь, когда до народа начнут доходить потрясающие эпизоды войны, когда он, по рассказам, узнает о существовании того народа, ради спасения которого проливается кровь, когда изувечат или убьют у него двух-трех близких ему существ, тогда только он начинает вникать и хотя смутно, но все-таки уяснять причину, вызвавшую совершающееся кровопролитие. «Бога вы не боитесь!» — говорит он тогда. Поэтому ничего нет удивительного, что хотя толки о предстоящей войне и прорывались в народ, но он не то верил, не то сомневался в справедливости этих толков.

Точно в таком же недоразумении находились и жители села Дергачей.

Про возможность войны они отзывались так: «Болтают, а кто ж ее знает!» Первую весть о предполагавшейся войне распустил жигулевский барин. Он заговорил о ней еще во время сербского восстания. Объявил, что едет добровольцем, но почему-то не поехал и даже оставался дома тогда, когда после правительство приглашало на службу отставных офицеров. Это «болтают» продолжалось довольно долго.

Но вот началась мобилизация войск, стали собирать билетных[13]. Возвратившийся как-то из города Николай Суетной рассказал, что на соборной площади учили солдат маршировать, что он смотрел и дивился — как ловко солдаты эти вскидывали ружьями, как словно один человек, ходили скорым маршем, поворачивались направо и налево, барабанили и кричали «ура!». Заговорили о наборе, а вслед за тем в какой-то праздник после обедни вышел на амвон батюшка в ризе, вынул из кармана «граматку», отер со лба пот рукой и, проговорив: «Слушайте-ка, провославные!» — прочел манифест о войне. Сначала народ подумал, что это землю ему прирезать собираются, но вышло не то. «Болтают» перешло в действительность. Народ загалдел, стал расспрашивать: что и как? Кабатчик выписал местную газету «Листок», и чтение газеты этой привлекало в кабак толпы народа. Прочли «Листок», и повесили носы. Жители села Дергачей, знавшие лишь о существовании турка, француза и немца да черкеса, узнали, благодаря этому «Листку», что, «окромя» вышесказанных народов, «объявился вишь какой-то еще болгар, такой же православный, как и они, дергачевцы, только поиному гуторящий, и что турок у болгара этого отнимает законных жен, волов, лошадей, насилует дочерей, а самого болгара режет и бросает».

С театра войны стали приходить письма, и все с письмами этими спешили к Нифату, который и прочитывал их приносившим. Сколько слез было пролито над этими письмами! Читались эти письма и перечитывались по нескольку раз, хотя, в сущности, кроме поклонов с далекой стороны, в них и не было ничего. «Вспомнил, вспомнил, родимый!» — и изба Суетного наполнялась раздирающим сердце, тихим, беспомощным всхлипыванием, к красным заплаканным глазам прикладывался конец грязного фартука, и тяжелый вздох вырывался из наболевшей груди. Пошло на войну из села Дергачей человек пять молодых людей, и опять слезы... но ведь бабьи слезы дешевы — чего смотреть на них!

За Нифата Николай Суетной не боялся. Он был одним из ревностнейших защитников «болгара» и до того заинтересовался судьбой его, что, глядя на кабатчика, выписал и себе «Листок». «Ах, Суетной, ах, Суетной! — зубоскалили опять дергачевцы.— Что делает-то! Смотри-ка, ах, Суетной!» И все политики села Дергачей, к немалому огорчению кабатчика, хлынули в избу Николая. Газета читалась вслух Нифатом и слушалась с жадностью. Война за «православных» стала интересовать дергачевцев, и они принялись спрашивать: «Что ж, скоро ли всему этому конец будет?» Кабатчик обозлился на Суетного и, чтобы снова привлечь к себе политиков, накупил лубочных картин, изображавших взрывы разных мониторов, и народ снова повалил в кабак. Слушая газету и поглядывая на картины, политики выпивали, и чарка опять пошла бойко. Но торжество кабатчика продолжалось недолго. Сметив, что картины интересуют дергачевцев, Суетной привез из города целую кипу этих картин и стал торговать ими. Картины были расхватаны мигом, и вскоре не было ни одной избы, в которой, рядом с иконами, не красовались бы разные взрывы и переходы.

Как только война была объявлена, так Абрам Петрович словно сам в себя ушел. Держал себя сдержанно, серьезно и только говорил, бывало: «Что ж, дело доброе, помогать друг другу надо!» Зато жигулевский барин так и крутился вихрем: «Победа,— орал он, стоя в тарантасе и восторженно махая в воздухе шапкой,— победа, поднимай образа, молись богу, десять тысяч турок в полон взяли!» Народ радовался, поднимал образа и в победах видел скорый конец народному бедствию.

Возбужденное состояние это нисколько не мешало, однако, семье Суетного хлопотать о своем, собственном очаге. Война за «болгара» сама по себе, а война из-за куска хлеба сама по себе. Николай, Нифат, молодая работящая Прасковья и даже хилая Афросинья войну эту вели до того разумно, что, несмотря на скудный в тот год урожай, им все-таки удалось уплатить Абраму Петровичу еще одну часть долга. Суетной был счастлив. Теперь оставалось за ним всего пятьдесят рублей, но и эту часть долга он вскоре значительно уменьшил, совершив удачную победу над волками. Ему удалось убить и изловить двух старых волков и трех молодых. Волков этих он предъявил в земскую управу, получил за них по три рубля награды и за столько же продал шкурки. Итак, волки эти дали ему тридцать рублей. Шестнадцать рублей он отдал в подати, а четырнадцать отвез Абраму Петровичу.

Вдруг в народе опять стали «болтать», что война затянулась, что на войну «осерчал француз с немцем, что черкес начал бунтовать и что, мотри, как бы не добрались и до одиночек». Суетной бросился в волостную. Писарь объявил, что точно «болтают», но что ничего «досконального» под руками не имеет. Суетной поскакал в город, обошел знакомых купцов, побывал в крестьянском присутствии, в земской управе, у предводителя, потолкался по базару и воротился домой словно ошпаренный. «Что?» — спросили его в один голос семейные. «Наплевать!» — объявил Суетной и возненавидел «болгара».

Народная болтовня осуществилась, и, действительно, в конце июля семьдесят седьмого года «добрались и до одиночек». Нифат словно ошалел, Прасковья опустила руки, Афросинья завыла, а Суетной обозлился. Жигулевский барин ездил и шумел: «Костьми ляжем!», а Суетной спрашивал: «Где же это такой закон нашли, чтоб одиночек брать... Нешто это возможно, турки вы, что ли, кровожадные! мы, коли так, батюшке царю на вас жаловаться пойдем!» Когда одиночки были собраны к волостной конторе, когда для них были наряжены подводы, то жители села Дергачей подняли такой крик и шум, что сотнику пришлось разогнать толпу палкой. В городе произошла та же история. Родители одиночек целыми толпами ходили к предводителю, к исправнику, стояли по нескольку часов у их подъездов и говорили о законах. Исправник толковал, толковал им, что закон не нарушен, даже охрип толковавши и наконец, не успев убедить в законности призыва, приказал городовым разогнать толпу, а мо-

лодых людей посадить пока в холодную... Так и сделали...

В народе, однако, стали опять болтать, что в какой-то губернии, где одиночки тоже были призваны в ратники ополчения, взбунтовались бабы и, побросав свои серпы, прямо с загонов, в одних рубахах, целой толпой штук в полтораста отправились к государыне императрице искать защиты*. Болтали, что полиция не хотела пускать этих баб, но бабы разбили полицию и уж идут где-то далеко и не сегодня, так завтра будут на месте. Слух об этой бабьей экспедиции немного успокоил народ.

Второго августа Нифат был принят в ратники ополчения. Суетной возвратился в Дергачи, но ни он сам, ни жена его, ни сноха даже не были в силах приняться за работу. А пора была между тем самая рабочая, хлеб созрел, зевать было нечего, и в первый раз поля Суетного были убраны наемными руками. Суетной пошел в кабак, вернулся оттуда чуть живой, пьяный, молча завалился на полати и только на другой день рассказал домашним о «бабском походе».

Весть об этих бабах с быстротой молнии разлетелась по всей губернии, и народ с лихорадочным нетерпением ждал результатов этого похода. Но дни проходили, а о бабах не было ни слуху, ни духу. Принятых между тем ратников передали в распоряжение военного начальства. Их каждый день водили за город, заставляли петь веселые военные песни с бубнами и свистками и учили маршировке под звуки барабана. Только как-то Нифату не давалась эта наука. Скоман[illegible]:
«Напра-во!» — все повернутся направо, а [illegible]
дуют: «Смир-но!», а он вдруг вопль подыме[illegible]
съездил Нифата по зубам, но толку вышло немного. Начальство заподозрило, что Нифат дурачком прикидывается, отправили его в больницу, но в больнице не знали, какими лекарствами лечить его, потому что в больнице он дурачком не прикидывался, а только тосковал. Его выпустили и опять принялись учить. На этот раз дело пошло лучше, и хотя Нифат и недостаточно отчетливо вышагивал, но офицер был уже рад и тому, что Нифат не ревел белугой, когда командовали: «Смирно!»

Вдруг прошел слух, что бабы свое дело охлопотали, они

* Слух этот действительно существовал в описываемой местности. *(Прим. И. А. Салова.)*

выплакали перед царицей все свои бабьи слезы, вызвали слезы и матушки царицы, которая тотчас же и послала царю телеграмму, а вслед за тем в городе было получено высочайшее повеление о возвращении в первобытное состояние ратников, имеющих по семейному положению льготу первого разряда.

Вернулся и Нифат.

При виде его вся семья воскресла, все вместе сходили в церковь, отслужили благодарственный молебен, а после молебна пришел к Суетному батюшка с матушкой и детищем, успевшим к тому времени кончить курс в семинарии, залезли за стол, и все пошло обычным порядком. Только за Нифатом стали замечать что-то неладное. Раз как-то позвали его в волостную какое-то условие за неграмотного подписать... Нифат пришел веселый, как ни в чем не бывало сел за стол, засучил рукава, расписался и ушел себе домой. Бумага эта вскоре попала к мировому, мировой прочел ее и вдруг видит, что вместо обычного рукоприкладства за неграмотных на бумаге было написано: «По горам твоим, Кавказ, пронеслась молва о нас». Мировой вызвал старшину, прочел ему надпись и пригрозил, что если ему вздумается еще раз представить такую бумагу в суд, то он ему всю бороду выдерет. Разгневанный старшина вызвал, в свою очередь, Нифата и выпорол его за «озорство». Другой раз был такой случай. Пошел как-то Нифат вместе с матерью в соседнее село на базар. День был теплый, ясный, на полпути присели они отдохнуть. «Матушка, [illegible] вдруг Нифат,— что тебе горе-то мыкать, [illegible]арежу!» — «Будет тебе молоть-то!» — про[illegible]росинья, но Нифат перебил ее: «Отлично было бы... Я бы вот тут же могилку тебе вырыл, крестик бы воткнул, и спокойно было бы лежать тебе в могилке... Спала бы, отдыхала бы себе...» Но Афросинья и внимания не обратила на слова сына. Отдохнувши, они продолжали путь, справили на базаре что нужно и к вечеру вернулись домой.

Наступила молотьба. В описываемой местности яровые хлеба, по отдаленности полей, молотятся там же, на полях. Народ высыпал в поле и принялся за молотьбу. Запестрело поле палатками, покрылось стройными рядами копен, загорелось кострами. Из колыхавшегося золотистого моря оно словно превратилось в лагерь военных. Словно ряды солдат стояли крестцы и копны... В палатках отдыхали люди, а обед варили в котелках на кострах. Недоставало только барабана для до-

вершения картины. Выехал в поле и Суетной со своей семьей... На проезжей дороге расчистили они ток, стали возить копны и принялись за молотьбу. Работа пошла дружно... только Нифат как-то работал неохотно и все куда-то исчезал. Поедет, бывало, за снопами, бросит лошадь, а сам исчезнет. Так прошло несколько дней, как вдруг на ток к Суетному приехал старшина в тележке, с колокольчиком, и привез с собой Нифата. «Бог помочь! — крикнул старшина.— Вот я тебе сына привез!» и вместе с тем объявил, что народ серчает на Нифата, что Нифат все становища обходил и поел всю кашу из котлов. Суетной даже руками развел. «Что это ты, Нифатка, напроказил!» — крикнул он, а Нифатка хоть бы слово... взял цеп и давай молотить. «Ты мотри, поучи его,— говорил старшина,— на первый раз я простил, а попадется вдругорядь — спуску озорнику не дам!»

Дня два Нифат проработал как вол, а на третий, когда все спали, опять куда-то пропал. Оказалось, что Нифат снова пошел шататься по полям, зашел на купеческую землю, наткнулся на становище купеческих работников и, увидав, что на становище никого не было, подошел к котелку, поел кашу, а что не доел, разбросал по полю. Наехал приказчик и, увидав Нифата, накинул ему аркан на шею, вскочил на лошадь и, подхлестывая Нифата нагайкой, погнал его в волостное правление. Версты четыре гнал он таким манером, наконец пригнал и доложил обо всем старшине. Его степенство приказал подать розог, Нифата растянули... Старшина сел ему на шею, сторож на ноги, а приказчику предоставили пороть. Штук сто всыпали Нифату, а он хоть бы голос подал, хоть бы пошевельнулся, а когда кончили пороть, молча натянул портки, молча поклонился старшине и молча пошел домой...

Прибежал ко мне Суетной, бледный, растрепанный, испуганный, и рассказал подробно о всем случившемся.

— Поедем, посмотри...— говорил он.

Мы отправились, но только что подъехали к избе Суетного, как увидали целую толпу шумевшего народа и тут же тарантас жигулевского барина и дрожки Абрама Петровича.

— Вяжи, вяжи его,— кричал барин,— чего смотреть-то, вяжи его, да в город к исправнику!

Мы вбежали на двор и увидали следующую картину: среди двора в одной рубахе с расстегнутым воротом стоял Нифат, двое мужиков закручивали ему веревкой руки, бабы стояли

на крыльце и выли, жигулевский барин кричал и махал руками, а возле него Абрам Петрович.

— В полицию его, к исправнику! — кричал барин.— Где староста, где сотник?

Оказалось, что Нифат, зайдя в один пустой хлев, натаскал туда сухой соломы и принялся ее поджигать... Крик шел ужасный...

— Постойте, погодите-ка,— проговорил наконец Абрам Петрович,— чего его вязать-то... Что он, дерется, буянит, что ли... видите, стоит себе как агнец кроткий... И в полицию его не за что...

— Куда же его, по-твоему? — шумел барин.— Куда, говори, ну?

— Известно, куда больных девают! Болен, так и надо его в больницу везти...

Тут только догадались, что с Нифатом неладно что-то...

Для уборки хлеба Суетной нанял рабочих, заказал снохе Прасковье присматривать за ними, а сам повез сына в уездный город в больницу. Нифата освидетельствовали, положили в пробную палату, а Суетной возвратился домой.

Наконец рожь была обмолочена и ссыпана в амбары. Много денег пришлось отдавать рабочим. Пришлось расплачиваться за посев ржаного поля, за косьбу ржи, за молотьбу ее и, наконец, за уборку ярового. Пришлось опять Суетному потревожить деньги, припасенные на подати и на уплату долга Абраму Петровичу. Все ушло туда... Но Суетной о деньгах не тужил, лишь бы только Нифата вылечить, а деньги будут, но вышло не так. Недели три спустя после того, как Нифат был помещен в больницу, приехал к Суетному волостной писарь. Писарь этот привез предписание взять Нифата из больницы, так как последний оказался душевнобольным. Сначала никто не понял, что это за болезнь такая, но подвернулся батюшка и объяснил, что это значит: человек с ума сошел. Горю не было конца... Горе это не выразилось ни воплем, ни слезами, а молчаливою, глубокою тоскою, какой умеет только тосковать русский мужик. Явился Абрам Петрович и, узнав в чем дело, растолковал «свату», что надо везти Нифата в «губернию» в земскую больницу, где лечат душевнобольных. Убитая горем семья словно воскресла. Суетной поскакал за сыном, а через неделю Нифат был уже помещен в отделение душевнобольных.

X

Три года прошло после того, как Нифат был положен в земскую больницу, а толку было все-таки немного: то было ему лучше, то хуже. То Нифат узнавал приезжавших навещать его отца, мать и жену, то, наоборот, как будто не замечал их. Станут они все трое рядышком и молча смотрят на него, а Нифат, бледный, зеленый, с остриженной головой, в больничном сером халате, ходит да мух ловит; поплачут, поплачут да так и уедут, не добившись ни слова от Нифата.

Трудно приходилось Суетному. Пришлось нанять постоянного работника, а для уборки хлеба, косьбы и пахоты прибегать еще и ко временным. Сам Суетной и сноха его Прасковья не знали отдыха, они делали все, что только могли. Летом Суетной надрывался в поле и зимой в извозах. На двух лошадях возил он хлеб на железную дорогу, ездил с хлебом в Пензу и привозил оттуда тес, который продавал с барышом. Перед масляной он отправлялся обыкновенно на двух подводах в Астрахань, покупал там рыбу и продавал ее по соседним селам и окрестным базарам. Поездки эти приносили ему хороший барыш, но за последнюю зиму не было и этого. Дорогой пала лошадь, пришлось купить другую, и весь барыш ушел на эту покупку. Дергачевские крестьяне, глядя на Николая, только зубы скалили: «Ах, Суетной, ах, Суетной! — говорили они.— Хошь бы минуточку дома посидел! хошь бы отдохнул маленько!» Только один Абрам Петрович, еще чаще навещавший свата, сомнительно покачивал головой.

— Нет,— говорил он,— нет, дело плохо...

— Почему же?

— По всему заметно... Нет, как он ни колотись, как ни бейся, а скоро совсем забьется... Нет, уж не то...

— Поправится сын, и опять пойдет по-старому.

— Нет, старого-то не воротишь... Был работник, да измотался... а на наемных-то надеяться нечего... Не те времена ноне... Нет, шалишь... Ныне работник-то не пособник, а разоритель... потому народ всякую совесть потерял...

— Вы, кажется, чересчур уж озлоблены на народ...

— Да не за что и хвалить-то его-с...

И действительно, на второй же год Нифатовой болезни Суетной уменьшил свои посевы. Он убедился, что наемные руки не свои, что батрак не сделает того, что он сам. Часть снятой было земли он сдал в другие руки и порешил ограни-

читься наймом только одного годового работника. Не проходило дня, чтобы Суетной не воевал с этим работником. Все-то делал он не по-людски: и плохо пахал, и плохо бороновал, ходил словно сонный, и все-то у него из рук валилось. Вцепится, бывало, в работника и Прасковья. «Да ты что это, окаянный! — закричит она.— Где же в тебе совесть-то! али проел ее за хозяйскими щами да кашей! чего губы-то развесил!» Но ни война Суетного, ни крики Прасковьи — ничто не помогало. Ходил как-то Суетной жаловаться на работника старшине, мировому, но ни тот, ни другой ничего не сделали.

«Как его заставишь!» — сказал старшина. «Как его укрючишь,— сказал мировой,— я и сам от этих работников-то все хозяйство бросать хочу... Грех один только!» Хотел было Суетной прогнать работника, но и прогнать было нельзя, потому что работник иначе не шел, чтобы деньги за полгода вперед. И вспомнил Суетной Нифатку, вспомнил и не вытерпел: упал на землю грудью и залился слезами.

Другой работник поступил с Суетным еще лучше; пил, ел у него всю зиму, забрал все деньги вперед, а как только пришла рабочая пора, так сбежал, оставив свой паспорт. Суетной заявил об этом старшине, дня два поискал работника по окрестным селам и деревням, но так как работник был странний, кирсановский, то поиски Суетного не увенчались ничем, и пришлось навсегда проститься с отданными работнику деньгами. Сунулся было Суетной опять к мировому, но опять без толку. Даже тоска взяла Николая... Но тосковать было некогда. В страдную пору один день целый год кормит, чуть затоскуешься, как сухое зерно наполовину вытечет из колоса. Озимой посев Суетной убрал в неделю, а управивши озимой, принялся и за яровой.

— Изволите слышать, что со сватом-то работники наделали? — спросил меня Абрам Петрович.

— Нет, не слыхал.

— Забрали денежки и поминай как звали...— И потом, вздохнув, прибавил:

— Странные, сударь, времена переживаем-с... Никакого нигде порядка нет-с. Поистине, доложу вам, ваше высокоблагородие, что и мужику плохо, да и барину скверно. Вот сейчас у господина Кестерова я был-с, так жалости смотреть. Человек плугов наделал, сох, борон, сто лошадей накупил, для людей казармы выстроил, годовых рабочих нанял, и что же-с? Лошадей всех побили, искалечили, сморили, плуги и сохи по-

ломали, а пришла рабочая пора — и сами сбежали. Бросился человек по базарам людей нанимать, приезжает в Борки и видит своих рабочих... Хотел было их силой забрать, уряднику обо всем доложил, но, убедившись, что силой ничего не возьмешь, торговаться с ними пустился, стал их рожь жать нанимать... Так они с него сто рублей за сотенник заломили... Как это вам понравится-с... Пожалуйте, да нешто так возможно-с... Ведь это всеобщий разгром.

И потом, опять вздохнув, заключил:

— Вот до чего мы дожили-с... Мужик не знает, как без земли жить, а барин — что с землей делать-с!

Урожай в этот год был так скуден, что от посева больших барышей Суетному ждать было нечего. Приходилось платить рабочим, за землю (без денег и хлеба с полей не спускали), надо было платить подати, и Суетной рассчитал, что у него недоставало хлеба даже на пропитание. Но Суетной не унывал, он сообразил, что до рождества хлеба у него хватит, а зимой, бог даст, добудет.

Вдруг на Фоминой неделе в волостное правление пришла из больницы бумага, в которой значилось, что на излечение Нифата нет надежды, что пусть отец берет его к себе, делает с ним что знает, а чтобы за лечение Нифата всего за три года и пять месяцев, считая за каждый месяц по тринадцать рублей, взыскать с общества села Дергачей, а если таковое платить не пожелает, то с крестьянина Николая Суетного, серебром пятьсот тридцать три рубля, каковые деньги и препроводить в управление больницы. Статьи закона, на основании которых требование это предъявлялось, были объявлены Суетному, и Суетной ошалел.

На другой же день по просьбе Николая был собран сход. На сход этот явился Суетной бледный, убитый, пораженный; явился не один, а с умирающей старухой и с полной жизни и сил снохой. Старики стояли молча и ждали — что будет? Николай подвел жену, сноху, и все трое упали в ноги миру.

— Старички почтенные,— заговорил Суетной,— выручите... Вот какой грех... Не пустите по миру, не дайте умереть с голоду... век вашими работниками будем... Помогите хоть чем-нибудь... дайте хошь триста рублей, остальные наберу как-нибудь... Избу, двор продам... буду в землянке жить... Бог даст выплачу... Заставьте за себя бога молить... Сами знаете, старички почтенные, сложа руки сидеть не люблю... Вот у свата двести рублей занимал... Почитай, все уплатил... самые

пустяки остались... Помогите... не дайте умереть... не погубите...

Но мир молчал, да так молча один по одному и разошелся.

— Бога вы не боитесь! — вскрикнул Суетной.

Но вопля этого не слыхал никто, ибо в минуту эту у волостной, кроме сторожа, никого уже не было.

В тот же вечер к избе Суетного подъехал Абрам Петрович. Он постучал слегка в окно, крикнул Прасковью и, приказав ей убрать лошадь и бросить кормецу, направился степенной поступью по направлению к калитке. На другое же утро ночной сторож рассказал дергачевцам, что всю ночь в избе Суетного светился огонек, что несколько раз он подходил к окну и видел в щелку ставней Абрама Петровича и Суетного. Оба они сидели за столом и, по-видимому, вели оживленный разговор, но о чем именно шла беседа — разобрать не мог. Дергачевцы стали допрашивать Прасковью, но и та ничего не могла разъяснить, ибо Абрам Петрович как только приехал, так сейчас же выслал из избы «в горницу» и ее, и старуху свекровь. В следующий вечер Абрам Петрович опять приезжал к Суетному, и не один, а с каким-то еще незнакомым стариком, седым и высоким, и опять всю ночь сквозь щелку ставни светился огонек и прямым лучом падал на землю. «Ну,— заговорили дергачевцы,— мотри, Суетной в молокане переходит!» Дошел этот толк до батюшки, и он поспешил было к Суетному, но, на грех, не застал его дома.

Целую неделю пропадал где-то Суетной, наконец возвратился.

— Ну,— проговорил он,— надо за Нифаткой ехать. Я сейчас лошадь переменю и поеду... А ты, старуха, ступай-ка к куму Герасиму... Он зачем-то просил тебя прийти... а ты, Прасковьюшка, ступай к своим побывай... давно не была... нехорошо...

Бабы не хотели было идти, но Суетной чуть не силой выгнал их, так свирепо крикнул на них, что они тут же вон из избы выбежали, а как только остался он один, упал на колени перед образами, залился слезами и принялся молиться... Плакал и молился он долго, часа два... Затем снял иконы, приложился к ним, обошел с ними избу, двор весь, окрестил ими всю свою скотину, завязал бережно в узелок и отнес к батюшке.

В тот же вечер Суетной, мрачный и суровый, направился в город, а через неделю вместе с Нифатом подъезжал уже к

дому. С воплем и криком встретили их у ворот и Афросинья, и Прасковья, обе были они в слезах, обе едва на ногах стояли. Нифат даже не узнал их и молча прошел в избу. Но, войдя в избу, он вдруг остановился...

— Батюшка! — прошептал он, как-то испуганно взглянув на образницу,— где же иконы святые? где же заступница скорбящих, Миколай угодник, Михаил архистратиг? где же они? кому же молиться-то... а?

Подбежала мать-старуха, сняла с себя образок медный и подала его сыну.

— Вот, Нифатушка, родимый... вот, на, помолись, болезный...— И, обливаясь слезами, она упала на плечо сына... упала к нему на плечо и Прасковья...

Но сын стоял и с ужасом смотрел в пустой угол.

Суетной запил, да запил так, как не пил еще самый последний дергачевский пьяница. Пил без просыпа и приходил домой только за деньгами. Все свои деньги, какие только были у него, он пропил, затем принялся пропивать деньжонки жены, а наконец добрался и до Прасковьиных. «Батюшка! что ты делаешь! — говорила ему сноха.— Нешто так возможно... долго ли так-то до греха... Сохрани господи!» Но Суетной не слушал никого — ни жену, ни сноху, пьянствовал целых две недели и действительно «дошел до греха».

XI

Как-то, часов в семь утра, когда я лежал еще в постели, вошел ко мне Абрам Петрович. Он был бледен, как полотно. Вошел он не прежней степенной поступью, а торопливо, испуганно...

— Ведь сват-то повесился! — проговорил он.

Я даже в ужас пришел.

— Как так? — спросил я.

— Спьяну, должно... пил все... На раките и повесился. Вишь, и теперь еще висит... Станового ждут...

И он рассказал мне подробности, предшествовавшие катастрофе, умолчав, конечно, про сцену с иконами, о которой я узнал после.

Немного погодя на дрожках же Абрама Петровича и вместе с ним я подъезжал к Дергачам. Еще издали увидали мы толпу народа, теснившуюся перед избой Суетного. Тут

были и дергачевцы, и крестьяне соседних деревень, и бабы, и девки, и ребята. Но когда мы подъехали ближе, меня поразила более всего беспорядочная толпа каких-то переселенцев, громадным обозом остановившаяся на дороге, пролегавшей как раз мимо злополучной ракиты. Как-то особенно подавляюще смотрела эта молчаливая толпа и подавляла именно этим молчанием. Кибитки, телеги, набитые кадушками, котелками, тряпками, горшками, ребятами, голодные собаки, исхудалые клячи... все это покрыто грязью и пылью... Голодные лица, впалые щеки, выкатившиеся глаза... Весь этот люд в каких-то странных кичках[14], балахонах, оборванный, обдерганный, босой, изъеденный комарами, исцарапанный, стоял и смотрел на висевшего мужика... Смотрел и молчал... Это могильное, немое молчание было хуже всего... Хоть бы вздохнул кто-нибудь, хоть бы руками развел, хоть бы слезу проронил... Точно все окаменели от совершившегося воочию ужаса... И точно, ужас был великий... Николай висел вытянутый, синий, руки и ноги как плети, с упавшей на грудь головой, со спустившимися на лицо волосами... А толпа смотрела и молчала! Как раз под ногами Суетного чашка... Несколько грошей, пятаков и трешников лежало на дне этой чашки, кто-то кусочек холста бросил...

Вдруг шум... Я оглянулся и увидел жигулевского барина.

— Где, где? Что такое! — кричал он.— Эй, ты, пропусти... урядников, сотник... поди сюда...

Но, увидав Суетного, остановился и задумался.

— Повесился! — проговорил он...

— Так точно, ваше высокоблагородие,— доложил урядник, сделав под козырек.

— Когда?

— Должно, ночью-с... Сноха вышла овец выгонять, а уж он... того...

И урядник, наклонив голову и высунув язык, изобразил из себя повесившегося человека.

— Спьяну?

— Так точно-с... пил сильно-с...

Жигулевский барин опять задумался... Но немного погодя пошарил в кармане, вынул пятишницу, бросил ее в чашку, вздохнул, преклонил одно колено и, сделав три крошечных крестных знамения, встал и направился было к тарантасу, но, увидав молчавшую толпу переселенцев, вдруг опять зашумел:

— Вы что... откуда... куда... На вольные земли, что ли, а?

Но оборванная толпа молчала и глаз не сводила с повесившегося крестьянина.

— Куда, мол? — кричал барин.— Вас спрашивают, что вы, онемели, что ли, дьяволы?

— Далече! — отозвался кто-то.

— Далече! — передразнил их барин.— На медовую реку с кисельными берегами... так, что ли? а?

Но толпа его не слушала. Видно, эти дети природы только и искали вдохновения в объятиях этой матери своей.

Подлетел жигулевский барин и ко мне.

— Вот-с, вот-с,— шумел он, указывая на переселенцев.— Зачем, почему, для чего, а? Спросите... голодные, оборванные... И что же?

И, вдруг переменив тон, прибавил, тыкая себя пальцем в лоб:

— Нет-с, это верно-с... Это факт-с... Нет-с, не скоро еще выколотишь из него, из этого зипуна-то легенду о медовой реке с кисельными берегами. Не скоро-с, не скоро-с, не скоро-с...

И затем, впрыгнув в тарантас, крикнул кучеру: «Пошел», и шум бубенцов, экипажа и лошадей наполнил на некоторое время молчавшую окрестность.

После уже, спустя некоторое время, передавали мне, что будто Абрам Петрович о смерти свата своего отозвался следующим образом: «Молоканство, вишь, принять — грех, а повеситься — ничего!»

Вспомнил я «мушкетон турецкий» и пожалел, что «мушкетон» этот не уложил Суетного на каких-нибудь Микишкиных болотах.

Шуклинский Пирогов [1]

Рассказ

Как-то недавно в местной газете, в отделе хроники, было помещено следующее сообщение:

«Такого-то марта, около десяти часов утра, на маслобойне купца Наумова одному из рабочих, запасному рядовому Иванову, машиной раздробило кисть руки и оторвало большой палец. Иванов отправлен на излечение в Александровскую больницу».

Сообщение это напомнило мне следующий случай.

Это было лет двадцать тому назад, когда у нас не было еще ни земских врачей, ни земских фельдшеров и когда на весь уезд, в котором я жил, был всего-навсего один только лекарь, а городская больница состояла из четырех-пяти коек с тюфяками, жесткими, как гранит. Больницу эту называли «клоповником», по изобилию имевшихся в ней клопов, и ложиться в этот клоповник никто никогда желания не изъявлял. Нечего говорить, что таковое положение дел породило врачей-дилетантов, занимавшихся con amore* лечением «низшей братии». В любой помещичьей усадьбе, в особенности же в среде ее женских обитательниц, можно было встретить таких дилетантов. В одной, например, пользовала народ «баринова свояченица», в другой — «сама барыня», в третьей — заметно увядшая, но все еще молодившаяся «баринова дочка». Делу этому предавались они не только с участием, но даже с некоторым евангельским увлечением и платы как за лечение, так и за медикаменты, конечно, не брали. Они принимали больных у себя на дому, перевязывали им раны, прикладывали горчичники и мушки[2], снабжали их нужными медикаментами, иногда даже чаем и сахаром, а к тяжко больным ездили

---

* С любовью, с сочувствием *(итал.)*

сами. Народ любил этих барынь и охотно доверялся им. Сами господа помещики делом этим не занимались, подшучивали над ним, считали его почему-то «бабьим» — и разве иногда только, когда заболевал у них необходимый работник, они принимали в нем некоторое участие и, обратясь к своим женам, говорили: «Матушка, посмотри ты, ради бога, этого Гараську, что с ним такое? Вот уже третий день, подлец, на печке валяется! Дай ему чего-нибудь!» Все эти барыни-лекарки назывались не по имени и отечеству, а по прозванию усадеб, в которых проживали. Так, Софья Степановна Стручкова, проживавшая в селе Ерунде, называлась «ерундинской барыней», а барыня Васса Андреевна Кондарская — «скачихинской барыней». Барыни эти пользовались обыкновенно в своем ерундинском околотке и в своем скачихинском районе известным медицинским renommée*, приобретали некоторую популярность, а иногда даже достигали опьяняющей славы. Лечили они большею частью по лечебникам сороковых годов и, в большинстве случаев, все болезни приписывали простуде, засорению желудка и худосочию. Лечили рвотным, касторкой, алтейной мазью[3] и неизбежным вытяжным пластырем, мятой, бузиной и разными травяными настойками. В экстренных случаях более храбрые, как, например, «ерундинская барыня»,— в настойки эти подмешивали «по вкусу» известные дозы сулемы и мышьяка.

К числу таких-то врачей-дилетантов принадлежал и я, с тою только разницею, что, памятуя о существовании в «Уложении о наказаниях» на какой-то странице какой-то статьи, не особенно поощряющей подобную форму излияния человеколюбия,— я избрал себе гомеопатию: «Уж если не вылечу,— соображал я,— то уж ни в каком случае не уморю!» И с бодрым духом, а главное — с совершенно спокойною совестью я принялся лечить народ. У меня была собственная своя крохотная аптечка (весьма походившая на сахарницу), наполненная крохотными пузырьками, и имелся для «руководства и справок» довольно толковый лечебник. Я сам лично приготовлял крупинки и, давая крупинки эти глотать пациентам, приводил их, на первых порах, в немалое смущение. Проглотит, бывало, мужик крупинку — и стоит в каком-то недоумении. «Что ты?» — спросишь его. А мужик, вместо ответа, принимался смотреть на свою бороду, отряхивать ее, затем

* Реноме; репутация, слава, известность *(франц.)*.

смотреть на пол и наконец, вздохнув, бормотал: «То ли проглотил, то ли нет — господь знает!» Однако немного погодя, к великому моему изумлению, я стал замечать, что крупинки мои все-таки свое дело делали и что пациенты, глотавшие их, сплошь да рядом получали исцеление. Я начал несколько верить в силу своей «сахарницы», а околоток, в котором я врачевал, безусловно уверовал в мои медицинские познания. Слава моя росла с каждым днем! Обо мне стали говорить; ко мне стали появляться больные из «ерундинского» и «скачихинского» околотков; некоторым из пациентов представлялся я в ночных сновидениях (исключительно, впрочем, старухам), и в конце концов про мои крупинки стали слагаться фантастические анекдоты, переходившие, конечно, из уст в уста, и анекдоты эти, по несуществованию еще в то время института господ урядников, совершенно благополучно упрочили за мною славу «врача».

Из этой-то медицинской практики я и хочу передать вам следующий случай.

Раз как-то, часов в семь утра, когда я был на покосе, меня изловили братья Антипины — крестьяне соседнего села Шуклина. Оба брата приехали на одной и той же тележке; лошадь была вся в мыле, а лица приехавших выражали такой испуг, что я сам даже испугался, взглянув на них. Увидев меня, один из братьев, по имени Яков, бросил вожжи, соскочил с тележки и, едва переводя дух, подбежал ко мне.

— Что с тобой?

— Да что, беда стряслась! — проговорил Яков.— Сейчас старику нашему на мельнице руку оторвало!..

— Лукьяну? — почти вскрикнул я.

— Ништо, ему.

— Как же это?

— Знамо как! Старик торопливый, все хочется ему поскорее как бы!.. Стал шестерню подмазывать — остановить бы надоть мельницу-то!.. а он, заместо того, на всем ходу подмазывать зачал: руку-то ему и втянуло, да так лапу-то прочь и отсадило!.. Кровью истек было, да спасибо Гаврильевна подоспела, заговорила!

И, как-то особенно отчаянно бухнувшись мне в ноги, он буквально возопил:

— Пособи, бога ради!

Лукьян был мой приятель, и потому весть о случившемся весьма огорчила меня.

— Ну, братец,— проговорил я,— и рад бы радостью пособить, но в деле этом я ровно ничего не понимаю.

— Ну, будет тебе!.. в книгу свою посмотри... Ради господа прошу...

— В книге нет про это... На этот случай другая книга есть...

— Так ты в другую... И старик просит тебя... Бог знает как просит!

— Я и без просьбы сделал бы, да не умею... а мы вот что сделаем...

— Ну?

— Я сейчас лекарю письмо напишу, и ты вместе с стариком поезжай к нему в город. Только смотри, сейчас же, не мешкай — до завтрева не откладывай, не то худо будет!

Яков стоял передо мной без шапки, опустя голову, и по всему можно было заметить, что поездка в город, да еще к лекарю, не особенно-то приходилась ему по вкусу. Он как будто не совсем верил в эту необходимость и в моем совете усматривал лишь одно нежелание заняться стариком. Он словно оскорбился даже и, почесывая в затылке, состроил самое недовольное лицо. Я сел к Антипиным в тележку и вместе с ним доехал до дома.

Написав письмо врачу, в котором я убедительнейше просил его заняться Лукьяном, я передал письмо Якову.

— Ну вот,— проговорил я,— отдай это письмо лекарю, и он как следует займется твоим стариком. Только смотри, сейчас же вези его в город, не то, повторяю, может кончиться скверно...

— Чем же? — перебил меня Яков.

— Антонов огонь может быть.

— Чего же лекарь-то с ним будет делать?

— Он знает что.

— Тек.

— Ведь кость раздроблена, вероятно?

— Знамо, вдребезги!

— Ну вот лекарь и осмотрит...

— А ты сам посмотри да и научи нас, что делать! — стал опять приставать Яков.

— Как же я научу, когда сам не знаю...

— Все-таки посмотри, может, и придумаешь... Мы нарочно захватили с собой, чтобы, значит, показать тебе.

— Чего захватили? — спросил я.

— Да руку-то...

Я ушам своим не верил, но Яков обратился к брату и прибавил:

— Ну-ка, Степа, покажь-ка!

Степа принагнулся, запихал руку в карман кафтана, вытащил оттуда что-то завернутое в тряпицу, развернул ее и преподнес мне оторванную руку Лукьяна.

— Вот, погляди-ка,— проговорил Яков.

Я так и ахнул!

Однако, рассмотрев оторванную руку, с исковерканными пальцами, ободранной кожей и порванными обнаженными жилами, я тотчас же убедился, что над рукой этой поусердствовал чей-то ножик.

— Рука отрезана! — заметил я.

— Отрезана,— подтвердил Яков.

— Кто же резал?

— Мы сами! Моталась она; кости в ней как в мешке гремели, ну, старик и приказал отрезать. Заплакал таково-то горько и говорит: «Режь, Яшка, ни к чему она теперь!»

И оба брата, тяжело вздохнув, отерли навернувшиеся на глаза слезы.

— Ты хошь бы крупинок нам дал каких-нибудь! — стал опять упрашивать Яков.

— Не помогут крупинки! Тут не крупинки нужны, а операцию придется делать, а делать операцию я не умею... На это доктор нужен... По всей вероятности, у него в руке осколки остались, их надо вынуть... Придется еще и кость отпилить...

— Зачем же это? — спросил Яков.

— Как зачем! Видишь, она каким острием торчит... Наискось лопнула, значит, и там такой же конец острый...

— Такой же, точь-в-точь! — подхватил Яков.— Словно шпигорь высунулся...

— В том-то и дело! Ведь кость оставить так нельзя, надо ее кожей прикрыть, а как ты прикроешь ее, когда она такая острая...

— Это верно! — проговорил Яков, как будто что-то соображая.— Подровнять, значит, надоть, чтобы не резала!.. А чем же он пилить-то будет?

— Да ты не бойся!.. Я вижу, ты боишься!.. Тут бояться нечего, потому что операция эта для умелого человека — пустое дело...

— Нет, я так только...

— У них на это инструменты есть: пилки, ножи разные... все приспособлено! Перевяжет ему шелковинкой жилы, чтобы кровь не шла...

— Может, и крепкой ниткой ничего? — спросил Яков.

— Не знаю, может быть, и ниткой! Уж это его дело...

— А кожу откуда возьмет он, кость-то прикрыть?

— С той же руки. Ведь он немного отпилит руку-то!.. Так вот, прежде чем отпиливать, он кожу-то подрежет и завернет, а потом и спустит ее.

— Чулком, значит! — заметил Яков.

— Ну да. И затем зашьет ее.

— Иголкой?

— Конечно. Вот тогда рука и заживет, потому что в ней осколков не будет, жилы будут перевязаны, а кость прикрыта.

— А без этого нельзя?

— Нельзя.

— И крупинки не помогут?

— Не помогут,— проговорил я,— а вот льдом руку обкладывать — это необходимо...

— Чтобы завсегда, значит, в холоду была?

— Да, непременно! Дам, пожалуй, тебе примочку еще. Но только помни, что к лекарю ехать все-таки необходимо.

— А то бы сам занялся? — проговорил Яков.— И старик тоже просил...

— Да как же я займусь, когда не умею... Ты с ума сошел.

— Тек! — проговорил Яков и потом, вздохнув, прибавил: — Ну что ж, благодарим и на этом... ничего... и за то спасибо!..

Я дал Якову арники[4], объяснил, как поступать с нею, и, еще раз повторив о необходимости немедленной помощи медика, почти насильно выпроводил их из комнаты.

Братья вскочили в тележку, концами вожжей ударили лошадь и стремглав поскакали домой. Я видел, как мчались они с горы, как переехали мостик, завернули в улицу и как немного погодя неслись уже по выгону, направляясь к селу Шуклину.

К старику Лукьяну я давно уже питал самые нежные чувства. Это был мужик лет пятидесяти, среднего роста, с благодушным, вечно улыбавшимся лицом, с прищуренными глазками и такой торопливой походкой, что я насилу поспевал за ним. Хлопотун он был превеликий и сидеть сложа руки, ни-

чего не делая, положительно не мог. То, бывало, телегу чинит, то сапоги шьет, то корыто долбит, то печку перекладывает!.. Полевыми работами он сам не занимался, ибо передал это дело сыновьям, Якову и Степану,— зато «вокруг дома», на мельнице, на пчельнике, он работал один, без посторонней помощи; разве кое-когда только старуха подсобит в чем-нибудь. Помимо всего этого Лукьян был страстный охотник, отличный рыболов, птицелов и даже недурной сапожник. Зимой он делался мельником, а летом удалялся на пасеку и превращался в пасечника. Мельница, правда, у него была неважная, тем не менее, однако, прокармливая всю семью Лукьяна, она давала возможность продавать весь хлеб, получаемый от собственных посевов. Так же точно и пчельник. Состоял он из нескольких только десятков колод, но доход, получавшийся от продажи меда и воска, оплачивал все подати, падавшие на семью Лукьяна. При таких постоянных занятиях, казалось, об охоте и помышлять бы нечего; но выходило иначе. Лукьяна доставало на все! Оберет, бывало, пчелиные рои, разместит их по колодкам, похлебает на скорую руку кашицы, пихнет за пазуху ломоть черного хлеба, а немного погодя, смотришь — уж он где-нибудь возле болота ползает на животе и подкрадывается под уток! А то на реке сидит, окруженный удочками, жерлицами; зорко следит за десятками поплавков, глазом не моргнет,— и то и дело вытаскивает из воды серебристых окуней и красноперок. То же самое зимой. Дует морозный ветер, заметает сухим снежком плетни и гумна, мельница быстро машет крыльями, дрожит вся, ходенем ходит, снасти гремят, жернов гудит — и Лукьян, весь покрытый мучной пылью, едва поспевает управляться с мельницей. «Ветрянку» не сравнять с водяной. Там пустил воду, уставил снасти — и спи себе! А тут не то. Прихотливый ветерок то и дело меняет и силу и направление. То набежит он вихрем, зашумит, загремит колесами, жернов словно вылететь хочет, а то, наоборот, затихнет, упадет, и только что гремевшие снасти, словно утомленные, еле-еле поскрипывают на своих осях. Тут дремать нельзя. И вот среди грохота и стона этой мельницы Лукьян суетится как угорелый. То ковш ослабит, то жернов притужит, то махи на ветер поставит, то на полуветер; а между тем мука́ не ждет: толстым рукавом течет она из-под жернова и переполнила уже мешок; надо убрать его и заменить другим. И Лукьян, усталый и измученный, едва поспевает выполнять все это. Но чуть ветер упадал,

чуть мельница засыпала, как уж Лукьян двери на замок, ружье на плечо и — марш на гумна. Обойдет их, и, смотришь, матерой русак с белыми пазанками и широким лбом висит уже у него за спиной! И так везде и во всем! Водки Лукьян не пил, но зато «чайничать» был великий охотник. Чай он пил всегда с медом, и усидеть ведерный самовар было для него нипочем: только, бывало, пот льет с него!.. Характера он был самого веселого, самого уживчивого, говорил красно и подчас так много, что, бывало, слушаешь и удивляешься: откуда только у него берутся все эти веселые и хорошие слова? Семьянин он был прекрасный; старуху и снох своих любил; первую величал «барыней», а последних «лебедками», и веселым и уживчивым характером своим сумел связать семью такими узами дружбы и любви, что в доме его ни ссор, ни раздоров не существовало. Жил Лукьян опрятно, ел «сладко», одевался чисто, всего у него было вдоволь, дети его уважали, не ленились, не пьянствовали, и потому весьма понятно, что дом Лукьяна считался лучшим в селе Шуклине, а сам Лукьян — мужиком «настоящим», разумным и домовитым.

Излишне говорить, что с Лукьяном сблизила меня более всего охота. Познакомились мы с ним на охоте,— охотились в тот день удачно,— а после охоты я зазвал его к себе, выпили мы с ним самовара два чаю — и с тех пор дружба наша сделалась неразрывною.

Итак, происшествие, случившееся с Лукьяном, сильно встревожило и огорчило меня. Несколько раз я собирался съездить в село Шуклино, чтобы узнать от семейных Лукьяна о положении его здоровья, но частью рабочая пора, частью лень как-то мешали все осуществлению моего желания. Раза два, однако, встречаясь на базаре с шуклинскими крестьянами, я справлялся у них, жив ли Лукьян? — и оба раза получал в ответ: «Ничего, жив!» Я стал успокаиваться, а вскоре меня успокоили еще больше «ерундинская барыня» и «скачихинская барышня». Обе они, зная мои дружеские отношения к Лукьяну, заехали как-то ко мне, весьма мило потребовали, чтобы я угостил их шоколадом, и вот за этим-то шоколадом сообщили мне, своему «celeberrimo collegae»* (прежде они величали меня carissimus collega**, но со времен сновидений стали надо мной подтрунивать и carissimus переделали на

* Знаменитому коллеге *(лат.)*.
** Дорогой коллега *(лат.)*.

celeberrimus), что сейчас встретили Якова, который объявил им, что Лукьян не только жив и здоров, но даже совершенно поправился, что он бодр, весел и боли в руке не чувствует ни малейшей! Я спросил было своих любезных собеседниц: не вернулся ли Лукьян из города? — но они ответить мне на это не могли, на том основании, что им, как выразились они сами, «даже и в голову не пришло спросить об этом Якова». Я успокоился окончательно; а известно, что когда русский человек успокоится, да вдобавок окончательно, то сдвинуть его с места является уже делом крайне нелегким! В таком успокоительном положении я провел еще недели две...

Наконец я взял да и собрался.

* * *

Мне заложили беговые дрожки, и я отправился в Шуклино с целью, конечно, навестить семью Лукьяна, так как повидаться с ним самим я еще не рассчитывал. День был прелестный, теплый, но не жаркий. Белые прозрачные облачка тонули в синеве неба, то разбегаясь барашками, то вытягиваясь пеленой, как легкое подвенечное покрывало. Успевшая выколоситься рожь колыхалась волнообразно, пестрилась седыми отливами колосьев; отливы эти бежали по полю один за другим, как бы догоняя друг друга, и словно таяли вдали... Греча была в полном цвету; белыми квадратами выделялась она в темной зелени яровых полей и насыщала воздух ароматом меда. Я ехал и наслаждался...

Часа через полтора я был уже в Шуклине. По случаю праздничного дня улицы пестрели народом. Старики сидели на завалинках, а молодежь водила хороводы, пела песни и веселилась на славу.

— А что́ Лукьян? — спросил я встретившегося мне знакомого крестьянина.— Жив, что ли?

— Жив, ничего...

— Поправляется?

— Поправляется, слышь.

Я обогнул церковь, миновал дома причетников, повернул в переулок, в котором жил Лукьян, а немного погодя подъезжал уже к его избе. Смотрю — и что же? Лукьян сидит на завалинке, правая рука его лежала на перевязи, а левая гладила какую-то собачонку, ласково положившую к нему на колени свою морду.

— А, приятель! — кричал Лукьян, увидав меня и махая здоровой рукой.— Друг любезный... Насилу-то вспомнил... Сколько лет, сколько зим...

И лицо Лукьяна озарилось самой приятнейшей улыбкой. Он оттолкнул собачонку, вскочил с завалинки и, поспешно подойдя ко мне, протянул левую руку.

— Здорово, здорово! — бормотал он.— Давно не видались! давно, давно...

— Ну, что рука? — спросил я, привязав к плетню лошадь.

— Рука, брат, тю-тю,— поминай как звали! — И, приподняв больную руку, прибавил: — Вот чего осталось! Ровно у быка булдыжка[5]. Теперь с левого плеча стрелять-то придется...

— Знаю я, что кисти-то нет у тебя,— проговорил я,— ты мне про руку-то расскажи. Она как?

— Она ничего теперь...

— Зажила?

— Зажила. Допрежь все гной сочился, а теперь затянуло, как быть должно!.. Ну, что,— прибавил он,— как поживаешь?

— Ничего.

— По дупелям-то ходил?

— Нет.

— Что так? а слышь, про́пасть их...

Вышел Яков. Масляное лицо его (известно, что у мужиков по праздникам всегда лица масляные) выражало радость, губы раздвигались в какую-то глупую улыбку и выказывали ряд белых, как сахар, зубов. Он поздоровался со мной и, кивнув на старика головой, проговорил:

— Выходился ведь!

— И прекрасно.

— А уж мы было хоронить собрались... так и чаяли, что без старика останемся.

— С этих-то пор помирать — больно жирно будет! — вскричал Лукьян весело.

Яков подошел ко мне еще ближе, потоптался как-то, ткнул меня в плечо и вскрикнул:

— А в город-то мы его не возили! — И опять глупо улыбнулся.

— Да нешто возможно было в город ехать! — подхватил старик.— Невозможное дело, братец! Тут на печке — и то места не найдешь, бывало, а уж где там в больнице!

— Стало быть, сюда лекаря привозили? — спросил я.

— Ну,— крикнул Яков,— нешто он поедет к мужику! Что ты, братец, разве это возможно!.. Нет, мы сами...

— Как сами! — вскрикнул я.

— Так: сами отрезали.

— Ты с ума сошел?

— Зачем! Мы все, как ты приказывал, так и сделали...

— Постой, постой! — перебил я его.— Я приказывал тебе в город вести его.

— Ну, рассказывал, что ли, все едино! Как ты рассказывал в те поры, так я и сделал. Осколки все выбрал, и кость отпилил, и жилы все перевязал, обмыл все водицей, спустил кожицу и зашил наглухо! А потом твоей примочкой примачивал... и все льдом, и все льдом...

— Чем же ты осколки-то вынимал?

— Шилом выковыривал.

— А кость пилил чем?

— Знамо, пилой! У нас такая пилочка махонькая есть, вострая, шельма, да тонкая такая!.. а кожу-то бритвой подрезал... у солдата Патрикешкина брал, хорошая бритва, аглицкая, в Аршаве покупана...

И затем, как-то легко вздохнув, словно бремя сбросил с себя, он прибавил весело:

— Ну, и ничего... Господь послал!..

Я ушам своим не верил. Меня разбирала и злость и досада...

Я готов был обругать этого глупого Якова, но, вспомнив и себя самого, и «ерундинскую барыню», и «скачихинскую барышню» — невольно замолчал, словно языка лишился, и только попросил Лукьяна показать мне больную руку. Старик охотно исполнил мое желание, поспешно размотал тряпку, и вскоре я увидал совершенно зажившую «булдыжку», как прозвал ее Лукьян.

— Ну, брат Яков,— проговорил я, осмотрев руку,— отчаянный ты человек!

Но Яков и внимания не обратил на мои слова.

— Нет, ты послухай-ка, что старик-от наш сделал! — говорил он снова, толкнув меня в плечо.— Я его, стало быть, связать пожелал, чтобы не барахтался, а он заместо того сел за стол, поставил на него вот этаким манером на локоть руку и говорит: «Ну, Яша, постарайся, потрудись уж... аккуратней, мотри!»

Старик как-то грустно улыбнулся, а дурак Яков стоял воз-

ле, засунул оба большие пальца за пояс рубашки, остальные как-то растопырил, выпятил брюхо, и круглое масляное лицо его словно говорило: «Вот, мол, как по-нашему-то!»

— Ну, будет вам тут балясничать-то! — раздался вдруг позади меня чей-то старушечий, разбитый голос.— Самовар кипит, зови гостя-то в горницу!

Я оглянулся и увидал высунувшуюся в окно жену Лукьяна — Дарью.

— Что долго не бывал? По болотам, поди, шатался? — говорила она.

— Нет, бабушка, недосуг было.

— Уж как душа-то у меня наболелась за это время!.. ах, как наболелась!.. А вот ты не пришел небось потужить-то!.. Не пришел проведать... А уж как горько было!..

— Я полагал, что он в городе!..

— Куда уж нам в город!.. Над мужиками в городах-то смеются, «кацапами» называют... Ну, да теперь, слава тебе царица небесная,— услыхала, матушка, мои молитвы глупые... Миновало нас горе! Слава тебе, господи, слава тебе...

— Пойдем, пойдем! — тростил между тем Лукьян, толкая меня больным плечом.— «Барыню»-то мою ведь не переслушаешь... тоже ныть-то здоровенная!.. Пойдем-ка чайку напьемся...

Мы вошли в горницу, засели за стол и принялись за чай.

Возвращаясь домой вечерком, по холодку, я встретил на одном перекрестке «ерундинскую барыню» и «скачихинскую барышню». Обе они мчались в одном и том же тарантасе, о чем-то горячо рассуждая, и рассуждения эти сопровождали какими-то особенно энергичными жестами.

— Откуда? — крикнул я, поравнявшись с ними.

— А! Celeberrime collega! — крикнули они, в свою очередь, и замолотили по спине кучера зонтиками, приказывая ему остановить лошадей.

— Откуда? — повторил я, не слезая с дрожек.

— На «консилиуме» были!

— Вдвоем?

— Конечно! — кричали они разом.— К вертуновскому дьякону ездили; говорили — с ума сошел, но оказалось, вздор! Храмовой праздник был у них, и с ним просто delirium tremens!..* А вы тоже с практики?..

* Белая горячка *(лат.)*.

Я расхохотался даже.

— Однако до свиданья,— кричали между тем барыни,— некогда! У нас еще в Осиновке консилиум, туда необходимо!.. Нда-с! вот мы как!..

И они помчались, обдав меня облаком пыли.

Все это, однако, «дела давно минувших дней»... Теперь не то... Порядки изменились... Уезд, о котором я только что говорил, помимо «казенных врачей», имеет трех земских, семь-восемь человек фельдшеров и, кажется, три земских больницы. Земство расходует на все это довольно почтенную сумму денег и расход этот называет «народным здравием». Впрочем, года два-три тому назад я был свидетелем, как крестьянин деревни Покровки, Минай Галкин, не дождавшись помощи ни со стороны врача, ни со стороны фельдшера, проживавшего всего в версте от Покровки, сам, собственными своими руками оторвал себе (не отрезал, а оторвал) от ноги отмороженные пальцы. Пальцы эти Минай засушил, тщательно завернул в тряпку и спрятал в сундук.

— Зачем? — спросил я его.

— Чтоб деньги водились: говорят, примета есть такая!

Однако, в успокоение читателя, я должен сообщить, что и Минай Галкин, подобно Лукьяну Антипину, поправился живой рукой и никаких огней с ним не было. Ходит он, правда, прицапывая на правую ногу... Но мало ли хромых-то на свете!..

«И черт их знает, чего только над собою ни делают эти кацапы!» — восклицают обыкновенно господа доктора, рассуждая про решимость русского мужика.

И точно!..

Грачевский крокодил

Повесть

> ...Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают[1].
>
> *Гоголь*

I

В местной газете «Кнутик» была напечатана следующая корреспонденция:

«М.г., господин редактор! Спешу уведомить вас, что на днях, неподалеку от усадьбы помещицы Анфисы Ивановны Столбиковой, при деревне Грачевке, в камышах реки, носящей то же название, появился крокодил. Первое известие об этом было подано крестьянкою Матреной Ивановной Молотовой, которая объявила сельскому старосте, что часов в шесть утра она стирала на реке белье, неподалеку от того места, где река Грачевка образует песчаную отмель и где обыкновенно купается племянница Столбиковой, Мелитина Петровна. Все было тихо. Мелитина Петровна, искупавшись, ушла домой, как вдруг плававшие вдоль берега гуси с криком бросились в сторону, чем-то перепуганные, захлопали крыльями и вылетели вон из реки. Удивленная Молотова бросилась к тому месту, желая убедиться, не скрывалось ли что-либо в камышах, но ничего не нашла; в некотором же расстоянии по направлению к лесу, примыкавшему к камышам, слышался торопливый треск, как будто по камышам что-то поспешно ползло, желая скрыться, и видно было, как по направлению этого треска камыши распадались направо и налево. Получив это извещение, сельский староста пригласил с собою сотского и понятых, отправился на место происшествия и нашел, что возле того места, на котором купается обыкновенно Мелитина Петровна, камыши сильно помяты, как будто там кто-нибудь валялся. От места этого по тем же камышам, по направлению к лесу, шла чуть заметная тропа. Староста отправился по этой тропе, но вскоре принужден был воротиться, так как тропа исчезла и, сверх того, он дошел до такой трясины, что втискался в нее по пояс и дальнейшие исследования принужден был прекратить.

Составив об этом акт и скрепив его по безграмотству приложением должностной печати, староста представил таковой Рычевскому волостному правлению, но правление, не обратив должного на документ этот внимания, вместе с другими бумагами бросило его в печку. В тот же день, часов в семь вечера, возвращавшиеся с покоса крестьянские девицы деревни Грачевки затеяли купаться. Утомленные дневным зноем, они плавали на спине, брызгались водой, как вдруг из камышей, возле которых они были, раздался пронзительный крик и вслед за тем скрежет зубов! Девушки ахнули, выскочили из воды и, боясь подойти к своему платью, которое лежало как раз подле того места, откуда раздался крик, бросились, как были, в деревню и явились к старосте. Староста дал им приличное наставление и, в видах предупреждения на будущее время несчастий, строго запретил жителям деревни Грачевки купаться в реке. На другой день утром пономарь села Рычей удил на том месте рыбу, а когда взошло солнце и клев прекратился, пономарь задумал искупаться. Ничего не слыхавший о происшедшем накануне, он преспокойно разделся и опустился в воду. Не умея плавать, он присел на корточках возле самого берега и стал умывать лицо, как вдруг кто-то уцепил его сзади за косичку и вытащил на берег... Что было далее, пономарь не помнит, так как в то же мгновение потерял сознание, в каковом положении и был найден лежащим в камышах. Считаю излишним описывать ужас, которым был объят весь наш околоток! Разговорам не было конца. Начали появляться добавления... Так, например, земский фельдшер Нирьют, ходивший на охоту, видел в реке Грачевке что-то плывшее по воде, темно-коричневого цвета, сажени в две длиною, стрелял в это чудовище, но, по-видимому, не нанес ему никакого вреда. Рыбак Данила Седов, расставлявший ночью сеть и плывший по этому случаю на маленьком челноке, был кем-то опрокинут совсем с челноком, так что насилу выбрался на берег. Все это вместе взятое увеличивало еще более ужас. К тому месту, где чаще всего появлялось чудовище, был приставлен караул; караулили день и ночь, но чудовище, как нарочно, не появлялось. Так прошло недели две, умы стали успокаиваться; порешили, что чудовище куда-нибудь переместилось, и караул был снят, как вдруг новое происшествие переполошило всех!.. Пропал без вести мальчик лет семи, сын грачевского крестьянина Ивана Мотина, Василий, платье которого было найдено на берегу, на той самой песчаной отмели и возле тех самых

камышей, где столько раз появлялось чудовище. Сначала думали, что мальчик, купаясь, утонул, но если б он утонул, то найден был бы его труп. Между тем все средства, употребленные к отысканию трупа, остались напрасными: бродили сетями, пускали горшки с ладаном, но дымящиеся горшки плыли себе по течению реки и нигде не останавливались...* Наконец бросили и порешили, что несчастный был жертвою неведомого чудовища! Однако надо же было узнать наконец, что это за чудовище, и приискать средства для избавления себя от него!.. Разрешение всего этого принял на себя наш добрый и просвещенный учитель сельской школы, г. Знаменский, в короткое время успевший приобрести своими неутомимыми педагогическими трудами общую любовь и уважение, которые, то есть труды, к несчастию, остаются незамеченными лишь только одним членом училищного совета, не представившим даже г. Знаменского к награде. В тот же день, когда исчез ребенок, г. Знаменский, пригласив с собою сотского и нескольких стариков, отправился на театр описанных ужасов. Часов в восемь вечера они были уже на песчаной отмели, но так как увидали, что там купалась Мелитина Петровна, тщательно вытираясь намыленною губкою и погружая в воду грудь свою, то, понятно, чувство скромности заставило их обождать, когда она кончит купанье и оденется. Действительно, Мелитина Петровна вышла из воды и скрылась в камышах, а немного погодя, уже одетая и с зонтиком в руке, она шла по дороге, ведущей в усадьбу тетки, Анфисы Ивановны Столбиковой. Тогда г. Знаменский подошел к тому месту, где купалась Мелитина Петровна, но только что успел он войти в камыши, как вдруг раздался оглушительный треск и что-то поспешно бултыхнуло в воду, обдав его брызгами и скрывшись под водой. В это время подбежали к г. Знаменскому сотский и старики, но в камышах уже ничего не было! Тем не менее г. Знаменский начал исследовать местность с целью отыскать хоть какие-нибудь следы ребенка, но вместо того поднял только окурок папироски, а сотским найдены чьи-то пестрые панталоны, парусинный пиджак, фуражка, ситцевая рубашка и сапоги. Все это немедленно было предъявлено сотским г. Знаменскому, который и признал принадлежность этой одежды сыну священника села Рычей Асклипиодоту Психологову. Ужас овла-

* В народе существует поверье, что горшок с ладаном, пущенный на воду, остановится над трупом утопленника. *(Прим. И. А. Салова.)*

дел всеми!.. Неужели же и Асклипиодот, подобно ребенку, сделался жертвою чудовища?.. Все немедленно отправились в село Рычи к священнику, отцу Ивану, и ужас их увеличился еще более, когда они узнали, что Асклипиодота не было дома!.. И только вечером, когда уже достаточно стемнело, г. Знаменский встретил Асклипиодота в лавке Александра Васильевича Соколова. Увидав свое платье, Асклипиодот очень обрадовался и рассказал подробно, что, купаясь в реке Грачевке, он чуть было не сделался жертвою огромного крокодила, от которого спасся единственно благодаря своему превосходному умению плавать и нырять. Крокодил, которого Асклипиодот видел собственными своими глазами, имел в длину сажени три, тело его на спине покрыто роговыми щитками, по средине представляющими возвышение. Язык короткий, челюсти вооружены многочисленными зубами, имеющими вид клыков. Сверху крокодил коричнево-бурый, снизу грязно-желтый. В воде движения его весьма быстры, так что Асклипиодоту стоило большого труда увертываться от его нападений; на земле же движения эти немного вялы. Увидал он крокодила в камышах, когда сам был в воде, поэтому и принужден был покинуть свою одежду. Крокодил долго смотрел на него, разинув пасть и как бы прицеливаясь в него, а немного погодя даже ринулся в воду, но Асклипиодот нырнул и тем только избавился от пасти крокодила! Итак, тайна разъяснилась, и чудовище, наделавшее столько ужаса, оказалось крокодилом! Этим заканчиваю я свое письмо, но уверен, г. редактор, что в скором времени вы получите от меня более подробное описание крокодила, так как нам известно, что г. Знаменский принял энергические меры к поимке хищного земноводного».

II

Статья эта, писанная, как говорят, самим г. Знаменским, переполошила весь околоток. Дали знать становому, который немедленно прискакал, опросил крестьянку Молотову, шесть крестьянских девиц, рычевского пономаря, фельдшера Нирьюта, Асклипиодота Психологова и многих других и произведенное дознание препроводил по принадлежности. Крестьяне принялись ставить вентери[2], взад и вперед бродили по реке, делали в камышах облаву, но крокодила не было. Редакция газеты «Кнутик» командировала в Грачевку специального корреспондента, который вместе с г. Знаменским опускал

в реку какие-то стальные крючки с насаженными на них кусками мяса; но все старания поймать крокодила остались тщетными и корреспондент с чем приехал, с тем и уехал. Статья между тем была перепечатана в столичных газетах, и весть о крокодиле распространилась. Началось приискание всевозможных объяснений. Одна газета высказалась, что это, по всей вероятности, не крокодил, так как крокодилы обитают в жарком климате, а гигантский змей, подобный тому, который не так давно появлялся у берегов Норвегии и который наделал столько тревоги между естествоиспытателями. Принялись за старые книги и порешили, что змей этот заслуживает полной веры, так как таковой был уже известен грекам и римлянам. Плиний[3] и Валерий Максим[4] — оба описали подобное земноводное змееобразное, плававшее первоначально в реках; разрастаясь же в громадных размерах, оно уходило в открытое море, так как только там находило достаточный простор для движения.

Прочитав все это, г. Знаменский вышел из себя и немедленно напечатал статью, в которой доказывал, что газета, заговорив о Плинии и Валерии, потеряла почву и очутилась в мире фантазий, что чудовище, появившееся в Грачевке, не змей, а воистину крокодил, что хотя крокодилы и обитают преимущественно в жарком климате, но из этого не следует еще отрицать возможность появления таковых и в климате умеренном. Если в Грачевку, говорил он, в прошлом году забежало два лося, а с год тому назад была убита альпийская серна; если, наконец, у нас в России проживает столько иноземцев всевозможных климатов, в образе ученых, инженеров, певиц, танцовщиц, гувернанток, поносящих холод сей страны снегов, но тем не менее обретающих в ней обильные пажити[5], то почему же не жить у нас и крокодилам! Принимая все это в соображение, он протестует противу искажения факта и восстановляет истину. Действительность присутствия крокодила в Грачевке подтвердит под присягой проживающий в селе Рычах почетный гражданин Асклипиодот Психологов, который собственными глазами крокодила этого видал, описал его и едва не сделался жертвою этого хищного земноводного.

Но как г. Знаменский ни хорохорился, а газета продолжала настаивать на своем и, обругав г. Знаменского и Психологова невеждами и упомянув даже известную побасенку о свинье и апельсинах, статью свою о морских чудовищах начала с Гомера, описав чудовищного змея, убитого героем греческой

мифологии Геркулесом[6]. Затем, упомянув о борьбе змея с китом, виденной капитаном Древаром, о миссионере Гансе Эгеде[7], о епископе Понтопидаге[8], о змее, выброшенной на один из Оркнейских островов[9], имевшей щетинистую гриву,— кончила статью тем, что доктор Пикард в Столовом заливе видел в феврале 1857 года, с маяка, морское чудовище. Оно спокойно расположилось в море в ста пятидесяти шагах от берега; Пикард стрелял в него, но дал промах; 14-го же апреля чудовище приблизилось к мели, где, вероятно, хотело поиграть на солнце, но было замечено шотландскими стрелками, находившимися в катерах под командой лейтенанта Мессиса и сделавшими по животному залп, на который оно не обратило и внимания; но залпы, повторявшиеся без остановки один за другим, произвели наконец свое действие, и змей начал ослабевать. Тогда, зацепив его пасть якорем, семьдесят человек с величайшим трудом притащили его к берегу. Здесь, как бы очнувшись и желая уйти в море, чудовище начало метаться и рваться, и сила ударов его хвоста была так велика, что оно выкидывало вверх и разбрасывало большие прибрежные камни; один такой камень сильно ушиб человека, а другой выбил окно третьего этажа в гостинице «Каледония».

Другая газета объявила, что всё это вздор, что вся эта утка пущена первою газетой с целью заманить к себе этим чудом большее число подписчиков, и в доказательство того, что подобного чуда не существует, привела описание моряка Фредерика Смита, плававшего на корабле «Пекин» и на основании собственных наблюдений объявившего историю о морском змее сказкою. При этом Смит рассказал подробно, что подобное чудовище было изловлено вблизи Мульмейна его моряками, втащено на борт, и мнимое страшное животное оказалось ни больше ни меньше как чудовищною морскою порослью, корень которой, покрытый паразитами, на некотором расстоянии представлялся головою, между тем как вызванные волнами движения придавали ему вид животного тела. Что же касается, прибавляла газета, змея, найденного на берегу одного из Оркнейских островов, то змей тот оказался исполинскою акулой!

Тем не менее к г. Знаменскому по поводу грачевского крокодила посыпались с разных сторон запросы и предложения. «Общество усмирения строптивых животных» даже предложило г. Знаменскому значительную сумму денег, если он живьем доставит в Общество это чудо.

Все это, понятно, еще более возбуждало в г. Знаменском энергию, и он с лихорадочным усилием принялся за поимку животного. Он поил мужиков водкой; продал свою волчью шубу и на вырученные деньги заказал особого устройства сеть, которая могла бы выдержать не только крокодила, но даже слона, и, когда сеть была готова, опять купил три ведра водки и собрал целый полк крестьян, которые и явились охотно на зов. В числе явившихся был и Асклипиодот Психологов. Он хлопотал не менее других, указывал то место, где видел крокодила, где последний на него бросился и где именно его преследовал. Сеть запустили, но дело кончилось лишь тем, что все перепились, а крокодила все-таки не было, за что Асклипиодот и обругал всех дураками.

Вдруг пронесся слух, что крокодил пойман и находится в усадьбе Анфисы Ивановны Столбиковой, в особо устроенном вивариуме[10], и что крокодила этого кормят живыми ягнятами, которых он глотает, как пилюли, по нескольку десятков в день. Бросились все к Анфисе Ивановне, конечно в том числе и Знаменский, но оказалось, что никакого крокодила там не было. Мужики начали толковать, что вовсе это не крокодил, а просто оборотень. Молва эта пошла в ход, встретила приверженцев, а немного погодя сделалась убеждением большинства. Начали подсматривать за некоторыми подозрительными старухами; двух из них изловили ночью где-то в коноплях, и так как старухи не могли объяснить, зачем именно не в урочный час нелегкая занесла их в конопли, то порешили было волостным сходом закопать старух живыми в землю, но потом сочли возможным наказание это смягчить и ограничиться розгами, каковое решение было немедленно приведено в исполнение,— и старух перепороли.

Поскорбев о таковом невежестве «низшей братии», г. Знаменский распродал значительную часть своего скудного имущества, и, желая поближе познакомиться с привычками и образом жизни крокодилов, а равно вычитать где-нибудь способ ловли таковых, и вспомнив при этом, что крокодилами в особенности изобилует Египет, г. Знаменский немедленно отправился на почту и выписал «Путешествие по Нижнему Египту и внутренним областям Дельты» Рафаловича, но, как на смех, в книге этой о крокодилах не упоминается ни полслова, и деньги, употребленные на покупку «Путешествия», пропали бесследно. Г. Знаменский схватился за попавшийся ему случайно первый том Дарвина в переводе Бекетова[11], но

и в этой книге про крокодилов ничего не говорится. Тогда г. Знаменский принялся за каталог Вольфа и с следующею же почтой на целых пятнадцать рублей выписал себе книг, заглавия которых, по его соображениям, непременно должны были послужить ему руководством для разрешения предпринятой им на себя задачи, и вместе с тем решился впредь, до получения этих книг, относительно поимки крокодила ничего не предпринимать.

III

Если весть о грачевском крокодиле переполошила такое ученое учреждение, как «Общество усмирения строптивых животных», то само собою разумеется, что весть эта более всех должна была поразить Анфису Ивановну Столбикову, во владениях которой он появился и успел уже столько накуролесить. Хотя Анфиса Ивановна не имела никакого понятия ни о морских змеях, ни об ужасах, производимых крокодилами, тем не менее, однако, она сознавала инстинктивно, что тут дело что-то не ладно, и немедленно собралась в село Рычи к священнику отцу Ивану с целью, во-первых, отслужить молебен с водосвятием, а во-вторых — посоветоваться: что ей делать и что такое именно крокодил? Отец Иван, на грех, уехал в город, а был дома только сын его Асклипиодот. Хотя старушка и недолюбливала его за что-то, но, имея в виду, что ветрогон этот (так называла Столбикова Асклипиодота) чуть было не сделался жертвою крокодила, она решилась порасспросить его о случившемся и повыпытать от него, насколько крокодил этот страшен и насколько следует его опасаться. Асклипиодот предложил старухе чаю, усадил ее в мягкое кресло, а сам, усевшись у ног ее, наговорил ей таких ужасов, что даже волос становился дыбом. По словам его, крокодил вышел, ни дать ни взять, похожим на то чудовище, которое обыкновенно рисуется на картинах, изображающих Страшный суд, и которое своею огненною пастью целыми десятками пожирает грешников.

Увидав нечаянно в окошке проходившего мимо пономаря, того самого, которого крокодил вытащил за косичку на берег, Анфиса Ивановна подозвала его; но и пономарь ничего утешительного ей не сообщил, а объявил, что от страха у него до сих пор трясутся и руки и ноги и что во всем теле он чувствует та-

кую ломоту, как будто у него все кости поломаны и помяты; а в конце концов, показав косичку, объяснил, что от прежней у него и половины не осталось. Анфиса Ивановна растерялась окончательно и решилась проехать к г. Знаменскому. Асклипиодот проводил старушку до экипажа, посадил ее, застегнул фартук тарантаса, и Анфиса Ивановна отправилась.

Г. Знаменский, как только узнал цель посещения Анфисы Ивановны, тотчас же прочел ей письмо «Общества усмирения строптивых животных» и статьи газет о морских чудовищах и, сверх того, дал ей честное слово, что как только получит от Вольфа книги о крокодилах, то тотчас же явится к ней почитать об них, и кончил тем, что появление крокодила в Грачевке есть великое бедствие, грозящее превратить данную местность в пустыню.

Анфиса Ивановна все это выслушала и вдруг почувствовала, что ей что-то подкатило под сердце, почему в ту же минуту оставила г. Знаменского и прямо отправилась к земскому фельдшеру Нирьюту. Осмотрев старуху, фельдшер объявил ей, что относительно ее здоровья положительно нет никакой опасности, что у нее простое легонькое спазматическое состояние аорты и что он даст ей амигдалину[12], от которого все это пройдет; относительно же крокодила Нирьют высказал свое удивление, что Мелитина Петровна продолжает купаться, и именно на том самом месте, где он постоянно *шалит*. При этом он совершенно основательно заметил, что если крокодил намеревался поглотить Асклипиодота, мужчину довольно рослого и плотного, то, по всей вероятности, поглотить даму для него будет несравненно легче, не говоря уже о том, что тело Мелитины Петровны, как вообще дамское без сомнения, нежнее и слаще грубого тела Асклипиодота. Анфиса Ивановна приняла капли, но, услыхав, что крокодилы глотают людей, поспешила уехать от фельдшера и снова завернула к отцу Ивану.

Подъехав к дому священника, она увидала у калитки Веденевну — старушку, вынянчившую детей отца Ивана. Старушка сидела на завалинке и, видимо, была не в духе.

— Веденевна, здравствуй! — проговорила Анфиса Ивановна.

— Здравствуйте, матушка! — ответила та.

— Что... не приехал ли?

— Приехал!.. Принесла нелегкая...— проворчала нянька.

— Повидаться бы мне с ним хотелось...

— Выбрали времечко — нечего сказать!..

— А что?

— Да такой злющий приехал, что не знаю, с которого боку и подходить к нему...

Анфиса Ивановна перепугалась даже.

— Случилось разве что? — спросила она шепотом.

— А пес его знает, прости господи,— ответила нянька. И, подойдя к тарантасу, прибавила: — Письмо какое-то, вишь, из Москвы получил и такой бунт поднял, что хоть святых вон выноси.

— Что же это за письмо такое?

— А уж этого не знаю, матушка... Знаю только, что когда письмо он прочел, так сейчас же бросился к сыну и давай кричать на него... Уж он кричал, кричал... Такой-то крик поднял, что я перепугалась даже, прибежала в комнату, а он меня чуть не в шею... «Вон! говорит, старая ведьма!.. Нечего сказать, вынянчила дитятку!» Да на меня с кулачищами.

Анфиса Ивановна побледнела, сердце ее забилось еще болезненнее, но тем не менее она все-таки решила повидаться с отцом Иваном.

— Хотелось бы мне молебен с водосвятием отслужить! — проговорила она.— Сама видишь, какие времена-то переживаем...

— Последние времена, что и говорить! — проговорила нянька со вздохом.

— Бог знает, что случиться может! А как помолишься-то, все-таки на душе легче будет...

— Что же, зайдите, матушка... Может, теперь и остыл маленько...

Когда Анфиса Ивановна вошла в залу, священник был один и, заложив руки за спину, быстро ходил из угла в угол. При виде вошедшей Анфисы Ивановны он даже не остановился, не благословил ее по обыкновению, а только кивнул головой да рукою указал на стул.

Анфиса Ивановна молча уселась, вздохнула и только тогда, когда немного собралась с духом, спросила робко:

— Ты что это из угла в угол-то бегаешь? Укусил, что ли, тебя кто-нибудь?

— Укусил!

Анфиса Ивановна опустила голову, вздохнула и, немного помолчав, прошептала совершенно уже упавшим голосом:

— Дожили!

— Да-с, дожили! — повторил отец Иван, продолжая шагать по комнате.— Настали времена — нечего сказать!

— Как же быть-то теперь? — робко спросила старушка и устремила на отца Ивана умоляющий о спасении взор.

— Известно как! Терпеть приходится!.. Терпи...

— Терпи! — передразнила его Анфиса Ивановна и, недовольная таким ответом, даже ногой затопала.— Терпи! Отчего же прошлой зимой, когда волки двух лучших твоих овец зарезали, ты не терпел!.. Нет, ты, несмотря на свой сан, воспрещающий тебе убивать, за ружье ухватился и две ночи караулил волков на задворке!.. Ведь ты убил волка-то! а теперь терпение проповедуешь!..

— Да, терпение! — перебил ее с досадой отец Иван.— Ибо теперь ружье ничего не поможет. Бога мы прогневили... вот он нас и наказует...

— Он же и помилует! — перебила его Анфиса Ивановна.

— Верно-с, а все-таки в ожидании... терпи!.. Вот я и терплю. Вам известно, весь век свой я прожил спокойно... всю жизнь свою посвящал труду, не ради себя, а ради детей своих... О них, о них заботился, а вышло, что дети не поняли этого. Я устраивал, созидал... а дети созданное разрушают! Родители ищут в детях утешения, благодарности, а дети, наоборот, приносят огорчения...— И, переменив тон, отец Иван добавил: — Последние дни доживаем, сударыня!.. Прогневили господа бога!

— Ну, а в городе как? — спросила Анфиса Ивановна.— Ведь ты, кажись, в город ездил?

— Ездил-с.

— Там как?

Отец Иван даже рукой махнул.

— Неужели и там то же? — спросила Анфиса Ивановна едва слышным голосом.

— То же самое. Куда ни кинь, повсюду клин! Расскажу вам про себя. Нужно мне было в городе с одного приятеля купца триста рублей за лошадь получить... Приезжаю — и что же? Купец оказался банкротом, и вместо трех радужных я три красненьких получил!.. Да это еще ничего! А вот если бы вы газеты почитали, так не то бы еще узнали.

— Сейчас только Знаменский читал мне! — перебила его Анфиса Ивановна.

— Читал? — спросил отец Иван.

— Целый час, никак!
— И прекрасно! Следовательно, вам все известно.
— Может быть, врут газеты!..— нерешительно заметила старушка.
— Нет-с, не врут, а все, что вам читали, все это верно...
— Может, в других-то местах и нет ничего!..
— Везде-с! повсюду! — перебил ее отец Иван.— Там, смотришь, банк слопали; в другом месте концессию проглотили; в третьем армейский провиант сожрали... Э, да что и толковать!.. Лопавня, сударыня, такая пошла повсюду, что не знаешь, куда и прятаться! Того и гляди — живьем проглотят!..
И, махнув рукой, он снова зашагал по комнате.
— Да воскреснет бог! — шептала Анфиса Ивановна.
— А все почему? — продолжал он.— Потому что господа бога прогневили, святые заповеди его забыли, владыку небесного на житейскую суету променяли! Из православных христиан в идолопоклонство обратились! Вот царь небесный и огневался: «Коли так, говорит, так вот нате же, пожирайте друг друга!» И резон! — добавил отец Иван, сделав одобрительный жест.— Ведь гнев господень и прежде проявлялся... Пробегите священную историю, и вы убедитесь. Припомните потоп всемирный, Содом и Гоморру...
— Да ты про что это говоришь-то? — спросила Анфиса Ивановна, не совсем понимавшая отца Ивана.— Про что говоришь-то? Про крокодилов, что ли?
— Про них, сударыня, именно про них, ибо твари эти и суть крокодилы. Глотать, пожирать, забыть совесть, лопать без разбора, помышляя лишь о своем мамоне[13]. Чего же вам еще, скажите, бога ради!.. Точно, не опровергаю, и в старину водились крокодилы, жадные были тоже, но до таких размеров не доходили!.. Помню я очень хорошо... Была, в мое время, в Питере инвалидная касса разграблена, так виновный — мучимый угрызениями совести, жизни себя лишил, а нынешние расхитители не только не лишают себя жизни, а даже обижаются, что их суду предают. Что же это за времена такие?.. Как тут быть? Как жить?.. Как горю помочь?.. Следовало бы за разрешением всего этого прибегнуть к тому, что все разрешает и устрояет, к царю небесному, но небесный царь отвратил свое лицо от нас! Мы к нему, а он вопрошает нас: «Вам что угодно, господа? Зачем пожаловали? Ведь у вас иной бог есть, к нему и идите!» А идти к иному богу, к зла-

тому тельцу, все одно что самому в крокодила превратиться.

Анфиса Ивановна все это слушала, слушала и наконец вышла из терпения.

— Ну,— проговорила она, вставая с места,— правду сказала нянька твоя, что с тобой сегодня говорить невозможно! Ты из города-то совсем дураком воротился! Пил, что ли, много,— бог тебя знает! Только ты, сударик, такую чепуху несешь, что даже уши вянут. Златому тельцу я, друг любезный, не поклоняюсь,— стара я веры-то менять! — живу по-старинному, как отцы жили, а заехала я к тебе вот зачем. Желаю я, чтобы ты завтра утром у меня в доме молебен с водосвятием отслужил и хорошенько всю усадьбу святой водой окропил... Слышишь, что ли?

— Слышу, матушка, слышу...

— А коли слышишь, так, значит, и приезжай часов в девять утра. Да смотри! служить без пропусков и все, какие есть на этот случай, молитвы привези и прочти. А то ведь я знаю тебя! — прибавила она, грозя пальцем: — Про золотого-то тельца ты толкуешь, а сам первый, с позволения сказать, пятки у него лижешь...

И, проговорив это, Анфиса Ивановна бросила на отца Ивана гневный взор и вышла из комнаты. Отец Иван словно замер на месте, не понимая, чему именно приписать гнев старушки. Только немного погодя, когда завернул к нему г. Знаменский и принялся толковать о появившемся в Грачевке крокодиле, отец Иван сообразил, в чем именно дело, и, забыв на этот раз и полученное из Москвы письмо, и обанкротившегося купца, и кражи банков, разразился неистовым смехом.

— Ой,— кричал он,— ой, не могу!.. Постой, дай отдохнуть!.. Отвернись на минутку, чтобы я твоего смешного лица не видал...

И, упав на кресло, он крепко схватился руками за готовый выскочить кругленький живот свой.

— Теперь я понимаю! — проговорил он немного погодя, отирая ладонью катившиеся по щекам слезы.— Так вот по какому случаю молебен-то требуется!.. Теперь понимаю!.. А я-то с ней аллегории разводил!..

И затем, вдруг вскочив с кресла и подбежав к г. Знаменскому, удивленно смотревшему на него и словно ошеломленному всею этою сценою, он ударил его по плечу и проговорил:

— А знаешь ли, приятель, какой я дам совет тебе...

— Какой? — спросил Знаменский.

— Брось-ка ты все свои занятия да ложись-ка поскорее в больницу, а то у тебя глаза нехорошие.

Знаменский оскорбился и, не простясь даже с отцом Иваном, вышел из комнаты. Отец Иван проводил его насмешливым взглядом и принялся опять шагать по комнате. Так проходил он с полчаса, наконец подсел к окну, вынул из кармана скомканное письмо и начал читать его. По мере того как чтение доходило к концу, лицо отца Ивана становилось все мрачнее и мрачнее, а дочитав письмо, он снова скомкал его, сунул в карман и опять принялся шагать по комнате.

Вошел Асклипиодот — робкий, испуганный, пристыженный, и, увидав отца, бросился ему в ноги.

— Батюшка! — проговорил он.— Я опять к вам! Выручите, съездите в Москву, затушите дело...

Но отец Иван словно не замечал сына и продолжал ходить по комнате...

Между тем Анфиса Ивановна на возвратном пути из села Рычей в свою усадьбу встретила Ивана Максимыча. Он шел по дороге и подгонял прутиком корову, еле-еле тащившую ноги.

Иван Максимыч был старик лет пятидесяти, с красным носом и прищуренными глазами. Когда-то при откупах служил он целовальником, в настоящее же время занимался портняжеством и торговлею мясом, поставляя таковое окрестным помещикам. Прежде ходил в длиннополых сюртуках, в настоящее же время, вследствие проникнувшей в село Рычи цивилизации, а некоторым образом повинуясь и правилам экономии, носил коротенькие пиджаки и, в тех же видах, заправлял панталоны в сапоги. Водки, однако, как бы следовало человеку цивилизованному, Иван Максимыч не пил, и почему суждено ему таскать при себе красный нос — остается тайной. Не было ни одного человека в околотке, не было ни одного ребенка, который не знал бы Ивана Максимыча. Он всегда говорил прибаутками, часто употреблял в разговорах: «С волком двадцать, сорок пятнадцать, все кургузые, один без хвоста» и т. п. И потому, как только, бывало, завидят его идущим в фуражке, надетой на затылок, так сейчас же говорили: «Вон с волком двадцать идет!» Иван Максимыч был местною ходячею газетой. Рыская по всем окрестным деревням и разыскивая коров, доживающих последние дни свои,

с гуманною целию поскорее покончить их страдания, он все видел и все знал, рассказывал все виденное и слышанное довольно оригинально, и потому болтовня его слушалась охотно, хотя и была однообразна.

Увидав Ивана Максимыча, Анфиса Ивановна приказала кучеру остановиться.

— Слышал? — проговорила Анфиса Ивановна, подозвав к себе Ивана Максимыча.

— Насчет чего это? — спросил он, снимая фуражку и подходя к тарантасу.

— О крокодиле-то?

— О, насчет крокодильных делов-то! — проговорил он, заливаясь смехом, причем глаза его сузились еще более, а рот растянулся до ушей, обнажив искрошенные зубы.— Вот где греха-то куча! Большущий, вишь, желтопузый, с волком двадцать!..

— Как! — подхватила Анфиса Ивановна.— Разве их двадцать?

— Сорок пятнадцать, все кургузые, один без хвоста.

— Кургузые?.. разве ты видел? — добивалась Анфиса Ивановна.

— Вот греха-то куча! — продолжал между тем Иван Максимыч, даже и не подозревая ужаса Анфисы Ивановны.— Должно, ухорский какой-нибудь!.. Ведь этак, чего доброго, крокодил-то, пожалуй, насчет проглачивания займется... и всех нас того!..

Анфиса Ивановна махнула рукой и приказала ехать. Домой она воротилась чуть живая и, несмотря на то, что по приезде приняла тройную порцию капель, чувствовала, что сердце ее совершенно замирает. Старушка бросилась в комнату Мелитины Петровны, чтобы хоть от нее почерпнуть что-либо успокаивающее, но Мелитина Петровна, увидав тетку со шляпкою, съехавшей на затылок, и с шалью, тащившеюся по полу, только расхохоталась и ничего успокоительного не сказала.

Анфиса Ивановна легла спать, положила возле себя горничную Домну, а у дверей спальни лакея Потапыча, чего прежде никогда не делала, и, несмотря на это, все-таки долго не могла заснуть, а едва заснула, как тут же из-под кровати показался крокодил и, обвив хвостом спавшую на полу Домну, приподнял свое туловище по направлению к кровати и, разинув огненную пасть, проглотил Анфису Ивановну!

IV

Участок Анфисы Ивановны был не особенно большой, но зато на нем было все, что вам угодно: и заливные луга, и лес, и прекрасная река, изобиловавшая рыбой, и превосходная глина, из которой выделывались горшки, почитавшиеся лучшими в околотке; а земля была до того плодородна, что никто не запомнит, чтобы на участке Анфисы Ивановны был когда-нибудь неурожай. Домик Анфисы Ивановны был тоже небольшой, но он смотрел так уютно, окруженный зеленью сада, что невольно привлекал взор каждого проезжавшего и проходившего. В саду этом не было ни одного чахлого дерева; напротив, все задорилось и росло самым здоровым ростом, обильно снабжая Анфису Ивановну и яблоками, и грушами, и вишней... Люди, склонные к зависти, ругали Анфису Ивановну на чем свет стоит.

— Ведь это черт знает что такое, прости господи! — горячились они.— Ну посмотри, сколько яблоков, сколько вишни! А какова пшеница-то!.. И на кой черт ей все это нужно!..

Но Анфиса Ивановна даже и не подозревала, что яблоки ее порождали всеобщую зависть. Она жила себе преспокойно в своей Грачевке, окруженная такими же стариками и старухами, как и она сама.

Анфиса Ивановна была старушка лет семидесяти, маленького роста, сутуловатая, сухая, с горбатым носом, старавшимся как будто изо всей мочи понюхать, чем пахнет подбородок. Зубов у Анфисы Ивановны не было, но, несмотря на это, она все-таки любила покушать и, надо сказать правду, кушала мастерски. Анфиса Ивановна была старушка чистоплотная, любившая даже при случае щегольнуть своими старыми нарядами и турецкими шалями. Когда-то Анфиса Ивановна была замужем, но давно уже овдовела и, овдовев, в другой раз замуж не выходила. Поговаривали, что в этом ей не было никакой надобности, так как по соседству проживал какой-то капитан, тоже давно умерший; но все это было так давно и Анфиса Ивановна была так стара, что даже трудно верилось, чтобы она могла когда-нибудь быть молодою и увлекательною. Детей у Анфисы Ивановны ни при замужестве, ни после такового не было. Она была совершенно одна, так как племянница Мелитина Петровна приехала к старухе очень недавно и не более как за месяц до начала настоящего рассказа.

Прислуга Анфисы Ивановны отличалась тем, что у каждого служащего была непременно своя старческая слабость к известному делу. Так, например, экономка Дарья Федоровна была помешана на вареньях и соленьях. Буфетчик, он же и лакей, Потапыч только и знал, что обметал пыль и перетирал посуду, и каждая вещь имела у него собственное свое имя. Так, например, один стакан назывался у него Ваняткой, другой Николкой, кружка же, из которой обыкновенно пила Анфиса Ивановна, называлась Анфиской. Горничная Домна не на шутку тосковала, когда ей нечего было штопать; приказчик же Захар Зотыч был решительно помешан на ведении конторских книг и разных отчетов и ведомостей. Все эти старики и старухи жили при Анфисе Ивановне с молодых лет, и ничего нет удивительного, что все они сжились до того, что трудно было бы существовать одному без другого. Всем им было ассигновано жалованье, но никогда и никто жалованья этого не спрашивал, ибо никому деньги не были нужны. Жалованья таким образом накопилось столько, что если бы все служащие вздумали одновременно потребовать его, то Анфисе Ивановне нечем было бы расплатиться. Но, повторяю, денег никто не требовал, и Анфиса Ивановна даже не помышляла о выдаче таковых. Да и зачем? Каждый имел все, что ему было нужно, и каждый смотрел на погреба и кладовые Анфисы Ивановны как на свою собственность, как на нечто общее, принадлежащее всем им, а не одной Анфисе Ивановне, зачем же тут жалованье?..

V

До приезда в Грачевку племянницы Мелитины Петровны жизнь в Грачевке текла самым мирным образом. Анфиса Ивановна вставала рано, умывалась и начинала утреннюю молитву. Молилась она долго, стоя почти все время на коленях. Затем вместе с экономкой Дарьей Федоровной садилась пить чай, во время которого приходил иногда управляющий Зотыч, при появлении которого Анфиса Ивановна всегда чувствовала некоторый трепет, так как приход управляющего почти всегда сопровождался какой-нибудь неприятностью.

— Ты что? — спросит, бывало, Анфиса Ивановна.

— Да что? Дьявол-то этот опять прислал.

— Какой дьявол?

— Да мировой-то!

— Опять?

— Опять.

— Зачем?

— Самих вас в камеру требует и требует, чтобы вы расписались на повестке.

И Зотыч подавал повестку.

— Что же мне делать теперь?

— Говорю, пожалуйтесь на него предводителю[14]. Надо же его унять; ведь эдак он, дьявол, нас до смерти затаскает!..

— Да зачем я ему спонадобилась?

— Да по тришкинскому делу...

— Какое такое тришкинское дело?

— О самоуправстве. Тришка был должен вам за корову сорок рублей и два года не платил. Я по вашему приказанию свез у него с загона горох, обмолотил его и продал. Сорок рублей получил, а остальное ему отдал.

— Значит, квит! — возражает Анфиса Ивановна.

— Когда вот отсидите в остроге, так и будет квит!

— Да ведь Тришка был должен?

— Должен.

— Два года не платил?

— Два года.

— Ты ничего лишнего не взял?

— Ничего.

— Так за что же в острог?

— Не имели, вишь, права приказывать управляющему...

— Я, кажется, никогда тебе и не приказывала...

— Нет уж, это дудки, приказывали.

— Что-то я не помню! — финтит старуха.

— Нет, у меня свидетели есть. Коли такое дело, так я свидетелев представлю... Что же, мне из-за вашей глупости в острог идти, что ли!.. Нет, покорно благодарю.

— Да за что же в острог-то?

— А за то, что вы не имели никакого права приказывать мне продать чужой горох... Это самоуправство...

— Да ведь ты продавал!

— А приказ был ваш.

— Стало быть, мне в острог?

— Похоже на то!

— Так это, выходит, *процесс*! — перебивает его Анфиса Ивановна.

И, побледнев как полотно, она запрокидывается на спинку

кресла. Слово *процесс* пугает ее даже более острога. Она лишалась аппетита и ложилась в постель. Но сцены, подобные описанной, случались весьма редко, а потому настолько же редко возмущался и вседневный порядок жизни.

Напившись чаю, Анфиса Ивановна отправлялась в сад и беседовала с садовником, отставным драгуном Брагиным, у которого тоже была слабость целый день копаться в саду, мотыжить, подчищать и подпушивать. С ним заводила она разговор про разные баталии, старый драгун оживлялся и, опираясь на лопату, начинал рассказывать про битвы, в которых он участвовал, Анфиса Ивановна слушала со вниманием, не сводя глаз с Брагина, качала головой, хмурила брови, а когда дело становилось чересчур уже жарким, она бледнела и начинала поспешно креститься.

Наговорившись вдоволь с Брагиным, Анфиса Ивановна возвращалась домой, садилась в угольной комнате к окошечку и, призвав Домну, начинала с ней беседовать. В беседах этих большею частию вспоминалось прежнее житье-бытье и иногда речь заходила о капитане, но тяжелые воспоминания дней этих (капитан, говорят, ее очень бил) как-то невольно обрывали нить разговора, и Анфиса Ивановна замечала:

— Ну, не будем вспоминать про него. Дай бог ему царство небесное, и пусть господь простит ему все то, что он мне натворил!

Во время разговоров этих Анфиса Ивановна вязала обыкновенно носки. Вязание носков было ее любимым занятием, и так как у нее не было родных, которых она могла бы снабжать ими, то она дарила носки предводителю, исправнику[15], становому и другим. Но при этом соблюдались ранги. Так, предводителю вязались тонкие носки, исправнику потолще, а становому вовсе толстые. Анфиса Ивановна даже подарила однажды дюжину носков архиерею, но связала их не из ниток, а из шелку, за что архиерей по просьбе Анфисы Ивановны посвятил в стихарь рычевского причетника[16].

К двенадцати часам Потапыч накрывал стол, раза два или три обойдя все комнаты и обтерев пыль. Стол для обеда он ставил круглый и, прежде чем поставить его, всегда смотрел на ввинченный в потолок крючок для люстры, чтобы стол приходился посредине комнаты. В половине первого подавался суп, и Потапыч шел к Анфисе Ивановне и проговаривал: «Кушать пожалуйте!» Во время обеда слуга всегда стоял позади Анфисы Ивановны, приложив тарелку к правой стороне

груди. Потапыч в это время принимал всегда торжественный вид, поднимал голову и смотрел прямо в макушку Анфисы Ивановны. Но, несмотря, однако, на этот торжественный вид, он все-таки не бросал своей привычки ходить без галстука, в суконных мягких туфлях и вступать с Анфисой Ивановной в разговоры.

— Ну чего смотрите! чего трете! — проговаривал он оскорбленным голосом, заметив, что Анфиса Ивановна разглядывала и вытирала тарелку.

— У меня такая привычка,— оправдывалась Анфиса Ивановна.

— Пора бы бросить ее!.. Что вы, англичанка, что ли, какая, что тарелки-то чистые вытираете.

Если же Анфисе Ивановне случалось каким бы то ни было образом разбить стакан или рюмку, то Потапыч положительно выходил из себя.

— Что у вас, рук, что ли, нет! Ну что вы посуду-то колотите! Маленькие, что ли! — И, глядя на собранные осколки, он начинал причитывать: — Эх ты, моя «Сонька», «Сонька»! Сколько лет я тебя берег и холил, всегда тебя в уголочек буфета рядом с «Анфиской» ставил, а теперь кончилось твое житье!

— Ну, будет тебе, Потапыч! — перебивала его Анфиса Ивановна.— Полно тебе плакать-то! Все там будем.

И, бывало, вздохнет.

После обеда Анфиса Ивановна отправлялась в свою уютную чистенькую комнатку и, опустившись в кресло, предавалась дремоте, после чего приказывала обыкновенно заложить лошадей и отправлялась или кататься, или в село Рычи к отцу Ивану. Но поездки эти удавались ей не всегда, и очень часто Домна, ходившая к кучеру с приказанием заложить лошадей, возвращалась и объявляла, что кучер закладывать лошадей не хочет.

— Это почему?

— Некогда, говорит.

— Что же он делает?

— Табак с золой перетирает. Нюхать, говорит, мне нечего, а я, говорит, без табаку минуты быть не могу.

— Да что он, с ума сошел, что ли? — сердилась Анфиса Ивановна.— Ступай и скажи ему, чтобы сию минуту закладывал; что до его табаку мне дела нет; что, дескать, барыня гневается и требует, чтобы лошади были заложены немедленно.

— Ну, что? — спрашивала Анфиса Ивановна возвратившуюся Домну.

— Не едет.

— Что же он говорит?

— Не поеду, говорит, без табаку; хоть сейчас расчет давай!

— Так я же его сейчас и разочту! — вскрикивала Анфиса Ивановна и, обратясь к Домне, прибавляла ласково: — Домашенька, сходи, душенька, к Зотычу и скажи ему, чтоб он принес конторскую книгу.

Домна уходила, а Анфиса Ивановна принималась ходить по комнате и посматривать на каретник в надежде, что кучер опомнится и поспешит исполнить ее приказание, но каретник по-прежнему не растворялся. Являлся Зотыч с книгою и прислонялся к притолке: «Ну вот я, чего тебе еще книга спонадобилась!»

— Захар Зотыч! — начинала Анфиса Ивановна.— Кучер выходит у меня из повиновения, и потому сейчас же разочти и чтоб его сегодня же здесь не было. Слышишь?

— Слышу.

— Так вот разочти.

— Денег пожалуйте,— ворчит Зотыч.

— Разве в конторе нет?

— Откуда же они будут в конторе-то?

— Сосчитай, сколько ему приходится.

Зотыч развертывал книгу и находил ту страницу, на которой записан кучер Абакум Трофимыч. Он указывал пальцем: на, мол, смотри.

— Он сколько получает в месяц?

Зотыч молча указывает.

— А давно он живет?

Зотыч передвигал палец и указывал, сколько лет живет кучер. Оказывалось, что живет он тридцать восемь лет.

— Сколько же ему приходится? — спрашивала Анфиса Ивановна уже немного потише, и Зотыч снова передвигал палец и указывал на итог.

— Да ты что мне все пальцем-то тычешь? — вскрикивала Анфиса Ивановна.— Что, у тебя язык, что ли, отвалился, что не можешь мне ответить? Ну, сколько же приходится?

— За вычетом полученных в разное время, кучеру приходится дополучить двести тридцать шесть рублей сорок копеек,— отвечал Зотыч и смотрел на Анфису Ивановну, как будто желая сказать: что, ловко?

— Так в конторе денег нет?

— Нет.

— Ну хорошо, ступай! Я денег найду и тогда пришлю за тобой.

«Ладно»,— думает Зотыч, и уходит, и видит, как в сенях кучер Абакум Трофимыч, сидя на каком-то обрубке и ущемив коленками какую-то ступу, преспокойно растирает себе табак и даже не взглянул на проходившего мимо с книгою под мышкой управляющего.

Но в большинстве случаев кучер беспрекословно закладывал лошадей и отправлялся с барыней по указанным направлениям. Абакум всегда усаживался на козлах как можно покойнее, клал свои локти на колени и почти вовсе не правил лошадьми, отчего очень часто случалось, что, проезжая околицы, тарантас задними колесами зацеплял за вереи и выворачивал их вон.

— Ты вовсе не смотришь, куда едешь! — вскрикивала, бывало, Анфиса Ивановна.

— Как же я назад-то смотреть могу,— возражал Абакум.— Чудное дело! Точно у меня глаза-то в затылок вставлены.

И начнет, бывало, свой нос, словно трубку, набивать табаком. Очень часто табак этот ветром относило прямо в глаза Анфисе Ивановне, и она говорила:

— Послушай, ты как-нибудь поосторожней нюхай, а то твой табак мне прямо в глаза летит!

— Это ничего! — отвечал кучер.— Табак даже нарочно в глаза пускают. От этого зрение прочищается.

После ужина Анфиса Ивановна поспешно отправлялась в спальню, где Домна успела уже приготовить для барыни постель. Помолившись и перекрестив постель, дверь и окна, чтобы никто не влез, Анфиса Ивановна укладывалась и, свернувшись в клубочек, засыпала, а с нею вместе засыпала и вся усадьба. И тогда-то среди этой воцарившейся безмолвной тишины, охватившей всю усадьбу, среди этой темной молчаливой ночи, бережно окутавшей густым покрывалом все окружающее, выходил из своей конуры страдавший бессонницей ночной сторож Карп, шагал, переваливаясь, по разным направлениям усадьбы и неустанно колотил колотушкой вплоть до самого рассвета.

VI

Так проживала Анфиса Ивановна несколько десятков лет, как вдруг за месяц до начала настоящей повести, часов в шесть вечера, подъехала к дому Анфисы Ивановны тележка, запряженная парою лошадей. Из тележки вышла, в каком-то рыженьком бурнусе[17], с небольшим саквояжем на руке, молодая, свеженькая дамочка. Вбежав на крыльцо, она весело спросила Потапыча: дома ли Анфиса Ивановна? и, узнав, что дома, вошла без церемонии в залу. Увидав в зале старушку, с любопытством смотревшую в окна на подъехавшую пару, она сейчас догадалась, что старушка эта и есть Анфиса Ивановна. Приехавшая поспешно подбежала к ней, обняла и отрекомендовалась, что она ее племянница — Мелитина Петровна Скрябина, и принялась напоминать ей о себе. Мелитина Петровна передала, что она дочь ее покойного брата Петра Ивановича, которую она, Анфиса Ивановна, видела только раз, и то тогда, когда Мелитина Петровна была еще грудным ребенком; что год тому назад она вышла замуж за штабс-капитана Скрябина, служившего при взятии Ташкента под начальством генерала Черняева[18], что муж отправился теперь в Сербию добровольцем[19], а ей посоветовал на время войны ехать к тетушке Анфисе Ивановне. Затем Мелитина Петровна рассказала, что в вагоне встретилась она с Асклипиодотом Психологовым, доехала с ним от железной дороги до села Рычей, а затем попросила уплатить ямщику два рубля, так как, выходя из вагона, она потеряла свой портмоне. Анфиса Ивановна уплатила деньги и приказала подать чаю. Мелитина Петровна вышла на балкон, пришла в восхищение от клумбы розанов, воткнула в косу один цветок, жадно вдыхала ароматичный воздух и объявила, что летом только и можно жить в деревне, причем кстати обругала петербургский климат. За чаем, который пила тоже на балконе, Мелитина Петровна рассказала, что всю дорогу, начиная от Москвы и до последней станции железной дороги, она только и говорила с Асклипиодотом Психологовым об ней, и потому теперь она как будто знакома с ней несколько лет; знает ее привычки, образ жизни и употребит все старания, чтобы быть ей приятною и заслужить ее расположение. Говоря все это, Мелитина Петровна намазывала на хлеб масло, подкладывала в чашку сахар, просила Дарью Федоровну наливать ей чай покрепче и держала себя так, как будто и в самом деле несколько лет была

знакома с Анфисой Ивановной. После чая, узнав, что на реке есть удобное место для купанья, завязала в узелок полотенце, мыло, мочалку и, попросив указать ей место, отправилась купаться. Ужинала Мелитина Петровна с аппетитом, хвалила кушанья, а от варенца, подававшегося вместо пирожного, пришла в восторг и объявила, что за такой варенец надо заплатить в Петербурге никак не менее трех рублей.

Уложив Мелитину Петровну спать, Анфиса Ивановна собрала в свою спальню и Дарью Федоровну и Домну и вместе с ними начала припоминать подробности посещения брата Петра Ивановича.

— Вот я и не помню хорошенько,— говорила Анфиса Ивановна, совершенно потерявшая память,— был ли в то время брат Петр Иванович женатым или вдовцом.

— Кажись, вдовцом! — прошептала Дарья Федоровна.

— Ой, женатым! — подхватила Домна.— Я помню, что с ним приезжала какая-то дама, красивая, высокая, румяная...

— Это была не жена, а кормилица!

— Нет, жена. Я как теперь помню, была им отведена угольная комната и они в одной комнате спали... и кровать была одна, накрытая кисейным пологом от комаров.

— Ты все перепутала, Домна! — говорит Анфиса Ивановна.— Кровать с пологом мы устраивали для архиерея, когда он ночевал у нас.

— А где же дама-то спала?

— С архиереем не было никакой дамы.

— С кем же дама приезжала?

И старухи умолкли и углубились в воспоминанья. Но как они ни хлопотали, ничего припомнить не могли и, напротив, спутались еще более. В воспоминаниях этих Петр Иванович то оказывался холостым, то женатым, то приезжавшим вместе с женой, но без ребенка, то вдовцом, с кормилицей и ребенком. То представлялся он им хромым, то гусаром с длинными усами, стройным, ловким и лихим. Наконец дошло до того, что Петр Иванович никогда будто не приезжал и что Мелитина Петровна все наврала, объявив, что была в Грачевке грудным ребенком... Позвали Потапыча; стали спрашивать его: не припомнит ли он, приезжал ли лет двадцать пять тому назад Петр Иванович с кормилицей и грудным ребенком? Потапыч тут же припомнил.

— Да, как же! — почти вскрикнул он.— Известно, приезжал с ребенком и с кормилицей. Еще, помните, раз, опосля

обеда, ребенок потянул за скатерть и всю посуду переколотил.

— Так, так, так! — затараторили старухи, и в ту же минуту в их памяти воскресла вся картина приезда Петра Ивановича со всеми мельчайшими подробностями. Вспомнили, что действительно лет двадцать тому назад Петр Иванович приезжал в Грачевку вдовцом, с ребенком и кормилицей, и прогостил недели три. Что кормилица была очень красивая, белая, стройная, чернобровая и спала вместе с ребенком в угольной комнате, а Петр Иванович рядом в гостиной, на диване. Но какого пола был ребенок, они решительно припомнить не могли, а так как на часах пробило уже двенадцать часов ночи и все они дремали, то порешили, что, вероятно, ребенок был девочка, так как отец никоим образом при крещении ребенка не назвал бы мальчика Мелитиной, ибо Мелитина имя женское.

VII

На следующий день Анфиса Ивановна по случаю приезда племянницы встала ранее обыкновенного и произвела даже некоторое изменение в своем туалете, накрыв голову каким-то чепцом, который называла она *убором*. Но, несмотря на то, что старуха была на ногах ранее обыкновенного, Мелитина Петровна все-таки предупредила ее. Она успела сходить на реку, искупаться, обойти весь сад, потолковать с Брагиным и даже побывать на гончарном заводе. Мелитина Петровна была в восторге и от Грачевки и от сада, гончарным же заводом осталась недовольна и объявила, что горшки на нем работаются допотопным образом и что в настоящее время имеются очень простые и удобные приспособления, посредством которых горшки выделываются несравненно скорее и лучше. За чаем Мелитина Петровна расспрашивала старуху о средствах окрестных крестьян, на каком они наделе, на большом или малом, есть ли в этой местности заводы или фабрики. Она высказала при этом свою любовь к заводскому делу, объяснила, что на заводах и фабриках народ гораздо развитее, что хлебопашество развивает в человеке мечтательность и идиллию, тогда как машины, перерабатывая пеньку, шерсть, бумагу, шелк и т. п., вместе с тем незаметно перерабатывают и человеческий мозг. Мелитина Петровна рассказала, что как-то случилось ей быть в Шуе и что она пришла в восторг от народа.

Затем она спросила, есть ли в Грачевке школа, и, узнав, что школы никакой не имеется, потужила об этом и слегка коснулась, что вообще в России необходимо было бы ввести обязательное обучение; что, по имеющимся сведениям, у нас на восемьдесят четыре человека приходится только один учащийся, что начальных школ всего двадцать две тысячи четыреста и что поэтому увлекаться оптимизмом нам не к лицу, а надо думать об умножении начальных школ, причем не забывать и женского образования, о котором даже и думать не начинали.

После чая Мелитина Петровна принялась за устройство своей комнаты, и Анфиса Ивановна, присутствовавшая при этом, немало удивилась, что Мелитина Петровна ставит кровать как-то наискось комнаты. Заметив удивление старушки, Мелитина Петровна объяснила ей, что необходимо ложиться головой к северу, так как, по уверению германских врачей, этим устраняются многие болезни, и что теорию эту объясняют они влиянием земного магнетизма на человеческий организм.

Анфиса Ивановна все это слушала и чувствовала, что в голове у нее творится что-то недоброе. Более всего поразила ее кровать, так что с кровати этой она не спускала глаз и все думала: «Как же это так выходит, что спать надо наискось комнаты, а не вдоль стенки!» Затем Анфиса Ивановна, как и всякая женщина, вообще любившая подсмотреть, что у кого есть, начала разглядывать костюм Мелитины Петровны и нашла, что платьишко на ней немудреное и хотя и украшалось разными бантиками и оборочками, но тем не менее все-таки мизерное и то же самое, в котором была вчера; что ботинки хотя и варшавские, но все-таки рыженькие, с довольно значительными изъянцами и со стоптанными каблуками. Все это навело Анфису Ивановну на мысль, что муж Мелитины Петровны, должно быть, одного поля ягода с *капитаном* и, вероятно, *сорвиголова,* коли уехал на *сражение.*

Установив кровать, Мелитина Петровна открыла свой чемоданчик и, вынув из него несколько книг, поставила их на стол. Она объявила Анфисе Ивановне, что если ей угодно, то некоторые из этих книг она ей прочитает; что книги очень интересные и в особенности расхвалила «Тайны Мадридского двора», «Евгению» и «Дон Карлоса»[20]. Но Анфиса Ивановна была занята не книгами,

а искоса посматривала на чемоданчик, где, кроме каких-то тоненьких книжечек, перевязанных бечевкой, ничего не виднелось. Анфиса Ивановна спросила племянницу, отчего не ставит она на стол и тех книжек, которые перевязаны бечевкой, но Мелитина Петровна объяснила, что тоненькие книжечки учебные, изданные комитетом грамотности, и поспешила закрыть и запереть чемодан ключом, который и сунула в карман своего платья.

Устроив комнату, Мелитина Петровна спросила, далеко ли от них почтовая станция, на которой принимаются письма, и, узнав, что таковая находится в селе Рычах и что почта отходит сегодня же часов в шесть вечера, очень обрадовалась и объявила, что сейчас же отправит в Петербург письмо, а когда Анфиса Ивановна спросила племянницу, зачем пишет она в Петербург, если муж ее находится на *сражениях*, Мелитина Петровна ответила, что мужу с этой почтой она писать не будет, а будет писать одному петербургскому знакомому. После обеда Мелитина Петровна попросила у тетки бумаги и все нужное для письма, кстати выпросила еще три рубля денег на покупку почтовых марок и, расцеловав за все это тетку, ушла в свою комнату писать письма. Анфиса Ивановна, по обыкновению, удалилась в свою спальню. Но на этот раз старушка не уселась в кресло подремать, а, призвав к себе Домну, начала передавать ей по секрету все виденное и слышанное. Анфиса Ивановна сообщила, что Мелитина Петровна умеет делать горшки, очень любит фабрики и заводы, на которых выделывают человеческие мозги, и что спит не вдоль стенки, а наискось комнаты. Домна же в свою очередь передала, что вчера она хотела было приготовить Мелитине Петровне ночную сорочку, почему попросила ключ от чемодана, но Мелитина Петровна ей ключей почему-то не дала; что у племянницы ничего-то ровнехонько нет и что платье только одно и есть. Что же касается белья, то такового всего-навсего: две сорочки, два полотенца и штуки четыре носовых платков. Рассказ этот еще более убедил Анфису Ивановну, что муж Мелитины Петровны одного поля ягода с капитаном и что, по всей вероятности, спустил все приданое жены, так как Анфиса Ивановна очень хорошо помнит, что у покойного брата Петра Ивановича было пятьсот душ, которые и должны были перейти к Мелитине Петровне. Затем Домна пере-

дала, что и ее тоже расспрашивала о мужиках, а именно: хорошо ли живут, много ли грамотных, довольны ли своим положением; на что она, Домна, ответила ей, что дело ее девичье, что об этих делах ничего не знает.

Когда Анфиса Ивановна вышла из спальни, то была очень удивлена, узнав от Потапыча, что Мелитина Петровна ушла пешком в Рычи. Старушка сделала Потапычу выговор за то, что тот не распорядился заложить лошадей; но Потапыч ответил, что Мелитина Петровна от лошадей отказалась и объявила, что она любит ходить пешком и никогда на лошадях ездить не будет. Часов в восемь вечера Мелитина Петровна воротилась. Она передала тетке, что письмо ею отправлено, что была в лавке Александра Васильевича Соколова, купила там табаку и гильз для папирос и что встретила в лавке учителя Знаменского и своего попутчика Асклипиодота Психологова. Село Рычи ей очень понравилось. Она не без иронии заметила, что село это имеет вид цивилизованного местечка, так как на базарной площади имеется несколько лавок, трактиров, кабаков и даже две-три золотые вывески с надписями: «Склад вина такого-то князя, оптовая продажа вина такого-то графа». Свой рассказ она заключила сообщением, что в селе напали на нее собаки и что как она ни отмахивалась зонтиком, а все-таки они оборвали ей хвост. Тем не менее, однако, Мелитина Петровна была очень довольна своим путешествием в село Рычи. Затем она, выпросив у Домны иголку с ниткой, принялась чинить оборванное собаками платье.

VIII

В тот же день явился Асклипиодот Психологов. Он был в пестрых клетчатых панталонах, гороховом коротеньком пиджаке и в пуховой шляпе, надетой набекрень. Встретив Анфису Ивановну, он расшаркался перед нею, проговорив: «Слава, живио!» (тогда по случаю сербской войны это было в моде), и объявил, что так как ему отлично известно, что Анфиса Ивановна его недолюбливает (хотя бы, напротив, ей следовало любить его, так как он ее крестный сын), то он и является с визитом не к ней, а к своей бывшей попутчице Мелитине Петровне. Вошла Мелитина Петровна. Асклипиодот быстро вскочил со стула, опять проговорил: «Живио, слава!» — и очень развязно и крепко пожал ей руку. Анфиса Ивановна оставила их одних и удалилась

в свою комнату. Мелитина Петровна, заметив это, тотчас же догадалась, что посещение Асклипиодота старухе не по нутру. Асклипиодот пробыл, однако, у Мелитины Петровны довольно долго, надымил табаком полную комнату и набросал на пол столько окурков, что Потапыч насилу даже собрал их. О чем беседовали они — неизвестно, так как говорили они почти шепотом, а как только в комнату входил Потапыч с крылом и полотенцем, так немедленно или умолкали совершенно, или же начинали говорить о погоде. Перед прощанием Мелитина Петровна увела Асклипиодота в свою комнату и довольно долго говорила с ним о чем-то. Наконец Асклипиодот ушел. Встретившись, однако, в зале с Анфисой Ивановной, он снова раскланялся и, приложившись к ручке, проговорил:

— Грех вам, мамашенька, что вы не любите своего крестника! Бог вас за это строго накажет!

«Хорошо, толкуй!» — подумала про себя Анфиса Ивановна и, когда Асклипиодот ушел, проговорив: «Живио!» — прибавила, обращаясь к племяннице:

— И в кого только зародился такой ветрогон, не понимаю!..

Через несколько дней Домна, ходившая в Рычи к обедне, сообщила Анфисе Ивановне, что Мелитина Петровна, тоже бывшая в церкви, стояла рядом с Асклипиодотом и долго с ним болтала и смеялась.

Все это не совсем-то приходилось по вкусу Анфисе Ивановне, так что приезд племянницы был ей в тягость. Но Мелитина Петровна была не из тех, которые не сумели бы загладить такое впечатление. Напротив, вскоре она оказалась женщиной не только не тяжелою, но даже весьма предупредительною и любезною. Не прошло и двух недель, как Мелитина Петровна вполне уже завоевала себе расположение старушки. Однажды она приготовила ей к обеду такие сырники, что Анфиса Ивановна чуть не объелась ими. Узнав затем, что тетка очень любит квас и что хорошего кваса никто здесь варить не умеет, Мелитина Петровна потребовала себе ржаных сухарей, сахару, сделала сухарный квас, разлила его по бутылкам, в каждую бутылку положила по три изюминки, и когда квас собрался, угостила им Анфису Ивановну. Старуха чуть не опилась этим квасом. Когда же Мелитина Петровна, прочитав присланный мировым судьей заочный приговор, которым Анфиса Ивановна по известно-

му нам *тришкинскому процессу* приговорена была к четырехдневному аресту, съездила к мировому судье и привезла старухе мировую с Тришкой, то Анфиса Ивановна чуть не принялась молиться на племянницу. В ту же минуту порешила она, что Мелитина Петровна *славная бабенка,* расцеловала ее, примирилась с судьей и в тот же день принялась вязать ему носки из самой тонкой бумаги. Мелитина Петровна пригодилась и в данном случае, ибо научила тетку так искусно сводить пятки, как никогда Анфиса Ивановна не сводила!..

IX

Мелитине Петровне было лет двадцать; это была женщина небольшого роста, тоненькая, с приятным веселым личиком, с плутовскими глазками, весьма бойкая, говорливая и с прелестными каштановыми волосами. Шиньонов она не носила, но роскошные волосы свои зачесывала назад и завязывала их таким изящным бантом, что всякий шиньон только испортил бы натуральную красоту волос. Весь недостаток Мелитины Петровны заключался в ее костюме, но Анфиса Ивановна, убедившись, что племянница ее *славная бабенка,* тотчас же подарила ей все нужное. Преподнося ей все эти подарки, Анфиса Ивановна с улыбкою объявила племяннице, что все это она дарит ей за *тришкинский процесс.* Мелитина Петровна расцеловала тетку, выпросила у нее еще пятьдесят рублей на отделку платьев и отправилась в Рычи. В модном магазине Семена Осиповича Голубева она накупила себе всевозможных лент, прошивочек, несколько дюжин пуговиц, а затем, выпросив у знакомого нам Ивана Максимовича швейную машину (которая, по уверению его, шила с волком двадцать), принялась все подаренное кроить и шить. Анфиса Ивановна хотела было пригласить известную в околотке модистку Авдотью Игнатьевну, но Мелитина Петровна объявила, что она сделает все сама, и действительно немного погодя у нее был уже новый гардероб, состоявший из нескольких простеньких платьев, но сшитых со вкусом и весьма пикантно выказывавших все ее физические достоинства. Анфиса Ивановна немало дивилась новому покрою, а именно: что рукава и юбка делаются из одной материи, а лиф совершенно из другой; что пуговиц пропасть, и петель нет, и застегивать нечего; что бант, ко-

торый в доброе старое время пришивался к волнующейся груди и передавал трепет сердечный, ныне пришивается к сиденью. Но тем не менее платья нашла она миленькими, а главное, идущими к хорошенькому лицу Мелитины Петровны. Мелитина Петровна подошла к зеркалу, полюбовалась собою и снова расцеловала тетку. Мелитина Петровна не кокетка, но она женщина; а какая же женщина не испытывает тайного удовольствия в уверенности, что она может нравиться!..

Окончив работу, Мелитина Петровна прочла Анфисе Ивановне «Дон Карлоса» и «Тайны Мадридского двора». Старуха осталась в восторге, в особенности от последних, и внутренно сравнивала себя с Изабеллой, а покойного капитана с маршалом Примом.

Не менее Анфисы Ивановны полюбили Мелитину Петровну не только вся дворня, но даже и окрестные крестьяне. Она умела со всеми поладить и всякому угодить. Александр Васильевич Соколов беспрекословно отпускал ей в долг табак, гильзы и разные конфеты, которые она раздавала крестьянским детям. Известный капиталист Кузьма Васильевич Чурносов, ругавший всех обращавшихся к нему с просьбой дать взаймы денег, ссудил ее однажды серией в пятьдесят рублей; портной Филарет Семенович, постоянно пьяный и избитый, при встрече с Мелитиной Петровной бросал фуражку кверху и кричал «ура!». Даже сам церковный староста, узнав, что Мелитина Петровна очень любит свежую осетрину с ботвиньем, слетал в губернский город и привез ей живого осетра аршина в два длиной. В несколько дней успела она познакомиться почти со всеми бабами и мужиками и почти у всех перебывала в избах. С бабами толковала она о коровах, о телятах, о том, какую вообще жалкую участь терпит баба в крестьянской семье; с мужиками о подушных окладах, о нуждах их, о господстве капитала над трудом, о волостных судах и сходках, о безграмотности старшин и грамотности волостных писарей. С крестьянскими девушками купалась, учила их плавать и нырять и говорила, что купанье очень полезно, и поэтому давала совет пользоваться нашим коротким летом, чтобы на зиму запастись здоровьем. Иногда же она просила собравшихся на купанье девушек уйти и оставить ее одну.

Итак, Анфиса Ивановна успокоилась и, убедившись, что племянница ее не из таковских, которые нарушают чье бы то ни было спокойствие, зажила по-прежнему, не только не стесняясь ее присутствием, но даже изредка сетуя, что пле-

мянница так мало сидит с ней и большую часть дня проводит вне дома. Ее тревожило только то обстоятельство, что Мелитина Петровна, уходя, запирала всегда свою комнату ключом, а равно и то, что, несмотря на большую переписку, которую вела Мелитина Петровна, она ни разу не писала мужу и не получала от него писем. Как-то раз она даже решилась спросить ее об этом:

— Уж ты не в ссоре ли с мужем-то?

— Почему вы думаете?

— Не переписываетесь вы!.. Я этого не понимаю. Ну как не уведомить жену, что вот, дескать, я жив и здоров, желаю и о тебе узнать что-нибудь! А то на́-поди! Уехал себе на *сраженья*, и ни слова!.. Уж он у тебя, милая моя, *тюкнуть* не любит ли?

— Что это значит *тюкнуть?*

— Выпить то есть.

— Он пьет, но очень мало.

— То-то,— проговорила Анфиса Ивановна.— А то у меня был один знакомый капитан,— продолжала она, вздохнув,— так тот, бывало, так *натюкается*, что ничего не помнит. Вытаращит, бывало, глаза, да так целый день и ходит и то того кулаком треснет, то другого... «Это, говорит, чтобы рука не отекала!»

На этом и кончился разговор, и хотя Анфиса Ивановна, в сущности, ничего не узнала относительно обоюдного молчания супругов, но все-таки, имея в виду, что штабс-капитан Скрябин не *тюкает*, она успокоилась. Итак, в Грачевке все пришло было в надлежащий порядок, как вдруг появился крокодил и появлением своим наделал известную уже нам суматоху.

Однако возвратимся к рассказу.

X

Несчастная Анфиса Ивановна после описанного ужасного сна не спала всю ночь и, разбудив Домну, напрасно старалась в разговорах с нею хоть сколько-нибудь забыть тяжелую действительность. О чем бы старушка ни говорила, как бы далеко ни удалялась от тяготившей ее мысли, а все-таки разговор незаметно сводился к одному и тому же знаме-

нателю. Среди разговоров этих иногда склоняла ее дремота, но тревожное забытье это походило на тот мучительный сон, которым доктора успокаивают измученного больного, давая ему морфий. Только что смыкала Анфиса Ивановна свои отяжелевшие веки, как ей представлялось, что будто она приказывает Зотычу обнести свою усадьбу высокою кирпичною стеной с железными воротами. Зотыч требовал на покупку материалов денег, а денег нет, и последние отданы Мелитине Петровне на отделку платьев... То представлялось ей, что стена готова и что около запертых железных ворот ходит Брагин с ружьем. Анфиса Ивановна счастлива и напевала: «И на штыке у часового горит полночная луна...» Но вдруг наверху стены показывался крокодил; как-то раскорячившись, оглядывал он внутренность двора и затем, упираясь четырьмя лапами, начинал сползать вниз, а Асклипиодот, почтительно приподняв шляпу, говорил ей: «Вот видите, мамашенька, я говорил вам, что бог накажет вас за то, что вы не любите своего крестничка!..»

Зато как только начало светать и как только утренняя заря заглянула в окно, возвещая о появлении солнца, и защебетали под окном неугомонные воробьи,— Анфиса Ивановна вздохнула свободнее, и, по мере того как мрак ночи бледнел перед светом дня, уменьшалось и тревожное настроение старушки. Она уснула и на этот раз проспала спокойно часов до восьми утра.

Проснувшись, Анфиса Ивановна немедленно позвала к себе Домну и приказала ей приготовить все необходимое для предстоящего молебна. Она указала, какие именно требовалось поставить иконы, с какою начинкою испечь кулебяку, какую подать закуску, водку и наливку. Вместе с тем она распорядилась также, чтобы вся дворня, кроме, конечно, кухарки, всенепременно присутствовала на молебне. Приказывать об этом было совершенно напрасно, ибо дворня, перепуганная событиями последних дней, даже роптала, что Анфиса Ивановна, спятившая, как видно, с ума, до сих пор не догадывается отслужить молебен с водосвятием.

Отдав все эти приказания, Анфиса Ивановна умылась, оделась и принялась за утреннюю молитву. Однако молитву эту, в виду предстоявшего молебна, она значительно сократила и поспешила за чай, так как вчера с перепугу она легла без ужина. За чаем, который ей был подан в спальню Дарьей Федоровной, Анфиса Ивановна взяла было четью-минею, но,

разыскав святого, приходившегося на этот день, махнула рукой и закрыла книгу.

— Не люблю я этого! — проворчала старушка и сделала какую-то недовольную гримасу.

— Кого это, матушка? — полюбопытствовала Дарья Федоровна.

— Да вот святого-то нынешнего. Уж такая-то рохля, прости господи... читать тошно... Принеси-ка лучше крендельков да сухариков. Смерть как есть хочется...

Когда Анфиса Ивановна, накушавшись чаю, вышла в залу, там все уже было готово. В переднем углу стоял стол, накрытый белой скатертью, и на столе старинные иконы в золотых и серебряных ризах. Перед иконами возвышалось несколько восковых с золотом свечей и тут же каменная помадная банка с душистым ладаном. Немного отступя от этого стола был поставлен другой, ломберный, но уже без скатерти; стол этот предназначался дьячкам для «возложения» книг. В той же комнате, вдоль стены, отделявшей залу от гостиной, красовался третий стол, опять-таки накрытый белой скатертью, с расставленными на нем графинчиками, бутылками и обильной закуской. Тут были: отварные и соленые груздочки, маринованные опеночки, заливной судак, отварные рачьи шейки в масле, домашний сыр и колбаса, окорок сочной розовой ветчины, копченые гуси и утки и кусок желтого сливочного масла. Виноградных вин не было, так как Анфиса Ивановна никогда ничего не покупала, зато была зорная водка, тминная, листовка, полынная, рябиновая и затем такие наливки и запеканки, каких нигде нельзя было встретить. От стола этого распространялся по комнате до того раздражающий аромат, что Анфиса Ивановна положительно не отходила от него и, видимо, соблазнялась чего-нибудь покушать. Она даже взяла было на вилку один груздочек, но вошедший в эту минуту Потапыч остановил ее.

— Оставьте, что вы это! — проговорил он,— как не совестно! Путем еще лба не перекрестили, а уж закусывать собрались!.. Что вы, маленькая, что ли...

Вбежала Мелитина Петровна в шляпке и с зонтиком и, увидав стол с образами, спросила:

— Что это? молиться собираетесь?

— Да, молебен отслужить хочу. Только вот попы долго не едут... Этот отец Иван всегда точно медведь копается.

— По какому же случаю молебен-то?

Но по какому именно случаю служится молебен, Анфиса Ивановна племяннице не сообщила и даже не упомянула о крокодиле, ибо вчера еще оскорбилась на нее за то, что, вместо успокоительного слова, та только расхохоталась, глядя на ее свалившуюся шляпку и тащившуюся по полу шаль. Старушка посоветовала только племяннице избрать для купанья какое-либо другое место, а лучше всего обливаться водой в бане. Мелитина Петровна спросила о причине и, узнав, что причиною являлся все тот же злосчастный крокодил, расцеловала тетку, назвала ее трусихой и объявила, что таких крокодилов она не боится и если бы захотела, то давно бы поймала его за хвост.

— Но дело не в крокодиле,— прибавила она,— а вот в чем. Вы, тетушка, позволите мне уйти от молебна?

— Ступай, матушка, сделай милость...

— Я бы очень охотно осталась, тетя, помолилась бы вместе с вами, но посмотрите — вон ведь сколько...

И Мелитина Петровна показала Анфисе Ивановне целую кипу запечатанных писем.

— Царь небесный! — вскрикнула та.— Когда это успела ты!

— Всю ночь писала, а теперь бегу на почту, отправить надо...— И она принялась целовать старушку.— Будете молиться, вспомните и меня грешную! — прибавила она.— А вечером я прочту вам роман «Всадник без головы»...

— Прочтем...

— Так до свиданья, милая, дорогая...

Анфиса Ивановна головой покачала.

— Вы что это головкой-то качаете, а?

— Да на тебя глядя...

— Что такое?

— Все-то у тебя *трын-трава*!.. Словно кипяток какой-то! Словно порох...

— Молодость, тетушка; ничего не поделаешь!..

— Все бегом, как на почтовых...

— Жизнь-то коротка, мешкать некогда...

— Словно тебя погоняют...

— Нет, тетенька, сама тороплюсь...

— Ну, беги, беги, господь с тобой!.. А лучше было бы, если б лошадей запречь приказала да на дрогах бы поехала.

— Покуда ваш кучер соберется лошадей-то закладывать, уж я в Рычах буду, тетенька милая!

И она снова расцеловалась с Анфисой Ивановной, а немного погодя шла уже по двору, красиво подобрав юбку и давая возможность желающим вдоволь налюбоваться и на щегольски обутую ножку и на телесного цвета прозрачный чулок...

А Анфиса Ивановна тем временем опять было подошла к столу и опять было взялась за вилку, да Потапыч снова помешал ей.

— Да погодите же, говорят вам,— проворчал он,— что это за наказание!..

Анфиса Ивановна послушно положила вилку и, чтобы не соблазняться, принялась ходить из угла в угол.

XI

Услыхав от Мелитины Петровны, что если бы та захотела, то давно бы поймала крокодила, старушке пришло в голову послать за г. Знаменским и посоветовать ему обратиться за помощью к Мелитине Петровне, тем более что не далее как вчера г. Знаменский прочел ей письмо, в котором за доставку крокодила ему обещали громадные деньги. Но только что хотела она послать за г. Знаменским, как тот вошел с целою кипой газет под мышкой.

Это был мужчина лет тридцати, высокий, длинный, со впалою грудью, зеленый, худой, с чрезвычайно болезненным видом и с глазами, похожими на глаза соленого леща. Платье сидело на нем как на вешалке, а так как он ходил с какою-то перевалкой, то фалды сюртука его раскачивались свободно направо и налево. Он был в крайне раздраженном состоянии, отчего и без того уже болезненное лицо его, со впалыми щеками и шишковатыми скулами, имело вид совершенно мертвого человека.

Извинившись перед Анфисой Ивановной, что беспокоит ее своим посещением, он объяснил, что, шатаясь с утра по берегам реки Грачевки, решился зайти к ней и немного отдохнуть. Проговорив это, он сильно закашлялся и добавил, что очень устал, а главное, раздражен всеми теми нелепостями, которыми наполняются в настоящую минуту газеты по поводу крокодила. Проговорив это, он с досадой швырнул газеты и, совершенно изнеможенный, опустился в кресло. Анфиса Ивановна очень обрадовалась приходу г. Знаменского

и передала ему немедленно слова Мелитины Петровны. Но г. Знаменский не обратил даже внимания на рассказанное Анфисой Ивановной и заметил только, что у Мелитины Петровны завидный характер, ибо она надо всем шутит и смеется; что о поимке крокодила нечего и заботиться, так как крокодил, как только получатся им книги от Вольфа, будет всенепременно пойман. Но его бесит одно только, что газеты точно сговорились и доказывают, что в Грачевке не крокодил, а какая-то гигантская змея и что такое нахальство подмывает его ехать в Москву и в Петербург для личных объяснений с авторами этих недобросовестных статей. Затем он опять закашлялся и немного погодя, отдохнув от кашля, высказал свое глубокое презрение к тем людям, которые так легко относятся к печатному слову и ради какого-то глупого гаерства затемняют истину искажением фактов.

Затем Анфиса Ивановна сообщила ему, что, по словам Ивана Максимовича, крокодилов не один, а двадцать, что все они прибыли из Петербурга, кургузые, а один без хвоста. Услыхав это, г. Знаменский от души расхохотался и объяснил старухе, что крокодил только один, за это он ручается, а что Иван Максимович, употребляющий в своих разговорах разные глупые прибаутки, весьма часто ни к селу ни к городу говорит и о «кургузых волках» и «с волком двадцать». Вспомнив действительно поговорки Ивана Максимовича, Анфиса Ивановна немало удивилась, что вчера, встретившись с ним, забыла совершенно про его манеру говорить. Г. Знаменский успокоил Анфису Ивановну и тем еще, что если она не будет ходить на реку и в камыши, а ограничится прогулками по саду и по дому, то ей нечего опасаться быть проглоченною крокодилом, так как животное это ни в сад, обнесенный забором, ни в дом никоим образом не пойдет. После этого, собрав все свои газеты, г. Знаменский распростился с Анфисой Ивановной и, повторив еще раз, что крокодил его рук не минует, зашагал по дороге, ведущей в село Рычи.

XII

Посещение это подействовало на Анфису Ивановну несравненно благотворнее капель фельдшера Нирьюта, и она, видимо, успокоилась, узнав, что «тварь» эта не может пробраться ни в дом, ни в сад. «Фигура-то, выходит, не больно

важная!» — думала она и, придя к таковому заключению, чувствовала, что аппетит ее разыгрывается все более и более, а по мере того как разыгрывался аппетит, усиливалось и негодование ее на медленность попов.

— Ведь это черт знает что такое, прости господи! — ворчала она, посматривая на часы, показывавшие половину одиннадцатого. Раза два она высылала даже Потапыча на крыльцо.— Выдь, погляди, пожалуйста,— говорила она ему,— не видать ли шутов-то этих...

Потапыч выходил на крыльцо, прикладывал ко лбу ладонь козырьком, смотрел на дорогу и, возвратившись, объявлял преспокойно:

— Нет, не видать никого.

Наконец приехали и попы.

— Насилу-то,— вскрикнула Анфиса Ивановна, увидав в окно тележку, нагруженную попами и толстыми церковными книгами, поверх которых торчала водосвятная чаша с привязанным к ней кадилом. В передней завизжал дверной блок и затопало несколько сапог. Расчесав волосы и бороду и стряхнув рукою пыль с рясы, отец Иван вошел в залу и чинно стал молиться на иконы.

— Ты, видно, совсем с ума спятил? — проворчала Анфиса Ивановна, сложив руки и подходя под благословение.

— Как так! — удивился отец Иван, осеняя старушку большим крестным знамением.

— Просила в девять, а теперь одиннадцать скоро...— И вслед за тем она прибавила гневно: — Да ну же, начинай, что ли! Чего на часы-то глаза вылупил! Тошнит даже...

— Начать-то я начну сейчас,— проговорил отец Иван, вынимая из кармана требник,— только затрудняюсь я, какую именно молитву прочесть...

— Что? аль в городе-то перезабыл все?

— Не перезабыл, а молитв на этот случай подходящих нет. Только и нашел одну, от гад... Например, когда крыса в кадушку с огурцами ввалится или в горшок с молоком...

— Какая же это крыса! — перебила его Анфиса Ивановна.— Даже и сходства нет никакого!..

— Сходства, точно, нет, но... тоже ведь гад!..

— А других, более подходящих, нет?

— То-то ведь и горе-то, что нет! — чуть не вскрикнул отец Иван и затем прибавил нерешительно: — Разве ту, которую в крымскую кампанию читали...

Анфиса Ивановна даже руками замахала.

— Придумал! нечего сказать,— проговорила она.— Рад, что за молитву эту медный крест себе на шею получил, и готов теперь совать ее повсюду.

— Ну, более нет никаких...

— А вот как ты сделай,— перебила его Анфиса Ивановна: — ты молитву-то о крысах читай, только вместо крысы называй крокодила.

— Да ведь там, в молитве этой, о крысах-то и не упоминается даже, а просто вообще о гадах говорится... Вот, например, как-то недавно к одному мужичку в колодезь кошка попала, приглашал нас тоже... Я ту же самую молитву о гадах и прочитал... Одно только,— прибавил отец Иван, вздохнув,— чин-то слишком продолжительный, утомитесь, пожалуй.

— А как это делается?

— А вот изволите ли видеть как,— проговорил он и, отыскав в требнике нужную молитву, прочел следующее: «Чин бываемый, еще случится чесому скверному впасти в кладезь водный».

— Ну, ну! — торопила его Анфиса Ивановна, соображая, что молитва эта и в самом деле подойдет как нельзя лучше, ибо в ней именно и говорится о гадах, попавших в воду.— Ну, ну!..

— «Подобает первее,— начал снова отец Иван,— вычерпать из кладезя кадей сорок и изъяти вон. Таже возжег священник свещы, и взем кадильницу, кадит окрест кладезя. Таже влагает воду святых богоявлений крестовидно трижды. И тако, став к востоку, молится...»

— Это подойдет! — порешила Анфиса Ивановна.

— И я тоже думаю! — заметил отец Иван.

— Отлично! — перебила его Анфиса Ивановна.— А чтобы все это не так долго тянулось, так мы так сделаем. Ты будешь молебен служить, а я тем временем велю рабочим поскорее из реки сорок кадушек воды вылить, и к концу молебна у нас все будет готово. Можно так?

Отец Иван пожал плечами.

— Отступление будет! — проговорил он.— Но... принимая в соображение преклонность лет ваших, слабость сил... Полагаю, что особенного греха не будет...

— Ну, конечно! — проговорила совершенно уже довольная Анфиса Ивановна и, поблагодарив отца Ивана пожатием руки, поспешила отдать нужные распоряжения. Когда же она

снова вернулась, отец Иван спросил ее, указывая рукой на стол с иконами:

— Дозволите приступить?

— Еще бы, конечно...

XIII

Ввалили дьячки, в том числе и пономарь с оборванной косичкой, и, поклонившись издали Анфисе Ивановне, стали на свои места. Вошел церковный сторож с узлом и, развязав зубами этот узел, вынул из него епитрахиль, ризу и подал то и другое отцу Ивану. Дворня вошла гурьбой, на цыпочках, и, скучившись в заднем углу зала, принялась креститься и вздыхать. Дьячки откашливались и плевали на пол. Потапыч заметил это, подошел к одному из них и толкнул его кулаком под ребра. «Чего харкаешь-то!» — проворчал он. И снова возвратился на свое место. Наконец отец Иван облачился, выправил волосы, обдернул руку — и молебен начался.

Анфиса Ивановна, поместившаяся в дверях, ведущих из залы в гостиную, опустилась на колени и вся превратилась в молитву. Не менее усердно молилась и собравшаяся дворня. Драгун Брагин, надевший по случаю молебна сильно развалившийся мундир свой, украшенный знаками неувядаемой военной доблести, счел нужным стать впереди всех, рядом с приказчиком Зотычем. Точно так же приоделись и все остальные, а в особенности женщины. Все эти старушки сморщенные были в коленкоровых белых чепцах, в таких же косынках и передниках, в темных ситцевых платьях, стояли на коленях и усердно молились. Молебен шел торжественно. Отец Иван громко подпевал дьячкам и еще громче делал возгласы. Когда же приходилось читать *тайные молитвы,* он низко преклонял голову, и тогда по всей комнате воцарялась такая тишина, что можно было слышать полет мухи. Во время Евангелия, которое отец Иван читал, обратясь к молившимся, Анфиса Ивановна и вся дворня приблизились к священнику и прослушали чтение с наклоненными головами. Затем, приложившись по очереди к Евангелию, все чинно разместились по прежним местам.

Наконец молебен кончился, водосвятие было совершено, и все отправились на реку. Во главе процессии шел отец Иван в облачении и с крестом, за ним дьячки с чашей, наполненной

святой водой, а потом Анфиса Ивановна и вся дворня. Шествие на реку до того благотворно повлияло на все население грачевской усадьбы, до того утешило и успокоило всех моливщихся, что все они, несмотря на дряхлость лет, словно воскресли, словно ожили и бодро следовали на место молитвы. Только одна Анфиса Ивановна, утомленная продолжительным стоянием на коленях, а пуще всего обессилевшая от голода и бессонно проведенной ночи, едва тащила ноги. Отец Иван уговаривал было старушку не «утруждать себя», справедливо поясняя, что молящихся достаточно и без нее, но, подозревая, как бы отец Иван чего-нибудь не «сфинтил» и не «скомкал бы» молитв с целью добраться поскорее до закуски, она решила следовать непременно за процессиею и лично наблюсти, чтобы все было выполнено по указанию требника. На реке между тем все уже было готово. Рабочие успели вычерпать сорок кадушек воды и развели такую грязь, что отцу Ивану с дьячком пришлось стоять в ней чуть ли не по колени. Затеплив свечи и раздав их молящимся, отец Иван провозгласил:

— Господу помолимся!

— Господи помилуй! — подхватили дьячки, и отец Иван начал читать молитву.

Когда все было кончено и когда святая вода была вылита в реку, Анфиса Ивановна подошла украдкой к пономарю с оборванной косичкой и шепотом спросила:

— Где же это он тебя *прищучил-то*?

— А вот здесь, на этом самом месте,— ответил пономарь и указал пальцем на обрывистый берег, покрытый камышами.

— Здесь?

— Да, здесь... Так из-под кручи-то и выхватил!

— За косичку? — спросила Анфиса Ивановна.

— За косичку... Уцепил, значит, и выхватил...

— И ты видал его?

— Ну где же видать, коли у меня тут же память отшибло!

Анфиса Ивановна вздохнула, покачала головой и отошла от пономаря.

В домике Анфисы Ивановны все приняло праздничный вид. Словно пасху праздновали. Успокоенные и согретые молитвой, обитатели его, не снимая с себя праздничных нарядов, видимо ликовали. Они даже перестали не только говорить, но даже и думать о тех ужасах, которыми заняты были предшествовавшие дни. Все они разбрелись по своим углам,

защипели приветливо самовары, и, сидя вокруг самоваров этих, старушки и старички, словно малые дети, принялись праздновать свое успокоение. А солнце между тем так и обливало теплом и светом ветхий домик Анфисы Ивановны, утонувший в зелени сада, приветливо заглядывало в его маленькие окна, согревало и ласкало всю усадьбу, и сад, и огороды, и зеркало реки...

XIV

Нечего и говорить, что и сама Анфиса Ивановна сияла счастием и радостью. Сморщенное личико ее словно оживилось и улыбалось... Потухшие, впалые глазки заискрились живым огоньком, и вся она, преобразившаяся и довольная, не знала как и отблагодарить отца Ивана за оказанную им услугу.

— Ну, кум,— говорила она, крепко пожимая ему руку,— посердилась я на тебя сегодня, поругала тебя, нечего греха таить! а теперь большущее тебе спасибо!.. Успокоил ты меня, старуху, так успокоил, что я совсем словно иная стала; на сердце весело, на душе легко. Спасибо тебе, спасибо! А теперь давай закусим... Богу послужили, надо послужить и мамону.

Но вдруг, переменив тон, она спросила:

— Или, может, ты чайку хочешь?

— Нет, кумушка, благодарствуйте, увольте. Я лучше вот тут посмотрю, не будет ли чего подходящего...

И, проговорив это, отец Иван подошел к столу.

— Посмотри, посмотри, а я пойду прикажу пирог нести. Не знаю — как удастся, а пирог заказала я на славу! с визигой[21], грибками и сомовым плесом[22], да приказала туда лучку да налимовых молок припустить! Ну что же,— спросила она,— нашел себе подходящее-то?

— Да вот, думаю,рюмочку зорной[23] выпить для начала,— проговорил он, заворачивая рукава рясы и доставая графин с зорной настойкой.— День зарей и начинается и кончается, так вот и я хочу последовать течению времени.

— Последуй, последуй! А я насчет пирога распоряжусь.

И, проговорив это, Анфиса Ивановна куда-то юркнула (откуда и прыть взялась), а отец Иван налил себе большую рюмку настойки, перекрестил рюмку и, выпив ее залпом, отрезал от окорока ломоть сочной, жирной ветчины.

— Ну,— проговорила Анфиса Ивановна, снова влетев в залу и накладывая себе на тарелку груздочков, опеночек и маринованной рыбы,— пирог вышел расчудесный! Слава богу, так я рада!.. Кухарка при мне разрезать его начала, так не поверишь ли, как только проткнула его, так пар из него и повалил столбом, и сок запузырился!.. А уж аромат какой!.. объеденье!..— И затем, понизив голос и подмигнув, спросила: — Ну что, *тюкнул*?

Отец Иван только прикашлянул да головой кивнул.

— Ты бы еще...

Отец Иван опять заворотил рукав, налил рюмку очищенной и выпил, а Анфиса Ивановна смотрела с улыбочкой ему прямо в рот и спрашивала:

— Ну что, хорошо?

— Важно.

— По жилкам разошлось?

— Разошлось.

— Ну вот, закуси теперь груздочком.

И, поймав вилкой груздочек, она положила его в рот отцу Ивану.

Принесли пирог и только-то успели поставить его на стол, как по всей комнате разлился раздражающий запах печеного лука, лаврового листа и налимьих молок.

— Ну что, каков зверь-то? — вскрикнула Анфиса Ивановна, радуясь на пирог: — Вспыжился-то как, а!..

— На взгляд хорош!

— А ты перед пирогом еще бы рюмочку...

— Выпью-с, не откажусь...

— Разве и мне с тобой *тюкнуть*?

— Чудесно сделаете.

— Ну?

— Ей-ей!

— Так налей полрюмочки... Только мне тминной, от желудка она очень помогает! И тебе советую...

— Попробуем.

И оба они выпили.

— Нет, не стану рыбу есть,— проговорила Анфиса Ивановна, передавая Потапычу тарелку с недоеденной рыбой,— чего доброго, аппетит испортит! Ну-ка, накладывай себе пирога-то... да ты что это один кусок-то берешь! Вали два...

— Пожалуй, себя не оправдаю.

— Небось оправдаешь! Вали, вали знай!.. Поди, тоже

проголодался. Бери, бери... дело житейское!.. Смотри-ка, смотри-ка,— прибавила она, приподымая верхнюю корку пирога,— жир-то, словно янтарь!.. Это все от плеса от сомовьего. Уж такие-то вкусные они в пирогах, что лучше нет их...

И она принялась за пирог.

— Прелесть! — шептала Анфиса Ивановна.

— Чудо! — подхватил отец Иван и жадно глотал куски сочного и жирного пирога, поминутно отирая салфеткой и усы и бороду.— Нечего сказать! пирог на славу... редко так пироги удаются, и нижняя корочка отменно прожарилась...

— А ты сливочного масла подложи... Возьми-ка да этак по начинке-то расстели и помажь и помажь...

— *Поперчить*, полагаю, лучше будет.

— И *поперчить* хорошо... перец идет... Поперчи, поперчи!.. Ну, слава тебе господи,— прибавила Анфиса Ивановна, скушав кусок пирога.— Теперь полегче стало, а то, не поверишь ли, даже живот подвело! Грешница! Ведь я Евангелие-то вовсе не слушала. Ты там читаешь, а я мысленно в кухне пирог ела. А на реке ветчины захотелось! Поди ты вот! Захотелось ветчины, и конец делу; так бы вот и съела...

— Бывает, кумушка, бывает! — проговорил отец Иван, вздохнув.— Иной раз перед святым алтарем стоишь, и то в смущение приходишь... Все мы люди, все человеки!..

— Верно! — перебила его Анфиса Ивановна и прибавила: — Ну-ка, куманечек, отсади-ка мне кусочек ветчинки.

— Желудок обременить не боитесь?..

— Ну! чего там бояться! Я, слава богу, чувствую себя отлично... У меня даром что зубов нет, а я все жую!.. Чего там смотреть-то!.. Я, братец, вот как: я все ем!.. У меня этого нет, чтобы вред какой от кушанья происходил, никакого вреда нет... А знаешь, почему?

— Желудок крепкий! — заметил отец Иван.

— Нет, потому, что в наше время докторов не было... Будь эти живодеры, давно бы ты меня в усопших поминал! Ты посмотри-ка теперь, что делается... с самых пеленок человека разными лекарствами пичкать начали!.. А в наше-то время, сам знаешь, какое лечение было? Горчишник да трубка клистирная! Вот мы и уцелели с тобой, и желудки у нас в порядке, и едим мы все, что хотим... Ну-ка, отрежь-ка, отрежь-ка... Ладно, спасибо... А ты что же не кушаешь?

— Я кушаю...

— Кушай, кушай...

Но потом вдруг, как будто что-то вспомнив, старушка засуетилась, сунула руку в карман, пошарила там, погремела ключами и, вынув какие-то бумаги, подала их отцу Ивану.

— Посмотри-ка, родной,— проговорила она,— да растолкуй, что тут писано. Письмоводитель станового привез мне их... Толковал, толковал, а я все-таки не поняла ничего...

Отец Иван взял бумаги.

— Тебе очки не дать ли?

— Не мешало бы...

— Постой, я тебе дам сейчас,— проговорила Анфиса Ивановна, снова засунув руку в карман,— очки чудесные, я их у этого самого письмоводителя отняла, что с бумагами-то приезжал. Не давал было, да я все-таки отняла...— И, подав отцу Ивану очки, она прибавила: — Ну-ка, попробуй-ка!.. Ну что, по глазам?

— По глазам.

— И мне тоже. Очки чудесные!.. Мой псалтырик на что мелко напечатан, а с этими очками разбираю хорошо.

Отец Иван просмотрел бумаги.

— Вот эта,— проговорил он, возвращая одну из них Анфисе Ивановне,— от исправника повестка, чтобы государственные повинности поспешили уплатить...

— Так,— протянула Анфиса Ивановна.

— Другая от предводителя: просит дворянскую недоимку очистить.

— Так...

— А третья опять от исправника с окладным листом насчет земских окладов...

— Тоже платить? — спросила Анфиса Ивановна.

— Да, платить.

— Все денег, значит, требуют?

— Да-с, рубликов около трехсот...

— А ты не знаешь, куда эти деньги идут?

— Вообще на благоустройство...

Анфиса Ивановна подумала, подумала и вдруг заговорила такую ерунду, что отец Иван даже изумился. Она начала уверять, что ей никакого благоустройства не нужно; что все свои нужды она справляет на собственный свой счет, из своего собственного кармана, что ей нет никакой надобности ни в министрах, ни в губернаторах, ни в генералах; что если спонадобится ей генерал, так она наймет его сама, и в конце

концов кончила тем, что от платежа повинностей отказалась наотрез...

— Знаю я,— горячилась она,— зачем им повинности-то эти! Меня не проведешь!.. Это им жалованье спонадобилось, жрать нечего!.. Вот они и вздумали повинности собирать... А я ни в чем не повинна... Я к ним за деньгами не хожу, значит, и ко мне не ходи!.. Повинностей с них не требую, и с меня не требуй!.. Вишь какие!..

И, проговорив это, старушка сунула бумаги в карман и принялась кушать ветчину, состряпав предварительно подливку из горчицы, уксуса и прованского масла.

— Вот еще у вас гуси копченые хорошо приготовляются,— заметил отец Иван, косясь на жирный гусиный полоток[24], красиво покоившийся на блюде.

— Чего же смотришь-то! Бери, коли нравится; кстати и мне положи. Полотки у меня отличные, пальчики оближешь!.. Главная причина, чтобы гусь был хорошо откормлен, а потом, и коптить надо умеючи, чтобы жир не стекал, а в нем оставался. Для этого необходимо, чтобы огонек тлелся только и коптить беспременно можжевельником...

— Ну? а я и не знал этого...

— Непременно. Намедни как-то предводитель заезжал ко мне... жрать он здоровый, сам знаешь! Так не поверишь ли! Один целого гуся оплел. От удовольствия говорить даже не мог, и только возьмет кусок, уткнет в него глаза и зарычит!..

XV

Скушали полотка, потом рыбки заливной с груздочками, опенками и раковыми шейками, затем телятины жареной с маринованными дулями и вишнями и, наконец, добрались до сладостей: до смоквы[25], варенья. Сластей отец Иван не употреблял, почему Анфиса Ивановна и предложила ему выпить наливки.

— Ты всех сортов попробуй,— говорила она, наложив себе целую тарелку смоквы.— Наливка добрая. У меня так заведено, что моложе десятилетней не подают... Так она из году в год и идет.

Отец Иван не заставил себя просить долго и тотчас же налил себе от каждого сорта по рюмке.

— Ну, слава богу! — говорила между тем Анфиса Иванов-

на, откидываясь на спинку кресла.— Теперь совсем легко стало. И напилась, и наелась, и успокоилась. А все ты! Уж так ты меня успокоил, так успокоил, что не знаю как благодарить. Ведь я со страху-то всю ночь не спала... Только глаза закрою — и *он* тут как тут! Спасибо тебе, благодарю...

— Помилуйте, кумушка, за что же! Это долг мой! — проговорил отец Иван, выпивая наливку.— Я, так сказать, находился только при отправлении своих обязанностей.

— Ну, как там ни толкуй, а все-таки успокоил. И вот тебе за это красненькую. На-ка, бери! — проговорила Анфиса Ивановна, подавая отцу Ивану десятирублевую бумажку.— Бери, бери!.. А завтра я пришлю тебе окорок ветчины, два гусиных полотка, да четырех утиных, да наливочки, по одной бутылке от каждого сорта. Спасибо тебе, спасибо!.. Признаться, сначала я только рублишко хотела дать тебе, думала: чего еще ему! а теперь сама вижу, что мало.

Отец Иван принял деньги, сунул их в карман и, отерев платком сильно вспотевшее лицо, проговорил:

— Только мне кажется,— начал отец Иван, выпив еще рюмку наливки,— что опасения-то ваши неосновательны и даже, можно сказать, напрасны, ибо самых этих крокодилов у нас быть не может.

— Как так?

— Климат не тот.

— Какой же им надо?

— Обитают они в жарких климатах.

Анфиса Ивановна задумалась немного, но, как бы сообразив что-то, проговорила поспешно:

— Нет, кум, ты так не говори, не греши! Тебе в особенности грешно говорить так... Не следует!.. Бог сотворил все, весь мир, и вдруг какой-нибудь крокодил будет с ним насчет климата спорить. «Нет, дескать, не желаю я в Грачевке жить!» Ну как это возможно, сам сообрази!

Отец Иван только пот отер снова.

— И потом,— продолжала Анфиса Ивановна,— твой же сын видал его собственными своими глазами.

— Я боюсь, не съели ли мы крокодила-то этого в пироге сегодня.

— Что ты, господь с тобой, опомнись, голубчик...

— Я хочу сказать этим, что не принял ли сын мой за крокодила сома. Ведь у нас большущие бывают... Гусей целиком проглатывают, а уж про уток и говорить нечего. Так

вот, может, такого-то именно крокодила мы и скушали с вами.

— А пономаря-то забыл? Пономаря-то сом тоже на берег-то вытащил?.. Сегодня я сама видела это место... Кручь такая, что взглянуть страшно.

«Искушение!» — подумал отец Иван и снова принялся отирать пот с лица.

— Я, кумушка, одного только опасаюсь, не замерзли бы у нас как-нибудь эти крокодилы, не пришлось бы нам зимой в тулупы одевать их...

— У тебя все смешки в голове! Все зубоскалишь ты!.. Нехорошо, брат, это... Ну, да перестанем говорить об этом... Я теперь этих крокодилов не боюсь и спать буду спокойно... Лучше расскажи-ка мне, как ты в город-то съездил? Вчера, признаться, ты такой противный был и такую чепуху городил, что я ничего не поняла.

Вспомнив вчерашний день, а вместе с тем все свои неудачи в городе, отец Иван даже с места вскочил, словно его шилом кольнуло. Он зашагал по комнате, замахал руками и проговорил, стуча себе в грудь:

— Вот это так крокодилы! Вот в этих я верю... И в существовании их вижу всемогущество творца небесного. Хоть и свята земля наша, хоть и православна она, но и в святом месте проявились дьяволы...

— У бога всего много! — заметила Анфиса Ивановна.

— Это точно-с! — продолжал между тем отец Иван, как-то на ходу выпив рюмку вишневки.— Это верно-с! Действительно, ужасов таких я не видал еще...

— Да что случилось-то?

— Рассказывать долго...

— Теперь, на сытый-то желудок, ничего...

— А то случилось, что ограбили...

— Разбойники?

— Известно...

— Неужто же их не переловили до сих пор! Столько развелось у нас становых, исправников да урядников каких-то... а разбойники все-таки есть...

— Теперь, сударыня, новенькие пошли, другого фасона...

— Какого же это другого фасона? — спросила Анфиса Ивановна и, широко зевнув, снова прислонилась к спинке кресла.

Но отец Иван прямого ответа на вопрос не дал. Он только рассказал подробно свою историю с купцом, как именно за

проданного коня получил вместо трех радужных три красненьких, и затем прибавил:

— Все это, однако, цветики! Лично я только двести семьдесят рублей потерял, а я видел таких, которые всего состояния лишились...

— Ну? — спросила Анфиса Ивановна, позевывая и осеняя крестным знамением широко раскрытый рот свой.

— Мне даже долго не верилось...— И, понизив голос, он прошептал: — В местном банке всю кассу слопали...

— Ишь ты! — заметила Анфиса Ивановна и снова зевнула.

— Хорошо еще, что моих денег там не было, а то и мне пришлось бы на орехи! Пришлось бы волком выть... а в мои лета, согласитесь сами, это не совсем-то ловко! В городе-то рев идет... Сколько этого народищу наехало, попов сколько... Видимо-невидимо! Я полагал прежде, что какое-нибудь молебствие предполагается, а оказалось, что попы эти суть вкладчики банковские! И весь этот народ с утра и до глубокой ночи перед банком толпится. Солдат уже приставили народ отгонять, но и солдаты ничего не могли поделать! Солдаты отгоняют, а толпа знай прет себе вперед, к дверям банка! «Подавай нам их сюда! — кричат все.— Подавай, в клочки разорвем грабителей!..» Больше, вишь, миллиона хватили. Вот ведь кровожадность какая!.. Скольких по миру пустили! И, повторяю, нашего брата попа больше всего! У одного знакомого мне протоиерея целых пять тысяч рублей ухнуло! Все, что накопил, все туда ухнул, в эту прорву, коей нет ни дна, ни покрышки. Видел я толпу эту, и, глядя на нее, сердце кровью обливается. Там — старик-ветеран, с деревяшкой вместо ноги; здесь растерзанная мать, окруженная птенцами; тут поп с раскосматившимися волосами... Купцы, мещане, провиантские чиновники, кабатчики, железнодорожники, казенные поставщики, ротные, полковые и батарейные командиры, аптекаря... И все это напирает!.. Вопли, стоны!.. Случилось мне как-то, доложу вам, видеть копию с картины господина Брюллова «Последний день Помпеи»,— действительно картина потрясающая; но если посравнить ее с той, про которую я вам докладываю, так брюлловская-то детской работы представляется!.. Помилуйте! Скажите, разве так возможно?.. Хоша бы и мне довелось!.. Всю жизнь трудиться, собирать крохи, грешить иной раз...— без греха, сами знаете, не проживешь ведь, и вдруг, трах! и нет ни гроша! Ведь это что же

выходит? Выходит так, что надевай суму и ступай в люди Христовым именем питаться, под окнами кусок хлеба вымаливать... Вот это так крокодилы-с! Это не чета тем, про которых вам дурацкий Знаменский распускает столько дурацких сообщений! От этих-то никакой молитвой не отмолишься! и не только сорок, а хоть четыреста кадушек вычерпывай, так и то не очистишь ту реку, по которой они только прокатятся на лодке. А наши, какие это крокодилы? — агнцы в сравнении с теми!.. Наши-то не грабители, наши-то не слопают нас!.. Э! да что и говорить! Такой-то пошел грабеж всеобщий, что не придумаешь, куда и прятаться!.. Лучше наливки выпить, я еще, кажется, розовой не пробовал... Разрешите, что ли, кумушка драгоценная?..

Но драгоценная кумушка молчала, и отец Иван только теперь заметил, что старушка, накушавшись, уснула, сидя в кресле. Голова ее склонилась на грудь, руки покоились на коленях, на щеках от выпитой тминной играл детский румянец, а впалые губы сложились в тихую, счастливую улыбку.

Вошел Потапыч, посмотрел на уснувшую Анфису Ивановну и проговорил шепотом:

— Започивала, никак?

— Започивала,— прошептал отец Иван,— утомилась, бедная!..— И, любовно посмотрев на старушку, прибавил: — Вот они, лета-то, что значат!.. И рассказ интересный был, а она все-таки заснула! Что ей! Немного надо! Помолится, покушает, поговорит и счастлива!.. Ах! блаженный возраст, счастливое детство!..

Услыхав, что вдруг все смолкло, Дарья Федоровна перепугалась и тоже пришла в залу. Она взглянула на Анфису Ивановну и, обратясь к отцу Ивану, спросила шепотом:

— Започивала?

— Започивала.

— Уж вы не тревожьте ее... Пусть отдохнет. Ведь она, бедненькая, всю ночь не спала...

И затем, осторожно подставив стул к Анфисе Ивановне, Дарья Федоровна вынула из кармана чистый платок и принялась отмахивать мух от уснувшей.

Отец Иван благословил старушку, еще раз с улыбкой посмотрел на нее и вместе с Потапычем вышел осторожно из комнаты.

— А к вам, батюшка, от станового сотский приехал,— проговорил Потапыч, когда оба они были в передней.

— Это зачем? — испуганно спросил отец Иван. И в ту же минуту ему пришло почему-то в голову полученное из Москвы письмо.

— Не могу знать-с,— ответил Потапыч.— Сотский там на крыльце дожидается.

— Ты ко мне? — спросил отец Иван сотского, выходя на крыльцо.

— Так точно-с.

— Зачем?

— Не могим знать-с! Пристав послал. «Ступай, говорит, попроси ко мне батюшку, очень, мол, нужно».

— А становой где, у меня, что ли?

— Никак нет-с, в волостной конторе. Они подати, значит, *выколачивать* приехали, так теперь сход собрали.

— Ладно, сейчас буду.

И действительно, немного погодя лошади были поданы, и отец Иван по-прежнему, вместе с дьячками, книгой и водосвятной чашей, покатил по дороге, ведущей в село Рычи.

XVI

Между тем становой (фамилия которого была Дуботолков), приехавший, по выражению сотского, *выколачивать подати*, успел уже собрать к себе всю волость и, допрашивая каждого домохозяина, почему им не внесены подати, составлял опись имущества, обещаясь через две недели снова приехать и, в случае невнесения податей в этот, назначенный им срок, продать все с аукциона до последней нитки. Народ галдел, охал, ахал, но, не имея денег, все-таки не мог придумать, как *выцарапаться* из таковой *напасти*. Вокруг волостного правления собралась такая громадная толпа и в толпе этой стоял такой стон, что можно было подумать, что в Рычах происходит ярмарка.

Сам становой Дуботолков (фамилию эту он получил в семинарии, потому что говорил — словно дуб толок), громадный и толстый мужчина в форменном мундире со жгутами на плечах и с лицом, напоминавшим морду бульдога, сидел за письменным столом, с длинной трубкой в зубах, и, поминутно

выпуская изо рта облака табачного дыма, допрашивал старосту о количестве имеющегося у крестьян скота.

— Ну!..— кричал он,— говори! У Ивана Булатова много ль лошадей?

— Одна, ваше превосходительство.

— Молчать! — заорал становой, ударяя кулаком по столу.— Сколько раз тебе толковать, дураку, что я не превосходительный, а просто высокоблагородный. Дослужишься с вами до генерала, как же, дожидайся! С вами, чертями, и последний чинишко как раз отнимут! Ну, сколько лошадей?

— Одна, вашескородие.

— Коров?

— Тоже одна.

— Овец?

— Овечек у него нет, вашескородие.

— Это почему?

— Кто ж его знает!

Становой поднял голову и, окинув молниеносным взором толпу, крикнул:

— Где этот Булатов? подать его сюда!

— Здесь я,— отозвался мужик.

И, протискавшись, он подошел к становому, поклонился и проговорил:

— Здравствуйте...

— Мое вам нижайшее почтение,— подхватил становой, комично вскакивая с места и еще комичнее раскланиваясь с растерявшимся Булатовым.— Садитесь, пожалуйста...

Но вдруг, переменив тон и вытянувшись во весь рост, крикнул грозно:

— Почему нет овец? а, почему?

— У меня-то?

— Известно, у тебя, скотина! — заревел становой, затопав ногами.— Говори! Почему овец нет? Пропил, каналья!..

— Подохли...

— Подохли! отлично!.. Так почему же ты-то не изволил подохнуть одновременно с ними!.. На кой же тебя черт, коли ты податей не платишь и вместе с тем беднее нищего!.. Говори, отчего податей не уплатил...

— Знамо отчего!.. Управка не взяла...

— Какая уж там управка! — загалдело несколько мужиков.— Сами-то чуть не подохли...

— Молчать! — крикнул становой и так сильно ударил

могучим кулаком по столу, что вся толпа мгновенно притихла.— Жаль, что не подохли!.. Плодитесь вы, черти, а не дохнете... Жрете только да детей рожаете... Вишь, с голодухи-то навоняли как!.. Тьфу! — И, обратясь к письмоводителю, сидевшему за тем же столом с пером в руках, прибавил: — Пиши! У Ивана Булатова лошадь одна, корова одна, овец нет...

Письмоводитель пригнулся, сбоченился, и перо быстро забегало по бумаге, а становой снова обратился к толпе:

— Вот я вам покажу, как податей не платить! Вишь, брюха-то распустили!.. Чего в затылке-то скребешь!.. Обовшивел!.. Небось я и вшивого достану, не побрезгаю... От меня не уйдешь!.. В воду бросишься — невод запущу! В лес убежишь — лес вырублю! В землю уйдешь — землю раскопаю!.. В солому уткнешься — солому подожгу...

XVII

В этот самый момент дверь распахнулась, и в правлении показался отец Иван.

— Чур меня! Чур меня! — кричал он.— Батюшки, какие страсти!

— Врешь, не отчураешься,— крикнул становой.

— Неужто?

— Верно говорю.

— За мной податей нет...

— Податей нет, так другие провинности найдутся. У полиции чистого человека нет... Хоть что-нибудь, а уж найдет...

— Бедовый же ты! — проговорил отец Иван и, подойдя к становому, подал ему руку.— Однако поздороваться все-таки надо. Здорово, коллега!

Становой был ему товарищ по семинарии.

— Здорово, здорово...

— Как поживаешь?

— Твоими священными молитвами скрипим кое-как...

— И окроме меня молельщиков-то у тебя много.

— Еще бы! — подхватил становой.— Из священной породы тоже! Кто попом, кто дьяконом, кто дьячком. Только, видно, молиться-то ленивы. Вот часа три кричу здесь, охрип даже, а толку нет все-таки... А все ты виноват,— закричал становой, обращаясь к старшине, почтительно стоявшему

впереди толпы.— Вишь, медаль-то развесил!.. Не медаль тебе, а бабьи ожерелья навесить бы надо, потому — сам-то ты не старшина, а баба.

И, быстро обернувшись к отцу Ивану, становой прибавил:

— Ах, в Репьевской-то волости старшина у меня прелестный!.. Бриллиант, а не старшина! Волость вот как в руках держит... Все по струнке ходят... Какие мосты, какие гати! Намедни губернатор проезжал, так даже обнял и расцеловал его! Так, посреди гати, остановил лошадей, вышел из кареты и расцеловал... Все-то у него в порядке, куда ни загляни. Пожарный обоз — восторг, по улицам деревья растут.

— Помилуй, Аркадий Федорович,— перебил его на этот раз старшина,— что же это за деревья!.. Ведь мы знаем! Позвольте доложить. Ведь деревья-то просто в лесу были срублены да накануне губернаторского приезда и воткнуты по улицам. Оно, точно-с, красиво смотреть, только сейчас эти деревья к старшине на двор свезены... Все это фальшь одна...

— Там фальшь ли, нет ли, а все-таки человек, значит, заботится, хлопочет... Начальство едет и видит, что повсюду порядок и благоустройство... А какое мне дело, что на другой день ни одного дерева нет, очень мне нужно!.. может, губернатор-то в первый и в последний раз был у него... А уж насчет податей... не старшина, а золото. Вот как... Хоть бы копейка недоимки! все чисто!..

— Тоже и на счет податей осмелюсь доложить вам,— заметил старшина,— ведь репьевский-то старшина — не со мной сравнять. Человек он денежный, торговый, гурты имеет, салотопни свои... У него и сейчас тысяч пять мелкого скота нагуливается да ста полтора рогатого... Окроме того штук пять кабаков, да сурочные промыслы[26]... Ему хорошо! Не платит обчество податей, он собрал стариков, перетолковал с ними, да свои денежки и закладывает. «Нате, говорит, смотрите, свои кровные за вас вношу!» Вот у него и чисто!.. А волость-то у него в руках, известное дело, что хочет, то с нею и делает! Круглый год на него работает!.. И пашут, и сеют ему, и жнут, и косят... Уже он свое выворотит небось... Ему хорошо... И я рад бы так-то делать, да средств не хватает...

— А что все это доказывает? — спросил становой.

— То и доказывает, Аркадий Федорович, что Курицын человек сильный...

— Нет, врешь! — перебил его становой.— Это доказывает, что Курицын человек, а ты баба...

— Однако вот что,— проговорил отец Иван, обращаясь к становому,— ты обедал, что ли?

— Конечно, нет; жрать, как собака, хочу.

— Так приезжай ко мне обедать... А коли в самом деле я тебе нужен, так там, у меня, и переговорим...

— Ладно.

— У тебя какое же до меня дело-то?

— Вот узнаешь...

— А ты скоро здесь покончишь?

— Теперь скоро.

— Ну, вот и отлично. А я покамест поеду приготовлюсь...

— Чего там готовиться-то! Что есть в печи, на стол и мечи.

— Так до свиданья.

И вслед за тем, пригнувшись к уху станового, он прибавил шепотом:

— Коньяк у меня есть, лет пять уж стоит...

— Отлично.

— Так я буду ждать тебя...

— Приеду, небось...

И отец Иван отправился домой, а становой снова принялся допрашивать мужиков.

— Анохин Федот! — крикнул он.

— Здесь.

— Выходи живей... Лошадь есть?

— Нет.

— Корова?

— Нет.

— Овцы?

— Нет.

Становой даже плюнул.

— Жена есть, что ли?

— Нет.

— Дети.

— Нет.

— Любовница?

— Есть.

Но в этот момент раздался такой хохот, что даже сам становой не мог остановить его, а Федот Анохин принялся оправдываться.

— Ну, чего зубы-то скалите, чего! — кричал он на хохотавших мужиков.— Знамо, обмолвился!.. Я думал — про собаку спрашивают, и молвил, что есть, а вышло вон что! Ну

чего ржать-то! Что вы, жеребцы, что ли!.. знамо, обмолвился... Какая там любовница, коли насилу ноги передвигаю.

Но мужики, к великой досаде Анохина, не унимались и продолжали хохотать, поддобривая хохот скоромными остротами. Наконец становой усмирил их и, снова приняв олимпийский вид, обратился к старосте.

— Иди сюда! — крикнул он ему.

Староста подошел.

— Есть что-нибудь у этого паршивца?

— Никак нет, ваше высокородие.

— Чем же он занимается?

— Да чем... Летом бахчи караулит, а зимой зайцев капканами ловит... Самый лядащий изо всего села...

Становой вскочил и подбежал к Анохину.

— Как же смеешь ты жить! — крикнул он.

— Знамо, что толку мало от меня... какой толк. Известно, толков нет никаких... Кабы богатый али здоровый был... Ну точно... а то все мочи нет...

— Так умри.

— Знамо, что надо бы... только вот час-то смертный не приходит.

— Ах вы, черти, ах вы, дьяволы! Небо коптишь только ведь, подлец... Что же, и хлеба не сеешь?

— Ну, я и сохи-то не подниму...

— А жрешь небось...

— Без этого нельзя...

— Ах вы, дьяволы! ах вы, черти... Ну постойте же, я вам докажу! — крикнул становой и сел на прежнее место.

Наконец часа через полтора опись была покончена.

— Ну, дьяволы! — кричал становой сильно уже охрипшим голосом и потрясал в воздухе только что составленною описью,— чтобы через две недели подати были все в казначействе, все до одной копейки, и чтобы казначейская квитанция была мне представлена. Эй ты, старшина! Подойди сюда...

Старшина подошел.

— Квитанцию ты привезешь мне сам, ко мне, в становую квартиру; слышишь?

— Слушаю-с, Аркадий Федорович.

— А если через две недели подати не будут внесены,— продолжал становой, снова обращаясь к крестьянам,— то я привезу сюда Курицына, и он живо купит у меня весь ваш скот... Слышите? Пощады от меня не ждать... Вот вам даю две

недели сроку. Внесете деньги — спасибо скажу, а нет — не прогневайтесь. Камня на камне не оставлю... в муку вас сотру... Ах вы, подлецы, ах вы, дьяволы!..

И затем, передав бумаги письмоводителю, он крикнул:

— Сотский!

— Здесь, вашескородие.

— Лошади готовы?

Готовы, вашескородие.

— Небось хромые опять?

— Никак нет, вашескородие.

— Смотри у меня!.. Ах да, и забыл! — И вдруг, подбоченясь и подойдя к сотскому, он спросил: — А почему мост через Грачевку не в исправности?

— Ездил, вашескородие, сколько раз ездил, до самой до помещицы до Анфисы Ивановны доходил, в ноги кланялся ей... ничего не поделаешь... даже обругала меня... «Ты, говорит, видно, с ума сошел! никакого закона нет, чтобы барыни мосты чинили! на это, говорит, мужики есть».

— Мужиков бы заставил!

— И у них был, вашескородие! Целый день ругался!.. Не едут! «Дьяволы, говорю, черти, анафемы вы проклятые!» Признаться, побил даже кое-кого, а все-таки не выехали! Уперлись, дьяволы, что мост на господской земле, и не едут...

— Дурак ты, вот что! — крикнул становой и, обратясь к письмоводителю, прибавил: — Александр Тимофеевич, отец родной, поедешь в Голявку, заверни в Грачевку... Уломай как-нибудь старушку-то! Сохрани господи, губернатор поедет, ведь он за этот мост шкуру сдерет. Уж мне и так от исправника нахлобучка была... Ведь провалился недавно и с тарантасом и с лошадьми!.. Ну как этак-то губернатор ухнет! Что тогда будет!.. Заверни, благодетель...

— Хорошо,— проговорил письмоводитель, мрачный и угрюмый мужчина лет сорока.— Только да будет вам известно, что к старухе я не пойду...

— Что так?

— Да помилуйте, как ни приедешь, непременно что-нибудь отнимет... Спичечницу отняла... а последний раз очки серебряные.

— Как так?

— Очень просто... Я к ней с окладными листами приехал, а она у меня очки отняла. «Дай-ка, говорит, я попробую! не по глазам ли!» — велела себе псалтырик принести самой

мелкой печати, надела очки... а потом сняла их, положила в футляр — и в карман. «Как раз!» — говорит. Так и не отдала. «Ты, говорит, себе другие купишь!» Пять рублей были заплачены. Нет уж, я лучше с приказчиком поговорю... Ну ее к черту!

— Поговори, христа ради!

— Хорошо.

— Пожалуйста.

И, снова обратясь к мужикам, он проговорил, грозя кулаком:

— Ну, черти, берегитесь! Чтобы через две недели квитанция была у меня!..

И, круто повернувшись, он вышел из правления.

Старшина, староста и сотский бросились провожать станового, подсадили его в тарантас, прокричали в один голос: «Счастливо оставаться!» — и, гремя и звеня колокольчиками и бубенцами, становой пристав покатил по направлению к дому своего коллеги, отца Ивана.

XVIII

Приехав к отцу Ивану, становой уже не мог говорить, а только хрипел как-то.

— Вот, слышишь, слышишь,— хрипел он,— видишь, вот она, служба-то наша, какая, хуже протодьяконской! Тот хоть в известные часы орет, а становой ежеминутно... Только глоткой и берешь. Есть у тебя глотка здоровая — служи, а нет, бери шапку в охапку и переселяйся в более вежливое ведомство. Только в ведомство это нашему брату, божьей родне, попасть трудно, потому что в нем правды больше.

Но отцу Ивану было не до правоведов, ему хотелось узнать поскорее, по какому именно делу приехал становой, и потому, как только ввел он его в залу, в которой и стол был уже накрыт, и стояла закуска и водка, он спросил:

— По какому же это ты делу приехал?

Становой даже оскорбился.

— Господи боже мой! — крикнул он,— да позволь же хоть отдохнуть-то немного!

— Ну ладно, ладно,— поспешил успокоить его отец Иван,— и точно отдохнуть надо.

И затем, подведя его к столу с закуской, он прибавил:

— Ну-ка, дружище, выпей-ка водочки-то! Может, тогда и хрипота пройдет.

— Надолго ли пройдет-то,— проговорил становой, с какой-то досадой швырнул на стул портфель с бумагами,— за ночь пройдет, а утром опять захрипишь, как запаленная лошадь, потому утром опять оранье предстоит. Сегодня в Рычах, завтра в Ростошах, потом в Дубовой... Плохо дело!

— Чем?

— А тем, что все без толку орешь...

— Так ты не ори!

— Пойди-ка, попробуй лаской-то!.. Орешь, орешь, а поощрения все-таки никакого!.. Хоть бы нигилиста поймать какого!..

— Зачем он тебе?

— Как же, толкуй!.. Вон Ломпетов-то изловил одного, так сначала денежную награду получил, потом благодарность от губернатора, затем орденок повесили, а наконец из становых-то в помощники перевели... Вот это так!.. На грех ведь, ни одного социалиста в моем стане нет... Только одни паршивые отставные солдатики ругаются, да хромой Ветошинский речи на обедах либеральные говорит... А поймать его все-таки нельзя!

— А хотелось бы?

— Еще бы!

И затем, подойдя к столу с закуской, становой прибавил:

— Эге! да ты, я вижу, совсем порядки-то забыл!

— Что такое?

— Рюмок-то наставил, а стакана нет ни одного. Я, друг любезный, из этой мелкой посуды не балуюсь. У меня положено: утром стакан, перед обедом два и перед ужином один. Долбану — и конец.

— Можно и стакан поставить.

— Сделай милость.

Становой «долбанул» два стакана, закусил, и затем приятели принялись обедать.

— Ну,— проговорил становой, когда обед был покончен,— теперь можно и о деле потолковать.

— Потолкуем, потолкуем! только пойдем ко мне в кабинет, чтобы никто нас не подслушал. Откровенно сказать, я чую, по какому ты делу-то приехал.

— Чуешь?

— Чую.

— И прекрасно! меньше разговоров будет...

Они перешли в небольшую комнату с одним окошечком, выходившим на двор. Возле окна стоял письменный стол, вдоль правой стены помещался громадных размеров диван, а вдоль левой — комод, два-три стула и сундук, окованный железом.

— Так вот он, твой кабинетец-то! — проговорил становой, поглядывая на сундук.

— Этот самый.

— Проповеди-то здесь сочиняешь?

— Чего их сочинять, коли никто слушать не хочет.

— А в сундуке что? деньги небось! — И, развалясь на диване, становой подложил под бок подушку, набил трубку, закурил ее и принялся дымить на всю комнату.

Но отец Иван не слушал шуток станового и, подсев к нему, вынул из кармана знакомое уже читателю письмо и, подавая его становому, спросил:

— Уж не по этому ли делу ты приехал-то?

— Вишь как засалил! — проворчал становой, развертывая лениво письмо,— словно блины в него завертывал.

— Еще бы. Третий день читаю. Ну что, по этому?

— Верно! Отгадал!

Отец Иван даже руками всплеснул.

— Ах,— вскрикнул он,— ах!.. Что же делать-то?

— Что делать-то? — переспросил становой и выпустил изо рта такое густое кольцо из дыма, что отец Иван не вытерпел и поймал его на палец.

— Да, что делать?

— А вот то же самое, что ты сейчас с кольцом проделал! — проговорил становой и на этот раз выпустил уже несколько колечек, одно другого меньше.

— Я что-то тебя не понимаю.

— Потрафь в центр дела, как ты потрафил в центре кольца, вот тебе и все. Понял?

— Понял... Только-то там иное.— И, немного помолчав, он спросил: — Какую же ты грамотку-то привез?

— Грамотка хорошая, печатная...

— Неужто повестку? — чуть не вскрикнул отец Иван.

— Повестку.

— Так, стало быть, дело-то началось уже?!

— Стало быть, началось, коли в суд вызывают.

— Покажи-ка...

— Можно. Только портфель мой в той комнате, и идти лень... наелся очень...

И становой выпучил на отца Ивана сонные глаза свои.

— Принести?

— Сделай божескую милость... лень...

Отец Иван поспешно вскочил с дивана, бросился вон из комнаты и немного погодя воротился с портфелем в руках. Становой проговорил: «Спасибо», кряхтя, достал из кармана брюк вязку ключей, разыскал тот, который требовался, щелкнул замочком и, пошарив в бумагах, вытащил повестку.

— На-ка, почитай! — проговорил он.

Отец Иван взял бумажку и прочел повестку, которой столичный мировой судья вызывал Асклипиодота Психологова в камеру, по делу об обвинении его в краже у коллежского регистратора Скворцова из незапертого стола двухсот рублей.

— Что, ловко? — спросил становой.

— Ах, мерзавец! ах, мерзавец!..— горячился отец Иван, хлопая себя по бедрам.— Ах, расточитель...

— Ну уж и расточитель! — проворчал становой.

— Что же теперь делать! Как быть...

— А вот позови сына, и я вручу ему повестку.

— Да не про то говорю я,— перебил с досадой отец Иван, продолжая метаться по комнате, как белка в клетке.— Я спрашиваю у тебя совета, как поправить дело!..

— Да ведь в письме-то тебе пишут, как поправить. Так и сделай... Отопри вот этот сундук, вынь приличную пачку денег, поезжай в Москву и постарайся замять дело. Вот и все! — проговорил становой, продолжая преспокойно полеживать на диване.

Отец Иван даже испугался.

— Что, не любишь?

— Легко сказать!

— А коли трудно сделать,— перебил его становой, переворачиваясь на другой бок,— так не езди.

— А тогда что будет?

— В острог запрячут.

Отец Иван опять замолчал.

— Главная причина,— говорил он,— этот самый Скворцов в полиции, говорят, квартальной служит, следовательно, пощады не жди... Оберет так, что шкуры не оставит...

— Ну, брат, в этом случае я даже затрудняюсь решить,— кто жаднее, попы или полиция?..

— Сказал тоже! — вскрикнул отец Иван.

— Не правда разве? — проворчал становой и, вздохнув, прибавил: — Полагаю, что ни у одного квартального не найдется такого сундука, какой у тебя имеется. Однако вот что! Позови-ка сына-то.

Но Асклипиодота нигде не могли найти.

Давно уже стемнело, а отец Иван все еще беседовал со становым, сидя за бутылкой коньяку, все в том же кабинете. Но о чем говорили они, никто не слышал, только старуха нянька, вошедшая в кабинет доложить, что Асклипиодота нигде не нашли, видела, что отец Иван ходил по комнате, а становой писал какую-то бумагу. Наконец часов в двенадцать ночи становому были поданы лошади.

— Ну,— проговорил он,— видно, его не дождешься.

— Подожди, придет...

— Нет, ждать некогда.

— Ты бы переночевал,— упрашивал отец Иван.— Ночь темная, как раз в овраг влетишь...

— Нельзя, надо в Ростоши ехать... Тоже податей не платят, скоты. Опять орать придется...

— Как же с повесткой-то быть?

— Очень просто, тебе передам, а ты распишешься, что для передачи получил. На-ка, распишись-ка...

Отец Иван расписался.

— Так ехать советуешь? — спросил он, передавая становому подписанную повестку.

— Известно,— проговорил становой, кладя повестку в портфель,— коли сынок накуролесил, так батюшке зевать нечего! Ступай-ка, ступай-ка; ты в Москве-то был, что ли, когда?..

— Нет, не был...

— Так вот и увидишь; город богатеющий!.. Смотри, не забудь мне гостинчик привезти.

И, посмеявшись над растерявшимся отцом Иваном, становой сел в тарантас и поехал «орать» в село Ростоши.

XIX

Между тем в Грачевке, в саду Анфисы Ивановны, происходила иная сцена. Там Асклипиодот и Мелитина Петровна, лежа на траве и покуривая папиросы, вели следующую беседу.

— Черт знает,— говорил Асклипиодот,— теперь не придумаю, что мне и делать! Последняя надежда лопнула...

— Мне и самой досадно! — заметила Мелитина Петровна.

— Неужели же у старухи и двухсот рублей не нашлось!..

— Божилась и клялась, что нет...

— Не поверю я ей...

— А я — так верю...

— Куда же она деньги девает?

— Так, зря уходят... На монастыри, на попов, на нищих. Если бы у нее деньги были, она бы мне не отказала, потому что после знаменитого тришкинского процесса я в милостях у нее нахожусь.

— Ты вечно шутишь,— перебил ее Асклипиодот с досадой,— а мне, право, не до шуток. Опять-таки повторяю, что никогда не поверю, чтобы у старухи не было денег. А просто ты не настойчиво просила... Не своя беда, а чужая!

— Ах ты, бессовестный... Битых два часа упрашивала! В сочинения даже пустилась... Сочинила, что деньги эти мужу необходимы, что он болен, что он умирает, что при Бабиной главе ему ногу оторвало. Что же еще? Кажется, чувствительно.

— Что же делать теперь! — как-то отчаянно вскрикнул он.

— К отцу пристань.

— Приставал уже...

— Почему же ты раньше не позаботился... Дело-то ведь не шуточное...

— Раньше, раньше! — перебил ее Асклипиодот.— В том-то и дело, что не хватило духа заговорить! Все сегодня, да завтра!.. Какой-то доброй минуты ждал... Вот и дождался!..

— Бедненький! — подшутила Мелитина Петровна.

— Сверх того, не ожидал я, чтобы Скворцов отказал мне в отсрочке... Ведь я сам же открыл ему истину!.. Не напиши я, он и до сих пор не знал бы, кем именно были взяты деньги. Ведь я рассказывал тебе, как было дело. Была пирушка, все мы были более чем пьяны, ящик у стола был выдвинут, я увидал пачку денег и взял двести рублей... Наконец, ведь он приятель мой... наконец, я ведь писал же ему, что деньги возвращу, чтобы он не беспокоился об них...

— Почему же не возвратил?

— А потому и не возвратил, что ждал все доброй мину-

ты.— И вдруг, переменив тон, он спросил: — А что будет за это?

— Известно что...

— А именно?

— Одно наказание за кражу... тюрьма.

— Да разве это кража!

— А что же, по-твоему?

— Но если женщине нечего было есть, если у нее ребенок умирал! Если не на что было дров купить, чтобы протопить и согреть холодную квартиру. Не крал я, а просто взял деньги и отдал их той, которой они были необходимы...

— Целый роман! — перебила его Мелитина Петровна.— Все есть: и угнетенная невинность, и голод, и холод, и больной, умирающий ребенок, и даже кража!..

— Тебе смешно, а меня ждет позор!

— Что же! И развязка романа не дурная... Но почему же позор?

— Да ведь я вор.

— В глазах одних вор, а в глазах других — рыцарь. Помилуй! Ради спасения своей Дульцинеи даже перед кражей не остановился. А ребенок-то этот твой был?

— Перестань, ради бога... Право, мне не до шуток!

— Я и не подозревала, чтобы ты мог быть таким нежным, таким ловеласом...

Но Асклипиодот не слушал ее.

— Любопытно было бы знать,— говорил он как будто сам с собою, — зачем это становой к отцу поехал?..

— Разве он у него?

— Да.

— Ты почем знаешь,— ведь ты целый день здесь скрываешься...

— Письмоводитель приезжал сюда, и вот он-то говорил мне... Этот косолапый черт даже как будто намекает, что дело касается меня...

— Ага! знает, видно, кошка, чье мясо съела!..

— Поэтому-то я и домой не пошел... и не пойду...

— Где же ты ночь-то проведешь?

— Мир не тесен! — И, немного помолчав, он добавил: — Уж не начал ли Скворцов дела?.. В Москву не требуют ли?

— И отлично! В Москве тебя никто не знает, отсидишь там свой срок и вернешься сюда как ни в чем не бывало...

— Чист, как трубочист! — перебил ее Асклипиодот.

— Умоемся, причешемся, и ничего, сойдет! Люди нашего времени не особенно брезгливы, а воров, поверь мне, несравненно больше, чем честных людей, и если бы воры пошли войной на честных, то последние, конечно, были бы побиты жестоко! Успокойся, общество у тебя будет большое...

— Как не стыдно смеяться...

— Над несчастием ближнего, хочешь ты сказать? — перебила его Мелитина Петровна.

— Именно над несчастием.

— Кто же виноват... Я тебе предлагала... Сам отказался... А деньги были бы... Только бы телеграмму послать...

— Нет уж, спасибо. На такую сделку не пойду...

— Почему?

— Уж я раз двадцать говорил тебе, почему...

— К довольным принадлежишь, значит...

— Не к довольным, а просто к робким...

— Значит, весь мир гори в огне, лишь бы мой пирог испекся.

— Храбрости не хватает...

— Жалкий человек!.. Уж не службой ли земству думаешь принести пользу?

— Думаю.

— Слышала я, что тебе «место секретаря обещано»... Только в земство-то веру потеряла я, а в здешнее особенно...

— Это почему?

— Уж очень земцы-то хороши!.. Хлопотали о возобновлении смертной казни...

— Кто же это?

— Все ваш премьер, что с ключом-то ходит!.. Мужики обозлились на него и подожгли какой-то омет соломы... Вот он и хлопотал на земском собрании [27], чтобы ходатайствовать о наказании поджигателей смертной казнью... А прежде, когда мировой посредник был, говорят, либеральничал, всех крепостников восстановил против себя, общее их негодование возбудил!.. Даже стихи про него писали.— И, проговорив это, Мелитина Петровна начала декламировать:

Вам нужен не такой посредник мировой,
Вам нужен, чтобы он, как прежний становой,
С помещиком крестьян отнюдь не разбирал...
А просто-напросто их драл бы, драл бы, драл...—

А теперь этот либерал о смертной казни хлопочет. Вот как люди-то меняются. Итак, видишь ли! Ваше земство казнить собирается, а соседнее хлопотало, чтобы разрешили рабочих пороть... Ты запиши это в земскую хронику, будущий земец...

— Теперь, пожалуй, и в земство-то не попадешь... Узнают про это поганое дело, и места не дадут...

— Не дадут секретаря — ступай в адвокаты.

— Хорош адвокат... из острога-то!

— Зато на самом себе законы изучишь... Недаром же в какой-то французской книжонке, описывая познания одного адвоката, автор выразился про него так: «Il connut le code comme un voleur»*.

— Остроумно...— И, помолчав немного, он прибавил: — Неужели же ты не можешь достать мне денег?..

— Согласись на мои условия — и деньги будут высланы немедленно.

— А без этого? — спросил Асклипиодот.

— Без этого не будет ничего.

— Но ведь это жестоко!

— Зато справедливо... разве ты заслужил...

Но в это время в кустах что-то хрустнуло, раздались чьи-то шаги, и Асклипиодот быстро вскочил на ноги.

XX

Немного погодя он бежал уже по дороге, ведущей в село Рычи. Бежал, поминутно оглядываясь, как бы боясь погони,— бежал, не разбирая дороги и к чему-то прислушиваясь. Так добежал он до моста, о починке которого хлопотал становой, как вдруг чуть слышный звук колокольчика остановил его. Асклипиодот замер и стал прислушиваться. Все было тихо, только колокольчик продолжал звенеть где-то. Наконец Асклипиодот сообразил, что колокольчик раздавался в стороне Рычей и что он приближался! «Уж не становой ли!» — мелькнуло вдруг в голове Асклипиодота, и первой его мыслью было скрыться под мост... Но не сделал он и двух шагов, как позади его выросла чья-то длинная фигура и подошла к нему.

— Ах, это вы! — проговорила фигура.

Асклипиодот обернулся и увидал перед собою Знаменского.

---

* Он знал свод законов не хуже вора *(франц.)*.

— Откуда это? — из Грачевки?

— С чего это вы взяли?

— Мне показалось... Вы так бежали... Уж не случилось ли чего?

— Ничего решительно...

— А я все здесь по камышам шатался...

— Уж не крокодила ли искали? — спросил немного оправившийся от испуга Асклипиодот.

— Именно!.. Подите же! не удается подсмотреть, и только!.. Утром ходил... наконец думаю: дай, ночью пойду!.. И все-таки нет ничего! Вы счастливее меня...

— Однако знаете ли что! — перебил его Асклипиодот, прислушиваясь к приближавшемуся колокольчику, — пойдемте-ка под мост скорее.

— Это зачем?

— Да что вы, оглохли, что ли! — вскрикнул Асклипиодот сердито.— Не слышите разве колокольчика...

— По всей вероятности, это становой... Он у вашего батюшки был... И, знаете ли, вас зачем-то искали... По крайней мере ко мне приходила Веденевна узнать, не у меня ли вы сидите...

— Пойдемте же, пойдемте же!..— чуть не кричал Асклипиодот.

— Зачем же?

«Да ведь я вор!» — хотел было сказать Асклипиодот, но опомнился.

— Встретиться не хочу с ним,— проговорил он.

И, крепко, судорожно схватив Знаменского за руку, он потащил его под мост. В это самое время подъехал и тарантас.

— Стой! — крикнул становой.— Сотский, слезай, осмотри.

Послышался прыжок и чьи-то торопливые шаги на мосту.

— Ну, что? — кричал становой.

— Ничего, вашескородие,— проехать можно еще. Только правее держаться надо, а то налево дыра...

— Большая?

— Большущая, вашескородие: лошадь пролетит — не зацепит!

— Погоди, слезу.

И Асклипиодот слышал, как становой, пыхтя и сопя и вместе с тем ругаясь, прошел по мосту, поддерживаемый сотским.

— Ну, с богом! Трогай!

Тарантас въехал на мост, и в ту же минуту мост заскрипел, заколыхался, застонал... Послышалось фырканье лошадей, крики сотского: «Правей! левей!», понуканья ямщика, ругань стоявшего на берегу станового, и, наконец, осыпав спрятавшихся землей, соломой и навозом, тарантас проехал мост и, выбравшись на дорогу, остановился.

— Благополучно-с! — доложил сотский становому и поспешил подсадить его в тарантас...— Трогай!

И тарантас загремел, покатившись по гладкой, укатанной дороге, а Асклипиодот с Знаменским, осыпанные сором и мусором, вышли из-под моста и направились к Рычам.

XXI

Между тем отец Иван, проводив станового, заглянул было в комнату Асклипиодота, но, увидав, что комната была пуста, а постель не тронута, воротился в кабинет, приказал постлать себе постель и лег спать. Сына отец Иван не видал со вчерашнего дня, а именно, с той минуты, когда тот бросился ему в ноги и просил «выручить». Читателю известно уже, что просьбы эти не особенно тронули отца Ивана. И действительно, мольбы сына не разжалобили его, а только раздражили, и, не будь он в душе добрым и любящим, он, под влиянием раздражения этого, не задумался бы даже проклясть сына. Но отец Иван только накричал, нашумел и прогнал сына с глаз долой. Однако по мере того, как дело принимало все более и более серьезный оборот, когда в руках его имелась повестка, вызывавшая Асклипиодота в суд, отец Иван невольно вспомнил эти слезы, и сердце его снова начало болезненно ныть и сжиматься. Ему стало жаль сына, хотя он и чувствовал, что если бы сын этот подвернулся ему теперь, в настоящую минуту, то он опять бы нашумел и накричал на него. Тем не менее необходимость ехать в Москву и как можно скорее повидаться с Скворцовым представлялась отцу Ивану все яснее и яснее, и он наконец порешил, что завтра же утром отправится в путь.

Нечего говорить, что ночь провел он не особенно спокойно и, проснувшись, тотчас же поспешил заглянуть в комнату Асклипиодота, но комната по-прежнему была пуста. «Уж не случилось ли чего с ним!» — подумал отец Иван

и пошел разыскивать Асклипиодота. Он осмотрел конюшню, сеновал, погребицу; побывал в баньке, помещавшейся на огороде, думая где-нибудь найти Асклипиодота. Но Асклипиодота нигде не оказалось, и отец Иван струсил не на шутку. Бледный и запыхавшийся, прибежал он в кухню и, увидав там старуху няньку, крикнул:

— Да где же Асклипиодот?

— А я почем знаю! — проговорила старуха, все еще сердившаяся на отца Ивана за его грубое обхождение с сыном.— Я уж и сама искала его повсюду, да нет нигде...

— К дьякону, к дьячку ходила?

— Нет, не ходила.

— А к лавочнику, к фельдшеру?

— И у них не была. Вечор ходила, а нынче нет. Еще бы не убежать! От этакого страха и крика на край света убежишь!

Отец Иван, не дослушав ворчанья старухи, бросился вон из кухни и отправился на село разыскивать сына. Он побывал у дьякона, у дьячка, у лавочника, обошел трактиры, заглянул к фельдшеру, но Асклипиодот словно в воду канул. Наконец уже, зайдя к Знаменскому, он получил кое-какие сведения о сыне. Знаменский рассказал ему свою встречу с Асклипиодотом на мосту, и отец Иван немного успокоился.

— Куда же он после-то отправился? — спросил он.

— А уж этого не знаю,— ответил Знаменский,— он проводил меня вплоть до училища, я пошел домой, а он...

— А он? — перебил его отец Иван.

— А он — по направлению к вашему дому.

Отец Иван возвратился домой, снова заглянул в кухню, обошел двор и, не найдя нигде Асклипиодота, приказал кучеру запрягать лошадей.

Наконец часов в двенадцать дня возвратился и Асклипиодот. Он вошел через заднее крыльцо и, встретившись в сенях с старухой нянькой, спросил ее:

— Ну, что отец?

Старуха даже вскрикнула от радости, увидав свое детище.

— Слава тебе господи, слава тебе царица небесная... Где это ты пропадал, батюшка... с ног мы сбились, искамши тебя...

— Что отец? — повторил Асклипиодот.

— И отец все то же... все село обегал сегодня, все мышиные норки осмотрел...

— А теперь он какой?

— А теперь его дома нет...

— Где же он?

— А в Москву уехал.

Асклипиодот даже вздрогнул.

— Как в Москву?

— Так, в Москву.

— Он сам тебе сказал это?

— Сам.

— Зачем?

— А уж этого, батюшка, не знаю, а слышала только вечор, что становой советовал ему скорее в Москву ехать. «Поспеши, говорит, не мешкай, коли хочешь дело замять!» А уж какое дело... не знаю, батюшка...

Асклипиодот обнял старуху, расцеловал ее и бросился в свою комнату. Он, достав лист почтовой бумаги, сел за стол и написал следующую записку: «Милая Меля! Дела мои приняли благоприятный оборот. Отец уехал в Москву и, судя по нескольким словам, подслушанным нянькой во время разговора отца со становым, поехал с целью замять какое-то дело... Так как в Москве у отца не может быть иных дел, кроме моего, то и выходит, что он поехал именно по моему. Теперь меня беспокоит вчерашний случай... Я ужасно боюсь, не узнали ли нас? уведомь, пожалуйста, чем все это кончилось. Я так бежал, что теперь даже вспомнить смешно! А на мосту, вообрази, встречаю Знаменского... Дуралей этот шатался всю ночь по камышам, жаждая увидеть крокодила!.. Ну, да черт с ним! Если возможно, приходи сегодня в Рычи, хоть на почту например, а я постараюсь с тобою встретиться... Приходи, пожалуйста!»

Вложив письмо это в конверт и тщательно запечатав, он бросился в кухню.

— Няня! — крикнул он,— как бы письмо это переслать барышне грачевской?..

— Отчего же не переслать? Можно! Послать батрака, и конец делу... Теперь мы хозяева в доме-то, что хотим, то и делаем!.. Наша власть!..

— Так пошли его скорее.

— Ты, батюшка, покушать не хочешь ли?

— Ты прежде письмо отправь! Да строго-настрого закажи, чтобы передал его самой барышне, Мелитине Петровне, в собственные руки... Ну, ступай, ступай.

И, повернув старуху за плечи, он чуть не вытолкнул ее из кухни.

Немного погодя Асклипиодот сидел уже за столом и с жадностью пожирал приготовленный для него обед, а старуха нянька сидела рядом с ним и любовно, с улыбкой заглядывала ему в лицо, причитывая нараспев:

— Кушай, батюшка, кушай!.. Кушай, родименький мой, ласковый!.. Уж и поплакала я за эти дни-то... Кушай, батюшка, кушай!..

Но Асклипиодот вряд ли обращал внимание на причитания старухи. Он был слишком счастлив. Открытое лицо его, опушенное маленькой бородкой и окаймленное рассыпавшимися кудрями, дышало довольством. Он съел тарелку жирного борща, съел студня с хреном, добрый кусок жареной баранины с зелеными, свежими огурцами, выпил кружки две холодного, прямо со льда принесенного, квасу и, расцеловав старуху за хлеб за соль, пошел спать в свою комнату.

XXII

В то же самое утро, только что Анфиса Ивановна проснулась, как в спальню к ней вошла Домна и объявила, что ночью что-то приходило в сад и что садовник Брагин, не желая более жить в таком страшном месте, просит сегодня же расчесть его. Анфиса Ивановна, только что было успокоившаяся, даже обмерла со страха и не заметила, как псалтырь вывалился у нее из рук. Домну била лихорадка. Позвали Брагина. Он вошел в комнату мрачный и нахмуренный, а более всего перепуганный.

— Что такое еще случилось? — чуть не со слезами спросила Анфиса Ивановна.

— Я и сам не знаю, что! — проговорил Брагин.— Но только оставаться у вас я более не могу. Я таких страхов никогда не видывал.

— Да что такое? — говори ради бога.

— А вот что. Должно быть, этак часу в первом ночи, вышел я из своей сторожки, и послышалось, как будто что-то шумит в кустах сирени. Я стою и слушаю... Шум раздавался, и вместе с тем слышался как будто какой-то шепот, словно как кто шипел, и треск сухих сучьев. Я подумал себе: беспременно крестьянские ребятишки пришли малину воровать либо смородину; дай, думаю, изловлю хоть одного. Воротился в сторожку, обул валенки, взял дубинку и пошел.

Около сирени остановился, слушаю, все тихо, ничего не слыхать. А ночь была темная, хоть глаз выколи. Я пошел по дорожке к малине, как вдруг направо от меня что-то блеснуло. Я остановился, смотрю, а напротив меня, в кустах-то, два огненных глаза, да прямо так на меня и смотрят... Я так и присел, да как крикну караул... и в ту же секунду глаза потухли, и по кустам пошел такой треск и шум, что я отродясь такого не слыхивал.

— Крокодил! — в один голос вскрикнули старухи.

— Так ты его видал? — спросила Анфиса Ивановна.

— Я только видал два огненных глаза.

— А когда ты закричал караул, ты видел, как он бросился?

— Я вам говорю, что ночь была темная, а шум я слышал, а потом, немного погодя, я слышал, как затрещал плетень, как будто кто-нибудь через него перепрыгнул... На крик мой прибежал Карп с колотушкой. Я рассказал ему, как было дело, но только что отошли мы с ним от этого места, как в акациях опять послышался треск... Тут уж мы давай бог ноги и прямо в людскую.

— Это непременно крокодилы, и непременно самка с самцом! — проговорила Анфиса Ивановна.— Кажется, Знаменский говорил мне, что об эту пору они кладут яйца... Ты не смотрел, яиц там не было?

— Утром мы все туда ходили, но ничего не нашли.

— И никаких следов не заметно?

— Какие же могут быть следы... Трава, точно, была помята, а следов никаких... А вот плетень, точно, погнут, и как раз на том самом месте, откуда раздался треск. Воля ваша, Анфиса Ивановна, а вы меня разочтите, я у вас не останусь.

Анфиса Ивановна чуть не со слезами на глазах принялась упрашивать Брагина не покидать ее, объяснила ему, что только на него одного и надежда, так как он человек военный, доказавший на службе свою храбрость, и дело кончилось тем, что Брагин расчувствовался и решился остаться, с тем, однако, непременным условием, что спать он будет не в садовой сторожке, а в людской, вместе с другими.

Как только Анфиса Ивановна оделась, так в ту же минуту, не помолившись богу, отправилась рассказать о случившемся племяннице, но комната ее была заперта, и Мелитина Петровна спала самым безмятежным сном.

В это самое время к экономке Дарье Федоровне, сидевшей в своей комнате, вошел Иван Максимович и, помолившись на образа, перед которыми теплилась лампадка, присел на сундук.

— Насчет говяжьих делов пришел справиться,— проговорил он.— Корову зарезал ухорскую — оторви хвост! Сорок — пятнадцать дал.

— Уж не знаю, нужна ли говядина-то! — сказала экономка.

— Кухарка говорила, что вся похарчилась.

— Коли похарчилась, так, значит, вези.

— Насчет задку, а то, может, и передочка ничего?

— Нет, заднюю часть, самую лучшую.

— Говядина и толковать нечего — первый сорт, из Петербурга, с овцу... Постом, и то не грех есть... Ну, а насчет крокодилов-то, как дела идут?

Дарья Федоровна махнула рукой и рассказала все случившееся ночью.

— Вот где греха-то куча! — проговорил Иван Максимович, заливаясь смехом.— Вот так с волком двадцать!..

— А у батюшки-то, отца Ивана,— начал он немного погодя,— вчера насчет полицейского занимались, сам становой на ухорской тройке приезжал!..

— Что еще случилось?

— Насчет, вишь, петербургского-то! Скорпион, что ли, он прозывается, сын-то его...

— Ну?

— Письмоводитель рассказывал. Вишь, парень-то в Москве с приятелем жил на одной квартире... ну, и занялся по слесарному мастерству, насчет, значит, замочных делов, да и того... на чугунку и марш!.. Приятель-то спохватился, а денег-то нема.

— Неужто украл? — спросила Дарья Федоровна.

— Украсть, значит, не украл, а так, выходит, по-приятельски, по карманной части занялся, а чтобы там в Москве не получить насчет шейного или затылочного, он сюда тягу... А из Москвы-то по почтовому отделению бумагу с овцу прислали, читали, вишь, всю ночь, и то до конца не дочитали... а как только рассветало, уж отец Иван в Москву, да денег с собой, вишь, с волком двадцать взял. Вот где греха-то куча!.. Насчет, значит, тушения поехал хлопотать, чтобы ухорский-то по острожному департаменту не угодил...

XXIII

Возвратясь с Рычи, Иван Максимович зашел в лавку Александра Васильевича Соколова и передал все слышанное им от Дарьи Федоровны. Не прошло часа времени, как в Рычах всем уже было известно, что в саду Анфисы Ивановны прошлою ночью садовник Брагин видел двух крокодилов, самца и самку, собиравшихся класть яйца. Весть эта дошла и до г. Знаменского, успевшего уже кое-что прочесть из полученных от Вольфа книг, и хотя относительно ловли крокодилов он ничего подходящего к делу не почерпнул, но тем не менее, обдумав серьезно предпринятое им, он составил довольно подробный план действий, каковым и порешил руководствоваться. Он убедился, что способы, до сего времени употреблявшиеся им для поимки крокодила, не достигали цели и потому оказались неприменимыми. Мужики, которых он обыкновенно приглашал, под конец напивались всегда до того, что теряли всякое сознание и забывали не только про крокодила, но даже не понимали, что именно творилось с ними самими!.. Следовательно, чтобы достигнуть цели, необходимо было придумать что-нибудь другое: подыскать людей, которые относились бы к делу с подобающею серьезностью и которые не напивались бы до положения риз. Только тогда, при такой обстановке, можно будет ожидать благоприятных результатов.

Как только г. Знаменский додумался до этого, так в ту же минуту вспомнил недавно прочтенную им в «Сыне отечества» статью об ученых обществах Германии, Англии и Франции. Он вспомнил, что нечто подобное происходило на съездах немецких естествоиспытателей; что ежегодные съезды эти стали все более и более принимать характер увеселительных собраний, так что специальная цель, в сравнении с празднествами, играла лишь незначительную роль. Поэтому сделалось необходимым устроить отдельные частные съезды, посвященные какой-нибудь отдельной отрасли естествознания, и пригласить к этому делу людей серьезных и любящих науку. Каких результатов достигло этим общество естествоиспытателей, ясно доказывает происходивший в университетском городе Иене, под председательством профессора Цителли, из Мюнхена, съезд немецких антропологов и геологов. Ни Вирхов из Берлина, ни Декен и Шафгаузен из Бонна, ни Фрас и Хельдер из Штутгарта, ни Кольман и Иоганнес Ранке из

Мюнхена, никто из них на съезде этом не помышлял об увеселениях, а напротив, со всею энергией преследовали предпринятую ими на себя задачу. Итак, ясно, что следует воспользоваться примером немецких ученых, образовать общество с известною целию и выбрать членами этого общества людей более или менее благоразумных.

Разобрав и обдумав эту мысль, г. Знаменский отправился осуществлять ее в лавку Александра Васильевича Соколова. На счастье г. Знаменского, вся интеллигенция села Рычей как раз была в то время в лавке и беседовала о появившихся в саду Столбиковой крокодилах. Тут был и фельдшер Нирьют, и известный капиталист Кузьма Васильевич Чурносов, Иван Максимович, ветеринар Капитон Афанасьевич, дьякон Космолинский, словом — все, которые с некоторым успехом могли бы в предполагаемом обществе если не олицетворить, то по крайней мере принять на себя вид Вирховых, Шафгаузенов, Кольманов и других.

Поздоровавшись со всеми, г. Знаменский объяснил цель своего прихода. Ясно и толково изложил он, что дело о крокодилах оставлять в таком положении, в каком находится оно в данную минуту, невозможно, что если оставить его без исследования, то результатом этой бездеятельности, очень вероятно, будет то, что крокодилы положат яйца и в скором будущем заполнят не только данную местность, но, чего доброго, всю Россию и обратят страну эту в нечто похожее на Египет. Он удачно рассказал при этом те ужасы, которыми наполняют крокодилы вообще всю Африку; вспомнил рассказ Стенли[28], как, при переправе через реку Малагарази, крокодил схватил за горло осла, и, как ни билось несчастное животное и как ни старались вытащить его за веревку, привязанную к шее, осел был увлечен и скрылся под водой. Передал, как на озере Мутигева тот же Стенли видел, как верховье озера, от западного до восточного берега, кишело крокодилами, и что и озеро Рувизи тоже наполнено ими; прибавил, что многое о крокодилах он мог бы рассказать им из разных путешествий, но что исполнит это когда-нибудь после... Все слушали с жадностью рассказы г. Знаменского, но составить из среды своей общество — видимо робели, предполагая, что общество это может не понравиться начальству. Иван же Максимович прямо высказал свое опасение, как бы за все это не досталось насчет шейного и затылочного. В том же смысле высказался и Александр Васильевич Соколов, но

боялся он не насчет шейного, а насчет целости лавки. Капиталист Кузьма Васильевич Чурносов, услыхав про общество, надулся, как мышь на крупу, и в ту же минуту ухватился за карман. Г. Знаменский выходил из себя, доказывая, что общество их — не «Общество червонных валетов»[29], что правительство не только не преследует обществ с благотворительными целями, но, напротив, поощраяет их; привел им несколько примеров того и в конце концов указал им на Пензенскую губернию, где губернатор поощрял «Общество трезвости»... Но ни губернатор, ни другие примеры не действовали. Пришлось послать за водкой!.. Из лавки перебрались в теплушку. Принесли водку, Александр Васильевич накрошил колбасы, почему-то завалявшейся года три, и беседа пошла. Водка подействовала, и к вечеру, хотя и с некоторыми отступлениями от правил «Общества антропологов», тем не менее общество, к великому удовольствию г. Знаменского, сформировалось. Все нашли меру эту необходимою, все сознали, что крокодилов так оставлять невозможно и что начальство, пожалуй, спасибо не скажет, узнав, что не было принято своевременно никаких мер к искоренению бедствия в самом его зародыше. Один только Иван Максимович, не пивший водки, все толковал насчет затылочного и наотрез отказался от участия в обществе. Г. Знаменский скромно отказывался от звания председателя, предложил выбрать в эту должность фельдшера Нирьюта, как человека все-таки знакомого с естественными науками. Нирьют был единогласно выбран. Затем приняты членами: Чурносов, Соколов, Капитон Афанасьевич и другие, в секретари же г. Знаменский предложил дьякона, пишущего почти без грамматических ошибок.

Прослышав, что в лавке Соколова устраивается какое-то общество и что поят водкой, народ начал подваливать и предлагать себя в члены. Явился портной Филарет Семенович, пьяный, без шапки и весь в крови; прокричал ура и предложил себя в члены, но его тут же выгнали вон. Подъехал торговец красными товарами, Гусев, с пономарем села Рычей, которые в ту же минуту и были выбраны в члены. Словом, к вечеру общество насчитывало у себя более тридцати членов. Г. Знаменский торжествовал. Общество составилось, оставалось только дать этому обществу название. Учредитель и почетный председатель г. Знаменский предложил назвать его «Обществом ревнителей пополнения естест-

венной истории вообще и поимки грачевских крокодилов в особенности». Название это было принято единогласно при восторженных криках, и все принялись за качание учредителя, председателя и членов. Председатель Нирьют предложил выпить за процветание и успех общества. Предложение было принято с восторгом. Торжество началось и, вероятно, продолжалось бы до следующего дня, если бы член Соколов не оттаскал за волосы приехавшего с Гусевым пономаря. Драка эта немного освежила общество; принялись разнимать дравшихся, и, когда благоприятные результаты были достигнуты, все порешили, что на первый раз довольно, и разошлись по домам.

XXIV

Отец Иван, или, как звали его, «поп Иван», принадлежал к числу самых обыкновенных попов. Это был мужик (именно мужик) средних лет, плотный, коренастый, с круглым, всегда засаленным, животом, поверх которого носил шитый шерстями широкий пояс, и с лицом, почти сплошь заросшим волосами. Только один нос, совершенно русский, то есть круглый, как картофель, узенький лоб да самая незначительная часть скул были свободны от волос. Узенькие глазки его, которые, сверх того, он имел еще привычку прищуривать, тоже были опущены длинными ресницами и накрыты широкими дугообразными бровями; тем не менее глазки эти горели, как угольки, и, постоянно мелькая и перебегая с одного предмета на другой, словно боялись, как бы не упустить чего-либо из вида. Священствовал отец Иван лет тридцать, и все в одном и том же селе Рычах; слыл, и в самом деле был, умным мужиком и благодаря этому природному уму (несколько извращенному пребыванием в бурсе, а затем складом жизни) постоянно был благочинным и благочиние свое держал в «субординации». Так как «субординация» эта не только была любимейшим его выражением, но даже идеей, руководившей всею его служебною деятельностью, то ничего нет удивительного, что в глазах епархиального начальства, тоже склонного к «субординации», отец Иван слыл всегда примерным благочинным, получал награды и в описываемое время имел уже набедренник, камилавку и какой-то крестик. Ладить отец Иван умел со всеми. Ладил он с архиереем,

с консисториею, с исправниками, становыми, с попами и с прихожанами. Нрава был самого веселого; любил при случае выпить, «сразиться в картишки», побалагурить, приврать и в обхождении как со светскими людьми, так и с духовенством (которое, шутя, он называл иисусовой пехотой) был необыкновенно прост. Не наговорится, не нарадуется, бывало, встретившись с кем-либо из знакомых, растопырит руки, растянет рот в самую приятнейшую улыбку, расспросит про домашних, про овечек, про коровок, все ли в доме благополучно и все ли «здравствуют»; расскажет два-три смешных анекдота, угостит на славу и, только проделав все это, отпустит с «миром». Простота эта нисколько, однако, не мешала ему обделывать свои делишки. Набуфонит, наговорит в три короба, а уж в кармане побывает у каждого! Дело в том только, что простота эта, доходившая до смешного, как-то мирила всех с шельмоватостью отца Ивана. Поругают, покричат, бывало, а потом и расхохочутся!.. А там, где смех, понятно, нет ни гнева, ни злобы. Его и бранили и вместе с тем любили. Доказательством того, что отец Иван был действительно любим, служит то, что он оставался благочинным даже и в то время, когда благочинные стали назначаться не консисториями, а по выбору самого духовенства. Правда, на первых порах выбрали было какого-то молодого попика, с воротничками и запонками; правда, что молодой попик этот взяток не брал, но зато такую наделал кутерьму, что чуть было все свое благочиние не подвел под суд! Уж отец Иван, спасибо, выручил, распутав всю путаницу молодого благочинного. С тех пор и начали опять выбирать отца Ивана. «Тот хоть и карман вывернет, да дело сделает!» И действительно, обделывать дела отец Иван был великий мастер! Кому кредитными свезет, кому кадушечку маслица, кому гусей племенных подарит, кому медком сотовым поклонится, а иного — так просто шуточкой обойдет! Шуточки выручали его иной раз не хуже денег. Раз как-то один священник его благочиния, рассердившись за что-то на своих прихожан, принялся швырять в них из алтаря просфорами. На грех, в село это приехал архиерей и как-то узнал про эту выходку сердитого попа. Гневу архиерейскому не было конца! Владыка расшумелся, растопался, приказал немедленно же произвести следствие, грозил попу «красной шапкой»[30], а в конце концов накинулся на отца Ивана, не донесшего ему о таковом происшествии. Отец Иван молчал, слушал и наконец обратился к владыке. «Ваше преосвященст-

во! — проговорил он смиренно и сложив на груди руки.— Ваше преосвященство! дозвольте слово сказать!» — «Ну, говори!» — «Ваше преосвященство! чем же больше бросать-то? Ведь в алтаре вещи все освященные, а просфоры-то освящены еще не были, только от просвирни принесли их». Архиерей расхохотался, махнул рукой, и дело тем и кончилось!

Хозяин отец Иван был примерный. Он не только сам за всем присматривал, но даже и сам работал. Хлопотун был превеликий. Он и обедни служил торопливо потому только, что ему все как-то некогда было!.. И действительно, благодаря этой неутомимости дом отца Ивана представлял из себя полную чашу. В его конюшне стояло всегда два-три жеребца собственного завода, по двору кудахтали превосходные брамапутровские куры, на пруду в огороде плавали породистые гуси и утки; овцы его отличались нежностию и обилием шерсти, коровы молоком, и все такие были красивые — рыжие, на коротких ногах, с выкатившимися черными глазами, что любо было посмотреть на них. И все это отец Иван развел шутя, без малейших расходов. Маток своих он случал с казенными жеребцами, выбирал жеребцов рысистых и приплод продавал за дорогую цену. Кур развел незаметно от соседа помещика...

— Ах! — вскрикнул он, заехав к помещику,— курочки-то у вас отменные! Откуда добыли?

— Из Москвы привез, с выставки.

— А дороги?

— Не дешевы! За петуха двадцать пять дал, а за кур по десяти...

— Рублей? — испугался отец Иван.

— Конечно, не копеек...

— Э, хе, хе, хе!..

И кончилось тем, что отец Иван выпросил себе несколько яичек, бережно уложил их в вату, бережно привез домой и, подложив яйца под простую наседку, получил в конце концов превосходных цыплят.

Таким образом развел он гусей, уток, индеек, цесарок и почти таким же овец и коров.

— Нет, други мои,— говорил он,— с благочиния да с прихода-то не очень разживешься. Приходится за хозяйство приниматься да скотинку разводить!..

В особенности же отец Иван был страстным охотником

до лошадей. Лошади у него выходили на славу, и потому маленький заводец его был известен не только в околотке, но и во всей губернии. Когда наступала пора жеребления маток, отец Иван бросал все и даже ночевал у них в денниках. Знаток в лошадях он был великий и, словно цыган, с одного взгляда замечал все пороки и качества лошади. Лошадей своих он всегда выезжал сам и дела этого отнюдь никому не доверял. Заложит, бывало, беговые дрожки, наденет на себя какую-то куртку, косу запрячет за воротник, голову прикроет рваной шляпенкой и марш на выгон! А выгон в Рычах был громадный, глазом не окинешь, ровный, гладкий, дорога — словно утрамбованная, и так-то, бывало, «отжарит» отец Иван по этому выгону, что только пыль столбом. Все наездники хвалили его езду и говорили, что у отца Ивана замечательно «мягкая вожжа»! Таких лошадей, то есть рысистых, отец Иван даже сам подковывал. Сделает, бывало, подкову, отшлифует ее, прикинет на весы, чтобы одна подкова не была тяжелее другой, и тогда уже подкует лошадь, и не в станке, а просто на руках, в стойле.

Водились у отца Ивана и деньги. Но и деньги не лежали у него непроизводительно, а клал он их в банк и получал на них проценты. Как только, бывало, накопит рублей сто, так запряжет тележечку и в город.

— Что, аль в банк деньги тащишь? — спрашивали, бывало, скалозубы.— Тащи больше! Там денежки нужны... Живой рукой расхватают! Только подавай!

Но отец Иван даже и внимания не обращал на этих, как он выражался, мякинников и только, бывало, презрительно окинет их с ног до головы холодным взглядом.

XXV

Он был вдовец. После смерти жены у него на руках остались дочь и сын. Дочери было шестнадцать лет, а сыну девять. Похоронив жену, отец Иван испугался было своего положения, думал, что весь дом пойдет вверх дном, однако вышло не так. Благоразумная дочка Серафима принялась так усердно за хозяйство и так ловко и умело повела дело, что отец Иван не мог нарадоваться достаточно, глядя на дочь. Осенью он свез сына в уездный город, определил в духовное училище и, поместив его на хлебы к знакомому дьякону, возвратился

домой. Мальчик имел хорошие способности, пошел отлично, и отец Иван успокоился окончательно.

Прошло два года. Встретилась надобность поновить в церкви стенную живопись. Отец Иван отправился в губернский город разыскивать живописца. Ему отрекомендовали Жданова, молодого человека, только что кончившего курс в московской школе живописи. Отец Иван съездил к нему, рассказал, что именно требовалось, и, сторговавшись, возвратился домой. Недели через две живописец приехал с двумя подмастерьями и остановился в доме священника. Вскоре пустая церковь наполнилась громом уставляемых подмостков и стуком молотков; когда же все было готово и когда по зыбким подмосткам можно было взобраться под самый купол, Жданов нарядился в блузу и с кистями и красками полез наверх. Работа шла успешно и к концу лета должна была окончиться.

Однажды Жданов, желая попытать свои силы в портретной живописи, задумал сделать портрет Серафимы. Она согласилась... Жданов принялся за работу и, работая, не на шутку стал заглядываться на серьезное и миловидное лицо девушки. Отец Иван как-то на время уехал, и когда он возвратился и увидал совершенно уже оконченный портрет, то даже развел руками.

— Ну, брат, молодец ты! — проговорил он.— Я думал, что ты одних только угодников малевать умеешь, а заместо того ты и девок тоже... молодец, молодец!..

— Хорошо?

— Еще бы, лучше, чем настоящая!..

— Так давайте меняться. Я вам копию дам, а вы мне оригинал.

Отец Иван этого не ожидал. Ему сейчас же пришло в голову домашнее хозяйство: кухня, горшки, доение коров, скопы масла, словом — все то, чем так примерно заведовала Серафима, и отец Иван заартачился и наотрез отказал Жданову. Молодежь, успевшая по уши влюбиться друг в друга, опечалилась. Жданов начал лениться, а Серафима хандрить и немного погодя слегла в постель. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в дело не вмешалась старуха нянька.

— Ты что это, с ума, что ли, спятил? — проговорила она однажды с глазу на глаз отцу Ивану.— Ты что это, девку-то впрок, что ли, бережешь?.. Солить, что ли, собираешься?

— А домом-то кто заправлять будет? Забыла это? — крикнул отец Иван.

— Смотри!.. Девка на возрасте — от греха на вершок!.. Не таковский это товар, чтобы его впрок-от беречь!

Отец Иван задумался. Продумал день, продумал два и наконец порешил отдать Серафиму за Жданова.

— Только смотри, вперед говорю, что приданого за ней, окромя тряпья, нет ничего... После чтобы не обижаться!

Но так как Жданов искал не приданого, а жену, то согласие и не замедлило последовать.

В тот день, когда в Рычах праздновалось обновление храма, сыграли и свадьбу Серафимы с Ждановым. Посаженой матерью была, конечно, Анфиса Ивановна, и свадебная гульба шла недели две, так что отец Иван совершенно очумел за это время.

Прошел еще год. У Серафимы родился сын, который привел, конечно, в восторг не только родителей, но даже и дедушку. Все они порешили, что такого крепкого, красивого и умного ребенка никогда и ни у кого еще не бывало, а когда отец Иван, крестивший ребенка, дал на зубок только один червонец, то Серафима даже обиделась; целый день не говорила с отцом, а прощаясь, не вытерпела и высказала отцу, что за такого ребенка не грех бы подарить что-нибудь посущественнее червонца. Через год после того Серафима родила дочь. Дочь тоже оказалась прелестною, но уже далеко не тем, чем был первенец. Третьего ребенка отец Иван даже крестить не поехал, а крестил заочно, ибо в самое это время у него начали жеребиться матки; когда же, по истечении года, Серафима сообщила отцу, что бог дал ей двойню, то отец Иван рассердился даже.

— С ума ты сошла, матушка,— говорил он, приехав к дочери,— разве так возможно!

На этот раз даже родители и те чувствовали себя неловко, а Серафима, сверх того, расплакалась и опять намекнула отцу, что не худо бы было помочь дочери и внучатам.

XXVI

Между тем Асклипиодот кончил курс в училище и за отличные успехи и поведение был награжден похвальным листом. Лист этот отец Иван вставил в рамочку и, полный

детской радости (отец радовался больше сына!), повесил лист на стенку своего кабинета, а осенью отвез сына в семинарию, поместив его на хлебы к Жданову. В семинарии, однако, Асклипиодот пошел хуже, начал лениться и отметки получал незавидные.

— Ты что же это? — спрашивал его отец.

Сначала Асклипиодот отмалчивался, затем стал объяснять неудовлетворительность отметок болезнью, а потом прямо уже стал говорить отцу, что учиться ему надоело, что предметы, проходимые в семинарии, нисколько его не интересуют, что преподавание идет вяло, скучно, что преподаватели плохие педагоги, и наговорил столько, что отец Иван даже в изумление пришел и не хотел верить ушам своим.

— А как же мы-то учились! — говорил он.— Как же мы-то те же самые предметы не находили скучными! ты, видно, забыл, что корни ученья горьки, но плоды его сладки.

Но Асклипиодот не ответил ни слова и в продолжение всех летних каникул все-таки ни разу не брал в руки учебников. Отец Иван рассердился на сына, перестал с ним говорить, а когда кончились каникулы, даже не поехал с ним в город, а отправил с работником.

Однако осенью отец Иван получил от Жданова письмо, в котором тот уведомлял его, что Асклипиодот ведет себя из рук вон дурно и что не худо бы ему самому приехать в город и повлиять на сына. Делать было нечего, и отцу Ивану пришлось ехать в город, хотя по-настоящему, вследствие наступивших холодов, следовало бы заняться уборкой пчел в закуту. Приехав в город, отец Иван поспешил с поклонами к семинарскому начальству, но начальство это завалило его жалобами на Асклипиодота. Один жаловался на его заносчивость, другой на насмешки, третий на невнимательность, четвертый на леность, а отец ректор прямо объявил отцу Ивану, что если Асклипиодот не исправится, то он доложит о нем владыке и исключит из семинарии. Отец Иван снова напустился на Асклипиодота, а Асклипиодот, вместо раскаяния, опять-таки стал говорить, что семинария ему надоела, а профессора — люди, не заслуживающие уважения. Он рассказал отцу, как профессора эти держат себя в классе, как ведут дело преподавания, как нелепыми и мелочными придирками отбивают всякую охоту заниматься, как унижают и даже оскорбляют своих слушателей,— взяточничают, подличают, интригуют друг против друга; а за-

тем, перейдя к преподаваемым предметам, принялся утверждать, что предметы эти могут только сделать человека тупым, а нисколько не развить его природные способности. Выслушав все это, отец Иван пришел в такое смущение, что даже не нашелся, что именно ответить сыну. Он только мог сказать, что все это не дело ученика, что разбирать годность и негодность профессоров подлежит начальству, а обязанность ученика учиться, а не рассуждать.

Жаловался также и Жданов на Асклипиодота.

— Помилуйте, терпенья нет! — говорил он.— Две иконы писал я, великомученицу Екатерину и Андрея Первозванного. Иконы были совсем готовы, как вдруг, во время моего отсутствия, он забрался в мою мастерскую и что же сделал? Великомученице Екатерине усы подрисовал, а на Андрея Первозванного, который рисуется всегда лысым, надел шапку какую-то!.. Краски засохли, и мне пришлось сызнова писать иконы!

Была недовольна и Серафима пребыванием в ее доме Асклипиодота.

— Положим, что он брат мне родной, но ведь вы, батюшка, так мало даете на содержание, что нам, наконец, обидно становится, у нас своя семья есть...

Однако кое-как отец Иван уломал дело; всех умаслил, всех упросил, перед некоторыми поподличал, иных задобрил; кое-как упросил сына выбросить из головы дурь и приняться за дело и, покончив все это, поехал домой убирать пчел.

Месяца три прошло благополучно, но только что наступило время ягнения овец, как отцу Ивану опять пришлось скакать в город; на этот раз Жданов писал, что Асклипиодот положительно отбивается от рук, делает дерзости и ему и Серафиме и что ввиду этого он решительно отказывается держать его у себя в доме. Делать было нечего. Отец Иван призвал работника, строго-настрого приказал ночевать в овечьем хлеву, объягнившихся овец вместе с ягнятами переносить в теплую избу, беречь тех и других «пуще своего глаза», а сам отправился в город.

— Что это ты делаешь со мной! — кричал он на сына. — Намедни, по твоей милости, две колоды пчел пропало, а теперь того и гляди всех ягнят поморозят...

Серафима же встретила отца следующими словами:

— Теперь как будет вам угодно, а держать у себя в доме

такого разбойника мы не намерены. Куда хотите, туда и девайте!

Отец Иван накинулся на сына, разругал его и, чтобы отнять у него всякую возможность лениться и повесничать, поместил его к одному профессору, отличавшемуся «субординациею» и державшему в руках не только учеников, но даже и самого ректора с преподавателями. Асклипиодот действительно как будто присмирел и к концу года даже перешел в богословский класс.

Когда Асклипиодот приехал в Рычи на каникулы, то отец Иван не знал даже, как приласкать сына.

— Ты ведь у меня — добрый, хороший,— говорил он, обнимая сына,— я знаю это... только вот ветер у тебя в голове ходит... вот что нехорошо! Но ты исправился, и потому не будем поминать старого, а теперь отдыхай и набирайся силами.

Но отдохнуть Асклипиодоту не пришлось.

Отец Иван простудился, слег в постель, и немного погодя с ним открылась злейшая горячка. Когда фельдшер Нирьют сообщил об этом Асклипиодоту, прибавив, что жизнь старика находится в опасности, то Асклипиодота словно громом поразило. В ту же секунду поскакал он в город, привез с собою доктора и необходимых лекарств, а затем — не отходил уже от постели больного отца. Он сидел у его изголовья, не спускал с него глаз, менял компрессы, давал лекарства и следил за каждым малейшим его движением. Стоило, бывало, больному открыть глаза, как Асклипиодот припадал к нему, спрашивал: не нужно ли ему чего-нибудь? Но больной, находившийся в бессознательном состоянии, словно не узнавал сына, и тогда на глазах Асклипиодота навертывались слезы. Целые дни, целые ночи просиживал он у больного, вливал ему в рот лекарства, вливал холодную воду и точно не чувствовал утомления. Мысль, что отец может умереть, приводила его в отчаяние. Асклипиодот послал к сестре нарочного с извещением, что отец умирает, и просил ее приехать; но Серафима сама не приехала, а прислала вместо себя мужа. Однако Жданов оказался плохим помощником Асклипиодоту; даже, напротив, чуть было не испортил все дело лечения. Оказалось, что всякий раз, когда только больной приходил в себя, так Жданов начинал намекать ему о духовном завещании, и что не худо бы было ему самому распорядиться своим состоянием и вспомнить про дочь. Все

это кончилось тем, что Асклипиодот, подслушавший как-то подобный разговор, выгнал Жданова вон из дома, а сестре написал ругательное письмо. Только одна старуха Веденевна была настоящею помощницею Асклипиодоту и, подобно ему, ухаживала за больным. Наконец сильная натура отца Ивана преодолела болезнь; он стал поправляться, и Асклипиодот вздохнул свободнее. К концу каникул отец Иван был уже на ногах и снова принялся за обычные свои занятия.

Наконец пришло время отправлять сына в город. Отец Иван крепко обнял Асклипиодота, прильнул губами к его лбу, и слезы градом полились из глаз его. «Спасибо, брат, спасибо!» — проговорил он.

Он отправил сына с работником, а строгому профессору послал в подарок кадушечку сотового меду, большую банку соленых груздочков и сколько-то денег в конверте. Отец Иван проводил сына за околицу, снова расплакался там, а когда Асклипиодот сел в тарантас и поехал, долго провожал его взором, и только тогда, когда тарантас скрылся из вида, он отправился домой.

XXVII

Проводив сына, отец Иван принялся за молотьбу. Гумно его было заставлено скирдами, и необходимо было торопиться, чтобы за вёдро обмолотить весь этот хлеб. Погода стояла превосходная, молотьба шла дружно, споро, и не прошло двух недель, как весь хлеб был обмолочен, перевеян и ссыпан в амбары. Налетел даже купец какой-то с предложением купить рожь и ячмень, но отец Иван не продал ни зерна.

Пошли дожди, и старик принялся за посев озимого, а отсеявшись, ввиду наступавших конских ярмарок, необходимо было позаботиться о подготовке лошадей. Сверх того, с наступлением осени и дождливой погоды по деревням пошли свадьбы, а одновременно со свадьбами появился дифтерит и скарлатина. Отец Иван с ног сбился. То надо было «Исайя, ликуй» петь, то «со святыми упокой». А там, на конюшне, откормленные кони все станки разбили. Так отец Иван и метался между церковью, кладбищем и конюшней. Идет, например, впереди гроба и «святый боже» поет, а минут через двадцать, глядишь, уж он верхом на дрожках

по выгону лупит! Конь бежит на славу, шея дугой, хвост на отлете, а навстречу наезднику целый эскадрон верховых мужиков и несколько троек с бубенчиками, колокольчиками... Это свадьба! «Батюшка! верни назад!» — кричат поезжане, и отец Иван поворачивает коня, снимает куртку, облачается в парчовую ризу, а немного погодя обводил уже вокруг налоя жениха и невесту и вместе с дьячками пел: «Исайя, ликуй!» И так изо дня в день...

В такую-то именно горячую пору, когда отцу Ивану приходилось чуть не на части разрываться, он опять получил письмо из города, и на этот раз уже не от Жданова, а от того самого профессора, у которого жил Асклипиодот. В письме этом профессор извещал его, что Асклипиодота он выгнал вон, ибо не желает держать «змею» у себя в доме. Отец Иван так и ахнул. Как тут быть?! С одной стороны свадьбы, с другой — конская ярмарка, а с третьей — выгнанный сын. Однако на этот раз отец Иван думал недолго. Он пригласил к себе какого-то заштатного священника, поручил ему исполнение всех треб, а сам поскакал в город. В городе он узнал, что причиною изгнания Асклипиодота была молоденькая жена профессора, по имени Валентина Петровна. Валентина Петровна до того увлеклась молодым богословом, что всякий раз, как только старого мужа не было дома, являлась в комнату Асклипиодота и просиживала с ним по целым часам. Это было замечено профессором, и вот однажды, поймав жену на месте преступления, он выгнал вон любовника. Известие это так ошеломило отца Ивана, что он окончательно растерялся и не знал, что ему делать. Спасибо, Жданов надоумил его, посоветовав нанять для Асклипиодота квартиру. Так отец Иван и сделал. У какой-то старой дьячихи он снял одну комнату и поместил в ней Асклипиодота.

— Ну, брат,— ворчал отец Иван, собираясь домой,— не сносить тебе своей головы!

А Асклипиодот тем временем обнимал отца и говорил ему:

— Ну, простите, не сердитесь, батюшка!.. Будьте снисходительны! вспомните свою молодость; доживу до ваших лет, тоже смирным сделаюсь...

Отец Иван промолчал, словно не слышал слов этих, а дорогой действительно припомнил свою молодость и вздохнул о ней с сожалением.

XXVIII

На ярмарку отец Иван приехал в самый разгар. Вся площадь была уставлена лошадьми; на той же площади стал и отец Иван с своими жеребцами. Народу съехалось на ярмарку видимо-невидимо. Тут были и помещики, и купцы, и попы, а уж крестьян набралось столько, что некуда было яблоку упасть. В числе приезжих издалека было два московских барышника. Барышники эти бродили по «конной» и нет-нет подходили к телеге отца Ивана, к которой были привязаны жеребцы. Подойдут и начнут смотреть на коней, а отец Иван сидит себе на телеге, грызет семечки и даже не смотрит на них. Два дня бродили таким образом барышники, наконец на третий заговорили с отцом Иваном:

— Эй ты, отец святой! Ты что это, семечки, что ли, на ярмарку-то приехал грызть али лошадей продавать?

— Одно другому не мешает! — ответил отец Иван, — и семечки не покупные, и лошади свои...

— Своего завода?

— Известно.

— А до́роги?

— Как кому! По мне, дешевле пареной репы.

— Однако ты балагур, я вижу, за словом в карман не полезешь!

— Слова-то, поди, не семечки, не в кармане лежат!

— Это точно!.. Так дороги?

— Восемь!

— Чего восемь-то?

— Известно, «катеринок»!

Барышники только головами покачали и пошли прочь, а отец Иван даже ухом не повел.

Помещики и купцы то и дело подходили к отцу Ивану.

— От казенного? — спрашивали они.

— От казенного.

— От которого?

— От Визапура.

— А мать?

— А мать хреновская, Лебедка четвертая, от Варвары и Услады.

— А другой?

— Другой тоже от Визапура и Казарки.

— А Казарка-то хреновская тоже?

— У меня все матки хреновские, у Голохвастова куплены были, когда завод распродавался.

— Так. От кого же Казарка-то?

— От Важного и Рынды.

— Аттестаты есть?

— Известно. Ныне на слово-то плохо верят.

Немного погодя из-за этих лошадей даже аукцион пошел. Какой-то помещик надавал семьсот рублей, но отец Иван и не слушал ничего! Сидит себе на возу и все семечки грызет. Вечером повел отец Иван лошадей на квартиру, поставил их в конюшне, убрал как следует, корму задал и принялся за чай. Смотрит, входят барышники московские.

— Ну, отец, надумали мы! бери семьсот с полусоткой...

— Не возьму.

— Смотри, не прогадай! Не пришлось бы домой тащить.

— Небось! и сами дойдут.

— Ну, как знаешь...

И действительно, утром отец Иван повел своих коней не на площадь, а домой в село Рычи, но не отъехал он и двух верст, как барышники нагнали его.

— Стой! — крикнули они,— будь по-твоему! бери восемь сотенных, отвязывай лошадей.

Но отец Иван даже не остановился, а только крикнул:

— Теперь цена иная! Теперь меньше тысячи не помирюсь...

Барышники обругали его и вернулись назад.

Однако не прошло и недели, как барышники — к отцу Ивану в Рычи.

— Ну уж и «жох» ты только! — проговорили они.

Выпили водочки, закусили, сели чай пить, а за чаем и дельце покончили. Выложили отцу Ивану десять радужных и взяли с собой лошадей.

Съездил отец Иван в уездный город, положил эту тысячу в общественный банк и вернулся домой. А дома опять ожидало его письмо от Жданова, в котором последний извещал, что Асклипиодот за оскорбление, нанесенное профессору, исключен из семинарии.

Отец Иван только лошадей покормил и тотчас же поехал к Асклипиодоту. «Погубили-таки, погубили!» — раздумывал он и полагал встретить Асклипиодота сконфуженным и убитым. Но на деле вышло совершенно иначе. Сын встретил отца с лицом веселым и счастливым и объявил, что он

поступил уже на службу конторщиком на одну из пригородных станций железной дороги, что ему назначили двадцать пять рублей в месяц жалованья и что в скором времени он надеется получить должность помощника начальника станции. Отцу Ивану не понравилось, что сын остался недоучкой, но Асклипиодот вскоре успокоил отца. «Я и сам знаю,— говорил он вечером, сидя с отцом за самоваром,— что я, так сказать, неуч, но я утешаю себя только мыслью, что если бы я даже и кончил курс, то все-таки не мог бы быть ученым, по той простой причине, что в семинарии ничему не научишься. Ведь вот вы, например,— прибавил он,— ведь вы кончили курс, а что из этого вышло. Все-таки вы не ученый, и все-таки семинария, кроме широких рукавов, вам ничего не дала, и не будь у вас умной головы на плечах, а будь глупая, так она только бы более поглупела от всего того мусора, которым ее нашинковали в семинарии. Противна она мне, тошнит меня от нее, и я очень рад, что избавился от этой тошноты!» А отец Иван сидел и думал: «Что же это значит такое? Со всеми умел справляться, с архиереями, секретарями консисторскими, с исправниками, торгашами, всех, так сказать, в руках держал, делал из них, что хотел, а вот с сыном, с мальчишкой, справиться не сумел!» Однако делать было нечего, и отцу Ивану только и оставалось, что покориться обстоятельствам. Он сшил Асклипиодоту хорошенькую пару, купил белья, ваточное пальто с меховым воротником, дал ему рублей двадцать денег и, расплатившись за квартиру с старухой дьячихой, отправился домой. Мечты отца Ивана видеть Асклипиодота священником села Рычей не сбылись, но старик утешал себя тем, что Асклипиодот, не имея призвания к священству, пожалуй, поступил даже честно, избрав себе иную дорогу. Месяца через два Асклипиодот уведомил отца, что он утвержден в должности помощника начальника станции, что жалованья получает теперь не двадцать пять, а сорок рублей, прислал ему свою фотографическую карточку, в мундире и форменной фуражке, и просил навестить его. Отец Иван был в восторге от первого успеха своего сына, читал его письмо чуть ли не каждому встречному, поставил портрет на свой письменный стол и немедленно же отправился к сыну. Поездка эта утешила его как нельзя больше, ибо он вполне убедился, что сыну его жилось хорошо: у него была уютная, чистенькая квартира, с чистенькой казенною мебелью, с занавесочками на окнах и

с олеографическими картинками на стенах, и квартирка настолько поместительная, что Асклипиодот отвел отцу даже особую комнату, выходившую окнами на платформу станции. Отец Иван справился в конторе и убедился, что Асклипиодот действительно получает по сорока рублей в месяц и, сверх того, имеет даровое отопление и освещение. В то время, когда отец Иван гостил у сына, начальник станции хворал, и потому исправление должности его было поручено Асклипиодоту. Не без гордости смотрел отец на распоряжения сына и внутренне утешался, что распоряжения его были аккуратны, разумны и быстры. В то время на станции происходило особенно усиленное отправление грузов. Грузили на Ревель рожь, пшеницу и ячмень, и Асклипиодоту приходилось работать даже по ночам. Приходилось прицеплять и отцеплять вагоны, составлять поезда, принимать деньги, выдавать квитанции, и все это производилось под личным наблюдением Асклипиодота. Отец Иван долго вникал в дело и наконец убедился, что дело это весьма сложное, хлопотливое и требующее большой аккуратности, и он утешался в душе, что дело такое было доверено его сыну и что сын справляется с ним как нельзя лучше. Когда же отец Иван навестил больного начальника и узнал от него, что он весьма доволен Асклипиодотом, то отец Иван даже прослезился и подарил сыну серебряные свои часы. Недели две прогостил отец Иван у сына и возвратился домой совершенно уже успокоенным.

XXIX

Однако месяца через четыре он получил от сына письмо, в котором тот извещал его, что службу на железной дороге он оставил и что теперь, в качестве учителя, живет в доме князя Баталина и занимается приготовлением сына его к четвертому классу гимназии. В письме этом Асклипиодот подробно описывает отцу имение князя, дом, парк, роскошную обстановку, свое новое житье-бытье в том доме, общество, в котором вращается, семейство князя, гувернеров и гувернанток, приставленных к детям, и кончает письмо тем, что князь назначил ему семьсот рублей в год, а когда сын будет принят в гимназию, то выдаст ему столько же, в виде награды. Отец Иван навел справки и из справок этих узнал, что князь Баталин — в полном смысле аристократ, женат на графине

Ханской, имеет двух дочерей и сына, богат и с большими связями как в Петербурге, так и в Москве. Сведения эти даже в восторг привели отца Ивана. Ему только не понравилось, что в письме своем Асклипиодот особенно много говорит о какой-то гувернантке, немке, девушке лет двадцати, которая вызвалась сама обучать его немецкому языку. «Набедокурит он с этой немкой,— думал отец Иван,— голова-то горячая», и тотчас написал сыну, чтобы он держал ухо востро, чтобы дорожил местом, угождал бы князю, прилежнее бы занимался с своим учеником, ибо, если ученик этот выдержит с успехом экзамен, то князь может многое сделать для него. «Я узнал,— прибавил он,— что князь человек сильный, влиятельный и вместе с тем добрый, а такие люди для молодых людей, только что начинающих жить, более чем необходимы. Пусть он тебя полюбит, и тогда ты смело можешь рассчитывать на его высокое покровительство!» В конце же концов он советует ему уроки немецкого языка прекратить, ибо, зная его пылкую голову, он опасается, как бы уроки эти не пришлись ему слишком дорого и как бы, вместо уроков, он чего бы не «набедокурил»! Прошло лето, и отец Иван опять получил письмо от сына. Асклипиодот пишет ему, что дело его увенчалось полнейшим успехом, что его ученик блистательно сдал экзамены, поступил в четвертый класс Второй московской гимназии и что счастливый князь упросил его остаться у него быть репетитором сына, а за то, что сын так блистательно был подготовлен, назначил ему вместо семисот рублей тысячу. «Но вы не думайте, что всем этим я обязан вашей семинарии,— прибавил он,— нет, семинария тут ни при чем... Я много читаю, много работаю, у князя великолепная библиотека, и вот что именно послужило мне школой!» Письмо это было прочитано отцом Иваном чуть ли не всему уезду, по крайней мере, встретившись с кем бы то ни было, отец Иван вынимал из кармана письмо, развертывал его и, подавая встретившемуся, говорил: «Вот прочтите-ка, что пишет мне сын!.. А? каково?.. А из семинарии его исключили!.. Вот вы судите теперь!..»

Но радость отца Ивана продолжалась недолго, в конце октября он получил иное известие, и на этот раз опасения отца Ивана относительно немки оправдались! Асклипиодот «набедокурил»! И набедокурил так неудачно, что вывернуться из беды не представлялось уже никакой возможности. Оказалось, что Асклипиодот перешел дорогу старому князю,

и, насколько хлопоты князя были безуспешны, настолько успевал мало хлопотавший репетитор. Открыв истину, старый князь упал в обморок, а на другой день выгнал из дома и немку и Асклипиодота; новые Фауст и Маргарита остались без всяких средств (взбешенный князь не выдал им даже заслуженного жалованья), а потому весьма естественно, что квартиру они наняли себе где-то на чердаке, а существовали на деньги, вырученные от продажи платья. Так протянули они месяца три. Наконец средства истощились и существовать было нечем, а между тем у них родился ребенок. Ходил было Асклипиодот к князю, думая разжалобить его картиною всех переносимых им мук и лишений, но князь его не принял; писал Асклипиодот ему письма, но письма остались без ответа. Всех этих подробностей отец Иван, однако, не знал, и только весной он получил от Асклипиодота письмо, в котором тот просил его о высылке ему трехсот рублей. «У меня есть долги,— писал он,— с которыми необходимо расплатиться, а по получении денег немедленно приеду к вам в Рычи. Я слышал, что в нашей земской управе скоро освободится место секретаря. Ты знаком с председателем управы, кажется, он даже крестил меня, так попроси, чтобы он не отказал мне в этой должности. Пожалуйста, похлопочи об этом... хочется опять в провинцию... там и люди добрее, и живется легче, да и к тебе я буду поближе... Пожалуйста, похлопочи и поспеши высылкою трехсот рублей. После, при свидании, я все расскажу тебе».

Трехсот рублей, однако, отец Иван сыну не послал, а послал всего пятьдесят и в том же письме сообщил, что в город он ездил, говорил о нем с председателем управы, и председатель дал ему слово, что место секретаря, которое действительно скоро освободится, будет принадлежать Асклипиодоту.

Недели через две приехал и Асклипиодот одновременно с Мелитиной Петровной. На этот раз он приехал уже совсем взрослым молодым человеком. Он отпустил себе бородку, носил пенсне, роскошные кудрявые волосы закидывал назад и говорил каким-то звучным, певучим баритоном. Отец Иван встретил своего «блудного сына» на крыльце, обнял его и проговорил, обратясь к Веденевне:

— Принеси лучшую одежду и одень его и дай перстень на руку его и обувь на ноги. Приведи откормленного теленка и заколи; станем есть и веселиться. Ибо сей сын мой был

мертв — и ожил, пропадал — и нашелся! Ну, здорово, брат, здорово!

А старушка Веденевна, не обращая внимания на отца Ивана, глаз не сводила с своего любимца, плакала от радости свиданья с ним и причитывала:

— Красавчик ты мой... Ласковый... Какой же ты большой вырос, да молодец какой...

И, отстранив рукой отца Ивана, повисла на шее Асклипиодота.

XXX

Пока отец Иван был в Москве, Мелитина Петровна чуть не каждый день навещала Асклипиодота. Она проходила прямо в его комнату и просиживала иногда до поздней ночи. Раза два она обедала у Асклипиодота, и старуха Веденевна немало удивлялась развязности манер и разговоров грачевской барышни. Старушка словно смущалась, глядя на нее, и только покачивала головой. Раз как-то нянька не вытерпела и, когда Мелитина Петровна закурила во время обеда папиросу, заметила, что в старину «та́хта» не делалось и что во время обеда не курить надо, а молитвы читать. Выслушав замечание старушки, Мелитина Петровна весело расхохоталась и объявила, что все это было в старину, и то в монастырях только, что если обедающий будет читать молитвы, то останется голодным, а затем прибавила, что чем обед проходит веселее, тем легче совершается пищеварение, ввиду чего французы даже допускают за обедом пение веселых куплетов.

Нянька выслушала все это недоверчиво, а когда Мелитина Петровна ушла, посоветовала Асклипиодоту не очень доверять барышне.

— Ну ее! — говорила она.— Брось ты это знакомство... не по душе о̀на мне что-то!..

И как Асклипиодот ни старался уверить Веденевну, что Мелитина Петровна, наоборот, заслуживает полного уважения, что она женщина вполне добрая, развитая и с прекрасным, любящим сердцем, старушка осталась все-таки при своем мнении и каждый раз, когда Мелитина Петровна приходила к Асклипиодоту, избегала встречи с нею.

Целые дни проводили они вместе, и так как погода стояла все время прекрасная, то много гуляли. Они ходили по лу-

гам и полям, собирали в лесу грибы... побывали на двух соседних сельских ярмарках, и Мелитина Петровна не на шутку заинтересовалась ими. Она заходила почти во все лавки, знакомилась с торгашами, узнавала, откуда они получают товар, где он производится, хорош ли сбыт, богат ли народ деньгами. Выводы из всего слышанного она иногда заносила в свою книжечку. Не пропускала она и ярмарочных балаганов, и там, сидя среди этой сельской публики, Мелитина Петровна от души смеялась наивности странствующих фокусников и акробатов. Но раз она пришла в ужас, когда один из акробатов, запустив себе в нос двухтесный гвоздь, вытащил его оттуда окровавленным. Показывая его публике, фокусник приятно улыбался, но Мелитина Петровна схватила Асклипиодота за руку и поспешила оставить балаган. Другой раз она была поражена следующей сценой. Какой-то пьяный старик, лысый, тщедушный, стоя возле воза с горшками, разбивал эти горшки о свой голый череп. Толпа народа окружала этого старика, и всякий раз, как горшок разлетался вдребезги, ударяясь об окровавленный череп, толпа эта принималась хохотать. Оказалось, что старик колотил горшки из-за денег. Купит кто-нибудь горшок, передает его старику, и тот за семик проделывал эту штуку. Воз был раскуплен быстро, а старик, с окровавленным черепом и с карманом, наполненным семиками, отправился в кабак. «Что за гадость!» — проговорила Мелитина Петровна и долго, под влиянием этого тяжелого впечатления, ходила, сердито сдвинув брови и ничего не говоря с Асклипиодотом. Не нравился ей этот разгул пьяного народа, разгул грубый, невежественный, не имеющий ничего общего с достоинством человека. Она прислушивалась к песням, распеваемым этим пьяным народом, и невольно дивилась, что прежних песен, полных поэзии и тоски, народ не поет уже, а поет какие-то глупые и, видимо, новейшего произведения. Слышалось много военных, занесенных солдатами, много грязных, сальных, и ни одной хватающей за сердце. Зато песни слепых нищих поразили ее своею духовною поэзиею. Сидя на земле с чашечками в руках для сбора подаяний, с оловянными, вытаращенными глазами, устремленными на солнце, певцы эти, в такт покачиваясь, монотонно распевали свои рифмованные сказания и глубоко действовали на впечатлительную душу Мелитины Петровны. Однако в общем ярмарки эти Мелитине Петровне не понравились. Она

опять увидала там торжество кулака, торгаша и кабатчика и ту апатичность народа, которая возмущала ее более всего.

Однажды, придя к Асклипиодоту, Мелитина Петровна проговорила:

— Я за тобой... Пойдем-ка навестим одного больного... его лачуга отсюда недалеко, рукой подать... Уж такой-то бедненький!.. семья большущая, а работник он один... Теперь трава у него так и стоит нескошенная...

— Уж не хочешь ли ты меня косить заставить?..

— Думала, да, пожалуй, только дело испортишь!.. Нет, я мужика наняла, и завтра он примется за покос. Не хочешь ли завтра в луга идти?

— Пойдем.

Немного погодя они подходили уже к покосившейся избушке, в которой лежал больной. Лежал он без памяти, в переднем углу, под образами. Маленькие ребятишки его играли на дворе, а сморщенная, хилая жена стирала белье в корыте.

— Ну, что, как? — спросила ее Мелитина Петровна.

— Все в одном положении... Вечор причастила его...

— А фельдшер был?

— Нет, не приходил.

Мелитина Петровна посмотрела на больного, пощупала его голову, пульс и, снова обратясь к женщине, проговорила:

— Насчет покоса ты, Агафья, не беспокойся; я наняла косца, и завтра он явится на работу.

Агафья как стояла, так и упала в ноги Мелитине Петровне.

— Кормилица ты наша...— заголосила Агафья, но Мелитина Петровна не дала докончить. Она быстро подняла женщину на ноги и, объявив ей, что не выносит подобных поклонов, внушила, что кланяться в ноги не следует никогда, ибо таковые поклоны унижают и оскорбляют человеческое достоинство. Тем временем Асклипиодот глаз не сводил с больного, и мороз пробегал по его жилам. И действительно, было от чего содрогнуться. Больной имел вид мертвеца, как будто начинавшего разлагаться. Впалые, закрытые глаза его были окаймлены какими-то черными кругами, посиневшие губы потресканы, стиснутые зубы словно замерли... И ни единого движения, ни единого стона или вздоха... а кругом грязь, вонь, духота, мухи, нужда непреодолимая.

— Да он умрет! — чуть не вскрикнул Асклипиодот, выходя в сопровождении Мелитины Петровны из избы.

— Да, минут через двадцать,— ответила та,— а знаешь ли, чем он болен?

— Чем?

— Тифом.

— И ты не боялась ходить к нему!..

На следующий день Мелитина Петровна опять зашла к Асклипиодоту. Она объявила ему, что крестьянин, у которого они были вчера, умер и что сейчас она была на его выносе; и затем пригласила его в луга, посмотреть, хорошо ли косит траву нанятый ею косец. Идя под руку с Асклипиодотом, она уверяла его, что если бы имела состояние, то по меньшей мере половину разделила бы между бедными. При этом она не без желчи отнеслась к нашей благотворительности вообще и к дамской в особенности. Она рассказала, как в одном большом приволжском городе существует дамский попечительный комитет, который прошлой зимой устроил бал в пользу бедных. Как дамы нашили себе роскошных платьев, причем платье одной, выписанное из Парижа, стоило девятьсот рублей, и как от бала этого в пользу бедных очистилось только шесть рублей! Всех этих дам-патронесс она обругала пустыми, никуда не годными сороками и выразила свое удивление, что общество до сих пор не потеряло веру в столь глупую форму благотворительности.

— А знаешь ли, что на днях Латухин сотворил?

— Какой Латухин?

— Который был управляющим у знаменитого богача Лапина... Описали скот у крестьян за неплатеж податей, а у Латухина было собственных денег тысяч пять, нажитых трудами. Приехали продавать скот, приехал и Латухин, да всю скотину и купил, а на другой день взял да и роздал ее опять крестьянам. Вот это так благотворитель! Не чета вашим князьям да графам, снимающим кабаки у крестьян.

Когда пришли они на луг, Мелитина Петровна осмотрела произведенную косцом работу и, найдя ее крайне небрежною, вышла из себя.

— Помилуй,— рассердилась она,— да разве так косят, посмотри, что у тебя за отава!.. Ведь ты только половину травы скашиваешь; разве так высоко можно косить...

И она решилась не уходить с покоса и лично наблюсти за нанятым косцом. И действительно, вплоть до вечера она пробыла там и добилась-таки хорошей работы.

— Ведь ты не для барина, не для купца косишь, а для своего же брата крестьянина, для сирот его,— говорила она.— Впрочем,— прибавила она,— вы до того все испились и оскотинились, что даже и для себя-то работаете скверно.

И Мелитина Петровна принялась разбирать крестьянское хозяйство и крестьянские порядки данной местности. Асклипиодот слушал и удивлялся, откуда и когда только успела она почерпнуть все эти сведения. Она знала все. Знала крестьянские посевы, количество скота, как крупного, так и мелкого, знала по именам всех бобылей и кулаков, сколько за крестьянами недоимок, как государственных, так и земских и общественных, изучила порядки волостного правления, волостных сходов и волостного суда и, изучив все это, удивлялась более всего неразвитости крестьян.

— Ведь вот какие простофили,— проговорила она.— С кабака князя Изюмского общество села Рычей получает в год тысячу двести рублей, а за трактир триста, за базар и лавочки двести пятьдесят рублей, за склад графа Петухова четыреста рублей, итого две тысячи сто пятьдесят рублей; а когда спросила я, куда деваются эти деньги? — никто из них не мог отдать мне отчета. Оказывается, что доход этот они делят между собой поровну, по мелочи и незаметно несут его туда же, откуда он пришел!.. Хороши тоже и эти князья и эти графы,— прибавила она, всплеснув руками,— драпирующиеся в княжеские и графские мантии и скрывающие под ними штофы и косушки! Хороши слуги отечества!.. И чем же лучше они Колупаевых и Деруновых![31]

XXXI

Раза два Асклипиодот заходил и к Анфисе Ивановне, и оба раза старушка была с ним ласкова, каждый раз оставляла его обедать, а потом, после обеда, угощая сластями, расхваливала Мелитину Петровну.

— Уж такая-то прелестная бабенка, такая-то милая! — говорила она и потом, понизив голос, спрашивала: — Про тришкинский-то процесс слышал?

— Слышал, маменька...

— А! Каково обделала-то! Каково! Ведь со мной обморок сделался, когда мне доложили, что в острог-то меня сажать собирались!.. Часа два без памяти лежала!.. А она, ни слова

не говоря, марш к судье и... и все перевернула по-своему!.. Уж такая-то милая!.. А? какова! все по-своему!.. а?.. Я очень рада, что ты подружился с нею...

И потом, пригнувшись к уху Асклипиодота, она прошептала:

— Мужу-то ее на войне и руки и ноги оторвало, сам писал... Наверное, умрет!.. вот ты и женись... Славная!..

И ласково, с улыбочкой посмотрев на Асклипиодота, она прибавила:

— Чего улыбаешься... Я не шутя говорю... хочешь, свахой буду... Ты ведь тоже славный... ветрогон только... да ведь это с летами пройдет... Я ведь смолоду тоже немало куролесила, и вот прошло время, и кончено... тю-тю!

— Как же он писал-то, мамашенька, коли ему обе руки оторвало?

— Ах, господи боже мой! Ну, другого попросил! А уж ему не жить... как можно!..

Возвращаясь однажды от Анфисы Ивановны поздно вечером и проходя по базарной площади села Рычей, Асклипиодот заметил небольшую толпу крестьян, сидевших на завалинке кабака.

— Старички, здравствуйте! — крикнул им Асклипиодот, подходя к ним.

— Здорово...

— Что, аль думушку думаете какую?.. головы что-то повесили!

— Повесишь...

— Что, с похмелья чердаки трещат?..

— Трещат, да не с похмелья! — проговорили мужики.

— С чего же это?

— А с того, что вот подушных негде взять... Становой надысь приезжал, всю скотину описал... а вот скоро опять приедет... распродаст все...

— Хорошенько вас, олухов...

— Ну?

— Пробрать вас надо, шкуру бы дудкой спустить...

— За что же это? — загалдели мужики.

— А за то, что ослы вы...

— Что-то ты больно чудно говоришь, Склипион Иванович! — заметил один из мужиков.

— Не Склипион я, а Асклипиодот! — подхватил последний.— Такой святой был... празднуется он третьего

июля, и в этот же знаменитый день умер Иван Скоропадский, гетман малороссийский!.. Вот что, голова с мозгом...

— Тяжелые времена, что и говорить! Спасибо еще, что в нынешнем году хлебец-то радует, а то хоть душиться, так впору,— заметил один из крестьян.

— И все-таки не поправимся! — подхватил другой.— Уж очень задолжали сильно. В прошлом году за землю не оправдались, за нынешний тоже... Скотинушку размотали!.. Начнут подати взыскивать, опосля за землю теребить, ни шиша и не останется...

— А ты не плати! — вскрикнул Асклипиодот.

— Подати-то? — спросили крестьяне.

— И подати не плати...

— Ну уж, брат, от податей-то не отделаешься...

— Еще бы!

— Знамо! Вон летом Свинорыльские тоже заартачились было, так солдат на них выслали целых две роты... палили в мужиков-то!.. да, спасибо, ружья-то одним порохом заряжены были... Сколько бы народу положили!..

— А за землю-то и подавно платить надоть! — заметил другой,— не будешь платить, так и земли не дадут...

— Еще бы! — проворчал Асклипиодот, — с кашей есть будут!..

— Не с кашей, а сами, значит, распахивать зачнут, собственные свои посевы увеличивать...

— Известное дело! Господа перчатки наденут, купцы брюха подберут, заложут сохи — и марш на загоны!.. А вы все в господа да в генералы пойдете, ни солдат не будет — пушечного-то мяса, значит,— ни податей некому платить! Что тогда становым-то делать!

Мужики захохотали даже.

— И впрямь нечего!

Асклипиодот еще раз обругал их дураками и пошел по направлению к дому.

— Чудак! — проговорили мужики вслед ему.

Но в это время дверь кабака скрипнула, и на пороге показался сиделец.

— Господа старички! — проговорил он.— Я кабак запирать собираюсь, завтра пожалуйте, а теперь домой ступайте, здесь сидеть нельзя...

Мужички, кряхтя, поднялись и, попрощавшись с сидельцем, разошлись по домам.

На другое утро Веденевна вошла в комнату Асклипиодота, когда тот лежал еще в постели.

— А я к тебе!..— прошептала она таинственно.

— Что случилось? — спросил Асклипиодот.

— Брось ты барышню эту... Не знайся ты с ней... Сейчас Иван Максимович был у меня... Неладно говорит про нее.

— А ты слушай больше...

— Смотри! — проворчала старуха и погрозила пальцем.

— Чего смотреть-то?..

— А то, что один по льду ходит, только лед трещит, а под иным проламывается...

Асклипиодот повернулся даже.

— Что такое ты городишь! — вскрикнул он.

— Не нагороди сам-то!

— Не понимаю я тебя...

— Напрасно...

И, подсев к Асклипиодоту на постель, она пригнулась к его уху и принялась что-то шептать.

— Так-то, родимый! — проговорила она вслух, покончив свое таинственное сообщение, и вышла из комнаты. Минут десять пролежал Асклипиодот в раздумье, наконец вскочил, наскоро умылся, оделся, схватил шляпу и чуть не побежал по направлению к деревне Грачевке.

XXXII

Приехал в тот же день и отец Иван.

Около двух недель пробыл он в Москве. Возвратился домой вечером, неожиданно, и застал Асклипиодота сидящим на крылечке. Тот и обрадовался и испугался.

— Батюшка! — вскрикнул он.— Насилу-то! Здоровы ли?..

И он бросился было к отцу, чтобы обнять его и расцеловать, но, увидав сердитое и недовольное лицо, остановился как вкопанный...

Между тем отец Иван, сопя и кряхтя, выгрузился из тележки (он приехал с железной дороги на ямской паре), как-то искоса посмотрел на сына, снял шляпу и, поклонившись ему чуть не до земли, проговорил:

— Слава богу, здоров-с! Вашими святыми молитвами

съездил благополучно-с!.. Привел господь святыням московским поклониться!..

У Асклипиодота даже сердце защемило.

— Батюшка! — чуть не вскрикнул он.— Ведь это жестоко! вы мне сердце разрываете!.. пожалейте же наконец...

Но отец Иван молча отвернулся от сына и молча же направился в дом. Асклипиодот последовал за ним. Войдя в залу, отец Иван даже на образа не помолился (словно и на них рассердился!), пододвинул к окну кресло, сел на него и принялся смотреть на церковь. Асклипиодот стоял поодаль, опустя голову, и слова не смел промолвить.

Вошла Веденевна, радостная, веселая, переваливаясь с боку на бок, и, увидав отца Ивана, вскрикнула:

— Насилу-то приехал, сударик! а уж мы заждались тебя!

И, сложив набожно руки, подошла под благословение.

Но отец Иван словно не видал и не слыхал ее и продолжал упорно смотреть на церковь.

— Да ты что это, сударик! — чуть не вскрикнула, наконец, Веденевна,— аль в Москве-то благословлять разучился!

Отец Иван благословил старуху.

— Ну, вот так-то лучше будет! — проговорила она, приняв благословение и поцеловав руку отца Ивана, а затем, присев рядом с ним, прибавила: — А теперь рассказывай, хорошо ли съездил, здоров ли?

— Здоров! — проворчал отец Иван.— Только вот спину разогнуть не могу.

— Еще бы! в твои-то лета да такую путину обломать! Ну, да спина — плевое дело!.. Сходи в баньку, попарься, перцовкой натрись — и все как рукой снимет!..

Отца Ивана словно кольнул кто.

— Нет уж, покорно благодарю-с! — проговорил он.— Самим не угодно ли! а меня и в Москве достаточно и напарили и натерли-с.

— Ну и слава тебе господи, коли московской баньки попробовал!

— Попробовал-с.

— А у Сергия-то преподобного был, что ли?

— Нет-с.

— Что так?

— Денег не хватило-с.

— Ах ты, батюшка, царь небесный! Куда же это ты размотал-то их!.. уж не в карты ли продул?.. Ведь я видела, как

ты бумажник-то в карман совал... толстый-растолстый был, насилу втискал в штаны-то!..

Отца Ивана передернуло даже. Быстро отворотил он фалду полукафтанья, вынул тощий сафьянный бумажник и, похлопав по нем рукой, чуть не вскрикнул:

— А теперь он вот какой-с!

— Владычица пресвятая! — ахнула старуха, всплеснув руками,— тощей блина поминального... Неужто все в карты продул?

— Мои денежки! собственным потом и кровью нажиты... вот этими самыми руками выработаны... так, значит, куда хочу, туда и деваю...

— В Москве-то по крайности поклонился ли мощам-то святым?

— Поклонился.

— Петру, Ионе и Филиппу... ведь, почитай, кажинный день поминаем их... У матушки у Иверской был ли?

— Везде побывал.

— Ну, слава тебе господи,— проговорила старушка, набожно крестясь.— Спасибо, хоть этих-то вспомнил. И, помолчав немного, она спросила:

— Ну, чем же прикажешь просить тебя с дорожки-то: чайком аль водочкой, что ли?

— Что, аль самой выпить захотелось?

Старуха плюнула даже.

— Господь с тобой, батюшка... когда же это я сроду водку-то твою пила! опомнись...

— Ну, так чаю давай! — словно огрызнулся отец Иван и снова принялся смотреть на церковь, не обращая внимания на Асклипиодота, все еще стоявшего с поникшей головой.

— Батюшка! — проговорил, наконец, Асклипиодот, когда Веденевна вышла из комнаты.— Что же вы мне-то ничего не скажете!..

— Извольте, скажу!..— крикнул отец Иван и, подумав немного, проговорил: — Вам господин Скворцов кланяться приказал.

— Знаю я, что вы к нему ездили, слышал от людей намеками, но мне хотелось бы от вас слышать теперь... покончилось ли это дело или нет?

— Бесстыжие глаза твои! вот что! — крикнул отец Иван и, вдруг вскочив с кресла, принялся ходить по комнате.

Как ни была гневно брошена последняя фраза, а все же

Асклипиодот уловил в ней добрую, любящую нотку. Одно то уже, что во фразе этой отец Иван произнес *ты*, словно ободрило молодого человека.

— Батюшка! — проговорил он уже более звучным голосом.— Я и без вас знаю, что поступок мой скверен... Но выслушайте же меня. Лицевая сторона дела этого вам известна, она гаже гадкого!.. Но позвольте же показать вам изнанку. Вам известно, что я встретился с девушкою, которую полюбил и которая родила от меня ребенка. По моей вине эта девушка была выгнана из дома, в котором жила. Пока были у нас деньги, мы имели еще теплый угол, имели кусок хлеба и даже изредка позволяли себе маленькие развлечения и удовольствия. Но деньги подходили к концу, и из теплого угла пришлось переселиться в сырой и холодный подвал. В этом-то подвале девушка родила ребенка, ребенок захворал. Требовалось лекарство и доктор, а денег даже на хлеб не хватало!.. В эту-то критическую минуту я просил вас о высылке мне денег. Я понимаю, батюшка, очень хорошо, что письмо это могло раздражить вас, что вы были вправе отказать мне, но тем не менее деньги были необходимы! И денег требовалось не десять, не пятнадцать рублей, а гораздо больше. В это самое время у Скворцова была пирушка: мы изрядно подпили. В чаду этого-то хмеля я увидал в ящике письменного стола толстую пачку денег, и в ту же минуту мне пришла мысль воспользоваться случаем. Так я и сделал. Когда все вышли из комнаты, я взял пачку и вынул из нее две, только две радужных, хотя их было там гораздо больше, и передал по назначению. Я думал тогда, что я возвращу ему взятое, что я выпрошу у вас денег, но вышло не так. Схоронив ребенка и отправив на родину мать, я приехал сюда и каждый день собирался открыть вам все случившееся со мною... Но язык не поворачивался... Я откладывал со дня на день... Наконец я решился и открыл все, но только опять-таки не вам, а Скворцову. Я написал ему длинное письмо и в письме этом сознался, что деньги были взяты мною; ведь он даже и не подозревал меня! и затем просил подождать некоторое время возвращения этих денег. Остальное вам известно. Теперь как хотите, так и судите меня, но прошу вас, не мучьте только и скажите мне, как покончили вы с Скворцовым?

— Очень просто! — крикнул отец Иван, продолжая шагать из угла в угол,— очень просто! Вместо двухсот

отдал ему шестьсот и взял от него заявление, что деньги нашлись и что обвинение он берет назад.

— Неужели шестьсот?

— Кроме неоднократных обедов и угощений!.. И все-таки дело не кончилось!

— Как же это?

— Говорят, что обвинение должно быть разобрано... Завтра к становому поеду, с ним посоветуюсь...

— А вы-то, батюшка, простите, что ли, меня! — чуть не вскрикнул Асклипиодот.

Но отец Иван ничего не ответил, да и не мог, ибо в это самое время в комнату вошла Веденевна с подносом, на котором стояло два стакана чаю и граненый графинчик с ямайским ромом.

Отец Иван выпил несколько стаканов, и если хворь его не прошла от чаю, то расположение его духа значительно изменилось. Он сделался видимо добрее, разговорчивее и даже рассказал старухе, как осматривал он царь-пушку и как лазил на Ивана Великого. А когда, напившись чаю и осмотрев все свое хозяйство, своих лошадей, пригнанных овец и коров, и найдя все в надлежащем порядке, возвратился снова домой, то отец Иван и подавно повеселел. Асклипиодот воспользовался этой минутой и, подсев к отцу, проговорил:

— А у нас здесь новость, батюшка!

— Какая это?

— Общество составилось...

— Уже не трезвости ли? — спросил отец Иван.

— Нет-с. «Общество ревнителей к пополнению естественной истории вообще и к поимке грачевского крокодила в особенности».

— Ты-то чем же в этом обществе?

— Я — ничем.

— Напрасно. Кто же устроил это общество?

— Знаменский. Все бреднями по реке бродят. Сегодня я посылал к ним за рыбой; целое ведро окуней принесли. Не прикажете ли уху сварить?

Отец Иван рассмеялся даже.

— А крокодила-то поймали? — спросил он.

— Теперь уже два оказывается.

— Как два?

— Двух видели, самца и самку, в саду Анфисы Ивановны.

Все эти дни яйца искали; всю малину и всю смородину поломали.

Отец Иван рассмеялся снова.

После ужина, за которым была подана между прочим и уха из окуней, присланных «Обществом ревнителей», отец Иван повеселел окончательно. Прощаясь с сыном, он поцеловал его в голову и перекрестил, а немного погодя, утомленный дорогой, заснул богатырским сном.

Однако часов в семь утра он был уже на ногах и, снова обойдя все свое хозяйство, приказал работнику заложить тележку, с тем чтобы после чаю ехать к становому. Так он и сделал, и часов в девять утра отец Иван катил уже на своей лихой парочке по дороге, ведущей к становому.

XXXIII

Становой Дуботолков принял отца Ивана чуть не с распростертыми объятиями. Он был в самом веселом расположении духа. Угрюмое и нахмуренное лицо его сияло довольством, толстые губы весело улыбались, а вечно сердитые глаза блестели каким-то самым добродушным блеском. Завидев отца Ивана, он даже выбежал на крыльцо и заранее растопырил руки для объятий.

— Говори: слава богу! — крикнул он.

Отец Иван вылез из тележки, и в ту же минуту почувствовал себя в могучих объятиях станового.

— Говори: слава богу.

— Да что такое?

— Говори...

— Ты объясни прежде.

— Не отстану! — говори...

— Говори, говори! — передразнил его отец Иван, однако тут же исполнил желание станового.

— А теперь пойдем в кабинет, и я тебе все расскажу...

И, схватив отца Ивана за руку, он потащил его в дом. Когда они очутились в кабинете, становой усадил своего бывшего коллегу в кресло, уселся рядом с ним и, пригнувшись к уху, прошептал едва слышно:

— Наклевываются!

— Кто? — спросил отец Иван.

— Они.

— Да кто они-то?

— За кого награды-то выдают!

И, вдруг вскочив со стула, он ринулся к письменному столу, торопливо отпер ящик и, вынув какую-то брошюрку, торжественно поднял ее кверху.

— Вот она! вот она! — шептал он, захлебываясь,— вот она, матушка! вот она, родимая!..— И, поднеся брошюрку чуть не под нос отцу Ивану, прибавил: — Прочти-ка!

Отец Иван прищурил глаза, прочитал заглавие и остолбенел.

— Каково!

— Откуда же это? — спросил отец Иван.

— Бог послал!

— Ты шутишь все...

— Нет, не шучу, брат! — И, снова понизив голос, прибавил: — А коли проявились у нас эти книжонки, значит, проявились и *они*. Теперь у меня сыщики по всему стану рассыпаны! Кишат как муравьи в муравейнике, как гончие собаки по лесу, как пчелы в улье... по деревням, по селам, по хуторам, по базарам, по трактирам, по церквам даже — всюду рассыпались!

А отец Иван сидел задумавшись, опустя голову, и словно не слушал расходившегося станового.

— Вот это так дело! — восклицал между тем становой, потирая руки.

— Однако ты все-таки не сообщил мне: откуда же именно добыл ты эту книжонку? — спросил наконец отец Иван.

— В Путилове, братец, в селе Путилове, на базаре.

— Как! продавали? — чуть не вскрикнул батюшка. А становой подскочил к нему и, закрыв ему рот ладонью, прошептал:

— Что ты, с ума спятил! Тише!

— Да ведь здесь же нет никого.

— А окна, а двери, а ты, а я! Теперь я самого себя боюсь... Ложусь спать, так все двери запираю, все окна закупориваю — чтобы во сне не сбрехнуть!.. Запирай и ты.

— На кого же подозрение-то падает?

— Пока ни на кого еще!.. Брошюрка, братец ты мой, была подброшена во время базара на площадь и поднята одним мужиком. Мужик был неграмотный, встретился ему писарь волостной, он и показал ему книжонку, а писарь как прочитал, так в ту же секунду ко мне. Теперь оба они, и мужик и писарь, под арестом сидят, под строжайшим караулом!

— Их-то за что же?

— А чтобы не разболтали! — И, переменив тон, прибавил: — Позавтракаю, и тотчас в Путилово...

— Зачем?

— Причуивать, разнюхивать... Уж я донес и прокурору, и исправнику, и жандармскому...

— Да, грустно,— заметил отец Иван.— Ведь Путилово-то всего в пяти верстах от Рычей... Однако,— прибавил он, немного помолчав и поднимая опущенную голову,— у всякого свои заботы! У тебя свои, а у меня свои! Ведь я по делу к тебе приехал...

— Ах да! — вскрикнул становой, ударив себя по лбу.— Про тебя-то я забыл совсем! Ну что, съездил в Москву-то?

— Съездил!

— Что же, удачно?

— В том-то и дело, что не совсем...

— Почему же?

— Не знаю. Скворцов взял с меня деньги, подписал составленное тобою заявление к мировому, а мировой не принимает его в резон...

— Как так! ведь в заявлении сказано же, что деньги нашлись, что подозрение, падавшее на твоего сына, не имеет основания и что Скворцов, наконец, просит о прекращении дела.

— Да, все это сказано!.. Скворцов даже лично к мировому ездил, а мировой говорит, что все-таки дело без разбора нельзя покончить, что заявление необходимо проверить на суде, ибо дело это не гражданское, а уголовное.

Становой задумался, прошелся раза два по комнате и затем, остановившись, проговорил:

— А ведь пожалуй что и так! Как же быть-то?

— Иными путями хочу! — проговорил отец Иван.

— А именно?

— Оказывается, что судья родной брат нашему прокурору.

— Ну?

— Хочу его просить, чтобы он замолвил за меня словечко.

— А ты знаком с ним?

— С ним-то я незнаком, но ведь он друг и приятель предводителя... Так вот я и хочу ехать к Анфисе Ивановне и попросить ее переговорить с предводителем, кстати, теперь он у себя в имении живет. Предводитель, конечно, уважит старуху и не откажется повлиять на прокурора, а прокурор

на брата. Вот я и приехал с тобой посоветоваться! Одобришь ли ты мой план?

Становой хотел было ответить что-то, но, услыхав в соседней комнате стук ножей и тарелок и звон стеклянной посуды, подхватил отца Ивана под руку и проговорил:

— Чу! завтрак подали! Пойдем-ка выпьем да закусим!.. Авось за завтраком-то лучше придумаем, как быть и что делать.

И оба они оставили кабинет и перешли в залу. Завтрак был действительно подан. Становой «долбанул» квасной стакан водки, отец Иван две рюмки, и приятели принялись за еду.

— Эй ты, рыло свиное! — крикнул вдруг становой, обращаясь к двери. Дверь мгновенно распахнулась, и в ней показался рассыльный. Словно кукушка на часах, выскочил он и стал как вкопанный.— Лошадей закладывают?

— Так точно, вашескородие.

— Хорек едет?

— Так точно, вашескородие.

— Скажи, чтобы поскорей запрягали.

— Слушаю, вашескородие.

— А теперь исчезни!..

Рассыльный исчез опять-таки, как исчезает кукушка, а отец Иван и становой принялись за еду и за обсуждение асклипиодотовского дела. К концу завтрака они порешили, что так как ни в одном серьезном деле невозможно обойтись без барыни, то и в данном случае следует ехать к Анфисе Ивановне и просить ее содействия. В это самое время у крыльца послышался стук подъехавшего экипажа, звон колокольчиков, громыхание бубенцов, и становой, заглянув в окно, вскрикнул:

— А! вот и лошади поданы!

И, быстро вскочив с места, бросился в кабинет.

— А знаешь ли, что я придумал! — проговорил он, возвращаясь в залу с портфелем под мышкой, в шинели и в кепи на голове.— Ведь в Рычи-то тебе через Путилов ехать... Поедем-ка со мной. До Путилова поболтаем дорогой, а в Путилове ты можешь пересесть на своих лошадей и следовать дальше!.. Там уже недалеко... Ну, говори, едешь, что ли?

— А как мои лошади за ямскими-то не поспеют! — возразил отец Иван.

— Ох, уж рассказывай!.. Будет тебе сиротой-то прикидываться!.. Точно я лошадей твоих не знаю!

— Да ведь и я знаю, какова тройка у Хорька!

— Ну, нечего зубы-то заговаривать! Едем!

— Пожалуй! — проговорил отец Иван нехотя и взял свою шляпу.

Когда они вышли на крыльцо, экипажи были уже поданы. Впереди стоял тарантас станового, а сзади тележка отца Ивана.

— А! приятель, здорово! — крикнул отец Иван Хорьку, кивнув головой и бросив взгляд на тройку.

— Здравствуйте, батюшка! — проговорил тот.

— Что? Все лопоухий в корню-то бегает?

— Все он, батюшка.

— Добрый конь, выносливый...

— Нет, у вас вот так лошадки! Невелички, а с огоньком.

— Чего там! Одры, так они одры и есть! — проговорил отец Иван, польщенный похвалою Хорька, садясь в тарантас рядом с становым.

— Трогай!

XXXIV

Хорек подобрал вожжи, осторожно выехал со двора, чтобы не зацепить за вереи колесами, поворотил направо, свистнул сквозь зубы и легонькой рысцой покатил по улице села. Отец Иван, перекидываясь то направо, то налево, глаз не сводил с лихой тройки и, любуясь ею, даже облизывался как-то, словно и невесть какую сласть во рту держал.

Выехав из села, они спустились в лощинку, переехали мостик и только было вылетели на гору, как увидали впереди какую-то жирно раскормленную тройку, едва тащившую ноги по гладкой полевой дороге. Отец Иван первый увидал ее.

— Ну,— проговорил он,— кто-то нам навстречу едет!

— Уж не ко мне ли! — вскрикнул становой.— Беда, как задержат!..— Обратясь к Хорьку, спросил: — Не знаешь, кто это?

— Не разгляжу что-то, Аркадий Федорович; далеко еще...

Но отец Иван перебил Хорька.

— А я так разглядел! — проговорил он.— Лошади знакомые...

— Чьи?

— Анфисы Ивановны.

— Быть не может!

— Ее.

— Неужто она сама едет?

— Кто едет — не разгляжу еще, а лошади ее, вон и Абакум на козлах.

— Господи! Неужели она! — засуетился становой.— Уж не ко мне ли насчет моста. Чур меня, чур меня! — бормотал становой, крестясь и отплевываясь.— Я спрячусь, ей-ей спрячусь...

И, быстро сбросив с себя шинель, он укрылся ею с головой. Но опасения станового оказались напрасными, ибо, только что он успел спрятаться, как отец Иван, продолжавший пристально всматриваться в тройку, вдруг вскрикнул:

— Успокойся! не она это, а Мелитина Петровна.

Услыхав, что ехавшая им навстречу была не Анфиса Ивановна, а ее племянница, становой быстро выскочил из-под шинели и принялся хохотать во все могучее свое горло.

— Вот так штука! — кричал он.— Сама полиция струсила!..

И он продолжал хохотать даже в то время, когда обе тройки остановились, поравнявшись между собой.

— Что это вы хохочете? — крикнула Мелитина Петровна, не сходя с дрог,— уж не над моим ли экипажем?

Становой взглянул на экипаж и, увидав высокие и длинные дроги, на которых Мелитина Петровна имела вид воробья, сидевшего на крыше, и кучера Абакума, преспокойно набивавшего себе нос табаком, захохотал еще пуще.

— Чего он хохочет? — спросила Мелитина Петровна отца Ивана.

— С радости, сударыня, с радости.

— С какой это?

— Думал, что Анфиса Ивановна едет, и испугался, а когда увидел, что это вы, то обрадовался.

— Послушайте-ка вы, веселый человек! — проговорила Мелитина Петровна, подбегая к тарантасу и толкая станового за плечо.— Будет вам хохотать! Я к вам...

— Ко мне? — вскрикнул становой.— Виноват, некогда...

— По очень важному делу! — перебила его Мелитина Петровна.

— Что такое? — спросил становой. И вдруг словно окаменел и насторожил уши.

— Ходатаем являюсь...

— За кого?

— За рычевских крестьян. Вы у них весь скот описали, дали две недели сроку... Завтра срок этот истекает, следовательно, завтра вы являетесь в Рычи и распродаете скот.

— Распродаю.

— Послушайте, голубчик, не делайте этого.

— А подати?! Нет, это невозможно!..

— Вы выслушайте.

— Не могу-с! Я глохну, когда дело касается податей; я слепну, немею... и перестаю быть человеком.

— Да вы не горячитесь. Через неделю они получат арендную плату с кабака князя Изюмского, со склада графа Петухова, с лавочника, с трактирщика и деньги вам внесут, но только не завтра, а через неделю.

— Что же они молчали, подлецы! — крикнул становой, мгновенно, как порох, вспыхнув от гнева.

— Фи! как вы ругаетесь! — перебила Мелитина Петровна и даже слегка ударила его зонтиком.

— Как же не ругаться-то! За что же они, скоты, целый-то день промучили меня. Ведь я охрип с ними! Ах, подлецы! ах, мерзавцы!

— Видно, что старого леса кочерга! — подшутила Мелитина Петровна.

— Старого, сударыня, старого! Скажи они мне тогда же, что у них предвидится аренда, я бы наложил на нее арест, и шабаш! А ведь они, скоты, целый день заставили меня орать!..

— Так это возможно?

— Конечно, возможно!

— Спасибо вам. Так я, значит, поеду и успокою их... Становой даже руками всплеснул.

— Господи! Что за наивность! — вскрикнул он.— Ох уж эти мне сентиментальные барышни! Слышите: успокою! ха, ха, ха! — И, переменив тон, он спросил с досадой: — Так неужели же вы думаете, что они, подлецы эти, беспокоятся о чем-либо!..

— Конечно...

— О, идиллия! О, поэзия...

— Если бы не беспокоились, не поймали бы меня среди улицы...

— Ох уж эти мне барышни.

— Не стали бы просить меня...

— Не стали бы, конечно! А уж этому рычевскому старшине, вы меня извините, я морду попорчу...

Но, вдруг что-то вспомнив, становой засуетился, накинул на плечо шинель и заговорил торопливо:

— Однако, я с вами заболтался!.. Извините, но... мне ехать надо; извините, до свиданья...

— Вы куда теперь?

— В Путилово... дело важное, не терпящее отлагательств.

— Небось подати опять?

— Нет-с, поважнее...

— Ну, мертвое тело...

— Нет-с, это не мертвое.

И вдруг, пригнувшись к уху Мелитины Петровны, он принялся ей что-то шептать.

— Вот как! — протянула та.

— Н-да-с, вот-с мы как-с! на европейский манер!.. И он даже подмигнул глазом.

— Что же вы намерены делать?

— Пронюхивать, а потом хапать!

— А вы куда, отец Иван? — спросила вдруг Мелитина Петровна, обращаясь к священнику.

— Ко дворам, сударыня...

— Это ваши лошади, сзади?

— Мои-с.

— Знаете что! — проговорила она как-то особенно быстро.— Лошади Анфисы Ивановны так дряхлы, что я никогда не доеду на них... а у меня тоже «спешное дело есть, не требующее отлагательств»,— передразнила она станового.— Поэтому позвольте мне сесть в вашу тележку... ведь вам мимо Грачевки-то ехать!..

— В таком случае со мной садитесь! — перебил ее становой.— Я довезу вас до Путилова, а в Путилове пересядете к отцу Ивану.

— Мне все равно... Только где же я сяду?..

— Рядом со мной, а «батяй» на своих поедет!

Немного погодя Мелитина Петровна сидела уже рядом с становым, а отец Иван — в своей тележке. Абакуму было приказано ехать домой.

— Ну, Хорек! — говорил становой, когда поезд тронулся.— Прокатишь, что ли?

— Извольте, Аркадий Федорович...

— Так, чтобы дух замирал...

— Можно-с! Только надо подождать, когда на степь выедем!..

Хорек подобрал вожжи, качнулся направо, качнулся налево, свистнул сквозь зубы и пустил тройку крупной рысью. Хотя отца Ивана и обдавало пылью из-под тарантаса станового, но он все-таки не отставал. Так проехали они с версту. Наконец поля окончились, и началась степь. Словно скатертью раскидывалась она на далекое пространство, ровная, гладкая, беспредельная... Трава была уже скошена и сметана в стога. Молодая отава изумрудным бархатом покрывала степь... в воздухе кружились ястреба, а солнце между тем так и проливало свои лучи на все окружающее. Выехали наши путешественники на степь и словно духом воспряли! Хорек свистнул, повел вожжами, и тройка понеслась марш-маршем. Она мчалась, вздымая облака пыли, но не дремал и отец Иван... кровь закипела в нем, он выхватил вожжи из рук батрака, стал стоймя в тележке, ахнул, гикнул, и не прошло пяти минут, как вылетел из-за тарантаса и, поравнявшись с ним, полетел рядом. Он стоял, немного запрокинувшись назад, выставив вперед правую ногу, вытянув обе руки... волосы и борода развевались по ветру, фалды полукафтанья тоже, а лошади летели все шибче и шибче, закусив удила, разметав гривы, приложив уши...

— У волости подожду,— крикнул он Мелитине Петровне. И вдруг, опустив вожжи, разом обогнал тройку Хорька и, вылетев вперед, понесся быстрее ветра вольного!..

Как ни мчался Хорек, как ни метался на козлах, как ни рвался вперед, а все-таки остался позади. А Мелитина Петровна сидела, сдвинув брови, погруженная в думу, и словно не замечала всей этой страстной борьбы!..

XXXV

В тот же день, вечером, отец Иван позвал к себе рычевскую просвирню, Авдотью Гавриловну.

— Как бы ты мне просфору испекла,— говорил он,— только не такую, какие пекутся у нас, а большущую...

— Как у Сергия преподобного! — перебила его просвирня.

— Вот, вот!

— Что же, это ничего, можно, батюшка.

— Только ты займись этим делом сегодня же, потому что завтра просфора эта мне в обедню спонадобится...

— Слушаю-с.

— И нельзя ли испечь ее из самой лучшей муки.

— У меня немножко картофельной муки осталось, так я из нее и испеку; как раз под лаврскую подойдет.

— Вот это-то мне и требуется!

— Слушаю-с, испеку...

Просвирня вышла, а отец Иван, пройдясь раза два по комнате, развел руками и проговорил: «Что же делать! хотя и не настоящая лаврская просфора будет, а все-таки скажу, что из лавры привез, что заздравная, о здравии ее вынимать подавал... Старухе будет это приятно, а просфора — все просфора, где бы испечена ни была!»

На следующий день отец Иван встал ранешенько, отслужил заутреню и обедню, за проскомидией[32] вынул из большущей просфоры частицу за здравие рабы божьей Анфисы, просфору эту тщательно завернул в бумажку и пошел домой пить чай. Асклипиодот все еще спал. Напившись чаю, отец Иван позвал Веденевну и вместе с нею отправился в погребицу и в кладовую. Из погребицы он собственными своими руками вытащил маленькую липовую кадочку с превосходным сотовым медом, а из кладовой — красивую коробочку пастилы, которую, во время поездки своей в Москву, он купил на станции Коломна. Все это отец Иван порешил отвезти в дар Анфисе Ивановне. Внеся кадушечку в комнату, он тщательно пересмотрел соты, полюбовался гнездившимся в них медом, выкинул мертвых пчел, затем, аппетитно облизав пальцы, прикрыл соты громадными листьями лопуха и увязал кадочку чистым полотенцем. Кадушечка с медом, коломенская пастила и лаврская просфора поселили в отце Иване уверенность, что при виде всего этого Анфиса Ивановна всенепременно придет в умиление и уж никоим образом не откажется от поездки к предводителю. Таковая уверенность настолько благотворно подействовала на отца Ивана, что поступок сына казался ему уже не столь позорным, каковым казался прежде. «И в самом деле,— рассуждал он,— чем же особенно позорен данный поступок? Деньги взял он не для себя, а для несчастной женщины, сам открыл это Скворцову, дал слово при первой же возможности возвратить взятое... где же тут

кража?! Не правильнее ли проступок этот назвать просто-напросто легкомыслием юноши, у которого в голове не перестал еще крутить ветер. Вот, например, разграбление банков, лихоимство — это дело десятое! Это действительно позор!»

Вспомнив историю банка, а одновременно с тем и обанкротившегося купца, отец Иван окончательно уже примирился с проступком сына, и когда тот вошел в комнату, то даже с какою-то ласкою встретил его.

— Что рано вскочил? — спросил он его.

— Не спится что-то!

— Беспокоишься?

— Еще бы!

— А бог-то на что! — проговорил отец Иван.— Он, брат, все видит и о всех печется!..

— До бога-то далеко, говорят! — заметил Асклипиодот.— Нет, уж лучше к Анфисе Ивановне, это поближе будет...

Отец Иван плюнул даже.

— Что ты это! — вскрикнул он,— возможно ли говорить таким образом! Никто, как бог. Бог мир создал. Он один и правит им! Без бога ни Анфиса Ивановна, ни прокурор, ни предводитель ничего не сделают. Добрый ты, братец, малый, а иногда такую штуку ляпнешь, что даже волос дыбом становится.

— Спасибо, что хоть добрым-то назвали...

— А что же! Разве у тебя не доброе сердце?.. Нет, сердце у тебя доброе, только ветер в голове! Ну, да бог даст, все это со временем пройдет! Поступишь на службу, авось остепенишься! Однако вот что,— проговорил он, взглянув на часы,— время к Анфисе Ивановне отправляться... прикажи-ка мне лошадей запречь. Ведь с Анфисой Ивановной только и можно по утрам разговаривать, а потом она как-то разумом тускнеть начинает.

— Так вот почему вы с нею только по вечерам в карты-то и играете! — вскрикнул Асклипиодот.

— Дурак! — проворчал отец Иван, но «дурак» этот был произнесен так добродушно, что Асклипиодот невольно принялся обнимать отца.

Немного погодя отец Иван ехал уже в деревню Грачевку. Из-за пазухи торчала у него коробка с коломенской пастилой, в ногах помещалась кадушечка с медом, а в руках держал он просфору, завернутую в бумагу.

Увидав в окно подъехавшего отца Ивана, Анфиса Ивановна даже ахнула от удовольствия.

— Ну что, благополучно ли съездил? — спросила старушка, встречая его в дверях залы.

— Покорнейше вас благодарю,— ответил батюшка, помолясь на иконы и благословляя Анфису Ивановну.— Съездил благополучно, господь привел святыням поклониться...— И, подавая ей просфору, прибавил: — А вот это вам, сударыня кумушка, просфора от преподобного Сергия Радонежского, за ваше здравие вынута...

— Спасибо, спасибо! — проговорила Анфиса Ивановна, крестясь и целуя просфору.— А это что у тебя из-за пазухи торчит?

— Это пастила коломенская...

— Ну-ка, дай-ка попробовать...

— Зачем же пробовать, кумушка! Кушайте на здоровье... это тоже для вас куплено, в Коломне, на месте преступления...

— Там у тебя в тележке еще кадушечка стояла какая-то! — перебила его Анфиса Ивановна, взяв коробку с пастилой.

— Стояла.

— С чем она?

— С медом сотовым...

— Это мне тоже?

— Вам, кумушка, конечно вам, кому же еще...

Но Анфиса Ивановна уже не слушала священника и, отворив дверь в переднюю, крикнула Потапычу:

— Там, у батюшки в тележке, кадушечка с медом стоит, принеси сюда...— И потом, обратясь к отцу Ивану, спросила: — А мед из Москвы тоже?

— Нет-с! Мед собственный, свои пчелки натаскали. Те два предмета из Москвы, а этот — домашний...

— А калачиков и саечек не привез?

— Не догадался, кумушка, простите великодушно... из ума вышло!..

— Ну, что же делать! Оно, конечно, жалко, что не привез, а все-таки теперь не воротишь... жалей, не жалей!.. А хорошо было бы чайку напиться с калачиком с московским...

— Чего бы лучше! — подхватил батюшка,— ну да вот подите же. Словно ветром из головы выдуло!..

— Жалко, жалко...— повторила Анфиса Ивановна и как будто немножко рассердилась.

Мед, однако, поправил все дело. При виде кадушечки, доверху наполненной белыми, душистыми сотами, Анфиса Ивановна от удовольствия улыбнулась и даже руками всплеснула.

— Ну, вот за это спасибо! — проговорила она.— Это не чета твоей пастиле дурацкой!.. Спасибо, спасибо!.. Вот мы с тобою пообедаем, а после обеда и поедим медку со свежими огурчиками. Чудесная, брат, штука мед с огурцами!.. Да! — прибавила она, как будто что-то вспомнив,— ты водочки тяпнуть не хочешь ли?..

— Не рано ли будет?

— А ты уж не притворяйся, по глазам вижу, что хочешь!..— И, обратясь к Потапычу, проговорила: — Ну-ка, Потапыч! принеси-ка сюда водочки, а на закуску грибков опеночек, ветчинки и еще чего-нибудь... а потом на стол накрывай, что-то в животе урчать начинает, обедать пора. Мелитина-то Петровна дома, что ли?

— Никак нет-с.

— А, нет, так после пообедает, ждать ее не стану! Вот еще! — И, как-то особенно приятно улыбнувшись, прибавила:

— По правде сказать, обедать-то и раненько, да уж очень медку захотелось!.. А это я соврала,— прибавила она,— что в животе-то урчит! Соврала, чтобы Потапыч не ворчал!.. есть не хочется, рано...

XXXVI

Однако, несмотря на то, что Анфисе Ивановне есть не хотелось, она все-таки не пропустила ни одного блюда. Она преисправно скушала целую тарелку зеленых щей с поджаренными яйцами и ватрушками, скушала кусок поросенка под хреном, целого цыпленка с малосольными огурцами и моченой брусникой и глубокую тарелку малины с густыми, желтыми сливками. После обеда она пригласила отца Ивана на балкон, где уже их ожидал стол, накрытый белой, как снег, скатерью, а на столе несколько бутылок наливок, запеканок, глубокая тарелка с сотовым медом и целое блюдо свежих, зеленых огурцов.

— Это для тебя наливка-то! — проговорила Анфиса Ивановна, садясь за стол.— А меду я не дам тебе,— у тебя своего много... коли захочешь, так дома можешь поесть... Кушай-ка наливку-то, кушай-ка... Не церемонься...

И Анфиса Ивановна принялась угощать кума.

Но отцу Ивану было не до угощенья. Выпив рюмку вишневки, он откашлялся, погладил бороду, высморкался и решился наконец приступить к цели своего приезда в Грачевку. Пока Анфиса Ивановна кушала мед с огурцами, отец Иван рассказывал ей, что делал он в Москве, как обошел все храмы и соборы, как служил молебен в Иверской часовне, а затем принялся полегоньку и за изложение асклипиодотовского дела. Так как упоминать о немке отец Иван почему-то счел неудобным, то он решился несколько изменить подробности романа и, вместо немки, вывел совершенно нового героя, а именно бедного студента, не имевшего никаких средств к продолжению дальнейшего своего образования и решившегося поэтому на самоубийство. Героя этого Асклипиодот застает на москворецком мосту готовым броситься в воду, удерживает его сильною рукою, читает ему приличную нотацию, упрекает в недоверии к божескому милосердию и в конце концов обещает ему добыть денег.

— Что было делать ему? — вскрикнул отец Иван, откинувшись на спинку кресла и бросив на Анфису Ивановну вопросительный взгляд.— Обещал денег, а денег не было!..

— Обещать не надо бы! — отозвалась Анфиса Ивановна, облизывая пальцы и отмахивая мух от меда.— Кш! проклятые! — прибавила она, накинувшись на мух.— Кш! Вот жадные-то!

— А он обещал, дал слово! Ко мне писать... меня просить о высылке денег?.. Нельзя!.. Когда-то письмо дойдет!.. когда-то ответ получится,— врал отец Иван,— а ждать некогда, потому что деньги требовались завтра же, непременно...

— Ну как же он вывернулся? — спросила Анфиса Ивановна, продолжая кушать,— занял, что ли?

— Гм! занял! — перебил ее отец Иван, вздохнув.— Кто же даст ему? Разве ныне те времена, чтобы взаймы давали! Помилуйте! Теперь это вывелось уже... Кажется, всякий скорее удушится, а уж руку помощи не протянет... Сердца ныне черствые стали, а уши перестали внимать воплям нужды.

И отец Иван рассказал Анфисе Ивановне, как именно «вывернулся» Асклипиодот.

Старушка даже ахнула, даже выронила из рук половинку огурца, намазанную медом, но когда отец Иван растолковал ей, что дело в сущности выеденного яйца не стоит, так как в

основании его лежит добрая и даже, можно сказать, святая цель, то волнение старушки не замедлило утихнуть.

— Сами подумайте, кумушка дорогая! — говорил отец Иван,— ведь, может быть, он человека спас через это самое. Конечно, мы с вами не решились бы на такую штуку... Но ведь там молодость! Молодость увлекающаяся, пылкая, безрассудная часто!.. Ведь кровь-то молодая, ключом кипит, удержу не знает...

— Правда, правда! — перебила Анфиса Ивановна.— Сама молода была... по себе знаю...

— А я-то разве забыл свою молодость!.. Для молодежи нет препятствий! Она не рассуждает, она не обдумывает так, как мы теперь все обдумываем... Помню я свою-то молодость очень хорошо!.. Такое выкинешь иной раз колено, что даже теперь стыдно вспомнить.

— Верно, верно! — перебила его опять Анфиса Ивановна.— Я такая же была!.. Ух, какая я была... огонь!..

И вдруг, как будто вспомнив, она оживилась, бросила огурец с медом, круто повернулась к отцу Ивану и заговорила волнующимся голосом:

— Ты послушай-ка, что раз со мною было!.. Послушай-ка! Уж так и быть, расскажу... На духу никогда не каялась тебе в грехе этом, а теперь, к случаю пришлось, не утаю. Молодою вдовушкой была я в то время. Из себя была красивая, кровь с молоком, и за мной приударил капитан один... Была у меня подруга (я тогда еще в городе жила), приятельница задушевная, а у той приятельницы браслет имелся расчудесный. Такой браслет, что я на него хладнокровно глядеть не могла! Как увижу, бывало, так и затрясусь. Хорошо! Назначается бал в собранье... Подруга моя больная лежит, на бал ехать доктор запретил. Вот, я и говорю ей: «Экуте, ма шер! (Это значит: послушай!) Экуте, ма шер, говорю, ты больна, на бал ехать тебе запрещено, а я поеду, так позволь, говорю, мне твой браслет надеть!» Куда тебе! и слышать не хочет! «Как это возможно, говорит, на тебе все увидят браслет, а когда я надену его сама, то подумают, что я в твоем браслете! Ни за что!» Отказала наотрез. Пригорюнилась я, не поверишь ли, ночей не сплю, тоска взяла! А знаю я, что капитан мой беспременно на бале будет! Наконец подходит день бала. Еду я к подруге, авось, думаю, не выпрошу ли... Приезжаю, а она, братец, без памяти! разметалась на кровати, в жару вся, словно огненная, лежит, и даже меня не узнала. Я так и ахнула! пропало, ду-

маю себе, мое дело!.. Не будет на мне браслета!.. Глядь! а ключи-то на столе от шифоньерки лежат. Я даже задрожала вся! выгнала из комнаты горничную, схватила ключи, отперла шифоньерку, да браслет-то и стибрила... Как тебе это понравится, а? Ведь украла, понимаешь ли, украла!

Отец Иван только головой кивнул: понимаю, мол!

— Так вот она, молодость-то что значит!.. Конечно, браслет я возвратила на другой же день, а все-таки как ни верти, а украла...

— Только, кумушка, народ был тогда попроще,— заметил отец Иван,— ведь, поди, под суд-то вас не отдали за это!

— Ну вот еще! с какой это стати! — обиделась Анфиса Ивановна.— Я думаю, подруга-то, приятельница мне была.

— Да ведь и Скворцов приятель Асклипиодоту... вместе в семинарии учились, вместе проказничали...

Анфиса Ивановна принялась что-то соображать, задумалась, думала долго, как будто силясь припомнить что-то, и вдруг вскрикнула:

— Да, да, вспомнила! Ведь тогда судов-то не было еще! Ведь суды-то после пошли!.. А если б были, так сгноили бы в остроге... как по *тришкинскому процессу*, — слыхал, поди!

— Слыхал-с...

— Кабы не племянница, так ведь тю-тю!.. Так, так, не было судов, не было... Помню я, у нас в городе вольнодумец жил один... Крикун, ругатель был такой, что все даже боялись его. Всех, бывало, ругал: и бога, и царя, и губернатора, и законы разные... только раз его изловили!.. Так тоже не судили, а просто — тайным образом посекли!.. Говорят, кресло такое с пружинами было... Как сядешь на него, так ноги кверху, и высекут. Это тогда «чичи-фачи», бывало, называлось! «Чичи-фачи»!..

— Это точно-с,— заметил отец Иван,— прежде много проще было!..

И Анфиса Ивановна принялась опять за мед с огурцами; священник воспользовался этой минутой и стал просить старушку заступиться за «крестника» и съездить к предводителю.

— Предводитель-то приятель прокурору!—проговорил он.

— А прокурор, это что за птица? — спросила Анфиса Ивановна.

— Чиновник тоже...

— Дворянами выбирается?

— Нет-с, не дворянами.

Анфиса Ивановна презрительно сложила губки и махнула рукой.

— Какая же его обязанность?

— Вроде прежних стряпчих, кумушка, только повозвышеннее! — проговорил отец Иван и принялся затем объяснять старушке, в чем именно должно состоять ее заступничество и чего именно должна она добиться.

Так как Анфиса Ивановна давно уже, кроме Рычей, никуда не выезжала, то предстоявшая поездка до того напугала ее, что от ужаса она словно остолбенела. Видно было по всему, что на уме у нее вертелась даже мысль отделаться от этой поездки и отречься от крестника; но когда отец Иван сообщил ей, что предводитель находится в настоящее время не в городе, а у себя в имении, верстах в десяти от Грачевки, то Анфиса Ивановна не замедлила успокоиться и даже некоторым образом почувствовала себя польщенною, что именно к ней, а не к кому другому, обратились с просьбою оказать столь важную протекцию. Она даже прослезилась, сообразив ту беду, которая обрушилась на голову Асклипиодота, с участием справилась, не тоскует ли он? не приходит ли в отчаяние? — и когда отец Иван передал, что бедный мальчик не спит по ночам и даже лишился аппетита, Анфиса Ивановна расплакалась еще пуще. В ту же минуту она дала слово, что завтра же поедет к предводителю, и даже уверила, что просьба ее будет исполнена, на том простом основании, что как бы люди ни были злы, но что все-таки истина должна одолеть злобу.

— Только вот что, друг любезный! — проговорила она.— Память у меня плохая, да и не умею я называть всех этих новых крючкотворов... уж ты потрудись, напиши на бумаге, о чем я просить должна и что говорить надо, а то — как бы не перепутать... Только пиши крупнее, глаза что-то плохо видеть стали, а очки брать не хочется... как можно крупнее и по-церковному...

Отец Иван исполнил просьбу старушки, написал славянскими буквами все, что требовалось, и, еще раз попросив ее заступиться за крестника, поехал домой.

Как только священник ушел, Анфиса Ивановна в ту же минуту позаботилась предупредить кучера Абакума, что завтра утром она едет к предводителю, чтобы поэтому он заранее натер себе табаку и приготовил бы карету. Абакум, успевший уже пронюхать, что тут дело пахнет не табаком,

а поездкой к предводителю, у которого производится всегда отличное угощение всем приезжающим с гостями кучерам, принялся немедленно за приготовления. Затем Анфиса Ивановна сделала распоряжения о своем туалете и вынула из комода дюжину тонких носков, которые она связала было для судьи за *тришкинский процесс*, и, завернув их аккуратно в розовую бумажку, порешила носки эти презентовать предводителю.

— Он теперь нужнее,— рассуждала она,— а *тришкинский процесс*-то кончился.

— Говорят, вы к предводителю завтра? — спросила Мелитина Петровна, входя в комнату тетки.

— Да, мой друг,— отвечала Анфиса Ивановна.— Ты меня, пожалуйста, извини, что я не беру тебя с собою.

— Что вы, что вы! — перебила ее племянница.— К чему эти извинения, мне даже и некогда, потому что сегодня придется много работать.

— Ну и прекрасно. А мне надо говорить с предводителем о важных делах...

— Что такое случилось?

— Ничего особенного... там, в Москве... Отец Иван просил...

— Ах, это верно о деньгах... я думала, что-нибудь другое! Да, кстати,— прибавила Мелитина Петровна,— смотрите, хорошенько расфрантитесь... вы встретите у предводителя большое общество... Я слышала, что завтра должны прибыть туда исправник, прокурор и другие служащие лица.

— Ты почему знаешь это?

— Иногда самые важные тайны познаются через ничтожных людей. Так случилось и теперь.

Мелитина Петровна всю ночь писала письма, и всю ночь Карп видел огонь в ее комнате.

XXXVII

На следующий день, часов в девять утра, перед крыльцом грачевского дома происходило нечто весьма необыкновенное. У крыльца толпилась не только вся дворня Анфисы Ивановны, но даже замечалось несколько баб и мужиков, а в особенности ребятишек, прибежавших из деревни. Дело в том, что у крыльца стояла запряженная в шесть лошадей жел-

тая карета, на стоячих рессорах и на огромнейших колесах. Карета эта, напоминавшая царя Гороха, походила скорее на огромную тыкву, болтавшуюся на каких-то крюках, прикрепленных к осям. На козлах этой тыквы, в зеленом армяке и в рыжей шляпе с павлиньим пером, восседал Абакум и держал в руках целую кучу вожжей, а впереди — форейтором[33], на плюгавой пегой лошаденке, садовник Брагин. Для Брагина Абакум тоже разыскал было зеленый кафтан, но старый драгун напрямик отказался нарядиться в этот балахон, а надел свой мундир с несколькими медалями на груди. Костюм этот хотя и не походил на форейторский, но, ввиду торжественности поездки, не только не портил общей картины, но даже некоторым образом дорисовывал ее. На крыльце стоял Потапыч. На нем была гороховая ливрея с несколькими коротенькими капюшонами, красный воротник которой доходил до ушей, а на голове огромная треугольная шляпа. Он свысока посматривал на окружающую толпу, как будто сожалея, что люди эти так мало видели, что даже простая карета удивляет их, тогда как для него все это штука обыкновенная. Наконец показалась и Анфиса Ивановна. На ней была турецкая шаль одного цвета с каретой, роскошная шляпа и барежевое[34] платье таких огромных размеров, что старуха едва помещалась на крыльце. В руках она держала розовый сверток с носками. Как только Анфиса Ивановна показалась, так Потапыч в ту же секунду ловко подскочил к карете, отворил дверку, откинул десятка два подножек и, посадив барыню, снова защелкал подножками, махнул дверкой и хотел было крикнуть «пошел!», но не крикнул, потому что сшиб с себя дверкой шляпу, которая, к общему удовольствию публики, и очутилась под каретой. «Скверная примета!» — подумала про себя Анфиса Ивановна, вспомнив рассказ Брагина про Наполеона, с которого под Москвой тоже слетела шляпа. Шляпа, однако, вскоре была надета; Потапыч взобрался на запятки и, уцепившись обеими руками за болтавшиеся ремни, крикнул: «Пошел!» — и поезд тронулся. В воротах, однако, он должен был остановиться, потому что Абакум, не имевший глаз в затылке, по обыкновению, зацепил задним колесом за столб, и так как столб был врыт прочно и не подался, то и пришлось относить зад кареты. Сбежался народ, и общими усилиями экипаж был поставлен на тракт.

Выехав из ворот, лошади затрусили рысцой, и карета

покатилась по гладкой дороге в село Хованщину, имение предводителя. День был жаркий, красное солнце пекло немилосердно, пыль поднималась облаками и следовала за каретой. Брагин, отвыкший ехать верхом, отчаянно махал и локтями и ногами и как будто раскаивался, что сел на коня. Однако ехать было необходимо, и карета, дребезжа и колыхаясь, катилась себе по дороге. Вдруг сзади кареты раздался голос, кричавший что было мочи: «Стой! Стой!» Карета остановилась. Оказалось, что от сильной тряски у Потапыча опять свалилась шляпа, а покуда он бегал поднимать ее, перепутались лошади, и пришлось их распутывать. Распутав лошадей, поезд тронулся, но начали отвинчиваться разные гайки, и пришлось опять несколько раз останавливаться и завинчивать таковые. Абакум слезал с козел, и так как в карманах кареты ключа не было, то приходилось завинчивать гайки руками и зубами, что и заняло довольно много времени. Анфиса Ивановна, сидя в карете и выглядывая из нее, словно воробей из скворечни, сердилась и ворчала. Но на ворчанье это решительно никто не обращал внимания.

— Скоро, что ли? — спрашивала она.

— Чего?

— Да Хованщина-то!

— Вот это отлично! — вскрикивал Абакум.— Только, благослови господи, отъехали от дому, а уже вы про Хованщину заговорили!

Гайки, однако, были подвинчены, и карета поехала. Анфиса Ивановна успокоилась и, прислонившись к спинке, даже задремала, но дремота эта вскоре была нарушена раздавшимся, опять-таки сзади, неистовым криком Потапыча. Оказалось, что запятки отвалились прочь, и Потапыч, запутавший было ремни за руки, тащился за каретой, едва не лишившись совершенно рук. Кое-как распутали отекшие руки Потапыча; но так как запяток уже не существовало, а козлы отличались лишь вышиной, а не шириной, то и пришлось посадить Потапыча в карету рядом с Анфисой Ивановной, что в сущности вышло весьма эффектно, принимая в соображение треугольную шляпу, надетую поперек, и ливрею с красным воротником. Карета заколыхалась, попадавшиеся мужики принялись кланяться, и Анфиса Ивановна, думая, что поклоны эти адресуются ей, тогда как в сущности они посылались Потапычу, видимо была довольна и, снова

углубившись в карету, принялась мечтать о предстоявшем свидании с предводителем и о важности возложенного на нее поручения; но мечты эти поминутно прерывались шляпой Потапыча, которою он долбил Анфису Ивановну прямо в висок.

— Скинь ты свою дурацкую шляпу! — рассердилась наконец Анфиса Ивановна.— Ты мне все виски продолбил!

— Куда ж мне теперь девать ее! — вскрикнул Потапыч, справедливо обиженный тем, что шляпу назвали дурацкою.

— Сними и держи на коленях.

Потапыч снял шляпу и положил на колени.

Дорога пошла под горку, и карета покатилась шибче. Мимо окон мелькали поля, засеянные хлебом, среди которых кое-где правильными квадратами белела покрытая цветами греча. Анфиса Ивановна всем этим любовалась и забыла даже про дурную примету, которую видела она в свалившейся с Потапыча шляпе.

Но бедному Потапычу было не до шляпы и не до картин, мелькавших мимо окон кареты. Не привыкший ездить в закрытых экипажах, он начинал чувствовать тошноту и с тошнотой не знал как и справиться. Бедный старик поминутно вскакивал на ноги, высовывал голову в окно, жадно глотал в себя воздух, но пыльный воздух плохо помогал беде и, даже наоборот, производя в горле щекотание, еще более усиливал тошноту. Несколько раз он собирался просить даже, чтобы на минутку остановились, но, боясь раздражить и до того уже раздраженную Анфису Ивановну, терпел, перенося поистине адские муки. На его счастье, однако вскоре лопнула постромка, карета остановилась, и Потапыч стремглав выскочил из нее.

— Что там еще? — крикнула Анфиса Ивановна.— Но, не получив ответа, снова повторила вопрос: — Что случилось?

— Известно что!.. Постромка лопнула! — прокричал Абакум.

Анфиса Ивановна взглянула на лицо кучера и ахнула. И действительно, было отчего ахнуть, ибо лицо Абакума представляло из себя нечто весьма необыкновенное! Оно все было перепачкано кровью и грязью и положительно не имело образа человеческого. Оказывается, что Абакум, завинчивая зубами гайки, ободрал себе губы, нос и десны и сверх того выпачкал все лицо пылью и дегтем. Принялись свя-

зывать постромку, а Анфиса Ивановна снова начала волноваться.

— Это ни на что не похоже! — ворчала она.— Этак мы никогда не доедем!..

— Не доедем и есть! — ворчал Абакум, тоже в свою очередь начинавший волноваться.— Помещица, а хорошей сбруи купить не может!

— Далеко еще?

— Известно, далеко.

— Да поскорее копайся! — крикнула уже Анфиса Ивановна и даже ногой притопнула...

Минут через десять постромка была кое-как связана, и лошади тронулись. Дорога опять пошла под гору, карета покатилась довольно шибко, и лошади, почувствовав, что экипаж накатывается сам по себе, весело затрусили, помахивая головами.

— Вытягивай, вытягивай, Брагин! — крикнул Абакум, помахивая кнутом и посвистывая,— вытягивай!..

Брагин молотил кнутом направо и налево и тоже весело покрикивал и посвистывал. Анфиса Ивановна тоже повеселела и на этот раз уже не углубилась в карету, а, напротив, поднялась на ноги и, высунувшись в окошко, смотрела вдаль, желая поскорее увидать село Хованщину. То же самое делал и Потапыч, но только совершенно с другою целью. От шибкой езды и качки он снова почувствовал припадок тошноты и снова начинал страдать. Видно было по всему, что старик изнемогал! И действительно, голова его кружилась, сердце усиленно билось, и лицо приняло совершенно зеленый цвет.

Наконец показалась и Хованщина.

— Вот она! — крикнул Абакум.

— Где, где? — спрашивала Анфиса Ивановна и, завозившись, снова вскочила и высунулась в окно.

— Вон за бугорком, ветлы-то!.. Это Хованщина и есть... Вытягивай, вытягивай, Брагин, вытягивай!..

Анфиса Ивановна даже перекрестилась, увидав Хованщину.

Подошла лощинка, внизу которой виднелся мостик, и Абакум еще шибче припустил лошадей... Вдруг на мосту карету как-то шибануло! Сначала она вспрыгнула кверху, потом както опустилась, послышался какой-то треск, и вдруг Анфиса Ивановна и Потапыч, стоявший на ногах, почувствовали, что

пол под ними словно проваливается. Мгновенно схватились они за окна кареты и повисли на них.

— Стой! — кричал Потапыч.

— Вытягивай, Брагин, вытягивай! — кричал Абакум.

— Стой! — кричала Анфиса Ивановна.

Но Абакум ничего не слыхал. Обрадованный, что увидал Хованщину, он продолжал себе весело покрикивать, посвистывать и похлестывать лошадей.

— Стой! стой! дьявол!..

— Вытягивай, вытягивай! — кричал Абакум.

— Стой!

Наконец Абакум остановился, слез с козел и ахнул от удивленья.

— Ну, теперь уж совсем развалилась! — проговорил он.

— Это все ты виноват! — кричала Анфиса Ивановна на Потапыча.

— Вот те здравствуй! как это?

— Известно как!.. вскакивал все, вот и продавил...

— А вы-то не вскакивали!..

— Как же быть-то теперь?

— Да уж теперь не иначе как пешком! — проговорил Абакум и, вынув тавлинку[35], с каким-то особенным наслаждением втянул в свой нос огромную щепоть табаку.

Так и сделали. Анфиса Ивановна подобрала платье и в сопровождении Потапыча, не замедлившего надеть шляпу, пошла полегоньку по дороге к селу.

XXXVIII

Мелитина Петровна не ошиблась: действительно, у предводителя были уже прокурор, исправник, жандармский офицер, мировой судья и непременный член по крестьянским делам присутствия. Все это общество вместе с предводителем и женой его сидело на большой крытой террасе, уставленной разными оранжерейными растениями. На одном конце террасы стоял стол с закуской и винами, к которому иногда и подходило общество подкрепиться и закусить. На небольшом столике, несколько поодаль, лежали сигары и папиросы. Общество расположилось группами и беседовало.

Товарищ прокурора был мужчина среднего роста, с продолговатым сухим лицом, оловянными презрительными глазами и тонкими, поджатыми губами — тип петербургского

чиновника из правоведов. Он носил бакенбарды, какими обыкновенно украшают себя прокуроры, а следовательно, и товарищи их; усы брил и одевался, как вообще одеваются прокуроры. Он сидел, развалясь на кресле и покачивая ногой. В уезде звали его «Я полагал бы», потому что, оканчивая на суде свои заключения, он говорил всегда: «В силу сего вышеприведенного я полагал бы...»,— причем всегда как-то особенно напирал на слог *гáл*. Когда «Я полагал бы» говорил на суде, то он говорил так, как будто против всего сказанного им никаких возражений быть не может, причем хлопал себя по колену ладонью, вертел в руках карандаш и когда приостанавливался, то ставил карандашом на лежавшем листе бумаги точку и точку эту довольно долго развертывал. Походку «Я полагал бы» имел уверенную, твердую, и когда говорил не на суде, а в обществе, то говорил не разговорным языком, а отборными фразами, очень громко и с некоторою прокурорской интонацией; но, не имея в руках карандаша, видимо смущался и в таких случаях прибегал к ногтям, на которые постоянно и смотрел, очень близко поднося их к глазам.

Исправник, тоненький рыженький мужчина, сидевший постоянно как-то перевив одну ногу за другую, был в синих панталонах, белом жилете с форменными пуговицами, со Станиславом на шее, носил усы и бакенбарды по-военному. Говорил очень скоро, причем очень часто мигал и делал руками такие жесты, которыми хотел как будто еще более убедить, что все сказанное им есть сущая правда. Он имел привычку шмурыгать цепочку и закручивать усы, хотя в сущности в его наружности ничего военного не было. Исправник всегда имел при себе кабинетный портрет губернатора, который всем показывал, говоря: «Вчера губернатор прислал мне свой портрет, посмотрите, какая прекрасная фотография... Красивый мужчина!»

Жандармский офицер был человек средних лет, но молодившийся и довольно красивой наружности, вследствие чего дамы называли его «Опасным Васильком». Он был большой руки франт. Воротник его вицмундира был вышиною не более как в палец, что давало возможность значительно выставлять на вид как снег белые воротнички рубашки, всегда торчавшие безукоризненно, почему мировой судья уверял, что жандармский офицер носит воротнички бумажные и меняет их раз пять в день. Как и большая часть его сослуживцев,

он старался казаться человеком в высшей степени деликатным, предупредительным и обладающим самыми изящными манерами. На красивых руках он носил множество дорогих перстней; когда вынимал из своего щегольского серебряного портсигара папиросу, он спрашивал даже курящих — не беспокоит ли дымом? — и когда закуривал папиросы, всегда както особенно живописно оттопыривал мизинец, кончавшийся длинным-предлинным и заостренным ногтем. Сапог он не употреблял, а носил лаковые штиблеты с пуговочками, вицмундир его был из самого тонкого сукна, и вообще весь костюм самого безукоризненного качества.

Мировой судья был человек тоже средних лет, брюнет с весьма симпатичным лицом, носил бороду, в которой коегде пробивалась седина, и ходил с палкой. Судья говорил тихо, баритоном, серьезно, без улыбки и всегда что-нибудь сочинял. На нем были: шелковый летний пиджак цвета *берфре,* такие же панталоны, башмаки и соломенная шляпа от Лемерсье с большими полями. Вообще он смотрел барином. Так как мировой судья слегка поражен был параличом, то ходил он тихо, прихрамывая на левую ногу и выделывая какие-то судорожные движения пальцами левой руки. Он постоянно придумывал разные анекдоты, а так как передавал их весьма серьезно, то многие верили в справедливость слышанного и в свою очередь передавали другим за истину.

Непременный член или, как он сам себя называл,—article indispensable* был сухой высокий мужчина с длинной седой бородой, остриженный под гребешок, видный, с выразительным, умным лицом, живой, разговорчивый и весьма любезный. На нем был простенький серый пиджак, одинаковый с панталонами, и белая драгунская фуражка. Он смотрел кавалеристом, манеры у него приятные. Ему было нипочем проскакать целую неделю на тележке и сряду несколько ночей переночевать по избам.

Вся компания помещалась на крытой террасе предводительского дома и, разделившись на группы, вела беседу. Исправник шмурыгал цепочкою и, завинтив одну ногу за другую, говорил с прокурором, делал руками жесты, между тем как товарищ прокурора смотрел на свои ногти и, отрывисто кивая головою, размахивал ногой. Жандармский офицер, приняв грациозную позу, говорил с хозяйкой дома. Пред-

---

* Необходимый (неизбежный, неминуемый) член *(франц.).*

водитель ходил по балкону, подходил то к одной, то к другой группе.

Как, однако, ни был обыкновенен происходивший на террасе разговор, но тем не менее во всем обществе проглядывало что-то не совсем обычное. В разговорах часто упоминалось о каких-то подметных письмах и каких-то брошюрках. При этом исправник рассказал в довольно забавной форме, что не дальше как сегодня он, надевая в Рычевской станции пальто, лежавшее все время на террасе, нашел в кармане брошюрку политического содержания с надписью: сия книга принадлежит господину исправнику Ардалиону Васильичу Каблукову.

Затем к исправнику и к жандармскому офицеру приходили какие-то люди; вызывали их в переднюю и что-то сообщали по секрету. Переговорив с этими людьми, исправник и офицер возвращались на террасу и с удовольствием передавали компании, что все идет как по маслу, отлично, превосходно, и выражали уверенность, что все их хлопоты увенчаются самым блестящим успехом. Приводили к ним каких-то мужиков, которых жандармский офицер о чем-то допрашивал и все показанное ими записывал хорошеньким карандашиком в хорошенькую памятную книжечку. Иногда в этих разговорах упоминалось что-то о крокодилах, о г. Знаменском, Асклипиодоте, Анфисе Ивановне, Мелитине Петровне, Нирьюте и других. Приезжал зачем-то становой Дуботолков, сообщил что-то исправнику, пришел на несколько минут на террасу, как-то на ходу и торопливо выпил стакан водки и, закусив наскоро селедкой, опять уехал, не отерев даже губы, по которым текла горчичная подливка.

Словом, в доме предводителя происходило что-то такое, выходившее из ряда обыкновенного. Все, видимо, находились в возбужденном состоянии, и только один мировой судья да член присутствия как-то подшучивали, глядя на исправника, прокурора и «Опасного Василька», и предлагали пари, что все предпринятое ими кончится ничем. Сначала на шутки эти отвечали шутками же, но, когда мировой судья принялся уверять, что все они, подобно Пошлепкиной[36], «сами себя высекут», жандармский офицер не на шутку рассердился и даже вступил в спор с мировым судьею. Неизвестно, чем бы весь этот спор покончился, если бы в этот самый момент не показалась на террасе утомленная и измученная Анфиса Ивановна.

Все даже ахнули от удивления.

— Анфиса Ивановна, милая, дорогая! — заговорила жена предводителя,— какими судьбами... как я рада...

Но Анфисе Ивановне было не до разговоров.

— Постой, постой! — бормотала она,— дай опомниться, отдохнуть!..

— Да что случилось-то?! — вскрикнули все, только теперь заметив волнение и испуг старушки.

— Ох, уж и не спрашивайте...

— Да что такое?

— Карета развалилась... и я от самого от овражка пешком... Ох, дайте воды кто-нибудь...

— Вы не хотите ли, дорогая, ко мне в спальню? — спросила предводительша, подавая Анфисе Ивановне стакан воды.— Полежали бы, отдохнули бы.

— Спасибо тебе, спасибо...

— Право, пойдемте-ка!

— Ну что же, пойдем, пойдем...

— Там и чаю покушаете...

— Да я бы теперь выпила чашечку, а то и две, пожалуй... в горле пересохло... Только постой, дай поздороваться с хозяином...— И затем, взглянув на подбежавшего предводителя, прибавила: — Все толстеешь, батюшка!

— Толстею, Анфиса Ивановна! — проговорил предводитель, целуя протянутую ему руку.

— Ешь много да спишь все... вот и толстеешь...— И потом, увидав исправника, проговорила: — А! и ты здесь!..

— Здесь, Анфиса Ивановна, здесь...

И тоже приложился к ручке.

— Да, кстати! Ты с чего это, батюшка, выдумал барынь мосты заставлять чинить... а?

— Это не я, Анфиса Ивановна, а становой.

— Ну так ты вот и скажи своему становому, что он дурак! На это мужики есть, а не барыни.

И снова обратясь к предводительше, она прибавила:

— Не поверишь ли, голубушка, одолели просто! пристали, чтобы я мост починила... Сама посуди!.. ну, как я починю его!.. а то вдруг какого-то косматого чиновника прислали, какие-то там повинности взыскать с меня... Я говорю: денег у меня нет теперь, а он знать ничего не хочет! вынь да положь!.. «Ах, батюшка, говорю, да неужто у вас там ни гроша денег нет, что ты пристаешь так!.. Вот продам яблоки,

получу деньги, тогда и милости просим!..» Однако ничего, после обошелся, добрый сделался и даже очки мне свои отдал! Уж так-то они мне пришлись по глазам, что просто прелесть!.. Долго не отдавал, но я так к нему пристала, что наконец не выдержал и отдал...

И затем, посмотрев на жандармского офицера, она спросила шепотом:

— А этот офицерик-то кто такой?..

— Жандармский.

— Ишь франт какой!.. Недурен! — прошептала она и потом прибавила громко: — Однако с остальными я после познакомлюсь, а теперь веди меня к себе, я полежу немножечко... устала... И чайку вели туда подать... Да булочек нет ли?

Хозяйка подхватила ее с одной стороны, хозяин с другой, и оба повели старушку в спальню.

— Ну, вот что, обжора!..— проговорила Анфиса Ивановна, усаживаясь в мягкое кресло и обращаясь с улыбкою к предводителю: — Я к тебе по делу приехала, ты мне устрой...

— Приказывайте, Анфиса Ивановна, приказывайте, дорогая...

— Приказывать, мой милый, не хочу, а просить буду слезно... Вот, первым делом дарю тебе дюжину носков собственного моего вязанья,— проговорила она, подавая предводителю носки,— носи на доброе здоровье... шелковые, хорошие... ведь я знаю, что сухая ложка рот дерет!.. а вторым делом — на-ка тебе вот эту грамотку и внимательно прочти ее...

И она подала записку, писанную ей «для памяти» отцом Иваном.

— Почитай-ка, почитай-ка... и потом скажи, можно ли дело это обделать?.. Только помни, что отказов я не люблю. Это ты намотай себе на ус... да, намотай!..

А пока предводитель читал записку, Анфиса Ивановна говорила предводительше:

— Ты ему много есть не давай, а заставляй ходить больше... теперь летнее время, ходить хорошо... И потом вот еще что: каждый месяц по ложке касторки... Непременно... Ты посмотри-ка, как у него на шее жилы-то напрыжились! Долго ли до греха, сохрани господи!..

— Ведь не послушается, пожалуй! — перебила ее предводительша.

— Пустяки! послушается! Всякий мужчина под башмаком у женщины... или у жены, или у любовницы.

И, пригнув к себе предводительшу, она спросила ее на ухо:

— У твоего-то есть «мерзавка» какая-нибудь?

— Не знаю...

— Наверное есть!.. где-нибудь в прачечной или на птичном, а уж есть непременно!.. Сама была замужем... Хорошо знаю! Уж я какая была... кровь с молоком... а все-таки помимо меня еще две «мерзавки» в доме жили.

И, заметив, что предводитель покончил чтение, обратилась к нему:

— Ну что, дочитал?

— Дочитал.

— Можно?

— Конечно, можно... Кстати и прокурор у меня теперь...

— Ну, вот и отлично. Так ты ступай и поговори с ним, а потом приди сказать мне... Только вот что: ты не говори ему, что я тебе носки подарила... Пожалуй, обидится, почему не ему... а я ему после... Слышишь, после... Ну ступай же, ступай... да чайку-то мне пришли... да булочек.

Предводитель вышел, а Анфиса Ивановна пустилась в беседу с его женой.

XXXIX

Приезд старухи Столбиковой породил в обществе целый ряд догадок и предположений. Всех занимал вопрос: зачем приехала Анфиса Ивановна, так как всем было известно, что Анфиса Ивановна давным-давно никуда не выезжала. Попытали было узнать что-нибудь от Потапыча, но Потапыч, успевший уже выпить и закусить, на все вопросы отвечал только: «Не могу знать», и больше ничего не говорил. Кучер Абакум тоже ничего не знал.

Более же всех Анфиса Ивановна смутила жандармского офицера и исправника. Они не шутя ломали головы, стараясь отгадать причину приезда, но как они ни старались открыть тайну, а пришлось ограничиться лишь одними догадками, да и догадки эти были крайне сбивчивы, ибо один говорил, что, вероятно, Анфиса Ивановна приехала похлопотать насчет поимки крокодилов, а другой — об отсрочке земских платежей. Только один мировой судья уверял, что Анфиса

Ивановна приехала с единственной целью познакомиться с «Опасным Васильком», прослышав про его красоту и изящные манеры, и даже посоветовал жандармскому офицеру приударить за вдовушкой и принять в соображение, что у нее превосходное имение и что жить ей, по всей вероятности, остается очень недолго.

Немного погодя предводитель положил конец всем догадкам, объявив цель приезда Анфисы Ивановны.

За обедом Анфиса Ивановна была особенно весела, во-первых, потому, что она достаточно отдохнула, а во-вторых, и потому, что товарищ прокурора дал ей слово немедленно же просить брата о прекращении асклипиодотовского дела и, сверх того, заранее поручился, что просьба его всенепременно будет исполнена в точности. Таковая любезность прокурора окончательно пленила Анфису Ивановну, и она придумать не могла, чем и как именно отблагодарить его за это.

После обеда все общество опять перешло на балкон.

— А что, как Мелитина Петровна поживает,— спросил исправник, подсаживаясь к Анфисе Ивановне.

— Ничего, живет.

— Дома она?

— Нет, ушла куда-то... сегодня и не видала ее...

— Да, но все-таки она в Грачевке? не уехала?

— Куда же ей уехать!.. Ведь муж ее на *сражениях*...

— Получает она от него письма?

— А позволь тебя спросить, чем он писать-то будет? — спросила Анфиса Ивановна.

— Как чем? рукой! — вскрикнул исправник.

— То-то и дело, что ему *на сражениях* и руки и ноги оторвало, поэтому и не пишет...

— А она мне очень понравилась! — проговорил мировой судья, подходя к Анфисе Ивановне.— Я имел удовольствие видеть ее у себя в камере...

— Ах, боже мой! — почти вскрикнула Анфиса Ивановна, всплеснув руками.— Вот память-то! Ведь я и забыла, батюшка, поблагодарить тебя за *тришкинский процесс*. Прости ради бога, совсем из ума вышло...

Судья сконфузился.

— За что же! — бомотал он...— Уж если благодарить, так надо благодарить не меня, а Мелитину Петровну...

— Так это она была вашим защитником? — спросил непременный член.

— Она, она...

— Молодец барыня, молодец! Очень сожалею, что незнаком с нею, а то непременно ручку поцеловал бы у нее... Прелесть просто!.. Вы, пожалуйста, передайте это Мелитине Петровне.

— Хорошо, передам...

— А ты было Анфису Ивановну в острог приговорил? — спросил непременный член, быстро обернувшись к судье и уставив на него большущие глаза свои.

— Нет, не в острог, а к аресту на четыре дня.

— Молодец, нечего сказать!

— Да помнишь ли,— оправдывался судья,— за самоуправство по сто сорок второй статье...

— Да черт бы тебя подрал совсем с твоими статьями! — горячился непременный член.— Ну как же Анфису Ивановну в арестантскую-то сажать!..

— Куда же?

— Никуда нельзя...

— Это невозможно...

— Врешь, возможно! Ее можно посадить на диван, на кресло, а уж никак не в арестантскую!.. Шут ты гороховый!.. Смешное, право, дело! Вообразил себе, что если его выбрали в судьи, так уж он может всех сажать...

— Успокойся! — перебил его судья,— дело кончилось миром...

— А если бы не кончилось!.. Если бы этот, черт бы его подрал, Тришка, Гришка, Мартышка заупрямился!..

— Тогда, конечно, пришлось бы отсидеть...

— Отсидеть! — перебил его непременный член и, обратясь затем к Анфисе Ивановне, прибавил: — Пожалуйста, прошу вас, не забудьте... передайте Мелитине Петровне, что я от нее в восторге и что целую у нее и ручки и ножки...

— Непременно...

— А она, кстати, очень хорошенькая! — заметил судья.

— Отличная бабенка — и говорить нечего!

После чая Анфиса Ивановна собралась было домой, но и хозяин и хозяйка упросили ее остаться у них переночевать и хорошенько отдохнуть. Приглашение было так радушно, что старушка согласилась, однако с условием, чтобы ее извинили, если она пораньше других уйдет спать.

— Слава богу! — проговорил исправник на ухо прокурору,— я очень рад, что она остается.

— Да, это вышло очень кстати...

Когда совсем стемнело, к крыльцу предводительского дома было подано два тарантаса. Прокурор, исправник и жандармский офицер взялись за шапки и, распрощавшись со всеми, вышли на крыльцо.

— А что,— спросил исправник,— не подвязать ли колокольчики?..

— Конечно, конечно! — подхватил жандармский.

Колокольчики были подвязаны, бубенчики сняты, и чиновники покатили в село Рычи.

— Куда их в такую темноть-то понесло? — спросила Анфиса Ивановна, прислушиваясь к шуму отъехавших экипажей.— Вот переломают себе шеи, тогда и будут знать, как по ночам-то ездить...

— А нехай их! — проговорил непременный член и, подойдя к окну, как-то особенно нервно забарабанил пальцами по стеклу.

XL

В тот же день «общество ревнителей» имело свое заседание и, согласно состоявшегося журнального постановления, порешило с наступлением сумерек открыть действия общества, приступить к ловле крокодилов. Так как описываемый день был воскресный, то почти все члены были налицо, и собрание вышло самое оживленное. Речей было произнесено несколько, дебаты велись шумно, но только без очереди, а одновременно, так как ораторы, не будучи в силах сдерживать себя и, сверх того, опасаясь позабыть озарявшие их мысли, торопились их высказывать, справедливо требуя притом о скорейшем занесении таковых в журнал, в том соображении, что «написано пером, не вырубишь топором», тогда как «слово не воробей, и за хвост его не поймаешь». Как ни хлопотал г. Знаменский водворить порядок, как ни старался внушить обществу, что для ведения дебатов необходимо соблюдать очередь, как ни звонил председатель Нирьют в колокольчик, призывая собрание к порядку, но ни внушения г. Знаменского, ни перезвон Нирьюта не могли достигнуть желаемых результатов. Г. Знаменский выходил из себя, пот катился с него ручьями, он метался по комнате, подбегая то к одному, то к другому члену, и в отчаянии хотел

было бежать даже из собрания; но, припомнив, что то же самое происходит даже и на собраниях земских, решил терпеть до конца. Секретарь собрания, дьякон Космолинский, поместившийся за особым столиком, разложил перед собою несколько листов бумаги, написал на одном из них весьма красивым почерком «Журнал заседания» и принялся было записывать дебаты, но так как рука его никаким образом не могла поспеть за течением произносившихся мыслей, то он сразу же спутался, а чтобы не быть праздным зрителем, кончил тем, что начал писать все, что только приходило ему в голову. Поэтому к концу заседания на трех исписанных им листах были изложены все молитвы, которые он знал только наизусть. Но так как журнал по случаю всеобщего утомления никем прочитан не был, то дело кончилось тем, что грамотные его подписали, а неграмотные скрепили, начертив на нем несколько крестов.

В этом заседании были осмотрены все снасти, предназначавшиеся для ловли крокодилов. Снастей таковых было несколько, и все они оказались наилучшей доброты. Всего больше шумели и спорили, когда рассматривался вопрос о приспособлении этих снастей к делу и вообще какой именно тактики держаться при ловле крокодилов. Одни предлагали опустить на дно и потом вдруг вытащить их, а другие, наоборот, доказывали, что опускать на дно нельзя, ибо крокодилы могут оказаться внизу сетей, а что всего лучше применить систему забродов. Спор этот продолжался более часа. Наконец г. Знаменский, добившийся кое-как слова, предложил одною сетью перегородить реку повыше того места, где чаще всего появлялся крокодил, другую же сеть опустить в воду, пониже сказанного места, и тянуть по направлению к первой сети. Но так как крокодилы могут выскакивать из воды в камыши и обратно, то г. Знаменский предложил расставить в камышах верховых, вооружив их железными вилами и топорами. Соглашаясь с главными основаниями предложения, некоторые из членов предлагали, однако, вооружить верховых не вилами и топорами, а ружьями и трещотками, а если трещоток не окажется, то дать им арапники, и чтобы арапниками этими они хлопали, как хлопают обыкновенно охотники, выпугивая из кустов зайцев. Предложение это было принято почти единогласно. Затем г. Знаменский доложил собранию, что им было вычитано у доктора Эдуарда Фогеля, что крокодилы имеют большую склонность к музыке; что бы-

ли примеры на берегах озера Малагарази, что к пастухам, игравшим на каком-нибудь музыкальном инструменте, подползали крокодилы, слушали с увлечением музыку, и когда пастухи, увидав их, переставали играть, то крокодилы их пожирали. Ввиду этого г. Знаменский считал бы весьма полезным — попросить Нирьюта захватить с собою гитару, сесть в камыши и сыграть что-либо. Предложение это вызвало общий хохот и, как это случается даже и на более серьезных собраниях, несколько умиротворило расходившиеся страсти, и программа действий была немедленно утверждена.

Затем собрание принялось за распределение каждому члену его обязанностей с целию избежать толкотни и суеты: чтобы члены не совались туда, куда их не спрашивают; чтобы верховые не лезли в воду тянуть сеть, а пешие не становились на места, назначенные верховым. Распределение это возбудило много шума и споров. Никому не хотелось лезть в воду, а другие, напротив, не желали быть в цепи, где, стоя на довольно далеком расстоянии, они рисковали, во-первых, ничего не видеть, а во-вторых, быть забытыми при раздаче водочной порции. Много спорили, много шумели, но наконец и это дело уладилось, и каждому члену было назначено, что именно он должен был делать. Г. Знаменский, говоривший и хлопотавший более всех, был в совершенном изнеможении, а так как и остальные члены тоже поизмучились, то общество и порешило послать за водкой и подкрепить свои силы. С появлением водки собрание вздохнуло свободнее!

В это самое время дверь с шумом распахнулась, и в комнату вошел какой-то неизвестный мужчина мрачного вида, с косыми глазами, бритым подбородком и черными усами вроде двух громадных запятых, поднятых кверху. На вошедшем был нанковый пиджак, такие же брюки, заправленные за голенища длинных сапог, и летняя белая фуражка военного покроя. Висевший за спиной мешок и длинная палка в руках указывали, что то был какой-то пешеход. Войдя в комнату и сняв фуражку, «мрачный незнакомец» помолился на образа и поклонился обществу.

— Мир честной компании! — проговорил он, подняв кверху правую руку наподобие Любима Торцова[37].— Возвращаюсь с богомолья из Киева, из Воронежа, но, услыхав, что у вас здесь неладно, что завелась какая-то нечисть, которую вы собираетесь изловить, задумал переночевать и предложить вам свои услуги. Из военных я, прапорщик в отставке,

но бывал во многих сражениях и баталиях и за отечество немало крови пролил... Не будь на свете водки, давным бы давно в полковничьем чине состоял. Походы ломал я дальние, на краю света был и даже в тех самых местах, где эта самая нечисть зародилась и размножилась... Коли хотите принять в компанию, пособить могу... А прежде всего стаканчик водки, а то устал очень, да и в глотке так пересохло, что словно мне суконкой вытерли.

Собрание было весьма удивлено появлением «мрачного незнакомца», тем не менее, однако, поспешило угостить его водкой и колбасой с белым хлебом. Так как о принятии его в число членов требовалось обсуждение собрания, то г. Знаменский пригласил его в особую комнату, предложил чаю, а сам снова вернулся в залу заседания. Там уже опять шли оживленные прения, и предметом этих прений был «мрачный незнакомец». Некоторые из членов были против «незнакомца», а некоторые, наоборот,— за него. В числе противников был и Александр Васильевич Соколов, уверявший собрание, что «незнакомец» все врет, что он вовсе не офицер, а просто переодетый жандарм, которого он видел как будто на какой-то станции железной дороги, член же Чурносов опровергал это сообщение и заверял, что «незнакомца» этого он встречал в полицейском управлении в числе занимавшихся там писцов. Вспомнили пророчество Ивана Максимовича насчет шейнего и затылочного и порешили «незнакомца» не принимать. Г. Знаменский выходил из себя и начал доказывать, что собранию нет никакой надобности входить в рассмотрение послужного списка «мрачного незнакомца», что «незнакомец» этот мог быть и жандармом и писарем, а прежде участвовать в баталиях, ломать походы и проливать кровь за отечество. Что им нужны люди, отличающиеся храбростью, и что собрание, не имея под рукою данных, опровергающих храбрость «незнакомца», не имеет права не доверять ей! Целых полчаса продолжались споры, наконец справедливые и вполне основательные доводы г. Знаменского одержали верх, и «мрачный незнакомец» был торжественно введен в комнату заседания и поздравлен с выбором в члены общества. По поводу этого выпили еще по стаканчику, а затем «мрачный незнакомец» попросил г. Знаменского рассказать, как именно будет производиться ловля крокодилов. Г. Знаменский подробно рассказал ему программу, и программой этой «мрачный незнакомец» остался доволен. Он только выразил сожале-

ние, что забыли сад Анфисы Ивановны, на который, однако, следовало бы обратить внимание, так как в саду, и именно в кустах акации, крокодилы однажды появились и были усмотрены садовником Брагиным и ночным сторожем Карпом. Собрание спохватилось, что действительно столь важный пункт был совершенно забыт, и поспешило пополнить этот пробел. «Мрачный незнакомец» объявил, что пункт этот займет он. Собрание поблагодарило и предложило ему двухствольное ружье, но он отказался и, вынув из жилетного кармана свисток, объявил, что для него совершенно достаточно этого, так как известно, что крокодилы боятся свистков. Г. Знаменский был этим очень удивлен, но когда «незнакомец» объяснил, что открытие это принадлежит новейшему времени, то г. Знаменский почувствовал к прибывшему еще более уважения. Затем «мрачный незнакомец» предложил расставить по камышам несколько волчьих капканов, а ловлю начать с наступлением сумерек. Член общества Александр Васильевич Соколов, как человек практический, сверх возложенной на него собранием обязанности в числе прочих быть у сети, преграждающей реку, решился в то же время воспользоваться случаем и сделать коммерческую операцию. Убедившись из прежних попыток общества, что во время ловли крокодилов попадалось в сети огромное количество лещей и судаков, и, сверх того, имея в виду, что под влиянием страха никому из владельцев реки не придет в голову запретить ловлю, за которую до этого обыкновенно взималась плата,— Александр Васильевич немедленно распорядился заготовлением кадушек и соли. Все это он приказал перевезти на берег к тому месту, где будет производиться ловля, чтобы, буде крокодилов не окажется, то иметь под руками все необходимое для солки леща и судака, которых он не без основания рассчитывал сбыть выгодно ввиду имеющего наступить успенского поста. Александр Васильевич отлично знал, когда *в ходу гвоздь, стручок, фотонафтиль, карамель, подкова, осетр,* и потому ничего нет удивительного, что он и в данную минуту сейчас смекнул, что тут убытка не будет, и потому строго приказал своей супруге и сыну быть на месте, нанять двух-трех баб и не дремать при солке. Он рассчитывал заготовить одного *малосолу*, во-первых, потому, что до успенского поста времени остается *несколько* и лещу некогда будет *пустить дух*, а во-вторых, и по той причине, *что об эту пору публика более как-то уважает малосол, чем креп-*

кую соль, Александр Васильевич с таким усердием занялся этим делом, что часам к пяти вечера четыре большие кадушки и мешок соли были уже уложены в телегу, и телега в сопровождении супруги Соколова, сына его и трех баб, которым за труды было обещано дать мелкой рыбешки на уху, отправилась по направлению к деревне Грачевке.

Немного погодя к лавке Соколова стали подваливать и члены общества, а часам к семи все были в сборе, и пешие, и верховые, и телега для перевозки снастей... Так как все снасти и другие орудия сохранялись в лавке Соколова, то каждому и было роздано то, что выпало ему на долю. Затем, перекрестившись, толпа эта, человек в тридцать, к которой присоединилось еще человек сорок мужиков, двинулась к Грачевке.

XLI

Почти одновременно с этим отец Иван, усевшись у растворенного окна, принялся было за чай. Но только что успел он выпить один стакан, как к крыльцу его домика подкатили известные нам тарантасы. Сначала он было обрадовался гостям и поспешил к ним навстречу, но, увидав в числе приехавших жандармский мундир, смутился, оробел и стал как вкопанный.

— Что, не ожидали, не ожидали! — весело и как-то шутя кричал исправник, сбрасывая с себя шинель и дружески хлопая отца Ивана по руке,— не ожидали!

— Действительно, не ожидал!..— пробормотал отец Иван.

— А мы вот взяли да и нагрянули!.. Думаем себе: дай-ка навестим батюшку рычевского... давно не видались...

— Милости просим...

Приехавшие вошли в залу, и исправник принялся суетливо знакомить отца Ивана с товарищем прокурора и «Опасным Васильком».

— Всё люди хорошие,— говорил он,— приятели, друзья!..

Отец Иван пригласил их в гостиную, усадил на диван и предложил чаю.

— Некогда бы! Ну, да по стакану выпьем! — проговорил исправник.

Подали чай.

— Ну что, как поживаешь?

— Понемножку-с...

— Лошадки как?

— Слава богу-с...

— Рысачки есть?

— Есть один.

— Как-нибудь заеду, посмотрю,— проговорил исправник и затем, обратясь к прокурору и *Васильку,* прибавил: — Вот, господа, посмотрели бы, лошадки-то какие! Прелесть! Большой охотник!.. И не поверите ли, все сам действует... и подковывает и наездничает...

— Нет, уж стар становлюсь! — перебил его отец Иван,— лениться стал...

— Рассказывайте!.. Знаем мы это!.. А вы, говорят, в Москве недавно были?

— Да, бог привел... посмотрел на старости лет древнюю столицу, нашу православную старушку... кормилицу...

— Именно, именно что кормилица... Сколько миллионов русских вынянчила да на ноги поставила!.. Сочтите-ка!

И исправник даже умилился немножко...

— А что, сынок как? — спросил он немного погодя.

— Ничего, здоров.

— Говорят, в управу секретарем определить хотите?

— Да, обещал председатель...

— Доброе дело, доброе дело! Пусть послужит, человек молодой, развитый, энергичный... а нам таких и нужно!..— И, пригнувшись к уху отца Ивана, он прибавил шепотом: — Правду сказать: старичье-то надоело уж!.. Чего от них дожидаться?.. Ничего! Только небо коптят! — И потом он спросил громко: — А что, дома он?

— Кто?

— Асклипиодот Иванович?

— Нет-с.

— Где же он?

— Да в Грачевку послал я его, к Анфисе Ивановне...

— Ах, боже мой! да ее дома нет! — вскрикнул исправник.— Она у предводителя, сейчас вместе обедали, и даже ночевать будет там...

И исправник принялся рассказывать отцу Ивану, как у Анфисы Ивановны сломалась дорогой карета, как пришлось идти ей «по образу пешего хождения», как обругала его за мост и за требование повинностей, и даже рассказал, как она отняла очки у письмоводителя.

И все это передал он весело, шутя и с таким юмором, что у отца Ивана как-то невольно от души отлегло.

— Ведь она по вашему же делу поехала к предводителю! — прибавил он.

— То есть по делу сына,— поправил его отец Иван.

— Ну да.

— А вам неизвестно,— спросил отец Иван вкрадчиво и как-то искоса поглядывая на товарища прокурора,— просьба Анфисы Ивановны была уважена?

— Известно...

— Что же?

— Все улажено, все устроено...

— Да,— перебил товарищ прокурора,— я дал слово Анфисе Ивановне похлопотать за вашего сына и заранее уверен, что дело его будет прекращено... Я обещал Анфисе Ивановне... обещал...

Весть, что дело сына улажено, еще более ободрила отца Ивана. Он принялся благодарить товарища прокурора, а затем на радостях предложил гостям выпить водочки и закусить чем бог послал. Но гости от водки и от закуски отказались.

— Мы ведь отчасти по делу,— проговорил исправник опять-таки шутя и весело, — только вы, пожалуйста, не пугайтесь, не волнуйтесь, а главное, не обращайте на нас никакого внимания...

— Что такое? — спросил отец Иван.

— Ну вот, так и знал,— вскрикнул исправник, всплеснув руками и глядя на отца Ивана.— И побледнел, и перепугался, и трясется весь... точно школьник какой!.. Говорят вам, что все вздор и пустяки... Нечего волноваться... Сидите себе на диване, пейте свой чай преспокойно...

— Объясните, ради бога...

— Хочется! хочется непременно, а? хочется?!

— Конечно...

— Ну извольте...

И исправник, игриво и шутя передав цель приезда, опять-таки принялся тараторить и упрашивать отца Ивана не беспокоиться, не волноваться и пить себе чай на доброе здоровье.

— Мы произведем обыск, составим акт, и конец.

И, проговорив это, он попросил только «на минуточку побеспокоиться и указать им комнату Асклипиодота».

Отец Иван указал комнату. Все вошли в нее.

— А! — проговорил исправник, оглядывая мебель: комод,

стол, шкаф... И вдруг, повернувшись к отцу Ивану, спросил:
— А ключиков у вас нет?

— Нет, ключи у него...

— Жаль, очень жаль, ломать придется... Как же быть-то! Топорик бы, что ли...

— Надо понятых пригласить,— заметил товарищ прокурора.

— Непременно, непременно! — подхватил исправник.

Вошли понятые с громом и шумом, а исправник подбежал к отцу Ивану, взял его за плечо, повернул назад и, подведя к двери, заговорил:

— А теперь ступайте себе; не волнуйтесь, не пугайтесь и забудьте об нас совсем, как будто нас и нет!..

Отец Иван вышел в залу и почувствовал, что в голове у него какой-то туман, какой-то хаос... в глазах позеленело, а в ушах происходила какая-то трескотня, какой-то шум, как будто дом обрушился на него и придавил его своею тяжестью! Машинально подошел он к окну, машинально отворил его дрожавшими и похолодевшими руками... взглянул в сумрак ночи... а там, в сумраке этом, у крыльца дома, у ворот, у палисадника двигаются какие-то тени, и в одной из этих теней он узнает станового Дуботолкова. Отец Иван отшатнулся даже, закрыл глаза рукою, а ноги между тем отказывались служить! «Не тревожьтесь, не пугайтесь, не волнуйтесь!» — трещало в его ушах, но вдруг как будто кто-то ударил его по голове, все закружилось, завертелось, и он немощно опустился в кресло...

Что было дальше, он не помнил, и только утром очнулся он. Он был уже в кровати, на голове лежали холодные компрессы, возле него сидела Веденевна... Он хотел ее спросить о чем-то, но язык не двигался, он только промычал что-то...

А Веденевна, как-то улыбаясь и лаская костлявой рукой своей руку отца Ивана, шептала ему на ухо:

— Ничевохонько не нашли, ничевохонько... с чем приехали, с тем и уехали... А ты, сердечный, усни теперь...

Отец Иван хотел было перекреститься, но рука не поднялась...

XLII

Покончив в доме отца Ивана, тарантасы покатили в усадьбу Анфисы Ивановны, которая тоже была окружена какими-

то таинственными людьми и во главе которых опять-таки находился становой Дуботолков. В доме Анфисы Ивановны произошло то же самое, что и в доме отца Ивана, с тою только разницей, что Потапыч, Домна и Дарья Федоровна с наступлением сумерек, боясь нападения крокодилов, заперли все двери и окна и ни за что не хотели впустить в дом приехавших. «Барыни нет дома! — отвечали они на раздававшийся снаружи стук в дверь.— А потому и вам здесь нечего делать!» — «Отоприте, именем закона!» — горячился жандармский офицер, но так как старикам закон был не писан, то закон был заменен хитростью, и действительно, когда исправник объявил старикам, что приехал он не в гости, а ловить крокодилов и что об этом просила его сама Анфиса Ивановна, старики уступили и отперли дверь. Мелитины Петровны дома не было, и никто из прислуги не мог объяснить, куда и когда она ушла.

В комнате Мелитины Петровны тоже ничего подозрительного не оказалось; в комоде и шкафу, кроме одного старого платья, в котором она приехала в Грачевку, да худых, никуда не годных ботинок, ничего не нашлось, и только в углу, под кроватью, была усмотрена большая куча пепла от сожженных бумаг.

— Я говорил, я говорил, что так делать нельзя! — горячился товарищ прокурора.— Надо было внезапно, вдруг... молнией упасть...

— И упадем!.. не уйдут! — возражал исправник.

— Дожидайтесь!.. Правду говорил судья, что мы, как Пошлепкина, сами себя высечем.

— Не беспокойтесь, не уйдут-с...

— А я говорю — уйдут...

— Посмотрим!

Но исправник уже не слушал прокурора. Он выскочил в переднюю и позвал станового.

— Все устроено? — спросил он его.

— Все как следует...

— Живодеров там?

— Там.

— Изволили слышать! — вскрикнул исправник, обратясь к прокурору.

— Слышал... ну что же?

— А то, что где Живодеров, там и смерть!..

Прокурор захохотал даже.

Затем и здесь был составлен акт, скреплен подписом, и прибывшие расположились в доме Анфисы Ивановны ожидать дальнейших результатов принятого дела, а чтобы ожидание не оказалось особенно томительным, исправник скомандовал самовар, скомандовал закуску, которые и не замедлили явиться к услугам нагрянувшей компании.

XLIII

Между тем ночь давно наступила. Это была одна из тех ночей, когда и небо и земля сливаются в одно нераздельное и когда всякий идущий ступает осторожно из боязни слететь куда-нибудь в овраг и протягивает вперед руки из той же боязни на что-нибудь наткнуться. Словом, одна из тех ночей, когда легче слышать, нежели видеть землю. Тучи заволокли все небо и даже на западе не оставили той светлой полоски, глядя на которую можно было бы определить, где кончается земля и где начинается небо.

Но зато среди этой темной ночи берега реки Грачевки, и именно в том месте, где «общество ревнителей» производило ловлю крокодилов, представляли великолепную картину, достойную кисти художника. По случаю темноты обществу пришлось зажечь несколько костров, так как действительно без этих костров нельзя было бы ни снастей разобрать, ни рассмотреть местности. Костры эти, состоявшие из сухого валежника и сухого камыша, багровым заревом освещали и окрестность, и толпившийся вокруг них народ и в какой-то кровавый поток обращали доселе сонную и тихую реку Грачевку. Успели уже оцепить местность на далекое пространство кольцом верховых, на обязанности которых лежало стеречь окрестности и, в случае побега крокодилов, дать сигнал и преследовать их. Все эти верховые были снабжены железными вилами, походившими на трезубец Нептуна. Расставили капканы, а г. Знаменский, несмотря на то, что насилу передвигал от усталости ноги, все-таки поспевает туда и сюда, поощряя и ободряя участвовавших. Сеть, долженствовавшая перегородить реку пониже того места, где купалась Мелитина Петровна, была уже в воде, и к каждому крылу этой сети было приставлено по пяти человек. На обязанности их лежало тащить сеть на берег, как только почувствуют они возню запутавшихся крокодилов, а для более быстрого и верного

исполнения этого у каждого берега было приставлено по одному члену в лодках. Члены эти обязаны были с быстротою молнии, в случае успеха, *завезти* сеть и при этом сильно ботать ботами[38], чтобы помешать крокодилам выпутаться из сети и броситься назад. Пункт этот считался самым важным стратегическим пунктом, так как именно здесь, по общему убеждению, должна была разыграться настоящая драма.

На этом-то самом месте расположился Соколов с своими кадушками и солью. Он был в самом возбужденном состоянии. Он то подбегал к берегу, то к кадушкам, то расставлял столы, на которых должна была производиться чистка рыбы; то заставлял сына своего, который по молодости лет собирался было задать лезгача к толпившимся неподалеку бабам и девкам, натачивать хорошенько ножи; словом, член Соколов ни минуты не был спокоен и все упрашивал г. Знаменского приказать поскорее начать. Между нами, член этот побаивался и того, как бы владельцы реки не вздумали прибыть на место и отобрать рыбу.

Тем временем фельдшер Нирьют распоряжался погружением в воду той сети, которую должны были тянуть по реке, к тому месту, где преграждалась река уже погруженною сетью. Чтобы захватить большее пространство воды, Нирьют опустил сеть гораздо выше того места, где купалась Мелитина Петровна, и, надо отдать справедливость, поручение это исполнил блистательно. Во все время, пока опускалась сеть, тишина соблюдалась страшная! Все распоряжения отдавались шепотом, и только плеск воды изредка нарушал эту тишину. Сеть была опущена, и к каждому ее крылу было приставлено по семи человек, на которых была возложена обязанность тянуть сеть.

Итак, то место реки, где чаще всего появлялся крокодил, было охвачено сетями, но крокодил показывался тоже и в камышах, густо покрывавших на далекое пространство берег и затем примыкавших к лесу, отделяющему деревню Грачевку от села Рычей. Надо было заставить крокодилов, буде они скрываются в камышах, нырнуть в воду. Для этого весь противоположный край камышей, начиная от самого леса, был обставлен цепью загонщиков. Загонщики эти, держа друг друга за руки, по данному сигналу должны были идти камышами по направлению к реке. Так как людям этим более всего грозила опасность и так как при малейшем нападении крокодилов цепь могла дрогнуть и обратиться в бегство,

то для предупреждения этого необходимо было выбрать командирами цепи людей наиболее храбрых и обладающих железною волей. Люди эти не замедлили явиться в силу того непреложного закона, что война родит героев. Начальство приняли на себя: член г. Знаменский и «мрачный незнакомец».

Затем оставалось укрепить левый берег реки, на котором хотя и была расположена деревня Грачевка, но все-таки крокодилы могли пробраться и бежать, преследование же их, по случаю расположенных по берегу огородов, обнесенных плетнями, делалось почти невозможным. Для предупреждения этого весь левый берег был тоже установлен цепью, но так как членов не хватило, то для составления этой цепи были приглашены мужики и бабы, которые за два ведра водки охотно согласились принять на себя эту обязанность. Командование этой цепью г. Знаменский поручил Кузьме Васильевичу Чурносову. Итак, все пути для бегства крокодилов были отрезаны. Осталось подать сигнал, чтобы вся эта машина пришла в действие. Нирьют, обойдя все посты и убедившись, что все готово и отличается примерным порядком и что дух людей превосходен, возвратился к той сети, которую должны были тянуть по реке, взял ружье и, сделав выстрел на воздух, подал тем сигнал к открытию действий. Толпа как будто дрогнула, но не прошло и минуты, как все снова стихло тою зловещею тишиной, которая охватывает невольным трепетом, пророча о наступающей грозе... Все замерло!.. ни одного возгласа!.. ни одного громко сказанного слова... слышался только отдаленный треск камышей,— это подвигалась цепь загонщиков. Слышался тихий плеск воды — это подвигалась громадная сеть... Все покорилось этой воцарившейся тишине; даже затих член Соколов, забыв про свои кадушки!.. Тихо и торжественно, впереди двигавшейся сети, плыл на челноке дьякон Космолинский... Он плыл стоя, заправив под шляпу свои длинные волосы и мягко огребаясь веслом... Слышно было даже, как капли с весла падали в воду... Вдруг в темноте, и именно в цепи загонщиков, раздался отчаянный крик. Кто-то крикнул, что крокодил схватил его за ногу и грызет ее...

— Сомкнись! — ревел где-то во мраке «мрачный незнакомец».

Цепь загонщиков дрогнула, намереваясь бежать, но «незнакомец» не допустил. Он был впереди и, выбросив вон

схваченного крокодилом, заставил цепь снова сомкнуться... Стоявшие не берегу насторожились...

Опять раздался новый крик, и опять голос «незнакомца» кричал:

— Сомкнись!..

Но тут вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Цепь загонщиков застонала, и из камышей раздались десятки голосов, моливших о помощи и кричавших, что ноги их грызут крокодилы.

— Сомкнись! — командовал «незнакомец».

Но на этот раз никто уже не слушал его. Цепь дрогнула, и те, что остались еще не схваченными, обратились в бегство... «Незнакомец» разразился бранью, со сжатыми кулаками бросился было останавливать бежавших, но никто ему не повиновался. Рассерженный, разъяренный, он вместе с Знаменским выбежал на реку за подкреплением, но едва достиг берега, как вдруг из-под ног его, словно из земли, выросла какая-то фигура.

— Крокодил! — закричал было Знаменский, но, вдруг услыхав хохот, замер на месте.

То был Асклипиодот Психологов!.. Все ахнули, и только один «незнакомец» сохранил полное хладнокровие и, подойдя к Асклипиодоту, проговорил, раскланявшись:

— Честь имею представиться, сыщик Живодеров.

И, предложив Асклипиодоту руку, вместе с ним пошел по направлению к усадьбе Анфисы Ивановны.

В камышах между тем продолжали раздаваться стоны и крики о помощи. «Спасите! — раздавалось с разных сторон. — Крокодилы грызут нас!» Все бросились в камыши, но каково же было изумление толпы, когда на ногах раненых, принесенных из камышей, оказались не крокодилы, а просто расставленные волчьи капканы.

XLIV

Только на третий день после описанного Анфиса Ивановна возвратилась домой. Все случившееся ей уже было известно, так как исправник, прокурор и *Опасный Василек*, после ловли крокодилов, приезжали к предводителю и все подробно ей передали. Старушка все-таки ничего не могла понять из рассказанного и все удивлялась, зачем им понадобилась

Мелитина Петровна и Асклипиодот Психологов и как это так случилось, что вместо крокодилов поймали Асклипиодота; стало быть, крокодилы все-таки остались! Не понимала также Анфиса Ивановна, куда уехала Мелитина Петровна и отчего она не подождала ее и не простилась с нею. Но более всего удивляло ее, зачем арестовали Асклипиодота, тогда как она уладила его дело и прокурор его *простил*. Прокурор даже сам говорил ей об этом, а теперь вон что вышло! Приехав домой, она все слышанное передала Домне, Дарье Федоровне и Потапычу, но и те тоже не поняли ничего. Когда же Анфиса Ивановна отворила комод, чтобы спрятать серьги и брошку, которые надевала к предводителю, и когда с ужасом заметила она, что шкатулка, в которой сохранялись ее бриллианты, сломана и что бриллиантов нет, Анфиса Ивановна вдруг прозрела.

— Ведь бриллиантов-то нет! — вскрикнула она.

— Где ж они? — подхватили Потапыч, Домна и Дарья Федоровна.

— И шкатулка сломана. Ведь это племянница украла!

Старики переглянулась.

— Она и есть! — вскрикнул Потапыч.

И он рассказал, что действительно, во время отсутствия Анфисы Ивановны Мелитина Петровна входила в ее спальню, выгнала оттуда Домну и заперлась на ключ, а когда вышла, то заперлась опять в своей комнате, и в это время им послышался запах дыма; они было перепугались, но Мелитина Петровна вошла к ним в залу и объявила, что дым от того, что она жгла бумаги; и после этого они уже Мелитину Петровну не видали. В тот же самый день Анфиса Ивановна получила с почты письмо следующего содержания:

«Милостивая государыня Анфиса Ивановна. По встретившимся обстоятельствам, я нашлась вынужденною тайно покинуть ваш дом и прошу вас извинить меня, что по некоторым соображениям мне пришлось вас обмануть. Но цель оправдывает средства. Теперь, когда я далеко уже от вашего гостеприимного крова, мне становится возможным открыть вам, что я вовсе не ваша племянница, вовсе не Мелитина Петровна, и о вашем существовании случайно узнала от Асклипиодота, в вагоне Рязанской дороги. Из его же разговоров я узнала, что у вас есть племянница Мелитина Петровна, которую вы видели еще грудным ребенком, и мне пришло в

голову приехать к вам под именем племянницы. Я ехала совершенно не к вам, совершенно не в вашу губернию, но решилась изменить маршрут и приехать к вам для достижения известных мне целей. Но расчеты мои оказались неверными, и я принуждена была перенести свою деятельность на почву более благодарную. Так как мне нужны были деньги, а таковых, по тщательному розыску, у вас не оказалось, то мне и пришлось распорядиться вашими бриллиантами, продав которые, я выручила лишь пятьдесят семь рублей сорок две копейки, каковые деньги и употреблены мною на издержки по проезду. Не трудитесь меня разыскивать. Утешаю себя мыслию, что, прочитав это письмо, вы не будете сожалеть о своих бриллиантах, так как взамен их вы получаете спокойствие, вытекающее из убеждения, что крокодилов в имении вашем более нет».

— Слава тебе господи! — проговорила Анфиса Ивановна, набожно крестясь и складывая письмо.

— Что такое? — спросили Потапыч, Домна и Дарья Федоровна.

— Крокодилов у нас нет.

— Ну и слава тебе господи! — проговорили старики, тоже крестясь.— Да кто же это пишет-то вам?

— Я и сама не знаю, кто,— ответила Анфиса Ивановна и тут же забыла про все происшедшее в эти дни.

Недели через две после этого в камере мирового судьи разбиралось дело по обвинению приставом 4-го стана личного почетного гражданина Знаменского в распространении ложных слухов о появлении будто бы в реке Грачевке крокодилов, то есть слухов, хотя и не имеющих политической цели, но возбуждающих беспокойство в умах. Камера была битком набита публикой, тут были: непременный член, Соколов, Чурносов, Гусев, Голубев, Иван Максимович, Нирьют и все члены «общества ревнителей». Несчастный Знаменский, распростудившийся и расхворавшийся, стоял, весь окутанный шарфами, в теплом ваточном пальто, щелкая зубами от бившей его лихорадки. Лицо его позеленело еще более, глаза выкатились и точно хотели выскочить из предназначенного им помещения. Судья писал приговор; все было тихо, и только скрип судейского пера да брякание судейского знака нарушали эту мертвую тишину. Наконец судья пригласил всех встать и объявил, что, признавая г. Знаменского виновным в рас-

пространении ложных слухов о появившихся крокодилах, чем и возбудил беспокойство в умах многих окрестных жителей, он приговорил: на основании ст. 119 Устава Угол. Суд. и ст. 37 Устава о Нак. нал. мировыми судьями, личного почетного гражданина Знаменского подвергнуть аресту на пятнадцать дней.

Все, выслушав приговор, вышли из камеры.

— Что? — рассуждал Иван Максимович.— Я говорил, что будет *насчет затылочного и шейного... Вот так с волком двадцать.*

Между тем, по окончании разбора, непременный член завернул к мировому судье.

— А ты, любезный друг,— горячился непременный член,— кажется, помешался на арестах?!

— А что? — хладнокровно спросил судья.

— Да как же! И Анфису Ивановну хотел под арест, и Знаменского туда же...

— Нельзя же...

— А ты не видишь разве, что человек с ума спятил... Ну, жалко, что я не знал о разборе этого дела... Я бы явился в твою камеру защитником Знаменского.

— И все то же бы вышло.

— Нет, постой, любезный друг... Я ведь читал статьи про морских чудовищ! Ты мне вот и скажи теперь... Отчего же всех этих миссионеров, Гансов Егедов, епископов Понтопидагов, всех этих ученых и этих разных капитанов Древаров, которые, черт их знает, чего только ни писали в газетах про морских чудовищ... этих под арест не сажают, а Знаменского посадили.

— Те писали правду,— заметил судья.

— Нет, врешь! Смит доказал, понимаешь ли, доказал, что все это вздор и что все эти морские чудовища не что иное, как водяные поросли громадных размеров... Вот ты бы им и послал повестку да их бы в арестантскую и засадил.

— Они не в моем участке,— проговорил серьезно мировой судья и этим невозмутимым хладнокровием еще более рассердил непременного члена.

— А если бы они были в твоем участке?

— Тогда и их бы засадил.

Непременный член рассердился окончательно.

XLV

Насколько дело г. Знаменского по поводу крокодилов покончилось быстро и решительно, настолько дело Асклипиодота Психологова тянулось вяло и долго. Тянулось оно около года, и хотя по суду Асклипиодот и оказался ни в чем не повинным, тем не менее, однако, подозрение в его неблагонадежности продолжало тяготеть над ним. Его знакомство с женщиной, именовавшей себя Мелитиной Петровной Скрябиной, уличавшейся во многих преступных деяниях, сильно поддерживало это подозрение. Было доказано, что Асклипиодот не только водил с нею знакомство, но даже состоял с нею в любовной связи; что имел с нею тайные свидания в камышах и в саду Анфисы Ивановны и что свидания эти почему-то тщательно скрывал. Г. Знаменский, допрошенный в качестве свидетеля, хотя и не подозревал настоящей причины этих свиданий, однако таинственность их вполне подтвердил, рассказав, как однажды ночью он встретил Асклипиодота бежавшим сломя голову из грачевского сада и как Асклипиодот, не желая встретиться с ехавшим в то время становым, спрятался под мост, затащив туда же и его, Знаменского. Принимая все это в соображение, Асклипиодоту приписывали даже мысль организации кружка под наименованием «общества ревнителей», с тою именно целью, чтобы в среде этого общества распространять известные идеи. Хотя на этот раз г. Знаменский выступил уже в защиту Асклипиодота и чуть не с пеною у рта, отстаивая свои учредительские права, доказывал, что общество было организовано не Асклипиодотом, а им, по примеру иенских съездов естествоиспытателей и антропологов, и что если он, Знаменский, отчасти впал в заблуждение, так это не велика еще беда, имея в виду, что в сфере науки, где приходится иногда идти шаг за шагом, заблуждения свойственны; но показанию этому почему-то давали мало веры. Все хотелось докопаться: не заключалось ли в выдумке о крокодиле какой-либо преступной аллегории? и не имелось ли в виду аллегорией этой сначала пошатнуть веру в личную безопасность обывателя и потом уже направить его на ложный путь спасения? Асклипиодот долго отмалчивался, но, когда сообразил, что его подозревают в чем-то таком, чего у него не было даже и в голове, и, сверх того, убедившись, что скрыть свои любовные похождения являлось уже делом невозможным, он чистосердечно повинился, что

хотя мысль о крокодиле принадлежит не ему собственно, а г. Знаменскому, пустившемуся в розыски каких-то чудовищ, но что он все-таки воспользовался этими чудовищами и, желая избавиться от людей, мешавших его свиданиям, выдумал историю встречи с крокодилом. При этом он сознался также и в том, что для большей правдоподобности присутствия в Грачевке крокодила он опрокинул и челнок рыбака Данилы Седова, незаметно поднырнув под него, и напугал криком и щелканьем зубов купавшихся грачевских девиц, а затем выхватил из реки и пономоря за косичку. Не совсем доверяя искренности этих показаний, следователи принялись допрашивать Асклипиодота, не известно ли ему имя и звание женщины, именовавшей себя женою Скрябина, Мелитиною Петровною? а равно и о том, куда именно женщина эта скрылась? но в данном случае Асклипиодот знал столько же, сколько и сами следователи, то есть ровно ничего. Он только передал им, что, возвращаясь из Москвы, случайно встретился в вагоне с какою-то неизвестною ему женщиной, с которой не замедлил разговориться. Сообщив, куда именно он едет, почему-то завел речь про Анфису Ивановну, про образ ее жизни, а заговорив про это, невольно сообщил, что Анфиса Ивановна живет совершенно одна, ни детей, ни родных не имеет, кроме какой-то племянницы Мелитины Петровны Скрябиной, которую старушка видела только грудным ребенком. Рассказ этот, видимо, заинтересовал незнакомку, она расспрашивала о всех малейших подробностях, а когда он, Асклипиодот, рассказав ей все, что только знал, выразил свое удивление, что она могла так заинтересоваться столь ничтожною в сущности историею, спутница весело расхохоталась и объявила, что для нее, напротив, вся[39] самая Мелитина Петровна, о которой зашла речь. Навели справки, и действительно разыскали настоящую Мелитину Петровну. Оказалось, что настоящая живет безвыездно в Петербурге, где-то на Песках, чуть не в подвале, в крайней бедности, но ничего общего с хорошенькой героиней рассказа не имела. Приезжали допрашивать Анфису Ивановну, не может ли хоть она указать что-либо по поводу гостившей у нее мнимой племянницы?.. Старушка сперва испугалась, думая, что против нее возбуждается какой-то новый «процесс», но узнав, в чем дело, так напустилась на следователя, что тот даже растерялся,— «коли ты сыщик, так сам и ищи, а я не горничная твоя, чтобы бегать по твоему приказу. Я столбовая! и проваливай куда

знаешь, а коли будешь шуметь, так ведь я и на тебя начальство найду и тебе такого зададут *чичи-фачи*, что долго не забудешь!» Следователь сначала оскорбился, хотел было составить протокол, но потом почему-то раздумал и так ни с чем и уехал. В качестве свидетелей были допрошены и все члены «общества ревнителей», начиная с председателя, фельдшера Нирьюта, и кончая Иваном Максимычем, хотя последний, опасаясь, как нам известно, *насчет шейного и затылочного*, к обществу не принадлежал. Допросами этими следователям опять-таки хотелось выяснить, кому именно принадлежала инициатива организации общества, в чем именно заключалась его деятельность, не было ли во время заседаний каких-либо посторонних, не касающихся дела, суждений и действительно ли общество было убеждено в существовании крокодилов? Но, как следователи ни напрягались, а все-таки ничего желательного не открыли. Все члены в один голос показали, что учредителем общества был г. Знаменский, что во время заседаний пили водку, напивались до потери сознания и что в таковом положении готовы были верить не только в появление крокодилов, но даже в собственное исчезновение с лица земли; что же касается до Ивана Максимовича, то он прямо показал, что крокодил был с *овцу, с волком двадцать, сорок пятнадцать, один без хвоста*. Несмотря, однако, на такое единогласное показание свидетелей, следователи все-таки плохо доверяли им и, пригласив кого следует, порешили произвести внезапный обыск в квартирах председателя Нирьюта и учредителя г. Знаменского. У Нирьюта не нашли ничего подозрительного, что же касается до обыска в квартире г. Знаменского, то последствием его было то, что следователи забрали с собою все газеты, в которых писалось про морских чудовищ, а в том числе и известный нам «журнал заседания», составленный секретарем, дьяконом Космолинским. Так как журнал этот, заключавший в себе несколько молитв и ничего не упоминавший о крокодилах, фактически опровергал показания членов, будто они никаких рассуждений, кроме как о крокодилах, во время заседаний не имели, он был приобщен к делу. Притянули дьякона и, предъявив ему журнал, спросили: состоял ли он действительно секретарем общества, составлял ли предъявленный ему журнал и почему журнал этот, умалчивая о крокодилах, наполнен одними молитвами, скрепленными подписом председателя и членов собрания. Молитвы подали повод приписать собранию какую-то рели-

гиозную корпорацию, может быть противозаконную, и потому дьякон был допрошен с особенною внимательностью. Но из показаний дьякона выяснилось только то, что он действительно секретарем собрания состоял, журнал действительно вел, но что о крокодилах не упомянул в журнале потому только, что, не поспевая заносить происходивших на собрании прений и вместе с тем не желая сидеть сложа руки, он перенес на бумагу все задолбленные им молитвы. Что же касается до придаваемого собранию значения религиозности, то дьякон показал, что следователи заблуждаются, ибо, имея в виду количество выпитой водки и затем употреблявшееся весьма часто сквернословие, собрание то религиозным отнюдь назвать нельзя. Вспомнили дело Асклипиодота с Скворцовым, и явилось подозрение, что, похитив деньги, Асклипиодот употребил их на противозаконные цели, но Скворцов, получивши от отца Ивана шестьсот рублей и боясь, как бы у него их не отняли, на все расспросы показал, что никогда никто у него денег не воровал, что обвинение им Асклипиодота было неосновательно, почему он в то же время и обратился к судье с просьбою о прекращении дела. Не обошлись без опроса и князь Баталин, в доме которого Асклипиодот жил в качестве учителя, начальство семинарии и даже художник Жданов. Князь Баталин, тщательно выбритый и элегантно одетый, но бледный и с судорожно пожимавшимися тонкими губами, показал, что относительно политической благонадежности проживавшего у него в доме учителя Асклипиодота Психологова он уверен вполне, ибо в противном случае он, князь Баталин, принадлежа к роду неоднократно доказавших свою преданность престолу и отечеству несколькими славными подвигами предков, не допустил бы его в свой княжеский дом, что же касается до убеждений религиозных того же Психологова, то, к сожалению, он таковых одобрить не смеет. И в доказательство привел историю немки. Во время показания этого Асклипиодот не выдержал и, метнув на князя взгляд разъяренного тигра, вскрикнул: «Князь! вы бы мне заслуженные-то деньги отдали!» Но князь даже не оглянулся на Асклипиодота, как будто его и не было здесь. Начальство семинарии, чего-то струсив, отозвалось об Асклипиодоте «по-духовному», то есть уклончиво, а Жданов, питавший на Асклипиодота злобу из-за наследства, заговорил о нем как о богохульнике и в доказательство рассказал каким-то подленьким и дрожавшим голосом, как Асклипиодот испортил

ему однажды иконы, надев на Андрея Первозванного шапку, а великомученице Екатерине подрисовал усы. «Он даже восстановил отца против дочери, а моей жены,— писал он,— поверг нас в нищету!..» И кончил тем, что просил заступиться... Наконец следователи стали просить Асклипиодота разъяснить им, почему именно в тот вечер, когда он был арестован, он находился не дома, а в камышах, и не находилась ли в тот вечер в тех же камышах и мнимая Мелитина Петровна,— на что Асклипиодот ответил, что Мелитины Петровны он в тот день уже не видал, сам же попал в камыши потому, что желал, во-первых, подышать чистым воздухом, а во-вторых, посмотреть, как сыщик Живодеров будет ловить крокодила. На этот раз, однако, Асклипиодот соврал, ибо, посланный отцом в Грачевку, он попал в камыши невольно, будучи окружен со всех сторон цепью загонщиков; относительно же мнимой Мелитины Петровны показал правду, так как, с утра куда-то исчезнув, она не могла быть в то же время в камышах.

Одновременно с этим с отцом Иваном случилось и другое горе. Банк, в который он так усердно и настойчиво вкладывал все свои сбережения, был разграблен директорами, и старик потерял при этом более шести тысяч рублей. Работать и трудиться по-прежнему он был не в силах, ибо паралич, случившийся с ним во время производства в его доме обыска, значительно ослабил его здоровье. Отец Иван совершенно поседел, волочил левой ногой, плохо владел правой рукой, как-то сгорбился, потряхивал головой, а немного перекосившиеся губы мешали ему отчетливо выговаривать слова. Он словно заикался, словно картавил и как-то особенно странно ворочал языком, словно во рту у него был горячий картофель, который он перекладывал с одной стороны на другую. При таком состоянии здоровья нечего было и помышлять также и о выездке рысаков. С болью в сердце он распродал своих маток, жеребцов, жеребят и даже беговые дрожки, на которых летал, бывало, по выгону, и вырученные деньги положил не в банк, а просто, по-старинному, как делали наши деды, запрятал в кубышку и где-то на огороде глубоко закопал в землю. Благочиние свое он давно оставил; ему даже хотели запретить совершение литургии по тому случаю, что он и ходил не твердо, и правой рукой владел плохо, и картавил, но отец Иван съездил к архиерею и, упав ему в ноги, молил «не добивать и без того убитого!». Архиерей долго смотрел на отца Ивана, обливавшегося слезами, подивился происшедшей

с ним перемене, его сединам, полюбопытствовал об участи сына, которого назвал «злодеем», но совершать литургию все-таки разрешил. «Это только снисходя к твоим прежним заслугам,— проговорил владыка пастырским, поучительным тоном,— хотя поступок сына твоего и повелевал бы перенести кару и на тебя тоже, повелевал бы изъять и тебя из вертограда, как древо, принесшее недобрый плод, но... мне жаль тебя, вижу, что достаточно наказан! Гряди с миром!» Зато теперь отец Иван служил обедни не так, как прежде. Он служил их чуть ли не каждый день, не гнал как на почтовых, а, наоборот, служил чинно, благоговейно, каким-то упавшим, истомленным голосом и с глазами, полными слез. Прежде, бывало, дьячки не поспевали за ним, а теперь сплошь да рядом случалось так, что дьячкам приходилось по нескольку минут ждать его возгласов. «Что он там?» — спрашивали дьячки шепотом у выходившего из алтаря сторожа, и сторож тоже шепотом отвечал им: «Погодите, плачет!»

XLVI

Но вряд ли причиною этих тайных слез, проливаемых на алтаре, был банк и потеря хранившихся в нем денег. В другое время, конечно, это поразило бы его пуще грома небесного, но теперь было не то. По крайней мере о деньгах отец Иван никогда и не упоминал даже, как будто их и не было там! Ему как-то больно смотреть было на участь Асклипиодота. И больно и обидно!.. «Ни одного-то счастливого дня не было у него в жизни»,— думал отец Иван, и ему становилось так жаль сына, что даже сердце его сжималось от тоски... Нечего говорить, что место секретаря управы, обещанное Асклипиодоту, ему не далось, ибо в то самое время, когда оно освободилось, Асклипиодот содержался в тюремном замке, а когда он возвратился домой совершенно оправданным, то место было занято другим. Сунулся было Асклипиодот в управление железной дороги с просьбою принять его снова на службу, ему дали слово, но потом почему-то отказали, хотя в это самое время была свободная вакансия именно на той станции, на которой когда-то служил Асклипиодот. Одновременно с этим при съезде мировых судей освободилось место судебного пристава. Отец Иван поехал в город, и так как для поступления на эту должность требовался залог в размере

пятисот рублей, то он захватил с собою и требуемые деньги. Председатель съезда даже обрадовался, выслушав просьбу отца Ивана, приказал было немедленно же зачислить Асклипиодота, но потом вдруг, что-то вспомнив, переконфузился, покраснел и, возвращая отцу Ивану взятый было залог, принялся извиняться, объявив, что у него совершенно вышло из головы, что место это давно уже обещано им другому. Месяц спустя Асклипиодот получил известие, что при губернской земской управе открывается статистическое бюро и что поэтому требуются люди, способные заняться этим делом. Отец Иван поехал в город. Статистики действительно требовались, но должности этой опять-таки Асклипиодоту не дали. «Мы, земцы, конечно, не стеснились бы дать место вашему сыну, тем более что он совершенно оправдан,— говорил председатель управы растерявшемуся отцу Ивану,— но для того, чтобы нашим статистикам ездить по волостным правлениям и просматривать книги, необходимо заручиться открытым листом от начальства... Тут-то и встретится препятствие... Мы, земцы, конечно, смотрим на это либерально... Но согласитесь...» Так отец Иван и возвратился опять ни с чем. Целые дни Асклипиодот проводил ничего не делая, и ему было до того скучно, что он не знал, куда деваться от этой томящей скуки. Пробовал было он удить рыбу, ходить с ружьем, но все это вскоре надоело. Наконец ему пришла мысль собрать нескольких мальчиков и заняться их обучением. За дело это Асклипиодот принялся не только горячо, но даже с любовью. Маленькая школа его состояла из восьми мальчиков, которые приходили к Асклипиодоту часов в восемь утра и расходились часа в четыре пополудни. Месяца через два мальчики стали уже довольно порядочно читать и писать и так приохотились к делу, что не только не бегали его, а, наоборот, заинтересовались им. Отец Иван занялся с ними законом божиим и толкованием молитв. Асклипиодот, припоминая все то, что в семинарии отбивало у него охоту заниматься, тщательно избегал этого. Уроков на дом он не задавал, а все уроки растолковывал им в классе, разъяснял и затем заставлял повторить разъясненное. Если он замечал, что мальчики недостаточно усвоили себе этот урок, он дальше не шел и на другой день снова принимался за старое. Более слабых мальчиков он не запугивал слабыми отметками, а старался по возможности больше с ними заниматься. Приохотился к этому делу и отец Иван и кроме закона божьего стал приучать мальчи-

ков к церковному пению. Так шло дело, как вдруг однажды вечером приехал к нему становой Дуботолков. Выждав, когда Асклипиодот вышел из комнаты, он обратился к отцу Ивану:

— А твой сынок, говорят, «школку» открыл?

— Не школу, а просто мальчиков обучает... И я тоже с ним вместе тружусь...

— Ты, братец, брось это дело...

— Почему?

— Брось. Я от исправника частное письмо получил... Это не нравится ему...

— Почему же?

— Как почему?.. Сын твой был замешан!.. И в самом деле неловко... Дойдет до губернатора...

— Да разве есть какое-нибудь официальное распоряжение...

— Ну, вот еще, что выдумал! — перебил его становой.— Ничего этого нет и быть не может... а так просто, неловко... Ну, как тебе сказать... Неловко — и все.

И потом вдруг, переменив тон, он прибавил:

— Однако, братец, ты того... из брюнета-то белым сделался!.. а что рука?

— Плохо!

— И с языком-то что-то того?..

— Да, того.

— И ходишь-то тоже... словно развинченный. А водочку-то пьешь?

— Нет.

— Неужто совсем бросил?

— Бросил. А мы было так привязались к этому делу,— проговорил отец Иван немного погодя,— так полюбили его... да и мальчики-то привыкли к нам.

— Да ты что, плату, что ли, берешь с них?

— Нет, даром...

— Так о чем же тужить-то!.. Вона — была нужда!.. Я думал — за деньги, а это он даром!.. Однако мне недосуг,— прибавил он, вставая,— ехать надо в Путилово, подати выколачивать... Ну, прощай, будь здоров... а школу, пожалуйста, того... слышишь... пожалуйста... для меня.

На другой день утром Асклипиодот, увидав в окно подходивших учеников своих с книгами и тетрадками, поспешил к ним навстречу.

— Ну, ребятишки,— проговорил он, выбежав на крыль-

цо,— я вас больше учить не буду... Надоели вы мне... Ступайте-ка туда, откуда пришли.

И, проговорив это, он почему-то поспешил скрыться от них в комнату, не без злости хлопнув за собою дверью.

Мальчишки постояли, постояли, удивленно переглянулись и побежали себе домой.

XLVII

Немало раздражала отца Ивана и чета Ждановых. Не проходило недели, чтобы не получал он от дочери или же от ее мужа скорбного письма с жалобою на дороговизну съестных припасов, на малочисленность заказов, на увеличивающееся количество живописцев и на упадок художественного вкуса «в публике». «Право,— писал Жданов отцу Ивану,— достойно удивления, до чего нынешние художники начали пренебрегать искусством. Я не говорю уже о пейзажистах и жанристах (те уже совершенно отпетый народ), но даже и наш брат иконописец словно с ума сошел. Таких рисуют святых, каких, вероятно, никогда и не бывало, и этим небывалым святым такие приделывают лики, что можно подумать, что перед вами не святой, не апостол, а просто самый обыкновенный человек стоит! Ничего божественного, ничего святого! даже стали избегать сияний. Публике нравится эта реальность, и потому нас, прежних, стали избегать». Все эти письма сводились к тому, что работы стало мало, а что с уменьшением работы уменьшился и доход. Серафима же писала отцу: «Вы не поверите, батюшка, как все вздорожало. Прежде, бывало, за капусту платили по два рубля за сотню вилков (и вилок был тугой, белый, не уколупнешь), а теперь не угодно ли пять рубликов отдать. Огурцы самые лучшие, на выбор, десять копеек мера от силы, а теперь и за двадцать не купишь даже плохого сорта, то есть *«кривача и желтяка»*. А уж про «убоину» и говорить нечего. Эти мясники подлые совсем избаловались. Самая постная говядина, которую не грех и великим постом есть, десять, одиннадцать копеек фунт. Студень бычий за рубль не укупишь, телятина — пятнадцать копеек, баранина — десять, двенадцать, а уж про птицу нечего и говорить, мы ее даже и по праздникам не видим, потому нет приступу. А квартиры подешевели. Комнатка на антресолях, в которой братец жил, прежде за

три рубля в месяц ходила, а теперь только за два. И то насилу постояльца нашли из театра, контрабаса, от которого хоть вон из дому беги. Что же это за порядки? Провизия дорожает, а квартиры ни почем!» И опять-таки письма эти сводились к тому, что не худо бы отцу родному вспомнить о дочери и внучатах. Сначала отец Иван отвечал на эти письма, посылал понемногу денег, но потом письма эти ему надоели, и он оставлял их без ответа.

Но молчание отца Ивана не особенно смутило художника, и вот как-то семья эта в полном своем составе нагрянула в село Рычи. Отец Иван при виде их поморщился, однако все-таки честь честью принял дорогих гостей. Дня три прошло благополучно. И Жданов и Серафима, кроме самых ласковых, теплых и родственных отношений, не выказывали ничего ни отцу Ивану, ни Асклипиодоту. Серафима даже поплакала о братнином «несчастии», порадовалась, что все обошлось «благополучно», а Жданов, обозвавший его на суде богохульником, даже щегольнул либерализмом и слегка лягнул людей, не умеющих отличить черного от белого.

Серафима в особенности нежничала.

— Насилу-то, насилу-то, насилу-то господь привел в родное гнездышко заглянуть. Ах, гнездышко, гнездышко милое.— И в первый же день она обегала все хозяйство, все хлевы, клетушки, амбарчики, кладовые и растаяла еще больше.

— Ах, и хорошо только в родимом гнездышке,— говорила она,— ах, и тепло только, мягко... А что Пестравка, подохла, вишь? — спросила она.

— Да.

— А уж какая, родимая, молочная-то была! Доподлинно — кормилица!.. А Буренушка телится?..

— И теперь стельна.

— Каким теленочком?

— Седьмым, кажется.

— А овечки есть?

— Слава богу.

— И курочек видела я, и индеечек, и уточек... Индеечки-то «гаснут», вишь?

— Да, колеют что-то...

— Такая же болезнь, как тогда, при мне, была, помните? Сделается словно шальная, головка посинеет, затрепехчет

крылышками, согнет шейку и «погаснет»! А все-таки, слава богу, всего много у вас... Веденевна ухаживает?

— Да, она.

— Стара уж стала, словно как из ума выживать начала? Или ничего еще?

— Нет, ничего, хлопочет.

— Ну, и слава богу. Какая ни на есть, а все радетельница, все верный человек, а верных-то людей ноне тоже днем с огнем поискать! — И потом, переменив тон, она заметила: — Значит, все по-старому!.. Лошадок только перевели!

— Да, лошадей продал...

И, окидывая радостным взглядом комнаты, она принималась ахать:

— Ах ты, мое гнездышко! ах вы, мои горенки милые... Тепло, мягко. Словно в пуху сидишь, словно под крылышком у наседочки... Ах, гнездышко милое, гнездышко!

Но на четвертый день Серафима заговорила о капусте, Жданов — об испорченности вкуса «публики», и разговор этот кончился тем, что и муж и жена потребовали от отца Ивана денег. «Так делать нельзя, батюшка,— говорила Серафима, видимо горячась,— я вам тоже ведь не чужая, а дочь родная. Вы вон сколько на братца деньжищев потратили, а мне хоть бы малость какую... А ведь я вам больше заслужила! Вспомните-ка! После мамашиной смерти ведь я всем вашим домом заправляла вплоть до самого своего замужества. Помогала вам и в кухне и везде,— а братец-то пожалел ли вас, позвольте-ка спросить? Вот и теперь без дела шатается, без службы, как бы, кажется, за хозяйством не присмотреть. Так ведь нет!.. Надо бы на гумно сходить и по домашности заняться, а он день-деньской, задравши ноги, книги читает... Нет, уж вы нас наделите!..» — «Конечно,— перебил ее Жданов,— отделить всего благороднее и греха поменьше!» — «Я вам слуга была,— подхватила Серафима, вся раскрасневшись и размахивая руками,— все делала: и на речку, и вокруг печки заведовала, и коров доила, все это надо оценить... Когда вы были здоровы, мы не беспокоили вас, переколачивались с копейки на копейку (иной раз недоедим, иной раз недопьем, бывало!), а теперь здоровье ваше хилое стало, и руку с трудом поднимаете, и ногой волочите, и косноязычны стали, сохрани бог, что случится, ведь мы нищими должны остаться...» — «А уж тогда,— перебивал ее Жданов,— от Асклипиодота Иваныча ничего не выцарапаешь.

Сами знаете, какого он нрава, что называется, гроша медного не даст, на помин души не бросит!..»

— Да что это вы, хоронить, что ли, приехали меня,— вскрикнул наконец отец Иван, схвативши себя за голову...— А? Хоронить, что ли, приехали? Так вот знайте же, что не умру я, не умру... И пока жив, не дам вам ни алтына. Мое добро, сам его наживал, кому хочу, тому и отдам.

— Конечно,— перебила его Серафима,— мы в ваше добро не вступаемся, только надо и совесть знать. Живите, бог с вами, никто вас не хоронит, только я говорю, что здоровье ваше плохо, и вряд ли справитесь вы теперь с добром своим. Вы не замечаете, а ведь мы-то видим, что и разум-то у вас не тот уж!.. Будь-ко у вас прежний-то светлый разум, разве вы допустили бы, чтобы у вас шесть тысяч денег в банке пропало!..

— Молчать! — крикнул отец Иван, топнув ногой.— Господи Иисусе Христе, да что же это такое... Уж и впрямь не спятил ли я с ума, что дозволяю родной дочери кричать на отца и дураком обзывать его!

— Никто вас дураком не обзывает,— кричала Серафима, совсем уже разъярившись и поправляя съехавший на затылок чепчик,— а разумеется, всякому своего добра жалко!..

Но отец Иван уже не слушал дочери, он заткнул уши и, загребая ногой, поспешил уйти в свой кабинет.

XLVIII

Когда Серафима успокоилась и когда все в доме заснуло, Асклипиодот, слышавший из своей комнаты крик Серафимы и Жданова, осторожно вошел к отцу. Тот еще не спал и, крепко стиснув руками голову, лежал, вытянувшись на диване.

— Батюшка! — проговорил Асклипиодот шепотом,— ты не спишь?

— Нет.

— Растревожили они тебя! — продолжал он, осторожно присаживаясь у ног отца.

— Да. Они грубы, как кучера, и безжалостны, как мясники...

— Позволь сказать слово!

— Говори.

— Чтобы вперед не слышать подобных гадостей, не лучше ли покончить разом. Отдай им деньги. Все то, что говорили тебе сестра и этот *«богомаз»* несчастный, все это, конечно, и пошло и гадко... Но ведь они иначе выражаться не могут, по той простой причине, что в лексиконе у них нет хороших слов. А все-таки по всему видно, что им пришлось туго. Видал ли ты когда-нибудь, как зимой к проруби мелкая рыба сплывается... Сплывается она и жадно глотает воздух. Мужики говорят: «Вода сперлась, душно рыбе!» Точно то же происходит и с ними. Жданов уверяет, что искусство упало, что «вкус публики испортился», а сестра — что студень вздорожал. Все это означает, что в их житейской речонке «вода сперлась» и что «им душно». Отдай им деньги... Ведь они есть у тебя... сам же ты говорил, что по распродаже лошадей у тебя скопилось тысячи три... на что они тебе, а им они необходимы...

Но отец Иван ни слова не ответил ему. Он только притянул его к себе, поцеловал в лоб и жестом руки попросил выйти.

— Ну, ладно, хорошо, уйду! — проговорил Асклипиодот и, простившись с отцом, вышел из комнаты.

Долго не мог заснуть отец Иван, обдумывая все высказанное Асклипиодотом, и только часам к трем ночи сон овладел им. Несмотря, однако, на это, проснулся он и бодрым (насколько мог быть таковым), и даже веселым. Напившись чаю, он тотчас же пришел в комнату дочери. Маленькая комната была наполнена детьми. Двое из них еще спали на разостланных на полу постельках, один натягивал чулки на босые ножонки, один умывался над медным тазом, поставленным на стул, один, стоя перед образницей, усердно клал земные поклоны, самый же старший сидел у окна и пил молоко из большой глиняной кружки. Серафима, еще не одетая и растрепанная, с одною обнаженною грудью, сидя на стуле и положив левую ногу на скамейку, кормила грудного ребенка кашей. Ребенок плакал и, отталкивая руку матери, тянулся к груди. Сам Жданов стоял перед небольшим зеркальцем и повязывал галстук. Повсюду были разбросаны подушки, детские одеяльца, детская обувь и какие-то тряпки. Специфический запах наполнял комнату. Отец Иван взглянул на все это и даже расхохотался.

— А ведь и в самом деле «вода-то сперлась»! — вскрикнул он.

— Только что поднимаемся! — проговорил Жданов, все еще дувшийся на отца Ивана.— Прибраться еще не успели.

— Да будет тебе орать-то! — кричала Серафима на ребенка, не перестававшего отталкивать палец Серафимы с комком каши на конце.

— А ты дай ему груди, вот он перестанет,— советовал Жданов.

— Да что я, корова, что ли, прости господи! — огрызнулась Серафима,— и так уже всю высосали.

— Ну, хватит еще! — проворчал Жданов,— вишь ведь вымя-то какое!

А отец Иван сидел и глаз не сводил с этой семейной картины. Наконец Жданов кое-как убрал комнату, дети приоделись, грудной ребенок затих, зачмокав губами, и сама Серафима словно успокоилась.

— И наказанье только! — ворчала она.

— Да,— подхватил отец Иван.— Вижу я, что цыплят у тебя не меньше, чем у самой глупейшей наседки, выводящей детенышей не только из собственных своих яиц, но даже из чужих, хотя бы то были галчиные, и что ты нисколько не похожа на ветреную кукушку, кладущую, как говорят, свои яйца в чужие гнезда...

— Одной каши сколько выходит! — заметила Серафима.

— Верно, ибо сам вижу, что каши для прокормления всей этой мелюзги потребуется тебе несравненно более, чем потребовалось бы таковой на прокормление одного громаднейшего слона. И вот, сообразив все это и тщательно обдумав и свое и ваше положение, и возымел намерение прийти к вам на помощь.

Не только Серафима и Жданов, но даже и дети словно изумились, услыхав эту речь, и все глаза в ту же минуту обратились невольно на отца Ивана и, словно стрелы, вонзились в него. Но отец Иван ничего не заметил. Он как-то торжественно и величаво поднялся с своего места, обратился к Жданову и, поманив его пальцем, проговорил, вздохнув:

— Ну, богомаз! бери заступ и пойдем клады копать!

И он медленно вышел из комнаты в сопровождении ничего

не понимавшего Жданова и Серафимы, успевшей уложить в постельку уснувшего ребенка.

Прошло с час времени, и на огороде отца Ивана происходило следующее: Жданов, успевший уже выкопать довольно грубокую яму на месте, указанном отцом Иваном, и стоя в этой яме, торопливо выкидывал из нее землю. Лицо его горело, пот крупными каплями падал на землю, развеянные ветром волосы беспорядочными прядями упадали на лоб и на глаза. Он поминутно откидывал их и словно сердился, что они замедляют работу. Отец Иван и Серафима стояли на краю ямы. Первый стоял вытянувшись, прямо, словно статуя, а вторая — нагнувшись, с каким-то лихорадочным нетерпением следя за каждым движением заступа, как бы желала взором проникнуть в глубь земли.

— Да скоро ли! — вскрикнул наконец Жданов, сбрасывая с себя жилет.

— Яма довольно глубока, и надо полагать, что скоро! — говорил отец Иван, видимо потешаясь над Ждановым и Серафимой.— Копай, деньги достаются не легко. Не жалей ни силы, ни рук, ни мышц.

— Хоть бы ты помогла! — вскрикнул Жданов, обращаясь к жене.

— И рада бы, да не под силу...

— Ага! видно, это не икону писать!

— Но главное дело — копаю-то я зря, кажется! — говорил Жданов.— Земля грунтовая, не копаная... какие же тут могут быть деньги!

— Копай.

— Уж не ошиблись ли вы, батюшка? — спрашивала Серафима, с ужасом смотря на бесплодность работы.— Не забыли ли?

— Нет, не забыл! Видишь этот высокий кол в плетне? Закапывая деньги, я отмерил от него десять шагов и выкопал яму. Так мы и сделали...

— Не покопать ли рядом?..— спрашивала Серафима.— Смотрите: ведь он почти с головой в яму ушел, а денег все нет.

— Нет! — вскрикнул Жданов, бросая заступ.— Тут не может быть денег! Я докопался до сплошных каменных плит!

— Я сам, наживая деньги, камни выворачивал! — про-

говорил отец Иван и, указывая на стоявшую поодаль баню, прибавил: — Видишь эту баню? Она из дикого камня... и твоя жена подтвердит тебе, что весь этот камень и выкопан и перевезен сюда не кем другим, как мною самим.

— Да ведь я вижу, что работа моя бесплодна! — вскрикнул Жданов.— Посмотрите сами.

— Постой-ка, дай взглянуть!

И, нагнувшись над ямой, отец Иван начал всматриваться в ее глубь.

— Да,— проговорил он,— сплошная плита и, как видно, ничья еще рука не касалась до нее. Неужели я ошибся?

И отец Иван, разогнувшись, принялся осматривать плетень огорода.

— Припомните, батюшка, ради господа,— молила Серафима.

— Постой, припомню, не мешай только!

А Жданов, между тем успевший выбраться из ямы, шептал жене:

— Что-то он странный какой-то! Уж не потешался ли он над нами!

— Неужто забыл! — продолжала Серафима, не слушая мужа и не спуская глаз с отца.

Но в это самое время отец Иван хлопнул себя рукою по голове.

— Вспомнили? — спросила Серафима, подбежав к нему.

— А ведь ты прав, приятель! — вскрикнул отец Иван.— Я ошибся! Ведь десять-то шагов надо было отмерить не от этого кола, а вот от того!.. Так, так, верно!.. Иди-ка, отмерь десять шагов и принимайся снова за работу.

— Слава тебе господи! — шептала Серафима.

Жданов удивленно посмотрел на тестя, но все-таки последовал за ним и от указанного кола отмерил десять шагов. Однако, взглянув на землю, очутившуюся под его ногой, он заметил:

— Здесь опять ничего не будет!

— А разве глаза твои настолько зорки, что проникают вглубь земли?

— Да тут и проникать нечего... И без того видно, что земля здесь не копаная, цельная!..

— А ты уж копай поскорее! — суетилась Серафима.— Коли тятенька говорит, стало быть, знает.

— Копай, тебе говорят...

— Копать-то я, пожалуй, буду... только какой из этого толк выйдет...

— Уж заленился!.. Забыл нищету-то свою!

Прошло часа четыре, Жданов успел уже выкопать по указанию отца Ивана ям шесть, а деньги все не находились. Наконец живописец изнемог и упал на землю.

— Я больше не могу! — проговорил он.— Пусть лучше останусь нищим...

— Копай! — кричал отец Иван.

— Да чего же копать-то зря!

— Так бы и сказали,— вступилась Серафима, с глазами, полными слез.— Не дам, мол, вам денег. К чему же человека-то мучить... Коли такое дело, так гораздо благороднее просто-напросто прогнать нас... Чего же потешаться над бедностью, над нищетою!.. Шутка ли, с которых пор копаем... Ведь он из сил выбился!.. Надо и жалость иметь!..

А отец Иван, поглядывая на кучи выкопанной земли, говорил, посмеиваясь:

— Однако, друг любезный, ты трудолюбив!.. И замечаю я, что тебе больше по душе тяжелая работа, чем легкая. Самый наиусерднейший крот не набросал бы столько куч, сколько ты набросал их. И я уверен, будь у тебя в руках не кисть, а заступ, ты был бы способен перекопать весь шар земной и непременно бы наткнулся когда-нибудь на клад. Ты владеешь заступом отлично. Когда умру, приезжай копать мне могилу. Ты сделаешь это и быстро и хорошо, и, конечно, я не успею опомниться, как буду уже отдален и от тебя, и от людей толстым и плотным слоем земли!.. А теперь,— прибавил он, переменив тон и приняв величаво-торжественный вид,— следуй за мною, и я укажу тебе то место, где действительно хранятся мои деньги. Не сердись на меня, что я заставил тебя попотеть. Старые люди словно малые дети. Их все потешает! А меня именно потешали сегодня твои глаза и твоя любовь к труду. Испарина же вреда не принесет. Ну, идем же! Я надеюсь, что теперь мы нападем на настоящее место и что клад дастся тебе в руки. Предупреждаю, однако, что заключается он не в золоте, не в серебре и не в камнях драгоценных, а в простых бумажных кредитках, так же, как и мы, подверженных гниению. Конечно, все это бумага, но если из-за

этого, по-видимому, ничего не стоящего материала люди и режутся и режут, то надо думать, что материал этот не хуже золота и алмазов! Как бы ни был умен человек, а поверь мне, что в любом мудреце найдется столько глупости, сколько нужно таковой, чтобы верить в ценность хотя бы бумажных кредиток. Это большое счастье!.. Только вот что: возьмешь деньги, заруби себе на носу, что эти деньги не твои, а мои, потому что нажил их я, а не ты. Ты копал землю всего три-четыре часа, а я возился с нею всю жизнь. Ну, пойдем же! солнце приближается к обеду, а я проголодался. Будь спокоен, на этот раз я не обману тебя...

И, снова взяв Жданова за руку, он привел его в баню. Войдя в предбанник, он приказал Жданову разобрать дощатый пол и, когда доски были разобраны, проговорил:

— Нагнись! Под этой перекладиной ты увидишь небольшой булыжник, сними его и на этом месте копай.

И, проговорив это, он медленным шагом пошел домой.

— Ну,— проговорил он встретившему его на крыльце Асклипиодоту,— я послушал тебя и отдал им деньги.

А немного погодя вбежали в комнату Жданов с Серафимой и, увидав отца Ивана задумчиво сидевшим на диване, упали к его ногам.

Дня через три после описанного, по дороге, ведущей из села Рычей в губернский город, можно было видеть три подводы. На передней, запряженной парой, сидела женщина, окруженная несколькими детьми, а на остальных двух был навален разный домашний скарб. Тут были и корыта, и кадушки, две-три перины, большущий медный самовар, сундук, окованный жестью, несколько чугунов и ухватов, а поверх всего этого возвышались объемистые плетушки, наполненные курами, гусями и утками. Позади последней подводы шел мужчина в панталонах и жилете и слегка понукал привязанную к телеге корову. Нечего говорить, что то возвращалась в город семья Ждановых, щедро наделенная отцом Иваном.

XLIX

Значительно изменилась за это время и жизнь в грачевской усадьбе, в этом уютном, утонувшем в зелени сада домике Анфисы Ивановны. И в нем тоже, как и в домике отца Ивана,

забегала и зашумела целая семья малых детей; с тою только разницей, что к отцу Ивану семья приезжала на несколько дней, а сюда, в Грачевку, к Анфисе Ивановне, как видно навсегда, ибо Анфиса Ивановна не замечала ничего такого, что могло бы не только говорить, но даже предвещать скорый отъезд наехавших к ней незваных гостей. Семья эта принадлежала ее племяннице, Мелитине Петровне, на этот раз уже не вымышленной, а настоящей, проживавшей, как нам известно, в Петербурге, где-то на Песках. Семья эта прибыла в Грачевку благодаря опять-таки тому же следствию, которое столь тщательно производилось над Асклипиодотом. Не будь этого следствия, не разыщи следователь пребывания настоящей Мелитины Петровны, она извековала бы себе на Песках, в своем подвале, терпя и голод и холод, и даже не помышляла бы никогда о возможности перекочевать в теткину усадьбу. Но заданные ей вопросные пункты словно ярким лучом осветили мрак окружавшей ее жизни. Мелитина Петровна словно воскресла, словно переродилась! Теперь ей было известно, что Анфиса Ивановна не только жива и здорова, но что принадлежит к разряду самых нежных и любящих женщин, гостеприимно и радушно готовых принять даже мало известных родственников и родственниц. Мнимая Мелитина Петровна, пользовавшаяся расположением старушки и прогостившая у нее довольно продолжительное время, представляла тому ясное и неопровержимое доказательство. Поэтому нет ничего удивительного, что как только Мелитина Петровна додумалась до этого, так в ту же минуту распродала все свое скудное имущество до последнего утюга, с грехом рассчиталась за квартиру и с кухаркой и, собрав всех своих детей, которых было пять человек, распростилась с Северной Пальмирой и, горя нетерпением поскорее обнять Анфису Ивановну, полетела в сельцо Грачевку.

Мелитина Петровна, успевшая, года два тому назад, овдоветь, была женщина лет тридцати, но, забитая нуждой и перебивавшаяся кое-как со дня на день скудными заработками, сплошь да рядом недоедавшая и недопивавшая, казалась на вид совершенной старухой. Бледная, худая, со впалыми, постоянно заплаканными глазами, с костлявыми руками, острыми приподнятыми плечами и впалой грудью, она несравненно более походила на мумию, чем на живого человека. Она даже и говорила как-то не по-людски, не как живой человек,

а каким-то замогильным голосом, и раздражавшим вас, и в то же время наводящим тоску.

Мелитина Петровна приехала в Грачевку утром и, боясь стуком колес напугать, может быть, спавшую еще Анфису Ивановну, приказала ямщику остановиться не у крыльца, а немного поодаль. Затем, осторожно спустившись с телеги и сняв по очереди всех детей, она направилась вместе с ними в дом. Не встретив никого в передней, Мелитина Петровна присела на стул и принялась слегка покашливать, желая кашлем этим вызвать кого-либо в прихожую, но, просидев в ней с полчаса и все-таки никого не дождавшись, она решилась наконец привстать со стула и приотворить дверь, ведущую, по-видимому, в залу. Погрозив на детей, чтобы они сидели смирно и не шумели, она на цыпочках подошла к двери, полуотворила ее и как раз лицом к лицу встретилась с подходившею к той же двери Анфисою Ивановною.

— Вам кого угодно? — спросила ее старушка, попятившись назад, и изумленно вытаращила глаза на стоявшую в дверях женщину.

— Мне, мне... Анфису Ивановну!..— робко отвечала та.

— Я Анфиса Ивановна, что вам угодно?

— Я... я... Вы меня не знаете, конечно...

— Не узнаю, извините...

— Оно и немудрено забыть... Это было так давно... Я была еще грудным ребенком, говорят!.. Я и сама даже ничего не помню... и говорю только по слухам... как мне самой рассказывали... Я ваша племянница, Мелитина Петровна, дочь вашего покойного брата, Петра Иваныча...

Услыхав это, Анфиса Ивановна до того растерялась, что даже не нашлась что ответить, и только жестом руки пригласила ее войти в залу.

— Позвольте уж и детей! — пролепетала Мелитина Петровна, тоже смутившаяся.

— Пожалуйста...

Мелитина Петровна собрала детей и, вводя в залу, заставила их поочередно прикладываться к ручке Анфисы Ивановны.

— Это... тоже братнины дети? — спросила Анфиса Ивановна.

— Нет, матушка, это мои собственные.

— Так вы были замужем?

— Да, была, тетушка, за Скрябиным...

Анфиса Ивановна вспомнила что-то и даже обрадовалась.

— Ну что, как? — спросила она,— поправился ли он?

— Нет, тетушка, муж скончался... И вот оставил меня одну, с детьми, без средств...

Анфиса Ивановна перекрестилась, хотя и чувствовала очень хорошо, что в голове у нее происходит что-то такое, чего она сама не могла себе разъяснить.

— Не вылечился, стало быть? — спросила она.

— Нет.

— Еще бы, разве это возможно, поправиться! И руки и ноги оторвало...

На этот раз смутилась уже и Мелитина Петровна и, испуганно смотря прямо в глаза старушке, проговорила:

— Помилуйте, тетушка, ему никто не отрывал ни рук, ни ног...

— Как?

— Так, очень просто, тетушка...

— Да ведь ему на сражении оторвало...

— Помилуйте... Мой муж даже никогда военным не был...

— Да ведь вы сами же говорили мне! — вскрикнула Анфиса Ивановна.

Но, вдруг что-то вспомнив, она мгновенно замолчала, поднесла руку ко лбу и, как будто силясь собрать какие-то мысли, сдвинула брови.

— Да, да, постойте! — проговорила она. И, пристально взглянув на Мелитину Петровну, спросила: — Так вы кто же такая?

— Я — Мелитина Петровна.

— Так, так, так... Теперь все вспомнила... Ведь та была не настоящая... А вы... вы настоящая?

— Я настоящая...

— Ну! очень рада, очень рада.

И, поспешно обняв Мелитину Петровну, она расцеловала сначала ее, а потом всех детей и даже обрадовалась при виде приехавших.

— Вы меня, пожалуйста, извините,— говорила она торопливо,— но все это так неожиданно случилось, так внезапно,

что я даже не имела времени сообразить. Старуха уж я, память-то у меня ослабла... но теперь... теперь я все и сообразила и припомнила... теперь я все знаю... Очень, очень рада... Пойдемте, пойдемте...

И, введя всех в гостиную, она радушно рассадила их по местам и затем позвала Домну. Та не замедлила явиться на зов.

— Домна! — обратилась она с приказанием к вошедшей,— поскорее чаю Мелитине Петровне и детям.— И тут же, заметив испуг Домны, прибавила, смеясь: — Успокойся, успокойся, это настоящая.

Мелитине Петровне отвели ту же самую комнату, в которой жила «не настоящая», детей разместили в соседней, и, по-видимому, жизнь в Грачевке потекла прежним порядком, то есть все в обычный час пробуждалось, в обычный час обедало и ужинало, ложилось спать и засыпало; но все это только было *по-видимому,* не *в сущности;* от прежней невозмутимой и тихой жизни не осталось и следа. Брагин жаловался, что дети и яблоки и ягоды обрывают, Потапыч — что на них посуды не напасешься, Дарья Федоровна — что все варенье поели, кучер Абакум — что всех лошадей загоняли! Сама Мелитина Петровна была и тиха, и смирно-воздержанна, и не только не требовательна, но даже крайне снисходительна. Она отлично слышала не скрываемое, впрочем, от нее ворчание и Домны, и Дарьи Федоровны, и Потапыча, и Абакума, и Брагина, но делала вид, что ничего этого не слышит, и скорее заискивала, чем оскорблялась. Она всех называла *миленькими голубчиками,* рассказывала им со всеми подробностями горькую свою долю, жаловалась на судьбу и при всякой малейшей возможности старалась угодить каждому чем бы то ни было. Брагину она подарила какую-то орденскую ленточку, случайно оставшуюся после мужа, Абакуму — мужнину табакерку, Дарье Федоровне — какой-то старый чепец, с уверением, что чепец этот самой последней моды; но все это мало удовлетворяло прислугу. Прислуге этой досаждало в доме присутствие Мелитины Петровны, а в особенности ее детей. Дети действительно озорники были страшные. Там, в Питере, в подвале, на Песках, с голода, что ли, или по тесноте, но только они были иными — и тихими, и скромными, и послушными, а здесь, на просторе, отъевшись, почуяв свободу, пустились во все тяжкие. Сама Мелитина Петровна не узнавала их и не могла с ними сладить.

То они окно разобьют, то плетень повалят... а однажды, играя спичками, чуть было весь дом не сожгли. Потапыч бросил не только пыль стирать, но даже перестал комнаты мести. «Ничто, на них наметешься!» — ворчал он и при всяком удобном случае норовил или ущипнуть, или оттрепать которого-нибудь из сорванцов. Несчастная Мелитина Петровна мыкалась, хлопотала, извинялась, просила *не взыскать с глупеньких,* но, чувствуя, что и она сама, и дети ее стоят у всех поперек горла, плакала и молилась богу. «Господи,— взывала она, падая перед иконами,— неужто опять на Пески, опять в подвал!..» И, быстро вскочив, принималась теребить детей за волосы, а вслед за тем бежала к Домне, к Потапычу, Дарье Федоровне и снова начинала перед ними изливать все свое горе и всю свою тоску.

Раз как-то приехал к Анфисе Ивановне отец Иван. Только что успел он войти в залу, как на него наскочила целая толпа детей и чуть было не сшибла его с ног.

— Откуда это у вас, кумушка? — спросил он Анфису Ивановну, поспешившую навстречу к своему приятелю...

— Ох, уж не говори! — проворчала она и затем, обратясь к детям, крикнула: — Убирайтесь вы отсюда, чертенята!..

Дети быстро выбежали вон.

— Откуда бог послал?

— Да все этой... племянницы-то моей.

— Мелитины Петровны?

— Да.

— Достаточно, однако.

— Наказанье просто... хоть из дому вон беги... Ну что ты, как?

— Понемножку, кумушка.

— Нога-то лучше, что ли?

— Брожу...

— Говорят, у тебя тоже гости были?

— Были-с,— проговорил отец Иван, почесывая в затылке,— вчера проводил.

— Ну и слава богу...

И, перейдя в гостиную, они принялись беседовать. Беседа тянулась долго, но уж это было не то, что прежде. Батюшка ничего не пил, ничего не ел и наотрез отказался от всех угощений, предложенных было Анфисой Ивановной.

— Будет, кумушка дорогая, и попито и поедено достаточно...

— Ничего разве не пьешь?

— Запретили...

— Это *живодеры-то?*

— Да, они.

— Была нужда слушать, а мой совет вот какой: брось ты всех этих *живодеров*, не слушай их, пей и ешь сколько влезет, а ногу и руку два раза в день муравьиным спиртом натирай, а всего лучше разыщи муравьиную кучу, да в нее и положи свои больные члены. Я этак раз одного капитана вылечила...

— У капитана-то, может, ревматизм был?..— спросил отец Иван.

— А у тебя что?

— А у меня паралич...

— Это все равно, никакой разницы нет. Кровь застыла!.. Уж ты не боишься ли, что муравьи тебе ногу отгрызут?

— Нет, не боюсь...

— А коли не боишься, так и попробуй. Слава богу, у нас чего другого, а этих муравьиных куч сколько хочешь по лесу... Кажется, только в одних муравьях и осталась еще охота к честному труду... все мошенники пошли... Да,— прибавила она, переменив тон,— ты счастливее меня...

— Чем это?

— Твои-то вот гости погостили да уехали, а мои-то — при мне все...

— А долго Мелитина Петровна погостит у вас?

— А господь ее знает!

И, пригнувшись к отцу Ивану, прибавила шепотом:

— Надоела хуже горькой редьки.

— А я думал, наоборот, развлекает вас.

— Так разве она такая, как прежняя...

— Что же, хуже?

— Та умница была, веселая, разбитная... А эта хнычет, хнычет, даже тоску наводит... Поди ж ты вот, разыскала ведь! А все это твои крокодилы виноваты!

— Как мои? — удивился отец Иван.

— Чьи же? Ведь все ты выдумал про них...

— Что вы, что вы, напротив!..— защищался отец Иван.

— Ну вот еще... Я думаю, я помню...

— Я даже доказывал, что нет их, что быть их не может.

— А молитву-то кто читал о них... Кто на реку-то ходил... Что, небось... прикусил язык-то... А вот кабы ты этой-то истории не выдумал, так и настоящей Мелитины Петровны у меня бы не было... и не знала бы она даже о моем существовании. А вот теперь и возись с нею. Прогнать как-то жалко... есть нечего будет! и видеть-то ее тошнехонько... а с другой стороны, тоже не чужая ведь, одна кровь-то. А уж так надоела, так надоела...

— Нет, кумушка,— перебил ее отец Иван,— тут крокодилы ни при чем, а тут другая причина кроется...

— Ну-ка, выдумай-ка еще чего-нибудь.

— Тут просто «вода сперлась»!

— Так и знала, что чепуху какую-нибудь сгородишь. И дивлюсь я, глядя на тебя... Уж не тебя ли господь наказал, и язык-то тебе повредил, и ногу, и руку, а ты все не исправляешься, все чепуху городишь!

— Нет, не чепуха.— И, вспомнив слова Асклипиодота, прибавил: — Случалось ли вам видеть, как зимой к проруби рыба сплывается и жадно хватает воздух. Мужики говорят: «Вода сперлась, душно рыбе!» Так-то и Мелитине Петровне душно стало! Вот она к вам, как к проруби, и приплыла со всеми своими птенцами...

— Не слушала бы тебя! Совсем заврался! — проговорила Анфиса Ивановна, махнув рукой.— Никакой, видно, паралич тебя не исправит. Болтуном ты родился,— болтуном и помрешь.— И вдруг, переменив тон, спросила: — А что, Асклипиодот получил место?

— Получил-с.

— Где?

— На пчельник я его определил-с... Там, на пчельнике, в землянке и живет. Место, конечно, невидное, в лесу... однако ничего... приохотился, полюбил дело... читает много... Ничего!

Анфиса Ивановна хотела что-то сказать, но в это самое время в саду, под окнами, послышался какой-то топот, словно табун жеребят пронесся или вихорь пролетел; затем —

крик Мелитины Петровны, потом — какое-то шлепанье, какой-то визг, крики: ай, ай, ай! ай, ай, ай! и, наконец, все это покрылось голосом Мелитины Петровны.

— Я тебе дам, разбойник! — кричала она.— Я тебе дам яблоки воровать! Вот тебе, вот тебе, вот тебе!.. Господи, что же это за наказание! хоть бы мать-то пожалели, хоть бы об ней-то подумали... Чего же вы хотите, разбойники, чтобы выгнали нас, чтобы Христовым именем побираться!.. Ах вы, разбойники... Вот тебе, вот тебе.

— Вот оно, какое житье-то мое! — прошептала Анфиса Ивановна.

— Да-с! Жизнь пережить — не мутовку облизать...— и отец Иван вздохнул.



Иван Огородников

Из летописей села Сластухи

I

По узкой лесной тропинке, соединявшей Гнилое озеро с рекою Хопром, шли двое мужчин. Наступили сумерки, но тем не менее можно было рассмотреть еще, что один из пешеходов был мужчина лет сорока, высокого роста, плечистый, сутуловатый, с серьезным и даже мрачным лицом, а другой, наоборот, низенький, юный, веселый и с чуть заметным пушком на бороде и усах. Первый был в каком-то рваном, коротеньком кафтанишке из толстого сермяжного сукна, в таких же шароварах с заплатами на коленах, в тяжелых сапогах, в которых громко хлюпала и чавкала вода; другой — в летней паре, сшитой с претензией на моду, и низенькой пуховой шляпе, надетой набекрень. Первый нес на плечах вентерь, второй холстинный мешок, наполненный, по-видимому, рыбой; поэтому можно было заключить, что пешеходы эти возвратились с рыбной ловли. Впереди их, согнув хвост кольцом и весело прискакивая, бежала небольшая собачонка. Собачонка эта то бросалась в чащу леса, то снова выскакивала на поросшую лопухами тропинку; подбегала к высокому мужчине, ласково виляла хвостом и снова пускалась вперед. Пешеходы шли молча; сумерки в окружавшем их дубовом лесу более и более сгущались... Тишина была могильная. Если бы не хлюпанье воды в сапогах мрачного пешехода да не визгливый лай собачонки, натыкавшейся иногда на ежей, то можно бы подумать, что в лесу не было ни одного живого существа, что он, закутавшись в сумерки, не только заснул, но умер под обаянием душистого вечера.

Наконец молчание, как видно, надоело высокому пешеходу. Он остановился, вынул из кармана брюк кисет с таба-

ком, коротенькую трубочку в медной оправе, набил ее табаком и, чиркнув по рукаву спичкой, обратился к своему юному спутнику:

— Ну, что,— спросил он, закуривая трубку,— продал дом?

— Продал, слава богу! — ответил юноша.

— Гм, «слава богу»! — передразнил его мрачный мужчина.— Отец наживал, а сынок радуется, что все отцовское наследие распродал!.. «Слава богу», говорит!..

— Что ж? ведь я деньги-то не прожил!..

— Нет, нажил! — проворчал высокий, сплевывая.— И все так-то наживают! Кому овцу, кому лошадь, кому погребицу!.. Кто же дом купил — батюшка, что ли?

— Он?

— Я так и знал!.. Так и знал, что все твое добро к нему перейдет.— И, переменив тон, прибавил презрительно: — Эх! бить-то тебя некому!..

— Пора и перестать,— заметил юный пешеход,— достаточно, кажется, был бит.

— Хорошо еще, что ни сестер, ни братьев нет у тебя...

— Конечно, хорошо! Будь братья да сестры, много ли бы мне досталось? Пустяки самые! а теперь все-таки капиталец маленький сформировал. Я все-таки честь честью поступил: и сорокоуст по батюшке покойнике справил, и памятничек ему на могилку поставил... Один чугунный крест десять рублей обошелся...

— А велик капитал-то?

— Рубликов семьсот скопилось...

— Гм, семьсот! Имения-то тысячи на две было!.. Эх ты, голова с мозгом! — И вдруг, взглянув на юношу, спросил: — А корову рыжую дорого спустил?

— За тридцать рублей.

— А она семьдесят была заплачена! Молочища этого по ведру в удой давала! Кому же продал-то?

— Да все ему же, батюшке отцу Егорию...

— Плохо! плохо!..

— Что же делать! Никто дороже не давал, а мне необходимость была поскорее все в капитал обратить. Сам знаешь: дом на церковной земле стоял... Приехал на отцовское место новый дьячок; купить такой большой дом не мог, денег не было; а батюшка, отец Егорий, отдыха не давал мне, каждый день приходил: «Сноси, говорит, дом живей, поместье очи-

щай, новому дьячку ставить хату негде». Что же оставалось делать! Дом продал, а корову не за рога же держать!..

— Так. Ну, что же — теперь дом твой разломали?

— Зачем! В нем батюшка живет.

— А новый дьячок где же?

— А новый дьячок у батюшки поместье купил.

— Вот что! Ничего, ловко вышло! — И, снова оглядев юношу, спросил: — А не знаешь, приятель, дорого он дьячку свою-то усадьбу продал?

— Не знаю. Только слышал, что как-то с рассрочкой, на года...

Мрачный пешеход докурил трубку, снова набил ее, закурил и опять обратился к своему спутнику.

— А сам-то ты,— спросил он,— не мог на отцовскую должность проситься?

— Ах, Иван Игнатьич! — чуть не вскрикнул молодой человек.— Тебе известно, что я даже покойному отцу не раз говорил, что не имею расположения к духовному званию. Сколько раз я честью просил его взять меня из семинарии и в реальное училище определить, а батюшка, вместо того, псалтырем меня по башке! «Хочу, говорит, чтобы ты священником был, перед престолом всевышнего стоял!» А у меня к тому ни малейшего расположения не было. Бывало, товарищи мои сидят и богословие долбят, а я где-нибудь польку откалываю! Бывало, те-то в рваных сюртучишках шатаются, тихонько в душнике махорку курят, а я недопивал, недоедал, чтобы только баночку помадки купить либо галстучек новенький... Танцевать я готов был по целым суткам!.. И отец ректор тоже неоднократно увещевал: «Как тебе, говорит, не совестно! Готовишься, говорит, ты в духовное звание, а сам все пляшешь!..» Но что же мне было делать, когда у меня иное было на уме... Вот и кончилось тем, что покойному батюшке приказано было взять меня из семинарии. И вышло, что я — ни туда, ни сюда!..

— Ну, брат, плохо же твое дело! — заметил высокий мужчина.

— Чем же плохо?

— А тем, что пропадешь ты, как «вошь в табаке».

— Ничуть не пропаду! У меня, по правде тебе сказать, Иван Игнатьич, совсем не такой склад ума... У меня, брат, склад ума корыстолюбивый. У меня копейки не пропадет...

— Давай бог.

— Вот теперича в городе для соборного храма регента[1] ищут... Ноту я знаю до тонкости, потому — лет пять в архиерейском хоре был... Поеду в город, сделаюсь регентом... Жалованье полагается там шестьсот рублей, а разве я шестьсот проживу!.. Мне и двухсот девать некуда.

— Известно — некуда.

— Сверх того доходы будут. По праздникам с концертами буду ездить... Затем свадьбы, похороны... а свой капитал и все сбережения под проценты буду отдавать... А коли в регенты не поступлю, так в актеры уйду. Ныне актерам этим не житье, а масленица! У меня один актер знакомый есть... Ни стать, ни сесть не умеет, рожа прескверная, а тридцать карбованцев[2] в месяц получает!..

— Деньги хорошие.

— Еще бы! а коли это не удастся, так аферами займусь... Товарищ у меня был, тоже, как я, остался после смерти родителей один-одинешенек, тоже, как я, распродал все свое наследие и скопил капиталец рубликов в полтораста. Деньги, кажется, не велики, а посмотрел бы ты, как он распорядился ими!.. Смешно сказать: толченым кирпичом торговал!..

— Как так?..

— Очень просто! Заказал наделать коробочек с видом московского Кремля, напечатал на крышках: «Универсальный порошок для чистки самоваров и всякой медной посуды», насыпал в эти коробочки кирпича толченого, заклеил глухо-наглухо, да по полтинничку и начал их продавать...

— Ну, братец, за это, пожалуй, и в шею накладут! — проговорил высокий мужчина.

— А то так женюсь на богатой купчихе... Я, братец, этих купчих увлекать отлично умею!..— проговорил молодой человек; но, заметив, что мрачный спутник не слушал его, замолчал и сам.

Действительно, высокий мужчина не обращал уже никакого внимания на его болтовню. Шел он, понурив голову, насупив брови, и думал, по-видимому, совершенно об ином. Шагал он так широко, что молодому человеку, с коротенькими ножками, приходилось чуть не бежать, чтобы не отстать только от рослого и могучего своего товарища. Так шли они минут пятнадцать. Вдруг молодой человек, изнеможденный непривычной быстрой ходьбой, остановил своего спутника.

— Иван Игнатьич,— крикнул он,— нельзя ли потише...

Тебе хорошо с длинными-то ногами, а мне хоть ложиться так впору...

Иван Игнатьич сократил шаги.

— О чем ты задумался?

— Да вот думал, как бы и мне разбогатеть... А разбогатеть легко... Тоже вот, как и ты, в торговлю пуститься хочу...

— Уж не кирпичом ли толченым? — рассмеялся юноша.

— Кирпичом не кирпичом, а вроде того!.. — И, помолчав немного, проговорил: — Хочу я, братец ты мой, масленку себе выстроить... масло делать задумал.

— Что ж, это хорошо! — подхватил юноша.— Сам я этих делов, конечно, не знаю, а говорят — выгодно. У нас здесь по округе и подсолнухов, и горчицы, и сурепки, всего вдоволь... Только построй масленку, завалят...

— Нет, все это, братец, не то!.. Не такое масло на уме у меня...

— Какое же?

— Ни подсолнухов, ни сурепки — ничего этого мне не требуется... Я погоню масло из такой дряни, на которую никто и вниманья-то не обращает... Я уж пробовал... с полведра сделал... Такое, братец, вышло, что лучше всякой олифы... Густое, жирное... Смазал этим маслом мельницу свою,— так снастей-то не слыхать было...

— А на вкус как?

— На вкус никуда не годится!.. Так тебе весь рот и обмажет, ничем не отскоблишь... Нет, мое масло в еду не годится... Был здесь из Москвы студент один, подружились мы с ним: на охоту вместе ходили, рыбу ловили. Вот я ему это масло показывал, показывал зерна, из которых делал его... и студент прямо сказал, что масло это аптечное... Но наверное-то определить ничего мне не мог, а взял с собою и масла, и зерен и обещал написать — куда такое масло идет и какая ему цена... А все-таки сказал, что масло это не дешевое... Вот я теперь и жду не дождусь письма от него...— И, переменив тон, он прибавил: — Эх, в том-то и беда наша, что ничего-то мы не смыслим, что все мы темные люди!.. Ничему-то мы не обучены, а потому и толку от нас нет ни рожна. Ковыряем мы весь свой век землю, считаемся хлебопашцами... А что такое чернозем, что такое песок, глина,— того не знаем!..

— Чего же тут знать-то! Глина — она так глина и есть...

— Вот теперича по оврагам,— продолжал высокий муж-

чина,— сколько у нас камней разных!.. Иной камень-то в руку возьмешь — железо чистое, так бы и расплавил его, а есть ли в этом камне железо чистое али нет — не знаем. А то вдруг какой-то уголь попадется, да светлый такой... поковыряешь, поковыряешь его, к носу поднесешь, понюхаешь, да так и бросишь... А, может, его не бросать, а искать да раскапывать надоть... Вон люди, говорят, из крапивы холст ткут, из моха водку гонют; но правда ли это или одна брехотня — тоже не знаем... Исходил я, братец ты мой, пол-России; был в Малороссии, в Бессарабии, на Дону, в Крыму, в Кавказских пределах; видел много деревень, сел, станиц, городов, а еще более того людей... И везде-то сидит темный человек. Вот хоть бы ты, к примеру,— прибавил мрачный мужчина, ударив своего спутника по плечу,— ведь ты все-таки учился, сам говоришь — лет восемь занимался; плохо ли, худо ли, а все же восемь лет в книги смотрел... Как бы, кажись, не насмотреться? А ведь ты такой же темный человек, как и я! Книги, что ли, не те дают, или уж мы народ такой бестолковый, что в башки наши никакое просветление не проходит?.. Порядочного гвоздя сделать не умеем!.. — И, помолчав немного, он снова начал: — Вот я, почитай, пятнадцать лет на родине не был... Шел я домой и думал: не узнаю теперь села родного! А село-то все тем же осталось, каким и было! Заместо изб — хлевы, заместо лошадей — клячи!.. Поля пырьем поросли; луга травами сорными... На безводных степях воды нет!.. Те же знахари народ лечат, те же ворожеи народ морочут, цыган лошадьми надувает... И народ живет по-старому, по старым приметам. Коли яркие крещенские звезды, так, вишь, белые ярки будут; коли на Сретенье снежок, так весной дождик; коли трещит Варюха, так береги нос да ухо; Варвара, вишь, мостит, Савва вострит, а Никола гвоздит... Все по-старому! Только кабаков больше стало да совести меньше!.. Словно я не уходил из села, словно как не пятнадцать лет прошло, а ночь единая... Что солнышко освещало, закатываясь, то же самое согрело и вставаючи. Даже слеза прошибла меня... заплакал я!.. Нет хуже на свете, как быть темным человеком!.. И сил-то в тебе много, и разуму вдоволь, а как примешься за дело, так и видишь сейчас, что человек ты темный, что темнота эта разум-то твой словно паршами покрывает...

— Слава богу! — закричал вдруг молодой человек, радостно захлопав в ладоши.— Слава богу! Сбудется, сбудется!..

Мрачный пешеход даже остановился.

— Что ты! — проговорил он, оглядев с ног до головы своего спутника.— Белены, что ли, объелся? Чего там сбудется?..

— Желание мое! — быстро ответил молодой человек.— Звезда падала, и я загадал: буду ли я богат? Пока звезда летела, я успел прошептать желание... Значит, оно сбудется...

— Дурак!

— Это верно... Я сколько раз замечал...

Но мрачный пешеход только еще более насупился, перекинул вентерь с одного плеча на другое и снова зашагал такими шагами, что молодому пришлось почти бежать за ним.

Однако пора сообщить читателю, что мрачный пешеход был крестьянин села Сластухи, Иван Игнатьев Огородников, а молодой спутник — сын недавно умершего сластухинского дьячка, недоучившийся семинарист, Валериан Григорьевич Фиолетов.

II

Немного погодя спутники были уже на берегу Хопра и подходили к небольшому кусту вербы, возле которого болтался привязанный челнок.

— Отвязывай,— крикнул Огородников.

Когда челнок был отвязан, Огородников сел на корму, Фиолетов посредине, а собачонка вскочила на нос. Раздался плеск весла, и спутники отчалили от берега.

Усадьба Огородникова была на противоположном берегу, и нужно было только пересечь Хопер. Ночь была темная, но такая тихая, что синевшая, как расплавленное олово, вода стояла совершенно спокойно и смутными очертаниями отражала в себе и темное звездное небо, и громоздившиеся на противоположном берегу горы, и крошечный, но яркий огонек, блестящим лучом вырывавшийся из окна огородниковской избы. Достигнув берега, спутники вышли из челнока, привязали его и молча принялись взбираться по узкой тропинке на крутой берег. У дверей своей хаты Огородников обратился к Фиолетову и спросил:

— Ты домой, что ли?

— Домой! — ответил Фиолетов.

— Ну, так, значит, прощай.

— А когда опять приходить?

— Теперь переждать надо,— рыба не ловится... Придет время — позову.

— А куда рыбу девать? — спросил Фиолетов, указывая на мешок.— Делить, что ли, будем?

— Чего там делить-то? бери себе!..

И, простившись еще раз, они расстались. Огородников нырнул в дверь своей хаты, а Фиолетов, напевая какую-то песенку, засеменил ножками по направлению к селу Сластухе. Но едва он вышел на большую дорогу, пролегавшую в полверсте от усадьбы Огородникова, как его догнал ехавший на тележке сластухинский батюшка. о. Егорий.

— Это ты, Валеря? — окликнул его батюшка.

—Я.

— По голосу узнал! — заговорил отец Егорий и, покачав головой, прибавил: — Все песенки распеваешь...

— Чего же мне не петь-то!

— Весело тебе живется, Валеря...

— О чем же сокрушаться?..

— Известно! — перебил его батюшка, подъезжая к нему.— Родитель в могилке... Жутко ему там. Черви грызут его; гробовая крышка грудь давит... Хотелось бы глазки открыть, на детище свое посмотреть, да веки-то закоченели, глаза-то провалились... А детище тихую ночь песенками оглашает...

— Будет вам! — вскрикнул Фиолетов.

— Не подвезти ли тебя? — спросил батюшка.

— Не надо, я и пешком дотащусь.

— Что так осерчал?

— А то, что вы говорить не умеете.

— Не умею, Валерюшка, не умею... а вот ты присядь да поучи.

— Мои песни никого не трогают,— сказал раздраженно Фиолетов,— а ваши речи душу терзают... Вот что-с!

— Ну, не стану, не стану!.. Садись только...

И батюшка остановил лошадь.

— Не станете? — допрашивал молодой человек.

— Не стану.

— Смотрите же!.. Не то — у меня характер решительный.

— Ну, ну, садись, сердитый человек.

Батюшка посторонился, и Фиолетов уселся рядом с ним.

— Ты где это был, Валерюшка? — спросил отец Егорий, ударив вожжой лошадь.

— А был там, где теперь меня нет.

— Остроумно,— рассмеялся батюшка,— весьма остроумно...— Внимательно посмотрев на мешок с рыбой, он прибавил: — А вот я на твой мешочек смотрю и догадываюсь, что в нем рыбка бьется...

— Бьется.

— Рыбку ловил, что ли?

— Ловил.

— С Огородниковым?

— С ним.

Батюшка вздохнул даже.

— Ах, Валеря, Валеря! — проговорил он.— Все-то ты с ним да с ним!..

— Почему же не быть с ним?

— А потому, что человек он сомнительный...

— Чем же?

— А то, радость моя, что от людей он словно волк бегает, словно зверь какой... И взгляд-то у него, как у зверя... Добрый человек людей не бегает, на все добрыми глазами смотрит!.. Коровка ли пройдет,— добрый человек и коровкой полюбуется; собачка ли, овечка ли, птичка ли пролетит, ему все мило, все дорого... А твой-то Огородников совсем другого сорта человек... Надо, Валерюшка, уметь в сердцах читать... Сердце-то наше — та же книга, а-ах какая книга!..

И вдруг, круто повернувшись, батюшка спросил:

— Ты, Валерюшка, умеешь ли такие-то книги читать?

— Ну вас и с книгами-то! — рассердился Фиолетов.— Надоели вы мне!

— Вот то-то и есть! — подхватил батюшка.— А ведь я тебе заместо отца родного. Меня отец-то твой, умирая, просил соблюсти тебя. Как теперь слышу голос его. Лежит он, бедняга, на смертном одре, подозвал меня вот так-то пальцем и шепчет: «Отец! соблюди сына моего... жаль мне его... пропадет, боюсь... Будь ему заместо отца!» Шепчет так-то, а в горле-то у него смерть клокочет. «Поклянись, говорит, что соблюдешь сына!» И я, Валерюшка, поклялся. Образок тут висел, лампадка теплилась... Я снял образок и перед этим самым образком дал клятву! Ты образок этот, Валерюшка, береги... Э-эх! — проговорил батюшка, вздохнув.— Мо-

лод еще ты, зла в людях не подозреваешь, а люди-то всякие бывают: другой человек-то хуже пса кусается!... Таков-то и твой Огородников. Вот он знает теперь, что деньжонки у тебя есть, и голубит тебя... Только берегись, как бы голубка-то эта ястребом не козырнула!..

Фиолетов даже расхохотался.

— Смешно тебе, Валерюшка; а чему смеешься — сам, поди, не знаешь.

— Нет, знаю! — резко ответил Фиолетов.— Вы про Огородникова говорите, а он про вас.

— Что?.. что такое? — забормотал батюшка и даже как-то испуганно заметался на своей тележке.

— А то, что Огородников, наоборот, вас нехорошим именем называет.

— Вот те на! — воскликнул батюшка.

— Так-таки и говорит, что вы ограбили меня.

— И ты не наплевал ему в буркалы?

Фиолетов ответил хохотом.

— Я никого не утесняю...— говорил батюшка.— Я выеду себе на загон, возьму винца ведерочко,— и народ за мной, как мухи за медом... Вот что, друг мой любезный!.. У меня утеснений нет, а утеснений нет потому, что не имею нужды утеснять. У тебя глаза есть, вот ты и посмотри, куда народ с своей нуждой идет? Ко мне идет он, идет потому, что знает мое доброе сердце. Придет он, расплачется,— и я тоже расплачусь! Вот я тебе покажу когда-нибудь, сколько у меня разных этих расписок накопилось: рублей сот на пять будет... Так-то, милый человек!..

Тем временем они доехали до села Сластухи, проехали улицу, и только тогда, когда перед ними заблестел своими освещенными окнами красивый домик отца Егория, последний остановил лошадь и, обратясь к Фиолетову, ласково спросил:

— Ты, Валерюшка, ко мне зайдешь, что ли?

— Нет, спать хочется...

— А то бы зашел, мы бы ушицу сварили. У тебя на ушицу-то хватит рыбки-то? — спросил он.

— Хватит...

— Так зайдем. Мне что-то страсть как рыбки поесть захотелось...

— А водочки дадите? — спросил Фиолетов.

— Рюмочку дам и сам с тобой выпью.

— Мало!

— Да ведь это так только говорится, друг любезный, а там — что бог даст, увидим!

— Ну, ладно, зайду, коли так.

— Так слезай поскорей да отворяй ворота.

Фиолетов соскочил с тележки... Заскрипели ворота, и тележка въехала во двор, а немного погодя на небольшом крылечке домика показалась тучная фигура «матушки» с зажженной свечой в руках.

— Это ты, отец? — окликнула матушка, заслоняя рукой колебавшееся пламя свечи.

— Я, мать!

— Где это ты пропадал?

— В Шуклине был, в Грязнухе.— И, переменив тон, прибавил: — А я, мать, гостинчик тебе привез... рыбки...

— Солененькой?

— Нет, свеженькой... Уж ты ушицей угости нас...

— Кого же это «вас»-то? — спросила попадья.— Аль привез кого с собой?

— Меня привез! — крикнул вдруг Фиолетов басом и быстро вскочил на крыльцо к матушке.

III

Иван Игнатьев Огородников хотя и принадлежал к обществу села Сластухи, но тем не менее был совершенно чуждым для него человеком. Оставшись сиротою по десятому году (отец и мать его почти одновременно умерли от холеры), он рос как-то особняком и точно так же особняком мужал. Участь сирот вообще незавидна, а в крестьянской среде тем паче. В других, более привилегированных сословиях все-таки имеется кое-что для сирот — опеки, сиротские суды и т. д., а в крестьянской среде, где всеми делами общества и его интересами орудует в большинстве случаев невежественное и спившееся сельское начальство, там о сиротах думать некому да и некогда. После смерти отца Огородникову досталась изба, несколько голов крупного и мелкого скота, кое-какой домашний хлам и две-три скирды немолоченого хлеба. Начальство разыскало какого-то «крестного», крестьянина же села Сластухи, спило с этого «крестного» четверть водки и дало ему на руки как сироту, так

и все доставшееся ему имущество. «Крестный» начал с того, что распродал все оставшееся добро, вырученные деньги прикарманил, а сироту сделал своим батраком. Мальчуган делал все, что только мог. Он бороновал землю, убирал скотину, рубил дрова, таскал воду, привозил солому и сено и за все это получал от «крестного» колотушки. Чуть, бывало, проспит, чуть на улице заиграется, как «крестный» ловил его за хохол и учил уму-разуму...

Так прошло около трех лет...

Мальчуган рос и понемногу вдумывался в свое положение. В результате этих дум мальчуган пришел к сознанию, что судьба его крайне печальна, что, оставшись сиротою, он рискует вдобавок остаться и нищим. Придя к этому заключению, он стал приставать к «крестному» с расспросами об оставшемся после отца имуществе; стал допытывать: кому оно было продано и куда девались деньги? Не добившись ничего путного, стал приставать с теми же допросами к сельскому начальству. Начальство сначала гоняло его по шее, обзывало его «паршивцем», «грубияном», а потом, когда он очень уж стал надоедать, его просто-напросто выпороли. Тем дело и кончилось. Огородников пробыл у «крестного» еще некоторое время, а потом вдруг взял да и сбежал куда-то! Дали знать полиции, принялись искать беглеца, но все поиски оказались напрасными. Порешили, что «озорник» либо утонул, либо, заблудившись в лесу, был съеден волками, и, успокоившись на этом, забыли и думать про Огородникова. Забыл о нем и «крестный»... Последний был даже доволен случившимся...

Словом, все успокоились. Вдруг, года два спустя, Огородников был где-то найден и по этапу препровожден на родину. «Ах он шатун проклятый!» — возмутилось начальство и, выпоров его за побег, снова водворило на жительство к «крестному». В бегах мальчуган набаловался еще пуще; сверх того, он возмужал, окреп, и ладить с ним было уже не так легко, как прежде. Раз как-то «крестный» по старой привычке вздумал было поучить его уму-разуму, протянул было руку к хохлу, но Огородников так треснул его по руке, что старик дня два не мог поднять ее. Затем Огородников пошел в волостное правление и потребовал выдачи ему паспорта. Старики зашумели, загалдели, начали грозить новой поркой, но Огородников стоял на своем и наконец добился, что паспорт был ему выдан. «Пес с тобой! На, бери!..» —

кричал старшина, передавая паспорт, а Огородников хоть бы слово... Свернул паспорт, запихал его за пазуху и, не простившись даже с «крестным», опять куда-то пропал.

Прошло еще лет пять. Огородников снова явился в село, выстроил себе избу на выгоне, а когда изба была готова, принялся искать себе невесту. Глядя на все это, сластушинские крестьяне просто со смеха умирали. «Ну,— говорили они,— шатун-то наш избу себе поставил, жениться затеял!» Сватовство Огородникова тянулось почему-то очень долго, должно быть, невесты себе подходящей не находил! Наконец невеста была найдена и привезена в Сластуху. Это была девушка-сирота, бедная мещаночка, и о. Егорий повенчал ее с Огородниковым. Когда сластушинские мужики и бабы увидали под венцом Прасковью (так звали невесту Огородникова), то все они просто изумились при виде такой красавицы; даже сам «батюшка» и тот, покончив венчание и стаскивая с себя ризу, не вытерпел и подмигнул Огородникову. «Ну, брат Иван,— проговорил он,— губа-то у тебя не дура!..», а Огородников только самодовольно улыбнулся.

Весь день народ только и делал, что толковал о невиданной красоте молодой Огородниковой; целыми толпами ходили любоваться ею, разглядывали ее, ласкали, и, только когда совсем уже стемнело, когда свадебный пир был кончен, народ оставил избу молодых и, возвратясь домой, завалился спать. Но спать пришлось недолго. Часу в первом ночи раздался набат, послышались крики: «Пожар! пожар!» Темные углы изб осветились кровавым заревом; выскочившие на улицу крестьяне увидали огненный столб, охвативший избу Огородникова. Бросились на пожар, и каково же было изумление сбежавшихся, когда после пожара они заметили отсутствие Огородникова. Принялись расспрашивать молодую Прасковью, но та на все расспросы отвечала лишь глухим грудным стенанием. Подумали, не сделался ли Огородников жертвою огня, принялись раскапывать тлевшие угли, разбрасывать обгоревшие бревна, развалившуюся печь, но никаких признаков не оказалось. Куда делся Огородников,— никто не знал.

IV

Загадочное исчезновение счастливого, только что повенчавшегося молодого возбудило самые разнообразные толки

Приехал становой, за ним следователь... Стали допрашивать жену Огородникова, заподозрили ее в чем-то и для чего-то посадили под арест... Под арестом просидела она месяца два. Когда прошел слух, что кто-то встретил Огородникова в Новочеркасске, а потом в Одессе и Ялте,— арестованную освободили. Она возвратилась в село Сластуху, кое-как оправила избу и, одевшись в черное платье, зажила «черничкой». Она только и знала что свою избу да церковь... Она увешала свою келью иконами и, отрешившись от всего земного, посвятила себя посту и молитве. Правда, раз как-то сластушинские мужики видели, что к избе Прасковьи подлетел какой-то офицер на тройке, но офицера этого Прасковья даже в избу не пустила. Она выскочила к нему, замахала руками, затем скрылась в избу, хлопнула дверью и заперла ее на крюк. Офицер посмотрел на дверь, покрутил свой ус и — тем же следом назад.

Так проходили годы. Об Огородникове не было ни слуху ни духу. Все розыски полиции оказались бесплодными. Наконец про него забыли все, кроме жены, которая словно не переставала ждать его... Прошло еще лет пять; в Сластуху пришел какой-то солдат. Сидя в кабаке, солдат этот рассказал, что, будучи в Кахетии и работая там на каком-то винограднике, он встретил Огородникова. Огородников хотел было скрыться от него, но, убедившись, что скрыться невозможно, начал упрашивать солдата не говорить об этой встрече в Сластухе. Тот же солдат, подвыпив и забыв, как видно, обещание сохранить тайну, разболтал, что Огородников живет в Кахетии своим домом, имеет жену-молоканку и сам перешел в молокане. Об этом дали знать полиции; полиция списалась с кем следует, но получила ответ, что никакого Огородникова в указанном месте нет. Хотя рассказ пьяного солдата, по исследованию полиции, и оказался ложным, тем не менее несчастная Прасковья почему-то верила этому рассказу и была так поражена этой вестью о муже, что слегла в постель и провалялась всю зиму.

Прошло еще лет пять, и вот в одно прекрасное утро Огородников снова вернулся в родное село свое. Все ахнули при виде его, а прибежавшая жена бросилась ему на шею да так и замерла, обхватив его обеими руками!..

Но это был уже не тот Огородников — молодой, цветущий и довольный, каким видели его сластушинские крестьяне, когда стоял он под венцом рядом с своей красавицей неве-

стой,— это был почти старик, с нависшими сдвинутыми бровями, суровым исподлобья взглядом, густыми волосами, торчащими на голове шапкой, с окладистой поседевшей бородкой и суровым смуглым лицом. Пятнадцать лет, проведенные Огородниковым в безвестной отлучке, наложили свою печать и на многих других... Они покрыли сединами несколько десятков сластушинских голов и пригнули к земле многих гордо и прямо ходивших прежде людей. Пятнадцать лет эти посеребрили и голову батюшки, да и на лице красавицы Прасковьи оставили свои следы: пропал ее румянец, пропала свежесть лица; розовые губы ее побледнели, черные косы поредели, на лбу показались складки. Одни только темные большущие глаза, опушенные длинными густыми ресницами, блестели по-прежнему... Тем не менее, Огородников узнал всех и все узнали его.

Как ни скрывал свои чувства Огородников, как ни старался он уходить в самого себя, как ни притворялся он равнодушным, а по всему было видно, что возвращение свое на родину он почитал великим счастьем для себя. Он немедленно же принялся за устройство своей усадьбы. Устроил себе кузницу, поставил небольшую ветряную мельницу, а старую обгорелую избу привел в такой порядок, что любо было посмотреть на нее. Устраивая свою усадьбу, он в то же время не забывал и общественных интересов. Ему было как-то тяжело видеть, что родное село его находится в той же бедности, в какой находилось оно пятнадцать лет тому назад. Ему было тяжело смотреть на полуразвалившиеся избы, сельскую безурядицу, поголовное пьянство, невежество и суеверие в своем родном селе. Он стал усердно посещать сходки, прислушивался на этих сходках к толкам и суждениям заправителей села, ходил на волостной суд, вникал в порядки этого домашнего правосудия, вникал в дела волости и мало-помалу, познакомившись с положением дел, сделался и сам говоруном. Он стал говорить о необходимости завести училище, ввести общественную запашку, заняться очисткою лугов от сорных трав, об улучшении породы лошадей и коров, о непременном закрытии кабаков и лавочек и об устройстве сельских вспомогательных касс. Он так красноречиво говорил обо всем этом, что все его слушали и удивлялись, откуда берутся у него такие хорошие и умные речи.

— Вы посмотрите-ка, старички почтенные,— говаривал он на сходках,— в каких хлевах живете вы и в каких хоро-

мах живут ваши кабатчики и лавочники. У вас избы грязней грязи, а у них дома-то словно из города перенесены, покрыты железом, с тесовыми воротами и расписными ставнями. У вас лошаденка-то еле ноги переставляет, а они на рысаках да на иноходцах летают.

Нападал Огородников и на развившуюся безнравственность в народе и беспрестанно повторявшиеся кражи, на разнузданность и леность, на распадение семьи и т. д.; причиною всего этого опять-таки считал кабак, лавочку и отсутствие школы.

— Вы посмотрите-ка,— говорил он,— что с вашими женами и детьми сотворилось. Прежде ваши жены да дочери за прялками сидели, за ткацкими станками, обували, одевали вас, а теперь они только песни горланят да к тем же лавочникам и кабатчикам распутничать ходят!.. Прежде не токмо девка, но и замужняя баба мимо кабака пройти совестилась, а теперь из кабаков-то не выживешь их!.. А вы смотрите на все это и только глазами хлопаете. Школу, старички почтенные, заводить давайте, да такую школу, от которой нам польза была бы, которая давала бы нам хороших работников, научила бы нас, темных людей, уму-разуму...

Доставалось от Огородникова и всем сельским заправителям — и старшине, и старосте, и писарю, и судьям. Даже урядник и тот побаивался резкой прямоты и правдивости Огородникова. Но не посчастливилось Огородникову от этой прямоты: те, которых обличал он, тоже не дремали.

— Кого вы слушаете-то? — урезонивал волостной сход писарь.— Припомните-ка, каков он сам-то? Забыли нешто, что вам про него солдат-то рассказывал?.. Двоеженец он!.. Молокан!.. родную, отцовскую веру, церковь Христову на молоканство променял...

— Врешь! — грозно прикрикнул на него Огородников.— Не молокан я!..

И, разорвав ворот рубахи, показал народу медный крест, висевший на мохнатой груди его, который тут же благоговейно поцеловал, осенив себя широким крестом.

Иную политику вели кабатчики и лавочники. Те доказывали, что Огородников — смутьян, которому, почитай, и в Сибири-то трудно места найти. Эти доводы, подкрепляемые водкою, имели свою силу; ряды сторонников Огородникова постепенно редели. Люди малодушные просто боялись, сторонились его...

Даже батюшка, о. Егорий, был почему-то доволен, что Огородников потерпел поражение.

Только Фиолетов, познакомившийся случайно с Огородниковым во время рыбной ловли, привязался к нему.

V

Если бы вам случилось попасть в Сластуху, вы непременно обратили бы внимание на усадьбу Ивана Игнатьева Огородникова. Усадьба эта помещалась не в самом селе, а на выгоне, верстах в двух от села, и отделялась от него глубоким, крутым оврагом. Избушка Огородникова, правильнее — землянка, словно гнездо ласточки, лепилась на самом обрыве крутого берега Хопра и внешностью нисколько не походила на остальные избы сластушинских крестьян. Это была не изба, а какая-то сакля, какие обыкновенно встречаются в кавказских аулах, с двумя небольшими окнами, из которых одно было обращено на реку, а другое — в сторону ветряной мельницы, находившейся неподалеку от избушки. Мельница эта была тоже какого-то странного вида. Стояла она словно на курьих ножках и, вместо обыкновенных крыльев, была снабжена каким-то колесом. Вы обратили бы, конечно, внимание и на дощатую трубу, торчавшую из земли и каждую ночь осыпавшую огненными искрами всю усадьбу Огородникова. Труба эта выходила из кузницы, вырытой в земле. Когда в первый раз увидали этот огненный фонтан, вылетавший из-под земли и падавший на соломенную крышу избенки, то все крестьяне опрометью бросились в кузницу с криком:

— Иван Игнатов! Ты свою хату спалишь!

— Небось не спалю,— ответил Огородников, усмехаясь.

— Как не спалишь! Посмотри-ка: ее так огнем и осыпает...

— Пущай осыпает! Она у меня заколдованная...

Насколько мрачна была внутренность подземной кузницы, настолько приветлива и опрятна была его хата. Выштукатуренная и тщательно выбеленная внутри, с небольшой русской печкой в углу и перегородкой, с чистыми сосновыми скамьями, она имела очень опрятный и уютный вид. Из окна открывался восхитительный вид на реку. Налево, по полугорью, раскидывалось село со старинной деревянной цер-

ковью, а прямо, у подошвы горы, широкой лентой извивался Хопер, противоположный берег которого, покрытый кустарником, лесом и местами блестевший озерами и затонами, далеко уходил вдаль, сливаясь с горизонтом... Голубоватые возвышенности окаймляли этот горизонт, а на возвышенностях темными пятнами чернели села и деревни...

Огородникову было лет под сорок. Но слегка сгорбленная его фигура, высокий открытый лоб, а главное — суровый вид и вечно сдвинутые густые брови значительно старили его. Смуглое лицо его, с большим ястребиным носом и толстыми губами, было словно отлито из темной бронзы; белки суровых глаз его еще более выделялись, вследствие этого, своею поразительною белизною. Точно мавр какой-то был Огородников. Силой владел он необычайной. Выворотить из земли громадный камень, перенести его и уложить на месте — было ему нипочем. К помощи лошади он прибегал только в самых крайних случаях. Он не знал ни устали, ни страха. Раз как-то в Сластухе случился пожар. Дело было в рабочую пору; народ был в поле. Огородников прибежал на пожар, с помощью багра один разбросал целую избу и, образовав переулок, преградил дальнейший путь огню. Другой раз он бросился в окно пылавшей избы и вытащил из огня спавшего в люльке ребенка. Ходок он был тоже замечательный. Свистнет, бывало, свою собачонку, перекинет винтовку через плечо, запихает в пазуху полкаравая хлеба, да несколько дней подряд и шагает по степям и полям... Придет домой весь запыленный, перепачканный, рухнется на постель, задаст хорошую высыпку — и как ни в чем не бывало.

Рассорившись с обществом крестьян села Сластухи, Огородников прекратил все свои отношения с ним. Он даже и в село не входил. Раза два в год он являлся только к сборщику податей, вытаскивал из-за пазухи кожаный кисет, отсчитывал приходившиеся с него подати и, передав их сборщику, молча возвращался домой. Разговоров он вообще не любил; даже с женой говорил редко. Он говорил с нею как-то отрывисто, словно нехотя... Спросит что-нибудь, выслушает, ответит и замолчит. Впрочем, бывали и такие минуты, что он по целым часам глаз с нее не сводил... Смотрит, смотрит, бывало, не налюбуется... А потом вдруг вскочит, словно ужаленный, свистнет собачонку и пропадет куда-то на несколько дней... А жена ждет не дождется его и все кого-то проклинает...

— Ну, господин офицер,— шепчет она бывало, утирая слезы.— Спасибо вам!.. век буду помнить ваши ласки!..

Односельчане Огородникова словно даже радовались, что он на сходках не бывает, водки с ними не пьет. «Обчество» это словно даже забыло про него. Оно не давало ему ни земли, ни покосов, ни лесных делянок. Точно Огородникова не было в обществе; точно он был не членом его, а человеком пришлым, который должен быть благодарен и за то, что ему отвели место под усадьбу, что дозволили хату поставить, в которой он мог укрыться от стужи и непогоды... Разумеется, и «несгораемая изба», и «чудная мельница», и «подземная кузница» тоже приводили в немалое раздражение некоторых обитателей Сластухи.

— Вот он каков,— говорили про Огородникова злые языки,— у него и изба не горит, а мельница без ветра работает, и сам он, как крот какой, в земле роется!.. Недаром пятнадцать лет в бегах был!.. Всего там нагляделся, всего наслушался!..

И порешили, что Иван Огородников человек «сомнительный», что чем дальше от него держаться, тем, пожалуй, и богу приятней, да и самим спокойнее. «Пускай-де отвечает сам за себя, как знает!»

Убеждение, что Огородников действительно человек «сомнительный», еще более окрепло в умах сластушинских крестьян, когда однажды весной им пришлось быть свидетелями следующей сцены. Ледоход был в полном разгаре. Громадные льдины с шумом и треском неслись друг на друга. Дело было как раз на пасху. Разряженные толпы народа высыпали на берег и глазели на разбушевавшуюся реку. Вдруг вдали, на небольшой льдине, как раз посредине реки, народ увидел что-то черное, мокрое, полузамерзшее, оглашавшее воздух жалобным стоном. Не то ребенок плакал, не то другое что-то живое... Народ прихлынул к берегу и замер. Но когда летевшая льдина поравнялась с селом и можно было ясно разглядеть, что на льдине металась и визжала небольшая собачонка, то дружный хохот, как салютный залп, приветствовал злосчастную путешественницу. Однако хохот продолжался недолго. Как только льдина поравнялась с толпой, Огородников бросился в свой легкий челнок и отчалил от берега.

— Огородников, вернись, утопишься! — кричал во все горло тут же бывший старшина.— Что ты, ради пса душу

свою христианскую загубить хочешь? Вернись, дурень! Не то сейчас в холодную посажу!..

Но «дурень» не слушал угроз старшины. Расталкивая льдины и ловко лавируя между ними, он добрался до собачонки — той самой Амалатки, о которой была уже речь,— схватил ее, бросил в челнок и как ни в чем не бывало возвратился назад. Присутствующие только ахнули и развели руками...

— Ну,— раздалось несколько голосов,— ни в воде не тонет, ни в огне не горит!..

VI

На все эти толки, столь сильно волновавшие сластушинских крестьян, менее всего обращал внимания сам Огородников: он словно и не знал о них ничего, продолжал себе жить особняком. Кроме кузницы, он вырыл еще помещение для коровы, покрыл его тою же несгораемою соломой, наделал к реке сходов, а самый обрыв засадил малиной. Сластушинские крестьяне со смеха покатывались, глядя, как Огородников с железной лопатой в руке копал ямки для малины и как эту малину целыми ворохами таскал на своих плечах из леса.

— Вот сластник какой! — говорили они.— Малинки захотелось, весь обрыв засадил.

Но когда на следующее лето посаженные кусты покрылись крупными, сочными ягодами и даром пропадавшая земля дала Огородникову хороший доход, то сластушинские зубоскалы еще более обозлились на «сомнительного» человека. Копаясь, как крот, Огородников и в образе своей жизни словно подражал этому безобидному зверьку. В гости он никуда не ходил и гостей у себя никогда не принимал.

Такой отшельнический образ жизни, мрачность характера Огородникова, его наклонность устраиваться не на поверхности земли, а в недрах ее — поселили в умах местных крестьян, помимо нерасположения, и массу всевозможных догадок. Стали болтать, что к Огородникову летают по ночам огненные змеи, что он занимается колдовством, для чего собирает какие-то травы и вымолачивает из них зерна; что разыскивает какие-то клады, что придумал какую-то новую веру и, склоняя жену свою в эту веру, каждую ночь тиранит

ее, как лютый зверь. Стали тайком допрашивать жену Огородникова Прасковью, но Прасковья или молчала упорно, или же божилась, что ничего подобного нет. Начали подсматривать за Огородниковым; приходили к нему по ночам и подслушивали под окнами...

Однажды ночью старики сделались свидетелями следующей сцены: Огородников сидел на лавке и молча смотрел на жену, занимавшуюся пряжей. Долго продолжалось молчание. Наконец Огородников вздохнул и проговорил:

— Паша! подойди ко мне.

Прасковья бросила прялку и робко подошла к мужу. Все замерли и ожидали, что вот-вот он примется бить несчастную женщину, а вышло не то.

Огородников взял жену за руку и притянул к себе.

— Так ты говоришь, что он помер? — спросил Огородников голосом, дрожавшим от волнения.

— Помер, вишь! — прошептала она.

— Туда ему и дорога.— И, помолчав немного, он снова обратился к жене: — А ты забыла его?..

И все увидали, что после этого вопроса Прасковья упала перед мужем на колени и принялась целовать его руки.

— Лиходей он мне! — рыдала она.— За что же помнить-то его!

Постояли старички еще под окном и увидали, что Огородников поднял жену, обнял ее и зарыдал, как малый ребенок. Никто ничего не понял из всего этого...

— Черт его знает, прости господи,— говорили старики, возвращаясь домой,— нешто его разберешь?..

Вскоре после этого пропало из выгона шесть лошадей. Все село, заподозрив Огородникова в совершении этой кражи, с шумом и гамом привалило к его усадьбе. Дело было вечером. Огородников работал в своей подземной кузнице... Узнав, в чем дело, он схватил самый тяжелый молот и, потрясая им в воздухе, такой нагнал страх на толпу, что она, как осколки лопнувшей бомбы, разлетелась от него в разные стороны.

— Зверь, как есть зверь! — порешили все хором.

Однако лошади были вскоре найдены, вор открыт, и вором оказался, разумеется, не Огородников.

Но возвратимся к рассказу.

Недели две спустя после описанного в начале рассказа возвращения с рыбной ловли Огородников пришел к Фиоле-

тову. Фиолетов, завитой и тщательно причесанный, сидел на стуле с гитарой в руках и пел какой-то романс. При виде Огородникова он от радости даже с места вскочил.

— А! друг любезный! — вскричал он.— Садись-ка и слушай, какой я романс сочинил...

И, усадив Огородникова, он запел, закатывая под лоб глаза:

Вы меня обворожили,
Потерял я свой покой;
Сердце мне стрелой пронзили,
И я сам теперь не свой...
Я горю, я весь пылаю...
Перестал я даже спать
И теперь одно желаю —
К сердцу крепко вас прижать!..

— Каково, а? — кричал он, покончив романс и быстро вскакивая с места.— Это я на всякий случай сочинил... Может, подвернется какая,— я ей и закачу... Хорошо?..

— Хорошо-то хорошо,— проговорил Огородников мрачно,— но только я пришел к тебе не твои дурацкие песни слушать, а по делу...

— Что ж! — перебил его Фиолетов.— Будем и про дело говорить. Рыбу, что ли, ловить собираешься?..

— Нет, не собираюсь!

— Какое же такое может быть у тебя дело?..

— Дело, братец, большое,— проговорил Огородников.— Я долго обдумывал: идти ли к тебе или не идти?.. И порешил наконец, что надо идти и что без тебя не обойдешься.

Помолчав немного, как бы собираясь с духом, он сказал:

— Денег мне надо... вот какая штука!..

— Вам денег? — вскрикнул Фиолетов и в ту же минуту вспомнил предостережение о. Егория.

— Выручай, брат...

Фиолетова даже покоробило всего.

— Нет,— пробормотал он,— денег я не даю никому.

— Хорошее дело! — заметил Огородников.— А мне все-таки дай, потому — за мной твои деньги не пропадут. Все до копейки получишь...

— Нет, я денег не дам... самому нужны,— перебил его Фиолетов.

Зачем это?

— Торговать хочу.

— Это кирпичом-то толченым? — и Огородников захохотал во все горло.— Врешь ты все! — продолжал он.— Не нужны тебе деньги... Где уж тебе торговлей заниматься!.. Уж ты лучше прямо скажи, что жалко тебе...

— Верно! верно! — подхватил Фиолетов.— Это ты угадал!.. Жалко, жалко... Ну, просто жалко расставаться с ними... И черт знает, что случилось со мной... Сам себя не узнаю... Прежде, бывало, нищим подавал, калекам... Заваляется копеечка в кармане, и бросишь ее... А теперь — как отрезало!.. Шабаш! Сунешь руку-то в карман — и назад! Пригодится самому, думаешь... А чего там? Полушка какая-нибудь!.. Сам себе удивляюсь, ей-ей удивляюсь!.. Когда не было своих денег, когда каждую копейку из рук родителя получал, деньги — нипочем, бывало! А теперь из-за каждого гроша лихорадка бьет...

Переменив тон, он прибавил, самодовольно улыбаясь:

— А помнишь, ты говорил мне, что я пропаду, как «вошь в табаке»? Нет, брат, я не пропаду... Звезда-то тогда, видно, правду сказала, что быть мне богатому!.. И буду!..

Опять самодовольно улыбнувшись, он продолжал:

— Недавно я в город ездил о должности регента хлопотать... У соборного ктитора[3] был, просвирку ему приподнес... Он же и градский голова... Обещал! «Беспременно,— говорит,— будете!» ...Даже руку пожал мне!.. Сделаюсь регентом,— буду получать жалованье; а лишние деньги под проценты пущу!.. Вот жениться бы на богатенькой! — вскрикнул он и даже пальцем прищелкнул...

— А ты зубы-то не заговаривай! — перебил его Огородников.— Ты мне денег-то давай.

— Нет, не дам! — оборвал Фиолетов и, подойдя к зеркалу, принялся поправлять прическу.

— Да ведь ты сам же говоришь, что деньги из-за процентов раздавать будешь!

— Буду, да не таким, как ты...

— Что же, хуже других, что ли, я! — вскрикнул Огородников и злобно ударил кулаком по столу.

— Не хуже, а главная причина — обеспечения нет никакого.

— Как никакого! А дом, мельница, кузница? а сам-то я? Нешто сам-то я — ничего не стою? Ведь это тебе грош цена, а меня дешево не купишь! Я — не дармоед, не шелкопер,

я — рабочий человек, а на рабочем человеке весь мир стоит...

— Ну, а ты не очень-то кричи,— перебил его Фиолетов.

— Так не дашь?

— Не дам.

— Есть ли в тебе душа-то человеческая? — выкрикнул Огородников, но вдруг, как бы опомнившись, замолчал.

Фиолетов сел и, взяв гитару, принялся выщипывать на ней аккорды. Минут десять длилось молчание; наконец Огородников прервал его и заговорил совершенно спокойным уже голосом:

— Да нет, ты шутишь... Ты дашь мне денег... Ведь ты сам знаешь, какие у меня приятели на селе... Чуть не открещиваются, встречаясь со мной! Дай, ради господа! Уж больно дело-то хорошее подвертывается... Такое дело, что разом обогатить может.

— Какое это такое дело? — презрительно спросил Фиолетов, продолжая перебирать пальцами струны гитары.

— А помнишь, я тебе про масло-то говорил...

— Ну, помню.

— Теперь я из Москвы письмо получил...

— Это от студента-то?

— Да, от него.

— Что же он пишет?

— А вот почитай...

И Огородников достал из кармана завернутое в платок письмо, развернул его и подал Фиолетову.

Фиолетов положил гитару и начал читать:

— «Почтеннейший Иван Игнатьич! Спешу вас уведомить, что масло, которое вы дали мне на образец, я показывал нескольким московским химикам, людям весьма почтенным и ученым, и вот что узнал от них. Масло это употребляется как в аптеках, так и в химических лабораториях»...

— Стой! — перебил его Огородников.— Этого слова я не понимаю.

— Лабораторию-то? — важно спросил Фиолетов.

— Да не выговорю даже.

— Лаборатория... это... это...— начал Фиолетов.— Это такое заведение, в котором ученые химики работают... Там у них разные реторты, фильтры...

— Мастерская, значит? — спросил Огородников.

— Да.

— Ладно, читай дальше.

— «Масло это,— продолжал Фиолетов,— весьма ценное и доходит иногда в цене до 40 рублей за пуд, по крайней мере, в настоящее время вам бы охотно дали за него эту цену»...

— А? — воскликнул Огородников, все более и более воодушевляясь.

Но Фиолетов уже не слушал его и продолжал читать:

— «Если вы пожелаете доверить мне это дело,— писал студент,— то вышлите масло, и я немедленно продам его. От тех же знающих людей сведал я, кроме того, что масло это в большом спросе в Лондоне, где употребляется на заводах, изготовляющих краски и разные смазки для машин. Мне обещали собрать подробные об этом сведения и даже сообщить адрес той английской конторы, которая занимается покупкою этого масла. Как только получу эти сведения, так сообщу вам, а пока от души советую заняться этим делом, которое может обогатить вас».

— Ну, каково? — спрашивал Огородников, подбоченившись.

— А у тебя сейчас-то есть ли это масло?

— То-то и горе, что нет! А кабы было, так разве я пришел бы к тебе?

— Эх! — вскрикнул Фиолетов и даже пальцем прищелкнул.

— Ведь я наделал-то самую безделицу,— продолжал Огородников,— из любопытства только: что, мол, выйдет!.. Ходил, знаешь, по полю, увидал на траве орешки какие-то колючие, раскусил один, а там зернышки, точь-в-точь как в подсолнухах ядрышки... Я и давай набирать их.

— А много у нас травы-то этой?

— Травы-то?

— Да.

— Сколько хочешь!.. И по самым все негодным местам растет... Да чего! — в городе у нас, по улицам — и там не оберешься ее... А люди-то мимо ходят и не знают, что ногами золото топчут!..

— Что же ты теперь делать будешь? — допрашивал Фиолетов, расхаживая из угла в угол.

— Что делать-то? Масленку строить, вот что!

— А потом?

— А потом придет осень, накошу этой самой травы сколь-

ко вздумается, обмолочу ее, орешки оберу на своей дранке, а из ядер погоню масло...— И, ударив кулаком по столу, вскрикнул: — Эх! мне бы только годика два поработать, покамест еще никто этого дела не расчухал, покамест на траву эту никто внимания не обращает... А там, через два-то года, пускай другие наживаются!.. Ну, что же, дашь, что ли, денег?..

— А тебе много нужно? — спросил Фиолетов не без робости.

— Рублей двести...

Молодой человек даже руками всплеснул,— а Огородников не отстает.

Часа два пробеседовали наши приятели, и наконец беседа эта кончилась тем, что Фиолетов сбегал в питейный и купил на деньги Огородникова бутылку водки и какой-то колбасы. Водка подействовала, и молодой человек, выпивая рюмку за рюмкой, видимо делался сговорчивее.

— Только уж это как хочешь,— говорил он,— а уж двухсот рублей я тебе не дам... больно много!..

— Да ведь так же у тебя деньги-то лежат! без пользы...

— И пускай!.. небось, места не пролежат... Они у меня в укладочке, нарочно укладочку для них купил... Связал деньги пачечками и уложил рядом... А ты сколько мне процентов дашь?

— Не знаю, сколько ты положишь?..

— Я, брат, на далекий срок не дам...

— А на какой?

— На три месяца,— больше не дам...

— Да ведь в три-то месяца я не обернусь! — испуганно заметил Огородников.— Надо масленку выстроить, травы накосить, намолотить, масла наделать, продать его... По крайности — на полгода...

— Ни, ни, ни за что! — возразил Фиолетов.

— Ну, хоть на пять месяцев...

— Не дам...

— Да ты что? — рассердился наконец Огородников.— С ума, что ли, спятил?..

— Больше как на четыре месяца не дам — и то, чтобы проценты все вперед...

Огородников подумал немного, посчитал что-то на пальцах и сказал:

— Ну, ладно! На четыре, так на четыре...

— Только ты знай,— добавил Фиолетов,— что больше ста рублей я тебе не дам... У меня пачки там — все по сту...

— Ну, вот две и давай...

— Ни за что на свете!..

— Чучело гороховое! — урезонивал его Огородников.— Да ведь не пропадут же твои пачки,— назад получишь...

— Больше одной пачки не дам!.. Боюсь я...

— Чего же ты боишься?

— И сам не знаю... Понимаешь ли? — ведь это первый опыт, так сказать, первый шаг... Когда попривыкну, тогда, может, и робость пропадет... А теперь — и проценты взять хочется, и вместе с тем робею... Сердце даже замерло от страха.

Огородников плюнул, принялся ругать Фиолетова. Но все-таки дело кончилось тем, что Фиолетов более ста рублей дать ему не решился, и то с тем условием, чтобы расписка была написана на двести рублей и чтобы была засвидетельствована нотариусом.

— Зачем же в двести рублей, коли ты мне всего сто даешь?

— А это для того, чтобы помнил хорошенько,— бормотал юноша,— чтобы до суда не доводил.

— Ты этак больно скоро разбогатеешь...

— Заплати в срок — и не взыщу.

— А как взыщешь?

— Не беспокойся...

— Ну, а сколько же ты процентов возьмешь? — спросил Огородников.

— Процент уж известный — десять копеек с рубля.

— Да ведь это за год берут десять-то копеек!

— А я за четыре месяца.

Подумал, подумал Огородников и согласился. На следующий день они отправились в город к нотариусу.

VII

Огородников деятельно принялся за устройство масленки. Лесу купить было не на что, и порешил он устроить ее в земле. Работал Огородников без отдыха. Днем он был или на мельнице, или в кузнице; как только наступала ночь,—

он принимался за свою масленку и все глубже и глубже уходил в недра своей горы.

— Тяжело,— приговаривал он,— но зато прочно будет!..

Поддерживаемый этой мыслью, он еще с большим рвением принимался за работу. Нередко приходила к нему на помощь и жена: она корзинами выносила вон камни и землю, выбитые мужем. Но работать ночью он ей не позволял.

— И днем поспеешь,— говорил он,— а ночью спи себе на здоровье!

Сам же Огородников отдыхал только после обеда да во время сумерек — между «собакой и волком», как говорят французы. Как только наступала ночь, он брал свой фонарь и отправлялся на работу в подземелье. Раз он как-то не уберегся, и камень, упавший сверху, ударил его так сильно по голове, что Огородников упал и с полчаса пролежал без памяти. Очнувшись, он ощупал рану и бросился к реке смывать запекшуюся кровь. С тех пор он стал осторожнее и, подперев потолок досками, принялся расширять стены. Точно какой-то сталактитовый грот выходила его масленка.

Само собою разумеется, что эти ночные работы породили в Сластухе бесконечные толки. Нарочно приезжал даже старшина, чтобы разведать о подземных стуках около усадьбы Огородникова. Но так и уехал, ничего не узнав.

Между тем работа быстро подвигалась вперед, росла не по дням, а по часам. Землянка была готова, потолок подведен, и началась выкладка печи. Фиолетов навещал его почти каждый день и, видя успешность работы, убеждался, что деньги его не пропадут. От Фиолетова же Огородников узнавал о сельских толках по поводу подземных стуков и, слушая об этом, еще более сокрушался о «темном человеке». В это самое время он получил от студента другое письмо, в котором тот сообщал ему о возможности сбывать масло прямо в Лондон. Письмо это еще более ободрило Огородникова. Не прошло недели, как на том самом месте, где слышались странные подземные звуки, к ужасу крестьян села Сластухи, вдруг выросла труба, из которой повалил черный дым. Масленка была готова. Тем временем наступил сентябрь. Огородников нанял в подмогу себе несколько рабочих и принялся с ними косить какой-то негодный бурьян, перевозить этот бурьян к себе в усадьбу, складывать его в ометы и затем обмолачивать. Застучали цепы, обмолачивавшие не хлебные зерна, а какие-то колючие шишки...

– Да ведь это он репьи молотит! — зашумело все село и единогласно порешило, что Огородников спятил с ума.

Сердобольные старушки принялись навещать Прасковью; ахали, хныкали и советовали ей свозить мужа к какому-то знахарю, пользовавшему от бешенства; почтенные старички начали побаиваться, как бы Огородников сдуру села не поджег. Даже батюшка о. Егорий раза два заглядывал в усадьбу Огородникова, на его чудное гумно, и, видя ометы обмолоченного репья, вздыхал и жалобно покачивал головой. Фиолетов же, тщательно скрывая секрет, козырем ходил по улице, шапку набок, руки в карманы, и только посмеивался, слушая толки взволновавшегося села.

Огородников, обмолотивши репье, перевеял его и принялся обдирать их на своей «чудной ветрянке». Теперь уже батраков своих он рассчитал и работал только сам-друг с женой.

— Ну, жена,— говорил он,— теперь помогай мужу!.. И твоя очередь подошла!

Работа кипела. Из колючих шишек получались зерна, весьма похожие на ядра подсолнечников. Зерна эти мешками переносились в масленку, поджаривались там, поступали под пресс — и получалось масло. Огородников торжествовал!.. Масла было вдоволь. Он наполнил им все имевшиеся у него ведра, кадушки, кадочки; наконец дошел до того, что некуда было сливать. Необходимо было приобрести бочонки, а денег не было, так как деньги, данные Фиолетовым, давно уже были израсходованы... Продать тоже было нечего, так как все лишнее, в том числе и лошадь, было уже продано. Оставалось снова обратиться к Фиолетову. Огородников так и сделал.

— Выручай! — кричал он, придя к нему и ставя на стол бутылку с водкой.

— Что такое?

— Масло совсем потопило меня!.. Посуду приходится покупать!..

— А «купишь-то уехал в Париж!» — подшутил Фиолетов.

— Верно! Все до копейки израсходовал.

— А много требуется? — спросил Фиолетов.

— С полсотни надо...

— Дать-то, пожалуй, я дам,— ответил Фиолетов,— только опять по-намеднишнему, чтобы все проценты вперед, расписку на сто рублей и чтобы отдать вместе с первыми.

— И опять в город? — спросил Огородников.

— Непременно.

Огородников сообразил, что все равно ему придется ехать за посудой в город, и потому тотчас же согласился на все условия. Ударили по рукам и на следующий же день отправились в путь. Только на этот раз Огородников вернулся из города не с пустой телегой, а с целым возом бочонков, окованных железными обручами.

— Уж не водку ли он из репьев гнать хочет! — кричали мужики, глядя на этот воз, и новые толки не замедлили пойти по селу!..

Трудно было разобраться в них и еще труднее добиться какого-нибудь смысла. Волостное начальство собралось даже однажды освидетельствовать «пещеры» Огородникова, чтобы разузнать, что творится в них, но Огородников не допустил их до этого осмотра. Хотели было произвести осмотр силой, с помощью приглашенных понятых, но выскочивший навстречу им из масленки Огородников с дубиной в руках привел их в такой ужас своим зверским видом, что все они разбежались. После этого толки еще более усилились. Одни стали говорить, что Огородников в «пещерах» своих занимается деланием фальшивой монеты; что монету отправляет в бочонках в Золотую Орду и получает оттуда кипы фальшивых ассигнаций. Другие, наоборот, опровергая толки о фальшивой монете, силились доказать, что Огородников продал свою душу черту и что, получив от него деньги, употребил эти деньги на выделку водки из репьев, которой дал название «репьевка»! Третьи же просто-напросто утверждали, что Огородников спятил с ума...

Думали даже довести до сведения начальства о загадочной жизни Огородникова... Но наступил ноябрь, пошли свадьбы, сговоры, подошел «храмовик» архистратига Михаила. Год был урожайный, и потому водка полилась широкой рекой. Мудрено ли, что среди этого разгула был совершенно забыт зарывшийся в свою гору Огородников!.. Вдруг следующее происшествие снова выдвинуло его на первый план, снова заставило заговорить о нем и всполошило на этот раз не только одну Сластуху, но даже и все окрестные села и деревни!..

Скоропостижно умерли крестьянские дети Матвей Воробьев и Екатерина Дружина!.. Прискакал становой, следователь, врач, вскрыли трупы и нашли, что желудки скоропо-

стижно умерших были переполнены репейными зернами. Желудки отправили во врачебную управу, зерна репейника — в медицинский департамент; опечатали мельницу Огородникова и масленку; арестовали бочки, наполненные маслом, и сдали их кому-то на хранение, а самого Огородникова обязали о невыезде из села. Тщетно уверял обвиняемый, что масло его не ядовито; тщетно пил он его в присутствии следователя, тщетно ел целыми горстями зерна,— его никто не слушал. Было выяснено следствием, что умершие дети забрались тайком на мельницу, наелись там зерен и умерли. Смерть этих двух детей привела в такое озлобление крестьян села Сластухи, что они гурьбой бросились в усадьбу Огородникова и растерзали бы его на части, ежели бы в дело не вмешался сам становой. Он уговорил толпу успокоиться, разойтись и ждать законной кары... Огородников упал духом!.. В два-три дня он изменился до того, что страшно было взглянуть на него.

Немало повлияло все случившееся и на Фиолетова. Мысль, что деньги, данные им Огородникову, могут пропасть, что он не пополнит теперь выданных им полуторых пачек, захватывала ему дыхание. Он бросился в избу Огородникова, думая у него найти утешение; но Огородников сидел за столом, облокотившись на руку, и на все расспросы Фиолетова только и отвечал, что «человек он темный, что мозг его покрыт паршами и что темному человеку не след браться за умные дела!». Фиолетов бросился к батюшке и прибежал к нему бледный, растрепанный и с глазами полными слез.

— Что мне делать? — кричал он, падая в изнеможении на стул.

Батюшка перепугался даже.

— Что с тобой, Валерюшка? — вскрикнул он, всплеснув руками.

— Что мне делать?

— Да что такое?

— Думал было приумножить, а заместо того умалил...

— Но расскажи же, в чем дело...

— Только чем же я-то виноват? — волновался Фиолетов.— Я-то за что страдать должен?.. я-то тут при чем?..

Пришла матушка и вместе с мужем принялась сперва успокаивать взволнованного юношу, а затем расспрашивать и о причинах этого волнения.

— Только-то! — вскрикнул батюшка, узнав, в чем дело, и разразился самым добродушнейшим смехом.

Посмеялась немало и матушка.

— Да разве этого мало! — рассердился Фиолетов.— Чего же вам хотелось бы? чтобы я всех своих денег лишился и по миру пошел?

— Ах, ах, Валерюшка! — говорил батюшка, качая головой.— И не грешно это тебе?.. ах, ах!.. и кому же ты говоришь это? Мне, которому, умирая, поручил тебя отец твой... Ведь он — царство ему небесное! — просил меня соблюсти тебя!.. А ты мне вон какие вещи говоришь...

— Так вот и соблюдите! — ответил Фиолетов.

— И соблюду, Валерюшка, соблюду! Предупреждал я тебя, что приятель недобрый человек... Только ты меня не послушал, своим умом жить захотел... А какой ум у вас, у молодых-то!..

Фиолетов даже вскочил с места от этой нотации.

— А ты не горячись, Валерюшка,— успокаивал его батюшка,— не горячись!.. сядь, сядь!.. Ты сядешь — и я с тобой посижу... Посидим и поговорим...— Потом, обратясь к матушке, все время с сожалением смотревшей на Фиолетова, прибавил: — А ты, мать, самоварчик нам согрей да чайком попои нас... За чайком-то, может, и придумаем, как нам с Валерюшкой из воды сухими выбраться!..

Только тогда, когда на землю спустилась густая и темная ноябрьская ночь, Фиолетов покончил свои переговоры с батюшкой и отправился домой. На этот раз он имел уже какой-то особенно торжествующий вид. Видно было, что он не только успокоился, но и набрался даже бодрости, энергии... Весело посвистывал он, идя по грязной улице.

VIII

Прошло с неделю. Огородников все еще не мог опомниться от разразившегося над ним бедствия. Мрачный и угрюмый, бродил он по своей усадьбе и молча останавливался при виде наложенных красных печатей. На него словно какой-то столбняк находил! Упрется, бывало, глазами в эти печати да так и стоит перед ними, как окаменелый... Он даже не мигал в это время!.. А то вдруг — пропадет куда-то дня на два, на три!..

Исходил он за это время бог знает сколько верст! Ходил по полям, по лесам, и только одна Амалатка всюду следовала за ним... А между тем приближение зимы давало уже себя знать. Морозы давно сковали Хопер и обнажили лес. Холодный, пронизывающий ветер уныло свистал в деревьях и срывал с них последние пожелтевшие листы. Свинцовые тучи заволакивали небо и несколько раз уже запорошивали землю снегом... Но проглянет солнце,— и снежные порошинки растают. Ночи превратились в целую вечность. Пробовал, бывало, Огородников по «узерку»[4] за зайцами поохотиться... Взял свою винтовку, свистнул Амалатку и пошел. Он убил одного зайца, принес его домой и больше на охоту не ходил... Пробовал было вентеря ставить — и то же самое... сходил один раз — и довольно! Все словно валилось у него из рук, и не было никакого желания приняться за какое-либо дело. Приходили несколько раз мужики с просьбою лошадей подковать; но он отзовется недосугом и уйдет из кузницы. Он даже есть почти перестал. Прасковья и щей наварит ему, и картошки нажарит, и грибков, и браги на стол поставит, а он только попробует чего-нибудь — и уйдет на печати смотреть.

Бродя по окрестностям, он как-то нечаянно попал на кладбище. Оно было в поле, далеко от села. Ходил он по этому кладбищу и вдруг наткнулся на свежую могилку. Он остановился над ней...

— Должно, здесь закопали,— подумал он.— А ну, как ежели и взаправду они от моих зерен померли! — мелькнуло у него в голове, и, круто повернувшись, он чуть не бегом бросился в поле!

Вскоре после этого он встретил как-то мать одного из умерших. При виде ее он сперва бежать от нее хотел, но раздумал и остановился.

— Агафья! — крикнул он и замахал руками.

Та тоже остановилась.

— Слушай, Агафьюшка,— проговорил он голосом, полным вопля,— ты на меня не печалься, сердечная! не повинен я тут ничем... Вот те Христос — не повинен! сам ел эти зерна,— никакой ядовитости нет...

А несчастная мать осыпала его проклятиями и отошла прочь. В голову его опять закралось подозрение, что он действительный виновник этих двух смертей...

— Только и то надо сказать,— утешал он себя,— что человек я темный!

Огородников даже сна лишился... Днем еще туда-сюда,— приляжет, бывало, уснет немного, а едва наступала ночь, как с нею вместе являлась щемящая тоска. Ляжет — и тотчас же вскочит... И так-таки до самого утра бродил он бог знает где.

Однажды вечером он вздумал зайти к Фиолетову и хоть с ним отвести душу. Он купил полштофа водки и, придя к Фиолетову, молча сел за стол.

— Уж не за деньгами ли? — нахально спросил его молодой человек.

— Нет,— отвечал Огородников,— так... поговорить пришел... Тоска, брат, меня заела.

— Напрасно пожаловал, потому что я теперь спать ложусь... Да и вообще с такими людьми я и днем-то разговаривать не желаю...

И он указал рукою на дверь...

— Послушай,— проговорил Огородников,— ведь деньги твои не пропадут... Это я, точно, всего лишился, а тебе-то какая печаль?.. За что же ты гонишь-то меня?..

Но Фиолетов стоял и продолжал указывать на дверь...

Огородников молча смотрел на него и молча же вышел вон.

Выйдя на улицу, он один выпил всю водку и все-таки не охмелел! Теперь он действительно походил на зверя... Так рыщет только голодный волк, когда жалобным воем изливает свою тоску!..

В эти-то тяжкие минуты Огородников получил еще одно письмо от студента. В письме этом студент сообщал ему собранные им подробности по поводу сбыта масла, адрес агента, покупающего это масло, его условия,— и вместе с тем удивлялся молчанию Огородникова. «Я не понимаю, что с вами сделалось, почтеннейший Иван Игнатьич,— писал он,— хоть бы строчку написали! Уж не раздумали ли вы заняться этим делом? Ежели это так, то напрасно!.. Повторяю вам, что предприятие ваше может дать вам громадный барыш!»

Письмо это оживило Огородникова. Он тотчас же отправился в город к следователю. Но, придя к следователю, он опять как-то оробел, прислонился к притолке и заговорил каким-то не своим, а плаксивым тоном. Он даже чувствовал, что это не его голос, откашливался, старался пере-

менить на свой, обыкновенный, и все-таки никак не мог. «Так уж надо, видно!» — подумал и заговорил робко:

— Я к вашей милости, ваше высокоблагородие...

— Что такое? — спросил следователь.

— Явите божескую милость... Теперича я вот из Москвы письмо получил... извольте почитать.

И он дрожавшими руками подал следователю письмо.

— Дозвольте мне взять масло, в Москву отправить...

— Это ты еще в Москву-то отправить хочешь!..— вскрикнул следователь.

— Ваше высокоблагородие,— молил Огородников,— никакой в нем ядовитости нет...

— Чудак ты, братец! — перебил его следователь.— Масло арестовано, а ты его в Москву отправлять хочешь!.. Подожди, братец, придет ответ... Нельзя же без ответа... Надо ждать, что скажет врачебная управа, медицинский департамент...

— Никакой нет ядовитости!..— ныл Огородников.

Но, как он ни ныл, а все-таки нытье его кончилось ничем... И опять он сделался хуже мокрой тряпки... Вспыхнула было надежда, как вспыхивает потухающий в поле огонек,— и опять все замерло... Огородников только руками развел и побрел домой. А дома ждала его новая беда.

Во время его отсутствия была вручена Прасковье повестка от мирового. Огородников прочитал повестку и узнал, что завтра он вызывается в суд по делу о взыскании с него Фиолетовым по двум распискам трехсот рублей. Огородников ахнул и побежал к Фиолетову. Ночь была темная, лил дождь... Огородников шлепал ногами по грязи и соображал план своих действий. «Приду к нему,— думал он,— и спрошу его: есть ли в тебе душа человеческая? ведь ты только для верности расписки-то вдвое написал...»

Но привести этот план в исполнение ему не пришлось: Фиолетов еще с утра уехал к мировому. Огородников хотел было переночевать и с рассветом отправиться по вызову, но почему-то раздумал и пошел прямо в суд... Он шел всю ночь и в камеру судьи явился весь мокрый и перепачканный грязью; даже лица его нельзя было рассмотреть! Чистенький, приглаженный и припомаженный Фиолетов был уже там. Он сидел на скамье и, в ожидании прихода судьи, молча посматривал в окошко. Увидав его, Огородников, словно выпачканный в грязи медведь на задних лапах, направился было к нему и только было собрался спросить его: «Есть ли в тебе

душа человеческая?», как в камеру вошел судья, и медведь молча опустился на скамью.

Когда судья обратился к Огородникову и, предъявив ему расписки, спросил, признает ли он их? — Огородников как-то задумался, запнулся, хотел что-то сказать, но, увидав перепуганное бледное лицо юноши, а пуще всего дрожавшие его руки и ноги, улыбнулся и объявил:

— Точно так-с, мои!

Когда слова эти были сказаны, Фиолетов чуть не подпрыгнул от радости. В ту же секунду он ободрился, приосанился и стал просить о немедленном взыскании денег.

— Помилуйте, господин судья,— бормотал он, поминутно поправляя свою прическу,— этот самый Огородников разорил меня... После смерти родителя я кое-что продал, капиталец маленький скопил, а он меня пьяным напоил и выманил эти самые деньги... Он обольстил меня, что какое-то масло будет выделывать, деньги большие получать, а заместо того от этого масла люди дохнуть стали... Теперь у него опечатали все...

— Вы чего же хотите-то? — остановил его судья.

— Хочу, то есть прошу, как законы повелевают: предварительного исполнения о выдаче мне исполнительного листа и о взыскании за ведение дела и судебных издержек... Он пьяным меня напоил...

— Хорошо, садитесь! — перебил судья и принялся писать.

Прослушав определение судьи, Огородников молча вышел из камеры, молча надел шапку и опять-таки пешком пошел домой. На полдороге его обогнал Фиолетов, ехавший вместе с батюшкой. Дождь лил как из ведра, и потому оба они сидели, съежившись, под огромным зонтом. Когда тележка поравнялась с Огородниковым, он посторонился и диким голосом крикнул Фиолетову:

— Есть ли в тебе душа человеческая?..

Но Фиолетов словно не слыхал этого крика.

IX

Неделю спустя выпал такой снег, что сразу на пол-аршина[5] покрыл всю землю. Шел он ночью, тихо, большими хлопьями и пушистым покрывалом лег на непролазную грязь. День был ясный; ярко светило солнце. Пристукнул легонький мо-

розец, и чумазую землю нельзя было узнать. Деревья и кусты запушились легким инеем; запрыгал по их веткам краснобрюхий снегирь, робкий заяц принялся печатать свои следы. Занесло снегом и усадьбу Огородникова. Пушистый первый снег покрыл ее всю своим белым пухом, и даже следа не было к ней, словно никто и не жил в этой усадьбе... Только горностай пробежал и цепочкой вытянул след свой мимо самой трубы злосчастной масленки. Любо было смотреть на этот роскошный девственный снег, не потоптанный еще человеческой ногой, не загрязненный еще ни единым пятнышком. Только лучи солнца играли на нем мильонами алмазов и радужным блеском своим резали не присмотревшиеся еще к этому блеску глаза. Отворил Огородников дверь своей хаты и невольно остановился, пораженный красотою этой картины. Он даже не перешагнул через порог, боясь потоптать и помять этот снег, и даже толкнул ногой Амалатку, боясь, как бы она не выскочила наружу. Не было ни малейшего ветра... Казалось, что и он притаил свое дыхание, чтобы не поколебать эту пушистую белую поверхность...

Но недолго этот снег оставался нетронутым.

Его потоптал и помял приехавший в тот же день к Огородникову, вместе с Фиолетовым и старостой, судебный пристав. Он приехал на тройке, с бубенчиками и колокольчиками, в больших рогожных санях, в дохе, мохнатой шапке, и в одну минуту всю белизну снега перепачкал грязью. Везде, по всей усадьбе он перетоптал этот снег. Он перетоптал его вокруг мельницы, вокруг кузницы, вокруг масленки; проложил целые дороги от одного строения к другому... Вся свежая красота мгновенно исчезла.

Судебный пристав, по иску Фиолетова, описал мельницу, весь кузнечный инструмент, винтовку, телку и штук пять поросят. Описав все это и поручив сельскому старосте охранение описанного, он объявил Огородникову, что если он, Огородников, не уплатит Фиолетову триста рублей по двум распискам, тридцати рублей за ведение дела, а ему, приставу, пятнадцати рублей прогонных и за произведение описи, то он, пристав, все описанное продаст с аукционного торга. Объявив это, он уехал.

— Словно табуном истолочили! — ворчал Огородников, глядя на смешанный с грязью снег. Но, вспомнив все случившееся, развел руками и немощно уронил их на полы своего полушубка.

— Ах! — вырвался болезненный стон из груди его, и слезы покатились по его смуглому лицу.

Денег Огородников, конечно, не уплатил, и торги были назначены.

На торги собрались чуть ли не все жители села Сластухи, в том числе и батюшка, о. Егорий, в сопровождении Фиолетова. Когда пристав приступил к торгу и стал продавать телку, то Прасковья схватила ухват и с диким воплем ворвалась в избу защищать свое добро; но Огородников отнял у нее ухват, приказал замолчать, и баба мигом присмирела. Она уселась в угол, но не могла подавить грудного вопля.

Стали продавать мельницу, и она осталась за батюшкой. Он даже ахнул от удивления, когда пристав объявил об этом.

— Вот те, бабушка, и Юрьев день! — вскрикнул он, ухватив себя за бороду.— Что я теперь с нею делать-то буду!.. Что я, мельник, что ли? Я к ней приступиться не сумею...

— Небось, сумеешь! — подшутил кто-то.

— Я пришел-то сюда скуки ради, а заместо того вон что вышло!

Однако батюшка выложил на стол деньги и подвинул их приставу. После мельницы принялись за кузнечный инструмент. Тут выступил какой-то «тархан»[6], приехавший из города, побледнел как-то, прикусил губу и стал накидывать такую цену, что торговавшиеся только руками замахали и отступились. Инструмент остался за тарханом. Он даже плюнул с досады.

— Этих укционов нет хуже! — ворчал он, собирая инструмент и тщательно укладывая его в приготовленную рогожу.— Завсегда такой дряни накупишь, что опосля не знаешь, куда и деваться с нею.

Точно так же жаловались и остальные покупщики. Только один Фиолетов, купивший винтовку за три рубля, не мог скрыть по молодости лет своего восторга.

— Вот это так штука! — кричал он, любуясь винтовкой.— Уж так-то бьет, что только удивляться надо.— И, обратясь к стоявшему поодаль Огородникову, прибавил: — Помнишь, Иван Игнатьевич, как ты в те поры, на Шуваловской-то степи, дрофу смахнул!.. Сажен в двести, никак... И хоть бы ногой дрыгнула... Так прямо в голову и залепил!..

Но Огородников хоть бы слово сказал!..

Когда все проданное было растащено, а мельница свезена и поставлена на выгоне неподалеку от церкви, Огородников

словно подломился и рухнулся в постель. Сперва его знобить стало, дня два все знобило, а потом сделался такой жар, что он весь как бы огнем горел. Жена перепугалась и бросилась к фельдшеру. Фельдшер все расспрашивал Прасковью, «не обожрался ли Огородников своими репьями»; спрашивал о том же самого Огородникова, но так как последний оказался в беспамятстве и все бредил про свое масло, то фельдшер словно уверился в своем предположении и дал больному рвотного. Рвало Огородникова дня два, а когда перестало рвать и фельдшер убедился, что никаких репьев в желудке не было, он обложил его горчишниками, а потом перестал ходить. Прасковья подождала его дня два, а на третий опять побежала к фельдшеру и стала просить, чтобы он дал больному еще какого-нибудь «снадобья». Но фельдшер отказался.

— Его, матушка, лечить нельзя,— объявил он решительно,— кабы он в своем разуме был, другое дело! А то он без памяти и какая в нем болезнь сидит, никак невозможно узнать.

Прасковья бросилась к доктору в город... Но доктор даже рассердился на нее.

— Ах, голубушка! — вскрикнул он.— Мало ли по деревням мужиков больных валяется!.. Невозможно же к каждому из них ездить!.. К фельдшеру, голубушка, ступай, к фельдшеру... Ему там сподручнее... а мне невозможно...

X

Целый месяц Огородников пролежал в беспамятстве и только изредка приходил в себя, и то на самое короткое время. В бреду он все говорил про какого-то темного человека... А то вдруг вспоминал о Кавказе, Кахетии, каких-то виноградниках... И тогда глаза его словно прояснялись, губы его складывались в счастливую улыбку, и он принимался восхищаться этими виноградниками. Бывало, Прасковья подаст ему воды напиться, а он пьет эту воду и смакует, приговаривая:

— Ничего, вино доброе... доброе вино... не перебродило еще, а вот перебродит, так еще лучше будет!..

А жена слушает и не понимает, про какое такое вино говорит он.

— Это вода, Иван Игнатьич! — заметит она, бывало...

А он рассердится, назовет ее дурой, скажет, что это настоящее кахетинское вино, и даже назовет, какое именно. Иногда он бредил и Фиолетовым и тогда как будто бы вступал с ним в разговор. «Дурак ты,— говорил он,— а все-таки укладочку свою скоро сотенными пачками набьешь!» Раз он пришел в такое бешенство, что чуть было не зарезал ножом жену. «Ты обманула меня,— кричал он, схватив ее за горло и замахиваясь ножом,— сказывай, кто твой полюбовник?» Бог знает, чем кончился бы этот припадок, если бы Огородников, обессиленный болезнью, не выронил из рук ножа и не упал бы на свою постель.

Только месяц спустя болезнь начала уступать сильному организму. Огородников стал быстро поправляться... Когда, оправившись, он в первый раз вышел на воздух, он опять увидал перед собою белую снежную равнину, точь-в-точь как и тогда, когда выпал первый снег. Только теперь снег не был так пушист и мягок, как в то время. От порога избы бежала тропинка, спускалась к реке, пересекала ее и терялась в сугробах леса... Лес этот стоял словно окутанный хлопьями ваты, и при малейшем шелесте ветра хлопья эти неслышно и мягко падали вниз. Огородников тотчас же догадался, что тропинка была пробита Прасковьей и что по тропе этой она носила ему воду и топливо. Кроме этой тропы, к усадьбе Огородникова не было ни малейшего следа. Он посмотрел в сторону села — нетронутый снег белой скатертью раскидывался на необозримое пространство... Только там, вдали, где пролегала большая дорога, торчало несколько занесенных снегом соломенных ветел!.. Посмотрел Огородников на то место, где когда-то возвышалась его мельница,— и там та же гладкая, снежная равнина!.. Посмотрел на все это Огородников и молча вернулся в избу.

Поправлялся он быстро, не по дням, а по часам. Точно так же не по дням, а по часам он становился задумчивее и задумчивее. Сидит, бывало, повеся голову, и все о чем-то думает. Прасковья боялась даже заговорить с ним и только робко поглядывала на него... Взглянет и сама же испугается чего-то! А он все сидит опустя голову, со сдвинутыми бровями, и все что-то соображал... Поведет, бывало, глазами из угла в угол и опять уткнет их в пол. Даже Амалатка и та присмирела, словно побаивалась чего-то!.. Забьется, бывало, под лавку, да и смотрит оттуда своими умными глазами на своего хозяина!..

Проснувшись однажды, Огородников быстро вскочил с постели, умылся наскоро, надел на себя коротенький полушубок, подпоясался, взял шапку и свистнул Амалатку, направляясь к двери.

— Ты куда это, Иван Игнатьевич? — спросила робко жена.

— В город! — ответил Огородников и вышел из избы.

Чтобы достигнуть большой дороги, ему пришлось чуть не по пояс лезть по сугробу. Амалатка прыгала рядом с ним и после каждого прыжка по уши уходила в рыхлый снег... Огородников даже рассмеялся, глядя на эти отчаянные прыжки.

— Вали, вали! — кричал он.— Прокладывай дорогу!.. Ничего!.. Коли люди забыли про нас, то ведь мы и сами проложим!..

Огородников шел в город с целью узнать: не получил ли следователь ответа на свои запросы?

Придя к следователю, он на этот раз уже не прислонялся к притолке и говорил не плаксивым тоном, а собственным своим голосом, каким когда-то говорил прежде. Видно было по всему, что Огородников как-то приободрился, приосанился и, задумав что-то, решился смело идти к цели.

— Не получали ничего? — спросил он следователя.

— Ничего! — отвечал тот.

— А неизвестно, когда придут эти ответы?

— Неизвестно.

— Стало быть, мне и ходить нечего?

— Конечно, нечего!.. Придет ответ,— так дам знать...

— Так-с...

И он вышел вон.

Домой он шел быстро, словно торопился куда-то, и делал такие громадные шаги, что Амалатка даже язык высунула... Пришел он к обеду, поел немного, прилег, а часам к двум дня опять вскочил и, обратясь к жене, спросил:

— А где мои суконные штаны?

— Прибраны! — ответила та.

— А валенки длинные?

— И валенки то же самое.

— Достань-ка их.

И когда штаны и валенки были принесены, Огородников начал поспешно одеваться.

— Ты куда это, Иван Игнатьич? — спросила робко Прасковья, удивленная, что муж так тепло одевается.

— В город! — ответил он резко.

— Да ведь ты сейчас из города!..

— А теперь опять.

Прасковья замолчала, но, видимо, не верила словам мужа.

А тот продолжал молча свое дело. Он натянул на себя суконные штаны, две пары шерстяных чулок, валенки; поверх рубахи надел овчинную коротышку, намотал вокруг шеи суконный шарф, а затем уже стал натягивать полушубок.

— Иван Игнатьич,— шептала жена, сдерживая рыдания,— неправду ты говоришь мне!..

— Правду! — оборвал Огородников.

И Прасковья опять замолчала. Выскочила Амалатка и принялась юлить вокруг Огородникова.

— Отрежь-ка хлеба! — приказал он жене.

Та отрезала.

— В мешок положи.

— Иван Игнатьич! — взвыла та.

— Делай, что приказывают.

Прасковья проглотила слезы, положила краюху в небольшой холстинный мешок и подала ее мужу. Тот заткнул мешок за кушак, стал перед божницей и, крестясь, начал делать земные поклоны.

— Иван Игнатьевич! — вскрикнула опять Прасковья.

Но тот перебил ее.

— А теперь,— проговорил он,— прощай!..

Жена упала ему в ноги... Он поднял ее и крепко обнял.

— Нет! — кричала Прасковья, вырываясь и не сдерживая уже своих рыданий.— Не пущу я тебя!.. Или ты оставайся со мной, или меня бери!.. Я пойду, куда хочешь... на край света... А одна я не останусь... Будет с меня! Будет и того, что я целых пятнадцать годов прожила без тебя... А теперь не останусь... Бей меня, на части терзай, а куда ты — туда и я.

— Говорят тебе, в город иду...

— Нет! — кричала Прасковья.— Нет, неправда!

— В город...

— Не верю я тебе... хоть убей, не верю!..

Но Огородников крикнул на жену, топнул ногой, и та замолчала. Он присел на лавку и тяжело дышал, словно собирался с силами, словно собирался подавить охватившее

его вдруг волнение... Наконец он встал и, снова подойдя к жене, положил ей руку на плечо.

— Слушай, Паша,— говорил он дрожавшим голосом,— не печалуйся... Я скоро приду... право, скоро... А теперь, прощай!..

И, крепко обняв жену, быстро выскочил за дверь.

А Прасковья упала на стол, и вопль, раздирающий душу, огласил избу... Так плакать может только русская баба, умеющая в то же время и молча терпеть!..

XI

Полчаса спустя Огородников вместе со своей Амалаткой был уже в квартире Фиолетова.

— Ну, приятель! — крикнул он, бросая шапку на стол.— Я с тобой рассчитался, долг свой тебе уплатил... Теперь за тобой очередь!

— То есть как это? — вскрикнул Фиолетов, вскакивая с места и с ужасом смотря на грозную фигуру Огородникова. Несчастный юноша даже и не ожидал этого посещения.

— А нешто ты забыл,— проговорил Огородников, садясь на стул,— что за тобой полтораста рублей моих денег осталось?

— Я у тебя не брал!

— Нет, взял!

— Ты мне должен был триста,— я их и получил.

— Врешь! — крикнул Огородников и ударил по столу кулаком.

— А нотариус-то! — перебил его Фиолетов.

— Врешь! — снова крикнул Огородников и на этот раз такой метнул взгляд на Фиолетова, что тот сразу опешил.

— Что же это такое значит? — чуть не заплакал молодой человек.

— А то и значит, что я свои кровные деньги обратно получить желаю.

— Ну, уж это, брат, дудки! — вскрикнул Фиолетов и, собрав всю свою храбрость, ударил кулаком по столу. Но, заметив, что Огородников молча встал, подошел к двери и запер ее на крюк, он моментально присмирел, и мертвая бледность покрыла его лицо.

— Ты это что ж? — спросил он совершенно уже упавшим голосом.

— А вот дверь запираю,— проговорил Огородников,— не вошел бы кто...

— Так ты грабить пришел...

— Я не грабитель...

— Смотри! я кричать буду...

Но Огородников накинулся на Фиолетова и схватил его за горло.

— Что ты делаешь! — прохрипел тот.

— А то, что таким негодяям, как ты, на белом свете жить не следует... душить их надо...

Фиолетов хотел было крикнуть, но Огородников быстро опрокинул его на пол и наступил ему на грудь коленкой.

— Сказывай, где деньги! — кричал он, задыхаясь от гнева и с пеной у рта.— Я не шутки шутить пришел... Не дай мне человеческой кровью своих рук перепачкать... Я разорву тебя... Сказывай, где деньги...

И когда Фиолетов объявил ему, что деньги в шкатулке под кроватью, Огородников подтащил его к кровати, нагнулся и, все еще держа его за горло, достал шкатулку.

— Ключи! — крикнул он.

И, взяв поданный ключ, отпер левой рукой шкатулку, отсчитал сто пятьдесят рублей и засунул их в карман. Только тогда он выпустил помертвевшего от ужаса Фиолетова.

— А теперь,— проговорил Огородников, весь трясясь от гнева и вынимая из кармана трехрублевую ассигнацию,— получай с меня три рубля: беру свою винтовку...

И, сняв со стены винтовку, он перекинул ее через плечо и вышел вон.

А на дворе тем временем успело уже смеркнуться и метель бушевала страшная!.. Но метель эта не испугала Огородникова. Выйдя на улицу, он вынул из кармана деньги, достал кожаный кисет, висевший у него на груди, переложил в него деньги и, закурив трубку, зашагал по улице. Но зашагал он не по направлению к своей хате, а совершенно в противоположную сторону. Пока он шел улицей, можно было рассмотреть еще то избу, то сарай какой-нибудь, то плетень; но когда он очутился на выгоне,— перед ним закипел такой буран, что сразу все исчезло.

— Ого, да метель-то заправская! — проворчал он и, надвинув шапку, пошел дальше...

В эту же страшную ночь возвращался и батюшка о. Егорий, ездивший за чем-то на станцию железной дороги. Ехал он один, без работника, в одну лошадку, на маленьких санках. Метель застала его на полпути; сбившись с дороги, разъезжал он по необозримой степи, ясно сознавая, что он кружится на одном и том же месте. Порывистый ветер хлестал его со всех сторон, поднимал целые облака снега, крутил им, разметывал и воздвигал снежные курганы. Ветер то разливался диким воем или резким свистом, то вдруг стихал, падал... Все затихало, умолкало, но вдруг налетал вихорь, другой, третий, и снова снежные облака крутились в воздухе! Ночь была страшная!

Ничего нет мудреного, что в такую непогодь батюшкина лошадка вскоре выбилась из сил, сам батюшка страшно перетрусил и не знал, что ему делать. Он поминутно выскакивал из саней, желая ногами ощупать дорогу, но каждый раз чуть не по пояс тонул в снегу. Он ясно сознавал всю беспомощность своего положения. Холод пронизывал его... Ни дерева, ни вехи, ничего не видно!.. Только одни снежные вихри, только одно завывание ветра!.. Тщетно силился батюшка разглядеть где-нибудь вдали хоть стог, чтобы зарыться в него и укрыться от стужи,— кругом только бушевала вьюга, которой не предвиделось и конца... Между тем о. Егорий чувствовал, что начинает уже коченеть, что силы его покидают, что сердце отказывается работать и зловещий сон осиливает и гнетет его...

Вдруг возле самых саней мелькнуло что-то черное, что-то шарахнулось в сторону, завизжало, залаяло, а вслед за лаем словно из сугроба выросла черная, громадная фигура человека. Это был Огородников.

— Что за человек? — загремел он.— Жив али нет?

— Жив! — простонал батюшка едва слышно.

— Страшно, а? — прогремел голос.

— Страшно,— шептал полузамерзший священник.

Огородников пригнулся к саням, приблизив свое лицо к лицу о. Егория, и, узнав его, закричал:

— А, да это ты!..

— Я, Иван Игнатьич! — ответил, в свою очередь, батюшка.— Выручи! — умолял он.— Спаси!..

— А! выручи теперь! — гремел Огородников.— Нет, мерзни!..

И, дико захохотав, отошел от саней.

— Иван Игнатьич! — продолжал батюшка голосом, переходившим в вопль.— Заставь за себя вечно бога молить... Иван Игнатьич! вернись, родимый!.. Не дай умереть без покаяния!.. Замерзну ведь я... замерзну!..

Но только хохот был ему ответом. Однако минуты две спустя Огородников снова показался. Он быстро ввалился в сани и, взяв в руки вожжи, крикнул:

— Ну, Амалатка, выручай!

Амалатка бросилась вперед. Полчаса спустя батюшка увидал перед собою что-то черное, возвышавшееся наподобие башни.

— Ну,— крикнул Огородников, выскакивая из саней и отряхивая с себя хлопья снега,— вот и мельница твоя!.. Ступай!.. А теперь прощай!

Сказав это, он быстро повернулся и пошел назад, в это снежное, бушевавшее вихрями пространство.

— Куда ты! куда ты! — кричал батюшка.— Замерзнешь, вернись!

Но ответа не было. Снежный буран закрутился, застонал... Налетел вихрь, засвистал в крыльях мельницы, сорвал ворота с петель и отбросил их в сторону, чуть не опрокинул лошадь с санями и буйным полетом помчался по необозримой, кипевшей снегом степи!.. И опять небо слилось с землею.

Огородников пропал без вести.

Прасковья бросилась искать его, обегала все соседние села и деревни, побывала в городе у следователя; но все ее поиски остались напрасными. Огородников словно в воду канул! Батюшка передал ей о своей встрече с ним в степи, и бедная женщина впала в еще большее отчаяние. Она начала рыскать по полям, по лесам, но и там ничего не открыла. А сластушинские крестьяне глядели на бабу и зубоскалили.

— Ну, чего мечется-то,— говорили они,— поди, давно уже с своей другой женой сидит!..

И опять по селу пошли разнообразные толки. Одни говорили, что он отправился в Москву, другие — на Кавказ; третьи, что Огородников сделался атаманом разбойников и грабит проезжих по дорогам. Фиолетов рассказал, как Огородников перед своим уходом ворвался к нему на квартиру, душил его, ограбил и, вооружившись винтовкой, скрылся. А недели две спустя нашли какого-то купца убитым. Купец был найден в небольшом лесочке, неподалеку от большой дороги. Тысяч десять денег, говорят, было с ним,

но не оказалось ни денег, ни лошадей, ни кучера, ни повозки.

— Зверь он, так зверь и есть! — говорил Фиолетов про Огородникова.

— Каторжный! — поддакивал кабатчик.

И все порешили, что виновник этого зверского убийства — Огородников.

А время шло да шло. Миновали рождественские праздники. На праздники народ наряжался медведями, козлами, поводильщиками[7]. На Крещенье сходили на иордань с крестным ходом. День выдался ясный, морозный, снег так и скрипел под ногами. Тем не менее почти все, наряжавшиеся во время святок, окунались в воду и стремглав бежали домой. Отпраздновали честь честью и широкую масленицу. Кабатчик даже ледяную гору устроил возле своего кабака, и все село с утра до ночи каталось с этой горы. В чистый понедельник полоскали рты водкой и, выпарившись в бане, принялись за поклоны да за «очищение совести». Уныло звонил колокол на колокольне.

Фиолетов успел уже пристроиться. Он получил в городе место регента и теперь управляет хором в соборе. Церковный староста положил ему большое жалованье, да, кроме того, в виде поощрения сшил ему щегольскую пару из тонкого сукна и подарил, сверх того, часы с цепочкой. В этой паре завитой и напомаженный Фиолетов стоит теперь на клиросе и, управляя хором, делает руками самые вычурные жесты. Это, разумеется, не мешает ему поглядывать на молодых купеческих дочек, рисоваться перед ними, строить им глазки и увлекать более богатых невест. Кроме жалованья, он имеет хороший доход от свадеб, похорон и концертов. Он значительно уже увеличил количество своих пачек и теперь дает денег не под расписки, а только под залог ценных вещей, на короткие сроки и за большие проценты.

Тем же великим постом Прасковья получила от следователя повестку. Она сходила с этой повесткой в «волостную» и там узнала, что следователь вызывает к себе Ивана Игнатьева. Женщина пошла в город и объявила следователю, что ее муж пропал без вести. Следователь удивился, так как Огородников обязан был подпиской никуда не отлучаться. Тем не менее следователь выдал ей копии с полученных им ответов из медицинского департамента и врачебного отделения. Первый сообщал, что зерна происходят от растения,

известного в ботанике под названием «ксантиум струмариум»[8], а второе, что во внутренностях скоропостижно умерших крестьянских детей Воробьева и Дружиной как органических, так и неорганических ядов не открыто.

Баба похныкала над этими бумагами, завернула их в платок и положила под иконы.

С наступлением весны, когда стаял снег, произошло новое убийство: найден был какой-то портной с размозженным вдребезги черепом.

— Огородников! — закричали все.— Его дело!

— Зверь! — кричал кабатчик.

— Разбойник! — вторил лавочник.

Но напрасно... Неделю спустя верстах в трех от станции железной дороги в небольшом овражке был найден чей-то труп, сильно разложившийся, наполовину занесенный илом, а возле него — труп собаки.

Это был Огородников и Амалатка.

Следствием было выяснено, что он погиб в ту самую метель, от которой спас заблудившегося о. Егория... Куда направлялся Огородников, осталось неизвестным...

Тернистый путь

Рассказ

I

Александр Иванов Лопатин, крестьянин села Вырыпаева, был просто-напросто кузнец-слесарь, в то же время маляр, умевший разделывать полы под паркет, красить крыши, дома, чинить пишущие машины, вставные зубы и часы, словом, мастер на все руки. Проживал он в своем родном селе Вырыпаеве, имел свой домик, крытый камышом и доставшийся ему от отца, тоже кузнеца-слесаря, свою собственную кузницу, сложенную из дикого камня, при кузнице, разумеется, станок для ковки лошадей и все необходимые кузнечные и слесарные инструменты. Это был малый лет тридцати пяти, симпатичной наружности, небольшого роста, но плечистый и коренастый. Он был женат и имел детей. Помимо собственной семьи у него были: брат Алексей, сестра Акулина, которую он звал Кулей, и болезненная старуха мать, у которой вечно ломила спина и поясница. Несмотря, однако, на эти болести, старуха все-таки сложа руки не сидела. Она ухаживала за коровой, кормила кур и индеек, ухаживала за поросятами и возделывала огород; в зимнее же время, в нескончаемые зимние вечера, постоянно вязала шерстяные чулки, которые и сбывала выгодно на местном базаре.

Лопатин был малый очень работящий и очень смышленый. Кузнечному и слесарному ремеслу он обучился у отца, так как с детских лет был постоянным его помощником. Сперва он только раздувал кузнечные мехи, но потом научился действовать молотом, а немного погодя принялся вместе с отцом выковывать раскаленное докрасна железо.

— Учись, учись, Сашок, учись, милый,— говорил, бывало, отец, любуясь раскрасневшимся и обливавшимся потом смышленым мальчуганом.— Учись, дитятко... Бог даст — сам будешь мастером... Учись, родименький.

И мальчуган, действительно, учился, зорко приглядываясь к работе отца. Лет пятнадцати он умел уже делать гвозди, подковы, ковать лошадей, чинить ружья, нарезать винты, а когда умер отец, сделался самостоятельным работником и главою семьи. С двадцатипятилетнего возраста Лопатину пришлось содержать семью, а главным образом брата Алексея, кончавшего в это время курс в университете.

Алексей был тоже смышленый молодой человек, хорошо учился, хорошо сдал экзамен в гимназии, а поступив в университет, ежегодно переходил с одного курса на другой. Избрал он медицинский факультет, готовился быть медиком, и все надежды семьи возлагались на этого юношу. «Сделается дохтуром,— говорила семья,— в те поры и мы поправимся». А старуха мать прибавляла к этому: «Может, и мне поясницу да спину вылечит». Ради этого Алексея, этого будущего доктора и кормильца, семья отказывала себе во всем и последние крохи отсылала ему. Даже сестра Акулина, чтобы иметь возможность помогать брату, жила в качестве горничной у местного батюшки, отца Григория. Несмотря, однако, на все эти лишения, семья Лопатина не роптала и не унывала. Все помогали по мере сил будущему кормильцу, чтобы вывести его в люди. Только одна жена Лопатина, обремененная детьми, иногда ворчала на мужа, говоря, что пора бы ему и о собственных своих детях позаботиться; но Лопатин и внимания не обращал на эти ворчанья и продолжал себе все избытки отсылать брату.

Может быть, вследствие этой-то постоянной надобности в деньгах, Лопатин сделался великим мастером подыскивать себе работу. Наденет, бывало, свой пиджачишко с прорванными локтями, набросит на голову картуз набекрень и, весело напевая, побежит по соседним хуторам и землевладельцам разыскивать работу. И глядишь: одному покроет дом железом, другому — разделает полы под паркет, третьему — раскрасит крыши и ставни в доме, починит какую-нибудь молотилку, веялку и заработает приличную деньгу. На кузницу его было весело взглянуть даже: вечно в этой кузнице раздавался стук молота, вечно с наковальни разлетались в разные стороны брызги раскаленного железа, а в ковальном станке всегда виднелись подтянутые подпругами лошади, подковываемые весело напевавшим Лопатиным.

Сестра Лопатина, Акулина, была девушка лет шестнадцати, хорошенькая, с веселенькими черными глазками, розовы-

ми щечками и темно-русыми волосами. Это была большая хохотушка, никогда, впрочем, не забывавшая своего дела. Встанет, бывало, чуть свет, отгонит батюшкиных коров в стадо, принесет с речки воды, поставит матушке самовар, уберет комнаты, поможет матушке умыться и одеться, накормит кур и индеек, в изобилии водившихся у батюшки, не забудет насыпать корму канарейкам, до которых была великая охотница матушка, и, покончив все это, побежит домой помогать матери, копавшейся в огороде. То, бывало, примется полоть гряды, то поливать овощи, а сама либо песенку распевает, либо с матерью шутит и так-то развеселит старуху, что та забывала про боль в спине и пояснице. Одевалась Куля по-мещанскому: сарафанов не носила, а ходила в ситцевых платьях, которые шила на собственные деньги. Она любила поприодеться. Беда только в том, что по неимению лишних денег Куле никогда не приходилось даже в такие великие праздники, как светлое христово воскресение, быть одетой во все новенькое. Справит, бывало, новенькое платьице, кофточку, накинет на голову хорошенький шелковый платочек, загорятся в ушах блестящие сережки, а на ноги, глядишь, приходится надевать дырявые ботинки. Либо наоборот: на ногах поскрипывают новенькие ботинки, на шейке красивенькое ожерелье, а платье старенькое, помятое, поношенное, да и в сережках нет уж блестевших когда-то стеклышек.

Но Куля только расхохочется, бывало, глядя на изъяны своего костюма. Не замечали этих изъянов и те, которые заглядывались на хорошенькую и работящую Кулю, а таких молодцов было немало. В числе этих заглядывавшихся был некий Семен Данилович Мещеряков. Мещеряков был мещанин, имел участок земли десятин в двести и собственную свою водяную мельницу о четырех поставах. Имел он и собственный домик, крытый железом, разъезжал на собственных своих лошадках, словом, был человек зажиточный. Беда в том только, что Семен Данилович был вдовец лет пятидесяти; немудрено после этого, что он, влюбившийся в Кулю по уши, был ей не особенно по душе.

С Кулей познакомился он в церкви. Несколько воскресений подряд засматривался на нее, стоя на левом клиросе, несколько воскресений заходил в домик Лопатина, с которым был давно знаком, пил там чай, потом чем бог послал закусывал, раза два привозил с собой сластей для Кули

и наконец кончил тем, что через Лопатина сделал ей предложение. Лопатин был в восторге, сообщил об этом сестре и был вполне уверен, что она в свою очередь придет в такой же восторг, так как Мещеряков был бездетен и богат, но Куля даже руками замахала, объявив брату, что ни за что не пойдет замуж за старика, хотя бы он был в десять раз богаче.

Принялась было и мать уговаривать Кулю выйти замуж за Мещерякова, уверяла, что с ним она будет совершенно спокойна и счастлива, что будет жить в полном довольстве, разъезжать на собственных своих экипажах и лошадях, что Мещеряков по родству не забудет и про нее, старуху, может, и ее приютит у себя. Но Куля и ей ответила то же, что и брату.

II

Избенка Лопатина была на краю села Вырыпаева, на дне оврага, прорезывавшего церковную гору. Овраг этот был весьма живописен; берега его полуотвесные и скалистые, то покрытые зеленью и мелкой лесной порослью, то представлявшие собою что-то похожее на каменные развалины, поросшие повителью, то красивые лужайки, пестревшие травой и цветами, по которым карабкались овцы и козы,— представляли собою нечто весьма оригинальное. Дно этого оврага, или, правильнее сказать, русло его,было загромождено громадными каменьями, вырванными вешнею водой. Камни эти, чисто обмытые тою же водой, так и бросались в глаза своею оригинальною и разнообразною окраской. Были между ними черные, словно уголь, зеленые, розоватые, даже встречался изредка чистый гранит. Весной, во время таяния снега, овраг этот был еще красивее; тогда он так и бурлил беспрестанными водопадами, низвергавшимися то с одного, то с другого обрыва. Водопады эти, с шумом налетая на груды камней, взбрасывались вверх и, разлетаясь мелкими брызгами, с шумом проносились мимо избенки Лопатина, обогнув которую затихали и быстрыми ручьями попадали наконец в реку. На дне этого-то оврага, на небольшом возвышении помещалась избенка Лопатина, его кузница, какой-то сарайчик, небольшой садик, засаженный вишнями и несколькими яблонями; а как раз над избенкой, на каменистом обрыве горы, избуравленном стрижиными норками, возвышалась вырыпаевская церковь изящной архитектуры, с часовней перед алтарем. Возле часовни зеленели два-три деревца,

а вокруг церкви и часовни — каменная ограда, тоже изящной архитектуры. Место это было выбрано самим Александром Ивановым. Отец Лопатина, по имени Иван, хотел было построиться на вырыпаевской базарной площади, но сын, будучи еще мальчиком, отговорил отца и указал ему на овраг.

— Вот где стройся, отец,— говорил он,— здесь тебе много спокойнее будет. Сохрани господи, пожар случится, в селе все твое добро сгорит, чего доброго, а здесь, в овраге, ты будешь один: возле тебя никаких соседей не будет, только один батюшка, у которого домик покрыт не соломой, а жестью, да сельская школа, тоже крытая жестью.

Иван Лопатин подумал, подумал и наконец пришел к тому убеждению, что место, указанное сыном, действительно, будет много безопаснее. Там он и построился, там и проживал в настоящее время Александр Иванов Лопатин.

Насколько Александр Лопатин почувствовал с малых лет страстную охоту к кузнечному и слесарному делу, настолько брат его Алексей питал к нему какое-то отвращение. Александра, бывало, хлебом не корми, а заставь только раздувать кузнечные мехи, а Алексей, напротив, чуть не бегал кузницы. Александр, бывало, не налюбуется вылетавшими из-под молота огненными искрами, не наглядится на синеватый огонек, мигавший в бездействовавшем кузнечном горне, а у Алексея от этого горна почему-то всегда разбаливалась голова. Отец и ласками, и побоями старался приохотить Алешку к кузнечному делу, но Алешка только молчал и не хотел даже дотронуться ни до кузнечных мехов, ни до молота. Бился, бился с ним отец, наконец плюнул, махнул рукой и отдал его в сельскую школу.

«Может быть, грамоте научится,— ворчал отец, не придававший особенного значения грамоте и чуть не с презрением смотревший на бегавших по улице ребятишек с книжками в руках.— Вишь шатаются! — ворчал он, поглядывая на них из своей кузницы.— Отец-ат хворый на печке лежит, а он бегает... хоть бы кормецу скотинке подвез, за водой сбегал, а он в школу».

Не особенно любовно относился Алексей и к деревне. Сашок любил свою деревню, свое родное Вырыпаево, любил свою реку, красиво извивавшуюся по живописным берегам, любил сидеть над этою рекой с удочками в руках, бродить по родным полям и лугам, словом, любил свое село и занесенное сугробами снега, и разукрашенное весенней зеленью и цвета-

ми. Алексей же все мечтал о городе. В городе он никогда не бывал, зато, отыскав в азбуке рисунок города с его церквами и большими домами, не мог досыта налюбоваться этою картинкой. Поступив в школу, Алешка принялся за дело, и насколько огорчал отца, будучи в кузнице, настолько начал радовать его, поступивши в школу. Алешка оказался мальчуганом способным, прилежным и сразу же завоевал в школе первое место. Учитель, бывало, не нарадуется, глядя на успехи Алешки Лопатина, а когда приехал в Сырыпаевское училище инспектор народных школ, доложил ему об Алешке, как о наиспособнейшем ученике. И действительно, Алешка кончил курс в школе отлично; получил отличный аттестат и сверх того какую-то награду. Отец, присутствовавший на экзамене, производившемся самим инспектором, был в восторге, слушая бойкие ответы сына и замечая на лице инспектора удовольствие.

— Молодец, Алеша, молодец,— говорил инспектор, поглаживая его по голове,— молодец... Учись, брат, учись, а вырастешь — будешь кормильцем семьи своей.— И, обратясь затем к учителю, спросил: — Семья-то большая у него?

Но, узнав от учителя, что в школе находится отец Лопатина, подозвал его к себе.

— Ну, поздравляю,— проговорил инспектор, обращаясь к нему.— Ваш сын выказал замечательные успехи и мальчик, оказывается, очень способный. Советую от души отдать его в гимназию.

Отец даже испугался. Заметив этот испуг, инспектор прибавил:

— Положим, все это будет недешево стоить; но зато со временем ваш сын будет иметь полную возможность с избытком возвратить вам все потраченное на его образование.

Отец стоял перед инспектором и только отвешивал ему поклоны.

— Ежели надумаете,— продолжал инспектор,— то приезжайте ко мне в город, я напишу вам письмо к директору гимназии и заранее уверен, что сын ваш будет принят и отлично кончит курс.

Этим, однако, инспектор не удовлетворился, а, напившись чаю, зашел перед отъездом к Лопатину. Там он опять повторил свой совет в присутствии всей семьи; объяснил отцу, какие именно требуются при поступлении в гимназию документы, какая именно взимается плата за обучение

и в конце концов попросил даже сопровождавшего его учителя написать отцу прошение; затем еще раз посоветовал не ограничиваться одной школой, распростился с семьей Лопатина, погладил Алешу по головке и уехал.

Нечего говорить, что советы инспектора и его посещение взбудоражили всю семью Лопатина, а в особенности мать Алешки.

— Известно,— говорила она,— надо отдать Алешку в ученье: может, и в самом деле кормильцем нашим будет... Хорошо, ты здоров пока,— продолжала она,— а упаси бог, случится чего,— ведь Сашке-то всего пятнадцать лет. Нешто ему под силу такую семью прокормить?

— Знаю, все знаю,— говорил отец,— да откуда денег-то взять? Шутка ли, за одно обучение пятьдесят рублей в год... Обуть, одеть надоть, квартирку нанять... А у нас с тобой чего есть? В одном кармане вошь на аркане, а в другом блоха на цепи.

Но тут вступился даже Сашок.

— Эка важность, что дорого,— храбрился он,— сейчас только еще весна начинается, до осени далеко еще; поди, за лето заработаем чего-нибудь. Сложа руки сидеть не будем. Скопим к осени деньжонок и отвезем Алешку в город. Только и всего.

Отец только помалчивал, но Алешка, видимо, засел у него в голове. Весь этот день он даже не подходил к своей наковальне, не заставлял Сашку раздувать мехи, а целый день где-то пробродил. Побывал он у батюшки, который тоже поддержал совет инспектора, просидел целый вечер у школьного учителя, а на следующий день, едва рассветало, надел на себя новую поддевку, сшитую к пасхе, новые сапоги, новый картуз и отправился вместе с Сашком в одну соседнюю, весьма богатую экономию. Все это кончилось тем, что отец Лопатиных взял в экономии какую-то очень большую работу. Проработал он там с Сашком все лето, заработал порядочную сумму денег, а осенью (заручившись письмом к директору) повез Алешку в город и определил в гимназию.

III

Первые четыре года пребывания Алешки в гимназии были положительно непосильными Лопатину: и он, и Сашок работали неустанно и брались за всякую работу. Летом они

занимались разной кузнечной работой, покрывали железом дома, церкви, хлебные амбары, красили их, чинили всевозможных систем молотилки, жнейки, веялки, а осенью нанимались молотить хлеб. У них была собственная своя молотилка, которую купили они по случаю за недорогую цену. С этой-то молотилкой они разъезжали по соседним экономиям, нанимали от себя рабочих, потребное количество лошадей и обмолачивали хлеб. Но и этого не хватало иногда. Приходилось прибегать к займам. Следовало бы заняться и ремонтом домика, который приходил в ветхость; но об этом, по безденежью, нечего было и мечтать: поневоле приходилось откладывать до более благоприятного времени.

Только с переходом Алексея в пятый класс дела Лопатиных несколько улучшились, так как Алексей начал и сам кое-что зарабатывать даваемыми в нескольких домах уроками. К сожалению, такое положение продолжалось недолго. С переходом Алексея в университет отец Лопатиных, которого в то время называли уже стариком, распростудившись на рыбной ловле, захворал, а через три дня взял да и умер. Русскому рабочему человеку долго хворать недосуг. Происходит это, вероятно, потому, что он слишком долго перемогается и решается лечь в постель тогда только, когда ему следовало бы ложиться в гроб. Я был свидетелем такой смерти.

Набивал человек сваи, распевал «дубинушка, ухнем», а в полдень поехал верхом домой обедать; ему приходилось сделать до дома не больше полверсты, но, не доезжая до своей избы нескольких сажен, он свалился с лошади и захрипел. «Что с тобой?» — вскрикнул я, подбежав к нему. «Под сердце подкатило что-то...» — прохрипел он. И это были его последние слова.

Так же быстро и хладнокровно умер и старик Лопатин.

— Слышь-ка, Сашок,— проговорил он наиспокойнейшим голосом, словно не умирать собирался, а ехать на базар,— надысь, когда я хворый с рыбной ловли воротился, я бредень-то кой-как по плетню раскидал... убери: мотри, чего доброго, сгниет... Я что-то того... плохо что-то... Помираю, мотри... под сердце подкатило... Убери, не забудь...

— Уберу, батюшка, не беспокойтесь.

— Ты таперь Алешке денег не посылай,— продолжал он,— таперь он не махонький. Выше тебя орясина стал... сам может прокормиться. Пуще всего, избенку поправь,— совсем

гнилая... Да, мотри, с долгами расплатись... Купцу Коновалову должны остались сто рублей, вертуновскому барину — сто пятьдесят...

— Зачем? Семьдесят пять всего на все.

— Как это? — удивился старик.

— А забыл ништо: дом-то ему выкрасили, молотилку заново отделали, да конные грабли — семьдесят пять и осталось.

— Да, забыл... Верно, верно... Напиши Алешке, чтоб обязательно высылал... Сто семьдесят пять рублей не для себя занимали, для его милости... Пущай и расплачивается... Он теперь,— продолжал старик,— учителем у князя у какого-то... живет на всем на готовом, двадцать пять рублей в месяц гладит... Теперь у него денег много... Беспременно напиши: отец, мол, приказал... Так и напиши... За все-то время тысячи полторы переплатили, мотри... Пора и совесть знать!..

— Слушаю, батюшка... напишу.

— Так и напиши: пора, мол, и честь знать... Так отец наказывал.— И, несколько помолчав, прибавил: — Старуху мать береги, а пуще всего за Акулькой приглядывай... Эти девки,— прибавил он,— об эту пору словно бешеные делаются...

— Буду присматривать...

Но старик последних слов не слыхал, так как захрипел и вскоре умер.

Сашок сколотил отцу гроб из сосновых досок, заранее на этот предмет заготовленных, выкрасил черной краской, нарисовал несколько белых крестов, обил внутри коленкором, купил дешевенький покров, горько поплакал над умершим отцом, помянул его добрым словом и отвез на погост. Батюшка отпел его, и Сашок собственноручно опустил гроб в могилу. Зато засыпать могилу землей, долженствовавшей на веки вечные скрыть от него дорогого ему человека, он не смог: взял было в руки лопату, загреб ею кучку земли, но вдруг почему-то отошел от могилы и направился домой. Проходя мимо садика, он увидел беспорядочно разбросанный по плетню бредень, вспомнил приказание умиравшего отца, бережно собрал бредень, спрятал в амбар и вошел в осиротевшую кузницу; но тут он не выдержал: упал на верстак и, закрыв лицо руками, разрыдался, как ребенок.

Прошло еще года два. Алексей кончил курс в университете, сдал государственный экзамен, получил диплом лекаря

и вскоре сделался земским врачом в одном из соседних с селом Вырыпаевым уездов. Участок, или округ, Алексея был от Вырыпаева верстах в тридцати, а Сашок, или, как называли его теперь, Александр Иванович, по-прежнему подковывал лошадей, крыл железом крыши и дома, раскрашивал их; выучился у кого-то изображать толстощеких херувимов, которыми и украшал потолки церквей, чинил молотилки и экипажи, обмолачивал осенью на своей молотилке хлеб соседним землевладельцам и таким образом содержал как собственную семью свою, с каждым годом приумножавшуюся, так и старуху мать. Жил он безбедно, на судьбу не роптал, по-прежнему весело распевал и насвистывал, понемногу уплачивал долги, и все, видимо, были счастливы. Одно только тревожило Лопатина, что домик его все ветшал и ветшал. Сперва продырилась камышовая крыша, а когда Лопатин, взобравшись на эту кровлю, принялся застилать дыры свежим камышом, обрушились стропила и чуть не придавили его. Потом принялись загнивать углы избы, перекашиваться половицы, и, посматривая на все это, Лопатин только покачивал головой да посвистывал. «Совсем разваливается,— бормотал он,— надо, видно, за переборку приниматься».

Позвал он плотника Осипа. Осип принялся ковырять пальцем сгнившие углы избы и расковырял их до такой степени, что в них начало даже просвечивать солнышко. Летом это ничего бы, но лето подходило к концу и наступала осень; ну, а зимой-то — иное дело: того и гляди, что зубами защелкаешь... И он завел речь с Осипом о фундаментальной переборке избы. Осип слазил на чердак, ощупал все стропила, покачал их, зачем-то нагибался, ложился на брюхо, вскарабкивался на самый конек, опять что-то ковырял и потряхивал, потом вошел в избу, принялся топать ногами по половицам, на некоторых даже подпрыгивал, и все это кончилось тем, что Лопатин пошел рядиться с Осипом, по русскому обычаю, в кабак, захватив с собою подручного Осипа, Артема. Рядились они чуть не до самого вечера, наконец сладились, и все трое, покачиваясь из стороны в сторону, вышли из кабака.

— Только вот что,— говорил Александр Иваныч, остановившись посреди базарной площади и заметно заплетая языком,— денег у меня сейчас нет... может, наколочу к концу вашей работы... Чур не приставать заранее!

— Ну,— вскрикнул Осип, покачиваясь,— таперь разбогател, поди... Брат-ат приехал... дохтуром в Алмазове ведь. Поможет, поди.

— То ли поможет, то ли нет... осенью расплачусь честно-благородно...

Осип принялся рассказывать, как, будучи в Алмазове, случайно видел Алексея, возвращавшегося откуда-то домой, как урядник сделал ему под козырек, как сам алмазовский священник первый поклонился ему, почтительно приподняв шляпу, и как, заслышав колокольчик, выбежала из аптеки барышня встречать его.

— Помощница, значит, его, фельдшерица... Этот поможет...

— По рукам, значит? — подхватил Лопатин, протягивая плотникам заскорузлую руку.— Так завтра начнете, значит?

— Обязательно.

— Не надуете?

— Обязательно... ей-богу, завтра... Видишь, вон храм божий,— прибавил он, указывая на церковь.— Ну, значит, завтра чуть свет... Одно слово: эх, милый человек, Александр Иваныч! Все мы люди, все человеки.

На следующее утро, едва успела Куля прогнать мимо домика Лопатина батюшкиных коров в стадо, а кстати захватить и свою, как Лопатин с женой и матерью перетаскивали уже из избы в плетневый сарайчик весь свой хлам, чтобы не задержать как-нибудь обещавших явиться плотников.

Решено было разобрать избу до основания, гнилые углы отпилить, от чего, разумеется, изба уменьшится; но это не беда: лишь бы в ней не «стыдно» (т. е. холодно) жить было, а полы настлать новые. Плотников прождал Лопатин до обеда; пообедав, прилег отдохнуть; отдохнул, а плотников все нет да нет. Лопатин покачал головой и принялся собственноручно раскрывать камышовую крышу своего домика. Он поднял такую густую и черную пыль, что перепугал всех вырыпаевских мужиков, вообразивших, что у того загорелась изба. Народу сбежалась куча; но, увидав, в чем дело, все разошлись по домам. Провозился Лопатин с этой крышей целый день. Только часам к десяти вечера домик был совершенно раскрыт. На следующий день явились и плотники с кожаными сумками на плечах и с топорами в руках. Работа закипела. Осип принялся перемечивать бревна, а Артем — разбирать стропила, а спустя некоторое время домик Лопа-

тина уже не существовал, и только полуразвалившийся каменный фундамент да сложенные в четыре яруса перемеченные бревна возвещали о бывшем жилище скромных тружеников, никогда не похвалявшихся своими трудами и никогда не роптавших на свою тяжелую трудовую долю.

IV

На следующий день, часов в пять вечера, вся семья Лопатина, а в том числе и знакомые нам плотники сидели в садике вокруг самовара и распивали чай. Сидели все просто-напросто на траве, калачиком поджав под себя ноги. На той же траве чадил самовар и лежала целая связка запыленных, окаменевших баранок... Солнце клонилось к западу. Кули в числе пивших чай не было, так как она побежала на улицу встречать пригнанное стадо. Вечер был теплый, но не удушливый, и все, видимо, благодушествовали... Вдруг послышался колокольчик. Все стали прислушиваться; судя по звуку, можно было догадаться, что лошади мчались быстро; колокольчик все приближался и приближался, начал долетать даже топот подкованных лошадей и стук колес, а немного погодя из улицы вылетела тройка ямских лошадей, запряженных в бричку. Миновав улицу, бричка повернула налево и направилась к дому Лопатина. Все всполошились, повыскакали из-за самовара и торопливо выбежали из садика, а бричка все приближалась и приближалась.

— Батюшки! — вскрикнул Лопатин, зорко всматриваясь в лицо сидевшего в бричке господина.— Ведь это Алеша.

Старуха мать чуть не упала, заахала, замахала руками и вместе с Александром побежала навстречу сына. Нечего говорить, что встреча была самая теплая и сердечная. Старуха, обнимая сына, разрыдалась; навернулись слезы и на глаза Александра; расчувствовался и сам Алексей, разодетый в щеголеватую пиджачную пару и с пуховой шляпой на голове. Он бросился обнимать мать, крепко целовал ее, ее руки, плечи, обнимал брата и не мог даже говорить от волнения... Прибежала и Куля. При виде ее Алексей ахнул даже.

— Неужели это Куля? — вскрикнул Алексей, глядя на красивую сестру свою и словно не доверяя глазам.— Неужели это ты?

— Я, Алеша! я, родимый!

— Боже мой! — удивлялся Алексей.— Как ты выросла!.. как похорошела!.. Ты теперь совсем невеста: замуж пора...

И, расцеловавшись с сестрой, он с увлечением принялся описывать тот восторг, который переживает в настоящее время, покончив наконец свое образование и получивши должность земского врача неподалеку от родного ему Вырыпаева, где теперь примется за дело и постарается быть полезным человеком. «Займусь своим участком,— говорил он,— в свободное время буду навещать вас... Может быть, даже поменяюсь участком с здешним врачом, поселюсь в Вырыпаеве вместе с вами, родные мои».

Прибежало несколько мужиков и баб, прослышавших каким-то путем о приезде Алексея Ивановича. Пришел местный батюшка, узнавший Алексея, когда тот проезжал мимо его окон; пришел даже и состарившийся школьный учитель, когда-то обучивший его грамоте, а ныне служивший волостным писарем в селе Вырыпаеве. Все высказывали свою радость видеть его, наконец покончившим свое образование и сделавшимся доктором, причем все изъявляли сожаление, что он не попал в свое родное Вырыпаево.

Тем временем Александр Иванов успел уже поставить самовар и приготовить в садике все нужное для чая, а старуха мать и Куля принесли в тот же садик стол, накрыли его скатертью и расставили вокруг стола все имевшиеся в наличности стулья. Старуха мать выбрала для своего Алеши самый лучший и самый крепкий стул, опасаясь, как бы Алеша не упал и не ушибся. Некоторое время спустя все сидели вокруг чайного стола, пригласив священника и бывшего школьного учителя. Чай разливала Куля, а старуха мать бросилась устраивать Алеше постельку. Решено было положить его в кузнице, так как весь плетневый сарайчик был завален перенесенной из дома рухлядью Лопатина. Только сидя за чайным столом, Алексей Иванович заметил отсутствие домика.

— Где же домик-то? — спросил он брата.

— Только ноне сломал: задумал заново перебрать его,— ответил Александр Иванов.

— Неужто сгнил? — спросил Алексей Иванович.

— Еще бы не сгнить! — вмешался батюшка, отгрызая кусочек сахара и потряхивая им над блюдечком.— С кех пор стоит-то...

Потужил Алексей Иванович о смерти отца, расспросил о последних проведенных им минутах и порешил, что, вероятно, он умер от горловой чахотки и что простуда во время рыбной ловли ускорила смерть... Относительно же уплаты долгов, о которых, по приказанию умершего отца, писал Лопатин, почему-то не заикнулся даже.

— Завтра, батюшка,— проговорил он, обращаясь к священнику,— я попрошу вас отслужить панихиду на могиле отца.

Когда чай был покончен, начало уже смеркаться. Гости разошлись по домам, а старуха мать повела сына в кузницу.

— Ты, поди, Алеша, устал с дороги-то,— проговорила она,— отдохнуть, поди, хочешь... Я тебе в кузнице постельку постлала, свою кроватку поставила. Она у меня крепенькая... Там тебе покойно будет и прохладно: ни одной мушки нет, ни одного комарика... Два дня в кузнице не работали. Хорошо будет... хорошо...

— Спасибо, мамаша, спасибо,— проговорил Алексей Иванович, целуя руки матери.— Только не рано ли с этих-то пор спать ложиться? — прибавил он, улыбаясь.

— Аль отвык рано-то ложиться?

— Отвык, мамаша.

— Небось, все над книгами сидишь? — заметила мать, зевая.— Ты хошь теперь-то брось эти книги... Ну их совсем!.. Вишь ведь как ты отощал, родименький, на себя не похож: и бледненький какой-то, и щечки у тебя ввалились... Они ведь тоже, книги-то эти, до добра не доводят... Вот у батюшки у нашего сын учился, учился... надо бы в попы посвящаться, а он взял да и помер... Ох и плакал же только наш батюшка, как сына-то хоронил... так-то плакал, так-то плакал!.. А он, бедненький,— продолжала старуха,— лежит в гробике худой-расхудой, крестом ручки сложены, образок на ручках, зубки оскалил, глаза ввалились, а ведь совсем еще молодой был... Вот до чего книги-то эти доводят! — прибавила она, позевывая.— Брось их, Алеша... ну их совсем!.. Теперь уж и вздохнуть пора... Ляг-ка, отдохни лучше.

И, проводив сына в кузницу, она поцеловала его в лоб, перекрестила на сон грядущий и улеглась в хлевушке на разостланной соломе.

Однако как ни покойно было лежать Алексею Ивановичу на постели своей матери, он все-таки заснуть не мог и очень

был рад, когда услыхал голос брата, осторожно вошедшего в кузницу.

— Вы спите, братец? — шепотом спросил Александр Иванов брата.

— Нет, не сплю, Саша.

— Известно: поди, отвыкли с курами-то ложиться... Пойдемте, пройдемтесь, коли так... Ведь путем не смерклось еще.

Алексей Иванович быстро вскочил с постели, оделся наскоро, и братья отправились по оврагу.

Проходили они долго... Алексей Иванович вспоминал свое детство... Узнал даже два-три громадных камня, по тяжести своей не снесенных водой, и ему почему-то взгрустнулось... Так проходили они вплоть до утренней зари и разошлись только тогда, когда блеснули первые лучи восходящего солнца.

Проспал Алексей Иванович часов до одиннадцати утра, когда плотники успели уже сложить три венца и стали поговаривать об обеде. Алексей Иванович даже сконфузился, что проспал так долго, и поспешил встать с постели.

— Брат, а брат! — крикнул он, высунувшись из кузницы.

Но вместо брата прибежала Куля.

— Вы что, братец?.. Сашка нет: побежал пакли покупать... Вам чего надоть? — спросила она.

— Умыться бы, Куля... Рукомойник и лоханка есть, что ли, у вас?

— Ну, захотели!.. Мы по-мужичьи, из кувшинчика! — проговорила она, но вдруг, как будто что-то вспомнив, куда-то побежала.

— Ты куда, Куля? — крикнул он ей вслед.

— Сейчас к батюшке сбегаю,— ответила она на бегу.— Сейчас принесу вам и рукомойник, и лоханку... сейчас, сейчас! — И она побежала по направлению к батюшкину дому, а немного погодя воротилась, держа в руках лоханку и рукомойник, а в то же время старуха мать принесла Алеше кусочек мыльца и чистое полотенце.

— Ну, вот и отлично! — проговорил Алексей Иванович, поздоровавшись с матерью. И он принялся умываться, попросив Кулю и мать выйти из кузницы.

Немного погодя он вышел к ним, тщательно одетый и причесанный; снова поздоровался с матерью, поцеловал у нее руку, расцеловался с сестрой, которую ласково потре-

пал по щечке и опять назвал хорошенькой; напился чаю и объявил, что он пойдет сейчас к батюшке с визитом, а затем попросит его отслужить панихидку на могиле отца. Он пригласил на кладбище и мать, и брата, успевшего уже сбегать за паклей; но все они отказались за недосугом. Это несколько удивило Алексея Ивановича; но, вспомнив, что простой народ привык молиться об усопших только по известным «поминащим» дням, успокоился.

У батюшки Алексей Иванович пробыл довольно долго, так как тот никак не отпускал его без чая.

— Покушайте, Алексей Иванович, чайку,— говорил батюшка,— а в те поры отслужим и панихидку.

Делать было нечего, Алексей Иванович остался и принялся пить чай, который разносила успевшая прибежать Куля. За чаем батюшка рассказал Алексею Ивановичу про предложение, сделанное Мещеряковым Куле, и немало дивился ее отказу.

— Помилуйте,— говорил он,— человек богатый... собственный свой участок земли верстах в двух от Вырыпаева, бездетный... Положим, человек немолодой, но здоровый, крепкий,— и вдруг отказала... Я, признаться, побранил вашу сестру, Алексей Иванович... Уж извините: помилуйте, ведь это все одно, что от собственного своего счастья отказаться... Мельницу имеет, домик, своих лошадок и, сверх всего этого, человек не безденежный... Как можно!

Наконец панихидка была отслужена. Алексей Иванович поблагодарил батюшку, сунул ему в руку серебряный рубль и направился домой. Проходя мимо школы, он зашел взглянуть на свое первое учебное заведение; познакомился с учителем, отрекомендовавшись ему бывшим учеником этой школы, а ныне доктором Лопатиным, осмотрел училище. Затем Алексей Иванович сделал визит местному земскому врачу, пробыл у него с полчаса и возвратился домой. Местный врач ему не понравился: живет грязно, в мужичьей избе и, кажется, не имеет ни малейшего понятия о комфорте.

Дома стол был накрыт чистою скатертью, а на столе стоял приготовленный для него прибор с серебряною ложкой, ножом и вилкой. Все это, конечно, было выпрошено Кулей у батюшки и ею же принесено. За столом сидел только один Алексей Иванович, так как брат сесть за стол не решался, а мать была занята стряпаньем обеда. За обедом Алексей Иванович высказал свое желание украсить могилу

отца приличным памятником, на каковой предмет и выдал брату двадцать пять рублей, попросив его заняться этим делом.

В Вырыпаеве Алексей Иванович прогостил дня три. Снова была подана ему ямская бричка, запряженная тройкою земских лошадей, и Алексей Иванович принялся прощаться со своими родными.

— Вы, маменька, и ты, сестренка, и ты, брат,— говорил он, обнимая мать и обращаясь к сестре и брату,— навестите меня... Посмотрите на мое житье-бытье! Ведь Алмазово всего в тридцати верстах отсюда — рукой подать... Пожалуйста, навестите.

— Беспременно,— заговорили все,— как же не навестить... Ништо это можно.

— Я буду ждать вас с нетерпением.

— Беспременно приедем,— проговорила старуха мать.

— А когда именно?.. А то может случиться, что меня и дома не будет. Мне приходится по пунктам разъезжать... У нас это преглупо устроено,— продолжал Алексей Иванович,— что доктора обязаны разъезжать по пунктам... Болен человек, ну и приезжай к доктору.

Мать заговорила было с сыном о пояснице и спине; но Алексей Иванович ласково обнял мать, объявив, что сейчас заняться этим ему недосуг, но осмотрит ее подробно, когда она приедет навестить его.

— Тогда, мамаша,— говорил он,— я осмотрю вас, поговорю с вами, чем именно вы нездоровы, и дам лекарство.

Тем временем Александр Иванов успел вынести из кузницы чемодан брата, его подушку в сафьяновом чехле и все это уложил в бричку, а Куля подавала брату пальто и калоши.

— Ты вот как сделай, брат,— говорил Алексей Иванович, надевая на себя пальто и калоши,— приезжайте ко мне в воскресный день, так как по воскресеньям я всегда дома, а по вторникам, четвергам и субботам я выезжаю на пункты... Слышишь?

— Слушаю, братец,— отвечал Александр Иванов.

— Ну, друзья мои,— заговорил Алексей Иванович,— пока до свиданья!

И он принялся опять всех обнимать и целовать.

— Смотрите, мамаша,— говорил он,— дорогая, милая моя, навестите меня... Я буду ждать вас. Непременно

приезжайте!.. Вы очень меня огорчите, ежели не приедете ко мне.

— Приедем, Алеша, приедем,— говорили все.

— Ну, а пока до свиданья! Будьте здоровы! — говорил Алексей Иванович, усаживаясь в бричку.— Ох уж эти мне брички! — добавил он, похлопав по подушке.— И тряские, чёрт их побери, и непокойные, то пылью всего обдаст, то дождем до костей примочит.

— А вы, братец, тарантасик бы завели,— заговорил Александр Иванович,— кстати, у меня есть один на примете... хорошенький тарантасик.

— Дорогой, может быть?

— Ну, зачем!.. Много-много рублей семьдесят пять.

— Неужели?

— Даже из семидесяти пяти-то уступят... Потому: хозяин этого тарантаса помер недавно.

— В таком случае, пожалуйста, устрой,— заговорил Алексей Иванович.— А лучше всего вот что сделай: купи мне этот тарантас, да в нем и приезжайте ко мне... А вот тебе и деньги,— прибавил он, подавая брату пачку ассигнаций.— Пожалуйста, устрой!

— Обязательно устрою, братец.

Алексей Иванович приподнял шляпу, помахал ею, делая прощальный жест, крикнул ямщику: «Пошел!» — и помчался по дороге, ведущей в село Алмазово, обдав всех облаком густой пыли.

— Ну,— проговорила старуха с некоторой гордостью,— теперь и мы поправимся, бог даст! — и, восторженно всплеснув руками, прибавила: — Каков молодчик-то... Одно слово — барин!

— Барин, барин! — подхватили Куля и Лопатин с сияющими от восторга лицами.

А подходивший как раз в эту минуту батюшка, видя восторг семьи Лопатина, проговорил:

— Ну, честь вам и слава, вывели на большую дорогу молодого человека... Теперь и он не забудет вас.

V

Земский врач, Алексей Иванович Лопатин, был еще очень молодой человек, нисколько не походивший наружностью на брата своего Александра Иванова. Тот был ниже среднего

роста, плечистый, коренастый, а этот, напротив, довольно высокого роста, тонкий и стройный, с красивым матово-бледным лицом, с выразительными темными глазами и длинными вьющимися волосами. Он любил приодеться, пощеголять, всегда носил тонкое крахмальное белье, слегка душился, душил свои носовые платки и слегка подстригал бородку. Приехал он в село Алмазово в сопровождении какой-то барышни, с которой, будучи еще студентом, случайно познакомился в клинике, где она служила в качестве сиделки. Привез он ее с собой с намерением рекомендовать земской управе, как знающую и опытную фельдшерицу и акушерку.

За дело принялся Алексей Иванович с большим рвением; объехал весь свой округ, все свои амбулатории, всех сельских старост, объявил всем о своем приезде, о днях приема больных в селе Алмазове, расспросил, нет ли где тяжко больных, осмотрел последних, записал их в памятную книжку, настоял, чтобы в алмазовской амбулатории перестлали полы, сильно шатавшиеся, оклеил новыми обоями и вставил стекла в разбитые окна. Побывал он и у нескольких священников, расспросил, не имеется ли в их приходах тяжко больных, с больными обходился ласково, приветливо, посещал их по первому призыву, причем расспрашивал о ходе болезни, утешал и успокаивал их и сразу же заручился симпатиями всего округа. Все шли к нему, не стесняясь, не робея и, встречая с его стороны ласковое и внимательное обращение, искренно полюбили его. Приезжавший в село Алмазово по какому-то делу член земской управы, расспрашивавший жителей о новом докторе, получил о нем самые лестные отзывы. Передали члену и несколько случаев удачного исцеления, а главное: все не могли нахвалиться его ласковым и внимательным отношением к больным. «Одно слово, душа человек,— говорили все,— таких докторов нам не доводилось еще видать».

Затем Алексей Иванович счел своею обязанностью объехать и всех своих коллег-сослуживцев. На первых порах он хотел было объехать их с привезенною им барышней, но потом передумал и отправился один. Коллеги приняли его очень радушно, посвятили его в таинства земской службы, посетовали на трудность службы, назвали ее «каторгой».

Квартиру снял себе Алексей Иванович на церковной площади села Алмазова, в домике местного купца Чеботарева. Домик этот был небольшой, но чистенький и, сверх того, до-

вольно поместительный. В распоряжении Алексея Ивановича было три светленьких комнаты, выходивших на церковную площадь, просторные сени с несколькими чуланчиками, отделявшие его квартиру от кухни, и даже маленький балкончик, выходивший в небольшой палисадничек, засаженный кустами сирени и бузины.

Квартирку свою Алексей Иванович убрал очень прилично: по окнам развесил кисейные занавесочки, на стенках — хорошенькие олеографические картинки[1] в рамках; имелась у него и хорошенькая мягкая мебель, письменный стол, уставленный красивыми письменными принадлежностями, и несколько этажерок с медицинскими книгами в красивых переплетах,— словом, квартирка Алексея Ивановича была убрана и уютно, и мило. Квартиру эту Алексей Иванович избрал и потому еще, что она была почти рядом с его амбулаторией и аптекой, в которой поселилась фельдшерица Ксения Николаевна Раздувалова.

Не особенно скоро удалось семье Лопатина попасть в село Алмазово к Алексею Ивановичу, что в особенности возмущало старуху мать, жаждавшую как можно скорее посмотреть на житье-бытье Алеши. Ей все казалось, что без ее пособия Алеша, как человек молодой и вдобавок холостой, не сумеет устроиться. Задавшись этой мыслью, она начала собираться к Алеше чуть не в день его отъезда из Вырыпаева: наскоро выстирала два своих ситцевых платья, две кофточки, заставила Кулю разгладить их и приготовила два полотенца и несколько пар шерстяных чулок, ею самою связанных, в подарок сынку.

«У него, бedненького, поди, и чулочков-то нет,— думала она,— ну вот пущай и поносит моих трудовых».

Хотелось и Куле поскорей побывать у братца-доктора. Она тоже в свою очередь приготовила себе одно самое лучшее платьице, подаренное ей матушкой, и даже собственноручно заштопала продырившиеся ботинки, тщательно вычистив их выпрошенной у батюшки ваксой,— словом, и мать, и сестра ждали с лихорадочным нетерпением дня отъезда в село Алмазово,— но, как нарочно, день этот все откладывался и откладывался. Дело в том, что Александру Иванову необходимо требовалось присмотреть за плотниками и в то же время работать в кузнице, так как, по случаю приезда брата, работы накопилось очень много. Ввиду наступавшей молотьбы ему пришлось перечинить штук пять моло-

тилок и съездить в город за покупкой памятника на могилу отца. Памятник был куплен и доставлен в село Вырыпаево, и Александр Иванов принялся устанавливать его на место, на что тоже потребовалось несколько дней, а поставив памятник, поехал покупать брату тарантас, который и купил за пятьдесят рублей с доставкой к Лопатину. Он был в восторге, что успел так дешево угодить братцу. «Ведь слезно просил, нельзя же было не уважить,— говорил он матери, которой хотелось бы поскорее попасть к Алеше.— Хорошо скоро не сделаешь... Зато мы таперь не кой-как, а в тарантасе к братцу-то поедем. Это тоже чего-нибудь да сто́ит... И ему, то же самое, много приятней будет таких гостей принять».

Между тем плотничья работа быстро подвигалась вперед: стены были выведены, потолок настлан, стропила поставлены и укреплены; оставалось только настлать полы, вставить рамы и покрыть крышу. Домик выходил хоть куда, и Александр Иванов не мог вдоволь налюбоваться им. Он даже казался ему красивее прежнего и выглядывал как будто уютнее и веселее. Расхаживая вокруг этого домика, Александр Иванов размечтался до того, что порешил покрыть его не камышом, а железом.

— Как вы думаете, мамаша,— говорил он, обращаясь к матери, продолжавшей ворчать и хмуриться,— не покрыть ли нам домик-то железом?

— Хоть золотом,— ворчала она,— коли денег в кармане много.

— Положим, денег-то нет, да, может, братец, поплатится... У них деньжонки виднеются: памятничек поставили, тарантасик купить приказали... А не он, так Семен Данилыч выручит... Он мужик добрый: поди, даст взаймы на железо-то,— не на пустяки прошу...

— Дожидайся!.. Коли сестра не захотела быть его женой — держи карман-то шире, даст, как же!..

Но Александр Иванов, несмотря, по-видимому, на столь основательные возражения матери, все-таки успел как-то сбегать к Семену Даниловичу и переговорить с ним по поводу этого займа. Оказалось, что Семен Данилович с большим удовольствием дал Александру Иванову денег взаймы на покупку железа, честь честью угостил его, выпил с ним малую толику и опять заговорил о сестре.

— Вот как бы Акулина Ивановна осчастливила меня сво-

им согласием, в те поры, милый человек, я с тебя и денег назад не взял бы!.. Уж больно она мне по душе пришлась, сестра-то твоя... Не за красоту одну: красота — товар непрочный, линючий, а главная причина: девка-то очень обстоятельная, хозяйственная... А мне без такой никак невозможно... Тоже ведь трудом добро-то наживал... Эх, как бы ты, милый друг, Александр Иванов, как-нибудь съетажил это дело... Не только ей одной, а и всем вам хорошо будет: и тебе, и старухе матери... Я бы ее в те поры к себе перетащил, комнатку отвел бы ей особую, и пущай себе старуха жила бы у меня в полном спокойствии... Домик у тебя точно — хорошенький выходит, да ведь у тебя и своя семья, слава богу, не маленькая: пожалуй, старухе-то утеснительно будет... Право, поговори-ка!.. Человек я, сам знаешь, непьющий, смирный, тихий, одинокий и не перестарок: ведь мне еще и пятидесяти нет. Какой же я старик... Эх, и зажили бы только!..

Александр Иванов обещал поговорить. А возвратясь домой и показывая матери полученные деньги, восторженно воскликнул:

— Вот они, матушка, денежки-то!.. Теперь домик покроем железом, да раскрасим крышу-то.

Потом, обняв старуху и отведя ее к сторонке, прибавил шепотом:

— Опять насчет Кули говорил, опять просил, чтобы, значит, выдать ее за него. Всем вам, говорит, хорошо будет... А тебя хочет даже к себе взять, особую комнатку дать: пущай, говорит, старушка в удовольствии да в спокое свой век доживает... Что ты скажешь на это, матушка?

— С Алешей посоветоваться надо,— проговорила старуха,— как он прикажет... Он человек ученый, лучше нас всякие дела понимает... А коли по душе придется ему эта свадьба, может, сестре пособит чем ни на есть: платьице сошьет, шубку сделает: ведь у ней, у родимой, нет ничего.

— Он приданого не требует... Ты лучше вот о чем поговори с ним: не поможет ли он нам с долгами расплатиться: ведь для него занимали-то, не для себя... Мало ли ему денег-то переслали... Вот о чем лучше попроси. Теперь он человек богатый, одного жалованья сто рублей в месяц получает... А приданого Семен Данилович не требует... Насчет долгов-то лучше поговори!.. И отец, когда умирал, приказывал, чтобы беспременно заплатил... «Пора,— го-

ворит,— и совесть знать»... Ведь мне не под силу, по правде сказать...

На следующий день рано утром возле плетеного сарайчика Лопатина стоял тарантасик, запряженный парою крестьянских лошадей, а вокруг тарантасика суетилась Куля, укладывая в него разные узелки и мешочки.

— Ну, все готово! — крикнула она тут же стоявшей старухе матери.— Готово, едемте!

— Эй, Саша, где ты? — принялась кричать старуха, призывая Александра Ивановича.— Все готово... Едем, едем!

Выбежал Александр Иванов в своем пиджаке с заплатами на локтях, подсадил в тарантас старуху мать, сестру, вскочил на козлы (лошадей он нанял с тем, чтобы самому править ими), разобрал вожжи, крикнул плотникам, чтобы решетили стропила под железо, тронул вожжами, и лошади затрусили легонькой рысцой по дороге в Алмазово.

Старушка мать успокоилась и принялась креститься, посматривая на церковь: «Насилу-то,— шамкала она старческими губами,— насилу-то собрались». Чуть не всю дорогу старуха тростила дочери про Семена Даниловича Мещерякова: перечисляла его достоинства как нравственные, так и материальные; восхищалась его домиком, садиком, мельницей... Призналась даже, что была бы совершенно счастлива, видя своего сына доктором, а дочь богатой купчихой в шелковых платьях и разъезжающей не на наемных клячах, как теперь, например, а на собственных своих, с кучером... А Куля только слушала да помалчивала, глядя на тощую пару крестьянских кляч, запряженных в раскрашенный и покрытый лаком хорошенький тарантасик брата. «А хорошо бы,— думала она, развалясь в угол тарантаса,— если бы на место этих заморенных кляч была запряжена лихая тройка в наборной сбруе с бубенчиками и колокольчиками под ярко раскрашенной дугой»... А в это самое время, как нарочно, послышался мягкий малиновый звон двух колокольчиков и топот быстро несущихся подкованных лошадей.

— Семен Данилович катит! — крикнул Лопатин, самодовольно улыбаясь, повернувшись к сестре.

Старуха спала уже, а Куля, вся встрепенувшись, выпрямилась, как-то торопливо принялась поправлять платочек на голове и зорко всматриваться в даль на приближавшуюся тройку, так и мчавшуюся по дороге, поднимая облако густой пыли и гремя бубенцами и колокольчиками. Куле даже стыд-

но как-то стало, что они ползут на таких ободранных клячах.

— Неужто ты не мог лошадей-то получше подыскать! — проговорила она брату.

— Гм... получше,— проговорил он.— И за таких-то придется платить по рублю в сутки... А то — лучше!..

Налетело облако густой пыли, поднятой экипажем Мещерякова. Пыль быстро пронеслась, и в то же мгновение послышался голос Семена Даниловича:

— Акулине Ивановне мое почтение! — прокричал он и, приказав кучеру остановиться, выскочил из тарантаса и подбежал к Лопатиным, лошади которых принялись пощипывать траву.

Поздоровавшись со всеми, он принялся рассказывать, что сейчас только от Алексея Ивановича, к которому ездил насчет своего здоровья; прибавил, что Алексей Иванович принял его ласково, долго говорил с ним, выслушивал его, ощупывал и объявил, что у него все в порядке и что такого крепкого сложения он еще не видывал. А затем передал, что Алексей Иванович живет деликатно, совсем по-барски: даже иные господа живут много проще, что за квартиру он платит двести рублей в год с хозяйским отоплением и столуется у фельдшерицы за пятнадцать рублей в месяц — и обедает, значит, и ужинает, добавил он, а чай, сахар свой. Вам кланяться приказал и приказал сказать, что ждет вас всех к себе. Затем он добавил, что Алексея Ивановича все полюбили, что с больными он обращается ласково, не так, как иные товарищи его, которые мужиков за бороды теребят; что водки Алексей Иванович не потребляет; при этом привел в пример одного врача, спьяна выбившего где-то стекла; что с богатых больных денег за визиты не требует, и опять привел в пример какого-то другого врача, и, наконец, кончил тем, что все это узнал он от хозяина того дома, в котором квартирует Алексей Иванович и с которым приятельски знаком. «Когда-то вместе шерстью торговали»,— добавил он. Словом, наболтал с три короба, а сам все поглядывал на Кулю, изредка вздыхал и все старался казаться молодцеватым.

Все переданное Мещеряковым про Алексея Ивановича было верно: действительно, им были все довольны. Он внимательно и ласково обращался с больными, ходил по избам и навещал тяжко больных, аккуратно разъезжал по пунктам,

ни денег, ни подарков ни с кого не брал и вообще зарекомендовал себя наилучшим образом.

Все эти сведения очень порадовали старуху; известие же, что у Алеши нет собственной своей стряпухи и что он, доктор, словно какой нахлебник, бегает обедать и ужинать к фельдшерице, очень огорчило ее.

— Знамо дело,— говорил Семен Данилович, прощаясь и поглядывая на Кулю,— без хозяйки дом сирота... По себе знаю,— прибавил он, тяжело вздохнув и опять посмотрев на Кулю, почему-то опустившую глаза.— По собственной своей шкуре... Дом — полная чаша, а нет хозяйки, и нет ничего в доме... Так-то и Алексей Иванович... Тоже домик-то — полная чаша, а перекусить нечего... У хозяина уже обедал, признаться, у Чеботарева,— прибавил он.— Спасибо — накормил, не емши остался бы...

И, проговорив это, еще раз поспешно простился со всеми, вскочил в тарантас и помчался, а наши путешественники поплелились пешком, обдаваемые налетевшею из-под тарантаса Мещерякова густой пылью.

VI

У Алексея Ивановича семейство Лопатиных прогостило дня три-четыре. Алексей Иванович был, видимо, счастлив. Он выбежал встречать их на крылечко своей квартиры, обнял и расцеловал старуху мать, поцеловал сестру, причем почему-то ласково и с улыбкой погрозил ей, назвав «сердцеедкой», расцеловался и с братом, полюбовался купленным для него тарантасиком, заметив, что не мешало бы его вымыть, и поспешил проводить дорогих гостей в комнаты.

— Вы, вероятно, утомились, милая мамашенька,— говорил он, усаживая старуху на диван и подкладывая ей за спину шитую шерстями подушку.— Чем прикажете угощать вас?.. Чайку не желаете ли?

И, получив в ответ, что она с удовольствием выпила бы чашечку-другую, куда-то выбежал, накинув на голову пуховую шляпу. Когда он проходил мимо окон своей квартиры, старуха крикнула ему:

— Ты куда же это, сынок? — и, получив в ответ, что он идет распорядиться насчет самовара, немало удивилась такому ответу.— Неужто и самовара своего нет? — удивилась

она, взглянув на Кулю, рассматривавшую тем временем с видимым изумлением квартиру братца.— Неужто и чай пить бегает к фельдшерице?.. Уж это больно чудно чтой-то!..

— Посмотрите-ка, посмотрите-ка, мамаша, зеркало-то какое у братца Алексея Ивановича! — говорила между тем Куля, повертываясь перед зеркалом и осматривая свой туалет.— Не нашему чета... Да чего про наше толковать, у батюшки даже такого нетути... А салфетка-то на столе какая! — вскрикнула она, ощупывая гладью вышитую салфетку, которою был накрыт передиванный овальный стол.— Вот прелести!.. Цветочки-то, цветочки-то, словно живые, так и хочется понюхать... А занавесочки-то... А лампа-то... А картинки-то на стенах!.. Правду сказал Семен Данилович, что братец Алексей Иванович светло живут, лучше иного барина... Кажись, у Семена Даниловича в комнатах много хуже, чем у братца Алексея Ивановича.

— Еще бы! — заметила не без гордости старуха.— Не мужик, поди, Алеша-то — дохтур. Ништо можно жить ему понашенски... Вот только самовара нет,— продолжала она,— это чтой-то тово...— и вдруг, переменив тон, спросила: — А где Сашок?

— Должно, лошадей распрягает да тарантас моет.

— Квартира ничего,— заговорила старуха, любуясь помещением Алеши.

— А патретов-то, патретов-то сколько понавешано. Поди, господа все, приятели Алешины. Тоже ведь не со всяким человеком знакомство водит... с разбором, поди. Ну-ка, сбегай-ка, Куля,— продолжала старуха,— посмотри, есть ли у него куфня.

Куля сбегала и тотчас же воротилась.

— Ну, что, есть?

— Куфня-то есть, мамаша,— ответила Куля,— куфня хорошая, просторная. Только в куфне-то,— прибавила она, весело расхохотавшись,— нет ничего: ни чугунов, ни горшков, даже ухвата не виднеется. А уж грязи-то, сору-то — этого добра видимо-невидимо, словно как месяца два не мели.

— Неужто? — вскрикнула старуха, быстро вскочив с дивана и подбегая к двери.— Ну-ка, Куля, покажи-ка мне,— прибавила она,— где у него куфня-то.

Куля показала.

— Господи! — вскрикнула старуха, всплеснув руками.—

В ином свином хлеве много чище. Знамо, без хозяйки дом сирота. Женить его надоть,— прибавила она,— беспременно женить. Мало ли у нас барышень-то. Поди, за дохту́ра-то любая с радостью пойдет, такого жениха не вот тотчас найдешь.

И вдруг, увидав в углу валявшийся веник, принялась подметать кухню, подмела ее, а потом с веником в руках вышла в сени и кстати подмела и там, где тоже было немало всевозможного сора.

— Посмотреть еще, в чуланчиках чисто ли? — И, проговорив это, старуха вошла в один из чуланов. Там, однако, все оказалось в надлежащем порядке, только одно очень изумило старуху, что на стенах этого чуланчика висело несколько накрахмаленных женских юбок. Она тщательно пересмотрела их, перещупала и покачала головой.— Нет, женить, женить надоть! В те поры у него и куфня своя будет, и самовар.

И старуха вышла из чулана, перебирая в уме имевшихся в околотке невест-барышень. А как раз в эту минуту вошел в сени и Алексей Иванович.

— Ну, мамаша! — проговорил он.— Пожалуйте! Сию минуту нам и самоварчик подадут.

— Разве у тебя, Алеша, нет свово-то?

— Есть, есть, мамаша,— заговорил Алексей Иванович, несколько смутившись.— Но изволите ли видеть, дорогая моя,— продолжал он, снова усаживая ее на диван и подкладывая за спину подушку,— столуюсь я у фельдшерицы, кстати, у ней же и чай пью, одному скучно, во-первых, а во-вторых, где же мне возиться самому? Я не привык и не умею, по правде сказать.— И, быстро оборотясь к Куле, добавил: — Я и сейчас прошу тебя, сестра, напоить нас чаем. Вот тебе сахарница,— прибавил он, указывая на щегольскую сахарницу,— тут и чай, и сахар, и несколько серебряных чайных ложек. Вероятно, ты большая мастерица разливать чай? Я помню,— продолжал он,— каким превосходным чаем ты угостила меня, когда я был с визитом у вашего вырыпаевского батюшки.— И, взглянув на Кулю, всплеснул руками и чуть не вскрикнул.— Боже мой! Да что же ты не умоешься, сестра? Ведь у тебя все лицо в пыли. Пойдем-ка... Умойся. И вы, мамаша, не хотите ли освежиться? Вы тоже вся в пыли.

— Это ничего, можно,— проговорила старуха, вставая с дивана.

— Пойдемте-ка ко мне в спальню. Вот вам умывальник, мыло, полотенце, губка.

— А где же вода-то?

— А вот и вода,— проговорил Алексей Иванович, нажав педаль мраморного умывальника.— Это очень просто делается,— продолжал он, показывая Куле, как именно следует обращаться с умывальником.

— Вот диковина-то! — удивлялась Куля, глядя на струившуюся фонтаном воду.— Я отродясь не видывала таких.

— Хороша штука! — проговорила старуха, покачивая головой.— А дорога?

— Кажется, рублей двадцать пять, но, право, хорошенько не помню. Нашему брату, доктору, без таких умывальников нельзя, на дню-то беспрестанно приходится руки мыть. Ну, умывайтесь же, дорогие мои, а я пока приготовлю в гостиной все, что требуется для чая. Умывайтесь, умывайтесь. А вот тебе и духи,— прибавил он, подавая сестре склянку духов.— Вероятно, ты, такая хорошенькая и молоденькая, не прочь будешь подушиться.

И, весело расхохотавшись, он вышел из спальни, притворив за собою дверь.

Старухе мраморный умывальник не понравился по своей дороговизне.

«Лучше бы коровку купил на эти деньги,— думала она.— А то коровки-то нет, поди».

Зато Куля была в восторге. Весело хохоча и вся раскрасневшись от удовольствия, она подставляла под фонтанчик голову и восхищалась падавшей на нее свежей струей. Умывшись, она подбежала к зеркалу, стоявшему на небольшом столике, села против зеркала на стул и принялась расчесывать волосы лежавшим на столике черепаховым гребнем. Подошла к этому столику и старуха, посмотрела на столик, заставленный разными косметиками, перенюхала их, покачала головой и вдруг вытаращила глаза, увидав на том же столе несколько в беспорядке разбросанных женских шпилек, которых даже и не заметила добродушная Куля.

«Нет, женить, женить надоть»,— подумала старуха и быстро отошла от столика.

Немного погодя они были уже в гостиной и сидели вокруг чайного стола, накрытого белой тонкой скатертью и уставленного корзиночками с печеньем для чая. Кулю Алексей

Иванович засадил за самовар, блестевший, как золото, и заставил ее разливать чай.

— Кушайте, мамаша, дорогая, кушайте! Вот вам булочки, сухарики, рисовое печенье. Вот сливочное масло, сыр. Кушайте, милые мои!

Пришел наконец и Сашок. Он успел дать корму лошадям, который купил на базаре, вымыл тарантас и даже успел сбегать на реку и искупаться. Словом, молодец молодцом, только заплаты на локтях пиджака да личны́е сапоги[2] с заправленными за них штанами как-то не гармонировали с его веселым улыбающимся лицом.

— Вымыл я, братец, тарантасик ваш, в каретничек поставил,— проговорил он, весело улыбаясь и потирая грубыми руками.— Теперь опять словно новенький.

Алексей Иванович принялся усаживать его за чайный стол; но Сашок, увидев скатерть, блестевшую, как серебро, корзиночки с печеньем и разложенные чайные салфеточки, смутился как-то и за стол не сел.

— Я вот здесь, братец, здесь,— проговорил он, указывая на угол.— Не беспокойтесь, мне здесь способней будет.

И он уселся в угол за небольшой столик, ничем не прикрытый. За чаем старуха мать принялась расспрашивать Алешу о стоимости всей этой обстановки. Алексей Иванович даже рукой махнул и объявил, что все это обошлось ему довольно дорого.

— Ведь я вам писал, кажется, что, поступивши в университет, я познакомился с князем Сердобиным, с отцом нашего здешнего Сердобина. Вероятно, слыхали фамилию эту?

— Как не слыхать, братец,— заговорил Сашок, прихлебывая чай с блюдечка,— богатейший барин. Я летось ему паровую молотилку оправлял. Богатейший!.. Усадьба какая!..

— Да, это очень богатые люди,— перебил его Алексей Иванович.— Итак,— продолжал он,— поступив в университет, я случайно познакомился со стариком князем, приготовлял двоих его сыновей в гимназию, ученики мои блестящим образом выдержали экзамен, и вот старик князь обрадовался, предложил мне жить у него в доме в качестве репетитора и назначил мне приличное вознаграждение, а именно двадцать пять рублей в месяц.

Старуха мать даже руками всплеснула.

— Двадцать пять рублей,— прошамкала она,— господи!

— Ну, вот, у князя я, как говорится, был, как у Христа

за пазухой. У меня была особая комната, прелестно меблированная, обедал я за княжьим столом, ездил с ним по театрам и концертам и, конечно, успел накопить небольшую сумму денег. А когда кончил курс и получил настоящую должность, все эти деньги пришлось издержать на разные покупки.— И, рассказав все это, Алексей Иванович весело расхохотался.— Я, маменька,— продолжал он,— не скаред какой-нибудь, который копит деньги и дрожит над ними. Нет, нет, я не такой, мамаша, я просто «рубаха».— И вдруг, заметив, что масло и сыр остаются непочатые, проговорил торопливо: — Вы что же, мамаша, сыру не попробуете? Куля, ты что же это, кушай! У князя, бывало, всегда к чаю подавались и сыр, и масло, и ветчина, и холодная телятина. Ну, вот я и набаловался.

— Я еще не знаю, как и есть-то его! — заметила Куля.— Надо поучиться допрежь.

— Допрежь! — передразнил он сестру.— Что уж это ты, Куля, разве так говорят?

— Как же, братец?

— Прежде — говорят. Ай, ай, ай, сестренка! А еще у батюшки живешь.

— Мы люди неученые,— перебила его Куля.

— А ты учись, дурочка! — заметила старуха.

В это самое время в растворенном окне показалась чья-то женская головка с пенсне на носу, суетливо проговорившая задыхающимся голосом:

— Алексей Иванович, Алексей Иванович! Князь едет... князь.

— Князь? — вскрикнул Алексей Иванович, быстро вскочив с места и подбегая к окну.

— Князь, князь!

— Да он ли, Ксения Николаевна?

— Он, он... с горы спускается. Ведь его экипаж-то заметный, кажется, ни у кого здесь нет таких. Да и лошади с подстриженными хвостами и в английских шорках. Он, он! К вам, должно быть.

Все всполошились. Алексей Иванович забегал и заметался по комнате, рассыпался перед старухой матерью в извинениях, взял в руки самовар, попросил Кулю захватить корзиночки с печеньями, скатерть, заставил Сашка перенести чайный стол и, крича: «Туда, туда пойдемте, в другую половину!» — выбежал в сени, а за ним побежали и все

остальные. Немного погодя все были уже на другой половине квартиры, то есть в кухне, так недавно еще подметенной старухой матерью. Сашок принес стол, накрыл его скатертью, Алексей Иванович поставил на стол самовар, Куля — корзиночки с печеньем, сыр, масло, сбегала за остальными чайными принадлежностями и в то же время запыхавшимся от беготни голосом объявила, что князь подъехал к воротам. Сашок выбежал посмотреть на экипаж князя, а Алексей Иванович снова принялся рассыпаться в извинениях:

— Уж вы извините меня, мамаша, дорогая моя! Кушайте себе чай. Будьте как дома, а я побегу встречать князя. Нельзя же, неловко.

И он суетливо выбежал в сени.

— Здравствуйте, князь, здравствуйте! — послышался из сеней его голос.— Милости прошу! Очень рад вас видеть.

Послышались удалявшиеся шаги, резкий голос князя, приветствовавшего Алексея Ивановича, хлопнула какая-то дверь — и все затихло.

— Ну, вот мы и в кухне! — заметила старуха.— Кухня хорошая, просторная.

— Пожалуй, здесь вольготнее! — весело заговорила Куля.— Поедим себе все, что есть на столе, а он там пущай себе с князем разговаривает!

И она весело расхохоталась, а глядя на ее веселый хохот, улыбнулась и старуха.

— И то правда, дочка, здесь много вольготней. Ну-ка, налей-ка чашечку. Я с булочкой попробую, какие-такие булочки.

VII

Очутившись в просторной кухне, Лопатины словно ожили и тотчас же почувствовали себя, как дома. Сашок снял с себя пиджак и без церемонии уселся за чайный стол, важно развалился, вытянул ноги и даже начал насвистывать какую-то веселую песенку. Все принялись за чай, за печенье, за масло, не дотронулись только до сыра, попробовав который Куля принялась плевать. Полчаса спустя самовар был уже покончен, булочки и печенье съедены; все встали из-за стола и помолились на иконы. Сашок пошел посмотреть на лошадей, попоить их; Куля начала перемывать чайную посуду, а ста-

руха мать, увидав иконы, покрытые паутиной и пылью, принялась набожно перетирать их чистым чайным полотенцем,— словом, все так же, как дома, принялись за дело.

Между тем в это самое время в сенях опять послышался резкий голос князя и чьи-то шаги. Куля быстро подбежала к двери, приотворила ее и принялась зорко смотреть в образовавшуюся щель на происходившее в сенях. Вдруг раздался хохот Кули, поспешно затворившей дверь и выбежавшей на средину кухни.

— Уехал, мамаша, уехал князь-ат,— проговорила она.— Ну, и чудак же,— добавила она, продолжая хохотать и разводя руками.— Вот так расфрантился!

И Куля принялась, как умела, описывать матери шотландский костюм князя, а пуще всего его обувь и коротенькие штанишки, не прикрывавшие ни колен, ни икр.

— Зато у нас,— заговорила старуха,— никаких князьев не бывает: ни в штанах, ни без штанов, а к Алеше приехали. Вот как!.. С князьями знакомство водит! — прибавила она горделиво.

Вошел Алексей Иванович.

— Над чем это вы смеетесь, мамаша? — спросил он, тоже весело улыбаясь.

Куля рассказала ему, в чем дело, а Алексей Иванович пояснил, что князь на днях только вернулся из-за границы и что на нем шотландский костюм, причем добавил, что князь чистокровный Рюрикович. Затем он стал звать всех в чистую половину, но старуха упросила Алешу оставить их в кухне, объяснив, что к чистым комнатам она не привыкла и что здесь всем им много вольготней. Она попросила даже, если можно, здесь пообедать и переночевать. Алексей Иванович расхохотался даже, подивился их вкусу; но в душе был рад, так как вечером ожидал к себе своих товарищей-сослуживцев.

Воротился Сашок, успевший напоить лошадей. Проходя мимо алмазовской церкви, он заметил, что крыша на церкви так давно не крашена, что начала уже ржаветь, а заметив это, порешил, что после обеда побывает у местного священника с целью предложить ему свои услуги выкрасить церковную крышу.

После обеда, очень сытного и вкусного, от которого старуха была в восторге и за который расцеловала Алешу, похвалив его стряпуху, Куля пошла с братом к местному священнику, а старуха, усадив рядом с собой Алешу, закурившего папи-

росу, завела с ним разговор насчет своей поясницы, не дававшей ей покоя. Алексей Иванович поспешил, конечно, успокоить старуху мать; объявил ей, что в известные годы боль эта весьма обыкновенная, что ничего опасного в ней нет, посоветовал ей сходить в баню, натереть поясницу тертой редькой с солью, а для вящего успокоения старухи дал ей какую-то мазь. Старуха была в восхищении и, покончив беседу о спине и пояснице, завела речь о Куле и Семене Даниловиче, имея в виду после этого поговорить с сыном и о других семейных нуждах.

«Теперь,— соображала старуха, любовно поглаживая по голове сына,— он у меня человек ученый, умный, вышел в люди, с князьями знакомство водит, стало быть, и нам пособит».

— Так вот, Алешенька,— заговорила она, обняв сына,— хочу я с тобой насчет Кули потолковать-посоветоваться. Сватает ее Семен Данилович, одолел нас всех; допрежь с эфтим делом ко мне все приставал, а теперь Сашку́ не дает покоя; все просит, значит, чтобы Кулю отдать за него.

— Знаю, знаю, мамаша,— перебил ее Алексей Иванович, рассмеявшись,— он даже приезжал ко мне сегодня под предлогом посоветоваться со мной насчет своей болезни, которой у него не оказалось, а потом начал просить моего содействия в устроении его судьбы. Он только и говорил об этом браке. Сообщил мне, что у него двести десятин земли, собственная своя мельница, дом, сад, что имеет небольшой капиталец, сохраняющийся в местном банке, и что недавно дал брату денег на покупку железа.

— Человек обстоятельный, что и толковать,— перебила его старуха,— трезвый, хозяйственный.— И, пристально посмотрев на сына, спросила: — Ну, как же ты посоветуешь, Алеша,— отдавать, что ли, Кулю-то за него али нет?

— По-моему, лучше всего с самой Кулей поговорить об этом,— заметил Алексей Иванович.— Ежели она пожелает выйти за него — господь с ней, не пожелает — не надо. При чем же я-то здесь, мамаша? Я даже боюсь вмешаться в это дело.

— Господь с тобой, Алеша! Ведь ты, поди, не чужой человек,— брат родной. Чего понимает девка? Она вон говорит, стар, вишь. Был один молодой-то: приданого запросил: сто рублев подай ему, да салоп лисий на атласе, два шелковых платья, благословение божие в золотой ризе. А этот без при-

даного берет. Нет, ты посоветуй. Чего девка-то смыслит, а ты человек ученый, больше нашего смыслишь.

— Вот именно поэтому-то, мамаша, я и боюсь вмешиваться в сестрино дело, пусть сама его решает: не мне жить с Мещеряковым, а ей.

Старуха даже глаза вытаращила от удивления и никак не могла сообразить, что родной брат отказался дать совет родной сестре.

— Так-таки ничего и не посоветуешь? — спросила она.

— Ничего, мамаша,— ответил Алексей Иванович, закуривая другую папироску.— Дело в том, будет ли с ним счастлива Куля, любит ли его.

— Как же счастливой-то не быть с ним?! Какого же ей рожна еще? Знамо, будет счастлива,— продолжала старуха.— На собственных лошадях будет разъезжать, в собственном тарантасе. У тебя тарантас хорош, а у Семена Данилыча не в пример щеголеватей. А уж лошади — одно слово! В храм божий приедет — первой дамой будет. Свои коровки — масло продают даже, птицу — то же самое. Досуг ли тут несчастной быть!

— Ее дело, матушка, как она хочет.

Старуха помолчала, искоса посмотрела на сына и потом каким-то робким, упавшим голосом проговорила:

— Потом вот еще что, Алеша. Сашок-то мой ведь совсем измучился работамши. Теперь точно, слава богу, ты в люди вышел, а прежде, когда ты в ученье был, ведь он все тебе отсылал, последнюю копейку. Приходилось даже у людей деньги занимать. И сейчас еще долги есть. А тут, на грех-ат, пришлось домик перебирать. Для опасности железо в долг купил, плотникам заплатить надоть, печнику — за кладку печи. Нельзя же зимой без печи. А работы хорошей Сашку не слыхать что-то. У него и своя семья немаленькая — подросточки все. Ты, Алеша, хоть бы долги-то заплатил да помог бы нам домик-то отстроить.

И, проговорив это, она опять посмотрела на сына, но на этот раз не пытливыми глазами, а каким-то умоляющим взглядом. Но Алексей Иванович этого взгляда не заметил, ибо в это время ходил из угла в угол кухни. Проходил он таким образом довольно долго, наконец остановился, бросил в печку окурок папиросы, вздохнул как-то и подсел к матери.

— Сейчас, ей-богу, ничего дать не могу, но со временем, когда поправлюсь, оперюсь мало-мальски, конечно, я поста-

раюсь помочь и брату, и сестре. Только, пожалуйста, дайте мне опериться. Ведь и цыплят, когда они не оперились еще, кашей кормят, так-то и я. Вы думаете — дешево обошелся мне мой переезд из Питера сюда? Ведь у меня ничего не было, пришлось обзаводиться: то́ купить, другое, третье, одеться, обуться. Дайте срок,— продолжал он,— дайте опериться. Ей-богу, последние деньги отдал на памятник отцу да на тарантасик. Я и сам знаю, что образование мое недешево стоило, но дайте срок, может, и я пригожусь. Положим,— продолжал он, пощипывая бороду,— жалованья получаю я тысячу двести рублей, то есть сто рублей в месяц. На ваш взгляд, конечно, это очень большие деньги, но сами рассудите, мамаша, ведь у меня и потребности-то большие. Я должен всегда быть чисто одет, иметь приличную квартиру, поддерживать необходимые мне знакомства, бывать у других и принимать у себя. Вы сейчас были свидетельницей приезда ко мне князя Сердобина. Он приезжал приглашать меня завтра на обед, я должен быть прилично одетым. Я должен, наконец, следить за литературой медицины, выписывать для этого необходимые книги и журналы, получать газеты, иначе ведь я не буду знать, что творится на свете. Может быть,— продолжал он, нежно поцеловав руку матери,— все это покажется вам излишним, но поверьте моему честному слову, что все это так же необходимо для меня, как для брата, например, необходимы молот и клещи.

Затем он принялся объяснять матери, что, сделавшись медиком, он прежде всего обязан служить обществу, быть, так сказать, общественным деятелем и служить не личным своим интересам, а общественным. И, проговорив все это с пылом молодого человека, снова принялся обнимать и целовать старуху мать.

Старуха, конечно, многого не поняла, а понятное истолковала по-своему и пришла к такому заключению, что Алеша теперь не семье должен служить, а «обчеству», то есть мужикам.

— Да ведь не «обчество» за тебя деньги-то платило! — вскрикнула старуха.— А отец покойник да брат...

— Знаю, мамаша, знаю.

— А долго «обчеству»-то прослужить надоть?

— Всю жизнь.

— А нам когда помогать будешь? — спросила старуха, но, вдруг что-то вспомнив, заговорила: — Что уж это больно

долго «обчеству» служить?.. Как же староста наш три года всего «обчеству» служит?

Алексей Иванович принялся было разъяснять матери разницу между «обчеством» и обществом, но, убедившись, что все старания его напрасны, снова обнял старуху и принялся осыпать ее поцелуями. А старуха тем временем советовала ему поставить «обчеству» ведра два-три водки и давала слово, что «обчество» беспременно пожалеет его. Привела даже в пример вырыпаевского старосту, который при помощи водки прослужил «обчеству» не три года, как бы следовало, а всего один год.

— И статочное ли это дело,— говорила старуха,— всю жисть!.. Солдаты не «обчеству» служат, а самому царю-батюшке и то ослобоняются, а ты на всю жисть... Ништо это возможно!.. Ей-богу, послушай меня, старуху: угости стариков... Так и так, мол, старички почтенные, пожалейте: сестру, мол, замуж выдать надоть — на возрасте девка... Брат избенку заново перекрывает — ему тоже пособить надоть... Пожалеют, ей-богу, пожалеют...

Алексей Иванович расхохотался даже.

— Нет, мамаша, то общество, о котором я говорю вам, не пожалеет.

— Да ведь ты к нашему обчеству приписан, что ли? — спросила старуха.

— В том-то и горе, что нет.

В это самое время дверь широко распахнулась, и в комнату чуть не вбежал Сашок.

— Поздравьте, мамаша,— кричал он,— поздравьте!.. Братец, теперь и мое дело выгорело.

— Что такое, что такое, Сашок? — вскрикнула старуха, словно воскресшая при виде радостного настроения сына — Что такое, родимый?

— А то, мамаша, что я сейчас был у здешнего батюшки, с которым и сладился выкрасить крышу церкви, ограду вокруг церкви и, окромя того, заново отделать ему тарантас... Ведь нам пришлось бы в какой-нибудь тележонке домой-то возвращаться, а теперь,— прибавил он, как-то ухарски прищелкнув пальцем,— опять в тарантасе поедем — не кой-как, а по-господски!.. А вот и задаточек получили,— продолжал он, помахивая по воздуху десятирублевой бумажкой.

Вбежала и Куля, тоже веселая и радостная, и, передав матери сверточек, быстро заговорила:

— Это мне здешняя матушка гостинчик дала, а я тебе принесла... Кушай на здоровье.

И Куля весело расхохоталась.

Старуха развернула сверточек и, увидав в нем какие-то конфетки, проговорила:

— Спасибо, дочка, спасибо... пососу.

А ходивший все это время из угла в угол Алексей Иванович остановился среди кухни, скрестив на груди руки, даже позавидовал этой всеобщей радости и долго любовался, глядя на веселые и счастливые лица семьи. «Счастливые,— думал он.— И малым умеют довольствоваться».

— Хороши! — шептала старуха, посасывая карамель.— Ничего... Часов в девять вечера старуха начала поговаривать о спанье, да и Лопатин с Кулей не прочь были поотдохнуть. Сбегал Лопатин к хозяину дома, с которым успел уже познакомиться, выпросил у него вязанку соломы, которую и разостлал по полу кухни. Немного погодя все лежали уже на соломе, подложив под головы кой-какую одежонку. Когда огонь был потушен, старуха передала Лопатину весь разговор, происходивший у нее с Алексеем Ивановичем; передала она его, разумеется, по-своему, как поняла, и закончила тем, что на Алешу надежда плохая, так как он, бедненький, не царю служит, а какому-то обчеству, которому и должен прослужить веки вечные.

— Бог милостив, может, таперь и без него обойдемся,— заметил Лопатин.

Что-то в этом роде проговорила и Куля, позевывая. Всех, видимо, клонило ко сну, а между тем из комнаты Алексея Ивановича начали долетать шумные разговоры съехавшихся к нему товарищей, земских врачей. Там говорили про местную медицинскую этику, про земскую управу, про земское собрание, спорили, шумели, хохотали. Поминали все какую-то Ксению Николаевну, просили послать за ней; но ничего этого семья Лопатиных уже не слыхала, так как спала крепчайшим сном. Только часу в третьем ночи случайно проснувшаяся старуха вдруг услыхала, что в комнате Алеши происходило какое-то пение и раздавалась музыка. Старуха осторожно поднялась на ноги, ощупала дверь и, тихонько отворив ее, вошла в сени. На этот раз она ясно услыхала чей-то женский голос, распевавший какую-то плясовую песенку, и топот чьих-то мужских ног, выбивавших дробь. «Пляшут»,— соображала она и, выйдя на двор, подошла к

освещенному окну Алешиных комнат. Оконная сторка была опущена, но ей все-таки удалось увидеть в скважину, что на гармонике играла какая-то девушка, а плясал Алеша, остальные же гости стояли вдоль стены и смеялись, подпевая и хлопая в ладоши. «Нет, женить, женить надоть»,— подумала старуха и снова ушла в кухню.

VIII

Домик Лопатина, действительно, вышел хоть куда: покрытый железом, выкрашенным зеленой краской, он ничуть не уступал, ежели только не перещеголял домик местного батюшки. Под домик был подведен новый фундамент из дикого камня, значительно его приподнявший, стены тщательно вымазаны глиной (последнее было совершено Кулей и женой Александра Иванова), затем выкрашен охрой; на окнах красовались ставни, расписанные яркими букетами, а над железной крышей горделиво возвышалась кирпичная труба с проволочным колпаком, так и бросавшаяся в глаза своей белой окраской. Старуха мать тоже не сидела сложа руки: пока дочь и сноха обмазывали глиной стены снаружи, она обмазывала их внутри, не переставая мысленно подыскивать Алеше подходящую невесту, богатую и красивую,— словом, вся семья Лопатиных — и старый, и малый — были заняты отделкой домика, приготовляя его к приближавшимся зимним холодам и вьюгам. Пока семья Лопатина, вся перепачканная глиной, хлопотала в своем Вырыпаеве, сам Лопатин работал в селе Алмазове, окрашивая кровлю церкви и ограду. Так как работа эта была большая и вдобавок спешная, то Лопатин нанял себе работника и работал вдвоем. Обедал и ужинал он у батюшки, а ночевать приходил к брату, Алексею Ивановичу. Спал он, разумеется, в знакомой нам кухне, остававшейся не подметенной со дня их отъезда, с теми же самыми, валявшимися на полу, окурками Алексея Ивановича и даже бумажками от карамелек, которыми так восхищалась старуха мать. Иногда приходил Алексей Иванович, сидел с ним, расспрашивал о житье-бытье, о сестре Куле: думает ли она выходить за Мещерякова, и, узнав, что дело идет, кажись, на лад, что Мещеряков был раза два-три с гостинцами и что сестра с каждым днем будто становится с ним ласковее, по-

желал ей всего хорошего и даже обещал подарить ей на платье.

— Получу жалованье,— прибавил он,— и тотчас же к вам приеду, а кстати и домик посмотрю. Я ведь еще не видал его.

Однажды он показал Лопатину свою амбулаторию и аптеку. И то, и другое очень понравилось Лопатину; Алексей Иванович познакомил брата с своей фельдшерицей, которая тоже очень понравилась Лопатину как по своему веселому характеру, так и хорошеньким личиком, а всего больше понравилась ему потому, что умела играть на гармонике и распевать веселенькие песни.

Раза два он даже пил чай у фельдшерицы вместе с братом Алексеем Ивановичем, после чего фельдшерица очень много играла на гармонике, упросив Лопатина проплясать под ее музыку. Сперва он конфузился было, отговариваясь неумением, но когда братец Алексей Иванович угостил его несколькими рюмками коньяку, то Лопатин приободрился и проплясал весь вечер.

После этого вечера Лопатину пришлось чинить гармонику, почему-то издававшую какие-то дикие звуки. Лопатин что-то поковырял там перочинным ножичком, что-то подклеил, зачем-то раза три подул в нее, обмел пыль гусиным пером, и гармоника опять заиграла по-прежнему; фельдшерица была в восторге от Лопатина, подарила ему рубль и прозвала «артистом». После починки гармоники Алексей Иванович стал обращаться с братом более ласково и более по-родственному, да и сам Лопатин, все еще говоривший ему «вы», начал как-то смелее обращаться с ним. Алексей Иванович чуть не каждый день звал его к себе в комнаты, сажал рядом с собой на диван, угощал папиросами, от которых Лопатин кашлял, и даже однажды принялся с ним откровенничать по поводу фельдшерицы. Он подробно рассказал ему историю своего знакомства с ней во времена его студенчества, причем вздохнул и помянул добрым словом это время, никогда не возвратимое и переполненное какими-то радужными надеждами, никогда не осуществимыми. Раза два, отправляясь в своем тарантасике на пункты вместе с фельдшерицей и проезжая мимо алмазовской церкви, он с ужасом смотрел на брата, привязавшего себя к кресту остроконечной колокольни и преспокойно мазавшего кистью ее крышу. «Здравствуйте, братец!» — кричал он что было мочи, а Алексей Иванович и фельдшерица, объятые ужасом, поспешно отворачивались и

спешили миновать церковь, чтобы не видать этой ужасной картины.

Раз как-то во время приема больных заходил в амбулаторию и Лопатин, чтобы полюбоваться братцем. Пробыл он там с полчаса и не мог досыта насмотреться на него: чистенький, умытый, щегольски одетый, он сидел за столом и принимал больных, которых было превеликое множество; а в соседней комнате, где помещалась аптека, суетилась фельдшерица, приготовляя по рецептам лекарства. С больными Алексей Иванович обращался вежливо, деликатно, тщательно выслушивал их, выстукивал, иногда заставлял раздеваться, зачем-то клал на скамью, опять выслушивал и садился за стол писать рецепт. Больные называли его «ваше благородие», а он больных «голубчиками». Все это очень понравилось Лопатину, и он, выходя из амбулатории, невольно вздохнул даже, позавидовав братцу.

— Вот это так жисть,— размышлял он,— помирать не надоть.

А Алексей Иванович тем временем сидел за столом и, поглядывая на толпу, все прибывавшую, и чуть не задыхаясь от вони больных, думал:

— Боже мой, вот каторга-то!.. Когда же этому будет конец?

Накануне праздничных и воскресных дней Лопатин, как только заканчивал свои работы, отправлялся в Вырыпаево. Путешествия эти он совершал по образу пешего хождения и всегда ночью. Выйдет, бывало, из Алмазова при солнечном закате, а придет в Вырыпаево при его восходе. Несмотря, однако, на эти бессонно проведенные ночи, он все-таки не переставал работать и торопливо доделывал то, что не успел доделать прежде. От своего домика он, положительно, приходил в восхищение — и не он один, а вся семья. Старуха мать посоветовала ему даже оклеить шпалерами[3] главную комнату, причем сообщила по секрету, что в одном из чуланов Алеши она видела какие-то остатки шпалер.

— Попроси, может, даст... Ему они не нужны, а нам бы больно кстати. Коль не хватит на всю комнату, то оклеишь хоть один передний угол кругом икон,— и все лучше будет.

Александр Иванов обещал попросить брата и спешил в кузницу, чтобы поскорее покончить починку тарантаса алмазовского батюшки.

В один из таких-то воскресных дней Лопатин, окончивши окраску алмазовской церкви и ограды, еще до свету прибежал в Вырыпаево, когда вся его семья спала еще крепким сном. Он поспешно перебудил всех и, восторженно сообщив об окончании этой работы, вытащил из кармана довольно толстую пачку замасленных рублевок, причем объявил, что он тотчас же пойдет расплачиваться с плотниками и печниками.

— Фу,— проговорил он,— точно гора с плеч долой; теперь расплатиться бы еще за железо, да с отцовскими долгами рассчитаться, в те поры я и тужить перестал бы!

— А ты бы насчет долгов-то с Алешей погуторил,— проговорила старуха,— ведь на него деньги-то пошли, может, и заплатит сколько-нибудь.

Но Александр Иванов только рукой махнул и побежал расплачиваться с плотниками и печниками. Расплата эта происходила, конечно, в местном кабаке, а затем пошла и выпивка, во время которой завернул в кабак один из соседних купцов-землевладельцев, приехавший в Вырыпаево подыскать себе молотильщиков. Лопатин словно воспрянул, предложил купцу свои услуги, немедленно сладился с ним, в тот же день подыскал себе рабочих, нужное количество лошадей, а на следующий день молотил уже на своей молотилке на купеческом хуторе пшеницу. Молотилка действовала на славу, гулко оглашала окрестность гудением своих ремней, а Лопатин, торопливо подавая машине золотистые снопы, весело распевал: «Распроклята молотилка запылила мою милку. Остановьте молотилку — отпустите мою милку». А недели две после этого он покончил молотьбу и получил расчет.

— Ну, мамаша,— проговорил он, возвратясь домой.— Слава тебе, господи!.. Теперь отдыхать давайте!

На следующее утро, когда Лопатин вышел на крылечко полюбоваться восходившим солнцем, он даже ахнул, увидав свой овраг, покрытый снегом.

— Матушка, матушка! — кричал он.— Жена, Куля!.. Вставайте, бегите-ка сюда, посмотрите-ка, что за ночь-то сделалось!

Вся семья выбежала на крылечко и словно замерла от удивления, восхищаясь прелестями зимнего пейзажа.

И, действительно, было чем восхититься: девственно-белый снег словно ватой прикрыл глинистые откосы оврага, опушил белым пухом садик Лопатина, накрыл словно шапкой

столбики садовой изгороди. Краснобрюхие снегири целой стайкой перелетывали с одного дерева на другое, весело посвистывая и стряхивая с деревьев пушистые блестки снега. Зазвонили к заутрене. Испуганный этим звоном заяц промчался мимо домика Лопатина, ударился в гору и исчез, оставив после себя свой характерный, бросающийся в глаза, след. А когда поднялось солнце и облило своими лучами это снежное покрывало, оно так и зарделось миллионами искр.

Вдоволь налюбовавшись этой картиной, старуха мать побрела в церковь, Куля побежала доить батюшкиных коров, а Лопатин взял ружье и пошел на охоту.

— Мертвая пороша ноне,— говорил он,— авось зайчиков наколочу.

IX

Насколько Лопатин был порадован наступлением зимы, настолько Алексей Иванович был этим недоволен. Короткие зимние дни и нескончаемо длинные ночи раздражали его нервы, и тоска — невыразимая тоска, сладить с которой не хватало сил, не давала ему покоя. Днем все еще он кое-как боролся с этой тоской, ходил в амбулаторию, развлекался там лечением больных, ругался с больными, приходившими к нему с самыми пустейшими болезнями, писал рецепты, по которым фельдшерица приготовляла лекарства, вел перепись больных,— словом, так или иначе амбулатория развлекала его; зато, пообедав у фельдшерицы и возвратясь домой, снова впадал в тоскливое настроение. Он брался за книги, за газеты, но тотчас же бросал их и принимался шагать из угла в угол. Его все раздражало: раздражало мерное тиканье стенных часов, завывание ветра, лай собак, скрип снега, доносившийся с улицы, раздражал даже сверчок, монотонно трещавший по вечерам где-то в углу. Ему даже с некоторых пор начала как-то надоедать фельдшерица Ксения Николаевна, хотя и веселенькая, и болтливая, но все-таки, по правде сказать, мало развитая. Иногда в эти тоскливые минуты его начинала мучить мысль, что он ничем до сих пор не помог своей семье — той именно семье, которая помогла ему сделаться образованным человеком. «Что я сделал для этой семьи? Ровно ничего! — соображал он.— А разве я, по правде сказать, не мог бы помогать, уделяя ежемесячно хоть малую частицу того

жалованья, которое получаю?» И он вспоминал происходивший у него разговор с матерью, вспоминал ремонтировавшийся домик брата, детство свое и то время, когда вся семья упрашивала старика отца отдать Алешу в гимназию; вспоминал, как брат говорил тогда отцу, что деньги на этот предмет они во всяком случае заработают, а мать уверяла, что придет время, когда Алеша не только возвратит все потраченное на его образование, но даже будет кормильцем семьи. Вспоминал он все это и, терзаемый угрызениями совести, бросался вниз лицом на постель и начинал рыдать. Но бывали и такие минуты, когда Алексей Иванович как будто несколько мирился с совестью, оправдывая себя тем, что отчасти расплатился уже с семьей, отказавшись от оставшегося после отца наследства. «Положим,— рассуждал он,— наследство не ахти какое, но все-таки оно было — домик, например, кое-какие постройки, садик, кузница, кузнечные и слесарные инструменты... Мне помнится, что некоторые из них были довольно ценные». Но эти успокоительные моменты продолжались недолго, и он снова начинал хандрить. В такие-то именно минуты он обыкновенно посылал за ямскими лошадями и уезжал к князю Сердобину, где всегда встречал общество образованное и интеллигентное; жил там он по нескольку дней, иногда манкируя даже службой, и вполне предавался отдыху от своих душевных мук.

Князь, почти ровесник с Алексеем Ивановичем, был человек образованный, воспитанный, элегантный, почти постоянно живший за границей; любил в особенности Испанию, изъездил ее вдоль и поперек, курил настоящие гаванские сигары, лечился от какого-то недуга на острове Мадейре, играл артистически на скрипке, мадеру пил настоящую, которую привозил с собою ящиками, но которая была не по вкусу местным «питухам», предпочитавшим Елисеевскую, словом, был человек образованный, вполне светский и артист в душе.

С Алексеем Ивановичем князь сошелся, когда он, будучи студентом, жил в доме отца в качестве репетитора, полюбил его и сохранил эту любовь до настоящего времени. Он охотно принимал его у себя и охотно ездил к нему в Алмазово.

Изредка навещал Алексея Ивановича и Лопатин.

— Зайчика принес вам в гостинец, братец,— говорил он, весело улыбаясь и показывая брату убитого зайца.

При виде брата, одетого в какой-то рваный, не то ваточный,

не то меховой пиджачишко и валеные сапоги, Алексей Иванович мгновенно словно оживал.

— Что это ты редко заходишь ко мне, Сашок? — говорил он, обнимая брата.

— Недосуг, братец.

— А матушка и сестра совсем забыли даже.

— Одежонки теплой нету, братец,— объяснял Лопатин, хихикая.— Прошлой зимой настрелял было зайцев на шубку мамаше, повесил шкурки на чердак, а ноне весной какая-то червоточина напала на них. Так и пришлось бросить — ей-богу!.. Уж такая-то меня злость брала, что даже рассказать не могу... Уж больно шкурки-то были хороши.

— Нет, ты брат, почаще заходи — скука одолела.

— А вы бы, братец, ружьецо себе купили... В зимнее время с ружьецом походить больно хорошо.— Но, вдруг что-то вспомнив, Лопатин торопливо заговорил: — А то давайте волков морить. Ноня больно много волков развелось: сейчас даже, когда шел к вам, двух волков видал.

— Как же это волков-то морят?

— Очень просто: настреляем ворон, начиним их ядом, забыл, как называют-то!

— Стрихнином, что ли?

— Вот-вот... Разбросаем этих ворон по полю — только и всего. Я таким манером двух волков отравил позапрошлой зимой, за что получил из земской управы за каждый хвост по три рубля, да шкурки продал.

Но Алексей Иванович объявил ему, что ни зайцы, ни волки тоски его не разгонят, так как происходит она не от скуки, а от разочарования в избранной им деятельности. Служить обществу, конечно, дело великое, святое, но одновременно с этим необходимо заботиться и о собственном своем благосостоянии; труд врача плохо оплачивается, труд это каторжный, он не имеет ни минуты свободного времени для отдыха,— и даже помянул недобрым словом того инспектора народных училищ, который когда-то посоветовал ему поступить в классическую гимназию. Одновременно с этим он рассказал брату, что, будучи в университете, он познакомился приятельски с студентом-техником, таким же мужиком, каким и он был когда-то, что техник этот был старше его курса на три, что, покончив ученье, он тотчас же получил место помощника управляющего каким-то железным заводом, а теперь стал уже управляющим с окладом в размере шести

тысяч при казенной квартире с отоплением и освещением.

— Вот это я понимаю!.. Это не чета земскому врачу, которому весь век приходится торчать в глуши, в деревне и возиться с мужиками. Ведь здесь, в деревне, и мозги-то обрастут мохом! — прибавил он.

— А вы, братец, не дадите мне этого самого яду? — спросил Лопатин, давно уже переставший слушать брата и соображавший, как бы так половчее выпросить у братца задаром этого самого мору.

Алексей Иванович расхохотался даже от столь неожиданной просьбы брата, дал ему стрихнина, заказав осторожно обращаться с ним, и затем, обняв брата и ласково похлопав его по плечу, вскрикнул:

— Эй, Сашок, Сашок, славный ты, братец, малый! Простущая душа!

А Лопатин между тем хихикал и говорил:

— Может быть, и ноня сколько-нибудь волков изловлю... Ноня их до пропасти шатается, кажинную ночь воют.

На этот раз Алексей Иванович пил чай не у фельдшерицы, а дома. За чаем он разговорился с братом о сестре Куле и узнал от него, что она, видимо, начала относиться к Мещерякову совсем иначе. Он ей казался теперь не таким старым, каким прежде, а веселым, ласковым и в особенности хорошим хозяином. «С таким мужем по миру не пойдешь». Понравились ей и его коровки-ведерницы. Таких коров ей не случалось видеть дома. «Ведерниц» ей приходилось видеть, но с таким молоком — никогда,— словом, Мещеряков будто переродился в ее глазах. Мещеряков торжествовал: сшил себе новую суконную пару, лисью шубу и каждый день приезжал к Лопатиным на лихой тройке с бубенчиками и колокольчиками; то приглашал их к себе.

А дня два спустя после этого разговора Сашок опять явился к брату и на этот раз объявил ему, что Семен Данилович объявлен женихом Кули. Порадовался и Алексей Иванович, глядя на торжествующее лицо брата, спросил, не по принуждению ли матери выходит Куля за старика, не из-за нужды ли; но, узнав, что ничего этого нет, что она выходит за Семена Даниловича по собственному своему желанию, приказал тотчас же подать себе тройку ямских лошадей и, усадив рядом с собой брата все в том же, не то ватном, не то меховом пиджачишке, поскакал в село Вырыпаево.

Заслышав звон приближающегося колокольчика, Куля прежде всех выбежала навстречу Алексею Ивановичу и принялась обнимать его. По счастливому и сиявшему радостью лицу ее Алексей Иванович тотчас убедился, что Куля действительно была очень счастлива. Повеселел и он сам, любуясь на радостное личико ее, крепко обнял ее, поздравил с нареченным и пожелал всего лучшего на свете. Вышла и старуха. Она тоже была весела и счастлива, и тоже принялась крепко обнимать Алешу.

— Теперь тебя бы женить еще! — говорила она, осыпая поцелуями сына.— В те поры и умирать не страшно было бы: знала бы, что деточки мои пристроены.

Некоторое время спустя на лихой тройке с бубенчиками и колокольчиками, закутанный в волчью шубу, прискакал к Лопатиным и сам жених, Семен Данилович. Выбежала Куля и к нему навстречу, а минуту спустя вернулась в избу.

— Посмотрите-ка, посмотрите-ка, мамаша!.. Посмотрите-ка, братец, чего мне Семен Данилович подарил! — говорила она, задыхаясь от счастья и подбегая то к брату, то к матери с куском шелковой материи, привезенным ей в подарок женихом.— Вот прелести-то!..

Ввалился в избу сам жених, снял с себя шубу и, помолясь на иконы, принялся со всеми здороваться.

Любуясь радостью семьи, забыл и Алексей Иванович про свою хандру. Ему было как-то особенно легко и весело смотреть на все эти счастливые и довольные лица, на суетливую беготню старухи матери, хлопотавшей поскорее напоить чаем дорогих гостей, на счастливое лицо брата, раздувавшего сапогом самовар, на детей его, то и дело выбегавших из-за перегородки и наигрывавших на глиняных дудках, подаренных им Семеном Даниловичем, на веселенькую комнатку только что отделанного Лопатиным домика; радовали его даже стенные часы с подвешенными вместо гирь подковами. «Вот оно где, искреннее-то счастье»,— думал он.

Целых трое суток пробыл Алексей Иванович в Вырыпаеве и все это время чувствовал себя как нельзя лучше: отлично ел, отлично спал и даже не обращал ни малейшего внимания на завывавшую вьюгу и на трещание сверчка, долетавшее до него из какого-то темного угла. Раза два ездили всей семьей к Семену Даниловичу. Тот не знал даже, чем угостить дорогих гостей: угощал чаем, ветчиной, колбасой, жареной уткой, груздочками, рыжичками, вареньем, поросятами; выставил

целую батарею бутылок с какими-то раззолоченными ярлыками. Все пили, ели, а Алексей Иванович даже подвыпил слегка, и все опять-таки были неимоверно счастливы, и Семен Данилович принялся даже рекомендовать ему одну купеческую барышню, богатую-разбогатую и красавицу писаную, и дал слово, что красавицу эту с превеликою радостью отдадут за него.

— Потому — сами они люди образованные,— добавил он,— и только спят и видят, чтобы выдать дочь тоже за образованного... Ей-богу, сударь, не лгу! Истинную правду докладываю... (Мещеряков иначе не называл Алексея Ивановича, как «сударем».)

Наконец Алексей Иванович собрался домой, распростился со всеми и, прощаясь, подарил Куле десять рублей (больше у него не было); Куля долго не хотела брать их, но в конце концов все-таки взяла, а Алексей Иванович сел в сани и поехал домой.

X

Возвратясь домой, Алексей Иванович снова захандрил: опять стали раздражать его стенные часы, завывание ветра, сверчки и т. п. Амбулатория перестала уже развлекать его; напротив, раздражала тоже. С приходившими больными он стал обращаться грубо — чуть не выталкивал их в шею, находя их болезни не стоящими внимания; к богатым пациентам из купцов иначе не ездил, как за вознаграждение; на пункты выезжал редко, а вскоре и совсем перестал, так как фельдшерица, Ксения Николаевна, начала как-то похварывать и, сверх того, не имела теплой шубы, а разъезжала в какой-то заячьей жакетке да в каракулевой шапочке. Это тоже раздражало Алексея Ивановича, и он принимался ворчать на Ксению Николаевну, не позаботившуюся о теплой одежде, зная, куда она едет и зачем, а Ксения Николаевна принималась плакать и оправдываться, обвиняя в этом не себя, а почему-то Алексея Ивановича... Возвратясь домой, Алексей Иванович начинал хандрить еще пуще. «И черт меня дернул,— рассуждал он, шагая из угла в угол по комнате,— связаться с этой дурой. И самому-то недостает, а тут ее еще притащил с собой... Любовь, изволите ли видеть... Нечего сказать — хороша любовь!.. Встретился раза два-три в клини-

ке... показалась мне почему-то жалкой, несчастной, угнетенной... Нечего сказать — умно... очень умно!.. Теперь и расквитывайся, как знаешь и как умеешь...»

Досыта наскорбевшись над своею любовью, он принимался ругать деревню, эту глушь беспросветную с ее дикими нравами, где и сам-то того и гляди сделаешься дурак дураком. И, вспоминая свою поездку в Вырыпаево, опять начинал злиться: «Нечего сказать — хороши нравы и понятия!.. Сестра за старика, ради денег, замуж выходит, и все в восторге, даже сама сестра... мальчишки на дудках играют, а старуха мать чуть не пляшет... Да и сам-то я чуть не расплясался, а с какой радости, спрашивается?.. Брат своим домиком восхищается. Нечего сказать — хорош домик, хороша обстановка: стулья шатаются, столы тоже, на часах, вместо гирь, подковы... А я восхищался тоже, пил даже у этого старого болвана-жениха... Нет, подальше, подальше от всех этих прелестей!..»

В один из таких тоскливых дней приехал к нему князь Сердобин, но теперь не в шотландском костюме и не на лошадях с подстриженными хвостами, а в каких-то длинных санках, запряженных десятком собак, и в костюме какого-то камчадала или якута. Князь, войдя в этом костюме к Алексею Ивановичу, весело расхохотался.

— Узнаете? — вскрикнул он.

Алексей Иванович, увидав князя, словно воспрянул.

— Сама судьба посылает вас ко мне, князь!.. Очень рад вас видеть.

И он принялся обнимать князя.

— А я за вами приехал! — проговорил князь.— Вы совсем меня забыли.

Алексей Иванович рассказал ему, что не был у него по случаю помолвки сестры, что все это время не был дома и что на днях собирался быть у него. В разговоре молодые люди не замечали даже, как проходило время. Наконец князь усадил его в свои санки, и они помчались по расстилавшемуся необозримо серебристой пеленой полю.

В эту именно поездку князь сообщил Алексею Ивановичу, что недавно был в городе, виделся с председателем земской управы и что тот сообщил ему, между прочим, что управа положительно удивляется, следя за врачом Лопатиным, так быстро изменившимся к худшему. Прежде он считался при-

мерным: добросовестно относился к служебным своим обязанностям, был всегда ласков и внимателен к больным, бескорыстен. Народ, бывало, не нахвалится им, любил его. Теперь врач почти никогда не выезжает на пункты, разъезжает на земских лошадях по гостям, и даже бывали случаи, что за свои визиты к богатым купцам требовал с них особую плату, несмотря на то, что купцы эти, как земские плательщики, имеют неотъемлемое право пользоваться бесплатно медицинской помощью. Сверх того, управа крайне недовольна фельдшерицей, почему и вынуждена была предложить ей оставить службу. Затем председатель просил князя поговорить обо всем этом с Лопатиным и посоветовать ему повнимательнее относиться к своим служебным обязанностям. Все это Алексей Иванович выслушал молча и даже ничего не ответил на дружеский совет князя не манкировать службой. Помолчав и позеленев, он сказал, что быть земским врачом положительно невозможно и что лечить русского мужика совсем бесполезно.

— Помилуйте,— говорил он,— ему хину даешь, а он арбузов нажрется, босиком в одной рубахе на холод выходит, а потом уверяет, что дохтур ничего не смыслит, и начинает лечиться по-своему, чего-то намешивая в водку... Ведь это дичь непроходимая!.. Ничего знать не хотят! Наконец, сами посудите: можно ли лечить этого дикаря в его избе, сырой, грязной, вонючей, где нет ни воздуха, ни света... в этом гнезде всевозможных микробов и пакостей... А что жрет этот дикий человек?.. Что пьет?.. Подумайте-ка... Приехав сюда, я горячо принялся за дело: я перебывал чуть ли не в каждой избе своего округа и... пришел наконец к тому заключению, что мы не заслуживаем даже и того скудного вознаграждения, которое получаем, ибо лишены возможности быть мало-мальски полезными... Не лечить надо мужика, а учить. А пока этому его не научат, нечего и лечить его, да и не надо, по той простой причине, что он все-таки в миллион раз здоровее нас с вами.

У князя Алексей Иванович прогостил дня три, играл в карты, на биллиарде, пробежал несколько номеров только что принесенных с почты газет, из которых впервые узнал о возникающих между испанцами и американцами серьезных недоразумениях, грозивших разразиться войной[4]. Недоразумения эти были известны князю, вращавшемуся постоянно в высших сферах мадридского общества. Зная эти подробности,

он возмущался несправедливыми притязаниями американцев и даже порешил весной ехать в Испанию, чтобы быть поближе к этому заинтересовавшему его делу. Все это было новостью для Алексея Ивановича, давно уже не только не читавшего, но даже не распечатывавшего ни газет, ни журналов, и потому он не на шутку заинтересовался. А возвратясь домой, перечитал целую кипу газет и ознакомился с этим делом с самого его начала... Бывало, придет больной, а он, погруженный в исчисление морских сил Америки и Испании, набросится на него и, указывая на вывешенное на стенке объявление, примется кричать: «Сказано, что прием до двух часов, а теперь уж четвертый пошел... Вон! приходи вовремя, болван». И, вытолкав больного, снова углубится в прерванные исчисления. «Конечно, свиньи! — возмущался он, убедившись, что силы американцев в несколько раз значительнее испанских.— Разумеется, скоты!» И, вспомнив, как на днях было возмущено общество села Алмазова убийством каким-то неизвестным злодеем лесного сторожа из-за каких-то грошей, вскрикнул: «Да стоит ли говорить даже об этом убийстве, когда в скором времени должно произойти избиение сотни тысяч людей, да не какими-нибудь проходимцами, а людьми просвещенными, интеллигентными!.. Стоит ли после этого толковать о каком-то стороже!» Когда он рассуждал таким образом, то ему вдруг пришла мысль: бросить эту анафемскую земскую службу и ехать с князем в Испанию. «Может быть, примут даже во флот в качестве доктора,— мечтал он, шагая из угла в угол.— По крайней мере, развяжусь с этою ненавистною мне деревней».

Наконец состоялась и свадьба Кули, которую отпраздновали самым торжественным образом. Семен Данилович был в восторге, Куля тоже, старуха торжествовала, и свадебные пиры продолжались чуть ли не две недели. Сперва задал «бал» Мещеряков, затем Алексей Иванович и наконец Лопатин. Веселились во всю мочь, развеселился сам Алексей Иванович, несмотря на только что полученное предупреждение от земской управы. Ели с утра до вечера, пили, катались на разукрашенных лентами тройках с колокольчиками и бубенчиками. Мещеряков разбрасывал народу пряники, и народ следовал за катавшимися целыми толпами. По окончании всей этой гульбы старуха мать переселилась к дочери. Мещеряков отвел ей чистенькую, светленькую, совершенно

отдельную комнатку, и старуха принялась присматривать за домашним хозяйством. Куля занялась коровами: следила за удоем, за скопом масла, ухаживала за птицей, учила стряпуху готовить кое-какие кушанья, отпускала провизию, а Мещеряков, глядя на все это, только всплескивал руками от восхищения. Торжествовал и Лопатин, во-первых, потому, что Семен Данилович «помарал» в своей записной книге значившийся за Лопатиным долг за железо, а во-вторых, и потому, что тот же Семен Данилович под веселую руку помог Лопатину расплатиться с долгами, наделанными еще отцом для обучения сына.

XI

Зима между тем все шла да шла. Прошла масленица, народ отпраздновал ее честь честью, пьянствовал, разбил несколько кабаков; Алексею Ивановичу приходилось то и дело подавать пособие допившимся до чертиков мужикам, свидетельствовать избитых и полузамерзших. Пришлось даже по приглашению какого-то землевладельца, объевшегося блинов, ехать верст за тридцать, провозиться с больным целый день, а на возвратном пути чуть не замерзнуть, по случаю поднявшейся вьюги. Всю ночь проплутал он по степи, попадал в какие-то овраги, с большим трудом выбирался из них и только перед рассветом натолкнулся на какой-то стог, забившись в который, вместе с полузамерзшим ямщиком, провел остаток ночи.

Наступила наконец и пасха. Алмазовская церковь, над окраской которой осенью так ретиво трудился Лопатин, разукрасилась плошками и разноцветными фонариками; загудел колокол, призывавший православных к заутрене, народ повалил гурьбой на этот торжественный звон, а некоторое время спустя прибежала к Алексею Ивановичу фельдшерица, разбудила его, только что было уснувшего под благовест колокола, и объявила, что возле церкви что-то случилось и что его требуют туда. Оказалось, что какой-то охотник до пушечной пальбы, по неимению пушки, зарядил порохом какую-то окованную железом колесную ступицу и — ахнул. Ступица разлетелась вдребезги и своротила череп пушкарю. Прибежал Алексей Иванович, посмотрел на череп, на разбрыз-

ганный мозг, обругал торчавшего возле убитого урядника, обругал за что-то мужиков, столпившихся поглазеть на покойника, назвав их «дикими», и зашагал домой. А в это самое время из ярко освещенного притвора храма раздавалось стройное пение церковного клира.

После обедни пришел к Алексею Ивановичу священник с иконами и хоругвями, похристосовался, закусил предложенной пасхи и кулича, погоревал между прочим о случившемся несчастии с пушкарем в минуту столь великого церковного торжества, кое о чем поговорил еще для приличия и ушел. Прибежал, в новой пиджачной паре и каком-то отчаянном галстуке с бантом, Лопатин, троекратно облобызался с братцем, после чего преподнес красное яичко с уродливо нацарапанными крестом и буквами Х. В., пожелал братцу много лет здравствовать, тоже закусил кулича и пасхи и тоже поговорил о случившемся во время пасхальной заутрени. Приехали расфранченные в шелки и бархаты Куля с мужем, захватив с собою и старуху, тоже прифрантившуюся в какое-то шерстяное платье, и все принялись христосоваться троекратными лобзаниями, причем молодые преподнесли доктору по вызолоченному яйцу, а старуха мать — целый узелок свежих яиц.

— Нарочно для тебя собирала от самых редкостных курочек! — говорила она, нежно обнимая Алешу.— Ты их не кушай, Алеша,— продолжала она,— а прикажи под наседку подложить... Уж такие-то будут цыплята, такие-то цыплята — на редкость!.. И скусом на русских непохожи — сладкие-рассладкие и, словно масло, во рту тают... Беспременно под наседку... благодарить будешь... Это,— прибавила она,— Семен Данилыч откуда-то добыл таких кур... Охотник ведь он, чтобы у него все в лучшем виде было.

Заговорили потом о случившемся во время заутрени несчастии, потужили и немного погодя уехали.

Начали приходить успевшие выпить мужики с пасхальными яйцами и тоже христосовались. Пришла фельдшерица, худая, желтая, и тоже христосовалась и тоже заговорила было о пушкаре, но Алексей Иванович заткнул уши и убежал из дома вон. «Боже мой! Боже мой! — бормотал он.— Куда я попал?.. где я?.. зачем я здесь?.. зачем?.. Возможно ли оставаться здесь? Ведь это дичь! кругом дичь!.. Дикие люди, дикие нравы, дикие обычаи, дикие понятия!.. водка... грязь...» И он убежал на ямской двор, взял лошадей и поскакал к

князю. Пробыл он у него дня два и возвратился домой успокоенный и отдохнувший; но дома его ждала беда, еще горшая.

Явился в Алмазово член управы с предписанием произвести дознание по поводу поступивших на врача Лопатина нескольких жалоб. Член управы пригласил было Алексея Ивановича в амбулаторию, но он, сказавшись больным, попросил члена пожаловать к нему на квартирку. Член явился, держал себя с доктором очень сдержанно, предъявил ему поступившие на него жалобы, причем добавил, что все эти жалобы присланы в управу губернатором, и в конце концов попросил Алексея Ивановича дать по ним объяснения. Но Алексей Иванович, вместо объяснений, весь вспыхнул, задрожал и принялся кричать, что он не признает компетентности управы по врачебной части, что дело управы чинить мосты и гати, выдавать деньги... Заговорил опять о медицинской этике, о статьях, напечатанных по этому поводу в газетах... Член раскланялся и счел лучшим удалиться и объехать лиц, принесших жалобы.

Некоторое время спустя управа вынуждена была уволить врача от службы за небрежное отношение к своим служебным обязанностям.

Алексей Иванович торопливо распродал все свое имущество, мраморный умывальник и даже тарантасик, пропадал долгое время без вести и только некоторое время спустя сообщил одному из своих коллег, что наконец-то мечты его осуществились, что он вместе с князем в Испании и, благодаря его стараниям, поступил во флот в качестве врача на судне «Don Antonio de Ulloa», с жалованьем, которого, конечно, никогда не получить, по причине плачевного состояния испанских финансов. «Но,— прибавлял он,— я все-таки счастлив невыразимо, и ежели мне придется погибнуть в этой бойне двух непримиримых врагов и быть погребенным не в Вырыпаеве, а на дне чуждого мне океана, я все-таки буду счастлив тем уже, что по крайней мере на конце жизни посмотрел на мир божий и на образ жизни цивилизованных людей, чего никогда не увидал бы ни в Вырыпаеве, ни в Алмазове, в том темном царстве, в которое закинула меня судьба... Пишу вам под грохот орудий... Дела Испании очень плохи... Итак, прощайте, быть может, навсегда, но помните все-таки, что я буду умирать счастливейшим человеком...» А внизу письма была приписка такого содержания: «А где теперь злосчастная

Раздувалова? Нашла ли себе место или все еще проживает у брата в Вырыпаеве? Ваш А. Лопатин».

Только что успел коллега получить это письмо, как телеграф возвестил о полнейшем разгроме испанского флота, а некоторое время спустя в газетах передавались подробности этого разгрома: судно «Don Antonio de Ulloa» билось с отчаянной отвагой, но и оно пошло ко дну и, даже погружаясь, не переставало посылать залпы...

Почти одновременно с гибелью Алексея Ивановича умерла родами и Раздувалова, проживавшая в доме Лопатина нахлебницей.



Комментарии

Илья Александрович Салов оставил весьма значительное литературное наследие, судьба которого прояснена еще далеко не полностью. В единственное Полное собрание сочинений писателя (1909 г.), задуманное как 15-томное, но остановившееся на 6-м томе, вошло лишь 52 его произведения. Между тем еще в библиографический указатель произведений И. А. Салова, составленный дореволюционным саратовским краеведом С. Д. Соколовым, включено 121 название (107 прозаических и 14 драматических произведений).

Советский исследователь творчества Салова В. П. Рожков нашел в архивах еще 11 его произведений и полагает, что этот список также нельзя считать полным, так как «после закрытия в 1884 году «Отечественных записок» писатель долго скитался по различным редакциям и издательствам, в архивах которых, по-видимому, затеряно немало его произведений» (Рожков В. П. Ранние произведения И. А. Салова.— В сб.: Вопросы истории и теории литературы, вып. 11. Челябинск, 1973, с. 37).

В советское время было опубликовано только несколько повестей и рассказов писателя в следующих изданиях: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956 («Мельница купца Чесалкина», «Грызуны», «Аспид», «Арендатор», «Соловьятники», «Николай Суетной», «Мелкие сошки»); Русские повести 70—90-х годов XIX века. М., 1957, т. 1 («Мельница купца Чесалкина», «Грачевский крокодил», «Крапивники»).

Эти публикации, а также тексты Полного собрания сочинений И. А. Салова 1909 г., как наиболее текстологически выверенные, положены в основу настоящего издания. Поздние рассказы «Тернистый путь» и «Иван Огородников», не вошедшие в первые шесть томов Полного собрания сочинений, печатаются, соответственно, по журнальной публикации (Русская мысль,

1900, № 11, 12) и по изданию: Салов И. А. Забытые картинки. М., 1897.

Произведения располагаются в хронологической последовательности их первых публикаций («Грачевский крокодил» печатается по второму, переработанному автором варианту). Орфография и пунктуация приближены к современным, кроме случаев индивидуально-авторского их употребления.

Мертвое тело

Впервые — Отечественные записки, 1859, № 7, с. 95—130. Печатается по: Салов И. А. Полн. собр. соч. Спб., 1909, т. 1, с. 29—82.

[1] Цитируется стихотворение А. В. Кольцова «Вторая песня Лихача Кудрявича».

[2] *Становой* — становой пристав, в России с 1837 г. полицейское должностное лицо, заведовавшее округом из нескольких волостей.

[3] *Провесная* — о рыбе, мясе: сушеная на солнце, вяленая.

[4] *Ботвинька* — уменьшительное от ботвиньи: свекольник, холодная похлебка на квасу из отварной ботвы, лука, огурцов, рыбы.

[5] *Раменá (стар.)* — плечи.

[6] *Подожок* — уменьшительное от подóг: батог, трость.

[7] *Обрáзить* — обиходить, привести в порядок.

[8] *Пар пáрить* — пахать отдохнувшую в течение года землю (пар) под озимь.

[9] *Синенькая* — пятирублевая ассигнация.

[10] *Рекреация (лат.)* — перемена, промежуток времени между занятиями в школе.

[11] *Жнитво* — жатва.

[12] *Кондиция* — уроки учителя в частных домах.

[13] *Консистория* — в дореволюционной России церковное учреждение с административными и судебными функциями.

[14] *Фуляровый платок* — платок из фуляра, шелковой мягкой ткани полотняного переплетения.

[15] *Áрхиерей* — общее название высших православных священников (епископ, архиепископ, митрополит).

[16] *Кутейник* — шуточное прозвище церковников.

[17] *Платить гильдию* — платить пошлину за принадлежность к одному из разрядов (гильдий), на которые делилось купечество в зависимости от имущественного положения.

[18] *Крупчатка* — мельница для помола пшеницы.

[19] *Торбан* — щипковый музыкальный инструмент, родствен бандуре.

[20] *Калухан* — еретик, отщепенец, отступник от православия; здесь: неодобрительное по отношению к православному попу.

[21] *Охулка* — действие по глаголу хулить. Охулки на руки не класть, не положить — не упустить своей выгоды.

Паук

Впервые — Отечественные записки, 1880, № 2, с. 351—398. Печатается по: Салов И. А. Полн. собр. соч. Спб., 1909, т. 4, с. 150—201.

[1] *Рассказы для детей по Вагнеру.*— Имеется в виду Николай Петрович Вагнер (1829—1907), видный русский зоолог, профессор, особое внимание уделявший изучению насекомых и паукообразных. Вагнер был также талантливым писателем-беллетристом, автором повестей и рассказов для детей (особой популярностью пользовались выдержавшие множество изданий «Сказки Кота Мурлыки»), популяризатором зоологических знаний.

Из какой конкретно книги взята Саловым цитата, установить не удалось.

[2] *Земский гласный* — выборный член земских собраний.

[3] *Ягдташ* — охотничья сумка для дичи.

[4] *«Тайны Мадридского двора»* — роман Георга Борна (псевдоним, настоящее имя. Карл-Георг-Фюльборн, 1837—1902), популярного в России в 1870—1880-е годы немецкого писателя, автора авантюрных романов на исторические темы, дипломата (представителя Пруссии при французском, испанском, турецком дворах), путешественника.

В России кроме вошедших в поговорку «Тайн Мадридского двора» (полное название «Тайны Мадридского двора, или Изабелла, бывшая королева Испании». В 3-х т. Спб., 1870, 1874; М., 1875) было переведено еще восемь его романов, среди которых и упоминающиеся далее в рассказе Салова «Евгения, или Тайны французского двора. Историко-романический рассказ из новейших событий Франции» (Спб., 1873), «Дон Карлос, исторический роман из современной жизни Испании» (Спб., 1875), «Султан и его враги» (Спб., 1876—1877), а также «Тайны города Мадрида, или Грешница и кающаяся» (Спб., 1870), «Железный граф» (Спб., 1872), «Бледная графиня» (Спб., 1878), «Морской разбойник, или Дочь сенатора» (Спб., 1879), «Анна Австрийская, или Три мушкетера королевы» (Спб., 1880).

[5] *Дю Террайль* — французский писатель-романист Понсон дю Террайль Пьер Алексис (1829—1871), автор множества авантюрно-детективных и псевдоисторических романов, имевших большой успех у невзыскательной публики. Многие его романы были переведены на русский язык; среди них особенно известен «Воскресший Рокамболь».

[6] *Шкалики иллюминации* — стаканчики с фитилями, наполненные салом.

[7] *Отложенный тарантас* — отпряженный тарантас.

[8] *Надел* — до реформы 1861 г. земельный участок, предоставляемый помещиком или государством крестьянину за различные повинности; после реформы путем выкупа весь или частично превращался в общинную или подворную крестьянскую собственность. Размер надела определялся в зависимости от экономического режима района: в нечерноземных губерниях низший надел составлял от 1 до $2^1/_3$ десятин на душу, высший — от 3 до 7 десятин; в черноземных — соответственно от 0,9 до 2 десятин и от $2^3/_4$ до 6 десятин.

Малый (так называемый «нищенский», «сиротский», «дарственный») *надел* — участок, отдававшийся помещиком по положению 19 февраля в собственность крестьянам бесплатно при условии отказа крестьян от выкупа земли; составлял $^1/_4$ часть высшего надела.

[9] *Неустойка* — в гражданском праве денежная сумма или иная имущественная ценность, которую одна сторона обязана передать другой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора.

[10] *Дрожки* — легкий открытый рессорный экипаж на одного-двух человек.

[11] *Фаэтон* — конная коляска с открывающимся верхом.

[12] *Пардесю (франц.)* — пальто.

[13] *Шмурыгать (обл.)* — тереть.

Соловьятники

Впервые — Отечественные записки, 1880, № 7, с. 135—168. Печатается по: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956, с. 165—195.

[1] *Гешефт (нем.)* — торговая сделка.

[2] *Визави (франц.)* — друг против друга.

[3] *Косуля* — большая лодка, 11—18 метров длиной, без палубы, грузоподъемностью 500—2000 пудов (от 8 до 32 тонн).

[4] *Кобёл* — здесь: высокий куст.

[5] Цитируются первые строки и последняя строфа стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...».

[6] *«Капитан Гаттерас»* — ранний роман Ж. Верна «Приключения капитана Гаттераса» (в 2-х т., 1866 г.) о путешествии к Северному полюсу.

[7] ...*«защелкал, засвистал»* — строка из басни И. А. Крылова «Осел и соловей».

[8] *Он запел, и каждый вспомнил Золотые дни свободы...* — отрывок из стихотворения А. Н. Майкова «Приговор (Легенда о Констанцском соборе)».

Николай Суетной

Впервые — Отечественные записки, 1881, № 10, с. 543—612. Печатается по: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956, с. 196—260.

[1] *Как молод был, ждал лучшего ~ ничем или бедой.* — Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Пир на весь мир»). — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти т. Л., 1982, т. 5, с. 191.

[2] *Поняться* — спариться.

[3] *Жерлика* — удочка на щук, удилище которой втыкается в берег.

[4] *Куга* — водяное растение семейства осоковых, озерный камыш.

[5] *Молокане* — одна из сект «духовных христиан». Возникла в России во второй половине XVIII в. Молокане отвергают священников, иконы, церкви, совершают моления в обычных домах. Преследовались царским правительством.

[6] *Манчестер* — хлопчатобумажная атласная ткань. Название употреблялось также по отношению к бархату.

[7] *Панагия* — нагрудный знак с украшением у православных епископов, носимый на цепи.

[8] *Ротонда* — длинная женская накидка без рукавов.

[9] *Конник* — ящик-лавка для сидения и сна с подъемной крышкой; обычно находился у дверей в передней.

[10] *Вереи* — столбы, на которые навешиваются створки ворот.

[11] *Кондрак* — искаженное: контракт.

[12] *...слухи о предстоящей будто бы войне* — речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., в которой Россия выступила в поддержку национально-освободительной борьбы балканских народов против турецкого господства.

[13] *Билетные* — солдаты, временноотпускные, небессрочные.

[14] *Кичка* — старинный женский головной убор, род повойника, с рогами.

Шуклинский Пирогов

Впервые — Волжский вестник, 1883. Перепечатан в «Саратовском дневнике», 1883, № 117—118.

Печатается по: Салов И. А. Полн. собр. соч., т. 2. Спб., 1909, с. 292—305.

[1] *Пирогов* — имеется в виду великий русский ученый — хирург и анатом Николай Иванович Пирогов (1810—1881).

[2] *Мушка* — особый пластырь раздражающего и нарывного действия, изготовлявшийся из засушенных мух. В 80—90-е годы XIX в. этот способ лечения имел среди медиков уже мало последователей.

[3] *Алтейная мазь* — мазь, изготовленная на основе алтея (род травянистых растений семейства мальвовых).

[4] *Арника* — род многолетних трав семейства сложноцветных. Спиртовая настойка из высушенных цветочных корзинов применяется как кровоостанавливающее средство.

[5] *Булдыжка (обл.)* — часть ноги животного между коленом и копытом.

Грачевский крокодил

Впервые — «Русский вестник», 1879, № 5, с. 260—342 (первая редакция); Сочинения И. А. Салова. Спб.— М., 1884, т. 1, с. 1—274 (вторая редакция). Печатается по: Русские повести XIX века, 70—90-х годов. М., 1957, т. 1, с. 35—195.

[1] *...Кто что ни говори... но бывают* — заключительная фраза повести Н. В. Гоголя «Нос».

[2] *Вентерь* — рыболовный снаряд в виде сужающейся книзу плетенки или сетки на обручах.

[3] *Плиний Старший,* Гай Секунд (23—79) — видный римский ученый и писатель, автор трудов по естествознанию, истории, военному делу, риторике, филологии.

[4] *Валерий Максим* — римский историк I в. н. э., составитель сборника «О замечательных деяниях и изречениях» в девяти книгах, предназначенного для ораторов и риторских школ.

[5] *Пажить* — дальнее пастбище (луг, поле) с хорошими кормами; здесь: пожитки, имущество, состояние.

[6] *...описав чудовищного змея, убитого героем греческой мифологии Геркулесом.*— Речь идет о герое древнегреческой мифологии Геракле

(лат. Hercules — Геркулес) и его втором подвиге — победе над многоголовой лернейской гидрой.

[7] *Миссионер Ганс Эгед* — Ганс Эгеде (1686—1758), проповедник христианства в Гренландии.

[8] *Епископ Понтопидаг* — имеется в виду Понтоппидан Эрик Людвигсен (1698—1764), датский епископ, автор трудов по истории, статистике и географии.

[9] *Оркнейские острова* — группа островов в Атлантическом океане, у северной оконечности Шотландии.

[10] *Виварuум* — помещение для содержания животных в учебных и экспериментальных целях.

[11] *... том Дарвина в переводе Бекетова...*— Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902) — русский ботаник, почетный член Петербургской академии наук, профессор Петербургского университета; горячо пропагандировал идею развития живой природы.

[12] *Амигдалин* — органическое соединение, производное глюкозы; содержится в косточках горького миндаля, персика, абрикоса и пр. Применялся в медицине в виде горькоминдальной воды.

[13] *Мамон (мамона)* — бог богатства и наживы у древних сирийцев.

[14] *Предводитель* — предводитель дворянства, губернский или уездный.

[15] *Исправник* — в России глава уездной полиции. В 1775—1862 гг. избирался дворянами (назывался капитаном-исправником), после 1862 г. — назначался губернатором.

[16] *Причетник* — служитель при православной церкви.

[17] *Бурнус* — плащ с капюшоном.

[18] *Генерал Черняев* Михаил Григорьевич (1828—1898) – главнокомандующий сербской армией (по приглашению сербского правительства) в национально-освободительной войне восточных славян с Турцией в 1876 г. В 70-е годы был близок к славянофилам. В 1873—1878 гг. издавал консервативную газету «Русским мир».

[19] *...муж отправился теперь в Сербию добровольцем...*— речь идет о национально-освободительной войне восточных славян против турецкого ига (1877—1878 гг.). Завершилась поражением турецких войск и способствовала освобождению славянских народов Балканского полуострова от османского ига.

[20] *«Тайны Мадридского двора», «Евгения», «Дон Карлос»* — см. примеч. 4 к рассказу «Паук».

[21] *Визига* (вязига) — спинная струна (хорда) осетровых рыб, употребляемая в пищу.

[22] *Плес (устар. и обл.)* — хвост рыбы.

[23] *Зорная* (водка) — водка, настоянная на зоре́ (любистке), травя-

нистом растении семейства зонтичных. Применялось в народной медицине.

[24] *Полоток* — половина (иногда и целая тушка с вынутыми костями) распластанной и соленой, вяленой, копченой или сушенной в печи птицы, рыбы или зайца.

[25] *Дуля* — плод груши бергамот или глива. *Смоква* — плод смоковницы, или инжира, фигового дерева.

[26] *Сурочные промыслы* — охота на сурков.

[27] *...ваш премьер, что с ключом-то ходит!.. Хлопотал на земском собрании...* — очевидно, предводитель дворянства с жезлом.

[28] *Стенли* — Стенли Генри Мортон (1841—1904) — путешественник по Африке.

[29] *«Общество червонных валетов»* — в переносном значении червонный валет — мошенник, вор. Источник этого наименования — роман французского писателя Понсона дю Террайля (см. о нем в примеч. 5 к рассказу «Паук»).

[30] *...грозил попу «красной шапкой»...* — т. е. грозил отдать в солдаты.

[31] *Колупаевы и Деруновы* — персонажи, встречающиеся во многих произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина («Благонамеренные речи», «Убежище Монрепо» и др.). Их имена стали нарицательными.

[32] *Проскомидия* — часть православного богослужения.

[33] *Форейтор* — кучер, сидящий на передней лошади при упряжке цугом.

[34] *Бареж* — шерстяная, шелковая или хлопчатобумажная ткань для женских нарядов.

[35] *Тавлинка* (таблинка) — берестяная табакерка.

[36] *...подобно Пошлепкиной, «сами себя высекут»...* — Герой Салова объединил двух действующих лиц комедии Гоголя «Ревизор»: слесаршу Февронью Петровну Пошлепкину и унтер-офицершу Иванову, которая якобы «сама себя высекла» («Ревизор», действие IV, явл. 11, 15).

[37] *Любим Торцов* — герой комедии Островского «Бедность не порок».

[38] *Бот, ботало* — шест с деревянной болванкой на конце, которым загоняют рыбу в сети.

[39] Здесь очевиден пропуск. Рукопись «Грачевского крокодила» не найдена; в печатных изданиях этот пропуск сохраняется. Из контекста ясно, что пропущены следующие приблизительно слова: «эта история очень интересна, так как она и есть та...».

Иван Огородников

Впервые — Новь, 1885, т. 2, № 5, с. 72—99.

Печатается по: С а л о в И. А. Забытые картинки. М., 1897, с. 46—113.

[1] *Регент* (от лат. regens — правящий) — руководитель хора, преимущественно церковного.

[2] *Карбованец* — серебряный рубль. Название было дано из-за нарезки (укр. *карбов*) на ребре монеты.

[3] *Ктитор* — в православной церкви староста, избранный приходской общиной.

[4] *Ўзерка* — охота на зайцев поздней осенью до выпадения снега («по черностопу»), когда зверек отыскивается не по следу, а высматривается (узревается) на лежке.

[5] *Аршин* — мера длины, равная 16 вершкам (71,12 см).

[6] *Тархан (обл.)* — скупщик по деревням холста, льна, пеньки, шкур, щетины и пр., торговец мелочным товаром и меняла.

[7] *Поводильщик* — человек, водивший и демонстрировавший дрессированных зверей, главным образом медведей.

[8] *«Ксантиум струмариум»* — овечий репейник, или дурнишник, род однолетних трав семейства сложноцветных. Сорняк. В семенах содержится масло.

Тернистый путь

Впервые — Русская мысль, 1900, № 11, с. 70—100; № 12, с. 1—23. Печатается по этой публикации.

[1] *Олеографические картинки.*— Олеография — воспроизведение способом литографии картин масляной живописи с имитацией на оттисках структуры ткани и мазков масляной краски на оригинале. В настоящее время не применяется.

[2] *Личные сапоги* — кожаные сапоги, сшитые мездрой внутрь, а стороной, где была шерсть, наружу.

[3] *Шпалеры* — здесь: бумажные обои.

[4] Речь идет об империалистической войне 1898 г. между Испанией и США. В результате ее Испания потеряла часть своих колоний, которые были захвачены США, воспользовавшимися развернувшейся в испанских колониях национально-освободительной борьбой.

Содержание

Илья Александрович
Салов
ГРАЧЕВСКИЙ КРОКОДИЛ
Повести и рассказы

Редактор
Л. КУЛЕШОВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Художественный редактор
Г. САЛЕНКОВ

Технический редактор
Л. ДУНАЕВА

Корректоры
В. ЛЫКОВА, С. ЕГОРОВА

ИБ № 3437
Сдано в набор 16.12.83. Подписано к печати 21.04.84. А06789. Формат 84×108/32.
Гарнитура об. нов. Печать высокая. Бумага кн. журн. № 2. Усл. печ. л. 28,67
Усл. кр. отт. 28,61. Уч.-изд. л. 32,66. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2639. Цена 2 р. 80к

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот» ордена Трудового Красного Знамени фабрики «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, Сущевский вал, 49, на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46